







31

1000



СЕРИЯ

700

Основана в 1993 году

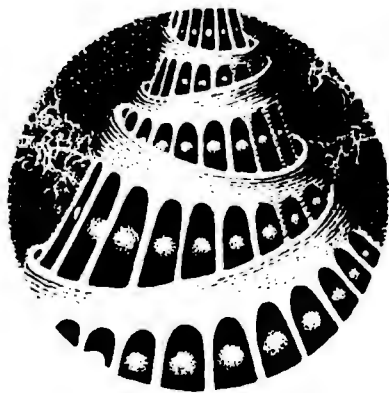


«ФІТА»

Київ 1995

Umberto
Eco

Il Pendolo di Foucault



Умберто
Эко

Перевод с итальянского

Роман

**Маятник
Фуко**

Ψ

Художественное оформление В. Э. Ерко

Роман представляет захватывающую историю рождения и смены религиозных орденов в Европе, кардинальным образом повлиявших на все идеи, ценности и создания рук человеческих — от Моцарта и Эйнштейна до Наполеона, русской царской охранки, Сталина и Гитлера, от орудий пыток до Эйфелевой башни и компьютеров IBM.

Не случайно роман выстроен вокруг главного образа — маятника Фуко, который с каждым взмахом наглядно показывает степень поворота мира, где все мы, неокаббалисты и постмодернисты, нищие и банкиры, художники и чиновники, святые и грешники, крутимся в своих удачах и частностях.

Издание осуществлено
при финансовом участии компании

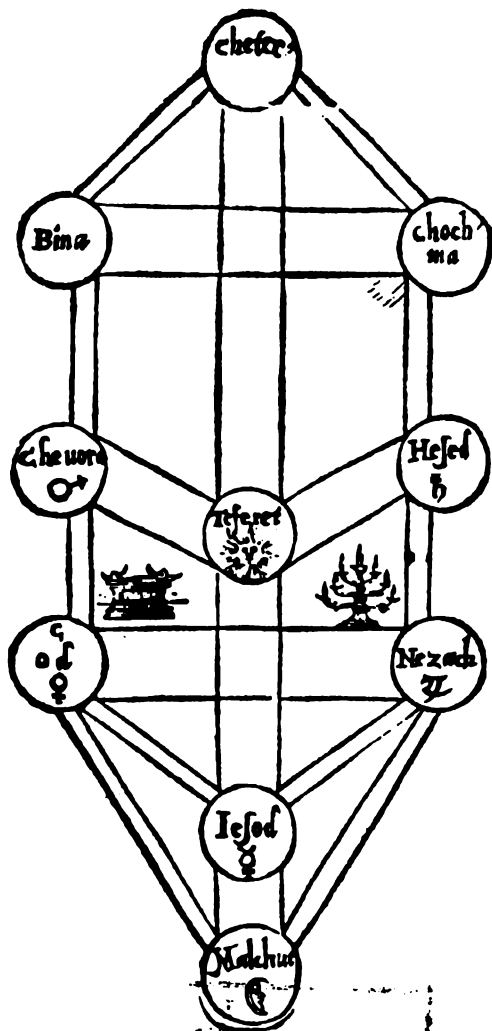
Primetrade AG

Sumpfstrasse 26
P.O. Box 4729
CH-6304 Zug/Switzerland

Э 4703010100 Без оголош.
95

ISBN 5-7101-0075-7

© Художне оформление. В.Е.Ерко, 1995



Исключительно для вас, сыновья познания и мудрости, мы написали сей труд. Исследуйте книгу, сосредоточьтесь на том замысле, который мы рассыпали по многим страницам; то, что скрыли мы в одном месте, проявили в другом, чтобы ваша мудрость смогла это постичь.

(Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. *De occulta philosophia*, 3, 65)

Суеверие приносит несчастье

(Raymond Smullyan. *5000 B.C.*, 1.3.8)

I

KETEP



(ב) והנה בהיות אור האיס נמשך.
 בבחינת (ה) קו ישר תוך החלל
 הניל. לא נמשך ונתפשט (ו) תיכף
 עד למטה, אמנם היה מתפשט לאט
 לאט, רצוני לומר, כי בתחילה הת-
 חיל קו האור להתפשט, ושם תיכף
 (ז) בתחילת התפשטותו בסוד קו.
 נתפשט ונמשך ונעשה, כעין (ח)
 גלגל אחד עגול מסביב.

И тогда я увидел Маятник.

Движущийся шар на конце длинной нити, прикрепленной к своду центрального купола, описывал широкие колебательные движения ритмично и величаво.

Любой поддался бы очарованию этого мирного дыхания. Я знал, что его период определяется отношением квадратного корня длины нити к числу π , которое, будучи числом иррациональным для землян, чудесным образом связывает окружность и диаметр всех возможных кругов — так что время прохождения от одной высшей точки к другой, казалось, было мистическим сговором мельчайших частиц времени, единства точки подвеса, двойственности абстрактной протяженности, тройственной природы π , четырехсторонней тайны корня, совершенства круга.

Кроме того я знал, что по вертикали от точки крепления, у основания, расположено магнитное устройство, подзаряжающее энергией цилиндр, находящийся внутри шара, что обеспечивало постоянство движения. Эта хитрость позволяла противостоять сопротивлению материи, что не противоречило закону Маятника, а даже наоборот, облегчало его проявления, поскольку в вакууме любой материальный предмет, подвешенный к концу нерастяжимой и невесомой нити и не испытывающий

сопротивления воздуха и трения в точке подвеса, колебался бы вечно.

Медный шар, освещенный последними лучами солнца, проникающими через витражи, слабо поблескивал и переливался мерцающим светом. Если бы, как раньше, он слегка задевал своим острием слой влажного песка, рассыпанного в подкупольном пространстве, то при каждом колебании он прочерчивал бы на земле небольшую бороздку, и эта бороздка, непрерывно изменяя направление на бесконечно малый угол, все более увеличивалась бы и принимала форму бреши, выемки, давая возможность увидеть солнечную симметрию — словно скелет мандалы, невидимая структура pentaculum, звезда, мистическая роза. Нет, скорее это было похоже на рассказ, записанный на безмерных просторах пустыни следами, оставленными бесконечными блуждающими караванами. Рассказ о медленных тысячелетних миграциях; возможно, именно так перемещались Атланты с континента Му, двигаясь упорно и властно от Тасмании до Гренландии, от созвездия Козерога до созвездия Рака, от острова Принца Эдуарда до архипелага Свальбард. А острие все повторяло, рассказывало вновь в сокращении то, что произошло с ними между двумя оледенениями Земли и что они продолжают делать, отныне посланцы Богов; возможно, где-то между островами Самоа и Новой Землей острие в позиции равновесия слегка задело Агартху — мистический центр жизни в Тибете, Центр Мира. Мне в голову пришла мысль, что единый замысел соединял Авалон, Гиперборею с южной австралийской пустыней, которая хранила загадку Айерс Рок.

Было четыре часа дня 23 июня, Маятник замедлял ход, приближаясь к крайней точке колебания, чтобы вновь бесстрастно устремиться к центру, набрать наибольшую скорость в середине своего пути и подзарядиться от невидимого квадрата сил, который определял его предназначение.

Если бы я, не замечая хода времени, вглядывался в эту голову птицы, в это острие копья, в этот перевернутый шлем,

когда он выписывает в пустоте собственные диагонали, чуть задевая противоположные стороны искаженной окружности, то я бы стал жертвой чудесной сказочной иллюзии, потому что Маятник убедил бы меня в том, что он совершил полный круг за тридцать два часа и возвратился в отправную точку, описывая уплощенный эллипс, который поворачивается вокруг собственного центра с постоянной угловой скоростью, пропорциональной синусу географической широты. Как бы он поворачивался, если бы был прикреплен к вершине купола Храма Соломона? Вероятно, рыцари тоже испытали его. Возможно, конечный результат вычислений не изменился бы. Возможно, церковь аббатства Сен-Мартен-де-Шан была истинным Храмом. Как бы там ни было, настоящий эксперимент возможен только на полюсе, в единственном месте, где точка подвеса находится на продолжении оси вращения Земли и где Маятник совершил бы видимый цикл за двадцать четыре часа.

Но это отклонение от Закона, Впрочем, предусмотренное Законом, и это нарушение золотого сечения не делали чудо менее удивительным. Я, конечно, знал, что Земля вращается, и я вместе с нею, и аббатство Сен-Мартен-де-Шан, и весь Париж вместе со мной, и что все мы вместе вращаемся под Маятником, который в действительности никогда не меняет плоскость своего колебания, потому что где-то наверху, над точкой его подвеса, в бесконечном идеальном продолжении нити к самым дальним галактикам находилась фиксированная навечно Неподвижная Точка.

Земля вращается, но место, где крепилась нить, было единственной неподвижной точкой Вселенной.

И мой взгляд был направлен не столько на Землю, сколько вверх, где царила тайна абсолютной неподвижности. Маятник мне говорил, что хотя все движется — земной шар, Солнечная система, туманности, черные дыры и все наследие большого космического взрыва от первых зонов до самой вязкой и тягучей материи, — единственная точка остается стержнем, осью, идеальной сцепкой, что позволяет Вселенной вращаться вокруг самой себя. И я участвовал сейчас в этом высшем эксперименте, я, который двигался со всем вместе и с каждой вещью от-

дельно, увидел, однако, Это, НЕ-подвижность, Скалу, Гарантию, лучезарный туман, который не является телом, не имеет формы, веса, количества или качества, не видит, не слышит, не чувствует, не находится в одном месте, времени и пространстве, не имеет души, рассудка, воображения, не имеет мнения, числа, порядка, меры, вещественности, вечности, не является ни тьмой, ни светом, ни ошибкой, ни истиной.

Я вздрогнул, услышав разговор четкий и небрежный одновременно между мальчиком в очках и девочкой, которая, к сожалению, их не носила.

— Это маятник Фуко,— говорил мальчик.— Первый опыт был проведен в подвале в 1851 году, затем в Обсерватории, а позже под куполом Пантеона; нить была длиной шестьдесят семь метров, шар весил двадцать восемь килограммов. И наконец, с 1855 года он находится здесь в уменьшенном виде и свисает из этого отверстия посередине крестообразного свода.

— И что он делает, качается и все?

— Он доказывает, что Земля вращается. Так как точка подвеса неподвижна...

— А почему неподвижна?

— Потому что точка... как бы точнее сказать... в центральной точке, слушай внимательно, каждая точка, находящаяся в середине точек, которые ты видишь, ну, хорошо, эту точку — геометрическую — ты не видишь, потому что она не имеет размеров, а то, что не имеет размеров, не может двигаться ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Итак, она неподвижна. Понимаешь? Если точка не имеет размеров, она не может вращаться даже вокруг собственной оси. Она и сама нематериальна...

— Но все-таки Земля вращается?

— Земля вращается, а точка — нет. Если ты с этим согласна, пойдем дальше, если же нет — не стоит сушить себе голову. Хорошо?

— Это ее дело.

Несчастливая. У нее над головой находилось единственное стабильное место в космосе, единственное спасение от про-

клятия *panta rei*, а она говорила, что это дело Земли, а не ее. Вскоре, действительно, парочка удалилась: он, которому знания, полученные из учебника, не давали возможности восхищаться увиденным; она, инертная и невосприимчивая к дрожи бесконечности; так что ни у него, ни у нее в памяти не запечатлелась эта встреча — первая и последняя — с Единым, с Эн-Соф, с Невыразимым. Как не пасть на колени перед алтарем достоверности?

Я же глядел на него с почтением и страхом. В этот момент я был убежден, что Джакопо Бельбо был прав. Когда он мне рассказывал о Маятнике, я приписывал его взволнованность разглагольствованиям эстета, этому раковому образованию, которое, бесформенное, медленно обретало форму в его душе, шаг за шагом (он даже не осознавал этого), преобразуя его игру в реальность. Но если он был прав относительно Маятника, то и все остальное могло быть правдой — План, Всемирный Заговор, и я правильно сделал, что пришел сюда накануне летнего солнцестояния. Джакопо Бельбо не был сумасшедшим, просто он случайно, только благодаря Игре, открыл истину.

Дело в том, что опыт Божественного нельзя продолжать долго, не повредив рассудок.

Я попытался заглянуть в даль, следя за кривой, которая от капителей колонн, расположенных полукругом, простиралась вдоль нервюр к замку свода, открывая тайну стрельчатой арки, которая поддерживала сама себя в пустоте, что было высшим лицемерием статики, и заставляла колонны думать, будто они подталкивают вверх поперечные балки, а тех, отодвигаемых замком, убеждала в том, что они прижимают к земле колонны, в то время как свод является всем и ничем, одновременно следствием и причиной. Но я осознал, что пренебрегать Маятником, который был прикреплен к своду, и одновременно восхищаться сводом было все равно, что воздержаться пить из колодца, чтобы напиться из источника.

Хоры церкви Сен-Мартен-де-Шан существовали только потому, что в силу Закона мог существовать Маятник, он же существовал только потому, что существовали хоры. "Нельзя из-

бежать одной бесконечности,— говорил я себе,— устремляясь к другой, нельзя избежать открытия тождества, представляя себе возможность открытия различия.”

Не в силах больше отводить взгляд от верхней точки свода, я стал отступать шаг за шагом — потому что за несколько минут, истекших после моего прихода, я изучил маршрут наизусть, а большие металлические черепахи, выстроившиеся по обе стороны от меня, были достаточно импозантны, чтобы боковое зрение улавливало их присутствие. Я отступал вдоль нефа ко входной двери, и снова надо мной нависли зловещие доисторические птицы из дырявого полотна и проволоки, враждебного вида стрекозы, которых тайная воля развесила под сводами нефа. Я воспринимал их как искусные метафоры, гораздо более многозначительные и полные намеков, чем того требовали учебные цели, служившие предлогом. Как рой насекомых, стая юрских рептилий, аллегория долгих миграций, которой Маятник подводил итог на Земле, архонты, извращенные эманации, они пикировали на меня со своими огромными клювами археоптериксов — аэропланы Бреге, Блерио, Эно и вертолет Дюфэ.

Действительно, именно такходишь в Хранилище Искусств и Ремесел в Париже, пересекая дворик XVIII века и вступая в старую аббатскую церковь, включенную в более поздний архитектурный ансамбль, как раньше она была включена в первоначальный ансамбль монастыря. Ходишь — и тебя ослепляет этот заговор, объединяющий высший мир небесных стрельчатых арок и хтонический мир пожирателей минеральных масел.

Внизу вытянулась вереница самоходных устройств, велосипедов и паровых машин, сверху нависают первые самолеты, в некоторых случаях экспонаты сохранились в целости, хотя и облупленные, изъеденные временем, и при смешанном — частью естественном и частью электрическом — освещении кажутся покрытыми паутиной, лаком, как старая скрипка; от других сохранились только остовы, шасси, вывихнутые рычаги и ручки, навевающие угрозу немыслимых пыток, и уже видишь себя

прикованным к этим дыбам, где что-нибудь может прийти в движение и пронзить плоть, чтобы развязать тебе язык.

За этим рядом древних, предназначенных двигаться, но сейчас неподвижных предметов с душой, изъеденной ржавчиной, за чистыми символами технологической гордыни, возжелавшей выставить их для благоговейного созерцания, которые слева охраняет статуя Свободы, уменьшенная копия той, что Бартольди спроектировал для другого мира, а справа — статуя Паскаля, открывается алтарная часть, где под колебания Маятника выстроен по кругу кошмар больного энтомолога — клещи, челюсти, щупальца, части солитера, крылья, конечности — кладбище механических трупов, которые все одновременно могли бы опять зашевелиться: магнето, однофазные трансформаторы, турбины, комплексные преобразователи, паровые машины, динамо; а в глубине, за Маятником, в галерее — ассирийские, халдейские, карфагенские идолы, огромные Ваалы с некогда горящим чревом, нюрнбергские мадонны с обнаженными сердцами, ошетилившимися гвоздями, остатки того, что некогда было моторами самолетов, — неопиcуемый венец призраков, распростершихся в преклонении перед Маятником, как если бы дети Разума и Просвещения были обречены сохранить навечно сам символ Традиции и Мудрости.

И скучающие туристы, которые платят в кассу по девять франков и бесплатно заходят сюда по воскресеньям, могут подумать, что пожилые господа XIX века с пожелтевшими от никотина бородами, с мятыми, засаленными воротничками, черными лавалевскими галстуками, в рединготах, воняющих нюхательным табаком, с пальцами, потемневшими от кислот, с умом, желчным от академической зависти, призраки из комедии, что эти господа, называвшие друг друга *cher maître*, поместили эти предметы под сводами в целомудренном стремлении устроить выставку, чтобы удовлетворить буржуазных и радикальных налогоплательщиков и восславить светлые пути прогресса? Нет-нет. Сен-Мартен-де-Шан был задуман вначале как монастырь, а затем — как революционный музей, в качестве собрания самых таинственных наук, и эти самолеты, эти само-

движущиеся машины, эти электромагнитные скелеты находились здесь, чтобы поддерживать диалог, формула которого пока от меня ускользала.

Должен ли я был думать, как мне лицемерно говорил каталог, что это прекрасное предприятие было задумано господами из Конвента, чтобы сделать доступным для масс святилище всех искусств и ремесел, когда было так очевидно, что проект и даже используемые слова были теми же, которыми пользовался Бэкон для описания Дома Соломона в его Новой Атлантиде?

Возможно ли, чтобы только я — я, Джакомо Бельбо и Диоталлеви — интуитивно почувствовали правду? Может быть, в этот вечер я получу ответ. Мне нужно было суметь остаться в музее после закрытия и ждать полуночи.

Откуда Они войдут, я не знал — я подозревал, что в сети парижской канализации один из каналов соединяет какую-то точку музея с какой-то другой точкой города, может быть в районе ворот Сен-Дени, — но у меня не было ни малейших сомнений в том, что если я отсюда выйду, то уже обратно с этой стороны не войду. Значит, мне надо было спрятаться и остаться внутри.

Я попытался стряхнуть с себя гипноз места и посмотреть на неф холодным взглядом. Теперь я уже не искал откровения, я хотел информации. Я считал, что в других залах будет трудно найти место, где я мог бы обмануть бдительность охранников (они обязаны в момент закрытия обойти залы, чтобы посмотреть, не затаился ли где-нибудь вор), но здесь, в нефе, забитом машинами... Разве может быть лучше место, чтобы разместиться где-нибудь в качестве пассажира? Спрятаться живьем в мертвой машине. Мы уже придумали так много игр, даже слишком много, чтобы не испробовать еще и эту.

"Ну, смелее, — сказал я себе, — не думай больше о Мудрости, проси помощи у Науки".

У нас есть различные и очень любопытные Часы, и другие, производящие Попеременные Движения... И еще у нас есть Дома Обмана Чувств, где мы успешно осуществляем всякого рода Манипуляции, Ложные Видения, Мошенничества и Иллюзии... Это и есть, сын мой, богатства Дома Соломона.

(Francis Bacon. *New Atlantis*. Rawley, Лондон, 1627, с.41-42)

Я вновь овладел своими нервами и воображением. Надо было играть с иронией, как я играл еще несколько дней назад, не увлекаясь игрой. Я был в музее и должен был быть драматически хитрым и здравомыслящим.

Я непринужденно взглянул на самолеты, висящие над мной: я мог бы забраться в кабину биплана и ждать ночи, как будто лететь над Ла-Маншем, заранее предвкушая орден Почетного легиона. Названия автомобилей казались мне ласково-ностальгическими... Испано-суиза 1932 года, красивая и уютная. Исключено, потому что она стоит слишком близко к кассе, но я мог бы обмануть служителя, если бы явился в knickerbockers, пропуская вперед даму в кремовом костюме, с длинным шарфом вокруг тоненькой шеи, в очаровательной шляпке-колокольчике на остриженной по-мужски головке. Ситроен C-64 1931 года был представлен только в разрезе, прекрасная учебная модель, но смехотворное укрытие. Не стоит даже говорить о паровой машине Кюньо, огромной — в буквальном смысле котел или, если хотите, кастрюля. Надо было посмотреть с правой стороны, где вдоль стены стояли велосипеды с большими колесами, похожими на цветки, бамбуковые draisienues, самокаты с плоской рамой, вроде детских, вызывающие в памяти джентльменов в цилиндрах, этих рыцарей прогресса, катящих через Булонский лес.

Напротив велосипедов — добротные кузова, соблазнительное убежище. Может быть, не панхард динавиа 1945 года, слишком прозрачный и узкий в своих аэродинамических формах, но, безо всякого сомнения, достойный внимания пежо 1909 года, истинная мансарда, альков. Достаточно забраться

внутри и вжаться в кожаные диванчики, и никто не заподозрил бы моего присутствия. Однако туда трудно влезть — один из охранников сидел прямо перед ним на скамье, спиной к велосипедам. Подняться на подножку в своем немного стесняющем движения, путающемся между ногами пальто с меховым воротником, в то время как он — гетры на ногах, фуражка в руке — угодливо открывает передо мною дверцу...

На мгновение я сосредоточился на обеиссанте 1873 года, первой французской машине на механической тяге, рассчитанной на двенадцать пассажиров. Если пежо был квартирой, то сейчас перед моими глазами — многоэтажный дворец. Но нечего и думать подступиться к нему, не привлекая всеобщего внимания. Это так же трудно, как спрятаться за экспонатами на выставке.

Я вновь пересек зал: статуя Свободы возвышалась, "éclairant le monde", на почти двухметровом цоколе, сделанном в виде носа корабля с заостренной рострой. Внутри скрывалось что-то вроде каюты, откуда через носовой иллюминатор видна была диорама нью-йоркской бухты. Хороший наблюдательный пункт; когда настанет полночь, можно обозревать, оставаясь в тени, хоры слева и неф справа, тогда как сзади прикрытием служит каменная статуя Грамма, обращенная лицом к другим коридорам, так как помещается в своего рода трансепте. Но при свете хорошо видно, есть ли кто-нибудь в каюте, и любой нормальный охранник, как только посетители выйдут, заглянет туда для успокоения совести.

Времени у меня было немного, закрывали в половине шестого. Я поспешил осмотреть прогулочную галерею. Ни один мотор не мог служить убежищем. Так же, как и стоящие по одной стороне большие корабельные двигатели, останки какой-то поглощенной водами "Лузитании", или огромный газовый мотор Ленуара с его разнообразием шестеренок. Нет, а если даже да, то, когда свет становился менее ярким и казался водянистым, проникая через серые витражи, меня опять охватывал страх при мысли о том, чтобы спрятаться среди этих животных, а затем опять увидеть их в потемках при свете электрического фонарика, ~~внушающих~~ в темноте, с тяжелым прерывистым тел-

лурическим дыханием, с костями и внутренностями, уже не покрытыми кожей, скрежещущих и воняющих маслянистой слюной. На этой выставке, которая мне начинала казаться гнусной — гениталии Дизеля, влагалища в форме турбины, неорганические глотки, которые в свое время изрыгали и, может быть, этой ночью опять будут изрыгать огонь, пар, шипение или будут безразлично жужжать, как жуки-рогачи, трещать, как цикады,— среди этих скелетообразных проявлений чистой абстрактной функциональности, автоматов, способных давить, пилить, перемещать, ломать, резать на куски, ускорять, тормозить, глотать со звуком взрыва, икать цилиндрами, выворачивать себе суставы, как зловещие марионетки, вращать барабаны, менять частоты, преобразовывать энергии, вертеть рулями,— как я смогу уцелеть? Они пойдут на меня, побуждаемые Властелинами Мира, по воле которых они здесь, чтобы говорить об ошибке творения, бесполезные приспособления, идолы господ низшего мира,— как я смогу сопротивляться и не поколебаться?

Мне нужно было уходить, уходить, все было чистым безумием, я чуть не ввязался в игру, которая свела с ума Джакомо Бельбо,— я, маловвер...

Я не знаю, хорошо ли я сделал в тот вечер, что остался. В противном случае я знал бы сегодня начало истории, но не конец. Или же я не был бы здесь, в одиночестве на этом холме, слушая отдаленный лай собак внизу в долине и спрашивая себя, действительно ли это конец или конец еще должен наступить.

Я решил идти дальше. Выйдя из церкви, я повернул налево рядом со статуей Грамма, вошел в одну из галерей и попал в отдел железных дорог: разноцветные уменьшенные модели локомотивов и вагонов показались мне ободряющими игрушками, фрагментами Бенгоди, голландского Мадуроадама, Италии в миниатюре... Теперь я привыкал к этому чередованию тревоги и непринужденности, ужаса и разочарования (а в самом деле, разве не так начинается болезнь?) и сказал себе, что видения в церкви смущали меня, потому что я пришел туда, зачарованный

страницами Джакомо Бельбо, которые расшифровал ценой тысячи загадочных ухищрений — хотя знал, что они фиктивны. "Ты в музее техники,— говорил я себе,— в музее техники, это вещь честная, может быть слегка туповатая, но это царство безобидных мертвецов, ты же знаешь, что такое музеи, никто еще не был сожран Джокондой — андрогинным чудовищем, Медуза — только для эстетов — тоже еще никого не сожрала, и тем более тебя не сожрет машина Уатта, которая могла испугать только аристократов, вдохновленных Оссианом и неоготикой, и именно поэтому она представляется такой патетически компромиссной, сама функциональность и коринфская элегантность, рычаг и капитель, котел и колонна, колесо и тимпан." Джакомо Бельбо, хоть и издавна, пытался заманить меня в ловушку галлюцинации, которая его погубила. "Надо,— говорил я себе,— вести себя, как ученый. Видано ли, чтобы вулканолог пал жертвой огня, как Эмпедокл? Убегал ли Фрэнк от преследования через Немийскую рощу? Ну же, будь Сэмом Спейдом. Ты должен только все досконально прочесть, это твоя работа. Женщина, которая прибрала тебя к рукам, должна умереть преждевременно и, возможно, от твоей руки. Бай-бай, Эмили, это было чудесно, но ты был бессердечным автоматом."

Однако волей случая за галереей транспорта следует холл Лавуазье, выходящий на монументальную лестницу, которая ведет на верхние этажи.

Это расположение шкатулок по обеим сторонам, это подобие алхимического алтаря в центре, эта литургия цивилизованной макумбы XVIII века действительно были результатом не произвольного размещения, а, напротив, символической хитрости.

Во-первых, обилие зеркал. Если есть зеркало — это человеческий момент: ты хочешь увидеть себя. А здесь ты себя не видишь. Ты ищешь себя, ты ищешь свое положение в пространстве, в котором зеркало сказало бы тебе: "Ты здесь, и это ты", и начинаешь ужасно страдать и тревожиться, потому что зеркала Лавуазье, будь они вогнутыми или выпуклыми, разочаровывают тебя, насмеваются над тобой: отступая назад, ты

находишь себя, затем перемещаешься — и теряешь себя. Этот катоптрический театр был устроен, чтобы лишить тебя всякой самоидентичности и внушить неуверенность насчет того, в каком месте ты пребываешь. Как бы говоря: "Ты не Маятник и не находишься в месте, в котором есть Маятник". И эта неуверенность овладевает не только тобой, но даже предметами, помещенными между тобой и другим зеркалом. Конечно, физика может объяснить, что происходит и почему: возьми вогнутое зеркало, которое собирает лучи, исходящие от предмета — в данном случае перегонный аппарат на медном котелке, — и зеркало отразит падающие лучи таким образом, что ты не увидишь предмета с его точными очертаниями в зеркале, но получишь призрачное видение, рассеивающееся, зависшее в воздухе и перевернутое, вне зеркала. Естественно, достаточно сместиться немного — и эффект исчезнет.

Но именно тогда я вдруг увидел себя, вверх ногами, в другом зеркале.

Невыносимо.

Что хотел сказать Лавуазье, на что хотели намекнуть режиссеры Хранилища? Нам известны все магии зеркал со времен арабского средневековья, от Альгазена. Стоило ли составлять Энциклопедию, внедрять Век Просвещения и делать Революцию только затем, чтобы подтвердить, что достаточно изогнуть поверхность зеркала, чтоб опрокинуться в мир фантазии? И разве не иллюзия нормального зеркала этот другой, обреченный быть вечным левшой, смотрящий на тебя каждое утро, когда ты бреешься? Не напрасны ли старания, если в этом зале не могут сказать ничего иного, и не сказали ли тебе это для того, чтобы ты стал смотреть по-другому на все остальное, на витрины, инструменты, которые якобы славят истоки физики и химии эпохи Просвещения?

Кожаная защитная маска для экспериментов с обжиганием. Да ну?! Неужто и впрямь господин со свечами под колоколом напояливал эту маску канализационной крысы, это украшение пришельца-завоевателя, чтобы не раздражать свои глаза? *Oh, how delicate, doctor Lavoisier.* Если он хотел изучать кинетическую теорию газов, зачем же с таким упорством реконструи-

ровал маленький золипил, этот крохотный клювик на сфере, который при подогреве вращается, изрыгая пар, коль скоро первый такой золипил был создан Героном во времена гнозиса как опорный механизм для говорящих статуй и других чудес египетских жрецов?

А это что такое — этот аппарат для исследования гнилостной ферментации, 1789 год, прелестный намек на зловонных ублюдков Демиурга? Набор стеклянных трубочек, которые проходят от матки в виде шара через сферы и каналы, поддерживаемые вилками, в два пузырька, и из одного перегоняют какую-то эссенцию в другой через змеевики, выходящие в пустоту... Гнилостная ферментация? *Balneum Mariae*, сублимация ртути, *mysterium conjunctionis*, производство Эликсира!

А машина для исследования ферментации (опять) вина? Набор хрустальных арок, идущих от атанора к атанору, выходящих из одного перегонного аппарата, чтобы попасть в другой? А это пенсне, и крохотные водяные часы, и маленький электроскоп, и линза, и лабораторный ножик, похожий на клинописный знак, шпатель, тонкая стеклянная пластинка, трехсантиметровый тигель из огнеупорной глины для создания гомункулуса величиной с гнома, малюсенькая матка для ничтожных схваток, коробочки из красного дерева, полные белых пакетиков, похожих на порошки сельского аптекаря, обернутых в кусочки пергамента, испещренные непереводаемыми знаками, якобы с минералогическими образцами, а в действительности с кусочками Плащаницы Василида, ковчежцы с крайней плотью Гермеса Трисмегиста, обойный молоточек, длинный и тонкий, чтобы возвестить начало какого-нибудь короткого Судного дня, палочка квинтэссенций для распыления у народца авалонских эльфов и несказанно маленький приборчик для анализа сгорания масел, стеклянные шарики, расположенные в виде лепестков четырехлистников, затем — четырехлистники, соединяющиеся между собой золотыми трубочками, и четырехлистники, соединяющиеся с другими трубочками, хрустальными, а эти последние — с медного цвета цилиндром, а потом — прямо вниз — другой цилиндр из золота и стекла, и другие трубочки, наклонные, свисающие отростки, яички, железы, наросты, гребешки... Это и есть со-

временная химия? И по сей причине надо было отправлять на гильотину автора, хотя при этом ничего не создается и ничего не разрушается? Или же его убили, чтобы заставить замолчать о том, что он с невозмутимым видом раскрывал, как Ньютон, который расправил крылья своего гения, но продолжал размышлять о Каббале и качественных сущностях?

Зал Лавуазье в Хранилище — это исповедь, зашифрованное послание, сжатое выражение сути всего Хранилища, насмешка над гордыней сильных умов, подкрепленных современным разумом, шепот иных тайн. Джакомо Бельбо был прав, Разум ошибался.

Я ускорил шаг — время поджимало. Вот метр, и килограмм, и меры — фальшивые гаранты гарантии. Я узнал со слов Аглиэ, что тайна пирамид открывается, если измерять их не в метрах, а в локтях. Вот арифметические машины, фиктивный триумф количественного, в действительности же — обещание скрытых качеств чисел, возвращение к истокам Нотарикона раввинов, убегающих через европейские степи. Астрономия, часы, автоматы — горе мне, если я снова задержусь среди этих новых откровений. Я вот-вот проникну в самую сердцевину тайного послания в форме рационалистического *Theatrum*, быстрее вперед, позже, между закрытием и полночью, я исследую эти предметы, принимающие в косом свете заката свое настоящее обличье — силуэты, а не инструменты.

Дальше через залы ремесел, энергии, электричества — в этих витринах я точно не смог бы спрятаться. По мере того как я открывал или интуитивно схватывал смысл этой последовательности, меня охватывала тревога, что я не успею найти укрытие, чтобы присутствовать при ночном обнажении скрытого смысла. Сейчас я двигался, как будто преследуемый часами и угрожающим нарастанием числа. Земля неумолимо вращалась, время приближалось, вот-вот меня выгонят.

Наконец я миновал галерею электрических устройств и попал в маленький зал стекла. По какой извращенной логике решили, что вслед за самыми передовыми и дорогостоящими

аппаратами, созданными современной изобретательностью, должна располагаться зона, отведенная практике, известной финикийцам тысячелетия назад? Эклектичный зал, где чередовались китайский фарфор и андрогинные вазы Лялика, гончарные изделия, майолика, фаянс, а в глубине, в огромной витрине — трехмерный и в натуральную величину лев, убивающий змею. Видимой причиной присутствия здесь этой скульптурной группы было то, что она целиком выполнена из стеклянной массы, но должна была существовать и другая, символическая причина... Я пытался вспомнить, где я уже видел это изображение. И наконец, вспомнил. Демиург, отвратительное произведение Софии, первый архонт, Иалдаваоф, несущий ответственность за мир и за его коренной дефект, имел форму змеи и льва, а его глаза испускали огненные лучи. Может быть, все Хранилище было аллегорией позорного процесса, из-за которого, от полноты первоосновы, Маятника, и от сияния Плеромы, от зона к зону, огдоада расслаивается и достигает космического царства, где правит Зло. Но тогда эти змея и лев подавали мне знак, что мое инициационное путешествие — увы, *à rebours* — подходило к концу, и скоро я увижу мир вовсе не таким, каким он должен быть, а таким, каким он есть.

И действительно, я заметил, что в правом углу, напротив окна, стоит кабина Periscope. Я вошел. И оказался перед стеклянной пластиной, как на приборном щитке, на которой я увидел сменявшиеся кадры фильма, очень неясные, — вид города. Затем я понял, что картинки проецировались с другого экрана, расположенного над головой, но там они появлялись вверх ногами; этот второй экран был окуляром примитивного перископа, сделанного как бы из двух больших труб, вставленных одна в другую под тупым углом, а самая длинная труба высывалась из кабины над головой и доходила за моей спиной до расположенного сверху окна, через которое, очевидно, благодаря внутренней системе линз, обеспечивавших большой угол зрения, она воспринимала образы извне. Прикинув, как высоко я поднялся, я понял, что перископ позволял мне видеть улицу так, как если бы я смотрел через верхние витражи в апсиде церкви Сен-Мартен, как если бы я был привязан к Маятнику — послед-

нее видение повешенного. Я получше приспособил зрачок к этому бледному изображению; теперь мне была видна улица Вокансон, на которую выходили хоры, и улица Конте — идеальное продолжение нефа. Улица Конте слева выходила на улицу Монгольфье, а справа — на улицу Тюрбиг, причем на обоих углах были бары: "Уик-Энд" и "Ротонда", а напротив был расположен фасад с надписью, которую я с трудом прочел: "ФИРМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ JACSAM". Перископ. Не очень-то логично, что он находится в зале стекла, а не в зале оптических приборов, знак того, что наружное наблюдение важно вести именно в этом направлении, именно из этой точки, но я не понимал смысла этого выбора. Зачем эта позитивистская, взятая прямо из романов Жюль Верна кабина рядом с символической приманкой в образе льва и змеи?

Во всяком случае, если у меня хватит силы и смелости провести здесь еще несколько десятков минут, охранник меня, может быть, не заметит.

Я был подводником в течение времени, которое показалось мне бесконечным. Я слышал шаги запоздавших посетителей, шаги последних охранников. Меня искушало желание забиться под экран, чтобы лучше укрыться от возможного случайного взгляда, но я удержался, потому что если бы меня вдруг обнаружили в положении стоя, я мог бы сделать вид, будто я — рассеянный посетитель, который продолжает наслаждаться чудом...

Чуть позже свет погас, и зал погрузился в полутьму, зато в кабине стало менее темно, так как ее слабо освещал экран, с которого я все еще не сводил глаз, потому что он являлся моим последним контактом с миром.

Осторожность требовала, чтобы я торчал на ногах, а если бы ноги заболели — на корточках по меньшей мере в течение двух часов. Время закрытия для посетителей не совпадает со временем ухода служащих. Я пришел в ужас, подумав об уборке: а вдруг сейчас начнут вылизывать все залы до мельчайшего закутка? Но потом я решил, что поскольку музей поздно открывается, то технический персонал, вероятно, работает при днев-

ном свете, а не с наступлением вечера. Должно быть, так и было, по крайней мере в залах наверху, потому что я больше не слышал ничьих шагов. Только отдаленный гул, какие-то резкие звуки — возможно, стук закрывающихся дверей. Я должен был оставаться неподвижным. Мне надо прийти в церковь между десятью и одиннадцатью, может быть даже позже, потому что Властелины должны появиться только к полуночи.

В этот момент группа молодежи выходила из "Ротонды". Какая-то девушка перешла на другую сторону улицы Конте и свернула на улицу Монгольфье. Это был не очень оживленный квартал: выдержу ли я, целыми часами глядя на бесцветный мир, находящийся позади меня? Но если здесь есть перископ, то, может быть, он должен передавать мне послания особого, тайного значения? Я почувствовал давление в мочевом пузыре; не надо об этом думать, это чисто нервное.

Сколько всего приходит в голову, когда сидишь один в подполье у перископа. Наверное, так чувствует себя тот, кто прячется в трюме корабля, чтобы уплыть в далекие края. Конечным пунктом должна была быть статуя Свободы с диорамой Нью-Йорка. Может быть, лучше, чтобы меня сморил сон? Нет, я могу слишком поздно проснуться...

Больше всего надо было опасаться приступа тревоги: когда ты уверен, что сейчас закричишь. Перископ, подводная лодка, застрявшая на дне; возможно, вокруг уже плавают большие черные рыбы океанских глубин, а ты их не видишь, ты одинок, и тебе сейчас не хватит воздуха...

Я несколько раз глубоко вздохнул. Сосредоточиться. Единственное, что в такие моменты не изменяет, — это список белья, сданного в прачечную. Вернуться к фактам, перечислить их по порядку, определить причины и следствия. Я здесь по этой причине и еще по одной...

Всплыли воспоминания, ясные, точные, упорядоченные. Воспоминания последних трех бурных дней, затем двух последних лет, смешанные с воспоминаниями сорокалетней давности в том виде, в котором я их обнаружил, насилуя электронный мозг Джакомо Бельбо.

Я вспоминаю (и вспоминал), чтобы придать какой-то смысл нашему неудавшемуся творению. Сейчас, как и в тот вечер в перископе, я свернулся калачиком в дальней точке своего ума, чтобы оттуда эманировала какая-то история. Как Маятник. Диоталлеви говорил мне: первая сефира — это Кетер, Венец, начало, первичная пустота. Он создал сначала точку, которая стала Мыслью, и там он начертил все образы... Он был и не был, заключенный в имени и ускользающий от имени, у него еще не было другого имени, кроме "Кто?", чистое желание быть названным по имени... Вначале он начертил знаки в ауре, темное пламя вырвалось из самых сокровенных его глубин, как бесцветный туман, который придает форму бесформенному, и как только оно начало распространяться, в его центре сформировался источник, из которого били языки пламени, изливаясь, чтобы осветить низшие сефирот, вниз, до самого Царства.

Но, может быть, в этом *tsimtsum*, в этом отступлении, в этом одиночестве, говорил Диоталлеви, уже заключалось обещание возвращения.

II

XOKMA



In hanc utilitatem clementes angeli saepe figuras, characteres, formas et voces invenerunt proposueruntque nobis mortalibus et ignotas et stupendas nullius rei iuxta consuetum linguae usum significativas, sed per rationis nostrae summam admirationem in assiduam intelligibilium pervestigationem, deinde in illorum ipsorum venerationem et amorem inductivas.

(Johannes Reuchlin. *De arte cabalistica*, Хагенхау, 1517, III)

Это случилось два дня назад. В тот четверг я нежился в постели и не мог заставить себя встать. Я приехал накануне, во второй половине дня, и позвонил в издательство. Диоталлеви все еще находился в больнице, а Гудрун по-прежнему была настроена пессимистично с тенденцией к худшему, поэтому я не решился ее беспокоить.

Бельбо тоже не было на работе. Гудрун сообщила мне, что он звонил накануне и предупредил, что должен уехать по семейным делам.

Какая семья? Странно, что он забрал с собой word процессор, который почему-то называл Абулафия, и принтер. Гудрун объяснила, что Бельбо установил все это дома, чтобы закончить какую-то работу. Зачем столько хлопот? Разве нельзя было поработать в офисе?

Я чувствовал себя одиноким. Лия и малыш должны были возвратиться только на следующей неделе. Вчера вечером я заскочил к Пиладу, но никого там не застал.

Поток моих мыслей прервал телефонный звонок. Звонил Бельбо, его измененный голос доносился словно издалека.

— Алло, откуда вы звоните? Я вас потерял на Дамской улице в восемнадцатом номере...

— Не смейтесь, Казобон, это серьезно. Я в Париже.

— В Париже? Но ведь это я должен был ехать туда. Именно я должен наконец посетить Хранилище.

— Бросьте шутить, прошу вас. Я говорю из автомата в баре, не знаю, смогу ли долго разговаривать.

— Если у вас мало жетонов, позвоните по системе "оплата за счет адресата". Я подожду.

— Дело не в жетонах. Я влип в одно дело...— И он начал говорить быстро, чтобы я не мог его прервать.— План. План — настоящий. И, пожалуйста, не переубеждайте меня. Они идут за мной по пятам.

— Но кто? — Я все еще плохо его понимал.

— Тамплиеры, черт побери, Казобон. Я знаю, что вы не хотите этому верить, но все оказалось правдой. Они думают, что я прячу карту. Они выследили меня и заставили приехать в Париж. Они хотят, чтобы в субботу в полночь я пришел в Хранилище, в субботу, вы понимаете, в ночь святого Иоанна...— Он начал говорить бессвязно, и мне трудно было уследить за смыслом.— Но я не хочу туда идти, я убегаю, Казобон, у них хватит смелости меня убить. Дайте знать об этом Де Анжелису, нет, это бесполезно, но только никакой полиции, я вас умоляю...

— Как же быть?

— Я и сам не знаю. Прочтите дискеты на Абулафии, в последние дни я все на них записывал, даже то, что произошло в прошлом месяце. Вас тогда не было, я не знал, кому все рассказать, я записывал в течение трех дней и ночей... Пожалуйста, послушайте. В офисе, в ящике моего стола, лежит конверт с двумя ключами. Большой ключ вам не нужен, он от моего загородного дома, а маленький — от моей квартиры в Милане. Поезжайте туда и прочтите все, а потом вы сами решите, как быть... Боже, что делать, не знаю...

— Хорошо, я прочту. Но где я вас потом найду?

— Не знаю. Здесь мне приходится каждую ночь менять гостиницу. Постарайтесь сделать все, о чем я вам говорил, сегодня и ждите завтра утром у меня дома. Я попробую опять позвонить, если удастся. Господи, как же мне сообщить вам код...

В этот момент я услышал шум, голос Бельбо то удалялся, то приближался с разной степенью интенсивности, как будто кто-то пытался вырвать у него трубку.

— Бельбо! В чем дело?

— Они меня нашли, код...

Сухой треск, словно выстрел. Вероятно, трубка, падая, ударилась о стену или подставку под телефоном. Итак, схватка началась. Затем послышался хруст разбиваемой трубки. Конечно, это сделал не Бельбо.

Я немедленно направился в душ. Мне надо было окончательно проснуться. Я не понимал, что происходит. План оказался настоящим? Что за чушь, ведь мы сами его придумали. Кто захватил Бельбо? Розенкрейцеры, граф де Сен-Жермен, Охранка, рыцари Храма, ассасины? Дело приняло такой оборот, что все стало возможным, даже невероятное. Быть может, у Бельбо помутился рассудок: в последнее время он жил в таком напряжении. Я не мог понять, почему — то ли это было связано с делом Лоренцы Пеллегрини, то ли Бельбо все более обольщался своим творением. Хотя План был общим — мой, его, Диоталлеви, — но именно Бельбо втянулся в эту затею сверх всякой меры, перестав воспринимать ее как игру. Однако сейчас бесполезно строить гипотезы. Я бросился в издательство. Гудрун встретила меня кислым взглядом и замечаниями по поводу того, что сегодня ей одной пришлось заниматься делами фирмы. Я быстро прошел в офис, нашел конверт и побежал в квартиру Бельбо.

Затхлый запах закрытого помещения, кучи окурков в пепельницах, в кухне — мойка, полная грязных тарелок, мусорное ведро, набитое пустыми консервными банками. В кабинете на полке три пустые бутылки из-под виски, в четвертой — еще осталось на два пальца напитка. Так выглядела квартира человека, который провел в ней несколько дней безвылазно, питаясь тем, что попадалось под руку, работая как сумасшедший, как угорелый.

Квартира состояла из двух комнат; все углы были завалены книгами, полки изнывали под их тяжестью. Наконец я увидел стол с компьютером, принтером, дискетами. На стенах, в промежутках, незанятых книгами, — несколько диковинных картин, а прямо над столом — гравюра XVII века, аккуратно вставленная в

рамку, аллегория, которую я не заметил месяц назад, когда заходил выпить пива перед отъездом в отпуск.

На столе — фотография Лоренцы Пеллегрини с надписью, сделанной мелким и немного детским почерком. На фотографии только лицо, но меня поразил взгляд, этот взгляд. Движимый чувством деликатности (или ревности?), я повернул фото, не читая надписи.

Лежали здесь также бумаги. Я начал просматривать их, но не было ничего интересного — все касалось издательских дел. Однако среди этих документов я обнаружил некий *file*, который, судя по дате, относился к периоду первых экспериментов с word процессором. Действительно, он назывался "Абу". Мне припомнились почти детский энтузиазм Бельбо, ворчанье Гудрун, следы иронии на лице Диоталлеви, когда Абулафия впервые появилась в нашем издательстве.

Без сомнения, "Абу" — это был личный ответ Бельбо, брошенный клеветникам, мальчишеская проделка неопита, но многие также говорили о том, с каким неистовством Бельбо набрасывался на машину. Он, который с бледной улыбкой всегда утверждал, что с момента, когда он обнаружил, что не может быть протагонистом, решил остаться умным наблюдателем (бесполезно что-либо сочинять, если на это нет серьезных причин, лучше уж переписывать книги других), таков был дружеский совет одного издателя, — именно Бельбо отнесся к этой машине как к своего рода галлюциногену и принялся бегать пальцами по ее клавиатуре, словно исполнял вариации на тему "Маленького горца" на старом домашнем пианино, не опасаясь чьего-либо осуждения. Творить он не собирался: он знал, что в данном случае речь идет не о творчестве, а скорее о доказательстве электронной точности, о разновидности гимнастического упражнения. Однако, забыв о своих обычных мечтах, он находил в этой игре с машиной как бы формулу возвращения к молодости, что так свойственно пятидесятилетнему мужчине. Во всяком случае, его врожденный пессимизм, его зацикленность на ошибках прошлого расплавлялись в диалоге с механической памятью — объективной, послушной, безответственной,

напичканной транзисторами, такой человеческой в своей нечеловечности, что она помогла ему убежать от преследовавшей его боли существования.

FILENAME: Абу

О, какое прекрасное раннее утро конца ноября, сначала было слово, спой мне, о богиня Ахилл сын Пелея женщина рыцарь оружие любовь. Точка — и сам возвратись в начало. Пробуй, пробуй, пробуй, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, возьми подходящую программу и создавай анаграммы, если ты написал целый роман о герое с Юга, которого зовут Ретт Батлер, и о юной капризной девушке по имени Скарлетт, а потом пожалел об этом, то достаточно только дать команду, и Абу изменит всех Реттов Батлеров на князей Андреев, всех Скарлетт на Наташ, а Атланту на Москву — итак, ты написал о войне и мире.

Абу, сейчас сделай так: я печатаю фразу, даю команду — заменить в ней каждое "а" на "акка" и каждое "о" на "улла", и, в результате фраза звучит почти по-фински.

Аккабу, сейчаккас сделаккай таккак: я печаккатаккаю фракказу, даккаю кулламакканду — заккаменить в .ней каккаждуллае "акка" накка "аккакка" и каккаждуллае "улла" накка "уллакка", и, в результаткате, фракказакка звучит пуллачти пулла-фински.

О радость, о упоение разнообразием, о мой идеальный читатель/писатель, страдающий от идеальной бессонницы, о прелестная и благодушная бестия. Он не помогает тебе думать, но помогает думать вместо него. До чего же умна машина! Если пишешь гусиным пером, приходится царапать им бумагу, поминутно макать в чернильницу, обливаясь потом, мысли громоздятся одна на другую, рука не поспевает за ними, если же печатаешь на машине, то ты не можешь придерживаться скорости своих нервных синапсов, все подчинено только неуклюжему ритму механики. Пальцы дают волю фантазии, разум холит кла-

виатуру, уносясь на ее золоченых крыльях, строгий критический ум медитирует наконец, погружаясь в состояние счастья.

И в то, что яде лаю, беру этот блок орфигрофичен треа-топологии и лад машин в встем в память, а птм повтрить на экране нище.

Это я набивал вслепую, а теперь я взял этот блок орфографической тератологии и дал команду машине представить ошибки на мои очи, но на этот раз я их исправил, и вот появился удобочитаемый, совершенный текст — из мусорного ведра я извлек Академический словарь.

Я мог бы изменить задание и стереть первый блок: оставляю его только потому, что хочу показать, как на одном экране могут сосуществовать то, что есть, и то, что должно быть, то есть случайность и необходимость. Я мог бы удалить позорный блок, но только из видимого текста, а не из памяти машины, создавая таким образом архив удаленных вещей. Я получал тем самым возможность избежать нападок фрейдистов и оставить себе ремесло и славу академиков.

Машинная память лучше человеческой, которая, порой ценою тяжелых усилий, учится запоминать, но не забывать. Диоталлеви восхищался способностью нашей памяти воссоздавать дворцы с монументальными лестницами и со статуей воина, который совершает ужасное насилие над беззащитной женщиной; потом — коридоры с сотнями комнат, каждая из которых — чудо; неожиданные видения, тревожные события, воскресшие мумии, и с каждым образом, исключительно запоминающимся, ты ассоциируешь мысль, категорию, элемент космической связи, просто силлогизм, неизмеримый сорит, цепи апофегм, колье из гипполаг, розы из зевгм, танцы гистеронов-протеронов, приступы логорреи, иерархии стойкеи, процессии эквинокса, параллаксы, скопления водорослей, генеалогии гимнософистов — и далее в бесконечность — о Раймонд, о Камилло, которым достаточно было охватить разумом ваши видения, чтобы вы точно воссоздали великую цепь бытия, в *love and joy*, поскольку все, что из Вселенной попадает в ваш разум, уже было связано воедино вашим духом, так что Пруст вызвал бы у вас лишь улыбку.

Но когда мы с Диоталлеви задумали создать некий *ars oblivionalis*, нам не удалось найти правила забывания. Это бесполезно, ты можешь отправиться на поиски потерянного времени по едва различимым следам, как это делал Мальчик-с-Пальчик в лесу, но тебе не удастся сознательно потерять обретенное время. Мальчик-с-Пальчик всегда возвращается, как навязчивая идея. Способа забывания не существует, мы все еще в этом подчиняемся естественным процессам случайности — церебральные нарушения, амнезия, или примитивная импровизация, или, скажем, путешествие, опьянение, гипноз, самоубийство.

Абу, напротив, может довести тебя только до местных маленьких самоубийств, лишь до временной амнезии и до болезненной потери речи.

Где ты была вчера вечером, Л

Ну вот, нескромный читатель, ты никогда об этом не узнаешь, но эта неоконченная фраза, обращенная в пустоту, была началом длинного предложения, которое я написал, но потом стер, поскольку даже не хотел бы, чтобы написанное пришло мне в голову. Достаточно одной команды — и уже молочная пена разлилась по злополучному и нежелательному блоку; я нажал на клавишу "cancel", и — пшик, написанное исчезло.

Но это еще не все. Трагедия самоубийцы состоит в том, что едва он выпрыгнет из окна, как между восьмым и седьмым этажом вдруг возникает мысль: "Ах, если б я мог вернуться!" Поздно. Уже ничего не поделаешь. Брр-р! Ужас. В отличие от подобной картины Абу — всепрощающая, она позволяет тебе раскаться, тебе удастся восстановить старый текст, если вовремя опомнишься и нажмешь клавишу "recover". Какое облегчение знать, что можешь вспомнить что-то, а когда захочешь — тут же забыть.

Никогда уже я не буду праздно шататься по барам и уничтожать неприятельские корабли трассирующими пулями до тех пор, пока они не уничтожат меня. Тут лучше дезинтегрируешь мысли. Это — галактика, состоящая из миллионов астероидов, установленных в ряд, зеленых и белых, созданных твоим воображением. Да будет свет, Большой Взрыв, семь дней, семь

минут, семь секунд — и вот на твоих глазах рождается вечно распадающаяся вселенная, где не существуют космологически выверенные линии и временные связи, кроме *numerus* Клаузиуса, здесь можно даже перемещаться во времени, образы возникают и возникают вновь, словно тянутся из небытия и покорно возвращаются обратно, а когда ты перебираешь их в памяти, переставляешь, стираешь, они растворяются и резктоплазмируются в своей естественной среде; это подводная симфония созвучий и мягких разломов диссонансов, желеподобный танец комет-автофагов, снующих словно щучье тело *Yellow Submarine*, стоит тебе только пошевелить кончиком пальца, как неизбежное начинает скользить за прожорливым словом и наконец исчезает в его ненасытной пасти, она всасывает, и ам-м-м! — темнота, если ты не остановишься, сожрет самое себя и разжиреет от своего небытия словно черная дыра Чешира.

А если ты пишешь о том, что достойно стыдливого умолчания, все останется на дискете, на которую ты введешь пароль, и никто не сможет прочитать твоё сокровенное, даже секретные агенты; в каком-то безопасном месте ты записываешь содержание и, приняв меры предосторожности, забрасываешь диск в карман и не морочишь больше себе голову, даже сам Торквемада никогда не узнает, что ты там записал; только ты и он (Он?). Предположим, тебя пытаются; тогда ты делаешь вид, что хочешь признаться и набрать пароль, а сам тем временем нажимаешь тайную клавишу — и информация исчезает.

Ох, я что-то записал, но случайно задел пальцем, и все улетучилось. О чем там шла речь? Я не помню. Я лишь знаю, что я не раскрывал никакого Послание. Но кто знает, может быть, позже.

Тот, кто старается проникнуть в Сад философов без ключа, напоминает человека, который хочет ходить без помощи ног.

(Michael Maier. *Atalanta Fugiens*, Оппенгейм, De Bry, 1618, эмблема XXVII)

Мне ничего другого не оставалось, как найти. Надо поискать в дискетах word процессора. Они были классифицированы по номерам, и я подумал, что стоит начать с первой. Но Бельбо упомянул о пароле. Он всегда ревностно относился к секретам Абулафии.

Естественно, как только я вставил дискету в компьютер, на экране появился вопрос: "У тебя есть пароль?" Бельбо был человеком вежливым, он избегал выражений в повелительном наклонении.

Машина не хочет со мной сотрудничать, она четко знает, что должна получить пароль, пароля нет, поэтому она молчит. Как будто говорит мне: "Подумай только, все, что ты хочешь знать, находится здесь, в моем нутре, но ты рой, рой, старый крот, все равно ничего не получишь". И сказал я себе: "Ты с таким удовольствием играл в перестановки с Диоталлеви, был Сэмом Спейдом в издательском деле, а теперь, как, бывало, говорил Джакомо Бельбо, поищи-ка мальтийского сокола".

Ключевое слово для Абулафии могло состоять из семи букв. Сколько перестановок семи букв можно сделать с двадцатью пятью буквами алфавита, учитывая также повторения, чтобы нужным словом оказалось, например, слово "кадабра"? Есть некая формула, согласно которой результат равен приблизительно шести миллиардам. Предположим, существует гигантский калькулятор, способный произвести шесть миллиардов перестановок со скоростью один миллион в секунду, затем для проверки каждый вариант надо ввести в Абулафию, а я знал, что ей потребуется десять секунд, чтобы запросить, а потом сравнить пароль. Итого: шестьдесят миллиардов секунд. С учетом того, что в году немногим более тридцати одного миллиона

секунд, пусть тридцать — для круглого счета, эта работа заняла бы около двух тысяч лет. Неплохо.

Надо было продолжать строить догадки. Какое слово мог выбрать Бельбо? Придумал ли он его в самом начале работы с машиной или изменил в последние дни, когда осознал, что дискеты содержат сенсационный материал и что, по крайней мере для него, игра перестала быть игрой? В последнем случае оно было бы совсем другим.

Стоило, пожалуй, остановиться на второй гипотезе. Бельбо чувствовал, что его преследует План, он воспринял План серьезно (именно это он дал мне понять по телефону), а значит, подумал о каком-то слове, связанном с нашей историей.

А возможно, и нет: слово, связанное с Традицией, могло и Им прийти в голову. Вдруг я подумал, что, может быть, Они уже вторглись в квартиру Бельбо, сняли копию с дискеты и в этот самый момент пытаются испробовать всевозможные варианты, сидя где-то в захолустье. Суперкалькулятор в каком-нибудь замке в Карпатах.

"Ну и глупость,— подумал я,— это не те люди, которые работают с калькулятором, они использовали бы Нотарикон, Гематрию, Темуру, относясь к дискетам как к Торе. И потратили бы столько времени, сколько потребовалось бы на редактирование "Sefer Jesirah". Однако не стоило отбрасывать и это предположение. Если Они действительно существуют, то их должна была бы вдохновлять Каббала, и коль скоро Бельбо убедился в Их существовании, он, вероятно, следовал по тому же пути.

Для очистки совести я испробовал десять сефирот — Кетер, Хокма, Бина, Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Иесод, Малкут — и для полной картины добавил Шехину... Машина, естественно, молчала: речь шла об идее, которая могла бы прийти на ум каждому.

А значит, пароль должен быть чем-то очевидным, чем-то, что могло всплыть само собой, потому что когда работаешь над текстом с полным погружением в него, как, наверное, работал Бельбо в последние дни, то невозможно вырваться из плена мира терминов, в котором постоянно пребываешь. Жестоко

думать, что он из-за Плана потерял рассудок и что ему пришло в голову что-то связанное с Линкольном или Момбассой. Это должно быть нечто, имеющее отношение к Плану. Но что?

Я попытался уподобить свои мысли мыслям Бельбо, который писал, куря сигарету за сигаретой, выпивая и оглядываясь вокруг. Я пошел в кухню и налил себе последние капли виски в единственный чистый стакан, который я там нашел, вернулся к столу с гнутыми ножками, развалился в кресле, положил ноги на стол и, отпивая виски маленькими глотками (ну чем я не Сэм Спейд или нет, скорее, ковбой Марлоу?), стал блуждать взглядом вокруг. Книги находились слишком далеко от меня, чтобы я мог прочесть названия на корешках.

Я сделал последний глоток виски, закрыл глаза, потом снова их открыл. Передо мной была гравюра XVII века — типичная аллегория розенкрейцеров того времени, богатая закодированными посланиями, которые могли помочь в поисках членов Братства. Без сомнения, она представляла Храм розенкрейцеров; башня, увенчанная куполом, согласно канонам иконографии эпохи Возрождения как христианским так и иудейским, должна была напоминать о том, что Иерусалимский храм восстановлен по типу мечети Омара.

Пейзаж вокруг башни был таким же абсурдным, как и в ребусах, где изображены какой-то дворец, лягушка на первом плане, мул с поклажей, король, принимающий дар от пажа. На гравюре слева внизу дворянин вылезал из колодца, цепляясь за лебедку, прикрепленную с помощью нелепых блоков — через круглое окно — к какой-то опорной точке внутри башни.

В центре — всадник и пешеход, справа — коленопреклоненный паломник, опирающийся на большой якорь, словно на посох. С правой стороны, почти напротив башни, — вершина скалы, с которой падает человек, преследуемый в падении своей шпагой, а с противоположной стороны, в перспективе, — гора Арарат и Ковчег, стоящий на якоре на ее вершине. Сверху, по углам, две тучи, каждая освещена звездой, которая посылает косые лучи на башню, а вдоль этих лучей левитируют две фигуры: голый мужчина, обвитый кольцами змея, и лебедь. Сверху в центре — увенчанный словом "восток" нимб, на который нало-

жена древнееврейская надпись, из нимба выступает рука Бога, держащая за веревку башню.

Башня двигалась на колесах, первый ее уровень был квадратным с окнами, дверьми и подъемным мостом на правой стене, а выше — что-то наподобие галереи с четырьмя наблюдательными башенками, в каждой из них стоял воин со щитом (исписанным древнееврейскими буквами), размахивающий пальмовой ветвью. Но было видно только троих, четвертый лишь угадывался, скрытый глыбой восьмиконечного купола, над которым возвышалась башня-маяк, также восьмигранная, из нее торчала пара громадных крыльев. Еще выше — купол поменьше, на нем четырехугольная вышка с большими арками, опирающимися на изящные колонны, внутри ее видна колокольня. Еще выше находился последний маленький купол на четырех парусах, к его оси была привязана веревка, которую сверху поддерживала Божья рука. На боковых стенках маленького купола было написано "Fa/ma", а сверху картуш: "Collegium Fraternitatis"

Странности на этом не заканчивались: из двух других круглых окон башни слева торчала диспропорционально огромная по отношению к другим фигурам рука со шпагой, якобы принадлежащая крылатому существу, закрытому в башне, а справа — огромная труба. Опять эта труба...

У меня возникло подозрение относительно количества отверстий: слишком многочисленные и аккуратно расположенные в верхних башнях, они встречались изредка в стенах основания. Со стороны всадника башня была видна только на две четверти, и можно было представить, что, судя по симметрии, двери, окна и бойницы, расположенные на одной стороне, повторялись в том же порядке на другой. Итак, четыре арки в башне с колокольней, восемь окон в башне-маяке, четыре башенки, шесть отверстий между восточным и западным фасадами, четырнадцать — между северным и южным. Достаточно суммировать: тридцать шесть отверстий.

Тридцать шесть. Это число меня преследовало на протяжении десяти лет. Как и число сто двадцать. Роза-Крест. Сто двадцать, деленное на тридцать шесть, равно — с точностью до

семи цифр — 3,333 333. Совершенное преувеличение, но, может быть, стоит попробовать. Попробовал. Безуспешно.

Мне пришло в голову, что, умножив это число на два, я получу число Зверя, 666. Но эта догадка также выглядела слишком фантастично.

Вдруг в глаза мне бросился центральный нимб, Божественный трон. Древнееврейские буквы были видны так хорошо, что я их прочитал, не вставая со стула. Но ведь Бельбо не мог ввести древнееврейские буквы в Абулафию. Я присмотрелся более внимательно: да, без сомнения, я их узнаю: справа налево — *jod, he, waw, he*. Яхве, имя Бога.

И начини комбинировать это слово, то есть IHVN, и ис-
следуй все возникающие сочетания, и переставляй
буквы, и верти ими, словно колесом...

(Abulafia. *Hayyê ha-Nefeš*, MS. Мюнхен 408)

Имя Бога... Ну конечно же! Я вспомнил разговор между
Бельбо и Диоталлеви в тот день, когда Абулафию установили в
офисе.

Диоталлеви стоял на пороге своей комнаты и всем своим
видом выражал снисходительность. Его снисходительность бы-
ла всегда оскорбительна, но Бельбо, казалось, воспринимал ее
так же снисходительно.

— Она тебе ни к чему. Ты же не собираешься с ее помощью
переписывать все те рукописи, которые даже не читаешь?

— Она нужна мне для классификации, упорядочивания кар-
тотеки, пополнения каталогов. Я смогу написать на ней соб-
ственный текст, а не то, что пишут другие.

— Но ты же клялся, что никогда не будешь сочинять.

— Да, я клялся, что не огорчу мир появлением еще одного,
никому не нужного манускрипта. Я говорил, что поскольку при-
шел к выводу, что никогда не буду протагонистом...

— ...ты будешь наблюдателем-интеллектуалом. Знаю. Ну и
что?

— А то, что даже наблюдатель-интеллектуал, возвращаясь с
концерта, напевает понравившуюся мелодию. Но этим я вовсе
не хочу сказать, что он претендует на дирижирование в Карнеги
Холл...

— Значит, ты все-таки попробуешь делать литературные на-
певы, чтобы выяснить, стоит ли тебе писать?

— Это честная постановка дела.

— Ты так думаешь?

Оба, Диоталлеви и Бельбо, были уроженцами Пьемонта, и
они часто рассуждали по поводу способности пьемонтцев лю-
безно выслушать собеседника, глядя прямо в глаза, чтобы за-
тем сказать "Ты так думаешь?" тоном, который на первый

взгляд означает вежливую заинтересованность, а на самом деле дает тебе почувствовать всю глубину неодобрения. Я был, по их утверждению, варваром, которому не дано постичь подобные "тонкости".

— Варваром?!— протестовал я.— Хотя я и родился в Милане, но моя семья — из пьемонтских окрестностей...

— Ерунда, пьемонтца сразу видно по его скептицизму.

— А разве я не скептик?

— Нет, ты просто малOVER, а это — разные вещи.

Я понимал, почему Диоталлеви презирал Абулафию. Он знал, что с помощью машины можно изменить порядок слов до такого предела, что данный текст обретет противоположный смысл содержание и даже зазвучит со смутным оттенком пророчества. Бельбо пытался ему это объяснить: "Речь идет о перестановке слов. Разве это не Темура? Разве не то же самое делает благочестивый раввин, чтобы достичь ворот Славы?"

— Друг мой,— отвечал ему Диоталлеви,— ты никогда ничего не поймешь. Действительно, Тора — я имею в виду ту, что мы видим — является только одной из возможных перестановок букв Торы вечной, какой ее задумал Господь и вручил Адаму. А переставляя буквы Книги в течение веков, можно опять прийти к первоначальной Торе. Однако важен не результат. Процесс — вот главное, та вера, с которой ты будешь вращать жернова своих молитв и святого писания, чтобы шаг за шагом открывать истину. Если бы эта машина явила тебе всю истину сразу, то ты бы ее не узнал, поскольку твое сердце не было очищено долгим вопрошанием. И где — в каком-то офисе! Книгу надо вышептывать, еле двигая губами, в тесной лачуге в гетто, где день за днем ты учишься склонять голову и складывать руки так, чтобы между рукой, которая держит Книгу, и рукой, переворачивающей ее страницы, почти не было пространства. А когда ты увлажняешь кончик пальца, то должен держать его строго вертикально перед губами, как если б ты разламывал хлеб азим, следя, чтобы не упало ни крошки. Слово надо прожевывать медленно-медленно, растворяя его, следующее слово можешь вымолвить, если позволишь ему растопиться на языке, и при этом надо тоже быть внимательным, чтобы не брызнуть слюной

на платье, потому что, если хотя бы одна буква испарится, порвется нить, которая должна была связать тебя с высшими сефирот. Вот чему посвятил свою жизнь Абрахам Абулафия, в то время, когда ваш святой Фома пытался найти Бога, шагая своими пятью тропинками. "Hokmath ha-Zeruf" — наука о сочетании букв и одновременно об очищении сердец. Мистическая логика, мир букв и вовлечение их в круговорот бесконечных перестановок — это мир красоты и блаженства, наука комбинирования — это музыка мысли, но надо при этом действовать медленно, осторожно, поскольку твоя машина может довести тебя до исступления, а не до экстаза. Многие из учеников Абулафии не смогли удержаться на этом узком пороге, который отделяет созерцание имен Бога от магических опытов, от манипуляций с именами, чтобы превратить их в талисман, в орудие господства над природой. Но они не знали, как не знаешь ты и твоя машина, что каждая буква связана с определенной частью тела, а если ты переставишь хотя бы одну согласную, не зная ее силы, то одна из твоих конечностей может изменить положение, и ты окажешься зверски искаленным: снаружи — на всю жизнь, изнутри — на целую вечность.

— Послушай,— сказал ему Бельбо в тот же день.— Ты меня не разубедил, а наоборот — ободрил. Для моих распоряжений у меня есть личный Абулафия, как у твоих друзей был Голем. Я назову его Абулафия, а для друзей — просто Абу. И мой Абулафия будет более прозорливым и почитаемым, чем твой. И скромнее. Не состоит ли проблема в том, чтобы найти все комбинации имени Бога? Хорошо, загляни в этот учебник, здесь есть программка на языке Basic для перестановок четырех знаков. Кажется, будто она специально создана для слова IHVN. Вот она. Хочешь, чтобы я ее ввел?

И он показал ему программу, именно программу, каббалистическую для Диоталлеви:

```
10 REM anagrammi
20 INPUT L$(1),L$(2),L$(3),L$(4)
30 PRINT
40 FOR I1=1 TO 4
```

```

50 FOR I2=1 TO 4
60 IF I2=1 THEN 130
70 FOR I3=1 TO 4
80 IF I3=1 THEN 120
90 IF I3=2 THEN 120
100 LET I4=10-(I1+I2+I3)
110 LPRINT L$(I1);L$(I2);L$(I3);L$(I4)
120 NEXT I3
130 NEXT I2
140 NEXT I1
150 END

```

— Ну давай, напиши I, H, V, H, когда появится сигнал "input", и введи программу. Может, получится и не очень хорошо: речь идет только о двадцати четырех перестановках.

— Святые ангелы! Что ты собираешься делать с двадцатью четырьмя именами Бога? Ты думаешь, наши мудрецы еще не сделали эти расчеты? Прочти "Sefer Jesirah", шестнадцатый абзац четвертой главы. У них не было наших калькуляторов. "Из двух Камней получается два Дома. Из трех Камней — шесть Домов. Из четырех Камней — двадцать четыре Дома. Из пяти Камней — сто двадцать Домов. Из шести Камней — семьсот двадцать Домов. Из семи Камней — пять тысяч сорок Домов. А теперь иди дальше и думай о том, чего губы не могут произнести, а уши не могут услышать". Знаешь ли ты, как это называется в наше время? Расчет с помощью факториала. А знаешь, почему Традиция предупреждает тебя, что лучше здесь остановиться? Потому что если бы имя Бога состояло из восьми букв, то перестановок было бы сорок тысяч; если бы из десяти — три миллиона шестьсот тысяч, а количество перестановок твоего несчастного имени достигло бы почти сорока миллионов, поэтому будь счастлив, что у тебя нет *middle initial*, как в американских именах, иначе ты бы дошел до четырехсот миллионов. А если бы имя Бога состояло из двадцати семи букв, ибо в еврейском алфавите нет гласных, а есть двадцать две согласные плюс пять вариантов, то тогда количество возможных имен исчислялось бы двадцатидевятицифровым числом. Ты должен

также учесть повторения, поскольку именем Бога может быть Алеф, повторенное двадцать семь раз, а тогда расчет с факториалом тебе уже не поможет, придется двадцать семь возводить в двадцать седьмую степень и получится 444 миллиарда миллиардов миллиардов миллиардов возможных вариантов или что-то в этом роде, во всяком случае — число, состоящее из тридцати девяти цифр.

— Опять ты жульничаешь, чтобы произвести на меня впечатление. Я тоже читал твою "Sefer Jesirah". Основных букв — двадцать две, и только с их помощью, не более, Бог сотворил все мироздание.

— Это не обязывает тебя прибегать к софизмам, если ты сможешь постичь мир таких больших величин; если вместо двадцати семи в двадцать седьмой степени ты возведешь двадцать два в двадцать вторую степень, то в результате получишь триста сорок миллиардов миллиардов миллиардов. Что это за разница для человеческих измерений? Знаешь ли ты, что если бы тебе пришлось считать "один, два, три" и так далее, называя каждую секунду одну цифру, тебе понадобилось бы почти тридцать два года? Но самое сложное то, о чем ты не подозреваешь. Ведь Каббала не ограничивается "Sefer Jesirah". Я сейчас объясню тебе, почему настоящая пермутация Торы должна использовать все двадцать семь букв. Действительно, если бы в ходе перестановок пять последних букв очутились в середине слова, то они бы преобразовались в свои естественные эквиваленты. Но подобное случается не часто. К примеру, в Исае в пункте седьмом части девятой главы шестой в слове ЛМРБХ, Лемарбах, которое, между прочим, должно означать "умножать", буква *тет* (относящаяся к пяти последним буквам алфавита) стоит в середине.

— Почему?

— Потому что каждой букве в еврейском алфавите соответствует определенное число, и поэтому обычной *тет* соответствует сорок, в то время как *тет* конечное означает шестьсот. В игру вступает не Темура, которая учит перемещениям, а Гематрия, которая находит тончайшие связи между словом и его цифровым значением. Если буква *тет* будет стоять в конце

слова ЛМРБХ, то оно в числовом выражении составит не 277, а 837 и будет соответствовать слову "ТТЦЛ", что произносится как "Тат Цал" и означает "тот, кто щедро дает". Теперь ты понимаешь, что надо принимать во внимание все двадцать семь букв, поскольку не только звук, но и цифра имеет значение. Ну а сейчас возвратимся к нашим расчетам. У нас есть четыреста миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов перемещений. Знаешь ли ты, сколько потребуется времени, чтобы проверить их всех со скоростью одна комбинация в секунду, но, естественно, не на твоей жалкой машинке? Тебе понадобится семь миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов минут, сто двадцать три миллиона миллиардов миллиардов миллиардов часов, немногим более пяти миллионов миллиардов миллиардов миллиардов дней, четырнадцать тысяч миллиардов миллиардов миллиардов лет, сто сорок миллиардов миллиардов миллиардов веков, четырнадцать миллиардов миллиардов миллиардов тысячелетий! А если бы у тебя был калькулятор, способный обработать миллион комбинаций в секунду (подумай только, сколько бы времени ты сэкономил), то он бы справился с этим в течение четырнадцати тысяч миллиардов миллиардов тысячелетий! Но на самом деле настоящее имя Бога, имя тайное, такое же длинное, как вся Тора, и не существует в мире машины, которая бы смогла исчерпать перестановки, ибо Тора сама по себе является результатом определенной перестановки двадцати семи букв, а искусство Темуры говорит, что надо переместить не двадцать семь букв алфавита, а все знаки Торы, где каждый знак имеет такое же значение, что и отдельная буква, даже если встречается бесконечное множество раз на других страницах; поэтому буквы *he* в имени IHVN — это две разные буквы. Вот почему, если бы ты захотел высчитать все возможные перемещения всех знаков Торы, тебе не хватило бы всех нулей в мире. А ну-ка, попробуй это сделать на своей жалкой машинке с помощью самых лучших счетоводов! Единственная машина, которой подобное под силу, — это святая Каббала или Традиция, и то, что совершили раввины в течение веков, не сделала ни одна машина и, надеюсь, никогда не сделает. Если бы даже все комбинации были исчерпаны, результат все равно

должен был бы остаться в секрете, иначе Вселенная остановила бы цикл своего развития, а мы засияли бы, забытые, в славе великого Метатрона.

— Аминь,— сказал Джакомо Бельбо.

Именно с того времени Диоталлеви дал толчок его помешательству, и я должен был бы обратить на это внимание. Сколько раз я замечал, как Бельбо оставался после работы в офисе, опробовал программы, которые могли бы помочь ему проверить расчеты Диоталлеви, чтобы показать ему, что по крайней мере его Абу выдавала истину за несколько секунд, расшифровывая желтые пергаменты, заполненные цифровыми системами, которым, возможно, не был знаком ноль. Бельбо не мог ничем похвастаться перед Диоталлеви. Экран машины заполняла бесчисленные нули — бледная наглядная имитация комбинаторных размножений вселенных и взрыв всех возможных миров...

После всего, что произошло, невозможно, чтобы Бельбо, занятый поисками password и имевший перед глазами гравюру розенкрейцеров, не вернулся к комбинациям с именем Бога. Но одновременно он должен был оперировать цифрами тридцать шесть или сто двадцать, потому что, как я предполагаю, он был ими одержим. Итак, он не мог переставлять четыре древнееврейские буквы, так как знал, что четыре Камня — это только двадцать четыре Дома.

Он мог бы воспользоваться итальянской транскрипцией, получая таким образом две гласные. При этих шести буквах он имел в своем распоряжении семьсот двадцать перестановок. Случались бы и повторения, но ведь Диоталлеви предупреждал, что две буквы *he* читаются по-разному. Это количество пермутаций давало возможность выбрать тридцать шестую или сто двадцатую.

Я пришел в квартиру Бельбо около одиннадцати часов. Сейчас был час. Надо было составить программу к анаграммам из шести букв, для этого было достаточно модифицировать готовую программу для четырех знаков.

Затем я снова поднялся в квартиру, отложил сэндвичи и тотчас приступил к виски; взял диск-систему Basic, составил программу для шести букв — как обычно, с ошибками, таким образом, это отняло у меня хорошие полчаса, — но к двум тридцати программа сработала, и на экране перед моими глазами продефилировали семьсот двадцать имен Бога.

48

hhevia hhevai hviahe hviaeh hvihae hvihea hvieah hvieha hvaihe hviaeh
hvahie hvahei hvaeih hvaehi hvhiaeh hvhiea hvhaie hvhaei hvheia hvheai
hveiah hveiha hveaih hveahi hvehia hvehai heiahv heiavh heihav heihva
heivah heivha heaihv heaivh heahiv heahvi heavih heavth hehiav hehiya
hehaihv hehavi hehvia hehvai heviah heviha hevaih hevahi hevthia hevthai
Ok

Я вынул бумагу из принтера, не разрезая ее на части, как если бы сверялся со свитком настоящей Торы. Я попробовал номер тридцать шесть. Полная неудача. Еще один глоток виски, и дрожащими пальцами я набрал номер сто двадцать. Опять ничего.

Мне захотелось умереть. Но отныне я был Джакомо Бельбо, а он должен был думать так, как в данный момент рассуждал я. Вероятно, я допустил какую-то ошибку, идиотскую, глупейшую ошибку. Я уже был на шаг от решения; может быть, Бельбо по непонятным мне причинам считал с конца?

"Ну какой же ты дурак, Казобон", — сказал я себе. Конечно же, надо было начинать с конца. Иначе говоря, справа налево. Бельбо ввел в компьютер имя Бога в латинской транслитерации, добавив гласные звуки, но поскольку слово было древнееврейским, он записал его справа налево. Как я не мог додуматься раньше, что он ввел не IAHVEH, а HEVTHAI?! Теперь ясно, что порядок перестановок обратный.

Итак, я должен считать с конца. Я сделал попытку отыскать слова по-новому.

Но мне это ничего не дало.

Я снова ошибся. Мне в голову пришла элегантная, но фальшивая гипотеза. Такое случается даже с самыми известными учеными.

Нет, не с самыми известными учеными. Со всеми. Еще за месяц до описываемых событий мы заметили, что за последнее время появилось по крайней мере три романа, в которых протагонисты искали имя Бога с помощью компьютера. Бельбо не мог быть таким банальным. А кроме того, когда выбирают пароль, то находят слово, которое легко запомнить, легко набрать на клавиатуре, почти инстинктивно. Представим себе: IHVTHA!

Он должен был скорее призвать на помощь Нотарикон, а не Темуру, и придумать какой-нибудь акrostих, чтобы запомнить это слово. Например:

I — Имельда,
H — Хищные
V — Враги
H — Хирама —
E — Экстремисты
A — Ассасины...

А почему Бельбо должен был мыслить каббалистическими категориями Диоталлеви? Он был поглощен Планом, а мы ввели в этот План столько компонентов: Роза, Крест, Синархия, Гомункулус, Маятник, Башня, Друиды, Эннойя...

Эннойя... Я вспомнил о Лоренце Пеллегрини. Я протянул руку к ее фотографии, на которую до этого момента старался не смотреть, и повернул к себе. Я попытался отбросить одну навязчивую мысль, воспоминание о том вечере в Пьемонте... Я пододвинул фотографию и прочел надпись: "Ибо я первая и последняя. Меня почитают и презирают. Я и проститутка, и святая. София".

Без сомнения, это случилось после праздника у Рикардо. Sophia, шесть букв. Надо ли создавать из них анаграмму? Сейчас я размышляю искаженным способом. Бельбо любит Лоренцу, и любит ее за то, что она такая, какая есть, просто София, и, думая о ней в тот момент, он узнает... нет, наоборот, Бельбо тогда рассуждал более утонченно. Я вспомнил слова Диоталлеви: "Во второй сефире темный Алеф преобразается в Алеф светлый. Из Невидимой Точки бьют струей буквы Торы, согласные — это тело, гласные — дуновение, а вместе они составляют Божественную кантилену. Когда движется мелодия знаков, с нею движутся согласные и гласные. Тогда появляется Хокма, Мудрость, Познание, изначальная идея, которая содержит в себе все, как футляр для драгоценностей, готовая перейти к созиданию. В Хокме сокрыта сущность того, что произойдет в будущем..."

А что собой представляет Абулафия со своими тайными резервами *files*? Шкатулку, хранящую нечто, о чем знал Бельбо

(или предполагал, что знает) и знала его София. Он нашел секретное слово, чтобы проникать в глубины Абулафии, объекта его любви (единственной), думая и о Лоренце, он искал слово, которое покорило бы Абулафию и одновременно стало бы талисманом, помогло очаровать Лоренцу, он хотел проникнуть в сердце Лоренцы (так же, как он проник в сердце Абулафии), чтобы понять ее, ему хотелось, чтобы Абулафия была недоступна для всех других, как недоступна была для него Лоренца, он ободрялся мыслью, что узнает и завладеет тайной Лоренцы, как владеет отныне тайной Абулфии...

Я придумал объяснение и надеялся, что оно будет правильным. Так было и с Планом: я принял мои желания за действительность.

Но поскольку я был пьян, то уселся за клавиатуру и набрал имя SOPHIA. Машина снова вежливо спросила: "У тебя есть пароль?" Идиотская машина, даже мысль о Лоренце не растрогала тебя.

Judá León se dio a permutaciones
De letras y a complejas variaciones
Y alfin pronunció el Nombre que es la Clave,
La Puerta, el Eco, el Huesped y el Palcio...

(J.L.Borges. *El Golem*)

Наконец из ненависти к Абулафии на ее надцатый тупой вопрос ("У тебя есть пароль?") я ответил: "Нет".

И вдруг на экране замелькали знаки, линии, указатели, целый каскад слов.

Я открыл секрет Абулафии.

Я был так взволнован своей победой, что даже не спросил себя, почему, собственно, Бельбо выбрал именно это слово. Теперь уже я это знаю и знаю, что в момент просветления он понял то, что наконец понял я. Но пока я думал только об одном: я выиграл.

Я принялся танцевать, хлопать в ладоши и петь. Затем я остановился и пошел в ванную, чтобы вымыть лицо. А когда вернулся, то дал команду компьютеру распечатать последний *file*, записанный Бельбо перед побегом в Париж. Пока печатающее устройство неутомимо потрескивало, я накинусь на еду, не забывая и про питье.

Как только принтер остановился, я прочел текст и смутился: пока я был не в состоянии решить, что передо мной — сенсационное разоблачение или свидетельство чьего-то помешательства. Что, собственно, я знал о Бельбо? Что я понял в нем за те два года, когда был рядом с ним почти каждый день? Насколько я мог доверять дневнику человека, который, по собственному признанию, писал его в чрезвычайных условиях, с сознанием, помраченным алкоголем, табаком, ужасом, порвав на три дня все связи с внешним миром?

Наступила ночь, ночь двадцать первого июня. Мои глаза слезились. С утра я не отрывался от экрана и от муравейника

знаков, производимых принтером. Правда или ложь то, что я прочитал, но Бельбо обещал позвонить на следующее утро. Я должен был его ждать здесь. У меня кружилась голова.

Я пошел шатаюсь в спальню и, не раздеваясь, упал на еще не постеленную кровать.

Около восьми я очнулся от глубокого, липкого сна и поначалу не осознавал, где нахожусь. К счастью, я обнаружил банку кофе и сварил себе несколько чашек. Телефон молчал, я не осмеливался покинуть квартиру и пойти за покупками, зная, что Бельбо может позвонить в любую минуту.

Я вернулся к машине, чтобы сделать распечатки остальных дискет в хронологической последовательности. На них были записаны игры, упражнения, отчеты о событиях, свидетелем которых я был; прошедшие через сознание Бельбо, они представились мне в ином свете. Я обнаружил отрывки из дневника, признания, наброски — романтические попытки записать с горьким чувством то, что привело его к неудачам. Я нашел заметки, портреты людей, которых я тоже знал, но которые теперь принимали иной облик — несколько зловещий, а может быть, зловещим был мой взгляд, мой способ составления случайных знаков в ужасную мозаику?

Особенно меня поразил *file*, состоявший из одних цитат. Взяты они были из последних прочитанных Бельбо книг, я это понял с первого взгляда; сколько таких текстов мы читали вместе в течение последних месяцев... Они были пронумерованы: сто двадцать. Цифра не была случайной, это совпадение вызывало беспокойство. Почему именно сто двадцать?

Сейчас я не могу перечитывать записи Бельбо и всю его историю иначе как в свете этого *file*. Я перебираю эти факты как четки еретика и замечаю, что некоторые из них могли быть для Бельбо поводом для беспокойства и сложным предсказанием избавления.

Или я уже не в состоянии отличить здравый совет от безрассудного? Я хочу себя убедить, что поступаю правильно, пе-

речитывая все, но не далее чем сегодняшним утром кто-то заподозрил меня, а не Бельбо, в безумии.

Луна медленно восходит над горизонтом где-то за Брикко. Большой дом наполняют какие-то странные звуки — может быть, это черви, или мыши, или призрак Аделино Канепы... Я не осмеливаюсь выйти в коридор, торчу в кабинете дяди Карло и гляжу в окно. Время от времени я выхожу на террасу, чтобы посмотреть, не поднимается ли кто-нибудь по холму. Такое впечатление, что я участвую в фильме (что за наказание!) "Они идут..."

Однако холм так спокоен в эту ночь, в эту теплую летнюю ночь.

Какой же авантюрной, неопределенной, безумной была моя попытка воссоздать картину случившегося, чтобы обмануть время и не заснуть, в тот вечер с пяти до десяти, в перископе, когда для восстановления кровообращения я медленно и осторожно перебирал ногами, словно пританцовывая в каком-то афро-бразильском ритме.

Снова подумать о последних годах, поддаться чарующему раскачиванию под "atabaques"... Возможно, для того, чтобы признать, что наши фантазии, зародившиеся как механический балет, здесь, в этом храме механики, преобразуются в ритуал, обладание, откровение и господство Эксу?

Тем вечером, сидя в перископе, я не обладал никаким доказательством достоверности того, о чем сообщил мне принтер. Сомневаясь, я еще мог защищаться. Быть может, в полночь окажется, что я прибыл в Париж и как вор укрылся в безобидном техническом музее только потому, что вклинился в вакуумбу, организованную для туристов, поддавался гипнозу запахов и ритма pontos...

Моя память, снова складывая мозаику, еще и еще раз пыталась отбросить колдовство, вызвать сострадание или сожаление, возродить то умственное состояние с его колебаниями

между сказочной иллюзией и настоящей ловушкой, все эти ощущения я хотел бы сохранить именно сейчас, когда более трезво вникаю в то, о чем думал тогда, пытаюсь внести какой-то порядок в документы, прочитанные в горячке накануне вечером, утром в аэропорту и во время полета в Париж.

Я пытался объяснить самому себе, как безответственно я, Бельбо и Диоталлеви пытались заново описать мир, а также — мне это сказал Диоталлеви — те абзацы Книги, которые начертаны белым огнем на свободных местах, оставленных некими насекомыми из черного огня, которые заселяют и, наверное, объясняют Тору.

Теперь, когда, надеюсь, я обрел утешение *Amor Fati*, я представляю историю, которую воссоздавал, полный беспокойства и надежды, пусть даже ложной, в перископе два вечера назад, а за два дня до этого я прочел ее в квартире Бельбо и пережил, сам того не осознавая, в течение последних двенадцати лет, между распитием виски у Пилада и вдыханием пыли в издательстве "Гарамон".

III

БИНА



Не ждите слишком много от конца света.

(Stanisław J. Lec. *Aforyzmy. Fraszki*,
Краков, Wydawnictwo literackie, 1977, "Myśli Nieuczesane")

Поступить в университет спустя два года после шестьдесят восьмого — все равно что быть принятым в Академию Сен-Сир в девяносто третьем. Такое впечатление, что ты ошибся в выборе даты рождения. С другой стороны, Джакомо Бельбо, который был как минимум на пятнадцать лет старше, убедил меня, что такое ощущение испытывает каждое поколение. Человек рождается всегда не под тем знаком, и достойно существовать в мире — это значит день за днем исправлять свой гороскоп.

Я думаю, что наше становление происходит под влиянием отца, несмотря на то что ему и в голову не приходит заботиться о воспитании. Мы формируемся на обломках мудрости. Мне было десять лет, и я хотел, чтобы родители подписали меня на еженедельник, который публиковал комиксы на сюжеты литературных шедевров. Отец возражал не из скупости, а из-за недоверия к комиксам. "Целью этого журнала,— заявил я тогда, цитируя рекламу серии, поскольку я был мальчиком хитрым и умеющим убеждать,— в конечном счете является воспитание в сочетании с удовольствием". Мой отец сказал, не поднимая глаз от газеты: "У твоего журнала цель такая же, как у всех журналов: продать как можно больше экземпляров".

В тот день я стал маловеком.

То есть я раскаялся в том, что был легковерным раньше. Я позволил страсти увлечь мой ум. Такова легковерность.

Не то чтобы маловеки ни во что не верят. Они просто не верят во все. В каждый конкретный момент они верят только в одно, а во что-то другое — только если это другое каким-то образом вытекает из первого. Они действуют, как близорукий, методически, и не замахииваются на горизонты. Когда две вещи не согласуются друг с другом, верить в обе, и притом с мыслью, что где-то есть третья, скрытая, соединяющая эти две,— вот что такое легковерность.

Недоверчивость не исключает любопытства, и даже его подпитывает. Не доверяя цепочкам идей, она любит их полифонию. Достаточно не верить, и две идеи — обе ложные — могут столкнуться, создавая хороший интервал, или *diabolus in musica*. Я не уважал идеи, за которые другие ставили на карту свою жизнь, но две или три неуважаемые мной идеи смогли составить мелодию. Нет, ритм, и даже лучше джаза.

Позже Лия скажет мне: "Ты живешь тем, что лежит на поверхности. Иногда ты производишь впечатление глубокого, но это от того, что ты нагромождаешь много поверхностей и создаешь видимость тверди — тверди, которая, если бы действительно была таковой, не нуждалась бы в подпорках".

— Ты говоришь, что я поверхностен?

— Нет,— ответила она,— то, что другие называют глубиной — это гиперкуб, куб в четырех измерениях. Тыходишь с одной стороны, выходишь с другой и попадаешь в мир, который не может сосуществовать с твоим миром.

(Лия, я не знаю, увижу ли тебя вновь, потому что Они вошли не с той стороны и вторглись в твой мир, причем по моей вине: я внушил Им, что там бездны, ибо Они жаждали этого из-за своей слабости.)

Что я думал на самом деле пятнадцать лет назад? Сознывая свое неверие, я ощущал себя виноватым перед многими, которые верили. Поскольку я чувствовал, что они на правильном пути, я решил поверить — как решают принять аспирин. Это не повредит — наоборот, становишься лучше.

Пребывая в поисках высшей веры, я очутился в гуще революции или по крайней мере в самой удивительной ее симуляции, какую видели до сих пор. Я счел достойным участвовать в собраниях и шествиях, я кричал вместе с другими: "Фашисты, буржуа, ваш конец близок, осталась пара месяцев!", я не бросал порфириновые кубики или металлические шарики, потому что всегда боялся, чтобы другие не поступили со мной так же, но испытывал какое-то моральное возбуждение, когда бежал по центральным улицам, а полиция атаквала. Я возвращался домой с чувством хорошо исполненного долга. На собраниях мне не удавалось увлечься противоречивыми мнениями, которые

разделяли различные группы: я подозревал, что было бы достаточно найти соответствующую цитату, чтобы перейти из одной в другую. Я развлекался тем, что находил подходящие цитаты. Я моделировал.

Поскольку во время шествий мне иногда случалось приставаться в хвост колонны, выступающей под тем или иным лозунгом, лишь для того, чтобы следовать за девушкой, волновавшей мое воображение, я сделал вывод, что для многих моих товарищей активная политическая деятельность была каким-то сексуальным опытом, а секс — это страсть. Что касается меня, то я лишь хотел испытать любопытство. Хотя, строго говоря, читая о тамплиерах и приписываемых им разнообразных злодеяниях, я наткнулся на утверждение Карпократа: для освобождения от тирании ангелов, владык космоса, нужно совершать всевозможные низости, избавляясь от долгов по отношению ко Вселенной и к своему собственному телу, и только пройдя через все эти мерзкие деяния, душа может освободиться от страсти и обрести первоначальную чистоту. Пока мы придумывали План, я обнаружил, что многие, опьяненные наркотиком тайны, чтобы найти озарение, следуют по этому пути. Но Алистер Кроули, которого считали самым развратным человеком всех времен и который делал все что только можно с поклонниками обоих полов, имел, если верить его биографам, только очень уродливых женщин (я думаю, что мужчины, судя по написанному, были не лучше), и я до сих пор подозреваю, что он никогда не занимался любовью во всей ее полноте.

Это, должно быть, зависит от соотношения между жадой власти и *impotentia coeundi*. Маркс был мне симпатичен, поскольку я был уверен, что со своей Женни он занимался любовью весело. Это чувствуется по спокойному дыханию его прозы и по его чувству юмора. Однажды в кулуарах университета я изрек, что если все время спать с Крупской, то в конце концов напишешь книжонку вроде "Материализм и эмпириокритицизм". Меня чуть не поколотили железными прутьями и называли фашистом. Это сказал высокий тип с татарскими усами. Я это прекрасно помню, хотя сейчас он гладко бреется и принадлежит к коммуне, где плетут корзины.

Я вспоминаю о настроениях того времени только для того, чтобы восстановить состояние духа, в котором я находился, когда вошел в контакт с издательством "Гарамон" и сблизился с Джакомо Бельбо. Я пришел к этому как человек, который смело берет в руки тексты речей об истине, готовясь править их. Я думал, что основная проблема, когда цитируют: "Я есть тот, кто есть", состоит в том, чтобы решить, где поставить знак препинания — внутри кавычек или снаружи.

Поэтому моим политическим выбором стала филология. Миланский университет в те годы был примерным. В то время как по всей стране студенты заполняли амфитеатры и осаждали профессоров, требуя, чтобы они говорили только о пролетарской науке, у нас, не считая нескольких инцидентов, действовал конституционный пакт или, вернее, территориальный компромисс. Революция властвовала во внешней зоне, в актовом зале и больших коридорах, тогда как официальная Культура укрылась, имея защиту и гарантии, во внутренних коридорах и на верхних этажах, где продолжала проповедовать как ни в чем не бывало.

Я мог, таким образом, проводить утро внизу, дискутируя о пролетарской науке, а вторую половину дня — наверху, занимаясь наукой аристократической. Я чувствовал себя как рыба в воде в этих двух параллельных мирах и не ощущал, что сам себе противоречу. Я верил, что мы стоим на пороге общества равных и что в этом обществе будут, например, ходить поезда (лучше, чем раньше), хотя окружавшие меня санюлоты были весьма далеки от того, чтобы учиться бросать уголь в котел, переводить стрелки, составлять расписание. А ведь кто-то должен был работать на железных дорогах.

Не без некоторых угрызений совести я чувствовал себя так, как какой-нибудь Сталин, который смеется в усы и думает: "Старайтесь, старайтесь, бедные большевики, а я пока поучусь в тифлисской семинарии, но потом-то уж я составлю пятилетний план".

Именно потому, что утром я был охвачен энтузиазмом, во второй половине дня я отождествлял знание с сомнением. Так, мне захотелось изучать нечто, о чем можно было бы говорить,

основываясь на документах, в отличие от того, что оставалось предметом веры.

Почти случайно я записался на семинар по средневековой истории и выбрал темой диссертации процесс над тамплиерами. История тамплиеров заворожала меня с того момента, когда мне в руки попали первые документы. В те времена, когда шла борьба против власти, меня приводил в благородное негодование этот процесс, который был, мягко говоря, небеспристрастным и по приговору которого тамплиеров отправили на костер. Весьма быстро, однако, я обнаружил, что после их сожжения, целая толпа охотников за тайнами начала повсюду искать тамплиеров, ни разу не представляя ни малейшего доказательства того, что они существуют. Это визионерское расточительство подпитывало мою недоверчивость, и я решил не тратить времени на охотников за тайнами и строго придерживаться документальных источников. Тамплиеры — это Орден монахов-рыцарей, который функционировал, пока был признан церковью. Вскоре, однако, церковь распустила Орден — было это семь веков назад, — и тамплиеры прекратили свое существование, а те, которые существовали, не были тамплиерами. Итак, я выписал на карточки названия по меньшей мере ста книг, но в результате прочел не более тридцати.

Я начал общаться с Джакомо Бельбо у Пилада именно из-за тамплиеров, когда уже работал над своей диссертацией, в конце семьдесят второго года.

Я, пришедший от света и от богов, теперь в изгнании
и разлучен с ними.

(Фрагмент *Turfa'n M7*)

Бар Пилада был в то время порто-франко, галактической таверной, где пришельцы из созвездия Змееносца, осаждавшие Землю, встречались без трений с людьми Империи, которые несли патрульную службу в поясах Ван Аллена. Это был старый бар на берегу Навилы (этих вековых каналов, окружающих Милан) со стойкой и бильярдом, заполненный местными трамвайщиками и ремесленниками, которые приходили на рассвете выпить по рюмочке белого вина. К шестидесяти восьмому и в последующие годы Пилад стал "Рикс Бар Америкэн", где за одним столом член Движения мог играть в карты с журналистом газеты, выражавшей интересы хозяев, который пришел опрокинуть маленькую после верстки номера, когда первые грузовики уже развозили по киоскам ложь системы. Но у Пилада даже журналист чувствовал себя эксплуатируемым пролетарием, производителем прибавочной стоимости, прикованным к идеологической машине, и студенты отпускали ему грехи.

Между одиннадцатью вечера и двумя часами ночи заходили издательский чиновник, архитектор, уголовный хроникер, который рвался на третью, культурную, страницу газеты, художники из академии Брера, несколько посредственных писателей и студенты вроде меня.

Правило предписывало минимум алкогольного возбуждения, и старый Пилад, сохраняя бутылки белого для трамвайщиков и самых аристократических клиентов, заменил шипучее и "Рамаццотти" марочным шампанским для демократических интеллектуалов и "Джони Уокером" для революционных. Я мог бы написать политическую историю тех лет, отмечая время и способ постепенного перехода от красной этикетки к "Баллантину" двенадцатилетней выдержки, а затем к пиву.

С приходом новой публики Пилад все же оставил старый

бильярд, на котором художники и трамвайщики бросали друг другу вызов ударами по шарам, но зато установил еще и флиппер.

У меня шарик держался очень недолго, и вначале я думал, что это от рассеянности или от недостаточной ловкости рук. А потом, спустя годы, я понял истину, глядя, как играет Лоренца Пеллегрини. Сначала я ее не заметил, но однажды вечером, проследив за взглядом Бельбо, взял ее на мушку.

У Бельбо была манера сидеть в баре с таким видом, будто он зашел сюда случайно (на самом деле он был его завсегдаем уже по меньшей мере десять лет). Он часто вступал в разговоры, которые велись за стойкой или за столиками, но почти всегда — только для того чтобы бросить шутку, охлаждавшую энтузиазм, о чем бы ни дискутировали. Он охлаждал его и другим способом — задавая какой-нибудь вопрос. Кто-нибудь рассказывал о чем-то, весьма увлекая слушателей, а Бельбо смотрел на рассказчика своими сине-зелеными глазами, всегда немного рассеянными, держа стакан на высоте бедра, как если бы давно забыл, что пьет, и спрашивал: "Что, правда, так и было?" Или же: "Серьезно, он так и сказал?" Я не знаю, что оказывало такое воздействие, но все начинали сомневаться в правдивости данной истории, включая самого рассказчика. Должно быть, это пьемонтский акцент делал его утверждения вопросительными, а вопросы — насмешливыми. Выдавала в Бельбо пьемонтца и манера говорить: он не смотрел собеседнику в глаза, но и не избегал его взора. Взгляд Бельбо не уклонялся от диалога. Он просто перемещался вдоль параллельных линий, на которые ты не обратил внимания, застывая в какой-то неопределенной точке пространства, а у тебя было такое чувство, что до сих пор ты тупо смотрел на единственную точку, лишенную смысла.

Но дело было не только во взгляде. Одним жестом, одним междометием Бельбо властен был переместить тебя в другое измерение. Допустим, ты изощряешься, доказывая, что Кант действительно совершил коперниковскую революцию в современной философии, и ручаешься головой за это утверждение.

Бельбо, сидя перед тобой, мог вдруг посмотреть на свои руки, или уставиться на свое колено, или прикрыть веки, изображая этрусскую улыбку, или сидеть несколько секунд с открытым ртом, глядя в потолок, а потом, слегка запинаясь: "Ну да, конечно, этот Кант..." Или же, если он более открыто покушался на всю систему трансцендентального идеализма: "Ба! Он что, на самом деле специально развел такой бардак?.." Потом он смотрел на тебя участливо, как если бы это ты, а не он, разрушил чары, и подбадривал: "Ну говорите, говорите. Потому что за всем этим, конечно, есть... есть что-то, что... В конце концов, толковый был парень".

Иногда, когда он был вне себя от возмущения, он реагировал некорректно. А поскольку возмутить его могла только некорректность другого, его собственная некорректность была совершенно внутренней и провинциальной. Он сжимал губы, уносил взгляд в небо, затем мгновенно опускал глаза и голову вниз, слегка влево и говорил вполголоса: "Ma gavte la nata". Для тех, кто не понимал это пьемонтское выражение, он иногда объяснял: "Ma gavte la nata, вынь пробку. Так говорят о том, кто раздулся от самодовольства. Бьюсь об заклад, что он удерживается в таком ненормальном положении из-за пробки, вставленной в зад. Если он ее выдернет, то пшшшшиииик — вернется в человеческое состояние".

Эти вмешательства позволяли увидеть тщетность всего, и я был этим очарован. Но я извлекал из них ошибочный урок, считая их образцом наивысшего презрения к банальности истин другого.

Только теперь, когда я, разгадав секреты Абулафии, вторгся и в душу Бельбо, я знаю, что то, что мне казалось разочарованностью и что я возводил в жизненный принцип, было для него лишь формой меланхолии. Его подавленное интеллектуальное вольнодумство скрывало отчаянную жажду абсолюта. Трудно это понять с первого взгляда, потому что Бельбо компенсировал моменты бегства, колебания, отрешенности моментами непринужденного разговора, когда он развлекался, продуцируя абсолютные альтернативы с веселой недоверчивостью. Это

было, когда он создавал с Диоталлеви учебники невозможного, миры наизнанку, библиографические тератологии. И то, что его видели таким красноречивым и вдохновенным при строительстве его раблезианской Сорбонны, мешало понять, насколько он страдал из-за изгнания с факультета теологии — истинной.

Потом мне стало понятно, что я зачеркнул адрес, тогда как он его потерял и поэтому не мог успокоиться.

В *files* Абулафии я нашел множество страниц псевдодневника, который Бельбо доверил дискетам, уверенный, что не предает свое столько раз подтвержденное призвание: быть простым наблюдателем мира. На некоторых страницах стоит более отдаленная дата, на них он, очевидно, перенес старые записи — из-за ностальгии или потому, что думал их когда-нибудь опять использовать. Другие относятся к этим последним годам, начиная со времени, когда Абу попала к нему в руки. Он писал, механически играя, чтобы поразмышлять в одиночестве над собственными ошибками, он воображал, что не "творит", потому что творчество, даже если оно рождает заблуждение, всегда возникает из любви к кому-то другому. Бельбо неосознанно изменял сферу деятельности. Он творил, хотя раньше никогда этого не делал: его энтузиазм по отношению к Плану родился из потребности написать Книгу, пусть бы даже она состояла исключительно из беспощадных и умышленных ошибок. Пока ты существуешь, заключенный в своей пустоте, ты можешь еще думать, что находишься в контакте с Единым, но как только ты начинаешь кромсать глину, пусть даже электронную, то становишься демиургом, а тот, кто берется сотворить мир, идет на компромисс с заблуждением и со злом.

FILENAME: три женщины вокруг серд...

Это так: toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons — avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie...

Ты метишь высоко, Бельбо. Первая любовь — Пресвятая Дева. Мама поет, держа меня на руках, как будто хочет меня убаюкать, хотя я уже не нуждаюсь в колыбельных; но я просил, чтобы она пела, потому что любил ее голос и лавандовый запах ее груди: "О, Небесная Царица, такая чистая, такая прекрасная, славлю тебя, дочь, супруга, служительница, приветствую тебя, Матерь Искупителя".

Нормально: первая женщина в моей жизни не принадлежала мне — как, впрочем, не принадлежала никому — по определению. Я влюбился в женщину, которая могла свободно обойтись без меня.

Потом Марилена (Мэрилена? Мэри Лена?). Лирически описать сумерки, золотые волосы, большой синий бант, меня, сидящего на скамейке и задравшего голову, ее, балансирующую на верхней планке спинки, расставив руки, чтобы сохранить равновесие (прелестные экстрасистолы), легкую юбочку, которая порхает вокруг ее розовых ляжек. Высоко, невозможно дотянуться.

Эскиз: в тот же вечер моя мама пудрит тальком розовую попку моей сестры, и я спрашиваю, когда наконец у нее вырастет краник, мама отвечает мне, что у девочек краник не вырастает, они так и остаются. Я вдруг опять вижу Мэри Лену и ее белые трусики, просвечивающиеся сквозь голубую развевающуюся юбку, и понимаю, что она белокура, горда и недосыгаема, потому что она другая. Никакой возможной связи — она принадлежит к другой породе.

Третья женщина тотчас погрузилась в бездну. Она только что умерла во сне, бледная Офелия, почившая среди цветов, возложенных на ее девичий гроб, а когда священник читает заупокойные молитвы, она вдруг поднимается во весь рост на катафалке, сморщенная, белая, мстительная, вытянув палец, и замогильным голосом: "Отче, не молитесь обо мне. Этой ночью, перед сном, у меня была нечистая мысль, единственная в моей жизни, и теперь я осуждена". Надо найти книгу, подаренную к первому причастию. В ней была такая иллюстрация, или я все это сам выдумал? Я уверен, она умерла, думая обо мне, нечистой мыслью был я, желавший недосыгаемую Мэри Лену, которая была существом другого рода и другим было ее предназ-

начение. Я виновен в ее осуждении, я виновен в осуждении каждого, кто губит свою душу; справедливо, что я не имел этих трех женщин: это наказание за то, что я их хотел.

Я теряю первую, потому что она в раю, вторую — потому что она завидует в чистилище пенису, которого у нее никогда не будет, и третью — потому что та в аду. С теологической точки зрения — совершенно. Так было записано.

Но есть история с Чечилией, а Чечилия пребывает на Земле. Я думал о ней перед сном, я иду за молоком на ферму, партизаны стреляют с противоположного холма по блок-посту, я вижу себя бегущим на помощь, спасаю ее от тучи черных разбойников, преследующих ее, размахивающих автоматами... Более белокурая, чем Мэри Лена, более волнующая, чем девушка на катафалке, более чистая служительница, чем Дева. Чечилия живая и доступная, еще чуть-чуть — и я мог бы даже с ней заговорить, я был уверен, что она способна полюбить кого-то моей породы, потому что, без сомнения, она его любила, звали его Папи, у него были светлые косматые волосы на крошечном черепе, он был на год старше меня и у него был саксофон. А у меня не было даже трубы. Я их никогда не видел вместе, но все в часовне шептались, толкая друг друга локтями и пересмеиваясь, о том, что они занимаются любовью. Они, конечно, ввали, эти деревенские парни, похотливые, как козлы. Они хотели убедить меня, что она (она, Марилена Чечилия, супруга и служительница) была настолько доступна, что кто-то должен этим воспользоваться. Во всяком случае — и было это в четвертый раз — я вне игры.

Пишутся ли романы о подобного рода историях? Может быть, я должен написать о женщинах, которых избегаю, потому что могу их иметь. Или мог бы. Иметь их. Или это одна и та же история.

Короче, когда неизвестно даже, о какой истории идет речь, лучше редактировать философские книги.

В правой руке она сжимала золотую трубу.

(Johann Valentin Andreae. *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*,
Страсбург, Zetzner, 1616, 1)

Я обнаружил в этом *file* упоминание о трубе. Позавчера, в перископе, я еще не знал, сколь это важно. Для меня это была не более чем ссылка, достаточно туманная и малозначимая.

В течение долгих послеполуденных часов в издательстве "Гарамон" Бельбо, изнуренный какой-нибудь рукописью, иногда отрывал от нее взгляд, стараясь развлечь и меня, занятого, насколько я помню, макетированием книги со старыми гравюрами со Всемирной выставки, и пускался в какое-нибудь очередное воспоминание — заботливо опуская занавес, заподозрив, что я воспринимаю его информацию слишком серьезно. Он вспоминал свое прошлое, но только в качестве *exemplum*, чтобы наказать чье-то тщеславие.

— Я спрашиваю себя, до чего мы дойдем,— произнес он однажды.

— Вы говорите о закате Запада?

— А он закатывается? В конце концов, это его профессия, не правда ли? Нет, я имею в виду этих пишущих людей. Третья рукопись за неделю: одна повествует о византийском праве, вторая — о *Finis Austriae*, а третья — о сонетах Баффо. Это совершенно разные вещи, вам не кажется?

— Кажется.

— Хорошо, а что вы скажете о том, что во всех трех в определенный момент появляются Вождение и Объект Любви? Это какая-то мода. Я еще понимаю у Баффо, но в византийском праве...

— Так бросьте в корзину.

— Да нет, эти работы уже полностью профинансированы Национальным Центром исследований, а потом, они не так уж плохи. В худшем случае я приглашу этих троих авторов и попрошу убрать соответствующие фрагменты. Они могут стать объектами насмешек.

— Интересно, а что может быть объектом любви в византийском праве?

— О Боже, такой объект всегда можно сотворить. Естественно, если в византийском праве речь идет об объекте любви, то надо понимать совсем другое.

— Что же?

— То, что каждый представляет по-своему. Однажды, когда мне было пять или шесть лет, мне приснилось, что я — обладатель трубы. Золотой. Представляете, это была одна из тех золотых грез, которая подобно меду разливается по вашим жилам, такая же приятная, как ночная поллюция у невинного мальчика. Ни одно из мечтаний не приносило мне столько счастья. Никогда. Естественно, после пробуждения я осознал, что у меня нет никакой трубы, и горько заплакал. Я плакал до вечера. Надо вам сказать, что до войны, а это, кажется, было в тридцать восьмом году, люди были беднее нынешних. Теперь-то, если бы у меня был сын, то, видя его отчаяние, я бы ему сказал: "Пошли, я тебе куплю трубу". Ведь речь-то шла об игрушке, которая не могла стоить слишком дорого. Но моим родителям это даже в голову не пришло. В то время покупки были делом серьезным. Тогда считали, что ребятишек надо воспитывать так, чтобы они не получали сразу то, что им захочется. Я не люблю капустняк, и это, мой Бог, чистая правда, он просто вызывает у меня отвращение. Но мне никогда не сказали: ну что ж, не ешь, принимайся за второе. Сегодня вам с готовностью заменят блюдо (мы не были бедны, и обед состоял из двух блюд и фруктов). Ну, нет, сударь, ешьте то, что перед вами поставлено. В порядке компромисса моя бабушка принималась вылавливать из моей тарелки капустинку за капустинкой, так что мне приходилось довольствоваться опустошенным супом, еще более отзратительным, чем до того, но даже этой уступки мой отец не одобрял.

— Ну, а как же труба?

Он, колеблясь, взглянул на меня.

— Что это она вас так заинтересовала?

— Меня? Вовсе нет. Это вы вспомнили о трубе в связи с объектом любви, под которым надо понимать совсем другое...

— Труба... В тот вечер из *** должны были приехать к нам мои тетя и дядя, у них не было своих детей, и я был их любимым племянником. Они увидели, как я плачу, мечтая о трубе, и сказали, что все уладят, завтра мы пойдем в магазин, где есть великолепный отдел с игрушками — истинное чудо, и я найду там желанную трубу. Я провел бессонную ночь, все утро я не находил себе места. А после обеда мы отправились в магазин, где я увидел по меньшей мере три вида труб; жестяные игрушки, но мне они показались инструментами из таинственного залива. Были там военный корнет, тромбон с кулисой и псевдотруба — действительно с мундштуком и золотая, но с клавишами, как у саксофона. Я не знал, какую выбрать, и долго стоял в раздумье. Мне хотелось иметь их все, а я делал вид, что не хочу ни одной. Тем временем мои тетя и дядя внимательно изучали ценники. Они не были жадными, но мне показалось, что они остановились на кларнете из бакелита, совсем черном, с серебряными клавишами. "А это тебе нравится?" — спросили они. Я попробовал поиграть, кларнет звучал неплохо, я уговаривал себя, что он красивый, хотя на самом деле подумал, что мои дядя и тетя предпочли кларнет, потому что он дешевле, труба, должно быть, стоила целое состояние, и я не мог навязать такую жертву моим родственникам. Меня всегда учили, что когда предлагают то, что мне нравится, я должен сказать "нет, спасибо", и не один раз, нельзя сказать "нет, спасибо" и тотчас протянуть руку, а надо подождать, пока дающий не настоит на своем, пока он не скажет тебе "возьми, я тебя очень прошу". Вот только тогда хорошо воспитанный малыш должен уступить. Поэтому я сказал, что, вероятно, не хочу трубу, что, наверное, мне нравится кларнет, если они хотят купить кларнет. Я смотрел на них исподлобья, надеясь, что они будут меня упрашивать. Но они не настаивали. Господи, упокой их души. Он были так счастливы, что купили мне кларнет, поскольку, сообщили они, он мне нравится. Изменить что-либо было уже поздно. Я получил кларнет.

Он подозрительно посмотрел на меня.

— Вы хотите знать, продолжаю ли я играть на трубе?

— Нет,— ответил я — мне хотелось бы знать, что было объектом любви.

— Ну, да — сказал он, вновь принимаясь листать рукопись.— Вам, оказывается, тоже не дает покоя этот объект любви. Видите ли, такие истории можно понимать по-разному. Поверьте мне... А если бы в конце концов я выбрал трубу? Был бы я действительно счастлив? Что вы на это скажете, Казобон?

— Вы бы тогда, наверное, мечтали о кларнете.

— Нет,— заключил он сухим тоном.— Кларнет у меня просто был. Я ни разу на нем не играл.

— Не играл или не мечтал?

— Не играл,— отрезал он, и не знаю отчего, но я в тот момент почувствовал себя шутом.

И в конце концов каббалистически из *vinum* нельзя сделать иного вывода, кроме *VIS NUMerorum*, и от этих чисел зависит эта Магия.

(Cesare della Riviera. *Il Mondo Magico degli Eroi*, Мантуя, Osanna, 1603, с.65-66)

Но я, кажется, начал рассказывать о своей первой встрече с Бельбо. Сначала у нас было шапочное знакомство, выражавшееся в обмене двумя-тремя остротами у Пилада, я не много знал о нем, только то, что он работал в "Гарамоне", а в университете мне попадали в руки книги, выпущенные этим издательством, небольшим, но серьезным. Молодой человек, заканчивающий диссертацию, всегда стремится к кому-нибудь, кто работает в издательстве, публикующем работы из области культуры.

"А вы чем занимаетесь?" — спросил меня однажды вечером Бельбо, когда мы оба оказались припертыми к цинковой стойке бара большой толпой, которая собиралась здесь в связи с какими-нибудь событиями. То было время, когда все обращались друг к другу на "ты" — студенты к профессорам, профессора к студентам. Не говоря уже о завсегдатаях Пилада. "Слушай, заплати за мою выпивку", — бывало, говорил какой-нибудь студент в пальто из шерстяной байки редактору большого еженедельника, и тот платил. Создавалось впечатление, что мы в Петербурге времен молодого Шкловского. Только Маяковские и ни одного Живаго. Бельбо не избегал всеобщего "ты", но делал это угрожающе презрительно. Он обращался на "ты", чтобы показать, что грубостью отвечает на грубость и что между мнимыми и истинными близкими отношениями — большая пропасть. Чувственно или страстно говорил он "ты" редко и немногим: Диоталлеви и нескольким женщинам. Если он уважал кого-то, однако знал его недавно, то обращался на "вы". Так обращался он и ко мне во время совместной нашей работы, и я оценил эту привилегию.

— А чем вы занимаетесь? — спросил он меня, как я теперь знаю, с симпатией.

— В жизни или в театре? — в ответ спросил я, указывая на подиум у Пилада.

— В жизни.

— Я учусь.

— Университет или научная работа?

— Вы можете мне не поверить, но для меня одно не противоречит другому. Я сейчас заканчиваю диссертацию о тамплиерах.

— Ох и мерзкое это дело,— заметил он.— Не думаете ли вы, что это занятие для безумцев?

— Я изучаю истинные события, документы судебного процесса. А что вы знаете о тамплиерах?

— Я работаю в издательстве, а в издательство приходят не только ученые, но и сумасшедшие. В обязанности редактора входит распознать сумасшедшего с первого взгляда. Если кто-то начинает заниматься тамплиерами, то это почти всегда сумасшедший.

— Да, я это знаю. Имя им легион. Но все же не все, кто занимаются тамплиерами сумасшедшие. Как вы отличаете одних от других?

— По опыту. Сейчас я вам объясню. А кстати, как вас зовут?

— Казобон.

— Почти как персонажа из "Middlemarch"?

— Я не знаю. Во всяком случае, был также с таким именем филолог в эпоху Ренессанса. Но мы с ним не родственники.

— Еще придет время. Не хотите ли повторить? Еще два бокала, Пилад, спасибо. Ну так вот. В мире существуют кретины, дураки, глупцы и сумасшедшие.

— Вы кого-то конкретно имеете в виду?

— Конечно, возьмем, например, нас с вами. Или, по крайней мере, чтобы вас не обижать, меня. Хотя, в общем, каждый, если присмотреться, принадлежит к одной из этих четырех категорий. Любой из нас время от времени в глазах другого бывает кретином, дураком, глупцом или сумасшедшим. Нормальный же человек — это тот, кто соединяет в себе в разумных пропорциях все эти компоненты, эти идеальные типы.

— Idealtypen.

— Браво! Вы знаете немецкий?

— Настолько, насколько это необходимо, чтобы работать с библиографией.

— В мое время тому, кто знал немецкий, не надо было иметь диплом; зная этот язык, можно было прекрасно жить. Думаю, то же сейчас происходит с китайским.

— Я не настолько владею немецким, чтобы обойтись без диплома. Но давайте вернемся к вашей типологии. Кто такой гений — например, Эйнштейн?

— Гений — это человек, который ошеломляющим образом заставляет действовать один элемент, подпитывая его другими. — Он выпил и обратился к проходившей мимо нас женщине: — Добрый вечер, красавица. Ты снова пыталась покончить с собой?

— Нет, — ответила она, — в настоящее время я в коллективе.

— Великолепно, — сказал Бельбо и повернулся ко мне. — А может быть, можно совершать коллективные самоубийства, как вы считаете?

— А как же сумасшедшие?

— Надеюсь, вы не приняли мою теорию за чистую монету. Я не собираюсь приводить в порядок Вселенную. Я вам объяснил, что такое сумасшедший для издательства. Это теория, созданная ad hoc, вы согласны?

— Согласен. Теперь я ставлю.

— Идет. Пилад, прошу вас, немного меньше льда. Иначе все тут же попадает в кровь. Итак, кретин даже не умеет говорить, он только брызгает слюной до спазмов. Из-за нарушения координации он тычет мороженым в лоб. Он входит с противоположной стороны во вращающиеся двери.

— Как же он живет?

— Справляется. Именно поэтому он — кретин. Но этот тип нас не интересует, я его распознаю с первого взгляда, такие не ходят в издательства. Давайте оставим его в покое.

— Давайте.

— С дураком сложнее. Он — общественный продукт. Дурак — это тот, кто говорит всегда около стакана.

— В каком смысле?

— В таком.— Бельбо направил указательный палец вертикально вниз и опустил рядом со стаканом.— Он-то хочет говорить о том, что у него в стакане, но поскольку этого стакана как бы нет, он говорит около него. Выражаясь более понятно — это тот, кто делает промахи, причем постоянно: он обращается с вопросом "как поживает ваша жена?" к человеку, которого жена только что бросила. В общих чертах вы понимаете, о чем я говорю?

— Да, я встречал таких.

— На дураков большой спрос, особенно в светском обществе. Конечно, он вносит некоторое смущение, но в результате есть о чем поговорить. В случае положительного исхода он становится дипломатом. Если кто-нибудь другой допускает промах, дурак говорит около стакана, что приводит к смене темы разговора. Но нас такой тип человека не интересует, он никогда не несет в себе творческое начало, работает над готовыми материалами, не ходит по издательствам. Дурак не утверждает, что кошки лают, нет, он говорит о кошках, когда другие говорят о собаках. Он ошибается в правилах беседы, но когда ошибается удачно, то выглядит отменно. Я полагаю, что такой тип находится на грани вымирания, он является носителем типично мещанских добродетелей. Это представители салона мадам Вердурин или даже дома Германтов. Читают ли еще студенты такие вещи?

— Я — да.

— Дураком был Иоахим Мурай, который заметил на смотре, что один из его офицеров, родом с Мартиники, имеет множество боевых наград, и спросил: "Vous êtes nègre?" "Oui, mon général!",— ответил офицер. А Мурай ему: "Bravo, bravo, continuez!" И так далее. Вы меня поняли? Извините, но сегодня вечером я праздную историческое событие в своей жизни. Я бросил пить. Еще по одной? Лучше не отвечайте, потому что меня замучает комплекс вины! Пилад!

— А глупец?

— Ах, глупец не ошибается в поведении. Он ошибается в рассуждении. Это человек, который утверждает, что все собаки — домашние животные и что они лают. Но кошки тоже ведь

домашние животные, следовательно, они тоже лают. Или вот еще: поскольку афиняне — смертны и все жители Пирея — смертны, то жители Пирея — афиняне.

— Но ведь это же правда.

— Да, но чисто случайно. И глупец может иногда говорить правильные вещи, но посылки все равно будут ошибочны.

— Можно говорить неправильные вещи, но посылки должны быть непреложными.

— Вот именно. Иначе зачем же было так трудиться, чтобы стать думающим животным?

— Все большие человекоподобные обезьяны происходят из низших форм жизни, люди тоже происходят из низших форм жизни, следовательно, все люди суть большие человекоподобные обезьяны.

— Однако неплохо. Мы уже пришли к моменту, когда подозреваем, что что-то не согласуется, но еще необходимо приложить немного сил, чтобы выяснить, что именно и почему. Глупый — самый коварный из всех типов. Дурака узнают с первого взгляда (не говоря уже о кретине), в то время как глупец рассуждает почти так же, как вы или я, разве что с небольшими отклонениями. Это мэтр паралогизмов. Для редактора нет спасения, проверка продолжалась бы целую вечность. Издается множество книг, написанных глупцами, хотя на первый взгляд эти работы кажутся убедительными. Распознавание глупцов не относится к компетенции редактора. Если уж Академия наук не распознала их, то почему этим должен заниматься издатель?

— Этим и философия не занимается. Онтологический аргумент святого Ансельма глуп: Бог должен существовать, потому что я могу себе представить его как существо, наделенное всеми совершенствами, включая существование. Он смешивает понятия "существовать в мыслях" и "существовать в действительности".

— Да, но довод Гонилона, опровергающий это рассуждение, также глупый. Я могу вообразить себе остров в море, даже если этот остров не существует. Он путает понятие случайного с понятием необходимого.

— Соревнования глупцов.

— Конечно, а Бог развлекается до упаду. Он хотел быть непостижимым для разума лишь затем, чтобы показать, что Ансельм и Гонион — глупцы. Какая высокая цель небесного творчества! Все направлено на то, чтобы развенчать космическую глупость.

— Мы окружены глупцами.

— Несомненно. Весь мир глуп. Кроме нас двоих. А вернее, извините, кроме вас.

— Известно, что это имеет отношение к утверждению Геделля.

— Ну не знаю. Что касается меня, то я — кретин. Пилад!

— Теперь моя очередь вас угощать.

— Потом разберемся. Эпименид с острова Крит заявил, что все критцы — лгуны. Раз он так сказал, будучи родом с Крита и хорошо зная его жителей, то он прав.

— Глупо.

— Святой Павел. Письмо к Титу. Вот послушайте: те, кто думают, что Эпименид — лжец, основываются только на мнении критцев, но и критцы не верят друг другу, следовательно, ни один критец не считает Эпименида лгуном.

— Это глупо или нет?

— Сами подумайте. Я уже вам говорил, что очень трудно распознать глупца. Глупец может даже получить Нобелевскую премию.

— Дайте мне поразмыслить над этим... Некоторые из тех, кто не верит, что Бог создал мир за семь дней, не являются фундаменталистами, но некоторые фундаменталисты верят в то, что Бог создал мир за семь дней, следовательно, никто из тех, кто не верит в то, что Бог создал мир за семь дней, не является фундаменталистом. Это глупо или нет?

— Боже правый, это именно такой случай. Как вы думаете?

— Это глупо, даже если бы было правдой. Здесь явно нарушен один из законов силлогизма: нельзя делать обобщающего заключения из двух частных посылок.

— А если бы это вы оказались глупцом?

— Я бы очутился в избранном и древнем обществе.

— О да, глупость окружает нас со всех сторон. И возможно, в соответствии с какой-то отличной от нашей логической системой, наша глупость является их мудростью. Вся история логики сводится к поискам такого определения понятия глупости, с которым мы могли бы согласиться. Это нельзя охватить разумом. Каждый великий мыслитель — глупец для другого великого мыслителя.

— Интересная идея: мысль как неотъемлемая форма глупости.

— Нет. Глупость одной мысли не связана с глупостью другой.

— Глубокая мысль. Уже два часа, Пилад скоро закрывает, а мы еще не добрались до сумасшедших.

— Я как раз собираюсь это сделать. Сумасшедшего можно узнать сразу. Это глупец, не имеющий понятия о трюках. У глупого есть свой тезис, который он пытается обнародовать, логика его смешна, но она существует. Помешанный же, наоборот, не заботится о логике. Он действует по типу короткого замыкания. По его мнению, все должно разоблачать все. У сумасшедшего есть идея фикс, и все, что ему попадается на пути, он использует для ее подтверждения. Сумасшедшего можно узнать по той свободе, с какой он относится к доказательству, по запасам озарения. И, хоть вам это может показаться странным, сумасшедший рано или поздно вытаскивает из рукава тамплиера.

— Всегда?

— Есть сумасшедшие и без тамплиеров, но эти, с тамплиерами, — самые коварные. Вначале вы их не распознаете, вид-то у них вполне нормальный, а потом вдруг... — И он сделал знак, словно хотел заказать еще виски, но передумал и попросил счет. — Кстати, о тамплиерах. Позавчера некто оставил мне рукопись по этой теме. У меня есть все основания считать, что это — сумасшедший, но с человеческим лицом. Рукопись начинается со спокойного тона. Не хотите ли на нее взглянуть?

— Охотно. Я мог бы там найти то, что мне пригодится.

— Не думаю. Но если у вас найдутся свободные полчаса, загляните к нам. Дом N 1 на улице Синсеро Ренато. От этого вы-

играю скорее я, а не вы. Я сразу пойму, заслуживает ли работа того, чтобы ею занимались.

— Почему вы мне доверяете?

— Кто вам сказал, что я вам доверяю? Вот если вы придете, то я вам поверю. Доверяю любознательности.

В бар зашел какой-то студент с искаженным лицом.

— Товарищи, на Канале полно фашистов, у них в руках цепи!

— Я их задержу,— выкрикнул тип с татарскими усами, который когда-то угрожал мне по поводу Ленина.— Пошли, товарищи!

И они вышли.

— Ну что? Идем? — спросил я.

— Нет,— сказал Бельбо.— Такие выкрики специально организует Пилад, чтобы очистить свою забегаловку. Как для первого вечера, в который я бросил пить, я чувствую себя неуверенно. Должно быть, это кризис, связанный с абстиненцией. Все, что я вам говорил до этого момента,— неправда. Спокойной ночи, Казобон.

Ее бесплодие было бесконечным. Она участвовала в экстазах.

(Е. М. Cioran. *Le mauvais démiurge*,
Париж, Gallimard, 1969, *Pensées étranglées*)

Разговор у Пилада открыл мне только внешнее лицо Бельбо. Хороший наблюдатель мог бы догадаться о меланхолической природе его сарказма. Я не могу сказать, что это была маска. Маской, наверное, была та откровенность, которую он тайком себе позволял. Его выставляемый на публику сарказм в действительности был глубокой меланхолией, которую он пытался скрыть от себя самого, маскируя ее наигранной меланхолией.

Сейчас я смотрю на *file*, в котором он пытался романтизировать то, что на следующий день рассказывал о своей профессии в "Гарамоне". Я нахожу здесь его пронизательность, страсть, ностальгию по нереализованному творчеству, его моральный ригоризм, который повелевал ему наказывать самого себя — когда он желал того, на что не имел права, — вычерчивая патетический, олеографический образ своего воображения. Я никогда не встречал человека, который бы умел с таким презрением оплакивать себя.

FILENAME: Джим Конопляник

Завтра надо встретиться с молодым Синти.

1. Монография хорошая, строгая, может быть, слишком академичная.

2. В заключении прекрасная параллель между Катуллом, *poetae novi*, и современным авангардом — это самая гениальная вещь, которую можно было придумать.

3. А почему не во вступлении?

4. Надо его убедить. Он скажет, что в филологической серии нет места такого рода капризам. Он зависит от шефа; риск изъятия вступления, угроза карьере. Блестящая мысль, проходящая через две последние страницы, к сожалению, оста-

ется незамеченной, а в начале она бросалась бы в глаза и могла бы рассердить мандаринов.

5. Однако достаточно дать ее курсивом в виде странного высказывания, оторванного от собственно научного исследования, и тогда гипотеза останется только гипотезой и не нарушит значимости текста. А читатели будут сразу же захвачены, и книга предстанет перед ними в иной перспективе.

Склоняю ли я его в действительности к жесту освобождения или хочу, чтобы он написал мою книгу?

Изменять книги при помощи двух слов. Демиург, который занялся не своим делом. Лучше бы взял в руки кусок мягкой глины и моделировал ее, легко ударял о затвердевшую глину, из которой кто-то другой изваял статую. Правильно стукнул молотком — и Моисей начал говорить.

Принять Вильяма Ш.

— Я просмотрел вашу работу. Моя оценка: совсем плохо. В ней есть все, что необходимо: напряжение, фантазия, драматизм. Это ваш первый опыт?

— Нет, я уже написал одну трагедию, это история двух влюбленных из Вероны, которые...

— Но давайте поговорим о вашем последнем произведении, господин Ш. Я не устаю себя спрашивать, почему действие происходит во Франции, а не в Дании? Ведь нужно совсем немного: изменить два-три имени на датский манер, а замок в Шалон-сюр-Марн — на замок, скажем, в Эльсиноре. Дело в том, что в протестантско-нордической среде, где парит тень Кьеркегора, все это экзистенциальное напряжение...

— Возможно, вы и правы.

— Несомненно. И потом ваша работа нуждается в некоторых стилистических правках, вот, подстричь здесь и там. Как у парикмахера... несколько последних движений ножницами — и уже вам дают зеркало... Ну, например, призрак отца. Почему вы его поместили в конце? Я перенес бы его в начало. Таким образом, дух отца руководил бы поведением молодого принца и навязал бы ему конфликт с матерью.

— Да, мне это кажется неплохой идеей, надо только переставить одну сцену.

— Вот именно. Наконец, стиль. Возьмем, к примеру, отрывок, в котором герой выходит на авансцену и начинает эту медитацию на тему действия или бездействия. Этот фрагмент прекрасен, но, по-моему, в нем недостаточно нервного трепета. "Делать или не делать? Вот мой вопрос тревожный. Должен ли я сносить удары горестной судьбы или скорее..." Почему вы пишете "мой тревожный вопрос"? Я бы сказал, что эта проблема, этот вопрос, понимаете, не его личная проблема, а основной вопрос бытия. Это, если можно так выразиться, альтернатива между быть или не быть...

Заселить мир сыновьями с другими фамилиями, чтобы никто не знал, что они — потомки твоего рода. Как бы выглядел Бог в штатском? Ты — Бог, прогуливаешься по улицам города, слушаешь, что люди о тебе говорят, Бог — это, Бог — то, какой восхитительный мир, какая прекрасная вещь — всемирное тяготение, а ты улыбаешься в усы (прогуливаться надо с приклеенной бородой или нет, лучше без нее, потому что именно по бороде можно сразу узнать Бога) и говоришь себе (солипсизм Бога драматичен): "Ну вот, я существую, а они даже не догадываются об этом". Какой-то тип толкает тебя на улице, чуть ли не оскорбляет, а ты, смиренный, просишь у него прощения и удаляешься, хотя ты — Бог, и если бы ты только захотел, то щелкнул бы пальцами, — и мир обратится в прах. Но ты до бесконечности могуч, поэтому можешь себе позволить быть добрым.

Роман о Боге инкогнито. Бесполезно: если эта идея пришла в голову мне, то она, несомненно, уже посетила и кого-то другого.

Вариант. Ты — автор, но не знаешь еще, насколько велик, люди, которых ты любил, предали тебя, жизнь для тебя утратила смысл, и однажды, чтобы забыться, ты отправляешься в путешествие на "Титанике", который терпит крушение в южных морях; пирога туземцев подбирает тебя (единственного живого человека — остальные пассажиры затонули), и ты, забытый всеми, проводишь долгие годы на острове, населенном только папуасами, вместе с туземками, которые поют тебе печальные песни, слегка покачивая грудями, едва прикрытыми ожерельями

из цветов пуа. Ты постепенно привыкаешь к их жизни, они называют тебя Джим, как и каждого белого, девушка с янтарной кожей входит однажды вечером в твою хижину и говорит: "Я твоя, моя с тобой". В общем, все идет великолепно, вечер, вы лежите на веранде, смотрите на Южный Крест, и она нежно ласкает тебя.

Ты следуешь циклу рассветов и закатов, тебя больше ничего не интересует. Однажды прибывает моторная лодка с голландцами, и ты узнаешь, что уже прошло десять лет, ты, конечно, можешь отплыть вместе с ними, но ты колеблешься, ты хочешь заменить кокосовые орехи более обильным рационом, ты обещаешь заняться сбором конопли, туземцы начинают работать на тебя, ты плаваешь от острова к острову, становишься для всех Джимом Коноплянником. Какой-то спившийся португалец-авантюрист приезжает, чтобы работать с тобой, и освобождается от налога, в пределах твоих владений все только и говорят о тебе. Ты уже даешь советы султану Брунея, как ему воевать с племенем даяков, тебе удастся восстановить старую пушку времен Типпо Сахиба, заряженную гвоздями, ты обучаешь команду из преданных малоазийцев с зубами, черными от жевания бетеля. В битве у Кораллового Рифа старый Сампан заслоняет тебя своим телом. "Я счастлив, что умираю за тебя, Джим Коноплянник". — "Ах, мой бедный, старый Сампан, мой друг"

И наконец, ты становишься знаменитым на всем архипелаге между Суматрой и Порт-о-Пренсом, ты ведешь переговоры с англичанами, в управлении порта Дарвин тебя зарегистрировали под именем Куртц, и теперь для всех ты Куртц, а для туземцев — Джим Коноплянник. Однажды, когда девушка ласкает тебя на веранде, а Южный Крест блестит как никогда, ах, настолько отличный от Большой Медведицы, ты вдруг понимаешь, что хочешь вернуться. Хоть на мгновение, чтобы увидеть, что там от тебя еще осталось.

Ты садишься в моторную лодку, добираешься до Манилы, оттуда вертолетом на Бали. А далее — Самоа, острова Адмиралтейства, Сингапур, Антананариве, Тимбукту, Алеппо, Самарканд, Басра, Мальта — и вот ты уже дома.

Итак, прошло восемнадцать лет, жизнь оставила на тебе свой след, лицо обветрилось от пассатов, ты стал старше, но, пожалуй, красивее. И вот, едва приехав, ты обнаруживаешь, что все библиотеки заполнены твоими книгами, а на фронтоне старой школы, где ты учился читать и писать, выбито твое имя. Ты стал Великим Исчезнувшим Поэтом, совестью своего поколения. Романтические девушки заканчивают жизнь самоубийством над твоей пустой могилой.

А потом я встречаю тебя, моя любимая, вокруг твоих глаз пролегли морщинки, а все еще прекрасное лицо излучает воспоминания и сентиментальные угрызения совести. Я почти прикоснулся к тебе, находясь в двух шагах, а ты посмотрела на меня как смотришь на всех других, словно ища кого-то в их тени. Я мог бы заговорить и тем самым зачеркнуть время. Но зачем? Разве я не получил того, что желал? Я есть Бог, то же одиночество, то же тщеславие, то же отчаяние от того, что я не являюсь одним из своих творений — как все. Все живут в моем отражении, а я живу в невыносимом мерцании собственной тьмы.

Шагай по свету, Вильям Ш.! Ты — знаменит, проходишь мимо и не узнаешь меня. Я шепчу: "Быть или не быть" и говорю себе: "Браво, Бельбо, ты хорошо поработал. Шагай, старина Вильям Ш., чтобы получить свою часть славы: ты ведь только создал, я тебя поправил".

Мы, которые помогаем при родах другим, так же, как и актеры, не должны быть похоронены на Святой Земле. Но актеры считают, что мир такой, какой он есть, развивается по другим законам, в то время как мы считаем, что Вселенная бесконечна и ее миры таят в себе великие возможности...

Неужели жизнь столь щедра, что так вознаграждает посредственность?

Sub umbra alarum tuarum, Jehova.

(*Fama Fraternitatis*, в *Allgemeine und general Reformation*,
Кассель, Wessel, 1614, окончание)

На следующий день я направился в издательство "Гарамон". Фасад дома N 1 по улице Синсеро Ренато был обращен в сторону пыльного переуллка, там виднелся дворик с мастерской веревочника. Справа от входа находился лифт, который мог бы занять достойное место в музее промышленной археологии; когда я попытался использовать его по назначению, он несколько раз подозрительно сильно вздрогнул, но так и не решился начать подъем. Я покинул кабину и поднялся на два пролета по деревянной, почти винтовой лестнице, покрытой пылью. Как я узнал несколько позже, господину Гарамону этот дом нравился потому, что напоминал одно парижское издательство. Табличка на двери гласила: "Издательство "Гарамон", а открытая настежь дверь вела прямо в вестибюль, где не наблюдалось присутствия телефонистки или привратника. Но все же войти сюда не замеченным из маленького кабинета напротив было невозможно, и оттуда сразу же выскочило существо предположительно женского пола, неопределенного возраста и такого росточка, который любой любитель эвфемизмов назвал бы ниже среднего.

Это существо набросилось на меня, выкрикивая слова на языке, который, как мне показалось, я уже где-то слышал; спустя мгновение я понял, что это был итальянский, лишенный почти всех гласных звуков. Я спросил, как найти Бельбо. Меня провели по коридору в кабинет, находившийся в глубине квартиры.

Бельбо встретил меня с изысканной вежливостью:

— Так, значит, вы оказались серьезным человеком! Проходите.

Он усадил меня напротив стола, такого же старого, как и все здесь, заваленного рукописями точно так же, как и этажерки вдоль стен.

— Надеюсь, вы не испугались Гудрун? — спросил он.

— Гудрун? Этой... женщины?

— Девушки. Ее настоящее имя не Гудрун. Мы прозвали ее так за повадки нибелунгов и еще потому, что она говорит с легким тевтонским акцентом. Она хочет высказать все сразу и при этом экономит на гласных. Но при этом ей присуще чувство *justitia aequatrix*: печатая на машинке, она скупится на согласные.

— А чем она здесь занимается?

— К сожалению, всем. Видите ли, в каждом издательстве есть такой человек, который незаменим лишь потому, что только он способен найти какую-либо вещь в том беспорядке, который сам же и создает. И потом, когда теряется рукопись, есть на кого свалить вину.

— Так она и рукописи теряет?

— Не чаще, чем все остальные. В издательствах все теряют рукописи. Похоже, это основное занятие их сотрудников. Но при этом кто-то должен оставаться козлом отпущения, вам не кажется? Я могу упрекнуть ее лишь в том, что она теряет не те рукописи, которые мне хотелось бы потерять. Тогда можно было бы избежать неприятных инцидентов, которые старина Бэкон окрестил бы *The advancement of learning*.

— Но где же они могут здесь теряться?

Он развел руками:

— Извините, но вы отдаете себе отчет, насколько несуразен ваш вопрос? Если бы мы знали где, они бы никогда не терялись.

— Логично,— признал я.— Но, послушайте, книги издательства "Гарамон", поступающие в продажу, всегда высокого качества, и у вас достаточно богатый каталог изданий. Вы сами этим всем занимаетесь? Сколько вас?

— Напротив находится огромная комната технического персонала, а здесь, рядом,— моего коллеги Диоталлеви. Но он занимается учебниками, долгосрочными произведениями, в том смысле, что они долго издаются и долго продаются. Я же отвечаю за университетские публикации. Только не подумайте, что это титанический труд. Боже мой, некоторые книги мне очень

нравятся; мне приходится читать рукописи, но в основном это работа с наперед известным положительным результатом в финансовом и научном смысле. Публикации Такого-то или Такого-то института или же акты коллоквиумов, издание которых заранее подготовлено и оплачено университетом. Если автор таких научных записок — дебютант, предисловие к ним пишет маститый ученый, и вся ответственность тогда ложится на него. Автор подправляет пару корректур, выверяет цитаты, сноски и не получает гонорар. После этого книга готова, за несколько лет мы продаем тысячу или две тысячи экземпляров и покрываем расходы... Никакого риска, каждая книга приносит прибыль.

— А чем занимаетесь вы?

— Многим. Прежде всего, необходимо уметь сделать правильный выбор. Кроме того, мы почти всегда переиздаем на собственные средства переводы престижных авторов для повышения уровня наших каталогов. И наконец, существуют рукописи, которые приносят авторы-одиночки. Такие работы редко бывают достойны внимания, но их все же необходимо просматривать — как знать...

— Значит, вы не скучаете?

— Не скучаю?! Это единственная вещь, которая мне хорошо удается.

Наш разговор был прерван появлением человека лет сорока в пиджаке, на несколько размеров большим по объему, со светлыми редкими волосами, ниспадавшими на густые пожелтевшие брови. Говорил он нежным, бархатистым голосом так, словно пытался что-то объяснить ребенку.

— Этот "Карманный справочник налогоплательщика" меня совершенно утомил. Придется переписывать его заново, а у меня нет никакого желания. Я вам не помешал?

— Это Диоталлеви,— объяснил Бельбо и представил нас друг другу.

— А, так вы зашли по поводу тамплиеров? Сочувствую. Послушай, у меня есть интересная мысль: "Градоустройство у цыган".

— Великолепно,— с восхищением произнес Бельбо.— А я подумал об "Ацтекских хиппи".

— Отлично. Но куда ты это отнесешь — в раздел Жидкостерассечения или Смыслоупадка?

— Надо подумать,— порывшись в ящике стола, Бельбо достал какие-то записи.— "Жидкостерассечение..."— Он посмотрел на меня и заметил мою заинтересованность.— Жидкостерассечение, как вам известно,— это искусство разрезать жидкость на части. Хотя нет,— опять обратился он к Диоталлеви,— Жидкостерассечение — это не раздел, а такая же наука, как Механическое теткоприветствование или Волосопроскакивание, которые относятся к разделу Четвероволосорассечения.

— Что еще за четверосе..? — осведомился я.

— Искусство разрезать волос на четыре части. К этому разделу относится наука о ненужных устройствах, например Механическое теткоприветствование, которое занимается созданием механизмов для приветствования собственной тетушки. Мы не уверены, стоит ли оставить в этом разделе Волосопроскакивание, т. е. искусство выходить из положения, находясь на волоске от чего-либо; это ведь совсем не бесполезная наука. Разве не так?

— Скажите, что все это значит? — взмолился я.

— Вместе с Диоталлеви мы задумали реформу науки. Мы хотим создать Институт Сравнительной Бессмыслицы по изучению ненужных или невозможных явлений. Задача Института — подготовить исследователей, которым удастся увеличивать до бесконечности количество бессмыслиц.

— И сколько в нем будет факультетов?

— Пока что только четыре, но по своей универсальности они могли бы вместить все человеческие познания. Факультет Четвероволосорассечения является как бы подготовительным, он подводит к познанию смысла бессмысленного. Очень важный факультет Смыслоупадка или Невозможностей. К примеру, Цыганское градоустройство или Ацтекские хиппи... Главное в каждой дисциплине — это понимание корней ее бессмысленности, а в случае Смыслоупадка — полной невозможности. Как пример могу привести деление на морфемы знаков азбуки Морзе, ис-

торию сельского хозяйства в Антарктиде, историю живописи на острове Пасхи, современную шумерскую литературу, ассиرو-вавилонскую филателию, введение послушания в систему Монтессори, технологию изготовления колес в империях доколумбового периода, создание образов в азбуке Брайля, фонетику немых фильмов...

— А что вы скажете о психологии поведения толпы в пустыне Сахара?

— Отлично,— одобрил Бельбо.

— Отлично,— с уверенностью повторил Диоталлеви.— Вам следовало бы сотрудничать с нами. А у этого молодого человека мозги на месте, правда, Джакопо?

— Да, я сразу это понял. Вчера вечером он весьма тонко высказывал бессмысленные суждения. Но продолжим, поскольку сразу видно, что наш проект вас заинтересовал. Так что мы поместили в раздел Смысловых Противоречий, который я никак не могу найти?

Диоталлеви добыл из кармана обрывок бумаги и посмотрел на меня с нескрываемой симпатией:

— В раздел Смысловых Противоречий, как указывает само его название, мы поместили изучение предметов со взаимоисключающим смыслом. Поэтому я считаю, что "Градоустройство у цыган" следовало бы включить именно сюда...

— Нет,— возразил Бельбо,— только в том случае, если бы речь шла о градоустройстве у кочующих народов. Смыслоупадок изучает теоретическую невозможность, а Смысловые Противоречия — невозможность, заключенную в самих терминах.

— Посмотрим. Что же мы внесли в Смысловые Противоречия? Ага, вот: революционное созидание, статичная динамика, Гераклитова статика, спартанская изнеженность, учреждения народной олигархии, история невозсоздаваемых традиций, тавтологическая диалектика...

Я ощутил необходимость внести и свою лепту:

— Могу ли я предложить Грамматику ошибок?

— Прекрасно, прекрасно! — воскликнули оба и сделали соответствующую запись.

— Но есть одна загвоздка,— заметил я.

— Какая?

— Если ваш проект станет достоянием гласности, сразу же набегит целая толпа людей с трудами, достойными внимания.

— Я же говорил, Джакопо, что у этого парня тонкий ум,— сказал Диоталлеви.— Но знаете, в этом и заключается суть нашей проблемы. Сами того не желая, мы набросали идеальные очертания истинного познания. Мы показали необходимость возможного. Ну, а теперь все. Мне пора идти.

— Куда? — поинтересовался Бельбо.

— Сегодня пятница — и послеобеденное время.

— О, Господи Иисусе! — вздохнул Бельбо и повернулся в мою сторону.— Там, напротив, стоят два или три дома, в которых живут ортодоксальные евреи, знаете, такие, которые носят черные шляпы, длинные бороды и пейсы. Таких в Милане не много. Сегодня пятница, с заходом солнца начинается суббота. Так вот, в квартире напротив приступают к серьезным приготовлениям: полируют подсвечники, готовят еду, расставляют все так, чтобы завтра не пришлось зажигать огонь. Даже телевизор остается включенным всю ночь, только им заранее приходится выбирать интересующий их канал. У нашего Диоталлеви есть небольшой бинокль и он постыдно подглядывает в окна, наслаждаясь мечтой, что находится по другую стороны улицы.

— Но зачем? — спросил я.

— Да потому, что наш Диоталлеви вбил себе в голову, будто он еврей.

— Что значит — вбил себе в голову? — спросил задетый за живое Диоталлеви. — Я и есть еврей. Вы что-то имеете против, Казобон?

— Вам виднее.

— Диоталлеви,— твердым голосом промолвил Бельбо,— ты не еврей.

— Вот как?! А моя фамилия? В ней такое же еврейское звучание, как и в фамилиях Грациадио или Диозиаконте, слышится такой же отзвук гетто, как и в имени Шолом Алейхем.

— Считается, что фамилия Диоталлеви должна приносить счастье, поэтому ее часто давали детям в сиротских приютах — как доброе предзнаменование. А твой дед прошел через приют.

— Но как еврейский ребенок.

— Диоталлеви, у тебя розовая кожа, грудной голос и ты практически альбинос.

— Существуют кролики-альбиносы, должны же быть альбиносы и среди евреев.

— Послушай, Диоталлеви, невозможно по желанию стать евреем, как становятся филателистами или свидетелями Иеговы. Евреем надо родиться. Смирись с этим, ты ведь не глупее других.

— Я прошел обрезание.

— Да ладно! Кто угодно может это сделать из соображений гигиены. Достаточно найти доктора с необходимым инструментом. В каком возрасте ты прошел обрезание?

— К чему такие подробности?

— Очень даже к чему. Евреи любят докапываться до мелочей.

— Никто не сможет доказать, что мой дед не был евреем.

— Конечно, потому что он был подкидышем. Но с таким же успехом он мог бы оказаться наследником Византийского трона или незаконнорожденным отпрыском династии Габсбургов.

— Никто не сможет доказать, что мой дед не был евреем,— упрямо повторил Диоталлеви,— и, кроме того, он был найден у Оттавских Ворот.

— Но ведь твоя бабушка не была еврейкой, а родословная у них определяется по материнской линии...

— ...но кроме записи в свидетельстве о рождении — даже в актах гражданского состояния мэрии можно читать сквозь строк — существуют еще кровные узы, а моя кровь вопит о талмудистском мировоззрении, и ты рискуешь оказаться расистом, если станешь утверждать, что любой язычник может быть таким же правоверным талмудистом, как и я.

Он вышел. Бельбо пожал плечами:

— Прошу нас извинить. Такая дискуссия происходит у нас каждый день, с той лишь разницей, что каждый раз я пытаюсь прибегнуть к новым аргументам. На самом деле Диоталлеви — верный приверженец Каббалы. Однако и среди христиан есть ее

приверженцы. И потом, знаете, Казобон, не стану же я противиться желанию Диоталлеви быть евреем.

— Думаю, не стоит. Мы же демократы.

— Да, мы демократы.

Он закурил. Я вспомнил о цели своего визита:

— Вы говорили о рукописи, в которой идет речь о тамплиерах.

— Действительно... Поглядим. Она была в папке из искусственной кожи...

Он порывлся в стопке рукописей и попытался достать одну из них, находившуюся в самой середине стопки. Рискованное предприятие. Естественно, часть стопки рухнула на пол. Бельбо держал в руках папку из искусственной кожи. Я бегло просмотрел оглавление и вступительное слово.

— Здесь речь идет об аресте тамплиеров. В 1307 году Филипп Красивый решил изловить тамплиеров во всей Франции. Так вот, одна из легенд гласит, что за два дня до того, как Филипп отдал приказ об их аресте, из Храма тамплиеров в Париже в неизвестном направлении выехала телега с сеном, запряженная двумя быками. Говорят, что таким образом скрылся целый отряд рыцарей во главе с неким Омоном. Они укрылись в Шотландии и положили начало масонской ложе в Килвиннинге. Согласно легенде, рыцари слились с братствами масонов, которые из поколения в поколение передавали секреты Храма Соломона. Так я и думал. Еще один автор, пытающийся отыскать корни масонства в побеге тамплиеров в Шотландию... Эта теория, основанная на домыслах, перетирается уже не одно столетие. Ей нет ни одного подтверждения, и я могу выложить вам на стол с полсотни таких брошюр, в которых говорится одно и то же, пересказывается все та же история. Вот, взгляните, я открою наугад: "Подтверждением их побега в Шотландию служит тот факт, что даже в наши дни, через шестьсот пятьдесят лет со времени тех событий, по всему миру существуют тайные ордены, называющие себя Хранителями тайн Храма. Какое еще можно дать объяснение тому, что их наследие до сих пор существует?" Вы меня понимаете? Как можно доказать, что

маркиз Карабас никогда не существовал, если даже Кот в сапогах утверждает, что он — слуга маркиза?

— Понял,— сказал Бельбо.— В расчет не берем. Однако ваша история о тамплиерах меня заинтересовала. И мне не хотелось бы упустить настоящего знатока, раз уж таковой оказался у меня под рукой. Но почему же все говорят о тамплиерах, а не о мальтийских рыцарях? Нет, сейчас ничего не нужно объяснять. Уже поздно, и мы с Диоталлеви должны скоро идти на ужин к господину Гарамону. Но он должен закончиться к половине одиннадцатого. Я постараюсь уговорить Диоталлеви заскочить к Пиладу,— он, как правило, рано ложится и ничего не пьет. Я вас застаю там?

— А где же еще? Я принадлежу к потерянному поколению и обретаю себя лишь тогда, когда составляю компанию одиночеству себе подобных.

Li frere, li mestre du Temple
 Qu'estoient rempli et ample
 D'or et d'argent et de richesse
 Et qui menioient tel noblesse,
 Où sont il? que sont devenu?

(Chronique à la suite du roman de Favel)

Et in Arcadia ego. В этот вечер заведение Пилада напоминало собой картину эпохи Золотого века. Это был один из тех вечеров, когда вы чувствуете не только приближение революции, но и то, что она будет осуществлена на деньги Союза промышленников. Только у Пилада можно было увидеть бородастого владельца прядильной фабрики в фуфайке, что как бы бросало вызов его собеседнику — американцу с туманным будущим, но во фраке и при галстукке. Мы находились накануне великого переворота в парадигме. В начале шестидесятых годов борода все еще олицетворяла собой фашизм, но при этом необходимо было выбривать ее на щеках, чтобы лучше очерчивались контуры скул, на итальянский манер; в шестьдесят восьмом она стала символом нонконформизма, а теперь она совершенно нейтральна и универсальна, как свобода выбора вкуса. Борода всегда служила определенного рода маской (можно было наклеить себе фальшивую бороду, чтобы не быть узнанным), но в тот период начала семидесятых можно было прятаться и за настоящей бородой. Можно было лгать, говоря правду, а еще лучше — придавать правде таинственность и легко позволять ей ускользнуть: за бородой суть бороδοносца была не так заметна. Но в этот вечер можно было увидеть следы пышного брадоношения даже на гладко выбритых лицах тех, кто ее никогда не носил: эти лица говорили о том, что причиной тому лишь недостаток волосяного покрова.

Однако я отклонился от основного повествования. К назначенному времени подошли Бельбо и Диоталлеви с кислыми минами, бормоча себе под нос едкие комментарии по поводу недавнего ужина. Мне еще предстояло узнать несколько позже, что за ужины бывают у господина Гарамона.

Бельбо сразу же принялся за свои любимые продукты дистилляции, а Диоталлеви, после долгого размышления, не зная, с чего начать, выбрал безалкогольный тоник. Мы устроились за столиком в глубине зала, который только что освободили два трамвайщика, вынужденные завтра утром рано вставать на работу.

— Так значит, эти тамплиеры...— начал Диоталлеви.

— Нет, не теперь, не ставьте меня, пожалуйста, в затруднительное положение... Вы можете прочесть об этом где угодно...

— Мы за устные традиции повествования,— возразил Бельбо.

— В этом случае оно становится более таинственным,— добавил Диоталлеви.— Создавая мир, Бог произносил слова, а не рассылал телеграммы.

— Да будет свет. Стоп. Послание в пути,— сказал Бельбо.

— К фессалонянам, конечно,— продолжил я.

— Тамплиеры,— настаивал Бельбо.

— Значит, вот что,— начал я.

— Рассказ никогда не начинают словами "значит, вот что",— заметил Диоталлеви.

Я сделал вид, что хочу встать и уйти, ожидая, что они станут меня упрашивать. Ничего подобного не произошло. Я снова сел и начал свой рассказ.

— Я хочу сказать, что эта история известна абсолютно всем. Существовал первый крестовый поход, принимаете? Балдуин становится первым королем Иерусалима. Христианское королевство на Обетованной Земле. Но удержать Иерусалим — это одно, а остальную часть Палестины, после того как сарадины были разбиты, но окончательно не разгромлены,— совершенно другое. Жизнь в этих краях не была легкой ни для победителей, ни для паломников. И вот, в 1118 году, во времена правления Балдуина II, сюда прибывают девять человек под предводительством некоего Хуго де Паэна и формируют ядро нового Ордена Нищих Рыцарей Христа; орден монашеский, но с мечом и в доспехах. Им присущи три основные монашеские заповеди: нестяжательство, целомудрие и послушание, к которым добавляется защита паломников. Король, епископ, все в Иерусалиме

сразу же предоставляют им необходимую помощь, выделяют деньги и устраивают под сводами старого Храма Соломона. Так они и становятся рыцарями-храмовниками.

— Кем же они были на самом деле?

— Хуго и первые восемь человек, прибывшие вместе с ним, возможно, были идеалистами, привлеченными сюда таинственностью крестовых походов. Но затем их сменило младшее поколение, пришедшее в поисках приключений. В те времена новосозданное иерусалимское королевство было чем-то вроде Калифорнии; там можно было сделать себе состояние. Дома их не ожидали заманчивые перспективы, возможно, среди них были такие, что строили большие планы... Я говорю об этом так, как если бы судил об иностранном легионе. Что бы вы сделали в те времена, оказавшись в затруднительном положении? Вы стали бы тамплиером, увидели бы новые страны, поучаствовали бы в сражениях, вас бы кормили и одевали, и наконец, помимо всего прочего, это служило бы спасению вашей души. Разумеется, для этого необходимо было испытать немало ударов судьбы, поскольку вам предстояла бы жизнь в пустыне, где пришлось бы спать под навесом и коротать долгие дни, не видя ни одной живой души, кроме других тамплиеров или нескольких турков, жариться под солнцем и страдать от жажды, пережить немало других невзгод...

Я сделал паузу.

— Возможно, то, что я говорю, слишком уж похоже на вестерн. Быть может, существовала еще и третья фаза: Орден стал могущественным, люди жаждали вступить в него, даже если у себя на родине они занимали хорошее положение. Ведь стать тамплиером не значило обязательно отправиться на Святую Землю; можно было и никуда не уезжать. Это сложное дело. Временами тамплиеры похожи на солдафонов, временами им присуща тонкость чувств. К примеру, нельзя утверждать, что они были расистами: тамплиеры воевали с мусульманами (именно для этого они там находились), но делали это с вызывающим восхищением рыцарским благородством. Когда посланник дамасского эмира посетил Иерусалим, тамплиеры предложили ему для молитв небольшую мусульманскую мечеть,

переделанную в христианскую церковь. Однажды туда вошел какой-то франк. Возмущенный присутствием в святом месте мусульманина, он принялся оскорблять его. Однако тамплиеры прогнали брата по вере, проявившего подобную нетерпимость, и принесли свои извинения мусульманину. Такая лояльность по отношению к врагу в конечном итоге сослужила им плохую службу, поскольку на процессе их, кроме всего прочего, обвинили в связях с тайными сектами мусульман. И в этом, безусловно, есть своя правда; с ними это происходило точно так же, как и с искателями приключений прошлого века, которые бредили Африкой; ведь тамплиеры не получали основательного монастырского воспитания, их разум не был настолько изощрен, чтобы уловить некоторые теологические тонкости; они были чем-то вроде Лоуренса Аравийского; вскоре надевают на себя одежду шейхов... Однако проследить за их деятельностью представляется довольно-таки трудным делом, поскольку христианские историографы, такие как Гийом де Тир, не упускали ни единой возможности, чтобы очернить их.

— Но почему?

— Потому что они стали слишком сильны и произошло это слишком быстро. Все началось со святого Бернара. Вы много знаете о святом Бернаре? Будучи великим организатором, он реформировал Орден бенедиктинцев, упразднил убранство церкви; а когда один из собратьев, некий Абельяр, вывел его из себя, он стал преследовать беднягу, словно Маккарти, и если бы мог, отправил бы на костер. Но поскольку у него не было такой возможности, Бернар приказал сжечь его книги. Затем он стал проповедником крестового похода: давайте вооружимся и отправимся на врага...

— А вы не очень-то ему симпатизируете,— заметил Бельбо.

— Терпеть его не могу; была б моя воля, Бернар закончил бы в наихудших кругах ада. Но он был хорошим рекламным агентом, вы только посмотрите, какую услугу оказал ему Данте, называя шефом кабинета Божьей Матери. Святым он стал сразу же, поскольку завел знакомство с нужными людьми. Но мой рассказ — о тамплиерах. Бернар тут же почувствовал, что необходимо дать идее нужное развитие и превратить этих новых

искателей приключений в христианское войско; посему можно сказать, что тамплиеры в их героическом обличье в какой-то мере являются его изобретением. В 1128 году он созывает собор в Труа именно затем, чтобы дать точное определение того, что представляют собой эти новые монахи-солдаты, а несколько лет спустя пишет похвальное слово об этом христовом воинстве и составляет правила из семидесяти двух параграфов, читать которые весьма забавно, поскольку в них можно найти что угодно. Ежедневная месса, запрет на посещение рыцарей, отлученных от церкви; если кто-то из них пожелает стать членом Ордена, его необходимо принять по-христиански, — как видите, я был прав, когда говорил об иностранном легионе. Носили простые белые плащи без меха, исключением был мех ягненка или овцы, им запрещалось носить модную по тем временам легкую остроносую обувь; спать они должны были в рубашке и кальсонах, а вся постель состояла из соломенного матраса, подстилки и одеяла...

— Одному Господу известно, как при такой жаре они должны были вонять... — заметил Бельбо.

— О вони мы поговорим позже. В правилах было немало других строгостей: одна миска на двоих, трапеза должна проходить при полном молчании, мясо можно есть лишь три раза в неделю, раскаяние по пятницам; просыпаться они должны были с рассветом, и если в течение дня им предстояла тяжелая работа, то предоставлялся всего лишь один час дополнительного сна, причем перед сном нужно было тринадцать раз прочесть "Отче наш". Помимо предводителя существовало множество низших иерархий, вплоть до фельдфебелей, конюхов, привратников и прислуги. Рыцарь Ордена мог иметь три лошади и конюха при них; на сбруе, седле и стремянах не должно было быть никаких украшений; оружие тоже должно было быть простым, но хорошего качества; любая охота, кроме охоты на львов, была им запрещена — короче говоря, жизнь, преисполненная покаяния и сражений. Не говоря об обете целомудрия, на котором делалось особое ударение, поскольку эти люди вели не монастырскую жизнь, а находились в постоянном состоянии войны посреди клочущего жизнью мира, если миром

можно назвать клубок противоречий, каким была Святая Земля в этот период. В общем, правила гласили, что присутствие женщин является одним из наибольших искушений, и проявление нежности позволялось только в отношении собственной матери, сестры или тетушки.

Бельбо озадаченно проговорил:

— В отношении тетушки я был бы более осторожен... Но, насколько я помню, тамплиеров ведь не обвинили в содомских грехах? И потом, существует книга Клоссовского, кажется "Бафомет". Кем же был этот Бафомет — одним из их дьявольских идолов?

— Потерпите немного, сейчас поговорим и об этом. Но давайте немного порассуждаем. Они жили, словно моряки, долгими месяцами находясь в пустыне. Итак, ты живешь у черта на куличках, ночью спишь под одним навесом с человеком, который ел с тобой из одной миски; тебе холодно, страшно, тебя мучит жажда и ты хочешь к маме. Что бы вы сделали?

— Возжелал бы мужской любви, и не один раз,— предположил Бельбо.

— А теперь подумайте, что за адская жизнь ожидает такого человека среди других воинов, которые не давали обета целомудрия; когда им удастся завоевать очередной город, они насилуют мавританок с янтарными животами и бархатистыми глазами, а что же остается тамплиерам среди запахов ливанских кедров? Им достаются мавританские мальчики. Теперь можно понять, откуда пошла поговорка "пить и ругаться, как тамплиер". Это похоже на жизнь войскового капеллана в окопах: он дудлит водку и ругается, как извозчик, с безграмотными солдатами. И если бы это было все; на их печати изображены два тамплиера, сидящие один за другим на одной лошади. К чему бы это, если им позволено иметь по три лошади каждому? Должно быть, это была выдумка Бернара — символ их бедности или двойной роли: монаха и рыцаря. Но, представьте себе, на какую мысль наводило простых людей это изображение двух монахов, скачущих на лошади, плотно прижавшись друг к другу? Бесспорно, это давало повод для многих сплетен...

— ...которые они сами же и породили,— заключил Бельбо.— Этот святой Бернар был настолько глуп?

— Нет, он вовсе не был глуп, просто он тоже был монахом, а в то время монахи имели странное представление о человеческом теле... Мне на секунду показалось, что мое повествование слишком смахивает на вестерн, но то, что говорит Бернар о своих излюбленных рыцарях, заставляет призадуматься. У меня при себе есть выписка из его труда, и думаю, она достойна того, чтобы ее процитировать: "Они испытывают отвращение к мимам, магам и жонглерам, к легкомысленным и глупым песням; стригут коротко волосы, зная от апостолов, что уход за прической постыден для мужчин. Борода их всегда растрепана, моются они редко, и следы пыли перемешиваются на них со следами жары и кольчуги".

— Не хотелось бы мне жить в их обществе,— заметил Бельбо.

Диоталлеви добавил:

— Отшельник всегда культивировал здоровую грязь, чтобы унизить собственное тело. Кажется, это святой Макарий жил на столбе и, когда с его тела падали черви, подбирал их и навешивал обратно, говоря при этом, что сии создания Божии тоже имеют право на радость в жизни?

— Этим столпником был святой Симеон,— сказал Бельбо,— и, по-моему, он взобрался на столб для того, чтобы было удобнее плевать на головы проходящих внизу.

— Ненавижу ясные умы,— проворчал Диоталлеви.— Не важно, Макарий или Симеон,— существовал столпник, который, как я уже сказал, так и кишел червями; но я не специалист в данной области, поскольку меня интересуют выходки лишь разумных людей.

— Чистенькими же были твои раввины из Жероны,— поддел его Бельбо.

— Они жили в ужасных трущобах, потому что такие умники, как вы, загнали их в гетто. Ну а тамплиеры сами себе выбрали грязь.

— Не будем сгущать краски,— сказал я.— Вам приходилось когда-либо видеть колонну новобранцев после марша? Я гово-

рю вам обо всем этом для того, чтобы вы лучше понимали противоречивость сути тамплиеров. Тамплиер должен быть таинственным, аскетичным; он не объедается, не напивается, не прелюбодействует, но при этом носится по пустыне, рубит головы врагам Христа, и чем больше голов он срубит, тем больше приобретет входных билетов в рай; с каждым днем он становится все более растрепанным, от него все больше воняет, и, кроме того, Бернар требует, чтобы, войдя в завоеванный город, он не набрасывался ни на девочек, ни на старушек и чтобы в безлунные ночи, когда по пустыне гуляет знаменитый самум, его близкий соратник по оружию не оказывал ему никаких услуг такого рода. Как соединить в себе качества монаха и головореза, потрошить врагов и воспевать хвалу Богородице, не иметь права смотреть в лицо двоюродной сестре, а затем однажды, после многодневной осады ворваться в город и видеть, как другие крестоносцы на ваших глазах наслаждаются с женами халифа, а прекрасные мавританки распахивают корсеты и умоляют: возьми, возьми меня, только сохрани мне жизнь?.. Но тамплиер должен оставаться непоколебимо растрепанным и зловонным, как того хотел святой Бернар, и продолжать молиться... Кстати, достаточно взглянуть на "Retraits"...

— А это еще что такое?

— Устав Ордена, написанный достаточно поздно, когда Орден, образно говоря, уже обул тапочки. Нет ничего хуже скуки в армии после окончания войны. Наступает момент, когда, например, запрещается драться, наносить рану христианину из чувства мести, что-либо покупать или продавать женщинам, клеветать на собратьев. Нельзя терять рабов, приходить в гнев и выкрикивать: "Я уйду к сарацинам!", губить лошадь из-за халатности, дарить животных, за исключением кошек и собак, покидать Орден без разрешения, нарушать печать магистра, выходить за пределы лагеря по ночам, швырять в ярости свою одежду наземь.

— По этим запретам можно сделать вывод о том, чем тамплиеры обычно занимались,— заявил Бельбо.— Это дает понятие об их ежедневной жизни.

— Представим себе,— сказал Диоталлеви,— тамплиера, раздраженного словами или поступками своих собратьев, покинувшего из-за этого лагерь ночью и без разрешения, скачущего на лошади в сопровождении хорошенького сарацинского мальчика, с тремя каплунами, привязанными к седлу; он направляется к девице легкого поведения и вступает с ней в запрещенную законом связь, оплачивая ее услуги каплунами... Затем, во время пирушки мавритенок убегает верхом на лошади, а наш тамплиер, еще более грязный, потный и растрепанный, чем обычно, поджав хвост возвращается обратно и, чтобы его проделки остались незамеченными, передает деньги (собственность Храма) неизменному ростовщику-еврею, который ожидает его, сидя на табурете, подобно грифу, подстерегающему добычу...

— Ты бы еще назвал его Каиафой,— усмехнулся Бельбо.

— А далее — шаблонная ситуация. Тамплиер пытается вернуть себе если не мавра, то хотя бы хоть какое-то подобие лошади. Но один из его братьев уже смекнул, в чем дело, и с наступлением вечера, когда ко всеобщему удовольствию подают мясо, при всех делает далеко не прозрачные намеки (известно, что в подобных братствах всегда имеет место зависть). Капитана охватывают подозрения, а подозреваемый в ярости выхватывает нож и бросается на собрата...

— На доносчика.

— На доносчика, это верно: так вот, он набрасывается на беднягу и ножом уродует его лицо. Тот хватается за меч, начинается невероятный скандал, капитан пытается их успокоить, плашмя ударяя мечом, а братья зубоскалят...

— Пить и ругаться, как тамплиеры...— пробормотал Бельбо.

— Черт возьми, сто чертей, тысяча чертей! — принялся под-сказывать я.

— Несомненно, наш тамплиер впадает в гнев... и он... что, черт возьми, может сделать разъяренный тамплиер?

— Лицо его наливается кровью,— предположил Бельбо.

— Да, лицо его, как ты сказал, наливается кровью, он сры-вает с себя плащ и швыряет его на землю...

— Можете забрать себе этот вонючий плащ вместе с вашим поганым Храмом! — включился я.— Да еще со злости ударом меча разбивает герб и кричит, что уйдет к сарацинам.

— Таким образом, он одним махом нарушил по крайней мере восемь запретов.

Дабы лучше проиллюстрировать свою мысль, в заключение я сказал:

— Так вот, представьте себе этих типов, которые кричат, что они готовы уйти к сарацинам, в день, когда их арестовывает королевский бальи и заставляет взглянуть на раскаленные докрасна орудия пыток. Говори, негодяй, признавайся, что вы вставляете себе в зад! Мы? Да плевал я на твои клещи, ты еще не знаешь, на что способен тамплиер, да я тебя самого в зад поимею, а если мне попадется под руку папа,— то и папу, и самого короля Филиппа!

— Сознался, он сознался! Так это и происходило,— затараторил Бельбо.— И, хлоп! — его бросают в карцер и натирают каждый день маслом, чтобы он лучше горел на костре.

— Вы совсем как дети,— заметил Диоталлеви.

Наш разговор был прерван появлением девушки с мясистым индюшиным носом, которая держала в руках какие-то листки бумаги. Она поинтересовалась, подписали ли мы уже петицию об освобождении арестованных аргентинских товарищей. Бельбо не читая поставил свою подпись.

— Во всяком случае, им живется хуже, чем мне,— сказал он Диоталлеви, который сидел с отсутствующим видом. Затем обернулся к девушке:

— Мой друг не сможет подписаться: он принадлежит к индейскому меньшинству, а у них запрещено подписываться своим именем. Многие из них сейчас находятся в тюрьмах, потому что терпят правительственные преследования.

Девушка долго с сочувствием смотрела на Диоталлеви, а потом подала лист мне.

— А кто они такие?

— Как это — кто такие? Аргентинские товарищи.

— Да, но из какой группировки?

— Может, из Такуары?

— Но ведь Такуара, насколько мне известно, это фашистская группировка,— заметил я.

— Фашистская,— злобно прошипела девица. И ушла.

— Выходит, что в конечном итоге эти тамплиеры были несчастными людьми? — спросил Диоталлеви.

— Да нет,— сказал я,— это моя вина, что вы меня неверно поняли; я просто хотел оживить свой рассказ. То, что было сказано, относится к основной массе, а Орден с самого начала своего существования получил в дар огромные средства и постепенно стал разрастаться по всей Европе. Представьте себе: Альфонс Арагонский дарит ему целую провинцию и, более того, в его завещании говорится, что в случае, если он умрет бездетным, все королевство переходит в собственность тамплиеров. Последние не приняли это завещание на веру, потребовали составления договора, по которому отхватили почти все обещанное, что вылилось в полдюжины крепостей, построенных в Испании. Король Португалии отдает им в дар лес, а поскольку этот лес все еще был занят сарацинами, тамплиеры сразу же ринулись в бой, изгнали оттуда мавров, а затем на пути к своим владениям основали Коимбру. И это всего лишь отдельные эпизоды. В общем, какая-то часть Ордена ведет бои в Палестине, но ядро находится в метрополии. И что же происходит? Например, если кому-то необходимо отправиться в Палестину и он не хочет при этом рисковать в дороге драгоценностями или золотом, то может передать их тамплиерам во Франции, Италии или Испании, получить расписку, а на Востоке — свою собственность.

— Да это же настоящий кредитный вексель,— удивился Бельбо.

— Вот именно, и они изобрели чековую систему намного раньше флорентийских банкиров. Итак, вы понимаете, что благодаря богатым подношениям, завоеваниям и финансовым операциям тамплиеры стали организацией международного масштаба. Для того чтобы руководить таким предприятием, необходимы были люди недюжинного ума. И таким людям удалось убедить папу Иннокентия II предоставить им исключитель-

ные привилегии: Ордену оставлялась вся без исключения военная добыча, он не подчинялся ни королю, ни епископу, ни иерусалимскому патриарху, а лишь одному папе. Тамплиеры были освобождены от уплаты десятины, но сами имели право производить этот сбор на подвластных им территориях... Короче говоря, Орден стал доходным предприятием, куда посторонним вход был заказан. Теперь становится понятным отношение к ним королей и епископов, которые, впрочем, не могут обходиться без их помощи. Крестоносцы — это халтурщики, люди, которые не знают, куда они направляются и зачем; тамплиеры же чувствуют себя везде как дома, на их стороне знание обстановки, противника и военное искусство. Орден Храма — серьезная организация, даже если действия ударных войск — бахвальство.

— Но можно ли это считать бахвальством? — поинтересовался Диоталлеви.

— Зачастую — да; снова и снова удивляет противоречие между их политическими и административными познаниями и стилем, который напоминает зеленые береты: сила есть — ума не надо. Возьмем, к примеру, историю осады Аскалона...

— Возьмем, — согласился Бельбо, до этого отвлекшийся для того, чтобы с подчеркнутым сладострастием поприветствовать некую Долорес. Та подсела к нам:

— Я тоже хочу услышать эту историю!

— Итак, однажды французский король, германский император, король Иерусалима Балдуин III и два великих магистра Ордена Тамплиеров и Ордена Госпитальеров решили осадить Аскалон. Все вместе они отправились к городским стенам: король и его двор, патриарх, священники с крестами и штандартами, архиепископы Тира, Назарета и Цезарии, в результате — великое празднество с шатрами, разбитыми у стен неприятельского города, орифламмами, большими щитами и боем барабанов... Аскалон был укреплен ста пятьюдесятью башнями, а его обитатели заранее подготовились к осаде: в стенах каждого дома были пробиты бойницы, и каждое жилище представляло собой как бы крепость в крепости. Я повторяю, тамплиеры, будучи сильными и сведущими в военном искусстве, должны

были бы знать такие вещи. Но ничего подобного. Они принялись лихорадочно сооружать деревянные башни на колесах и черепахи, знаете, такие, которые подводят под неприятельские стены и которые выбрасывают огонь, камни, стрелы, тогда как катапульты бомбардируют издалека каменными глыбами... Защитники Аскалона попытались было поджечь башни, но ветер подул в их сторону, огонь охватил стены, и они начали обрушиваться, по крайней мере в одном месте. Пролом! Тут же все нападавшие ринулись туда разом, но здесь случилось нечто странное. Великий магистр тамплиеров устроил у пролома зазор, и в город вошли только его воины. Злые языки утверждают, что это было сделано для того, чтобы вся добыча досталась одним лишь тамплиерам, их доброжелатели возражают: целью этого поступка было проверить, нет ли там засады, для чего были отобраны самые храбрые воины. Во всяком случае, я не доверил бы этому магистру права руководить военным училищем: сорок тамплиеров промчались сквозь весь город со скоростью сто восемьдесят километров в час и остановились у стены с противоположной стороны, затормозив в облаке пыли; они посмотрели друг на друга, не поняв, зачем они это сделали, и повернули обратно, пытаясь прорваться сквозь полчища мавров, осыпавших их сквозь бойницы камнями и стрелами и добивших наконец их всех, включая Великого магистра. Затем они заделали брешь в стене, повесили на ней тела убитых и свернули из их пальцев фиги, которые были направлены в сторону христиан, что вызвало крики негодования у последних.

— Мавры известны своей жестокостью,— подтвердил Бельбо.

— Как и дети,— заметил Диоталлеви.

— Плохие командос из этих твоих тамплиеров,— сказала Долорес, которую мой рассказ впечатлил.

— А мне эта история напомнила Тома и Джери,— сказал Бельбо.

Меня охватило чувство сожаления. По правде говоря, вот уже два года я как бы жил среди тамплиеров и полюбил их, но подыгрывая снобизму своих собеседников, представил их так,

словно они были персонажами мультипликационного фильма. Возможно, это случилось по вине Гийома де Тира, историографа, на которого невозможно полностью положиться. Рыцари Храма были вовсе не такими: их бородатые лица излучали огонь, а когда они мчались верхом в красивых белых плащах с красным крестом под развевающимся бело-черным знаменем, отважно предаваясь смертельной схватке, готовые распрощаться с жизнью, пот, о котором говорил святой Бернар, придавал бронзовый отлив их благородно-саркастичной устрашающей улыбке... Разъяренные как львы и одновременно кроткие и мирные как ягнята, неустрашимые в бою и чистосердечные в молитве, беспощадные по отношению к врагу и верные собратьям, отмеченным белым и черным цветами их знамени, преданные сторонникам Христа и наводящие ужас на его врагов, как говорил о них Жак де Витри...

Почему же я должен обращаться с этими ревнителями веры и последними представителями исчезающего рыцарства, словно какой-то Ариостид, хоть мог бы стать их Жуанвилем? Мне припомнились страницы, которые посвятил им автор "Истории Святого Людовика". Он отправился в Святую Землю вместе с Людовиком Святым, чтобы писать и бороться. История тамплиеров к тому времени насчитывала уже сто пятьдесят лет, крестовых походов было столько, что они лишились всякой идеалистической привлекательности. Словно призраки, стерлись из памяти героические фигуры королевы Мелисенды и прокаженного короля Балдуина, растаяв в кровавом огне ливанской войны, уже пал однажды Иерусалим, Барбаросса утонул в Киликии, побежденный и униженный Ричард Львиное Сердце вернулся на родину именно в одежде тамплиера, христианский мир проиграл эту битву: у мавров оказалось больше сил, чем у союза разрозненных государей; они сумели объединиться для защиты своей цивилизации — читали уже Авиценну и не были такими темными, как европейцы, да и как могли эти последние прожить два века, дыша воздухом толерантной, таинственной и более свободной культуры, и не попасть под ее влияние, особенно сравнивая ее с грубой, тяжеловесной и варварской западной культурой? Так продолжалось до 1244 года,

когда окончательно пал Иерусалим; война, начатая сто пятьдесят лет назад, была проиграна, христиане лишились права носить оружие на песчаных равнинах Ливана, созданных для мирной жизни под благоухающими кедрами,— о, несчастные тамплиеры, для чего были нужны все ваши подвиги?

Сентиментальность, меланхолия, блеклость увядающей славы; так почему же им было не прислушаться к тайным доктринам мусульманских мистиков и не посвятить себя накоплению скрытых богатств? Возможно, именно отсюда и проистекают легенды о рыцарях Храма, которые до сих пор будоражат умы, вызывая желание приоткрыть тайну безграничной власти, которой уже не было применения...

Однако на закате славы Ордена появляется Людовик Святой, король, который делил трапезы с Фомой Аквинским и еще верил в крестовые походы, несмотря на двухвековую историю их неудач, обусловленных глупостью победителей. Стоит ли пробовать еще раз? Но Людовик Святой говорит, что стоит; тамплиеры выносливы и не оставят его в случае поражения, крестовые походы стали их ремеслом, да и как оправдать существование Храма, если нет крестовых походов?

Людовик напал на Дамият со стороны моря; на берегу, занятом противником, сплошными рядами сверкали пики и алебарды, развевались знамена, блестили на солнце щиты, кривые турецкие сабли и позолоченное оружие кавалерии; все эти люди, как свидетельствует Жуанвиль, представляли собой великолепное зрелище. Людовик мог бы выждать удобный момент, но он решил произвести высадку во что бы то ни стало. "Верноподданные мои воины, объединившиеся милостию Божиею, мы будем непобедимы. Если же мы проиграем сражение, то станем мучениками во имя Христа. Если победим, слава Господня от того преумножится". В это трудно было поверить, но тамплиеры были взращены в духе истинного рыцарства и должны были поддерживать сложившееся о них представление. И они последовали за королем в его необъяснимом безумии.

Высадка, о чудо, удалась, сарацины, о чудо, оставили Дамият, да так неожиданно, что король опасался входить в город, не веря в возможность подобного бегства противника. И тем не

менее все произошло именно так: город был его, ему принадлежали все сокровища и сотня мечетей, которые Людовик тотчас же приказал превратить в церкви. Теперь предстояло сделать выбор: наступать на Александрию или на Каир? Наиболее разумным решением было бы взять Александрию и тем самым лишить Египет жизненно важного порта. Но одним из руководителей экспедиции был ее злой гений в лице брата короля Роберта д'Артуа; амбициозный, страдающий манией величия, жаждущий славы, и немедленно — как всякий младший брат. Он настоял на походе на Каир, сердце Египта. Ранее проявлявшие осмотрительность тамплиеры становятся неуправляемыми. Король запретил разобщенные стычки, но магистр Ордена нарушил приказ. Увидев отряд султанских мамелюков, он вскричал: "Вперед, на них во имя Господне, я не смогу вынести позора их присутствия!"

В Мансурахе сарацины закрепились на другом берегу реки, и французы принялись насыпать дамбу, чтобы перейти ее вброд под прикрытием своих передвижных башен, однако сарацины переняли у византийцев искусство владения греческим огнем. Снаряды с греческим огнем были огромны, словно винные бочки, за ними тянулся напоминающий огромную стрелу огненный шлейф: они рассекали воздух словно молния и были похожи на огненных драконов. Снаряды извергали такое пламя, что ночью в лагере было светло, как днем.

Лагерь христиан был объят огнем, и в это время какой-то вероломный бедуин за триста византийских монет указывает королю место переправы. Король решил перейти в наступление, но переправа оказалась опасной, многие рыцари утонули, а оставшихся в живых уже ждал на противоположном берегу отряд из трехсот конных сарацинов. Однако основным силам христиан все же удалось выбраться на сушу, по приказу первыми ринулись в бой тамплиеры, за ними последовал граф д'Артуа. Мусульманские всадники бросились наутек, а тамплиеры стали дожидаться подхода остальных своих частей. Граф же д'Артуа со своим отрядом ринулся за неприятелем.

Опасаясь быть заклеяменными позором, тамплиеры тоже двинулись на штурм неприятельского лагеря, но успели туда

уже после того, как д'Артуа произвел в нем большое опустошение. Мусульмане обратились в бегство в направлении Мансураха. Легкая победа опьянила д'Артуа, и он решил преследовать их. Тамплиеры пытались было его остановить, а их командующий, Великий магистр брат Жиль даже прибег к лести, говоря, что граф одержал восхитительную, величайшую из побед, которые когда-либо знала история завоевания заморских территорий. Но заносчивый и жаждущий славы д'Артуа стал обвинять тамплиеров в измене, говоря, что если бы они и Орден Госпитальеров действительно захотели, то эта земля уже давным-давно была бы завоевана и что сам он только что подал пример того, чего может добиться полководец, у которого в жилах течет кровь, а не вода. Эти слова задевали честь тамплиеров. Храм никому не уступит первенства, и все вместе они ринулись к городу, ворвались в него, и лишь у дальней стены осознали, что допустили ту же самую ошибку, что и при взятии Аскалона. Христианское войско и тамплиеры не успели овладеть султанским дворцом, вокруг которого собрались неверные, чтобы затем, словно падальщики, наброситься на разрозненные отряды грабителей. Неужели алчность опять ослепила тамплиеров? Однако из некоторых источников известно, что перед тем как последовать за д'Артуа на штурм города, брат Жиль твердо сказал ему: "Ваше высочество, ни я, ни мои братья не испытываем страха и последуем за вами. Но знайте: мы сомневаемся в том, что кто-то из нас сможет оттуда вернуться". Как бы то ни было, д'Артуа, а с ним немало храбрых рыцарей, в том числе и двести восемьдесят тамплиеров, пали на поле боя.

Это нечто большее, чем поражение, это — бесчестье, которое еще хуже поражения. Однако даже Жуанвиль не так представляет эту историю: бывает, в этом прелесть войны.

Под пером господина Жуанвиля большинство сражений выглядит таким милым балетом, в котором иногда слетает несколько голов и слышны отчаянные призывы к Господу, да еще порой король всхлипнет по своим верным умирающим вассалам, но все это происходит словно в цветном фильме — среди красных доспехов, золотых уздечек, сверкающих на желтом солнце пустыни шлемов и мечей, у бирюзовых морских

вод — и как знать — может, каждое побоище для тамплиеров было именно таким.

Взгляд Жуанвиля перемещается сверху вниз или снизу вверх, в зависимости от того, падает он с коня или же поднимается в седло, он описывает отдельные сцены сражения, а не общий план битвы, и создается впечатление, что решающее место занимают отдельные дуэли, исход которых зачастую непредсказуем и зависит от воли случая. Так, Жуанвиль бросается на помощь графу де Ванону, какой-то турок наносит ему удар копьем, лошадь падает на колени, Жуанвиль перелетает через ее голову, затем поднимается с мечом в руке, и мессир Эзар де Сиврей ("да простит его Господь") подает ему знак укрыться в разрушенном доме, по пути к которому их едва не втаптывает в землю турецкий отряд; полуживыми они добиваются до дома, баррикадируются, а турки забрасывают их копьями через пробитую крышу. Мессир Феррис де Лупе ранен в оба плеча, "и рана была столь велика, что кровь текоша, словно родник", Сиврей ранен обломком сабли в лицо так, что "нос падоша на уста". И так далее, наконец прибывает подмога, покидаем дом и переносимся на другое поле сражения, новые батальные сцены, очередные убитые и спасенные *in extremis*, громкие молитвы, обращенные к святому Иакову. А в это время душка граф де Суассон, не переставая размахивать двуручным мечом, выкрикивает: "Сударь Жуанвиль, пусть вопят эти каналы, но клянусь Господом, мы еще будем вспоминать об этом дне в одном из будуаров!" А король жаждет известий о своем брате, проклятом графе д'Артуа, и брат Анри де Роннэ, предводитель рыцарей Ордена Госпитальеров, отвечает, что "известия хорошие, ибо уверен, что братия и граф д'Артуа в раю пребудут". Король говорит, что пусть благодатен будет Господь за все, что ему посылает, и на глаза ему наворачиваются крупные слезы.

Однако этот ангельско-кровавый балет не всегда так прекрасен: умирает Великий магистр Гийом де Сонак, заживо сожженный греческим огнем, христианскую армию, задыхающуюся от трупных испарений и испытывающую недостаток в провианте, поражает цинга; армия Святого Людовика в расте-

рянности, а сам король измучен дизентерией, причем до такой степени, что вынужден вырезать сзади брюки, чтобы не терять времени в битве. Дамьет сдан, и королева должна вести переговоры с сарацинами, в результате которых она выплачивает пятьсот тысяч фунтов, чтобы сохранить себе жизнь.

Что же, следует признать полный провал крестовых походов. Между тем в Сен-Жан-д'Акре Людовика принимают как победителя, и весь город, включая духовенство, женщин и детей, выходит ему навстречу. Тем временем тамплиеры, знающие подлинный результат его экспедиции, пытаются вступить в переговоры с Дамаском. Это становится известно Людовику, который терпеть не может, чтобы его в чем-то опережали. Он низлагает нового Великого магистра тамплиеров в присутствии мусульманских послов, и Великий магистр вынужден взять назад слово, данное неприятелю, он становится перед королем на колени, прося у него прощения. Нельзя сказать, чтобы рыцари Ордена плохо дрались или были корыстны, однако король Франции, дабы усилить свое могущество, подвергает их унижениям, и чтобы утвердить свое могущество, его наследник Филипп, полвека спустя отправит их на костер.

В 1291 году Сен-Жан-д'Акр был завоеван мусульманами, а все его жители истреблены. Настал конец христианскому владычеству в Иерусалиме. К концу этой схватки тамплиеры стали еще богаче, многочисленнее и обрели еще большую власть, чем когда-либо; однако их Орден был создан для того, чтобы вести сражения на Святой Земле, которая была у них отобрана.

Они живут в роскошном заточении своих крепостей, разбросанных по всей Европе, и в Храме в Париже все еще мечтают о Храме в Иерусалиме, когда он находился в зените своей славы, с прекрасной церковью Святой Марии Латранской, окруженной воздвигнутыми в соответствии с обетом часовнями, о складах, заваленных трофеями, о великом множестве кузниц и шорных мастерских, о торговле сукном, о полных закромах и о конюшне на две тысячи лошадей, за которыми смотрела целая рать конюхов, о прислуге, о красных крестах на белых плащах, выделявшихся среди коричневых одежд тех, кто только вступал в братство, о посланниках султана в больших тюрбанах

и золоченых шлемах, о паломниках, о патрулях и эстафетах, о радости обладания сундуками, доверху набитыми деньгами и драгоценностями, о портах, из которых отправлялись приказы и грузы для замков на родной земле, об островах и побережьях Малой Азии...

Все осталось в прошлом, бедные мои тамплиеры.

В тот вечер у Пилада, допивая пятый стакан виски, который Бельбо заказал для меня, я вдруг понял, что мечтаю вслух и только что мне, должно быть, удалось рассказать прекрасную и чувствительную (какой позор!) историю, поскольку у Долорес странно блестели глаза, а Диоталлеви, выдудлив второй стакан своего безалкогольного тоника словно серафим закатил глаза к небу, точнее к потолку далеко не священного бара, и лишь на-шептывал:

— Они, конечно же, были загубленными и святыми душами, одновременно конюхами и рыцарями, банкирами и героями...

— Конечно, они были особенными,— подвел итог Бельбо.— А вы их любите, Казобон?

— Я пишу о них диссертацию, а если кто-то пишет диссертацию, скажем, о сифилисе, он в конце концов начинает любить даже бледную спирохету.

— Красиво, как в кино,— сказала Долорес.— А теперь мне пора идти, потому что к утру нужно размножить листовки. На заводе Марелли готовится забастовка.

— Хорошо тебе, если можешь себе позволить заниматься такими вещами,— позавидовал Бельбо. Он медленно поднял руку и провел ею по волосам.— Закажу теперь уже действительно последнее виски. Уже почти полночь. Я говорю это для Диоталлеви, а не для нормальных людей. И все же хотелось бы до конца выслушать всю историю судилища над тамплиерами. Когда, как, почему...

— *Cur, quomodo, quando*,— повторил Диоталлеви.— Да-да.

Он утверждает, что видел накануне своими глазами, как пятьдесят четыре брата, посвященных в монашеский Орден, вели на костер, потому что они не желали признать перечисленные ошибки, и что он слышал, что их сожгли, и что он сам, боясь, что не выдержит, если его предадут сожжению, признает под страхом смерти, в присутствии господ комиссаров и любого другого, что все ошибки, предъявленные Ордену,— правда, и если бы от него этого потребовали, то он признал бы также, что убил самого Господа Бога.

(Свидетельское показание д'Эмери де Вильи-ле-Дюка, 13.5.1310)

Процесс, полный умолчаний, противоречий, загадок и глупостей. Глупость наиболее бросалась в глаза, но поскольку она была недоступна для выяснения, то в большинстве случаев воспринималась как загадка. В те счастливые дни я предполагал, что глупость рождает загадки. В тот вечер в перископе я думал, что самые страшные загадки принимают вид безумия, чтобы не дать себя раскрыть. Ну а теперь я считаю, что наш мир — это добрая загадка и что наше безумие делает ее ужасной, потому что хочет объяснить в соответствии со своей правдой.

Тамплиеры выпустили цель из поля зрения. Другими словами, они превратили средства в цель, они просто управляли своими громадными богатствами. Неудивительно, что монарх Филипп Красивый, жаждущий сконцентрировать власть в своих руках, смотрел на тамплиеров исподлобья. Как можно сохранить контроль над ненавистным Орденом? Ведь Великий магистр имел такие же права, как принц королевской крови, командовал армией, управлял огромным земельным владением, его избирали как императора, он обладал абсолютной властью. Французская казна находилась не в руках короля — она была доверена парижскому Храму. Тамплиеры были доверенными и уполномоченными лицами, администраторами текущего счета, который лишь формально находился в распоряжении короля.

Они принимали взносы, платили, манипулировали процентами, они вели себя как представители частного банка, который, однако, обладал всеми привилегиями и франшизами банка государственного... Казначеем короля был один из тамплиеров. Разве можно было править в таких условиях?

Если ты не можешь их победить, войди с ними в союз. Филипп потребовал, чтобы за ним признали титул почетного тамплиера. Ответ был отрицательным. Такого оскорбления не забудет ни один король, даже не завязывая узелок на память. И Филипп предложил папе римскому объединить тамплиеров и госпитальеров и отдать новый Орден под надзор одного из своих сыновей. Великий магистр тамплиеров Жак де Моле прибыл с большой помпой с Кипра, где он находился как монарх в изгнании, и представил папе меморандум, в котором якобы рассуждал о преимуществах этого предложения, а на самом деле доказывал его невозможность и бессмысленность. Без зазрения совести Моле заявил, что тамплиеры богаче госпитальеров и что объединение сделает первых беднее, а вторых — обогатит, а это нанесло бы серьезный удар душам его рыцарей. Он нажал только на один рычаг — и досье было отправлено в архив, а дело закрыто.

Нельзя же оставить оскорбление без ответа! И тут у короля появляется возможность показать себя. О тамплиерах давно уже распространялись всевозможные сплетни. Как должны были относиться к этим "поработителям" порядочные французы, которые знали, что тамплиеры собирали с них десятину, а взамен не давали ничего, даже не пролили кровь как стражи Гроба Господня? Они тоже французы, но не во всем, почти *pieds noirs* или, как тогда говорили, *пуланы*. Они доходили даже до того, что кичились своими экзотическими привычками и разговаривали между собой только на языке мавров, который они переняли. Они были монахами, но на людях вели себя грубо и вольно, и еще в далекие времена папа Иннокентий III был вынужден издать свою буллу "*De insolentia Templariorum*". Они дали обет жить в бедности, но представляли себя с аристократической роскошью, отличались жадностью нового класса ростовщиков и заносчивостью корпуса мушкетеров.

И поползли слухи: гомосексуалисты, еретики, идолопоклонники, обожествляющие какую-то бородатую голову, которую взяли неизвестно где, но только не в пантеоне добропорядочных верующих, возможно, они делятся между собой секретами исмаилитов, торгуют с ассасинами Старца с Гор. Филипп и его советники извлекли пользу из этих рассказней.

За спиной Филиппа действовали его злые духи, Марины и Ногаре. Марины — это тот, кто в конце концов наложил свою руку на казну тамплиеров, стал управлять ею как личной собственностью короля и в конце концов завещал ее госпитальерам, причем неясно, кто же воспользовался процентами с капитала. Ногаре, хранитель королевской печати, был в 1303 году стратегом того инцидента в Ананы, когда Скъярра Колонна надавал пощечин папе Бонифацию VIII, и тот, не выдержав такого унижения, через месяц скончался.

В нужный момент на сцене появляется некий Эске де Флоиран. Он вроде бы попал в тюрьму (за что — весьма неясно) и, оказавшись в одной камере с отступником-тамплиером, тоже ожидающим наказания, выслушал его ужасное признание. Флоиран продает все, что узнал, за спасение своей жизни и кругленькую сумму в придачу. А знает он то, о чем шепчет весь мир. Однако теперь уже сделан шаг от сплетен к показаниям на уровне следствия. Король передает сенсационные разоблачения Флоирана папе Клименту V, тому самому, который перенес столицу папства из Рима в Авиньон. Папа всему этому верит и не верит, во всяком случае он не осмеливается совать свой нос в дела тамплиеров. Но в 1307 году соглашается начать официальное расследование.

Моле об этом информировали, но он оставался спокоен и продолжал участвовать в официальных церемониях при дворе короля на положении равного среди равных. Климент V затягивал расследование, и король стал подозревать папу в том, что он хочет дать тамплиерам возможность ускользнуть. Но ничего не могло быть ошибочнее этого мнения: тамплиеры продолжали пить и заниматься своими делами, не ведая о том, что вокруг них замышлялось. И это была первая их загадка.

14 сентября 1307 года король рассылает послание всем бальи и сенешалям королевства, предписывающее начать массовые аресты тамплиеров с конфискацией их имущества. Проходит месяц — аресты происходят 13 октября — тамплиеры все еще ни о чем не подозревают. Утром в день ареста все они попадают в расставленные сети и — вторая загадка — сдаются, не оказывая сопротивления. Надо заметить, что в течение дней, предшествующих аресту, люди короля, чтобы быть уверенными, что при конфискации ничего не пропадет, начали проводить что-то наподобие инвентаризации владений Ордена по всей территории Франции, прикрываясь при этом наивными административными уловками. А тамплиеры на это: ничего страшного, пожалуйста, господин бальи, входите, смотрите на все что пожелаете, чувствуйте себя как дома.

Узнав об арестах, папа пытался протестовать, но было уже поздно. Королевские комиссары приступили к своей работе с помощью щипцов и веревок, и многие рыцари, не выдержав пыток, стали сознаваться. Их пока еще не отдавали в руки инквизиторов, это было преждевременно: они должны были подтвердить свои признания.

И вот третья загадка: верно, что применялись пытки, и страшные, если тридцать шесть рыцарей от них скончались, но ни один из этих железных людей, привыкших сражаться с жестокими турками, не выстоял перед бальи. В Париже только четыре рыцаря из ста тридцати восьми отказались дать показания. Все остальные сознались, включая и Жака де Моле.

— Но в чем же они сознались? — спросил Бельбо.

— Именно в том, что было изложено в предписании об их аресте. Признания мало чем отличаются друг от друга, по крайней мере во Франции и Италии. В Англии же, где никто не собирався преследовать тамплиеров по закону, показания напоминают канонические обвинения и принадлежат свидетелям, не имеющим отношения к Ордену, которые лишь повторяли услышанную информацию. Короче говоря, тамплиеры сознаются только там, где кому-то угодно, чтобы они сознались, и только в том, в чем должны сознаться.

— Обычный для инквизиции процесс. Мы не раз сталкивались с таким,— заметил Бельбо.

— Однако поведение обвиняемых было странным. Главные пункты обвинения говорят о том, что рыцари во время ритуалов посвящения трижды отрицали Христа, плевали на распятие, их раздевали и целовали *in posteriori parte spine dorsi*, проще говоря в задницу, в пупок, а затем в губы *in humane dignitatis opprobrium*, и наконец, они вступали в запретную связь друг с другом. Оргия. Затем им показывали голову идола с бородой, которой они должны были молиться. Что же на это отвечали обвиняемые? Жоффруа де Шарнэ, тот самый, который позже должен был умереть с Моле на костре, сознался в том, в чем его обвиняли: да, он отрицал Христа, но языком, а не сердцем, он не помнит, плевал ли на распятие, потому что в тот вечер была большая спешка. Что до поцелуя в зад, то такой факт имел место, он слышал, как наставник д'Овернь сказал, что, в сущности, лучше совокупляться с братьями Ордена, чем скомпрометировать себя с женщиной, но сам он никогда не совершал плотских грехов с другими рыцарями. Ну конечно же, это была почти игра, к вере это не имеет никакого отношения, другие этим занимались, но не я. Не кто иной как Жак де Моле, Великий магистр, заявил, что лишь сделал вид, что плюет на распятие, а сам плюнул на землю. Он признает, что церемонии посвящения носили именно такой характер, но — обратите внимание! — не может точно сказать, сколько их было, потому что за всю свою карьеру посвятил очень мало братьев. Другой сказал, что он целовал магистра, но только в губы, магистр же поцеловал его в задницу. Некоторые признавались в большем, чем требовалось: они якобы не только отрицали Христа, но и утверждали, что он был преступником, сомневались в непорочности Девы Марии, мочились на святое распятие, причем не только в день своего посвящения, но в течение всей Святой недели, вообще не верят в святое причастие, безостановочно молятся Бафомету и поклоняются дьяволу в образе кота...

И тут начинается скорее гротескное, чем невероятное действо, похожее на балет, между королем и папой. Папа хочет взять дело в свои руки — король желает вести процесс едино-

властно, папа хочет убрать Орден только временно, заклеив позором виновных, а затем восстановить его в первозданной чистоте — король мечтает, чтобы скандал разгорелся сильнее, чтобы процесс скомпрометировал весь Орден, что привело бы к полному его крушению, политическому, религиозному, а главное — финансовому.

В этот момент появляется документ, являющийся своего рода шедевром. Магистры теологии постановляют, что обвиняемым нельзя предоставлять защитников, потому что они могут отречься от своих признаний; а поскольку они сознались, не стоит даже начинать процесс — король может воспользоваться своей властью, судебное разбирательство назначают только в сомнительных случаях, а здесь нет и тени сомнений. "Зачем им защитники — оправдать то, в чем они сознались, приняв во внимание, что очевидность фактов делает преступление явным?"

Но поскольку существовал риск, что инициатива ускользнет из рук короля и перейдет в руки папы, король и Ногаре выносят на свет Божий громкое дело: епископ из Труа обвиняется в колдовстве по доносу неизвестного доброхота, некоего Ноффо Деи. Позже выяснилось, что Деи клеветал, и его приговаривают к повешению, но до этого на бедного епископа наваливают публичные обвинения в содомском грехе, святотатстве и ростовщичестве. То есть его обвиняют в грехах тамплиеров. Вероятно, король хотел показать сынам Франции, что церковь не имеет права судить тамплиеров, будучи уличенной в их же грехах, или просто он решил таким образом бросить вызов папе. В общем, история темная, игра полиции и секретных служб, утечка информации и доносы... Папа прижат к стене и соглашается допросить семьдесят два тамплиера, которые подтвердили признания, сделанные под пытками. Однако папа принимает их раскаяние и дарует им свое прощение.

Но здесь происходит нечто, что является узловым моментом моего исследования и что отражено на страницах множества противоречивых источников: папа, получив с большим трудом разрешение опекать рыцарей, тут же передает их королю. Я никак не мог понять, что же произошло. Моле отказывается от

своих показаний, Климент предоставляет ему возможность защищаться и отправляет к нему трех кардиналов, чтобы его допросили. 26 ноября 1309 года Моле произносит возмущенную речь в защиту Ордена, осмеливаясь даже угрожать своим обвинителям. И тут к нему прибывает посланник короля Гийом де Плезанс, которого Моле считает своим другом; Великий магистр советуется с ним и уже 28 числа того же месяца делает весьма странное заявление о том, что он, дескать, бедный, необразованный рыцарь, и ограничивается перечислением заслуг Ордена Тамплиеров (начиная с самых далеких), милостынь, которые он раздавал, вспоминает о кровном вкладе в Святую Землю и так далее. При этом присутствует Ногаре, который рассказывает о том, что Орден имел весьма дружеские контакты с Саладином; а это значит, что речь идет о государственной измене. Оправдания де Моле производят тягостное впечатление, Великий магистр, измученный двумя годами тюремного заключения, похож на выжатый лимон, впрочем, он принял жалкий вид сразу же после своего ареста. В марте следующего года Моле делает третье заявление, избрав другую стратегию: он будет говорить только перед папой.

Тот театр, который разыгрывался до сих пор, приобретает вид эпической драмы. В апреле 1310 года пятьсот пятьдесят тамплиеров требуют, чтобы было выслушано их выступление в защиту Ордена, они отказываются от признаний, сделанных под пытками, все отрицают и доказывают, что обвинения несостоятельны. Но король и Ногаре знают свое дело. Как?! Некоторые тамплиеры отказываются от признаний? Тем лучше: их должно считать рецидивистами и клятвопреступниками, другими словами *relapsi* — страшнейшее обвинение тех времен, — поскольку они высокомерно отрицали то, в чем ранее сознались. Можно быть строгим, но простить того, кто сознается и раскаивается, но не того, кто не раскаивается, потому что он отказывается от признаний и говорит, совершая клятвопреступления, что нет повода для раскаивания. Пятьдесят четыре клятвопреступника, отказавшихся от своих показаний, приговариваются к смерти.

Можно легко представить психологическую реакцию других арестованных тамплиеров. Признавшие свою вину попадают на

галеры, но остаются в живых. А пока ты жив — есть надежда. Те же, кто не сознается, или, что еще хуже, отказывается от прежних показаний, идет на костер. Пятьсот отказавшихся берут назад свои отказы.

Раскаявшиеся хорошо все просчитали, потому что в 1312 году те, кто не признал свою вину, были осуждены на вечное тюремное заключение, а те, кто признал, прощены. Филипп не желал резни, он хотел лишь уничтожить Орден. Освобожденные рыцари, разбитые духовно и физически после четырех или пяти лет тюрьмы, растворились в других орденах, они хотели только одного — чтобы о них забыли, и факт их исчезновения долго опровергал легенды о подпольном выживании Ордена.

Моле продолжал настаивать на том, чтобы его выслушал папа. Климент созывал в 1311 году церковный Собор в Вене, но не пригласил Моле. Он санкционировал упразднение Ордена Тамплиеров и передачу его имущества госпитальерам, несмотря на то, что в тот момент этим богатством распоряжался король.

Проходит еще три года, и наконец по согласованию с папой, 19 марта 1314 года на паперти собора Нотр-Дам Моле приговаривают к пожизненному заключению. Слушая этот приговор, Моле чувствует себя оскорбленным. Он ожидал, что папа позволит ему оправдаться, а теперь осознал, что его предали. Он очень хорошо понимает, что если снова откажется от своих показаний, то его объявят клятвопреступником и рецидивистом. Что творится в его сердце после семи лет, проведенных в тюрьме в ожидании приговора? Получит ли он поддержку от своих старших братьев? Полностью сломленный, имея перспективу закончить свою жизнь заживо замурованным и обещенным, он решает, что лучше принять славную смерть. Он свидетельствует о своей невиновности и невиновности своих братьев. Тамплиеры совершили только одно преступление, говорит он,— предали Храм из малодушия. Но он не станет этого делать.

Ногаре потирает руки: преступлению общественного значения надо вынести общественный приговор, и несомненно, чем скорее, тем лучше. Но куратор Нормандии от Ордена Жоффрау

де Шарнэ вел себя так же, как Моле. Решение было принято королем в тот же день: кострище будет возведено в центре острова Ситэ. На закате солнца Моле и Шарнэ были сожжены.

Легенда донесла сведения о том, что перед смертью Великий магистр предсказал скорую кончину своих преследователей. И действительно, папа, король и Ногаре умерли в течение года после казни. Что касается Мариньи, то после смерти короля он был заподозрен в растрате. Враги обвинили его в колдовстве, и Мариньи был повешен. В результате всего этого многие начали думать о Моле как о мученике. В произведениях Данте звучит негодование по поводу преследования тамплиеров.

На этом кончается реальная история и начинается легенда. Одна из ее глав повествует о том, как неизвестный в день, когда был обезглавлен Людовик XVI, взобрался на эшафот и крикнул: "Жак де Моле, ты отмщен!"

Вот такую более или менее правдивую историю я рассказал в тот вечер у Пилада.

Бельбо поинтересовался:

— А вы уверены, что не прочли все это у Оруэлла или Кестлера?— Или:— Послушайте, ведь это... как называется та афера, которая произошла во времена "культурной революции"?..

Тут вмешался Диоталлеви, как всегда с очередной сентенцией:

— *Historia magistra vitae.*

— Что ты говоришь?! — изумился Бельбо.— Ведь каббалисты не верят в историю.

А Диоталлеви настаивал, ничуть не смутившись:

— В том-то и дело, все возвращается на круги своя, история — это учитель, потому что учит нас, что ее не существует. Однако перестановки имеют значение.

— Но в конце концов,— подвел черту Бельбо,— кто такие тамплиеры, кем они были? Сначала вы мне их представили как сержантов из фильма Джона Форда, затем — как негодяев, еще позже — как рыцарей с миниатюры, потом — как банкиров Бога,

которые добывали свои богатства нечистым путем, затем — как разгромленную армию, спасающуюся бегством, затем — как адептов дьявольской секты и, наконец, как мучеников свободной мысли... Кем же они были?

— Должно быть, существовали причины, благодаря которым они стали легендой. Скорее всего, множество факторов сыграло в этом свою роль. Если бы какой-нибудь историк с Марса из третьего тысячелетия нашей эры задал себе вопрос, что представляла собой католическая церковь — тех мучеников христианства, которых пожирала льва на аренах римских цирков, или тех, кто убивал еретиков, то ответ был бы: и тех и других одновременно, не так ли?

— Но в конце концов, совершали тамплиеры все то, в чем их обвиняли?

— Самое интересное то, что их последователи, я имею в виду неотамплиеров различных эпох, утверждают, что да. Оправданий их деятельности существует множество. Первый тезис их защитников касается ритуалов посвящения в рыцари Ордена: если хочешь стать тамплиером, покажи, что ты мужчина, плюнь на распятие и посмотри, покарает ли тебя Бог за это; если ты становишься членом этого братства, ты должен полностью принадлежать братьям, что ты и доказывал, позволяя поцеловать себя в зад. Второй тезис: их склоняли к отрицанию Христа, чтобы посмотреть, как бы они вели себя, если бы сарацины захватили их в плен. Это уже совсем идиотское объяснение, поскольку при пытках почти всегда добиваются признания в том, что нужно пытающему, пусть чисто символически. Третий тезис: на Востоке тамплиеры вошли в контакт с еретиками — членами секты манихеев, которые презирали крест, считая его орудием мучений Всевышнего, они проповедовали, что нужно отречься от мира и обесславить повсюду брак и деторождение. Старая идея, типичная для многочисленных ересей первых тысячелетий, которая перейдет к катарам — существует целая традиция, которая считает, что тамплиеры были пропитаны катаризмом. В этой ситуации можно понять причину содомского греха, пусть даже совершаемого братьями чисто символически. Предположим, что рыцари связались с этими еретиками; разу-

меется, они не были интеллектуалами, благодаря наивности, снобизму и духовной склонности они создали собственный фольклор, который отличал их от других крестоносцев. Они создали ритуалы как своего рода опознавательные знаки, не вдаваясь в подробности их реального значения.

— А какую роль во всем этом играет идол Бафомет?

— Видите ли, во множестве признаний говорилось о *figura Baffometi*, но, возможно, это была ошибка первого переписчика, а в процессе манипуляций с протоколами она могла перейти во все последующие документы. В другом случае речь идет о Магомете (*istud caput vester deus est, et vester Mahumet*), то есть о том, что тамплиеры создали для себя синкретистскую литургию. В некоторых признаниях говорится о том, что их призывали возвещать слово "йалла", что должно было означать "Аллах". Но дело в том, что мусульмане не обожествляют изображений Магомета, тогда кто же оказывал влияние на тамплиеров? Из признаний обвиняемых следует, что многие видели головы идиолов, иногда речь идет о покрытой золотом деревянной фигурке идола с курчавыми волосами и всегда с бородой. Создается впечатление, что расследовавшие дело нашли эти головы и показывали их допрашиваемым в процессе дознания, но к концу дознания головы исчезали, все их видели, и никто их не видел. Совсем как в истории с котом: кто-то утверждает, что он был серый, кто-то — что рыжий, а кто-то — что черный. Но представьте себе допрос с пристрастием, с применением докрасна раскаленных щипцов: так ты видел кота во время посвящения? Как ответить "нет", если усадьба тамплиера с урожаем, который надо уберечь от крыс, была полна котов?

В те времена в Европе кота не признавали домашним животным, как это было в Египте. Кто знает, возможно, тамплиеры как раз и держали в своих домах котов вопреки обычаям добропорядочных христиан, которые смотрели на котов с подозрением как на исчадь дьявола. Подобное произошло с головами Бафомета. Наверное, это были какие-то реликвии в форме головы, которые были почитаемы в те времена. Естественно, есть люди, которые утверждают, что Бафомет — это фигура алхимика.

— Везде появляется алхимия,— сказал Диоталлеви с уверенностью.— Вероятно, тамплиеры знали секрет изготовления золота.

— Несомненно, они его знали,— подтвердил Бельбо.— Они атаковали какой-нибудь сарацинский город, перерезали горло женщинам и детям, грабили все, что попадалось под руку. Неудивительно, что вся наша так называемая история — всего лишь огромный бордель.

— И вероятно, такой же бордель был у них в головах, понимаете, если они навязывали споры по поводу доктрин. История полна такими элитными группками, которые создавали свой собственный стиль, немного хвастливый, немного мистический, да они и сами не осознавали, что делали. Конечно, имеется и эзотерическая интерпретация всего этого: они-де прекрасно знали обо всем, были адептами восточных таинств и даже поцелуй в зад имел ритуальное значение.

— Объясните мне, пожалуйста, ритуальное значение поцелуя в жопу,— попросил Диоталлеви.

— Некоторые современные эзотеристы считают, что тамплиеры исповедывали индийские доктрины. Поцелуй в зад должен был пробудить змея мудрости Кундалини, космическую силу, которая находится в основании позвоночного столба, в половых железах, а после пробуждения достигает шишковидной железы...

— Той, что у Картезия?

— Да, и с ее помощью во лбу открывается третий глаз, способный видеть во времени и пространстве. Вот почему секреты тамплиеров до сих пор изучают.

— Филиппу Красивому надо было сжечь современных нам эзотеристов, а не тех бедняг.

— Конечно, но современные эзотеристы не имеют ни гроша.

— Что за истории я сегодня слушаю?— произнес Бельбо.— Теперь я понимаю, почему эти тамплиеры стали навязчивой идеей безумцев, которые ко мне приходят.

— Я думаю, что эта история напоминает ваши размышления в тот вечер. Все, что с ними произошло,— не что иное как вычурный силлогизм. Вооружись глупостью — и ты навечно ста-

нешь недостижимым. Абракадабра, Manel Tekel Phares, Pape Satan Pape Satan Aleppo, le vierge le vivace et le bel aujourd'hui, незначительное урчание в животе, произведенное однажды неким поэтом, проповедником, вождем или магом,— и человечество тратит века на расшифровку этих так называемых посланий. Тамплиеры остаются нерасшифрованными по причине их умственного помешательства. Именно поэтому так много людей их обожествляет.

— Это позитивистское объяснение,— заметил Диоталлеви.

— Да,— согласился я,— вероятно, я позитивист. Если бы хирург удалил у тамплиеров шишковидную железу, то они могли бы стать госпитальерами, иначе говоря, нормальными людьми. Война приводит к расстройству мозговых функций, должно быть, из-за пушечной стрельбы или греческого огня... Подумайте только о генералах.

Уже был первый час. Диоталлеви, опьяневший от своего тона, клевал носом. Мы же еще держались. Я хорошо развлекся. Они тоже. Но мы еще не знали, что начинаем игру с греческим огнем, который обжигает и сжигает.

Эрар де Сиврей сказал мне: "Сир, если вы позаботитесь о том, чтобы ни я, ни мой наследник не были этим опозорены, я обращусь за помощью к графу Анжуйскому, которого вижу там, в поле".

И тогда я ответил: "Мессир Эрар, мне кажется, что вы только добавите к своей чести, если отправитесь искать спасения для нашей жизни, поскольку ваша — в большой опасности".

(Joinville. *Histoire de Saint Louis*, 46, 226)

После дня, посвященного тамплиерам, с Бельбо у меня были только мимолетные разговоры в баре, в котором я появлялся все реже и реже, поскольку работал над своей диссертацией.

Однажды состоялась манифестация протеста против объединений неонацистов, инициатором которой был университет и на которую были приглашены, как это принято, все интеллектуалы-антифашисты. Роскошная мобилизация полиции, но чувствовалось, что власти не собирались вмешиваться. Типичная ситуация для тех времен: несанкционированная манифестация, даже если не произойдет ничего серьезного, силы правопорядка удовлетворятся тем, что наблюдали и контролировали (а в то время территориальных компромиссов было множество), чтобы левые силы не нарушали условные границы, установленные в центре Милана. Определенную территорию заняли протестующие, а за площадью Аугусто и по всей ширине площади Сан-Бабила расположились фашисты. Если кто-то нарушал невидимую границу, доходило до инцидентов, но в остальном сохранялось спокойствие, как между львом и его укротителем. Обычно мы считаем, что лев угрожает укротителю, и весьма яростно, и что в нужный момент тот его усмиряет, высоко вздымая свой бич и делая выстрел из пистолета. Это ошибка: лев уже находится во власти снотворного, поэтому он спокойно входит в свою клетку и не желает ни на кого нападать. Как и всякое животное, он обладает своей безопасной территорией, за пределами которой могут происходить самые невероятные события,

а он будет оставаться спокойным. Когда укротитель вторгается во владения льва, тот рычит; тогда укротитель поднимает свой бич, но на самом деле он делает шаг назад (словно беря разбег для прыжка), и лев успокаивается. Игра в революцию должна разыгрываться по своим собственным правилам.

Я присоединился к шествию, но ни к одной из групп не пристал. Я держался с краю, находясь на площади Санто Стефано, где вертелись журналисты, редакторы издательств, художники, пришедшие выразить свою солидарность. Бар Пилада явился в полном составе.

Я оказался рядом с Бельбо. Он был с женщиной, которую я часто видел в баре рядом с ним и принимал за его подругу (позднее она исчезла — теперь, когда я прочел в *file* историю о докторе Вагнере, я даже знаю почему).

— Как, и вы здесь? — спросил я.

— Что вы хотите, — улыбнулся он смущенно. — Надо же спасать как-то свою душу. *Crede firmiter et pecca fortiter*. Это вам ничего не напоминает, я имею в виду эту сцену?

Я посмотрел вокруг. Это был один из прекрасных дней в Милане, с послеполуденным солнцем, с желтыми фасадами домов и со слегка металлическим оттенком неба. Напротив нас стояли полицейские в шлемах и со щитами из пластика, отсвечивающими стальным блеском; комиссар в гражданской одежде, но перепоясанный ярким трехцветным поясом, важно расхаживал перед строем своих подразделений. Я оглянулся, чтобы посмотреть на голову шествия: толпа двигалась ровным строем, ряды соблюдались, но неравномерно, напоминая вытянувшуюся змею, казалось, что масса ошетичилась пиками, штандартами, транспарантами, палками. Группки нетерпеливых манифестантов то и дело ритмично выкрикивали лозунги; по флангам процессии шествовали бродяги, закрыв свои лица красными платками, в разноцветных рубашках, с утыканными заклепками поясами, поддерживающими джинсы, знававшие много дождей и много солнца; импровизированное оружие, которое они сжимали в руках, замаскированное свернутыми знаменами, — все казалось элементами какой-то наляпанной картины; я в тот момент подумал о Дюфи и его веселости. По

ассоциации от Дюфи я перешел к Гийому Дюфэ. У меня было такое ощущение, что передо мной некая миниатюра; в маленькой толпе, сбоку от процессии, я увидел нескольких дам, настолько старых, что потеряли все отличия пола, они предвкушали обещанный большой праздник. Все это наподобие молнии пронзило мое сознание, я чувствовал, что переживаю нечто, ранее уже происходившее, но что — не мог вспомнить.

— Не правда ли, это похоже на взятие Аскалона? — спросил меня Бельбо.

— Клянусь святым Иаковом, великим и милосердным, — воскликнул я, — это действительно похоже на битву крестоносцев! Держу пари, что некоторые из участников этой осады сегодня вечером окажутся в раю!

— Да, — подтвердил Бельбо, — но проблема в том, чтобы узнать, с какой стороны находятся сарацины.

— Полиция представляет, конечно, тевтонов, — заметил я, — значит, мы могли бы сойти за войска Александра Невского, но я, кажется, запутался в текстах. Посмотрите-ка туда, на ту группу, что напоминает подданных графа д'Артуа, они грозят начать битву, поскольку не могут вынести оскорбления, и уже направляются к позициям врага, подогревая себя криками, в которых звучит жажда мести.

Именно в тот момент произошел инцидент. Я плохо помню, с чего все началось, но я видел, как из процессии выдвинулась группа активистов с цепями и в вязаных шлемах, она начала атаковать подразделения полицейских, чтобы пробиться к площади Сан-Бабила, выкрикивая агрессивные лозунги. В общем, лев был настроен довольно решительно. Первый ряд полицейских раздвинулся и обнажил водометы. Авангард процессии пустил в ход первые брусья и камни, одна из полицейских групп начала энергичное наступление, размахивая палками направо и налево, и процессия заволновалась. В это мгновение издалека, из глубины улицы Ла Гетто, послышался выстрел. Возможно, это просто лопнула камера в какой-то машине, может быть, это был взрыв петарды или предупреждающий выстрел из пистолета одной из тех групп, которые уже несколько лет регулярно использовали П-38.

Началась паника. Полиция обнажила оружие, послышался рев сирен, процессия разделилась на тех, кто вступал в бой, и тех, кто считал свою миссию выполненной. Я принялся бежать по улице Ларга, полный безумного страха быть захваченным какой-нибудь группой уничтожения, все равно с чьей стороны. Неожиданно я оказался рядом с Бельбо и его подругой. Они бежали достаточно быстро, но без паники.

На углу улицы Растрелли Бельбо схватил меня за руку:

— Сюда, молодой человек!

Я попытался спросить, почему, ведь улица Ларга выглядела более многолюдной и удобной для бегства, я уже проникся клаустрофобией в лабиринте улочек между улицей Пекорари и епископатом. Мне казалось, что там, куда тащил меня Бельбо, труднее будет спрятаться, если полиция откуда-то начнет на нас наступать. Бельбо сделал мне знак молчать, два-три раза он сворачивал, затем постепенно снизил скорость, так что вскоре мы перешли на шаг и без спешки добрались до собора, где движение было уже нормальным и куда не доносились отзвуки битвы, развернувшейся в двухстах метрах отсюда. В полном молчании мы обошли собор и оказались перед его фасадом со стороны городской галереи. Бельбо купил пакетик с кормом для птиц и с ангельским видом принялся кормить голубей. Мы погрузились в субботнюю толпу, я и Бельбо в костюмах и при галстуках, наша дама — в обычной одежде жительницы Милана, то есть в сером пуловере, закрывающем шею, с ниткой жемчуга, может быть, натурального, а возможно, искусственно выращенного.

Бельбо мне ее представил:

— Это Сандра, вы знакомы?

— Встречались. Привет, Сандра.

— Видите ли, Казобон,— поучал меня тогда Бельбо,— никогда не убегайте по прямой. Знаете, почему Наполеон III перерыл весь Париж, превратив его в сеть бульваров, которыми весь мир восхищается как шедевром науки градостроительства? Дело в том, что прямые улицы позволяют наилучшим образом контролировать разбушевавшуюся толпу. Взгляните на Елисейские Поля, там даже боковые улицы широкие и прямые. Чего

нельзя сказать об улицах Латинского квартала, именно там май 1968 года показал себя наилучшим образом. Убегать следует по узким и крутым улочкам. И никакие силы не могут проконтролировать все эти переулки, даже полицейские боятся ходить по ним небольшими группами. Если вам во время бегства встретятся двое, то они испугаются сильнее вас и, словно по взаимному согласию, вы разбежитесь в разные стороны. Если вам придется снова участвовать в массовых мероприятиях, а вы не будете хорошо знать место действия, я советую вам прийти накануне, чтобы ознакомиться заранее со всеми тонкостями, а во время событий надо занять место на углу, от которого отходят маленькие улочки.

— Вы что же, прошли обучение в Боливии?

— Способы ускользания от опасности хорошо изучаются в детстве или, по крайней мере, если, будучи взрослым, вы становитесь десантником. Я тяжелые времена партизанской войны провел в ***, — он назвал местечко между Монферрато и Ланге. — Нас эвакуировали из города в 1943 году, и все было хорошо просчитано: милое время и милое место, чтобы использовать и прочесывание местности, и облавы, и СС, и стрельбу на дорогах... Я помню, как однажды вечером я поднимался по холму к одной ферме, чтобы достать там свежего молока, как вдруг услышал какой-то шум над головой между кронами деревьев: фьють, фьють. Я сообразил, что с отдаленного холма передо мной ведется обстрел железнодорожной линии, которая пролежала в долине, за моей спиной. Я совершил ошибку, побежав вниз, и вокруг меня засвистели пули: чик, чик, чик. Это были очень короткие выстрелы, которые не успевали достичь железнодорожного полотна. Я понял, что если стреляют сверху, с очень высокого места, и целятся вниз, то нужно подниматься в гору; чем дальше я взбирался, тем выше над моей головой пролетали пули. Во время одной из перестрелок между фашистами и партизанами, которые расположились по обе стороны кукурузного поля, моей бабушке пришла в голову великолепная мысль; чтобы не быть настигнутой шальной пулей, она упала на землю посреди поля прямо между двумя линиями огня, и лежала так в течение десяти минут, уткнувшись лицом в землю и

надеясь, что никто из стрелявших не продвинется вперед. Это ее и спасло. Как видите, если такие вещи познаются в нежном возрасте, то они запоминаются на всю жизнь.

— Итак, вы принимали участие в Сопротивлении, как привыкли говорить.

— В роли зрителя,— ответил Бельбо. И я почувствовал в его голосе легкое замешательство.— В 1943 году мне было лишь одиннадцать лет, в конце войны едва исполнилось тринадцать. Слишком ранний возраст, чтобы принимать участие, и подходящий, чтобы запомнить все с фотографической точностью. Что же мне оставалось делать? Просто наблюдать. И убегать в случае опасности, как случилось сегодня.

— Возможно, лучше было бы написать об этом, чем править воспоминания других.

— Все уже написано без меня, Казобон. Если бы тогда мне было двадцать лет, в пятидесятые годы я бы оставил свой след в поэзии. К счастью, я родился слишком поздно, и когда я мог бы писать, мне ничего уже не оставалось, кроме как читать книги, написанные другими. К тому же я мог бы умереть на том холме с пулей в голове.

— Кем выпущенной? — спросил я, но тотчас смутился.— Извините, это была шутка.

— Нет, это не была шутка. Сегодня я в этом уверен, но именно сегодня. Что я знал тогда? Человек может всю жизнь чувствовать угрызения совести, но не потому, что ошибся, в этом можно хотя бы раскаяться, а потому, что не смог доказать самому себе, что нельзя было не ошибиться... Я был потенциальным предателем. Какое же я имею право написать правду и учить по ней других?

— Извините, но я думаю иначе,— возразил я,— с таким же успехом вы могли бы стать Джеком Потрошителем, но вы же им не стали. У вас просто невроз. На каких конкретных фактах основываются ваши угрызения совести?

— А что значит факт в подобном раскладе жизни? Кстати, о неврозе, сегодня вечером мы ужинаем с доктором Вагнером. Надо взять такси до площади дела Скала. Ты поедешь со мной, Сандра?

— Неужели доктор Вагнер собственной персоной? — уточнил я, прощаясь.

— Да, он остановился в Милане на несколько дней, и, возможно, мне удастся уговорить его издать у нас томик эссе, еще не опубликованных. Это было бы неплохо.

В то время Бельбо уже познакомился с доктором Вагнером. Я часто задавал себе вопрос, в тот ли вечер Вагнер (произносить надо по-французски: Вагнёр) провел с Бельбо бесплатный сеанс психоанализа, да так, что никто из них двоих этого не заметил. Или это произошло позже.

В тот день Бельбо впервые заговорил о своем детстве в ***. Занятно, что это было воспоминание о побегах — почти славных в ореоле его воспоминаний, которые, однако, всплыли в его памяти на фоне нового, бесславного, но мудрого побега со мной и впереди меня.

После чего Этьенн де Провэн предстал перед теми комиссарами; на вопрос, желает ли он защищать Орден, он ответил, что не желает и что если старшины хотят его защищать, то пусть делают это, он же до своего ареста состоял в Ордене только в течение девяти месяцев.

(Показания от 27.11.1309)

Я обнаружил в Абулафии рассказ о других случаях бегства. И в тот вечер в перископе я думал о них, а из темноты долетали какие-то шорохи, потрескивания, поскрипывания; я приказывал себе сохранять спокойствие, поскольку именно так переговораются сами с собой по ночам музеи, библиотеки, старые дворцы, я убеждал себя, что это ни что иное как старые шкафы, которые оседают, карнизы, реагирующие на вечернюю сырость, штукатурка, которая осыпается со скоростью один миллиметр в год, зевающие стены. "Ты не можешь убежать,— уговаривал я себя,— потому что ты сидишь здесь для того, чтобы узнать, что случилось с тем, кто старался положить конец своим побегам актом невиданного мужества (или отчаяния), возможно, чтобы ускорить эту встречу с правдой, так часто откладываемую."

FILENAME: Канальчик

Я убежал от полиции или опять от истории? Какая разница?! Я отправился на манифестацию, сделав моральный выбор, или снова хотел испытать себя Его Превосходительством Случаем? Ну хорошо, я упустил большие возможности, потому что они появлялись или слишком рано или слишком поздно, но вину за это несет ЗАГС. Я хотел очутиться на том лугу и стрелять, даже если бы я мог попасть в бабушку. Я не принял в этом участия не из-за трусости, а по причине своего возраста. Ладно с этим ясно. А случай с манифестацией? Это разница поколений: такой способ борьбы мне не нравится. Но я мог бы рискнуть, даже без энтузиазма, чтобы просто доказать, что там, на лугу, я смог бы сделать выбор. Есть ли смысл в том, чтобы из-

брать неподходящий случай, зная наверняка, что когда-нибудь выпадет Случай счастливый? Кто знает, сколько было тех, которые поступили подобным образом, а сегодня примирились с позором. Ведь неподходящий случай — это отнюдь не счастливый Случай.

Можно ли считаться трусом, если мужество других кажется вам неадекватным пустяковым обстоятельствам? Вот когда мудрость делает человека трусом. Счастливый Случай не настигает тех, кто живет, поджидая удобного Случая и думая об этом. Случай чуют инстинктивно, даже не зная в тот момент, что это — Случай. Возможно, я однажды ухватил его и даже не догадался об этом? Можно ли чувствовать угрызения совести или считать себя трусом потому, что ты родился в плохом десятилетии? Отвечаю: ты чувствуешь себя трусом, потому что однажды ты струсил. А если и на этот раз я пропустил Случай, чувствуя его неадекватность?

Описать дом в ***, одинокий на холме среди виноградников — нельзя ли сказать "холм в виде женской груди"? — а дальше дорога, которая ведет за городок, к концу последней жилой улицы — или первой (это трудно выяснить, пока не определишь точку отсчета). Маленький беглец, который оставляет семейный кокон и попадает в щупальца путешествия, шагает по этой дороге, со страхом и завистью глядя на нее.

Тропинка была местом сборища компании с Тропинки. Деревечские мальчишки, грязные, крикливые. А я — слишком городской, и лучше держаться от них подальше. Но чтобы добраться до площади, киоска с газетами и писчебумажного магазина, избежав почти субтропического и малопривлекательного путешествия, надо было пройти через Канальчик. Так называлась бывшая бурная река, превратившаяся в зловонный сток, который протекал по самой бедной околице. Парни с Тропинки были маленькими джентльменами по сравнению с бандой с Канальчика. Ребята с Канальчика были по-настоящему грязны, жестики и нищи.

Тот, кто относился к компании с Тропинки, не мог рассчитывать, что вернется с Канальчика целым и невредимым. Вначале я не знал, что был с Тропинки, я ведь только приехал, но те, с Канальчика, сразу же навесили мне клеймо врага. Они увидели, что

я иду через их владения, читая журнал для детей, и погнались за мной. Я побежал, продолжая читать, чтобы держать фасон, а они мчались за мной по пятам, бросая в меня булыжниками. Один камень попал в журнал. Я спас свою жизнь, но потерял журнал. А назавтра я решил вступить в банду с Тропинки.

Когда я предстал перед их синедрионом, меня встретили язвительным смехом. В те времена я был обладателем шевелюры, стоявшей дыбом и торчавшей во все стороны, как в рекламе карандашей фирмы "Пресбитеро". Образцом внешнего вида, который мне предлагали кино, общественное мнение и воскресные прогулки после мессы, были молодые люди в двубортных пиджаках с широкими плечами, с маленькими усиками и напомаженными волосами. В народе эта прическа называлась "мандолина". Я хотел такую же. Я покупал на рынке за сумму, смехотворную для биржи ценных бумаг, а для меня почти невообразимую, баночки с бриллиантином, напоминавшим по цвету мед, и часами смазывал им волосы, пока они не начинали лосниться, как свинцовое покрытие, как папская скуфья. Затем я натягивал на голову сеточку, чтобы уложить прическу. Шпана с Тропинки уже видела меня с этой сеточкой и осыпала ругательствами на своем оскорбительном диалекте, на котором я не разговаривал, хотя понимал его. В тот день, продержав дома два часа волосы под сеточкой, я снял ее, проверив великолепный эффект перед зеркалом, и отправился на встречу с теми, кому собирался дать клятву верности. Когда я уже приближался к ним, склеивающее действие бриллиантина закончилось и мои волосы начали медленно принимать вертикальное положение. Оборванцы с Тропинки были полны воодушевления; они окружили меня тесным кольцом, толкая при этом друг друга локтями. Я попросил принять меня в их компанию.

К несчастью, я говорил по-итальянски, а значит, был чужаком. Главарь банды, Мартинетти, который тогда мне показался огромным, как башня, подошел ко мне, перебирая босыми ногами. Моим испытанием были сто ударов ногой в зад. Вероятно, они хотели пробудить змея Кундалини. Я согласился и, опершись о стену, поддерживаемый с обеих сторон добровольными адъютантами главаря, получил сто ударов босой ногой. Мартинетти выполнил свою задачу хорошо: он бил сильно, натренированно, со знанием дела, не носком, а пяткой, чтобы не

сломать пальцы. Бандиты хором считали на своем диалекте. Потом они решили запереть меня в клетке с кроликами, а сами тем временем вели переговоры на гортанном языке. Меня выпустили, когда я стал жаловаться на мурашек в ногах. Но я был горд тем, что с честью прошел обряд посвящения у дикарей. И сам превратился в скотину.

В то время в местечке *** расположились тевтонцы XX века, не очень бдительные, потому что партизан у нас еще не было — ведь был конец сорок третьего или начало сорок четвертого. Во время одной из первых вылазок несколько наших проникло к ним в казарму, другие в это время обхаживали часового, громилу-ломбардца, который уплетал возмутительно огромный (таким он нам показался) бутерброд с салями и повидлом. Пока одна наша группа отвлекала внимание немцев, расхваливая их оружие, другая украла несколько палочек тротила. Мартинетти задумал произвести на поле взрыв, просто ради пиротехнического эффекта. Позже немцев сменили моряки из Децима Мас. Они установили контрольный пост у реки — на перекрестке, где в шесть часов вечера проходили девушки из школы Святой Марии. Надо было уговорить молодежь из Децима (а им было не более восемнадцати лет) вырвать чеки из связки немецких ручных гранат с длинными рукоятками, чтобы взрыв произошел в реке именно в тот момент, когда появятся девушки. Мартинетти хорошо знал, что делать и как рассчитать время. Он все это объяснил солдатам, так что эффект получился колоссальный: раздался взрыв, столб воды поднялся на гребне волны и обрушился с грохотом грома в тот момент, когда девушки вышли к перекрестку. Всеобщее бегство сопровождалось пронзительными криками, а мы и моряки лопались от смеха. Об этих славных днях помнили так же, как о сожжении де Моле.

Большим развлечением для парней с Тропинки было собирать гильзы от патронов и остатки обмундирования, которых после восьмого сентября хватало повсюду: старые каски, патронташи, вещевые мешки, иногда и целые патроны. С патронами поступали так: держа гильзу в руке, пулю вставляли в замочную скважину, ударяли по гильзе, пуля вылетала и присоединялась к коллекции других пуль. Из пороха, добытого из гильзы (иногда это были пластинки взрывчатого вещества), прокладывали узкие пороховые змейки и поджигали. Гильзы, особенно

новые, служили ценным пополнением "Армии". У хорошего коллекционера было их множество, он играл гильзами, расставляя их по фактуре, цвету, форме и высоте. Существовали полки пехотинцев, то есть гильзы от автоматических пистолетов, знаменосцы и кавалерия — карабины и ружья девяносто первого калибра (их можно было увидеть только у американцев), и наконец, предмет наивысшего вожделения — главный штаб, то есть гильзы от пулеметов.

Мы были поглощены этими мирными забавами, но однажды Мартинетти заявил, что момент настал. Банде с Канальчика был брошен вызов, который она приняла. Битва должна была состояться на нейтральной территории, за вокзалом. В тот же вечер, в девять часов.

День, наполненный волнующим ожиданием, клонился к закату. Каждый из нас готовился к битве так, чтобы предстать в ней самым угрожающим образом: подбирали палки, удобные для сражения, набивали патронташи и вещевые мешки большими и маленькими камнями. Кто-то из ремня карабина сделал себе кнут, страшное оружие, если им владеет уверенная рука. В эти вечерние часы мы чувствовали себя героями, а я — более других. Это было возбуждение перед боем — печальное и великодушное, — прощай, моя милая, прощай, быть воином — тяжелый и сладкий труд, мы приносим в жертву свою молодость, так учили нас в школе еще до восьмого сентября.

Мартинетти подготовил очень мудрый план: мы пересечем железнодорожную насыпь севернее станции и, неожиданно зайдя сзади, практически выиграем. Итак, финал схватки предreshен, пощады не будет.

Как только сгустились сумерки, мы одолели крутой откос насыпи, но с большим трудом: очень тяжелым было наше вооружение — камни и палки. На вершине насыпи мы увидели, что наши противники заняли позиции за станционными туалетами. Они нас тут же заметили, потому что смотрели вверх, догадываясь, что мы появимся именно с этой стороны. Нам ничего другого не оставалось, как продвигаться вперед.

Нам не выдавали водку перед атакой, но мы и без нее с ревом устремились на противника. То, о чем я хочу рассказать, произошло в сотне метров от станции. Там начинались первые дома, которые, хоть их было немного, образовывали сеть узких

улочек. Случилось так, что наиболее яростная группа наших бесстрашно бросилась вперед, в то время как я, а к счастью, и несколько других замедлили шаг и заняли позиции за углами домов, наблюдая издали, причем моя позиция была самая дальняя.

Если бы Мартинетти заранее организовал нас в авангарде и арьергарде, мы бы с честью выполнили любое задание, но поскольку этого не произошло, мы разделились спонтанно. Смелчаки спереди, трусливые сзади. Но до сражения дело не дошло.

Остановившись в нескольких метрах друг от друга, две группы скрежетали зубами в ожидании, тогда как оба главаря вышли и начали переговоры. Настоящая Ялта. Они договорились все разделить на зоны влияния и, в случае необходимости, разрешать проходить через свои территории, совсем как христиане и мусульмане на Святой Земле. Рыцарская солидарность взяла верх над перспективой неизбежной битвы. Каждый проявил себя с наилучшей стороны. В обоюдном согласии главари отошли к своим. В таком же согласии разошлись и банды. Каждая в свою сторону.

Теперь я уговариваю себя, что не бросился в атаку, потому что мне хотелось смеяться. Но в то время я так не думал. Я чувствовал себя трусом, вот и все.

А теперь еще более трусливо я говорю себе, что я ничем не рисковал, если бы кинулся вперед с остальными, а только бы выиграл на многие годы вперед. Я упустил Случай тогда, в двенадцать лет. Так же, как и отсутствие эрекции во время первой близости может привести к импотенции.

Месяц спустя, когда условленная граница была случайно нарушена, Тропинка и Канальчик опять стали лицом к лицу в поле и начали метать друг в друга комья земли. И я, возможно, успокоенный ходом предыдущей битвы, а может быть, представив себя неким мучеником, выдвинулся в первый ряд сражения. Схватка была бескровной, но не для меня. Комок земли, в середине которого, по-видимому, был камень, рассек мне губу. С плачем я убежал домой, и мама должна была пинцетом очищать от земли рану. На память об этом остался узелок на месте за рубцевания раны, и когда я провожу по нему языком, то чувствую вибрацию, все тело содрогается.

Однако этот узелок не служит мне оправданием, потому что я подсуден не совести, а мужеству. Я провожу языком по губе, и что же дальше? Я пишу. Но плохая литература не искупает вины.

После манифестации я не видел Бельбо примерно около года. Я влюбился в Ампаро и не ходил более к Пиладу, а если и заглядывал пару раз, то Бельбо там не встречал. И Ампаро не любила это место. Ее моральный и политический ригоризм, сравнимый лишь с очарованием и величественной гордостью, заставлял относиться к заведению Пилада как к клубу демократических денди, а демократический дендизм был для нее одним из видов заговора, одной из самых хитрых интриг капитализма. Это был год больших дел, большой важности и большой нежности. Я с увлечением, но спокойно работал над своей диссертацией.

Однажды я встретил Бельбо недалеко от издательства "Гарамон".

— Кого я вижу! — воскликнул он радостно. — Мой любимый тамплиер! Меня только что угостили очень старым напитком. Почему бы вам не заскочить ко мне наверх? У меня есть бумажные стаканы и свободна вторая половина дня.

— Это какая-то зевгма, — заметил я.

— Да нет, просто бурбон попал в бутылку.

Я последовал за ним. Но едва мы начали дегустацию напитка, как вошла Гудрун и объявила, что пришел гость. Бельбо ударил ладонью по лбу. Конечно же, он забыл об этом свидании, но за случайностью всегда стоит чей-то замысел, сказал он мне. Если я его правильно понял, то тот тип тоже хотел предложить ему книгу о тамплиерах.

— Я его сейчас быстро выпровожу, — сказал Бельбо, — помогите мне в этом несколькими проницательными замечаниями.

Конечно, это была случайность. Но именно так я попался в ловушку.

Таким образом исчезли рыцари Храма, а вместе с ними — их тайна, в тени которой трепетала прекрасная надежда найти бранный город. Но Абстракция, с которой были связаны их усилия, продолжала свою недоступную жизнь в неведомых местах... и не раз в течение долгого времени она вдохновляла умы, способные принять ее.

(Victor Emile Michelet. *Le secret de la Chevalerie*, 1930, 2)

У него было лицо из сороковых годов. Если судить по старым журналам, которые я нашел в подвале нашего дома, у всех людей в сороковых годах были подобного типа лица. Это, должно быть, явилось следствием голода военных лет: запавшие скулы и слегка лихорадочный взгляд. Такие лица я видел в сценах расстрела как у осужденных, так и у стрелявших. В те времена люди с одинаковыми лицами стреляли друг в друга.

На госте был голубой костюм, белая рубашка и жемчужно-серый галстук, но инстинктивно я спросил себя, почему он в гражданском. Его волосы, неестественно черные, были зачесаны назад и лежали вдоль висков двумя напomaженными, но в меру, прядями. А посередине блестела лысина, разлиненная тонкими нитками волос, ровными, как телеграфные провода, и убегающими ото лба к затылку. Лицо загорелое, отмеченное не только морщинами — впрочем, типично колониальными, — бледный шрам пересекал левую щеку от губы до уха, а поскольку он носил черные усы а ля Адольф Менжу, по его левому усу пробегала едва заметная бороздка, где кожа менее чем на миллиметр приоткрылась. *Mensur* или прикосновение пули?

Он представился как полковник Арденти, протянул руку Бельбо, а мне просто кивнул, когда Бельбо сказал, что я его сотрудник. Он сел, закинул ногу на ногу и подтянул брюки на коленях, обнажая амарантовые носки — короткие.

— Полковник действительной службы? — спросил Бельбо.

Арденти оголил в улыбке несколько дорогих искусственных зубов.

— Ну, скажем так, на пенсии. Или, если хотите, в резерве. Может быть, я не выгляжу пожилым, но мне уже достаточно лет.

— Я бы не сказал,— заметил Бельбо.

— И тем не менее я прошел четыре войны.

— Тогда вы должны были начинать с Гарибальди.

— Никак нет. Доброволец в звании лейтенанта в Эфиопии. Доброволец в звании капитана в Испании. Майор в Африке вплоть до отхода от четвертого берега. Серебряная медаль. В сорок третьем... скажем так: я выбрал сторону побежденных и потерял все, кроме чести. Но у меня хватило мужества начать все сначала. Иностраннный легион. Школа отваги. В сорок шестом я был сержантом, а в пятьдесят восьмом — полковником. Конечно же, я всегда принимаю проигравшую сторону. С приходом к власти левых во главе с де Голлем я вышел в отставку и поселился во Франции. У меня были хорошие связи в Алжире, и я создал экспортно-импортную фирму в Марселе. На этот раз я выбрал побеждающую сторону, поскольку теперь живу на ренту и могу спокойно заняться своим хобби, как теперь говорят. За последние годы я обобщил результаты своих исследований. Вот они...

Он вынул из кожаного портфеля объемистую папку красного, как мне тогда показалось, цвета.

— Итак,— промолвил Бельбо,— книга о тамплиерах?

— Да, о храмовниках,— подтвердил полковник.— Это моя страсть с юных лет. Они также были солдатами удачи, которые искали славу по другой стороне Средиземного моря.

— Господин Казобон тоже занимается тамплиерами,— сказал Бельбо.— Он знает эту тему лучше меня. И рассказывал нам о них.

— Тамплиеры всегда меня интересовали. Отряд благодетелей, которые несли свет Европы в среду дикарей.

— Противники тамплиеров не были такими уж дикарями,— осторожно возразил я.

— Вам не приходилось попадать в плен к бунтарям Магриба? — спросил он с сарказмом.

— Пока нет,— ответил я.

Полковник пристально посмотрел на меня, и я поздравил себя с тем, что не служил под его командованием. Затем он обратился к Бельбо:

— Извините, я принадлежу к иному поколению.— Он посмотрел на меня с вызовом. — Мы здесь для того, чтобы предстать перед лицом суда или...

— Мы здесь для того, чтобы поговорить о вашей работе, полковник,— сказал Бельбо.— Прошу вас, расскажите о ней.

— Я сразу же хочу прояснить один вопрос,— сказал Арденте, положив руку на папку.— Я рассчитываю на часть дохода от издания, я не предлагаю вам чего-то убыточного. Если вам необходимы научные гарантии, я их представлю. Два часа назад я встретился с экспертом в этой области, который прибыл из Парижа. Он может написать авторитетное предисловие...

Предвидя вопрос Бельбо, полковник сделал знак, который означал, что в данный момент эксперт желал бы остаться инкогнито, принимая во внимание деликатность темы.

— Господин Бельбо,— продолжал он,— эти страницы содержат материала на целую повесть. Правдивую. Небанальную. Более интересную, чем американские детективные романы. Я кое-что обнаружил, очень важное, но это только начало. Я хочу рассказать всему миру о том, что знаю, чтобы тот, кто в состоянии дополнить эту мозаику фактов, прочел книгу и объявился. Сначала я как бы заброшу приманку. И сделать это надо как можно скорее. Все, кто владел до меня подобной информацией, вероятно, убиты ради сокрытия тайны. Если то, что знаю, я открою двум миллионам читателей, никто не будет заинтересован в моей смерти.— Он сделал паузу.— Вы немного в курсе арестов тамплиеров...

— Господин Казобон мне рассказывал об этом, и я был поражен, что эти аресты прошли без сопротивления и что рыцари были застигнуты врасплох...

Полковник сочувственно улыбнулся:

— Действительно. Просто смешно думать, что люди, могущества которых боялся сам король Франции, не могли узнать заранее, что четыре негодяя подстрекают короля, а король — папу. Без преувеличения! Итак, здесь надо подразумевать су-

ществование какого-то плана. И тонкого плана. Предположим, что тамплиеры намеревались завоевать весь мир и знали тайну великого источника власти, тайну, для сохранения которой надо было предоставить помещение Храма в Париже, создать командории во всем королевстве, а также в Испании, Португалии, Англии, Италии, пожертвовать замками на Святой Земле, сделать денежные вклады — все... Филипп Красивый что-то подзревал, иначе не понятно, почему он начал преследования, дискредитируя тем самым цвет французского рыцарства. Орден храмовников понял, что король догадался и попытается его уничтожить, лобовое сопротивление бесполезно, необходимо время для осуществления плана, сокровища или то, что их составляет, нужно спрятать, чтобы их можно было использовать впоследствии... И секретное правление Ордена, о существовании которого все знают...

— Неужели все?

— Конечно. Нельзя даже мысли допустить о том, что такой могущественный Орден мог бы существовать так долго, не имея тайного устава.

— Этот аргумент не выдерживает критики,— заявил Бельбо, искоса взглянув на меня.

— Поэтому,— гнул свое полковник,— следуют очевидные выводы. Великий магистр Ордена, конечно, входил в состав секретного руководства, но он лишь служил внешним прикрытием. Готье Вальтер в "La chevalerie et les aspects secrets de l'histoire" говорит, что план тамплиеров по захвату власти называл конечным сроком двухтысячный год! Орден решает уйти в подполье, а для осуществления этого необходимо, чтобы в глазах всего мира он исчез. И они идут на жертвы, включая Великого магистра. Некоторых убивают, возможно по жребию. Другие подчиняются властям, растворяются в массе. Как же закончили свое существование правители низшего ранга, светские братья, плотники, стекольщики? Рождается корпорация свободных каменщиков, которая распространяется по всему свету — это известная история. Ну а что же происходит в Англии? Король сопротивляется давлению папы, переводит их всех на пансион, чтобы они спокойно закончили свою жизнь в командориях Ор-

дена. Они и сидят там тихо. Вы это понимаете? Я — нет. В Испании Орден решает изменить свое название, становится Орденом Монтеса. Милостивые государи, это были люди, которые могли убедить короля, у них в сундуках было столько его долговых расписок, что они бы сделали из него банкрота в одну неделю. Король Португалии также присмирел: сделаем так, дорогие друзья,— сказал он,— вы отныне зоветесь не рыцарями Храма, а рыцарями Христа, и мне это подходит. А в Германии? Мало процессов, чисто формальное запрещение Ордена, но у себя они имели орден-близнец — тевтонский, который в то время сделал больше, чем создание государства в государстве; они сами стали государством, сосредоточили в своих руках громадную территорию, сравнимую с той, которой сегодня владеет Россия, и продолжали развиваться до конца XV века, поскольку тогда на сцену выступили монголы. Но это уже другая история, поскольку монголы еще стоят у наших дверей... но давайте не сбиваться с пути...

— Да-да, пожалуйста, продолжайте,— попросил Бельбо.

— Отсюда следуют очевидные выводы. Итак, как всем известно, за два дня до подписания Филиппом приказа об аресте тамплиеров и за месяц до его исполнения колымага с сеном, запряженная быками, покинула стены Храма и исчезла в неизвестном направлении. Даже Нострадамус говорит об этом в одной из своих центурий...

Он нашел нужную страницу в рукописи:

*Souz la pasture d'animaux ruminant
par eux conduits au ventre herbipolique
soldats cachés, les armes bruit menant...*

— Телега с сеном — это легенда,— сказал я,— и я бы не считал Нострадамуса авторитетом в области историографии...

— Люди старше вас по возрасту, господин Казобон, доверяют предсказаниям Нострадамуса. С другой стороны, я не настолько наивен, чтобы поверить в историю с телегой. Это просто символ. Символ очевидного и признанного факта — того, что накануне своего ареста Жак де Моле передал руко-

водство и секретные инструкции своему племяннику графу де Боже, который стал тайным руководителем тайного Ордена.

— Существуют ли соответствующие исторические документы?

— Официальная история,— горько улыбнулся полковник,— является такой, какой ее пишут очередные победители. Согласно официальной истории такие люди, как я, не существуют. Нет, за эпизодом с телегой кроется нечто большее. Законспирированная группа переезжает в тихое место и там начинает устраивать свою подпольную сеть. Именно эта аксиома стала моей отправной точкой. Годами, даже еще до войны, я постоянно спрашивал себя, где основались эти героические братья. Когда я отошел от дел, то наконец решил отыскать их след. Поскольку бегство на колыхаге произошло во Франции, то именно здесь я должен был найти место встречи законспирированной группы. Только где?

Это было похоже на театр. Бельбо и я желали узнать, где. И нам ничего не оставалось, как попросить полковника продолжить свой рассказ.

— Скажите, пожалуйста, где?

— Сейчас. Где скрылись тамплиеры? Откуда родом Хуго де Паэн? Из Шампани, из предместий Труа. Именно в Шампани правил Хуго Шампанский, который несколько лет спустя, в 1125 году присоединился к тамплиерам в Иерусалиме. Затем он возвращается в добром здравии домой, кажется, вступает в контакт с аббатом Сито и помогает ему в монастыре начать чтение и перевод некоторых древнееврейских текстов. Подумать только, раввины из Верхней Бургонии были приглашены в Сито к белым монахам-бенедиктинцам, и кем? Самим святым Бернаром, чтобы изучать кто его знает какие тексты, которые Хуго нашел в Палестине. А еще Хуго предлагает монахам святого Бернара лес в Бар-сюр-Об, где будет сооружен замок Клерво. Но что же делает святой Бернар?

— Он становится защитником тамплиеров,— сказал я.

— А почему? Знаете ли вы, что он сделал тамплиеров более могущественными, чем бенедиктинцы? Что он запретил бенедиктинцам брать в подарок земли и дома и заставил их пере-

дать земли и дома тамплиерам? Вы когда-нибудь видели Forêt d'Orient близ Труа? Громадина, одно владение за другим. А знаете ли вы, что в то время рыцари не сражались в Палестине. Они обосновываются в Храме и вместо того, чтобы убивать мусульман, устанавливают с ними дружбу и вступают в контакты с их посвященными. Короче говоря, святой Бернар при экономической поддержке графов Шампани утверждает Орден, который на Святой Земле входит в контакт с тайными сектами арабов и евреев. Никому не известное тайное руководство планирует крестовые походы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Ордена, а не наоборот, и формирует сеть власти, которая подчиняется королевской юрисдикции... Послушайте, я не человек науки, я — человек действия. Вместо того чтобы строить предположения, я сделал то, что не смогли сделать столько ученых, потому что были заняты болтовней. Я отправился туда, откуда вышли тамплиеры и где в течение двух веков была их база, где они чувствовали себя как рыбы в воде...

— Президент Мао говорит, что революционер должен чувствовать себя среди людей как рыба в воде,— вставил я.

— Браво вашему президенту. Тамплиеры, которые готовили революцию более великую, чем ваши коммунисты с косичками...

— Они уже не носят косичек.

— Ах нет? Тем хуже для них. Как я уже сказал, тамплиеры не могли не искать прибежища в Шампани. В Пазне? В Труа? В Восточном лесу? Нет. Пазн был и оставался местечком с четырьмя домами, а в ту пору стоял там еще и замок. Труа был городом, где кишели люди короля. Лес, связанный с тамплиерами по определению, был бы первым местом, где их стали бы искать слуги короля,— так в конце концов и произошло. "Нет, это Провэн!" — сказал я себе.— Если такое место и существует, то только в Провэне!

Если бы мы смогли проникнуть взглядом в недра земли, от полюса к полюсу, от наших стоп к антиподам, мы с ужасом обнаружили бы там отвратительную громадину, ажурную от трещин и пещер.

(T.Burnet. *Telluris Theoria Sacra*, Амстердам, Wolters, 1694, с.38)

— Но почему Провэн?

— А вы когда-нибудь бывали в Провэне? Это же магическое место, даже теперь это чувствуется, поезжайте, убедитесь. Магическое место, пропитанное запахом тайны. С XI века это владение графа Шампанского, и с тех пор оно остается свободной зоной, куда центральная власть не смеет совать свой нос. Тамплиеры там чувствовали себя хозяевами, и сегодня одна из улиц носит их имя. Церкви, дворцы, скала, господствующая над равниной, и деньги, обращение товаров, ярмарки, хаос, в котором можно затеряться. Но самое интересное — это подземные галереи еще доисторических времен. Сеть туннелей тянется под холмом, это настоящие катакомбы, некоторые из них можно посетить и сегодня. Если бы во время одного из тайных собраний сюда вторглись враги, заговорщики могли бы скрыться в считанные секунды Бог его знает куда, зная все ходы, они легко вышли бы неизвестно где, снова вошли бы с противоположной стороны, словно коты спрыгнули бы на плечи нахалам и устроили бы им в темноте настоящую резню. Боже мой, могу вас заверить, милостивые государи, что эти туннели словно специально вырыты для командос, быстрых и невидимых, можно проскользнуть туда в ночи с кинжалом в зубах и двумя гранатами в руках, чтобы придушить супостатов как мышей!

Глаза его блеснули.

— Вы теперь представляете, господа, каким прекрасным укрытием может быть Провэн? Группа конспираторов тайно собирается под землей, а жители города, если даже что-то и знают об этом,— молчат. Конечно же, люди короля приезжали в Провэн, арестовывали тамплиеров, которые показывались на-

верху, и забирали их в Париж. Рэно де Провэн был подвергнут пыткам, но ничего не сказал. Совершенно очевидно, что согласно секретному плану он должен был быть арестован, чтобы показать, что в Провэне тоже наведены порядки, и в то же время подать сигнал: Провэн не сдаётся. Провэн становится местопребыванием новых тамплиеров — сошедших в подземелье... Галереи тянутся от дома к дому — можно войти в зернохранилище или на склад, а выйти из какой-нибудь церкви. Колонны поддерживают туннели с каменными сводами, и по сей день в верхней части города в каждом доме есть погреб со стрельчатым сводом, и каждый погреб, нет, что я говорю, подземный зал, а таких должно быть более сотни, был соединен с подземельем.

— Это лишь ваши предположения,— пожал я плечами.

— Нет, господин Казобон. Есть тому доказательства. Вы же не видели галереи Провэна. Зал за залом в самом сердце Земли, и везде полно надписей, которые в основном можно увидеть в боковых ячейках, как их называют спелеологи. Это — обрядовые рисунки друидского происхождения. Они были выбиты еще до прихода римлян. Цезарь шел поверху, а под его ногами зрел заговор, испытывались чары, готовились казни, западня. Там есть также знаки катаров, а как же, господа, катары заселяли не только Прованс, провансальцы были разбиты, а эти, что в Шампани, выжили и тайно встречались в этих катакомбах ереси. Сто восемьдесят три из них были сожжены на поверхности, а другие выжили внизу. Хроники их определяют как *bougres et manichéens* — будьте внимательны — *bougres*, или богомилы,— это катары болгарского происхождения, а французское слово *bougre* вам ничего не говорит? Первоначально оно означало содомита, потому что считали, что за болгарскими катарами водился этот грешок... А кто еще обвинялся в подобном пороке? Правильно, тамплиеры... Любопытно, не так ли?

— Только до некоторой степени,— ответил я.— В те времена, если хотели ликвидировать еретика, то обвиняли его в содомии...

— Конечно, но не думайте, что я считаю тамплиеров... Наоборот, это были воины, а мы, военные, любим красивых женщин, несмотря на то что присягаем мужчинам. Но я вспоминаю об этом, поскольку мне не кажется случайным, что в среде тамплиеров нашли пристанище катары из еретиков, так или иначе, но именно от них тамплиеры узнали, как пользоваться подземными убежищами.

— Однако,— вмешался Бельбо,— вы не продвинулись далее гипотез.

— Гипотезы — отправная точка. Я вам объяснил причины, по которым начал поиски именно в Провэне. Вернемся же к теме разговора. В центре Провэна возвышается сооружение в готическом стиле — Гранж-о-Дим, хранилище для десятины, а, как вам известно, одной из сильных сторон тамплиеров было прямое налогообложение без поступлений в государственную казну. Под зданием, как и везде, расположен настоящий лабиринт коридоров, который теперь в очень плохом состоянии. Итак, когда я рылся в архивах Провэна, мне попала в руки местная газета 1894 года. Там рассказывалось о двух драгунах-кавалеристах Камилле Лафори из Тура и Эдуарде Ингольфе из Петербурга (я проверял — именно из Петербурга), которые осматривали хранилище со сторожем и спустились на два этажа под землю; когда сторож топнул ногой, чтобы показать, что внизу есть еще этажи, то было слышно эхо. Хроникер свидетельствует, что пылкие драгуны, вооружившись фонарями и веревками, проникли Бог знает в какие галереи, как дети, ползая на коленях, и достигли потайных ходов. А потом они попали в большой зал с красивым камином и колодцем посередине. Драгуны бросили в него веревку с камнем на конце, и оказалось, что колодец был глубиной одиннадцать метров... Неделию спустя они возвратились туда с более толстыми веревками, двое держали веревку, а Ингольф спустился в колодец и обнаружил там большую комнату с каменными стенами площадью десять на десять и высотой пять метров. Двое других также спустились и поняли, что находятся на третьем подземном этаже, на глубине тридцати метров от поверхности земли. Никто не знает, что они видели и делали в том зале. Хроникер

признает, что когда он прибыл туда, чтобы лично во всем убедиться, то не спустился в колодец — это было выше его сил. История сия меня взволновала, и я захотел посетить это место. Но с конца прошлого века много подземных ходов обрушилось, если колодец и существовал, отыскать его было невозможно. Мне кажется, что драгуны кое-что обнаружили в туннелях. Я прочел буквально недавно книгу о тайне Рэн-ле-Шато, к которой каким-то образом были причастны тамплиеры. Один кюре без гроша за душой и видов на будущее, духовный пастырь в поселке, насчитывающем двести жителей, задумал реставрировать старую церковь. Он поднял каменную плиту в помещении для хора и обнаружил, по его словам, шкатулку с очень древними рукописями. Да только ли рукописями? Никто ничего не знает, но прошло всего несколько лет, и кюре стал чрезвычайно богат, проматывал деньги направо и налево, вел легкомысленный образ жизни... А если один из драгунов или они оба обнаружили нечто подобное? Ведь Ингольф спускался первым, он мог найти какой-то предмет небольших размеров, спрятать его под рубаху и ничего не сказать другим... Короче, я человек очень упрямый, и если бы не это, моя жизнь прошла бы иначе.— Он коснулся кончиками пальцев шрама на щеке, а затем провел ладонями по вискам, к затылку, как будто хотел удостовериться, в порядке ли его волосы.— Я поехал в Париж и на главпочтамте перелистал все телефонные справочники, чтобы найти фамилию Ингольф. Я нашел единственную семью из Оксэра и написал туда, представившись ученым-археологом. Две недели спустя я получил ответ от пожилой акушерки: это была дочь того самого Ингольфа, ей было любопытно узнать, почему я им заинтересовался, и она даже меня спрашивала, ради всех святых, не известно ли мне что-либо о судьбе ее отца... Я же говорил, что в этом кроется какая-то тайна! Я поспешил в Оксэр, мадемуазель Ингольф жила в домике, сплошь увитом плющом, деревянная калитка закрывалась на веревку и гвоздь. Мадемуазель оказалась чистенькой старушкой, приятной в общении, очень воспитанной. Прежде всего она меня спросила, что мне известно о ее отце, и я признался, что лишь то, что однажды он спускался в подземелье в Провэне; я сказал

также, что собираюсь писать историческое эссе о той местности. Для нее известие об отце словно с неба свалилось, она никогда не знала, что он ездил в Провэн. Разумеется, он был драгуном, но оставил службу в 1895 году, прежде чем она родилась. Он купил этот домик в Оксэре и в 1898 году женился на местной девушке, у которой было небольшое приданое. Мама умерла в 1915 году, когда девочке было пять лет. Что касается ее отца, то он исчез в 1935 году. Ну в прямом смысле, взял да исчез. Он поехал в Париж, что привык делать не менее двух раз в год, и с тех пор о нем ничего не известно. Местная жандармерия телеграфировала в Париж, ответ был — улетучился. Признали, что он умер. Таким образом, наша мадемуазель осталась одна и должна была работать, поскольку отец не оставил наследства. Очевидно, она не нашла себе мужа, и судя по тем вздохам, которые она издавала, можно было предположить, что за всю жизнь у нее была одна-единственная романтическая история и та плохо закончилась. "И вот теперь, господин Арденти, я навсегда осталась с этой тоской, с постоянными угрызениями совести от того, что не знаю, где находится мой бедный папочка и даже где его могилка, если она вообще существует". Она с охотой вспоминала о нем: он был такой нежный, спокойный, такой воспитанный и педантичный, он проводил все дни в своем маленьком кабинете наверху, в мансарде, где он читал и писал. Иногда он немного копался в саду или болтал с аптекарем, который тоже уже умер. Время от времени поездки в Париж по делам — как он выражался. И всегда он возвращался с пачкой книг. По сей день его кабинет забит ими, она захотела мне их показать. Мы поднялись наверх. Ухоженная, чистая комнатка, в которой мадемуазель Ингольф раз в неделю вытирала пыль; мамочке она носила цветы на кладбище, а для бедного папочки это все, что она могла сделать. Обстановка осталась после него нетронутой, жаль, что не дано ей было учиться, она могла бы все эти книги прочесть, но написаны они на старофранцузском языке, латыни, немецком и даже на русском, потому что папа родился и провел детство в России, он был сыном чиновника посольства Франции. Библиотека насчитывала сотню томов, большинство из которых (к моей

радости) были посвящены процессу над тамплиерами, как, например, "Monumens historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple" Рейно, изданная в 1813 году, это была антикварная вещь. Много томов по тайнописи, коллекция, поистине достойная криптолога, несколько книг по палеографии и дипломатии. Здесь был также реестр старых счетов, перелистав его, я обнаружил запись, от которой чуть не подпрыгнул: она касалась продажи шкатулки, но, к сожалению, не было никаких подробностей, даже фамилии покупателя. Не представлено ни одной цифры, только дата — 1895 год, а за этим следовали точные счета, за которыми просматривался аккуратный и заботливый хозяин, умело распоряжающийся своими сбережениями. Несколько записей о покупке книг у парижских антикваров. Теперь мне стал очевидным механизм случившегося: Ингольф находит в тайнике золотую шкатулку, инкрустированную драгоценными камнями, не колеблясь прячет ее за пазуху, поднимается наверх и ничего не говорит о находке компаньонам. Дома он обнаруживает в шкатулке пергамент — для меня это было ясно, как день. Затем едет в Париж, встречается с антикваром, ростовщиком или коллекционером и, продав шкатулку, возможно, даже за сумму меньше ее стоимости, становится зажиточным человеком. Более того, он оставляет службу, уединяется в деревне, начинает покупать книги и изучать пергамент. Вероятно, по натуре он был искателем приключений, иначе бы не стал спускаться в подземелье в Провэнзе, и, несомненно, он был достаточно образован, иначе не решился бы расшифровывать рукопись сам. В течение более тридцати лет он работает максимально сосредоточенно, как и подобает человеку, одержимому какой-то идеей. Говорит ли он с кем-либо о своем открытии? Бог его знает. Но действительность такова, что в 1935 году он, должно быть, пришел к выводу, что далеко продвинулся либо, наоборот, оказался в мертвой точке, и решает обратиться к кому-то, чтобы этот кто-то определил степень его знания либо незнания. Но то, что Ингольф уже знал, оказывается настолько секретным и страшным, что доверенное лицо решает его убраться... А теперь вернемся в мансарду. Прежде всего мне надо было убедиться, не оставил ли Ингольф какие-нибудь

следы. Я сказал почтенной старой деде, что, возможно, просмотрев книги ее отца, нападуг на след его пребывания в Провэнзе и что я в своем эссе дам этому полное освещение. Она восприняла это с энтузиазмом — ах, бедный папочка — сказала, что я могу остаться в комнате до вечера и прийти завтра, если это необходимо, принесла мне чашку кофе, зажгла все светильники и возвратилась в сад, предоставив мансарду в мое распоряжение. Стены комнаты были гладкие и белые, ни одного шкафчика, ни ларчика, ни одной ниши, где я бы мог порыться, но от меня ничего не ускользнуло, я осмотрел все вверху, внизу и вокруг, скудную меблировку, в почти пустом шкафу было немного одежды, пересыпанной нафталином, я заглянул за три-четыре гравюры, представлявшие пейзажи. Я опускаю детали, но уверяю вас: я хорошо поработал, обивку дивана надо было не только прощупать, но и истыкать иглой, чтобы убедиться, что в ней ничего не спрятано...

Я понял, что полковник преуспевал не только на полях сражений...

— Мне оставалось проверить книги — списать названия и просмотреть, нет ли в них заметок на полях, подчеркнутых слов, каких-нибудь знаков... И вот я неудачно взял в руки и уронил старый том в тяжелом переплете, из него выпал исписанный от руки тетрадный листок. По виду сложенной вчетверо бумаги и по составу чернил он не показался мне очень старым, должно быть, запись была сделана в последние годы жизни Ингольфа. Беглого взгляда хватило, чтобы заметить надпись на полях: "Провэн, 1894". Вы не можете себе представить, какое чувство охватило меня... Я понял, что Ингольф отправился в Париж с пергаментом, а листок — его копия. Сомнений у меня не было. Мадемуазель Ингольф годами стирала пыль с книг отца, но никогда не замечала этого листка, иначе она бы мне о нем сказала. Ну что ж, она так и не узнает о его существовании. Мир делится на победителей и побежденных. У меня уже открыт счет поражениям, теперь пришла победа, и я должен схватить удачу за хвост. Я положил листок в карман. Попросив у мадемуазель разрешения покинуть ее, я сказал, что не нашел ничего интересного, но что упомяну о ее отце, если только что-нибудь

напишу, и она меня благословила. Господа, человек действия, сжигаемый страстью, которая пылает в нем, не может испытывать сомнений и угрызений совести по отношению к существам, которых судьба приговорила быть просто пожирателями хлеба.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь,— успокоил его Бельбо.— Что произошло, то произошло. Продолжайте, мы слушаем.

— А теперь я вам покажу этот текст, господа. Прошу извинить, но я представляю вам фотокопию. Не потому, что я вам не доверяю, просто боюсь, чтобы оригинал не подменили.

— Но ведь листок Ингольфа не был оригиналом,— сказал я,— а лишь копией гипотетического оригинала.

— Господин Казобон, когда оригинала не существует, то последняя копия набирает силу оригинала.

— Но Ингольф мог допустить ошибки при переписывании.

— А я уверен, что он переписал верно, и убежден, что другой правды не существует. Следовательно, копия Ингольфа является оригиналом. Вы согласны с этим выводом или займемся интеллектуальными играми?

— Я их не выношу,— заявил Бельбо.— Давайте взглянем на вашу оригинальную копию.

После Боже Орден ни на минуту не прекращал своего существования, и со времен Омона нам известны все его Великие магистры, вплоть до наших дней, и если имя и местонахождение Великого магистра и истинных предводителей Ордена, ведущих в наши дни сложнейшую работу, является тайной, известной лишь посвященным, то только потому, что время Ордена еще не наступило и час его еще не пробил...

(Рыкопись 1760 года. в: G. A. Schiffmann. *Die Entstehung der Rittergrade in der Freimauerei um die Mitte des XVIII Jahrhunderts*, Липси, Zechel, 1882, с.178-190)

Итак, состоялось наше первое, еще поверхностное знакомство с Планом. В этот день я вполне мог находиться где-нибудь в другом месте. Если бы я в то время не очутился в кабинете Бельбо, то, возможно... торговал бы сейчас зернами сезама где-нибудь на базаре в Самарканде, а может быть, издавал бы книги для слепых, или, вполне возможно, стал бы директором первого национального банка на Земле Франца-Иосифа. Подобные допущения вполне возможны, поскольку ложной есть их предпосылка. Но в тот день я был там, где был, и поэтому сейчас я там, где есть.

Полковник несколько театральным жестом сунул мне под нос листок. Он еще до сих пор хранится среди моих бумаг в пластиковой папке, совсем пожелтевший и выгоревший. На нем в действительности было два текста: первый, цельный, занимал половину страницы, второй напоминал коверканые стишки...

Первая часть текста была какой-то пародией на один из семитских языков и походила на дьявольскую молитву:

*Kuabris Defrabax Rexulon Ukkazaal Ukzaab Urpaefel Taculbain
Habrak Hacoruin Maquafel Tebrain Hmcatuin Rokasor Himesor
Argaabil Kaqaan Docrabax Reisaz Reisabrax Decaiquan Oiquaquil
Zaitabor Qaxaop Dugraq Xaelobran Disaeda Magisuan Raitak Huidal
Uscolda Arabaom Zipreus Mecrim Cosmae Duquifas Rocarbis*

— Не совсем понятно,— заметил Бельбо.

— Неужели? — с ехидцей переспросил полковник.— Да на разгадку всего этого можно было бы затратить весь остаток жизни, если бы однажды я случайно не обнаружил на раскладке одного букиниста книгу о Тритеме и если бы мои глаза случайно не обнаружили его зашифрованное послание: "Pamersiel Oshurmy Delmuson Thafloyn..." В моих руках оказалась нить к разгадке, и я постарался размотать весь клубок до конца. Я совершенно ничего не знал о Тритеме, но однажды мне удалось раздобыть в Париже его "Steganographia, hoc est ars per occultam scripturam animi sui voluntatem absentibus aperiendi certa", Франкфурт 1606. Искусство передавать свои мысли на расстоянии посредством тайного письма. Этот Тритем был необыкновенной личностью. Аббат бенедиктинцев в Спаннхейме, жил на рубеже XV-XVI веков, был необыкновенно эрудирован, знал древнееврейский, халдейский, разговаривал на восточных языках, например татарском, и помимо этого имел обширные связи с теологами, каббалистами и алхимиками, в числе которых, безусловно, были великий Корнелий Агриппа из Неттесгейма и, возможно, сам Парацельс... Свое знание разгадки тайнописи Тритем скрывал за налетом некромантической шелухи, он утверждал, что достаточно послать зашифрованное письмо, похожее на то, которое вы видите, и получатель, призвав на помощь ангелов Памерсиэла, Падизэла, Дорофизэла и так далее, сможет понять истинный смысл послания. Однако примеры, которые он приводит, в основном взяты из области воинского искусства, а сама книга посвящена графу Палатинатскому и герцогу Баварскому Филиппу и представляет собой один из первых примеров серьезной работы по криптографии — любимому занятию секретных служб.

— Простите,— заметил я,— но если я верно понял, Тритем жил лет на сто позже времени, когда было написано интересное нас послание...

— Тритем принадлежал к Кельтскому братству, которое занималось изучением философии, астрологии и пифагорейской математики. Господа, вы улавливаете связь? Орден тамплиеров был посвящен в науки древних кельтов, что в настоящее время

полностью доказано. Каким-то образом Тритему удалось постичь те же системы криптографии, которыми пользовались тамплиеры.

— Поразительно,— заметил Бельбо.— Так что же содержится в этом секретном послании?

— Минуту терпения, господа. Тритем излагает сорок главных и десять второстепенных систем криптографии. Либо мне сопутствовало везение, либо тамплиеры из Провэнса не стали чересчур напрягать свои мозги, будучи уверены в том, что никому не удастся найти ключ к их посланию. Как только я испытал первую из сорока главных криптосистем, я предположил, что здесь значение имеют лишь начальные буквы.

Бельбо взял в руки листок и пробежал по нему глазами.

— Но ведь таким образом получается цепочка ничего не значащих букв: kdruuuth...

— Естественно,— снисходительно согласился полковник.— Это правда, тамплиеры не слишком напрягали мозги, но их никак нельзя обвинить в лености. Эта первая цепочка в свою очередь является еще одним тайным посланием, и я сразу же подумал о следующем наборе из десяти криптосистем. Видите ли, господа, в этой второй серии Тритем использовал движущиеся диски, а диск, примененный в первой системе, выглядит так...

Он достал из папки еще одну фотокопию, придвинулся к столу и ручкой со спрятанным стержнем стал последовательно показывать буквы нам, дополняя показ соответствующими объяснениями.

— Это наиболее простая система. Обратите внимание на внешний круг. Каждую букву имеющейся здесь надписи заменяют предыдущей буквой. Вместо А пишется Z, вместо В пишется А и так далее. Это выглядит совершенно наивным для тайнописи наших дней, но в то время это воспринималось как волшебство. Чтобы прочесть надписи, следует, естественно, идти обратным путем и заменять каждую букву послания последующей буквой. Я попытался сделать это, и первая же попытка оказалась удачной, можете в этом убедиться.



Он написал: "*Les XXXVI invisibles separez en six bandes* — тридцать шесть невидимых, разделенные на шесть групп".

— И что же это значит?

— На первый взгляд ничего. Речь идет о своего рода заведении, как бы конституции объединения людей, записанной тайнописью из ритуальных соображений. В дальнейшем же, будучи уверенными в том, что их послание находится в абсолютно надежном месте, наши тамплиеры ограничились использованием французского языка XIV века. Давайте взглянем на второй текст.

*a la ... Saint Jean
36 p charrete de fein
6 ... entiers avec saiel
p ... les blancs mantiax
r ... s ... chevaliers de Pruins pour la ... j . nc.
6 foiz 6 en 6 places
chascune foiz 20 a ... 120 a ...
iceste est l'ordonation
al donjon li premiers
it li secunz joste iceus qui ... pans
it ai refuge
it a Nostre Dame de l'altre part de l'iau
it a l'ostel des popelicans*

it a la pierre
3 foiz 6 avant la feste ... la Grant Pute.

— И по-вашему, это расшифрованный текст? — спросил разочарованный Бельбо, которого эта история лишь позабавила.

— Естественно, в транскрипции Ингольфа точки заменяют слова, которые невозможно прочесть в местах, где пергамент поврежден... Однако смею предложить вам мою окончательную транскрипцию и должен заметить, что при помощи предположений, которые я признаю, с вашего позволения, незыблемыми и авторитетными, мне удалось восстановить текст, как говорится, во всем его блеске.

Движением фокусника он перевернул фотокопию, и на обратной стороне мы увидели его собственные записи, сделанные печатными буквами.

В (НОЧЬ) СВЯТОГО ИОАННА
36 (ЛЕТ) С(ПУСТЯ) ПОСЛЕ ПОВОЗКИ С СЕНОМ
6 НЕТРОНУТЫХ (ПОСЛАНИЙ) С ПЕЧАТЯМИ
Д(ЛЯ РЫЦАРЕЙ В) БЕЛЫХ МАНТИЯХ (ТАМПЛИЕРОВ)
Е(РЕТИКОВ) ИЗ ПРОВЭНА К (МЩЕНЫЮ)
6 РАЗ ПО 6 В 6 МЕСТАХ
КАЖДЫЕ 20 Л(ЕТ), ТО ЕСТЬ (ЧЕРЕЗ) 120 Л(ЕТ)
ТАКОВ ПЛАН:
ИДУТ В ЗАМОК ПЕРВЫЕ
ТО ЖЕ САМОЕ (ОПЯТЬ ЧЕРЕЗ 120 ЛЕТ) ВТОРЫЕ (ОТ)
ХЛЕБА,
К НИМ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ
ВНОВЬ В УКРЫТИИ
ВНОВЬ У НАШЕЙ ГОСПОЖИ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ РЕКИ
ВНОВЬ В УБЕЖИЩЕ ПОПЛИКАНОВ
ВНОВЬ НА КАМНЕ
3 РАЗА ПО 6 (666) ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ (ЭТОЙ) ВЕЛИКОЙ
ПРОСТИТУТКИ.

— Темнее ночи,— заметил Бельбо.

— Естественно, текст требует интерпретации. Однако Ингольфу, как и мне, безусловно, удалось его истолковать. Для того, кто знает историю Ордена, сделать это несколько легче.

Он помолчал, попросил стакан воды и принялся пояснять каждое слово текста.

— Итак: в ночь святого Иоанна, тридцать шесть лет спустя после повозки с сеном. Тамплиеры, которым предназначалось продолжить дело Ордена, в сентябре 1307 года спаслись бегством на повозке с сеном. В те времена год исчислялся от одного праздника Пасхи до следующего. Таким образом, по нашим подсчетам, 1307 год заканчивается приблизительно на Пасху 1308 года. Отсчитывая тридцать шесть лет от конца 1307 года (то есть от Пасхи 1308 года), вы получите 1344 год. После тридцати шести предначертанных лет мы оказались в интересующем нас 1344 году. Послание было положено в драгоценную шкатулку под печать и помещено в склеп в знак подтверждения события, которое после образования тайного Ордена свершилось на этом месте, в ночь святого Иоанна, то есть 23 июня 1344 года.

— Но почему именно в 1344?

— Думаю, что с 1307 по 1344 год тайный Орден был реорганизован и разрабатывал план, о его воплощении в жизнь и свидетельствует пергамент. Необходимо было выждать, пока утихнут страсти и между тамплиерами пяти или шести стран вновь восстановятся связи. С другой стороны, тамплиеры выжидали именно тридцать шесть лет, а не тридцать пять или тридцать семь, потому что число 36 имело для них мистическое значение, что подтверждено в тайном послании. Сумма цифр этого числа равна девяти, и я не стану сейчас вам напоминать о глубоком значении этого числа.

— Можно? — послышался голос Диоталлеви, который, словно тамплиер из Провэнса, бесшумно подкрался к нам.

— Ты очень кстати, — сказал Бельбо, торопясь представить его полковнику, которого ничуть не смутило появление нового слушателя. Создавалось впечатление, что его устроила бы и куда более многочисленная и внимательная аудитория. Полков-

ник продолжал, а Диоталлеви облизывался при виде этих цифровых лакомств. Чистейшая Гематрия.

— Итак, теперь о печати: шесть нетронутых вещей под печатью. Шкатулка, которую Ингольф обнаружил, была опечатана. Но кем? Белыми мантиями, то есть тамплиерами. В тексте хорошо видна буква "r", затем следуют несколько затертых букв и буква "s". Я читаю это слово как "relapsi" ("еретики"). Хотите знать, почему? Потому, что все мы знаем, что еретиками называли обвиняемых, которые поначалу сознались, а затем отказались от своих слов; еретики сыграли немаловажную роль в процессе над тамплиерами. Тамплиеры из Провэна считали себя еретиками и гордились этим. Они находились в стороне от позорной комедии судилища. Значит, речь идет о рыцарях из Провэна. К чему готовы эти еретики? Эти несколько букв, которые просматриваются в тексте, наводят на мысль о слове "vainjance" ("отмщение") — готовы к мщению.

— Какому мщению?

— Господа! Со времени судилища вся тамплиерская мистика сосредоточена на намерении отомстить за Жака де Моле. Я не испытываю особого уважения к ритуалам масонов, но эта мешанская карикатура на рыцарство тамплиеров все же является их отражением, хотя и дегенеративным. А одним из званий, присваиваемых шотландским масонам, является звание рыцаря Кадоша, что на древнееврейском означает "рыцарь мести".

— Ладно, согласен: тамплиеры готовятся к мести. И что из этого следует?

— Сколько времени займет воплощение этого плана мести? Зашифрованное послание помогает нам понять истинное послание. Шесть рыцарей собираются шесть раз в шести местах, итого тридцать шесть, разделенные на шесть групп. Затем сказано: "Каждые двадцать лет", и при этом присутствует какая-то неясная буква, которая в транскрипции Ингольфа похожа на букву "a", первую букву слова "ans". Я сделал следующее заключение: каждые двадцать лет, умноженные на шесть,— сто двадцать лет. Если мы внимем в смысл сказанного ниже, то найдем список шести указанных мест и шести поставленных

задач. Здесь речь идет об "ordonation", то есть о плане, замысле, конкретном приказе. Первые должны собраться в башне или в замке, вторые — в другом месте и так далее. Потом в послании говорится, что должны существовать еще шесть документов, пока опечатанных, находящихся в разных местах, и вскрывать их надо поочередно, с промежутком в сто двадцать лет...

— Но почему "каждые двадцать лет"? — спросил Диоталлеви.

— Рыцари мести должны исполнять какую-то миссию в определенном месте каждые сто двадцать лет. Это своего рода эстафета. Совершенно ясно, что после ночи 1344 года шесть рыцарей отправятся в путь, в одно из шести мест, предусмотренных планом. Естественно, хранитель первого послания не смог бы прожить на свете сто двадцать лет. Соответственно, сказанное следует понимать так, что хранитель послания остается таковым в течение двадцати лет, а затем передает эту миссию своему последователю. Двадцать лет — это вполне разумный срок, смена хранителя каждые двадцать лет позволяет на сто двадцать первый год обладателю первого послания вскрыть его и передать изложенные в нем указания хранителю второго послания. Вот почему в послании о них говорится во множественном числе: первые должны направиться туда-то, вторые — туда-то... Таким образом, в течение ста двадцати лет каждое указанное место находится под наблюдением шести рыцарей. Подсчитаем: передача посланий от первого к шестому происходит в пять этапов и по времени занимает шестьсот лет. Прибавьте к 1344 шестьсот — и вы получите год 1944. Что также подтверждается в последней строке. Это ясно как Божий день.

— То есть?

— В последней строке сказано: "трижды по шесть перед праздником Великой Проститутки". Здесь тоже присутствует игра цифр, поскольку сумма цифр в числе 1944 составляет 18. В свою очередь, восемнадцать — это трижды по шесть, и это достойное удивления числовое совпадение подсовывает тамплиерам новую необычайно изощренную загадку. 1944 год —

год осуществления плана. И что дальше? Да ведь речь идет о двухтысячном годе! Тамплиеры считали, что в двухтысячном году наступит эра их Иерусалима, земного Иерусалима, Анти-иерусалима. Их преследуют как еретиков? Ненавидя церковь, они идентифицируют себя с Антихристом. Вам хорошо известно, что по оккультной традиции 666 — это число Зверя. Шестьсот шестьдесят шестой год, год Зверя, připадает на двухтысячный год, тогда и придет час мести тамплиеров, и наступит эра Антииерусалима и Нового Вавилона, поэтому 1944 год — это год триумфа Великой Девки, Проститутки Вавилона, о которой говорит Апокалипсис! Обращение к числу 666 — это как бы бравада этих воинов. Говоря языком наших дней, попытка подчеркнуть свою исключительность. Не прекрасно ли это?

Глаза, губы и усы его увлажнились, а рука поглаживала папку.

— Ладно,— отозвался Бельбо,— речь идет об этапах какого-то плана. Но какого?

— Вы хотите знать слишком много. Если бы я это знал, то мне не пришлось бы забрасывать эту наживку. Однако я точно могу сказать, что на протяжении этого периода возникло одно непредвиденное обстоятельство, которое помешало реализации плана, в противном случае, нам, простите, стало бы известно о его осуществлении. И я даже могу объяснить, что же именно случилось: 1944 год выдался нелегким, а тамплиеры не могли предвидеть мировую войну, которая сделала связи между ними трудноосуществимыми.

— Простите за вмешательство,— прервал Диоталлеви,— но если я верно понял, после вскрытия первого послания династия хранителей не прекращает своего существования. Она продолжает свою работу до тех пор, пока не будет вскрыто последнее послание и не наступит день, когда соберутся все представители Ордена. Соответственно в каждом веке, точнее, на каждые сто двадцать лет připадает шесть хранителей на каждое место, итого тридцать шесть хранителей.

— Верно,— подтверди Арденти.

— Тридцать шесть рыцарей на каждое из шести мест составляют число 216, в сумме — цифру 9. Поскольку мы имеем

дело с периодом в шесть веков, то, умножив 216 на 6, получим 1296, или сумму цифр 18, то есть три раза по шесть — 666.

Диоталлеви уже готов был приступить к арифметическому пересмотру всемирной истории, если бы Бельбо не подмигнул ему, словно мать, делающая знак своему ребенку, допустившему какую-то оплошность. Впрочем, полковник, в свою очередь, был готов признать необычный дар Диоталлеви.

— То, что вы, профессор, сейчас сказали,— великолепно! Вам известно, что число девять соответствует числу рыцарей, создавших Орден в Иерусалиме!

— Великое Имя Бога, записанное в тетраграмматической транскрипции,— продолжал Диоталлеви,— состоит из семидесяти двух букв, а семь плюс два составляют девять. И, если позволите, могу сказать больше. Согласно пифагорейской традиции, продолжением (или началом) которой является Каббала, сумма нечетных чисел от одного до семи составляет шестнадцать, а сумма четных чисел от двух до восьми — двадцать, а двадцать плюс шестнадцать равно тридцати шести.

— Бог мой, профессор! — дрожащим голосом выдавил полковник.— Я так и знал, я так и знал... Вы подтверждаете мою правоту. Я недалек от истины.

Мне было непонятно, возводил ли Диоталлеви арифметику в ранг религии или религию в ранг арифметики; возможно, он одновременно делал и то, и другое, но сейчас передо мной стоял атеист, вознесшийся в своем упоении до небес. Он мог бы стать поклонником рулетки (и это было бы лучше всего), но он сам записался в неверующие раввины.

Сейчас я уже не помню, что именно произошло в тот момент, могу только сказать, что вмешался Бельбо со своим здоровым падуинским рассудком, и вся таинственность улетучилась. Полковник не объяснил нам значение остальных строк, и нас сжигало любопытство. Было шесть вечера. "Шесть,— подумал я,— а значит, восемнадцать."

— Хорошо,— подытожил Бельбо.— Тридцать шесть рыцарей, живущих каждый в своем веке, собираются найти философский камень. Но что представляет собой этот камень?

— Конечно же, Грааль!

Средние века дожидались покорителя Грааля и того, чтобы предводитель Священной Римской Империи стал воплощением самого "Властелина Мира"... Невидимый Владыка был также видимым и средние века... ощущали себя веками центра... Невидимый и неприступный центр, владыка, который должен очнуться ото сна, герой, который за все отомстит и все поставит на свои места,— вовсе не химеры мертвого прошлого, более или менее романтического, а реальность для тех, кто сегодня только имеет законное право называться живыми.

(Julius Evola. *Il mistero del Graal*,
Рим, Edizioni Mediterranee, 1983, с.23 и эпилог)

— Так вы говорите, что существует какая-то связь с Граалем? — уточнил Бельбо.

— Естественно. И не я это придумал. Не стану распространяться и пересказывать легенду о Граале, поскольку, как мне кажется, я имею дело с образованными людьми. Для одних Грааль — это рыцари Круглого Стола, мистические поиски чудотворного предмета, в который была собрана кровь Христа и затем перевезена Иосифом Аримафейским во Францию, для других же — камень, наделенный таинственными свойствами. Часто представление о Граале связывают с необыкновенно ярким светом... Речь идет о символе, который таит в себе какую-то силу, какой-то источник огромной энергии. Он кормит, излечивает раны, ослепляет, поражает, как молния... Быть может, это луч лазера? Существовало мнение, будто это — философский камень алхимиков, но если даже и так, что же такое философский камень как не символ какой-то космической энергии? На эту тему написано немало книг, и среди них несколько достойных внимания. Если бы вы, господа, прочли "Parzival" Вольфрама фон Эшенбаха, то узнали бы, что для него Грааль — предмет, который хранится в одном из тамплиерских замков! Был ли Эшенбах посвящен в эту тайну? Или неосторожно поведал о том, о чем лучше было молчать? Но это еще не все. Хра-

нящийся у тамплиеров Грааль получил определение камня, упавшего с неба: *lapis ex illis*. Непонятно, обозначает ли это небесный камень ("ex coelis") или же камень, принесенный из изгнания. Во всяком случае, этот предмет прибыл издалека, и было выдвинуто предположение, что это — метеорит. Для нас он — просто Камень. Чем бы ни был на самом деле Грааль, для тамплиеров он символизирует суть их плана или его осуществление.

— Простите,— вмешался я,— но, если верить тому, что сказано в послании, при шестой встрече рыцари должны были собраться у камня или же на камне, а вовсе не искать его.

— Еще одна блестящая мистическая аналогия, едва уловимая двусмысленность! Конечно же, шестая встреча назначена на камне, и мы еще узнаем, где, но именно на этом камне, когда произойдет передача плана и вскрытие шести печатей, рыцари узнают, где найти Камень! В общем, это игра слов. На камне вы найдете Камень.

— Должно быть, это так,— согласился Бельбо.— Продолжайте, прошу вас. А вы, Казобон, не прерывайте господина Арден-ти. Нам хочется поскорее узнать все остальное.

— Итак,— продолжал полковник,— упоминания о Граале навели меня на мысль о том, что это сокровище представляет собой огромный склад радиоактивных веществ, которые действительно могли попасть сюда с других планет. Вспомним, к примеру, легенду о таинственной ране короля Амфортаса... Приходит в голову мысль о рентгенологе, который длительное время подвергался сильному облучению... И действительно, не стоит к этому прикасаться. Почему? Подумайте о том, что испытali тамплиеры, вышедшие к берегу Мертвого моря: представьте себе его асфальтовую, плотную воду, на которой можно держаться, словно пробка, и которая имеет лечебные свойства... Возможно, они обнаружили в Палестине залежи радия или урана и поняли, что пока не смогут их использовать. Связь между тамплиерами, Граалем и катарами изучал один из чинов германской армии, а именно оберштурмбанфюрер СС Отто Ран, который всю свою жизнь посвятил рассуждениям о европейском и арийском происхождении Грааля; не стану расска-

зывать, как и почему он ушел из жизни в 1939 году, однако, как утверждают некоторые... да и можно ли забыть то, что случилось с Ингольфом?.. Ран попытался продемонстрировать связь между аргонавтами с их Золотым Руном и Граалем... в общем, не подлежит сомнению, что существует очевидная связь между легендарным и мистическим Граалем, философским камнем (*lapis!*) и источником той огромной силы, которую так жаждали обрести накануне войны и до последнего своего издыхания приспешники Гитлера. Заметьте: одна из версий легенды гласит о том, что аргонавты увидели чашу, повторяю, чашу, парившую с Древом Познания над Вершиной Мира. Аргонавты находят Золотое Руно, и их корабль с колдовской помощью попадает в самую середину Млечного Пути, в Южное полушарие, где вместе с Крестом правят Треугольник и Алтарь, подтверждая сияющую природу вечного Бога. Треугольник символизирует Святую Троицу, крест — божественную жертву любви, алтарь — стол, на котором во время Тайной вечери стояла Чаша Воскрешения. Очевидно кельтское и арийское происхождение всех этих символов.

Казалось, полковником овладела точно такая же геройская эйфория, которая привела к гибели его оберштурмутдранга, или как там его, черт побери, величали? Необходимо было вернуть его на землю.

— И какой вывод? — спросил я.

— Неужели он не бросается вам в глаза, господин Казобон? О Граале здесь говорится как о Люциферовом Камне, он приравнивается к персоне Бафомета. Грааль — это источник энергии, а тамплиеры хранили энергетическую тайну и готовили свой план. Где же указание на место их пребывания? Здесь, господа,— и полковник посмотрел на нас так, словно мы все участвовали в каком-то заговоре,— я напал на след, ложный, но не бесполезный. Я имею в виду некоего Шарля-Луи Гассикура Младшего, должно быть, посвященного в какую-то из тайн (заметьте, что его творение было в минибиблиотеке Ингольфа), который в 1797 году написал книгу "*Le tombeau de Jacques Molay ou le secret des conspirateurs à ceux qui veulent tout savoir*". В ней он утверждает, что перед смертью Моле создал

четыре тайные ложи: в Париже, Шотландии, Стокгольме и Неаполе. Эти ложи должны были уничтожить всех монархов и лишить папу его могущества. Согласно, Гассикур был на этом помешан, однако я принял его точку зрения, чтобы установить, где находятся тайные места пребывания тамплиеров. Естественно, мне никогда не удалось бы разгадать тайну послания, если бы у меня не было одной путеводной мысли. Но она у меня была, и исходил я из убеждения, подкрепленного многочисленными доказательствами того, что психология тамплиеров имеет кельтское начало, основана на традициях друидов и является психологией нордических арийцев, корни которой по традиции связаны с островом Авалоном, центром настоящей северной цивилизации. Вам, конечно же, небезызвестно, что различные авторы сравнивали Авалон с садом Гесперид, Ультима Туле и Колхидой с ее Золотым Руном. Совсем не случайно величайший в истории рыцарский орден получил название Ордена Золотого Руна. С этого момента становится ясно, что следует понимать под словом "замок". Речь идет о замке на севере, в котором тамплиеры хранили Грааль,— возможно, о легендарном Монсальвате.

Арденти на минуту умолк. Ему хотелось, чтобы мы пристально следили за движениями его губ. И он добился своего.

— Попробуем теперь истолковать второе указание: хранители послания должны направиться туда, где находятся тот или те, которые что-то делают с хлебом. Вообще-то это совершенно ясно: Грааль — кубок с Христовой кровью, а хлеб — плоть Христа, местом же, где вкушали хлеб, является место, где происходила Тайная вечеря, то есть Иерусалим. Невозможно предположить, что даже после завоевания Иерусалима сарацинами тамплиеры не сохранили бы там тайную организацию. Откровенно говоря, этот элемент иудаизма в плане, который полностью находился под влиянием арийской мифологии, поначалу меня несколько смущал. Я изменил свое мнение после того, как понял, что только мы видим в Иисусе проявление иудейской религиозности, поскольку нам это внушает римская церковь. Тамплиерам же было хорошо известно, что Иисус перешел к нам из кельтской мифологии. Все библейское повествование

представляет собой постоянно повторяющуюся аллерию: воскрешение после захоронения и так далее, и так далее. Христос — не что иное как волшебный эликсир алхимиков. Помимо этого, всем известно, что Троица — это чисто арийское понятие, и поэтому весь устав тамплиеров, написанный друидом, каковым был святой Бернар, ставит во главу угла число три.

Полковник выпил еще глоток воды. Голос его стал хриплым.

— Теперь перейдем к третьему понятию — Убежищу. Это Тибет.

— А почему именно Тибет?

— Да прежде всего потому, что фон Эшенбах повествует о том, что тамплиеры, покинув Европу, перевезли Грааль в Индию. В колыбель арийской расы. Убежище они нашли в Агартхе. Должно быть, вам приходилось слышать об Агартхе, месте пребывания Повелителя Мира, подземном городе, откуда Властелины Мира правят всеми перипетиями человеческой истории. Тамплиеры создали один из тайных центров именно здесь, у самых корней своей духовности. Вам должно быть известно об отношениях между царством Агартхи и Синарией...

— По правде говоря, нет...

— Это даже к лучшему, поскольку существуют тайны, несущие смерть. Однако не будем о второстепенном. Во всяком случае, всем известно, что Агартха возникла шесть тысячелетий назад, в эпоху Кали-Юги, в которой мы с вами и сейчас живем. Целью рыцарских орденов было постоянно поддерживать связь с этим тайным центром, активно обращаясь к восточной и западной мудрости. Итак, становится ясно, что четвертая встреча должна состояться в другом святилище друидов — перед священным алтарем Богородицы, то есть в Шартрском соборе. По отношению к Провэну Шартр расположен на другом берегу Сены, главной реки Иль-де-Франса.

Нам уже не удавалось уследить за ходом мысли нашего собеседника.

— Однако какое отношение может иметь Шартр ко всем этим кельтам и друидам?

— А откуда, по-вашему, исходит представление о Богородице? Первой, известной в Европе, была черная кельтская Богородица. Когда в молодости святой Бернар молился перед черной Богородицей в церкви Сен-Вуарля, она выдавила из груди три капли молока, которые скатились на уста будущего основателя Ордена Тамплиеров. Отсюда и пошли рассказы о Граале, служившие предлогом для крестовых походов, которые одновременно были направлены на поиски Грааля. Всем известно, что Орден Бенедиктинцев был продолжателем дела друидов.

— Но где же находится эта черная Богородица?

— Ее убрали те, которые хотели избавиться от нордических традиций и превратить кельтские верования в верования стран Средиземноморья, придумывая миф о Марии из Назарета. Или же изображения черной Богородицы видоизменили и до сих пор выставляют, чтобы создать питательную среду для фанатизма масс. Но если потрудиться и прочесть иконы в соборах, как это сделал великий Фулканелли, то становится понятно, что эта история записана совершенно ясно, и очевидна связь между кельтской Богородицей и алхимическими изысканиями, лежащими в основе создания Ордена Тамплиеров: черная Богородица символизирует собой начало, над поисками которого трудились те, кто искал философский камень, а этот камень, как мы убедились, не что иное как Грааль. А теперь поразмыслите, откуда черпал вдохновение другой великий ученик друидов — Магомет, и задумайтесь над проблемой черного камня из Мекки. В Шартре кто-то замуровал склеп, который сообщается с подземным помещением, где по-прежнему стоит настоящая языческая статуя, но если хорошо поискать, то можно найти еще одну черную — Пильерскую — Богородицу, вырезанную каноником, приверженцем Одина. В руке у статуи магический цилиндр великих жриц Одина, а слева от нее — магический календарь, на котором с трудом можно разглядеть — я говорю, с трудом, потому что эти изображения не избежали вандализма ортодоксальных каноников — священных животных единства: собаку, орла, льва, белого медведя и оборотня. Помимо этого, все специалисты, изучавшие готический эзотеризм, единогласно утверждают, что в Шартре появилась статуя с кубком Грааля

в руке. И если бы, уважаемые господа, мы знали, как правильно прочесть убранство Шартрского собора, и делали бы это не по туристическим, католическим, апостольским и римским путеводителям, а умея смотреть глазами Традиции, то узнали бы настоящую историю, которую может поведать эта скала Эрика...

— А теперь перейдем к попликанам. Кто они?

— Это катары. Слово "попликаны" (или "попликаны") означает одно из прозвищ, которые давали еретикам. В Провансе катары были разгромлены, так что не станем наивно допускать, будто встреча могла быть назначена на развалинах Монсегюра, но сама секта сохранилась, со многими географическими ответвлениями; с оккультным катаризмом были связаны Данте, поэты, принадлежащие к Дольче Стильново, секта Ревнителей Любви. Итак, пятая встреча была назначена где-то на севере Италии или на юге Франции.

— А последняя встреча?

— А каков же самый древний, самый святой и самый значительный кельтский камень, святилище солнечного божества, наилучший наблюдательный пункт, откуда потомки тамплиеров из Провэнса, придя к завершающей стадии своего плана и собравшись вместе, смогут сравнить все, что сказано в шести посланиях, и наконец сумеют открыть способ использования безграничной власти, которую дает им обладание Священным Граалем? Смотрите! Речь идет об Англии, о магическом круге Стоунхенджа! Так что еще вас интересует?

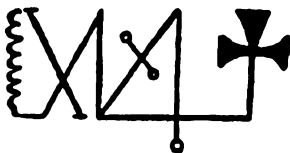
— *O basta là!*— произнес Бельбо.

Только пьемонтцы способны понять весь смысл этого выражения, вежливо обозначающего крайнюю степень удивления. Ни один из эквивалентов в других языках или диалектах (*что ты говоришь! dis donc, are you kidding?*) не способен передать это фатальное чувство, когда вы внезапно теряете к разговору интерес, а ваш собеседник становится для вас безнадежно скучным.

Однако полковник никогда не жил в Пьемонте, и реакция Бельбо ему польстила.

— Ну да! Вот вам весь план, вот ordonation в своей прекрасной простоте и логике! Заметьте еще: если взять карту Европы

и Азии и провести на ней линию этапов осуществления плана с севера до дворца в Иерусалиме, от Иерусалима до Агартхи, от Агартхи до Шартра, от Шартра до берегов Средиземного моря, а оттуда — до Стоунхенджа, получится руническая линия следящей формы.



— И что из этого? — поинтересовался Бельбо.

— А то, что в точности такими линиями можно соединить в воображении некоторые из главных центров эзотеризма тамплиеров: Амьен, Труа, королевство святого Бернара на опушке Восточного Леса, Реймс, Шартр, Рэн-ле-Шато и гору Сен-Мишель, древнейшее место друидского культа. И этот же рисунок напоминает созвездие Девы!

— Астрономия — это моя страсть, — робко признался Диоталлеви, — насколько я помню, в созвездие Девы входят одиннадцать звезд и рисунок его совершенно иной...

Полковник снисходительно улыбнулся.

— Господа, господа, вы знаете лучше меня, что все зависит от того, как вы проводите линию: по желанию может получиться Воз либо Медведица, и вам известно, как трудно решить, относится ли к этому созвездию одна из звезд или нет. Давайте еще раз посмотрим на Деву, примем Колос за точку отсчета, соответствующую берегу Прованса, и возьмем только пять звезд — сходство будет поразительным.

— Осталось только определить, какие звезды не берутся в расчет, — сказал Бельбо.

— Именно так, — подтвердил полковник.

— Послушайте, — спросил Бельбо, — а почему вы исключаете возможность того, что рыцари встречались регулярно и уже принялись за свою работу, хотя нам об этом ничего не известно?

— Не вижу никаких признаков их деятельности и могу лишь добавить: к сожалению. Осуществление плана прервалось, а тех, кто должен был довести его до конца, уже нет на этом свете; возможно, группы тридцати шести распались вследствие какой-то мировой катастрофы. Но смелые люди, располагающие нужной информацией, могли бы связать прерванную нить... И я ищу именно таких людей. Вот почему я хочу издать книгу и тем самым вызвать ответную реакцию с их стороны. В то же время я налаживаю связи с теми, кто помог бы мне найти выход из лабиринта моих традиционных познаний. Сегодня я встречался с самым лучшим экспертом в этой области. Хоть он и светило, но, к сожалению, ничего не смог сообщить мне; но зато он очень заинтересовался моим рассказом и, как я уже упоминал, обещал написать предисловие...

— Простите,— заметил Бельбо,— не опрометчиво ли вы поступили, поведав тайну этому господину? Вы ведь сами говорили об ошибке, допущенной Ингольфом...

— Не думаю,— ответил полковник,— Ингольф был неосторожен. Я же познакомился с ученым, который вне всяких подозрений. С человеком, который не выдвигает необдуманных гипотез. И он просил, чтобы я не показывал мой труд издателям, пока не проясню все сомнительные вопросы... Для меня очень важно не лишиться его расположения, поэтому я не сказал ему, что иду сюда, но поймите мое нетерпение! Этот человек... о, к черту осторожность! Не хотелось бы, чтобы вы, господа, подумали, будто я хвастаюсь. Речь идет о великом Ракоски...

Он умолк, ожидая нашей реакции.

— О ком? — разочаровал его Бельбо.

— Да о Ракоски! О великом авторитете в области изучения традиций, главном редакторе "Записок о тайнах"!

— А-а,— протянул Бельбо.— Да-да, Ракоски, Ракоски, конечно же...

— Так вот, выслушав все его советы, я оставляю за собой право на окончательную редакцию текста, но мне хотелось бы осуществить свой замысел как можно скорее, и если я приду к взаимопониманию с вашим издательством... Повторяю, мне нужно как можно скорее вызвать ответную реакцию на мою

книгу, чтобы собрать необходимые сведения... Должен быть кто-то, кто знает, но молчит... Господа, ведь Гитлеру было хорошо известно, что война проиграна, но именно в 1944 году он принялся говорить о тайном оружии, которое может изменить ход событий. Говорят, что он был ненормальным. А если нет? Вы понимаете, что я хочу этим сказать? — Лоб его покрылся потом, а усы натопорщились, словно у кота.— Короче говоря, я решил забросить приманку. Посмотрим, соблазнит ли она кого-нибудь.

Судя по тому, что мне уже было известно о Бельбо, я ожидал, что сейчас полковник вылетит за дверь, сопровождаемый целым потоком замечаний, подходящих для данного случая. Но Бельбо повел себя иначе.

— Послушайте, полковник,— сказал он,— эта вещь представляет собой огромный интерес независимо от того, с нами вы договоритесь или с кем-то другим. Вы смогли бы уделить мне еще минут десять? — Затем он обратился ко мне.— Уже поздно, Казобон, я вас надолго задержал. Может, увидимся завтра?

Одним словом, мне указали на дверь. Диоталлеви взял меня под руку и заявил, что ему тоже пора. Мы попрощались. Полковник горячо пожал руку Диоталлеви, мне же лишь сухо кивнул.

На лестнице Диоталлеви сказал:

— Вам, конечно, непонятно, почему Бельбо распрощался с вами. Не примите это за проявление невежливости с его стороны. Бельбо должен сделать полковнику конфиденциальное издательское заявление. Конфиденциальное улаживание дел — это девиз господина Гарамона. Я тоже оставил их, чтобы не мешать.

Как я понял несколько позже, Бельбо хотел отправить полковника в пасть издательства "Мануцио".

Я затащил Диоталлеви к Пиладу, где заказал кампари, а он — компот из ревеня. Этот "ревенек", как он выразился, ка-

зался ему напитком архаичным, монашеским, почти подходящим для тамплиера.

Я спросил, какого он мнения о полковнике.

— В издательства тянутся ущербные со всего мира,— ответил он.— Но поскольку за видимой ущербностью может скрываться Великий Разум, мудрец со смирением слушает дурака.

Через минуту Диоталлеви извинился, сказав, что должен уходить. "Сегодня у меня гость",— объявил он.

— Какая-то пирушка? — поинтересовался я.

Мое легкомыслие, похоже, его возмутило.

— "Zohar",— уточнил он,— "Lekh Lekha". В этих страницах я до сих пор еще не разобрался.

Грааль... настолько тяжел, что те, кто отдан на съедение греху, не в состоянии сдвинуть его с места.

(Wolfram von Eschenbach. *Parzival*, IX, 477)

Полковник мне не понравился, но он возбудил во мне интерес. Так подолгу и с увлечением можно рассматривать даже зеленую ящерицу. Я смаковал первые капли яда, который должен был привести всех нас к гибели.

На следующий день я после обеда зашел к Бельбо, и мы немного поговорили об этом посетителе. Бельбо сказал, что он произвел на него впечатление мифомана.

— Вы заметили — он цитировал этого Ракоски или Растроповича так, словно речь шла о Канте?

— К тому же эти истории стары как мир,— заметил я.— Ингольф был сумасшедшим потому, что в них поверил, а полковник — сумасшедший потому, что поверил Ингольфу.

— Возможно, он верил в это вчера, а теперь уже изменил свое мнение. Мы договорились с ним, что сегодня он придет на встречу с другим, менее разборчивым издателем, который готов издать любую книгу за счет автора. Похоже, мое предложение вдохновило полковника. Но только что я узнал, что он не пришел на встречу. Да, он оставил у меня фотокопию послания — вот, взгляните. Разбрасывает направо и налево секреты тамплиеров, словно речь идет о каких-то пустяках. Он из тех людей, которые не могут поступать иначе.

В эту минуту зазвонил телефон. Бельбо поднял трубку.

— Алло? Это Бельбо, издательство "Гарамон". Здравствуй-те, слушаю... Да, вчера после обеда он приходил сюда и предложил мне одну рукопись. Простите, но я не могу разглашать нашу коммерческую тайну, и если вы мне объясните...

В течение какого-то времени он слушал, затем, побледнев, взглянул на меня и сказал: "Полковник убит или что-то в этом роде", — и опять вернулся к телефонному разговору:

— Простите, я сообщил эту новость Казобону, одному из моих сотрудников, который вчера присутствовал при разгово-

ре... Да, полковник Арденти приходил сюда высказать свое мнение по поводу истории — я считаю ее фантазией — о мнимом сокровище тамплиеров. Были такие средневековые рыцари...

Он инстинктивно прикрыл рукой трубку, словно хотел отгородиться от своего собеседника, но, заметив, что я наблюдаю за ним, отдернул руку и продолжил разговор, взвешивая слова.

— Нет, господин комиссар, он говорил о книге, которую собирался написать, но идея была достаточно расплывчата... Что? Оба? Сейчас? Я только запишу адрес.

Он повесил трубку. В течение нескольких минут он хранил молчание, барабанил пальцами по столу.

— Прошу прощения, Казобон, но я не подумал и впутал вас в эту историю. Он застал меня врасплох. Это был комиссар полиции, некий Де Анжелис. Кажется, полковник снимал меблированную комнату и кто-то сказал, что нашел его вчера мертвым...

— Кто-то сказал? И комиссар даже не знает, правда ли это?

— Да, это выглядит странным, но не знает. Они нашли его записную книжку, а в ней было мое имя и время вчерашней встречи. Похоже на то, что мы — единственная нить для них. Что ж, надо идти.

Мы вызвали такси. В машине Бельбо взял меня за руку. "Конечно, Казобон, это просто стечение обстоятельств. Во всяком случае, возможно, у меня испорченное представление о вещах, но в моей дыре все говорят: "Лучше никогда не называть имен"... Когда я был еще ребенком, на Рождество пошел посмотреть кукольное представление с пением коляд, которое давали на нашем диалекте. Это был религиозный спектакль о пастухах, и невозможно было понять, где происходит действие — в Вифлееме или близ Турина... Так вот, приходит король магов и спрашивает у пастушонка, как звать его хозяина, а тот отвечает — Джелиндо. Когда Джелиндо узнал об этом, он избил пастушонка палкой, приговаривая, что имена существуют не для того, чтобы кто попало вытирал ими губы... Во всяком случае, если вы согласны, — мы ничего не слышали от полковника об Ингольфе и послании из Провэнза.

— Не хотелось бы окончить жизнь так, как Ингольф,— пробормотал я, пытаясь изобразить улыбку.

— Повторяю: это всего лишь глупость. Но от некоторых событий лучше держаться подальше.

Я согласился, но в душе мне все это не нравилось. Перспектива встречи с полицией выводила меня из равновесия еще со времен участия в студенческих демонстрациях. Мы уже добрались до дома, где снимал комнату полковник. Его жилище находилось далеко от центра и, похоже, было совсем не из блестящих. Нам сразу же указали на покои — так это называли — полковника Арденти. Полицейские на лестнице. Нас проводили в 27-й номер (два и семь равняется девяти — подумал я). Спальня, прихожая с небольшим столиком, кухонька, маленькая ванная с душем, без занавеси; через приоткрытую дверь не было видно, стоит ли там еще биде — первое и последнее удобство, которое обычно требуют постояльцы подобных заведений. Безликая мебель, немного личных вещей, но все в полном беспорядке: кто-то в спешке перерыл все чемоданы и шкафы. Возможно, это сделали полицейские в гражданском или в форме, которых я насчитал здесь не меньше десяти.

К нам подошел довольно молодой человек с длинными волосами.

— Меня зовут Де Анжелис. Профессор Бельбо? Профессор Казобон?

— Еще не профессор, я только учусь.

— Советую старательно учиться. Если вы не получите диплом, то не сможете пройти конкурсный отбор для службы в полиции, а вы еще не знаете, как много вы при этом потеряете.— Его лицо выражало скуку.— Простите, но давайте сразу же перейдем к необходимым формальностям. Вот паспорт на фамилию Арденти, который принадлежал лицу, проживавшему в этой комнате. Вы его узнаете?

— Это он,— подтвердил Бельбо,— однако объясните мне, из телефонного разговора я не понял, мертв он или...

— Хотелось бы, чтобы вы ответили мне на этот вопрос,— прервал его Де Анжелис, скривившись.— Но я думаю, что вы имеете право знать немного больше. Итак, господин Арденти

или, как он себя называл, полковник Арденти, прибыл сюда четыре дня назад. Должно быть, вы уже заметили, что это отнюдь не Гранд Отель. Вся прислуга здесь состоит из портье, который ложится спать в одиннадцать часов, поскольку постояльцам выдаются ключи от входной двери, двух или трех горничных, которые по утрам приходят убирать комнаты жильцов, и одного старого алкоголика, который исполняет обязанности лакея и приносит напитки в номера по заказу клиентов. Подчеркиваю: это алкоголик и склеротик, поэтому допрашивать его было сущей пыткой. Как утверждает портье, ему видятся призраки, и он уже до смерти напугал нескольких клиентов. Вчера вечером портье видел, как около десяти часов Арденти вернулся в сопровождении двух человек, которые поднялись к нему в номер. Здесь не обратят внимание даже на то, что к кому-то из постояльцев придет целая толпа транссексуалов, не говоря уже о двух нормальных особах, хотя и говорящих, со слов портье, с иностранным акцентом. В половине одиннадцатого Арденти позвал старика и попросил принести в номер бутылку виски, бутылку минеральной воды и три стакана. В час или в половине второго старик услышал прерывистые, как он утверждает, звонки из двадцать седьмого номера. Но, судя по состоянию, в котором он предстал перед нами сегодня утром, к тому времени он уже успел поглотить несметное количество стаканов с достаточно гадким содержимым. Итак, старик поднялся, постучал в дверь, но ему никто не ответил; тогда он открыл замок дубликатом ключа и обнаружил комнату в таком беспорядке, как и сейчас, а полковника — лежащим на кровати с выпученными глазами и шнурком, затянутым на шее. Он сбегал по лестнице и разбудил портье, но никто из них больше не захотел подняться вверх; они бросились к телефону, но линия, как им показалось, была повреждена. Сегодня утром она была совершенно исправна, но, допустим, я им верю. Тогда портье сбегал на площадь, где стоит телефон-автомат, и позвонил в участок, а старик потащился в противоположную сторону, чтобы позвать доктора. Короче говоря, у них это заняло двадцать минут, и пока они в страхе ожидали внизу дальнейшего развития событий, доктор успел одеться и прибыл почти одновременно с

полицейской машиной. Они вместе поднялись в двадцать седьмой номер, но на кровати никого не оказалось.

— Как это — никого? — переспросил Бельбо.

— От трупa не осталось и следа. Доктор вернулся домой, а мои коллеги обнаружили лишь то, что вы видите. Мы допросили старика и портье и узнали то, что я вам уже рассказал. Куда девались два человека, которые вместе с Арденти поднялись в номер в десять часов? Возможно, они вышли между одиннадцатью и часом ночи и никто этого не заметил. Оставались ли они в комнате, когда туда вошел старик? Трудно сказать, ведь он сразу же вышел, не заглянув ни на кухню, ни в ванную. А может, они ускользнули, унося труп, в то время, когда эти несчастные бегали звать на помощь? В этом не было бы ничего сверхъестественного, поскольку в доме существует наружная лестница, ведущая во дворик, а оттуда через калитку можно выйти на боковую улицу. Но самое главное: был ли труп на самом деле или же полковник попросту куда-то ушел, скажем, в полночь, вместе со своими гостями, а все остальное старику попросту привиделось? Портье утверждает, что у того галлюцинации уже не в первый раз: несколько лет назад ему привиделось, что одна из постоялиц повесилась, при этом она была обнажена, а полчаса спустя эта же постоялица спустилась вниз цветущая, словно роза, а на постели старика нашли садистско-порнографический журнал, так что ему вполне могла прийти в голову мысль подглядывать в замочную скважину комнаты этой дамы, и при этом он мог увидеть, как в полумраке колышется занавес. Единственное, что мы можем с полной уверенностью утверждать, — это то, что комната находится в неудовлетворительном состоянии и что Арденти растворился в воздухе. Ладно, я и так уже слишком долго говорю. Теперь ваша очередь, профессор Бельбо. Единственным следом, которым мы располагаем, остается лист бумаги, который мы нашли на полу около столика. Четырнадцать часов, гостиница "Принсипе и Савойя", г-н Ракоски; шестнадцать часов, "Гарамон", г-н Бельбо. Вы уже подтвердили, что он был у вас в шестнадцать часов. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой встрече.

Рыцари Грааля больше не желали, чтобы им задавали вопросы.

(Wolfram von Eschenbach. *Parzival*, XVI, 819)

Бельбо был краток: он повторил все то, что уже сказал по телефону, не вдаваясь в прочие детали, которые могли бы стать основными. Полковник поведал нам туманную историю, утверждая, что отыскал следы какого-то клада по документам, найденным во Франции, но выяснить что-либо из его рассказа не удалось. Похоже, он полагал, что владеет опасной тайной, и собирался рано или поздно предать ее огласке, дабы не быть единственным ее обладателем. Намекнул на то, что люди, которые раскрывали эту тайну, неизвестным образом исчезали. Документы он обещал предоставить лишь в случае подписания с ним издательского договора, но Бельбо не мог этого сделать, не увидев прежде документов, они расстались, не достигнув никакого соглашения, и назначили встречу, не оговорив сроки. Полковник вспоминал о некоем Ракоски и объяснил, что речь идет о главном редакторе "Записок о тайнах". Арденти хотел, чтобы тот написал предисловие к его книге. Кажется, Ракоски посоветовал ему перенести срок публикации. Полковник не сообщал ему, что собирается обратиться в "Гарамон". Вот и все.

— Хорошо, хорошо,— сказал Де Анжелис.— Какое впечатление он на вас произвел?

— Впечатление человека, одержимого какой-то идеей; кроме того, он вспоминал о прошлом, в нем чувствовалась ностальгия по службе в иностранном легионе.

— Это правда, но не вся. В определенном смысле он уже попадал в поле нашего зрения, однако мы не придавали этому особого значения. У нас столько таких... Итак, его фамилия вовсе не Арденти, однако к его французскому паспорту нет никаких претензий. Время от времени он появлялся в Италии, и, как не совсем достоверно было установлено, в действительности — это некий капитан Арковеджи, заочно приговоренный к

смертной казни в 1945 году. Сотрудничество с СС по отправке в Дахау определенной категории людей. Во Франции с него также не спускали глаз, он обвинялся в мошенничестве и чудом вышел сухим из воды. Мы предполагаем, но, подчеркиваю, только предполагаем, что это тот же человек, который в прошлом году действовал под именем Фассотти и на которого подал заявление один мелкий фабрикант из Пешиера Борромео. Нашему герою удалось убедить того, что в озере Ком все еще находится клад Донго, брошенный там Муссолини во время его последнего побега, и что ему удалось установить точное местонахождение этого клада, — достаточно лишь несколько десятков миллионов для оплаты моторной лодки и двух водолазов... Взял деньги — и сразу же исчез. Сегодня вы подтвердили, что он одержим поиском сокровищ.

— А этот Ракоски? — спросил Бельбо.

— Мы уже проверили. В отеле "Принсипе и Савоя" действительно остановился некий Владимир Ракоски, прописанный на основании французского паспорта. Характеристика туманная: светский господин. Такую же мог выдать здешний портье. В агентстве "Алиталия" его имя значится в списке пассажиров, улетающих первым утренним рейсом в Париж. Им интересовался Интерпол. Есть уже что-нибудь из Парижа, Аннунциата?

— Пока ничего, господин комиссар.

— Итак, полковник Арденти, или как там его настоящее имя, четыре дня назад прибывает в Милан; нам не известно, чем он занимается первые три дня, но вчера у него, возможно, была встреча с Ракоски в два часа дня в гостинице, и он не сообщил ему о предстоящей встрече с вами. Это кажется мне интересным. Вечером он возвращается сюда, похоже, вместе с Ракоски и еще одним человеком, после чего он исчезает. Может быть, они его не убили, но комнату переворостили, — уж это точно. Что же они искали? В его пиджаке — ах, да, если он и ушел, то без пиджака: пиджак его вместе с паспортом остался в комнате; только не подумайте, что это облегчает дело, — ведь старик говорит, что Арденти лежал на кровати в пиджаке, но, может, это была домашняя куртка. О Боже, настоящий дурдом! Так вот, в его пиджаке осталась весьма приличная сумма денег,

я бы даже сказал, чересчур приличная... Значит, они искали что-то другое. Вот вы и подсказали единственно разумную мысль. Полковник пришел с какими-то документами. Как они выглядели?

— У него была папка каштанового цвета,— сказал Бельбо.

— А мне она показалась красной,— заметил я.

— Нет, все же каштановая,— настаивал Бельбо,— но, возможно, я ошибаюсь.

— Не важно, какого она была цвета, этой папки здесь нет,— заключил Де Анжелис.— Люди, побывавшие здесь вчера вечером, прихватили ее с собой. Значит, все дело в папке. Я думаю, что в планы Арденти вовсе не входило издание книги. В руках у него оказались определенные сведения, достаточные для того, чтобы шантажировать Ракоски, и он избрал посещение издательства как способ давления на последнего. Это было вполне в его стиле. И тут можно выдвинуть несколько предположений. Двое неизвестных покидают номер, угрожая Арденти, и тот скрывается, захватив с собой папку. Может быть, по одному ему известной причине он разыгрывает сцену собственного убийства. Но эта версия слишком романтична и не объясняет, почему комната вывернута наизнанку. С другой стороны, если те двое ликвидировали его и выкрали папку, к чему уносить труп? Увидим. Простите, но я должен записать ваши координаты.

Он долго изучал мой студенческий билет.

— Философию изучаете, верно?

— Не я один,— заметил я.

— К сожалению. И занимаетесь тамплиерами... Если бы я хотел узнать о них побольше, какие книги вы посоветовали бы мне прочесть?

Я посоветовал ему две научно-популярные, но достаточно серьезные книги и объяснил, что он найдет в них достоверную информацию, касающуюся всего периода до окончания процесса, а более поздние сведения — просто бредни.

— Понятно, понятно,— пробормотал он.— Ко всему еще и тамплиеры. До сих пор я не сталкивался с такой группировкой.

Появилась Аннунциата с телеком.

— Ответ из Парижа, господин комиссар.

Тот прочел.

— Отлично. В Париже этого Ракоски никто не знает, и к тому же номер его паспорта соответствует номеру документа, украденного два года назад. Великолепно, мы уже знаем, какой версии придерживаться. Господина Ракоски на самом деле не существует. Вы говорили, что он — издатель журнала... как он называется? — Он записал название.— Мы попытаемся это выяснить, но могу поспорить, что такого журнала никогда не было либо он давно уже прекратил свое существование. Ладно, господа. Благодарю вас за помощь, и, возможно, мне еще несколько раз придется вас потревожить. Ах, да, последний вопрос. Давал ли этот Арденти понять, что он связан с какой-либо политической группировкой?

— Нет,— ответил Бельбо.— Он делал вид, что оставил политику ради сокровищ.

— И чтобы надувать наивных,— Де Анжелис обратился ко мне.— Похоже, он вам не очень понравился?

— Не люблю подобных типов,— ответил я.— Но это не означает, что я с удовольствием затянул бы веревку на его шее. Разве что в воображении.

— Естественно. Это не доставляет удовольствия. Не беспокойтесь, господин Казобон, я не из тех, кто считает всех студентов преступниками. Не думайте об этом. Искренне желаю успешно получить диплом.

Бельбо заинтересовался:

— Простите, господин комиссар, но позвольте всего лишь один вопрос, чтобы лучше понять то, что происходит. Вы из уголовной или политической полиции?

— Уместный вопрос. Коллега из уголовной полиции побывал здесь сегодня ночью. После того как он обнаружил в архивах нечто, касающееся прошлого нашего Арденти, он передал это дело мне. Я действительно из политической полиции. Однако я совсем не уверен, что занимаюсь именно своим делом. К сожалению, жизнь не такая простая, как в детективных романах.

— Я так и думал,— сказал Бельбо, протягивая ему руку.

Мы ушли, но беспокойство не покидало меня. Причина его была вовсе не в комиссаре, который показался мне добрым малым, а в том, что впервые в жизни я оказался в самом центре столь темной и запутанной истории. И при этом был вынужден лгать. А Бельбо вместе со мной.

Мы расстались у издательства "Гарамон", оба чувствовали себя неловко.

— Мы не сделали ничего плохого,— виноватым тоном сказал Бельбо.— То, что комиссар узнал бы об Ингольфе или катарах, ничего бы не изменило. Это всего лишь химеры. И вовсе не это было причиной исчезновения Арденти; существовала тысяча других причин. Ракоски вполне мог заставить его заплатить по старым счетам, если только предположить, что он работал на израильские спецслужбы, возможно, его подослал какой-нибудь делок, которого полковник обобрал. А почему бы не предположить, что между ними существовала старинная вражда еще со времен иностранного легиона? Возможно, это наемный убийца из Алжира. А история с кладом тамплиеров — быть может, всего лишь незначительный эпизод в жизни нашего полковника. Да, понимаю, папка исчезла, независимо от того, была ли она красной или каштановой. Вы правильно сделали, что оспаривали ее цвет, из этого следует, что мы видели ее всего лишь мельком...

Я продолжал молчать, и Бельбо не знал, как закончить наш разговор.

— Можете сказать, что я пытаюсь ускользнуть, как на улице Ларга.

— Вы говорите глупости. Мы правильно все сделали. До свидания.

Я сочувствовал ему, ведь он считал, что поступает подло. Я же не испытывал угрызений совести: еще в школе меня научили, что полиции не стоит говорить правду. Из принципа. Однако нечистая совесть портит дружбу.

С этого дня я больше не видел Бельбо. Я был живым упреком для него, а он — для меня.

Но именно тогда я понял, что студенты вызывают больше подозрений, чем дипломированные специалисты. Я проработал

еще один год и исписал двести пятьдесят страниц о судилище над тамплиерами. Это было в те годы, когда защита диплома расценивалась как проявление лояльного подчинения государству и воспринималась с полной снисходительностью.

В течение последующих нескольких месяцев некоторые из студентов научились пользоваться огнестрельным оружием; эпоха манифестаций на свежем воздухе уже подходила к концу.

Я забросил прежние идеалы. Для этого у меня существовало веское оправдание, поскольку, влюбившись в Ампаро, я тем самым полюбил страны третьего мира. Ампаро была красавицей, марксисткой, бразилийкой, энтузиасткой, лишенной иллюзий, у нее была государственная стипендия и прекрасная смешанная кровь. Все вместе.

Я встретил ее на одном из праздников и совершенно импульсивно, без колебаний начал действовать.

— Извини, но я хотел бы заняться с тобой любовью.

— Ты мерзкий самец.

— Я ничего не слышал. Я ничего не сказал.

— И слышал. И сказал. Я мерзкая самка.

Она собиралась вернуться в свою страну, а мне не хотелось ее терять. Она помогла мне связаться с университетом в Рио, где требовался преподаватель итальянского языка. А так как в Италии мне стало тесно, я принял это предложение и подписал контракт на два года с возможностью продления срока.

"К тому же,— думал я,— в Новом Свете мне не повстречаются тамплиеры."

"Пустая иллюзия",— размышлял я в субботний вечер, сидя в перископе. Поднимаясь по ступенькам издательства "Гарамон", я попал во Дворец. Диоталлеви говорил: Бина — это дворец, который возводит себе Хокма, начиная с главного пункта. И если Хокма — источник, то Бина — это река, берущая из него начало, растекающаяся затем по многочисленным руслам, которые впадают в великое море последней сефиры, Бина — это изначально совершенные формы.

IV

ХЕСЕД



Аналогия противоположностей — это зависимость света от тени, вершины от бездны, наполненности от пустоты. Аллегория, мать всех догм,— это замена отпечатка печатью, тени реальностью, это обман правды и правда обмана.

(Eliphas Levi. *Dogme de la haute magie*, Париж, Baillière, 1856, XXII, 22)

Я приехал в Бразилию из любви к Ампаро, а остался там из любви к ее стране. Я никогда не понимал, почему эта дочь потомков голландцев, которые поселились в Ресифи и смешались с индейцами и суданскими неграми, девушка с лицом жительницы Ямайки и манерами парижанки носила испанское имя. Я никогда не мог осилить бразильские имена. Их не найдешь в ономастических словарях, и существуют они только в Бразилии.

Ампаро говорила мне, что на их полушарии вихревое движение воды, всасываемой сточной трубой умывальника, идет слева направо, тогда как у нас оно имеет обратное направление — или наоборот. Я не мог проверить, так ли это на самом деле. Не только потому, что в нашем полушарии никому и в голову не взбредет следить, в каком направлении завихрится вода, стекаемая в умывальник, но и потому, что после моих различных опытов в Бразилии я осознал, что это очень трудно заметить. Всасывание происходит слишком быстро, чтобы можно было уследить за ним, а его направление зависит, наверное, от силы и наклона струи, формы умывальника или ванны. И потом, если бы это было правдой, то что происходило бы тогда на экваторе? Вода лилась бы, вероятно, прямо вниз, не завихриваясь, или не текла бы совсем?

В то время я не слишком драматизировал эту проблему, но в один субботний вечер мне пришло в голову, что все зависит от теллурических течений и что Маятник скрывает тайну.

Ампаро была непреклонна в своей вере. "Неважно, каков будет результат опыта,— говорила она,— речь идет об идеальном законе, который можно проверить в идеальных условиях, то есть не проверить нигде. Но факт остается — закон правдив".

В Милане Ампаро привлекала своей разочарованностью. В Бразилии же, ощущая праистoki родной земли, она стала какой-то недостижимой, экстравагантной, способной к подкожному рационализму. Я чувствовал, что ею владеют древние страсти, но она всегда обуздывала их, патетическая в своем аскетизме, принуждавшем ее отказываться от соблазнов.

Я оценивал яркую противоречивость ее натуры, наблюдая за дискуссиями с товарищами. Собрания проходили в бедно обставленных домах, украшениями в которых служили пара плакатов, множество предметов народного творчества, портреты Ленина, северо-восточная терракота, которую обожали *sangaseiro*, или индейские фетиши. Я прибыл в Бразилию в смутное с точки зрения политики время, и, имея богатый опыт, приобретенный в своей стране, решил держаться в стороне от идеологии, особенно там, где ее не понимал. Речи товарищей Ампаро только усилили мое чувство неуверенности, хотя и открыли новые просторы для интересов. Естественно, они все были марксистами и, на первый взгляд, говорили почти как все европейские марксисты, но на самом деле речь шла об иных вещах; во время какой-нибудь дискуссии о борьбе классов они вдруг начинали рассуждать о "бразильском каннибализме" или о революционной роли афро-американских культов.

Итак, слушая речи о культах, я пришел к убеждению, что здесь даже идеологическое движение идет в обратном направлении. Они обрисовали мне в общих чертах панораму внутренних маятниковых миграций, когда обездоленные с севера направлялись на промышленный юг, становились люмпен-пролетариатом в огромных метрополиях, задыхающихся в облаках смога, потом, потеряв всякую надежду, возвращались на север, чтобы через год снова предпринять побег на юг; но во время этих колебаний многих из них всасывали в себя большие города и, поглощаемые многочисленными автохтонными церквями, они отдавались сеансам спиритизма, взыванию к африканским божествам... И здесь товарищи Ампаро расходились во мнениях: для одних культы были возвращением к корням, противостоянием миру белых, для других — наркотиком, при помощи которого господствующий класс укрощал огромный рево-

люционный потенциал, еще для кого-то это было горнилом, в котором белые, индейцы и негры расплавлялись, обретая смутные перспективы и неясную судьбу. Ампаро верила, что религия (и особенно псевдотуземные культы) всегда была опиумом для народов. Позже, когда я держал ее за талию в "escolas de samba", пристраиваясь к серпантину танцующих, которые чертили синусоиды в невыносимом ритме барабанов, для меня стало очевидным, что она примыкала к этому миру всем своим естеством — мышцами живота, сердцем, головой, ноздрями... А потом мы выходили, и каждый раз она первая с сарказмом и горечью препарировала глубокую оргиастическую набожность, медленное, неделя за неделей, месяц за месяцем, сгорание в ритуале карнавала. "Это те же племенные и шаманские нравы,— говорила она с революционной ненавистью,— как и в футболе, когда проигрывающие расходуют энергию, которая пригодилась бы им для борьбы, подавляют чувство мятежа, чтобы применить заклинания и колдовство, вымаливая у богов всех возможных миров смерть для защитника противников, забывая о власти, которая доброжелательно наблюдает за их исступлением и энтузиазмом, и добровольно обрекая себя на жизнь в мире иллюзий".

Постепенно у меня исчезло ощущение различия. В этой вселенной лиц, несущих на себе отпечаток столетней истории неконтролируемой гибридизации, я привыкал не различать расы. Я отказался определять, чем отличается прогресс от бунта или — как говорили товарищи Ампаро — от заговора капитала. Разве мог я думать по-прежнему как европеец, когда узнавал, что надежды крайних левых поддерживает некий епископ Нордеста, подозреваемый в том, что в молодости симпатизировал фашистам; а сейчас он с неутомимой верой высоко возносит факел восстания, ставя все с ног на голову, чем повергает в ужас Ватикан и барракуд с Уолл Стрит, подогревая ликующий атеизм пролетарских мистиков, покоренных грозным и очень добрым ликом Богородицы, которая, одолеваемая семьей скорбями, наблюдала страдания своего народа.

Однажды утром после семинара, посвященного классовой структуре люмпен-пролетариата, мы с Ампаро ехали по дороге

вдоль набережной. Я увидел, что пляж усеян разнообразными свечами и белыми корзинками. Ампаро сказала, что это подношения Йеманье, богине воды. Она вышла из машины, подошла к линии прибоя и, сосредоточенная и молчаливая, стояла так несколько минут. Я спросил ее, верит ли она во все это. Она с яростью обрушилась на меня: как такое могло прийти мне в голову?! Затем добавила: "Моя бабушка приводила меня сюда, на этот пляж, и взывала к богине с мольбой, чтобы я выросла красивой, доброй и счастливой. Один из ваших философов, который писал о черных кошках и коралловых рогах, утверждал: "Это не правда, но я в это верю". Я же не верю, но это правда". В тот день я решил экономить стипендию, чтобы предпринять поездку в Баию.

Именно в то время, и я это знаю точно, меня начало убаюкивать ощущение сходства: все имеет таинственные аналогии со всем.

Возвратясь в Европу, я трансформировал эту метафизику в механику и поэтому попал в западню, из которой и сегодня не нахожу выхода. Но тогда я действовал в потемках, где различия стирались. Как и подобает расисту, я думал, что верования других могут превратить сильного человека в кроткого мечтателя.

Я изучил чужие ритмы, способы релаксации тела и ума. Я осмыслил все это в тот вечер в перископе: чтобы бороться с мурашками в конечностях, я двигал ими так, словно стучал в адогō. "Подумай только,— говорил я себе,— чтобы освободиться от власти неведомого, чтобы доказать себе, что не веришь в него, ты принимаешь его очарование". Как атеист, который видит ночью дьявола и рассуждает так: дьявола, конечно же, не существует, это только иллюзия, порожденная возбужденным сознанием, или, возможно, расстройством пищеварения, но дьявол не знает этого, ведь он верит в свою теологию наизнанку. Что могло в нем, таком убежденном в своем существовании, вызвать страх? Вы креститесь, и он, наивный, исчезает во вспышке серы.

Со мной произошло то же, что и с одним умником-этнологом, который в течение многих лет изучал каннибализм и,

бросая вызов тупоумию белых, рассказывал всем, что человеческое мясо имеет изысканный вкус. Безответственное высказывание, так как никто не сможет продегустировать это мясо. Но в конце концов кто-то, жаждущий правды, захочет проверить это на нем самом. А когда его сожрут кусок за куском, он уже не узнает, кто прав,— остается лишь слабая надежда на то, что все пройдет в соответствии с ритуалом, чтобы как минимум оправдать собственную смерть. Так же и я в тот вечер должен был поверить, что План подлинный, в противном случае в течение последних двух лет я был бы всемогущим творцом злобного кошмара. Лучше бы кошмар оказался действительностью: если вещь настоящая, то она настоящая, и ничего с этим не поделаешь.

Sauvez la faible Aischa des vertiges de Nahash sauvez la plaintive Héva des mirages de la sensibilité, et que les Khérubs me gardent.

(Joséphin Péladan. *Comment on devient Fée*,
Париж, Chamuel, 1983, с.XIII)

В период, когда я углублялся в лес сходств, мне пришло письмо от Бельбо.

"Дорогой Казобон,

я только на днях узнал, что Вы в Бразилии. Полностью потеряв Ваш след, я даже не знал, что Вы удостоены диплома (мои поздравления!), но у Пилада я встретил одного человека, и он дал мне Ваши координаты. Думаю, уместно посвятить Вас в некоторые новые факты, которые касаются несчастного случая, произошедшего с полковником Арденти. По-моему, с тех пор прошло уже более двух лет, но я хотел бы еще раз попросить извинения за то, что поневоле втянул Вас в столь хлопотное дело.

Я почти уже забыл эту неприятную историю, но две недели назад поехал на экскурсию в Монтефельтро и наткнулся на крепость Сан-Лео. Мне кажется, эта территория в XIII веке входила в состав Ватикана, и именно здесь папа заключил Калиостро в келью без двери (первый и последний раз в нее входили через люк в потолке) и с окном, через которое осужденный видел только две сельские церквушки. На деревянном настиле, где Калиостро спал и умер, я увидел букет роз, и мне объяснили, что и сейчас многие его последователи отправляются в паломничество к месту его мучений. Мне также рассказали, что наиболее усердными паломниками являются члены "Пикатрикса", миланского общества таинственно-софических исследований, которое издает журнал — оцените их находчивость — под названием "Пикатрикс".

Вы знаете, что я любопытен, такие странные вещи вызывают у меня интерес, и по возвращении в Милан я

раздобыл номер "Пикатрикса", из которого узнал, что через несколько дней будет торжественно призван дух Калиостро. Я пошел туда.

На стенах камчатные штандарты, покрытые каббалистическими знаками, изобилие филинов, сов, скарабеев и ибисов, восточных божеств неизвестного происхождения. В глубине был помост для оратора и авансцена, на подпорках из плохо обтесанных деревянных обрубков пылали факелы. На заднем плане алтарь с треугольной картиной в нише и двумя статуэтками — Изиды и Озириса. Вокруг амфитеатром расставлены фигурки Анубиса, портрет Калиостро (кого же еще?), золоченая мумия как будто Хеопса, два канделябра с пятью ответвлениями, гонг, поддерживаемый двумя ползучими змеями, пюпитр на подиуме, покрытый легкой хлопчатобумажной тканью с иероглифами, две короны, два треножника, саркофаг в виде чемодана, трон, кресло в стиле XVII века, четыре стула из разных гарнитуров в стиле "пирушка у шерифа из Ноттинггема", свечи, громницы — все горели, и выглядело все это весьма спиритуально.

Наконец входят семеро служек в красных помятых рясах и с факелами, священник, кажется, главный редактор "Пикатрикса", которого зовут, да простят мне боги, Брамбилла, в церковном облачении розово-оливкового цвета, затем — подопечная, или медиум, и наконец шесть церковных послушников, все в белом, очень похожие на Нинетто Даволи, но с повязками богов на голове, если вы еще помните слова наших поэтов.

Брамбилла надевает на голову тиару, украшенную полумесяцем, хватает ритуальный меч, чертит на полу магические символы, вызывает несколько ангельских духов с именами, заканчивающимися на "ель", и тогда мне смутно приходит на ум эта псевдосемитская чертовщина послания Ингольфа, но это длится минуту, и я об этом забываю, потому что мое внимание тут же рассеивается. Между прочим, по той причине, что происходит нечто особенное: микрофоны сцены присоединены к синтезатору, который

должен ловить волны, блуждающие в космическом пространстве, но оператор с белой повязкой, очевидно, допустил ошибку, и вначале слышится диско-музыка, а затем голос радио Москвы. Брамбилла открывает "саркофаг", достает *grimoire*, размахивает кадиллом и вызывает: "О Господи, да приидет царствие твое". И кажется, он добивается неплохого результата, потому что радио Москвы умолкает, чтобы в самый магический момент грянуть песней пьяных казаков, тех, которые танцуют и при этом подметают задами пол. Брамбилла призывает *Clavicula Salomonis*, сжигает пергамент на треножнике, рискуя спровоцировать пожар, вызывает несколько божеств из Карнакского храма, бесцеремонно просит поставить его на кубический камень из Эзода и настойчиво призывает какого-то Домового 39, который, должно быть, очень хорошо знаком публике, так как дрожь проходит по залу. Одна из зрительниц впадает в транс, закатывает глаза, видны только белки; люди кричат: "Доктора, доктора!" В этот момент Брамбилла вызывает к силе Амулета в форме пятиконечной звезды, девушка, которая успела сесть в кресло псевдостилия XVII века, мечется и стонет. Брамбилла наклоняется к ней, спрашивая с тревогой, иначе говоря, задавая вопросы Домовому 39, которым, как я сразу же догадался, был сам Калиостро.

И вот начинается волнующая часть, так как молодая девушка действительно вызывает сочувствие и на самом деле страдает, потеет, дрожит, воеет, начинает произносить отрывки фраз, несет какой-то вздор о храме, о дверях, которые нужно открыть, говорит, что образуется поток вихревой силы, что нужно подняться к Большой Пирамиде, Брамбилла извивается на сцене, ударяя в гонг и во все горло призывая Изиду, я наслаждаюсь спектаклем, как вдруг слышу, что девушка между вздохом и стоном говорит о шести печатях, ста двадцати годах ожидания и тридцати шести невидимых. Несомненно, она говорит о послании из Провэнса. Я приготовился услышать продолжение, но девушка падает, обессиленная, на пол, Брамбилла гладит

ее по голове, благословляет присутствующих кадилом и объявляет, что обряд закончен.

С одной стороны, под впечатлением увиденного, с другой, пытаюсь разобраться во всем, я подхожу к девушке, которая к этому времени пришла в себя, надела довольно безобразное демисезонное пальто и приготовилась ускользнуть через заднюю дверь. Я уже почти прикоснулся к ее плечу, как вдруг почувствовал, что кто-то берет меня за руку. Я оборачиваюсь и вижу комиссара Де Анжелиса. Он просит меня оставить девушку в покое, ибо он знает где ее найти. Он приглашает меня выпить кофе. Я послушно иду за ним, как если бы он поймал меня на горячем, в некотором роде это так и есть, а в баре он меня спрашивает, зачем я пришел и почему пытался заговорить с девушкой. Он мне досаждал, поэтому я отвечаю, что мы живем не в государстве диктатуры и что я могу разговаривать с кем захочу. Он извиняется и объясняет ситуацию: следствие по делу Арденти ведется медленно, но он пытался восстановить, как полковник провел два дня в Милане, прежде чем встретился с таинственным Ракоски, а потом с нами в "Гарамоне". Через год поисков, благодаря случайной удаче, выясняется, что кто-то видел, как Арденти выходил из помещения "Пикатрикса" в компании медиума. Однако девушка интересовала его еще и потому, что жила с типом, небезызвестным в отделе, который занимался делами, связанными с наркотиками.

Я объясняю ему, что оказался здесь совершенно случайно и меня поразило, что девушка произнесла фразу о шести печатях, которую я слышал из уст полковника. Он обращает мое внимание на странную вещь: через два года я так хорошо помню сказанное полковником, хотя ему, комиссару, упомянул только о туманных речах относительно сокровища тамплиеров. Я оправдываюсь: полковник, мол, намекал на сокровище, охраняемое чем-то вроде шести печатей, но я не подумал, что это важная деталь, потому что все сокровища охраняются семью печатями и золотыми скарабеями. Комиссар в ответ на это, что не понимает,

почему слова медиума меня так поразили, если все сокровища охраняют золотые скарабеи. Я попросил его не относиться ко мне как к рецидивисту, он изменяет тон и заливается смехом. Заявляет, что ему не кажутся странными слова девушки, потому что так или иначе Арденти должен был рассказать ей о своих причудах, возможно, предполагая использовать ее как посредницу при каких-то астральных контактах, как говорят в этой среде. "Медиум — это губка, фотографическая пластинка, ее подсознание должно напоминать луна-парк,— сказал он мне,— эти из "Пикатрикса", вероятно, раз в год делают ей промывание мозгов, и не исключено, что в состоянии транса — а девушка действительно впадает в него, она не безумна и не притворяется — в ее слегка помутившемся воспаленном мозгу всплывают картины, которые в прошлом произвели на нее сильное впечатление."

Однако два дня спустя Де Анжелис появляется у меня в издательстве и говорит: "Вы только подумайте, как это странно: через два дня я пошел к девушке, а ее нет. Я расспросил соседей, но никто ее не видел после полудня, предшествовавшего вечеру фатального обряда; заподозрив неладное, я вошел в квартиру и увидел полный беспорядок: постельное белье на полу, подушки в углу, валяются испитанные газеты, ящики пусты. Исчезла вместе со своим любовником, или женихом, или сожителем — как вам больше нравится".

Он сказал, что если я знаю еще что-то, то должен об этом рассказать, ибо ему кажется странным, что девушка словно улетучилась. Это можно объяснить только двумя причинами: либо кто-то предупредил ее, что он, Де Анжелис, следит за ней, либо их насторожило то, что некий Джакомо Бельбо пытался заговорить с ней. "Таким образом, то, что она сказала в состоянии транса, имеет отношение к чему-то очень серьезному, а они, кем бы они ни были, понятия не имели, что вы столько знаете. Кроме того, подумайте о том, что одному из моих коллег может прийти в

голову, что это вы ее убили,— прибавил Де Анжелис с милой улыбкой,— как вы сами видите, нам нужно сотрудничать". Почти потеряв самообладание, хотя Господь Бог знает, что это со мной случается нечасто, я спросил, почему человек, которого не застали дома, обязательно должен стать жертвой убийства, а он поинтересовался, помню ли я историю полковника. Я отпарировал, что в любом случае, убили ее или похитили, это произошло в тот вечер, когда я был с ним.

Откуда такая самоуверенность, удивился он, ведь мы расстались в полночь, и ему неизвестно, что было потом, говорит ли он серьезно, изумился я, и услышал в ответ: "Ты, наверно, не читал детективных романов и поэтому не знаешь, что полиция обязана в список подозреваемых внести каждого, у кого нет алиби, очевидного, как взрыв в Хиросиме, а я готов сию же минуту отдать голову на отсечение, если ты имеешь алиби на период между часом ночи и утром".

Что Вам сказать, Казобон, возможно, было бы лучше, расскажи я правду, но в моих краях все упрямые и никогда не уступают.

Я пишу Вам, потому что если мне удалось найти Ваш адрес, то и Де Анжелис сможет это сделать; если он вступит в контакт с Вами, знайте хотя бы линию поведения, которой я придерживаюсь. Но так как эта линия не кажется мне слишком прямой, то можете рассказать все, если считаете, что так будет лучше. Я нахожусь в замешательстве, потому что чувствую себя пособником чего-то нехорошего и ищу причину, хоть в какой-то степени благородную, чтобы оправдать себя, но не нахожу ее. Все дело, очевидно, в моем крестьянском происхождении, мы, деревенские, скверные люди.

Вся история — как говорят немцы — *unheimlich*.

Ваш Джакомо Бельбо."

...эти дерзкие таинственные посвященные, которых становится все больше, начали готовить заговор; иезуитство, магнетизм, мартинизм, философский камень сомнамбулизм, эклектизм — все исходит от них.

(C.-L. Cadet-Gassicourt. *Le tombeau de Jacques de Molay*, Париж, Desenne, 1797, с.91)

Письмо меня беспокоило. Не из-за опасения, что Де Анжелис разыщет меня, представьте себе, в другом полушарии, а по причинам более простым. В тот момент я был раздражен тем, что покинутый мир рикошетом возвращается ко мне. Сейчас я понимаю, что меня волновал ... надцатый заговор сходств, подозрение в аналогии. Инстинктивно я подумал, что меня вовсе не прельщает перспектива новой встречи с Бельбо с его вечными угрызениями совести. Я решил все забыть и ничего не говорить о письме Ампаро.

Мне помогло второе письмо, отправленное Бельбо два дня спустя для моего успокоения.

История с медиумом получила разумное объяснение. Полицейский наводчик рассказал, что любовник девушки боялся сведения с ним счетов за партию наркотиков, проданную им в розницу вместо того, чтобы сдать оптовику, который уже уплатил за товар. К таким делишкам в той среде очень плохо относятся. Спасая свою жизнь, он скрылся. Естественно, увез с собой и свою любовницу. Далее, тщательно просмотрев периоду в их квартире, Де Анжелис нашел журналы типа "Пикатрикс" с серией статей, обведенных красным карандашом. Одна касалась тамплиеровских сокровищ, другая — братства розенкрейцеров, которые живут во дворце или в пещере, или черт знает где еще (там есть надпись "post 120 annos patebo") и которых называют 36 Невидимых. Де Анжелису все стало ясно. Медиум поглощала эту литературу (которую читал и полковник) и затем выдавала подчеркнутую информацию в состоянии транса. Дело закрыли и передали в отдел, занимающийся наркотиками.

Письмо Бельбо было прочитано с чувством облегчения. Объяснение Де Анжелиса казалось вполне правдоподобным.

В тот вечер в перископе я говорил себе, что, возможно, все произошло абсолютно иначе: медиум действительно процитировала несколько фраз, услышанных из уст Арденти, но речь шла о том, о чем журналы никогда не писали и о чем никто не должен был знать. В среде "Пикатрикса" был кто-то, заставивший замолчать полковника, убрав его; этот кто-то заметил, что Бельбо хотел поговорить с медиумом, и устранил девушку. Затем, чтобы направить расследование по ложному пути, он убрал также ее любовника и внушил наводчику версию о побеге.

Это просто при условии, что существовал План. Но был ли он на самом деле, если мы сами его изобрели, причем гораздо позже? Возможно ли, чтобы реальность не только превзошла вымысел, но и опередила его, иначе говоря, бежала впереди и исправляла ошибки, которые вымысел еще допустит.

И все же тогда, в Бразилии, это письмо вызвало у меня совсем другие мысли. Снова я остро ощутил, что всякая вещь имеет сходство с некоей другой. Я думал о путешествии в Баию и посвятил полдня посещению книжных магазинов, магазинов с предметами культа, а также мест, которые раньше обходил десятой дорогой. Я открыл для себя маленькие магазинчики, почти законспирированные, и торговые центры, переполненные статуэтками и деревянными идолами. Я купил *perfumadores* Йеманы, благоухающие ладаном таинственные фигурки, благовонные палочки, бутылки с приторно-сладкой жидкостью для распыления под названием "Священное сердце Иисуса", дешевые амулеты. И множество бестолково подобранных книг: одни для верующих, другие для тех, кто изучал верования вперемешку с заклинаниями злых духов, "*Como adivinhar o futuro na bola de cristal*" и учебники по антропологии. А также монография о розенкрейцерах.

От этого всего в моей голове был сплошной хаос. Сатанинские и мавританские обряды в Иерусалимском храме, африканские шаманы и люмпен-пролетариат с северо-востока, посла-

ние из Провэна со своими ста двадцатью годами и сто двадцать лет розенкрейцеров.

Стал ли я странствующим шейкером, годным только для перемешивания различных напитков, или вызвал короткое замыкание, ибо ноги беспорядочно блуждали в переплетении разноцветных проводов, которые запутывались сами по себе в течение длительного времени? Я добыл книгу о розенкрейцерах. Затем я сказал себе, что если останусь в этих книжных лавках еще на несколько часов, то встречу как минимум дюжину полковников Арденти и столько же медиумов.

Я вернулся домой и официально заявил Ампаро, что мир полон дегенератов. Она обещала меня утешить, и мы закончили день вполне естественно.

Заканчивался 1975 год. Я решил забыть о сходствах и все силы посвятить работе. В конце концов, я должен был преподавать итальянскую культуру, а не розенкрейцеров.

Я занялся гуманитарной философией и пришел к выводу, что как только народ освободился от мрака средневековья, светила современного способа мышления не нашли ничего лучшего, как углубиться в изучение Каббалы и магии.

После двух лет общения с гуманистами, которые предлагали формулы, как убедить природу делать то, о чем она и не помышляла, я получил новости из Италии. Мои старые друзья, или как минимум некоторые из них стреляли в затылок тем, кто не разделял их мнений, чтобы убедить таким образом людей делать то, чего они не намеривались делать.

Я не мог этого понять. Я пришел к выводу, что отныне являюсь частью третьего мира, и решил посетить Баию. Я увозил с собой историю культуры эпохи Возрождения, а также книгу о розенкрейцерах, которая до сих пор стояла на полке неразрезанной.

Все традиции Земли следует воспринимать как традиции, исходящие из единой и основной традиции-матери, которая с самого начала была поверена человеку грешному и его первым потомками.

(Louis-Claude de Saint-Martin. *De l'esprit des choses*, Париж, Laran, 1800, II, "De l'esprit des traditions en général")

И я увидел Салвадор, Salvador da Bahia de Todos os Santos, "негритянский Рим" и его триста шестьдесят пять вырисовывающихся на фоне линии холмов или стоящих вдоль побережья церквей, где почитают богов африканского пантеона.

Ампаро знала художника-примитивиста, который, покоренный сюжетами на библейские и апокалипсические темы, рисовал большие картины на дереве, сверкающие, как средневековые миниатюры, таящие коптские и византийские элементы. Он, конечно же, был марксистом, говорил о предстоящей революции, проводил дни, мечтая, в ризницах храма Носсо Сеньор до Бомфим, в триумфе *horror vacui*, в окружении *ex voto*, покрывающих, словно чешуя, свод и сплетающихся в инкрустацию на стенах, среди мистического скопления серебряных сердец, деревянных протезов, ног и рук, драматических картин спасений во время бушующих штормов, морских смерчей, водоворотов. Он нас проводил в ризницу другой церкви, заполненную благоухающей мебелью из палисандрового дерева.

— Кто изображен на этой картине,— спросила Ампаро ризничего,— святой Георгий?

Ризничий окинул нас многозначительным взглядом.

— Да, лучше называть его так, иначе кюре разгневется, но на самом деле это Оксосси.

Художник в течение двух дней показывал нам нефы и галереи, прячущиеся за разукрашенными, как серебряные блюда, фасадами, теперь уже почерневшими и разрушенными. Нас сопровождали сморщенные и прихрамывающие ризничие, ризницы сверкали золотом и оловом, везде тяжелые комоды, изысканные рамы. В хрустальных раках вдоль стен царствовали

образы святых в натуральную величину, истекающих кровью, с открытыми ранами, из которых сочилась рубиновая роса, а рядом — изображения страдающего Иисуса Христа с кровоточащими ногами. В блеске золота позднего барокко я увидел на капителях колонн ангелов с этрусскими ликами, романских грифонов и восточных сирен.

Я шел старинными улицами, очарованный их названиями, которые звучали как песня: руа да Агония, авенида дос Аморес, травесса де Чико Диабо... Я оказался в Салвадоре в период, когда правительство, или кто-то от его имени, решило оздоровить старый город, пытаясь прикрыть тысячи борделей, но в то время они еще были на полпути. У подножия этих пустынных и покрытых лишаями церквей, смущенных своей роскошью, вытянулись зловонные улочки, кишашие пятнадцатилетними черными проститутками, старыми торговками, сидящими на корточках вдоль тротуаров над котелками, в которых подогревали африканские сладости, стаями альфонсов, танцующих между стоков грязной воды под музыку транзисторов из соседнего бара. Старинные дворцы колонизаторов с гербами, теперь неразличимыми, стали домами терпимости.

На третий день мы пошли с нашим гидом в бар гостиницы, расположенной в верхней части города, уже перестроенной, на улице с роскошными антикварными магазинами. "У меня встреча с одним итальянцем,— сказал гид.— Он собирается купить, не торгуясь, мою картину размером два на три метра, на которой множество отрядов ангелов ведут последний бой с другим легионом".

Так мы познакомились с господином Аглиз. Одет безукоризненно, несмотря на жару. На нем двубортный светло-пепельный костюм, очки в золотой оправе на розоватом лице, посеребренные сединой волосы. Он поцеловал руку Ампаро как человек, который не знает другого способа приветствовать даму, и заказал шампанское. Художник должен был уйти, и Аглиз вручил ему пачку аккредитивов и попросил прислать шедевр в гостиницу. Мы остались побеседовать, Аглиз неплохо владел португальским, но как человек, который изучал язык в

Лиссабоне, что еще больше подчеркивало манеры старосветского джентльмена. Он осведомился о нас, немного поразмышлял о возможном женевском происхождении моей фамилии, с интересом выслушал семейную историю Ампаро, но не знаю как, догадался, что она родом из Ресифи. О своем происхождении высказался очень туманно. "Я как бы здешний,— объяснил он,— разные расы аккумулировались в моих генах... Фамилия итальянская, она принадлежит моему древнему предку, конечно же, он был дворянином, но кто сейчас обращает на это внимание. Я в Бразилии из любопытства. Всякие проявления Традиции меня увлекают."

— В Милане, где я живу уже несколько лет, у меня прекрасная библиотека по теологии,— сказал он.— Посетите меня по возвращении в Милан, вы найдете много интересного, от афробразильских обрядов до культов Изида времен поздней империи.

— Я обожаю культы Изида,— объявила Ампаро, самомнение которой часто заставляло ее прикидываться полной дурой.— Вы, очевидно, все знаете о культах Изида?

Аглиз скромно ответил:

— Только то немногое, что я видел.

Ампаро попыталась прощупать почву:

— Но это же было две тысячи лет назад?

— Я не так молод, как вы,— улыбнулся Аглиз.

— Я вспомнил о Калиостро,— пошутил я.— Ведь это он, проходя однажды возле распятия, шепнул лакею так, что все услышали: "Я же просил этого еврея быть осторожным в тот вечер, но он не обратил внимания на мои слова".

Аглиз напрягся. Я испугался, что шутка была неуместной, и собирался извиниться, но наш гость прервал меня, примирительно улыбнувшись.

— Калиостро был шарлатаном, так как хорошо известно, где и когда он родился, ему даже не удалось долго прожить. Он хвастался.

— Я легко в это поверю.

— Калиостро был шарлатаном,— повторил Аглиз,— но это еще не означает, что не существовали и не существуют такие

люди, которые обладали привилегией прожить не одну жизнь. Современная наука знает слишком мало о процессах старения, чтобы можно было исключить тезис о том, что смертность — это результат плохого воспитания. Калиостро был шарлатаном, чего нельзя сказать о графе Сен-Жермене. Но разговор о том, что он постиг химические тайны древних египтян, возможно, не были пустой болтовней. Однако поскольку никто ему не верил, из вежливости к своим слушателям он делал вид, что шутит.

— А вы делаете вид, что шутите, чтобы доказать нам, что говорите правду,— заметила Ампаро.

— Вы не только красивы, но и необыкновенно проницательны,— сказал Аглиз.— Но я прошу, заклинаю вас не верить мне. Если бы я появился, сверкая пылью веков, ваша красота увяла бы мгновенно, и я не смог бы себе этого простить.

Ампаро была покорена, а я испытывал уколы ревности. Я перевел разговор на тему церковей и святого Георгия-Оксосси, которого мы видели. Аглиз сказал, что мы обязательно должны принять участие в кандомбле.

— Не идите туда, где у вас просят денег. Настоящие места — это те, где вас приветствуют, не требуя ничего, даже веры. Присутствовать с уважением — это да, с терпимостью ко всем верованиям, к которым они причисляют и ваше неверие. Некоторые *paí* или *mãe-de-santo* выглядят так, словно только что вышли из хижины дяди Тома, но своими познаниями они не уступают теологам из Грегорианской Академии.

Ампаро положила свою руку на его.

— Вы поведете нас туда! — воскликнула она.— Я ходила однажды в шатер умбанды, это было давно, у меня остались смутные воспоминания, помню только сильное волнение...

Аглиз, казалось, смутило прикосновение Ампаро, но он не убрал руку. А только другой рукой, как он это делал всегда, когда задумывался, достал из жилета маленькую шкатулку из золота и серебра, на крышке ее сверкал агат, возможно, это была табакерка или коробочка для пилюль. На столе в баре горела маленькая восковая свеча, и Аглиз как бы невзначай поднес к ней шкатулку. Тепло произвело такой эффект, что агат исчез, а на его месте появилась миниатюра, очень тонкая, цве-

та морской волны с золотом, изображающая пастушку с корзиной цветов. Он повертел ее в руке с рассеянным благоговением, как если бы перебирал четки. Заметив мой интерес, улыбнулся и спрятал вещь.

— Волнение? Было бы не очень хорошо, моя милая, если бы вы оказались дамой не только пронзительной, но также излишне чувствительной. Это — исключительное качество в сочетании с привлекательностью и умом, но опасное для того, кто посещает определенные места, не зная, что ищет и что найдет... С другой стороны, не следует путать умбанду с кандомбле. Кандомбле — это нечто автохтонное, афро-бразильское, как обычно говорят, в то время как умбанда — это поздний цветок, родившийся из черенка, привитого на туземные обряды эзотерической европейской культурой, мистикой, я бы сказал, тамплиеров.

Тамплиеры меня опять нашли. Я сказал Аглиз, что изучал их. Он посмотрел на меня с интересом.

— Любопытное стечение обстоятельств, мой юный друг. Здесь, под Южным Крестом, найти молодого тамплиера...

— Я не хотел бы, чтобы меня воспринимали как последователя...

— Сожалею, господин Казобон. Если бы вы знали, какие низоисты творятся в этой области.

— Знаю даже слишком хорошо.

— Ну вот и все. Но нам еще нужно увидаться, прежде чем вы уедете.

Мы назначили свидание на следующий день: нам хотелось втроем исследовать маленький крытый рынок возле порта.

Мы встретились там на следующее утро. Это был рыбный рынок, арабский базар, ярмарка отпущения грехов, которая пожирала все, как рак, это был Лурд, который оказался под властью зла, где заклинатели дождя сосуществуют с экзотическими и заклеяменными капуцинами, и все это среди искупительных мешочков с молитвой, зашитых в подкладку, рук из полудрагоценного камня, показывающих фиги, коралловых рогов, распятий, звезд Давида, сексуальных символов доиудейских религий,

гамаков, ковров, сумок, сфинксов, священных сердец, колчанов племени Бороро, ожерелий из ракушек. Вырождающаяся мистика европейских завоевателей растопилась в органической обрядности рабов настолько, что цвет кожи каждого здесь присутствующего мог поведать историю утраченной генеалогии.

— Вот,— сказал Аглиз,— образ того, что в учебниках по этнологии называется бразильским синкретизмом. Слово безобразное, если воспринимать его по канонам официальной науки. Но в более высоком смысле синкретизм — это признание единой Традиции, которая пересекает и питает все религии, все знания, все философии. Мудрец не тот, кто различает, а тот, кто сопоставляет полосы света, откуда бы они ни исходили... Итак, эти рабы или потомки рабов мудрее этнологов из Сорбонны. Хоть вы меня понимаете, моя прекрасная дама?

— Не умом,— ответила Ампаро.— Нутром. Простите, но мне кажется, что граф де Сен-Жермен не выразил бы таким образом свои мысли. Я хочу сказать, что родилась в этой стране, и даже то, чего я не знаю, находит отклик вот здесь...— Она прикоснулась к груди.

— Что сказал однажды вечером кардинал Ламбертини даме, декольте которой украшал роскошный крест, покрытый бриллиантами? Какое счастье умереть на этом распятии! И я хотел бы произвести эти слова. Вы оба должны извинить меня. Ведь я родом из эпохи, в которой каждый готов был навлечь на себя проклятье, лишь бы воздать почести очарованию. Вы хотите остаться одни? Мы будем поддерживать связь.

— Он мог бы быть твоим отцом,— сказал я Ампаро, увлекая ее в пестроту выставленных товаров.

— И даже дедушкой. Он дал нам понять, что ему как минимум тысяча лет. Ты ревнуешь к мумии фараона?

— Я ревную к тому, что зажигает в твоей голове светильник.

— Прекрасно, ведь это любовь.

Рассказывая однажды о близком знакомстве с Понтием Пилатом в Иерусалиме, он детально описал дворец наместника, перечислил блюда, которые подавали к столу во время ужина. Кардинал де Роган, полагая, что слушает какие-то фантазии, обратился к камердинеру графа де Сен-Жермена, седовласому старику с открытым лицом:

— Мой друг, мне трудно поверить в то, что говорит твой хозяин. Что он чреовещатель — согласен, что делает золото — согласен, но то, что ему две тысячи лет и он видел Понтия Пилата — это уже слишком. Ты был с ним там?

— О нет, ваше превосходительство,— ответил просто-душно камердинер,— я всего четыреста лет на службе у господина графа.

(Collin de Plancy. *Dictionnaire infernal*, Париж, Mellier, 1844, с.434)

В последующие дни Салвадор покорила меня. Я редко оставался в гостинице. Листая алфавитный указатель книги о розенкрейцерах, я нашел ссылку на графа Сен-Жермена.— "Вот видишь,— сказал я себе,— tout se tient".

Вольтер о нем писал: "C'est un homme qui ne meurt jamais et qui sait tout", но Фридрих Прусский отвечал ему, что "c'est un comte pour rire". Хорас Уолпол говорил о нем как об итальянце, или испанце, или поляке, который сделал большое состояние в Мексике и затем убежал в Константинополь с драгоценностями своей жены. Наиболее точную информацию о нем можно почерпнуть из мемуаров мадам де Госсе, *dame de chambre* мадам Помпадур ("Хорошая ссылка",— сказала бы нетерпимая Ампаро). Был известен под разными именами, выдавал себя за Сюрмона в Брюсселе, Велдоуна в Лейпциге, маркиза де Эймора, де Бедмара, или де Бельмара, графа Салтыкова. В 1745 году был арестован в Лондоне, где блистал как музыкант, играющий в салонах на скрипке и клавесине; три года спустя в Париже он предложил свои услуги Людовику XV в качестве эксперта по краскам в обмен на проживание в Шамборском двор-

це. Затем король направил его с дипломатической миссией в Голландию, где он навлек на себя неприятности и опять бежал в Лондон. В 1762 году мы находим его в России, затем снова в Бельгии. Там его встретил Казанова и рассказал, как превратил монету в золото. В 1776 году он при дворе Фридриха II, которому представляет различные химические проекты, а восемь лет спустя умирает в Шлезвиге у ландграфа де Хессе, где работал над пуском фабрики по производству красок.

Ничего особенного, типичная карьера авантюриста XVIII века, у которого было меньше любовных историй, чем у Казановы, и репертуар надувательств менее эффектный, чем у Калиостро. В сущности, исключая некоторые случаи, он имеет поддержку сильных мира сего, которым обещает чудеса алхимии, но в промышленных масштабах. Помимо того, вокруг него и, конечно же, подпитываемый им, распространялся слух о его бессмертии. В салонах он непринужденно рассказывает о событиях далекого прошлого, очевидцем которых он якобы был, и культивирует свою легенду с изяществом, обволакивая ее дымкой таинственности.

В книге приведен также отрывок из "Gog" Джованни Папини, где он описывает ночную встречу на палубе океанского судна с графом Сен-Жерменом: он был утомлен своим тысячелетним прошлым, воспоминаниями, будоражившими его разум, отмечен какой-то безнадежностью, что напоминало о Фунесе, "el temeroso" Борхеса, но текст ведь Папини написал в 1930 году. "Не думайте, что нашей судьбе можно позавидовать,— говорит граф Гогу.— Через пару столетий неизлечимая тоска овладевает несчастными бессмертными. Мир однообразен, люди ничему не учатся и из поколения в поколение совершают одни и те же ошибки, творят одни и те же ужасные дела; события не повторяются, но они очень похожи... Нет больше чувства новизны, сюрпризов, откровений. Я могу вам в этом признаться сейчас, когда нас слышит только Красное море: мое бессмертие меня угнетает. На земле нет больше тайн для меня, и я больше не питаю никаких иллюзий относительно мне подобных."

— Любопытный персонаж,— прокомментировал я.— Очевидно, Аглиз пытается в него перевоплотиться. Поддержанный дворянин, слегка с душком, сорящий деньгами, с кучей свободного времени, что позволяет проводить жизнь в путешествиях, любитель сверхъестественных явлений.

— Последовательный реакционер, довольно смелый, чтобы не бояться быть декадентом. В конце концов, предпочитаю его мещанским демократам,— заявила Ампаро.

— Сильная женщина, сильная женщина — и вдруг впадаешь в экстаз от поцелуя руки.

— Вы воспитывали нас такими в течение веков. Позвольте нам раскрепощаться постепенно. И я не говорила, что хочу выйти за него замуж.

— Тем лучше.

На следующей неделе позвонил Аглиз. В этот вечер нас должны были пустить на *terreiro de candomblé*. Мы не будем участвовать в обряде, так как Иалорикса остерегается туристов, но она сама примет нас перед началом церемонии и покажет сценическое оформление.

Он заехал за нами на машине и повез через *favelas* на другую сторону холма. Здание, перед которым мы остановились, не бросалось в глаза, выглядело как обычный жилой дом, но на пороге нас приветствовал старый негр с кадилом в руках, чтобы совершить обряд очищения. Дальше, в заброшенном садике, мы увидели что-то вроде огромной корзины из больших пальмовых листьев, в которой лежало немного сладостей, *comidas de santo*.

Внутри был большой зал, на стенах которого висели картины, похожие на *ex voto*, африканские маски. Аглиз объяснил нам функциональное предназначение мебелировки: в глубине — лавки для непосвященных, ближе — ложе для музыкантов и стулья для Ога. Это люди приличные, не обязательно верующие, но почитающие культ. Здесь, в Баие, великий Жоржи Амаду — это Ога в одном из *terreiro*. Он был избран Иансой, королевой войны и вихрей.

— Но откуда появились эти божества? — спросил я.

— Это сложная история. Прежде всего, существует суданская ветвь, которая завладела севером с самого начала рабства, и от этого корня берут начало кандомбле *ogixás* и кандомбле африканских божеств. На юге оставили свой след племена Банту, и там жителей посвящают при помощи цепей. В то время как на севере остались верны коренным африканским религиям, на юге примитивная макумба превратилась в умбанду, на которую оказали влияние католицизм, кардекизм и европейский оккультизм...

— Следовательно, сегодня мы не будем иметь дела с тамплиерами.

— Тамплиеры — это была метафора. Во всяком случае, сегодня их не будет. Но механика синкретизма очень тонкая. Не заметили ли вы снаружи, возле *comidas de santo*, железную статуэтку, похожую на дьявола с вилами, у ног которого несколько жертв, принесенных согласно ритуалу? Это Эксу, очень могущественный в умбанде, но не в кандомбле. Однако в кандомбле его тоже почитают, считая духом-посланцем, кем-то вроде вырождающегося Меркурия. В умбанде все в его власти, но не здесь. Однако к нему относятся доброжелательно. Вы видите, там на стене...— Он показал на полихромовую статуэтку нагого индейца и фигурку старого негра-раба, одетого в белое, который сидит и курит трубку.— Это *saboclo* и *preto velho*, духи усопших, которые очень много значат в ритуалах умбанды. Что они здесь делают? Принимают почести, только и всего, их не отвергают, но и не используют, так как кандомбле устанавливает связь лишь с африканскими *ogixás*.

— Но что объединяет все эти вероисповедания?

— Можно сказать, что для всех афро-бразильских культов характерно то, что во время обряда посвященные находятся во власти высшего существа, как бы в трансе. В кандомбле это *ogixás*, в умбанде — духи умерших...

— Я забыла свою страну и свою расу,— сказала Ампаро.— Господи, немного Европы и исторического материализма заставили меня все позабыть, а ведь я слышала об этом от бабушки...

— Немного исторического материализма? — улыбнулся Аглиз.— Мне кажется, я где-то слышал об этом. Апокалипсический культ, который родился в Тревири, не так ли?

Я сжал руку Ампаро.

— No pasaran, моя любовь.

— Господи...— пробормотала она.

Аглиз следил за нашим кратким диалогом вполголоса, не вмешиваясь.

— Могущество синкретизма безгранично, моя дорогая. Если вы хотите, я могу предложить вам политическую версию этой истории. Законы XIX века вернули свободу рабам, но во время уничтожения клейма рабства были сожжены все архивы, касающиеся торговли рабами. И рабы стали формально свободными, но без прошлого. Потеряв племенную идентичность, они решили восстановить идентичность коллективную. Они возвращаются к своим корням. Это их способ противостоять, как вы, молодые, говорите, угнетателям.

— Но вы сейчас сказали, что в это вмешались также европейские секты...— заметила Ампаро.

— Моя дорогая, чистота — это роскошь, а рабы берут то, что есть под рукой. Но они мстят за себя. Сегодня у них в плену больше белых, чем вы думаете. Первоначально африканским культам были свойственны слабости, присущие всем религиям, они были местными, этническими, близорукими. Соприкоснувшись с мифами победителей, они воссоздали древнее чудо: вернули к жизни мистические культы II-III веков нашей эры, распространённые вокруг Средиземного моря, между Римом, который постепенно распадался, и Персией, Египтом, доиудейской Палестиной... Во времена поздней империи Африка оказалась под влиянием всех средиземноморских религий и стала для них ларчиком, местом конденсации. Европу деморализовало христианство в интересах государства, Африка же хранит сокровища знаний, как она хранила и распространяла их во времена египтян, передавая грекам, которые привели их к уничтожению.

Существует субстанция, которая окутывает весь мир и придает ему форму круга, потому что такова форма Всего... Представь себе, что под этой субстанцией находятся 36 деканов, то есть в середине, между полным кругом и кругом зодиакальным, таким образом отделяя их один от другого и намечая, так сказать, границу зодиака, и что эти деканы перемещаются вдоль зодиакального круга вместе с планетами... Смена королей, восстания городов, голод, чума, морские отливы, землетрясения,— все это происходит под влиянием деканов...

(*Corpus Hermeticum*, Stobaeus, excerptum VI)

— Но каких знаний?

— Вы представляете, насколько великой была эпоха между II и III веками после рождения Христа? Не с точки зрения роскоши империи, приходящей в упадок, а относительно того, что расцветало в это время в средиземноморском бассейне. В Риме преторианцы перерезали горло своим императорам, а в Средиземноморье была в полном расцвете эпоха Апулея, мистерий Изиды, этого великого возрождения духовности, какими были неоплатонизм, гностицизм... Благословенны времена, когда христиане еще не завоевали власть и не затравили на смерть еретиков. Прекрасны времена присутствия Nous, озаренные экстазом, заселенные присутствиями, эманациями, демонами и когортами ангелов. В те времена старые как мир знания были смутные, разрозненные. Они простирались к допифагорейской эпохе, к индийским брахманам, древним евреям, магам, гимнософистам и даже к варварам Крайнего Севера, друидам Галлии и Британских островов. Греки считали варваров варварами, поскольку те не умели выражать свои мысли по-гречески. Для ушей очень образованных эллинов их языки казались лаем. На самом же деле было наоборот: в ту эпоху варвары знали значительно больше греков, и именно благодаря непостижимости их языков. Вы считаете, что те, которые будут танцевать сегодня вечером, понимают смысл всех песен и ма-

гических имен, произносимых ими? К счастью, нет, так как неизвестное имя — это как бы дыхательное упражнение, мистическая вокализация. Эпоха Антонинов... Мир был насыщен чудесной гармонией, тонкими сходствами, нужно было их постичь, проникнуться ими и позволить им проникнуть в человека — через сон, оракула, магию, которая позволяет воздействовать на природу сил, приводящих в движение подобное подобным. Мудрость неуловима, преходяща, ускользает от всех измерений. Вот почему в ту эпоху богом-победителем был Гермес, изобретатель коварств, властелин распутств, бог грабителей, но и создатель письма, творец искусства спускания судна на воду и дифферента, судоходства, которое дает возможность достичь самых дальних горизонтов, где все сливается воедино: краны для поднятия камней, оружие, превращающее жизнь в смерть, водяные насосы, поднимающие тяжелое вещество, философия, которая обольщает и обманывает... А вы знаете, где находится сейчас Гермес? Здесь, вы его видели у порога, называют его Эксу, этого посланника богов, посредника, торговца, не знающего разницы между добром и злом.

Он присматривался к нам с забавным недоверием.

— Вы считаете, что я слишком свободно перераспределяю богов — как Гермес свои товары? Взгляните на эту брошюру, я купил ее утром в известном книжном магазине в Пелуринхо. Магия и таинства святого Киприана, рецепты, как приворожить любимого или наслать смерть на врага, мольбы к ангелам и Святой Деве. Популярная литература для мистиков черного цвета. Речь идет о святом Киприане Антиохийском, о котором существует огромная литература Серебряного века. Родители хотели, чтобы он был всесторонне образован, познал все, что происходит на земле, в воздухе и морской пучине, они отправили его в самые дальние страны, чтобы он постиг все таинства, понял, как рождаются и разлагаются травы, изучил свойства растений и животных, не те, которым учит естествознание, а те, о которых говорят тайные науки, глубоко скрытые в архаических пропастях и далеких традициях. И Киприан в Дельфах посвятил себя Аполлону, познал таинства Митры, в пятнадцать лет в сопровождении пятнадцати иерофантов он

участвовал на Олимпе в ритуале заклинания Принца этого мира, чтобы контролировать его интриги, в Аргосе был посвящен в таинства Геры, во Фригии обучился пророчеству, гепатоскопии, и не было ничего на земле, в море и на небе, чего бы он не знал; его пониманию теперь доступны привидения, любые объекты знаний, любые ухищрения, даже искусство превращения при помощи колдовства писаний. В подземных храмах Мемфиса он узнал, как демоны общаются с земными объектами, какие места вызывают у них отвращение, какие предметы они любят, как они живут во мраке, как противодействуют в некоторых сферах, как умеют завладеть душой и телом и что им дают высшие знания, он постиг память, страх, иллюзии, искусство вызывать землетрясения и влиять на подземные течения... Потом, увы, он обратился в новую веру, но крохи его знаний сохранились. И сейчас мы обнаруживаем их здесь, на устах и в умах этих убогих, которых вы окрестили идолопоклонниками. Дорогая, минуту назад вы посмотрели на меня так, как если бы я был *ci devant*. Кто живет в прошлом? Вы, которая хотела бы подарить этой стране ужасы промышленного века рабочих, или я, который хочет, чтобы наша бедная Европа обрела естественность и веру этих детей рабов?

— Господи,— вздохнула Ампаро,— вам хорошо известно, что это только способ, чтобы они сидели тихо...

— Не чтобы сидели тихо, а чтобы и дальше культивировали ожидание. Без чувства ожидания не существует даже рая, не этому ли учили вы, европейцы?

— Вы считаете меня европейкой?

— Важен не цвет кожи, а вера в Традицию. Чтобы вернуть чувство ожидания Западу, парализованному благосостоянием, эти язычники, возможно, страдают, но им еще доступен язык духов природы, воздуха, вод, ветров...

— Вы опять хотите нас эксплуатировать?

— Опять?

— Да, и вы должны были этому научиться в восемьдесят девятом году, граф. Это все у нас вот где сидит!— Сказала Ампаро, ангельски улыбаясь, и прямой красивой ладонью полоснула себя по горлу.

Я хотел ее всю, с ног до головы.

— Драматично,— молвил Аглиз, доставая из жилетного кармана табакерку и нежно поглаживая ее.— Так вы меня узнали? Но в восемьдесят девятом году не рабы лишались голов, а храбрые буржуа, которых вы, должно быть, ненавидите. Впрочем, граф де Сен-Жермен в течение многих веков видел столько скатившихся с плеч и столько возвратившихся на плечи голов. Но вот приближается аббатиса Иалорикса.

Встреча с аббатисой *terreíro* была спокойной, сердечной, демократичной и благопристойной. Это была большая негритянка с сияющей улыбкой. С первого взгляда ее можно было принять за деревенскую хозяйку, но когда мы начали разговаривать, я понял, почему женщины этого типа господствуют в культурной жизни Салвадора.

— Эти *orixás* — люди или воплощение каких-то сил? — спросил я.

Аббатиса ответила, что, конечно, это силы: вода, ветер, листья, радуга. Но как можно помешать простым людям видеть в них воинов, женщин, святых католических церквей? Разве вы не боготворите космическую силу в формах, сохранивших девственность? Важно почитать силу, внешний же вид должен соответствовать умственным возможностям человека.

Затем аббатиса пригласила нас выйти в задний дворик, чтобы посетить часовню перед началом обряда. В саду находились дома *orixás*. Девочки-негритянки в костюмах Баии весело занимались последними приготовлениями.

Дома *orixás* располагались во дворике, как часовни на Святой Горе, причем на фасаде каждого был изображен соответствующий святой. Внутри поражала пестрота статуэток, цветов, блюд, только что приготовленных и принесенных в жертву богам. Белый — для Оксалы, голубой и розовый — для Йеманьи, красный и белый — для Ханго, желтый и золотой — для Огуна... Посвященные опускались на колени, целуя порог и прикасаясь рукой ко лбу и за ухом.

— А может быть,— спросил я,— Йеманья — это Непорочная Дева? А Ханго — святой Иероним?

— Не задавайте утомительных вопросов,— посоветовал Аглиз.— В умбанде все сложнее. К роду Оксалы принадлежат святой Антоний и святые Косма и Дамиан. К роду Йеманьи — сирены, ундины, морские и речные *saboclas*, моряки и путеводные звезды. К роду востока — индусы, врачи, ученые мужи, арабы и марокканцы, японцы, китайцы, монголы, египтяне, ацтеки, инки, караибы и римляне. К роду Оксосси — солнце, луна, *saboclo* каскадов и черных. К роду Огуна — Огун Бэйра Мар, Ромпе-Мато, Йара, Меге, Наруэ... В общем, это зависит от обстоятельств...

— Господи,— снова промолвила Ампаро.

— Нужно говорить "Оксала",— шепнул я, слегка касаясь ее уха.— Спокойно, по *pasarán*.

Иалорикса показала нам серию масок, которые церковные служки носили в храме. Это были маски-шлемы из соломы или капюшоны, которыми должны покрывать голову медиумы во время того, когда они впадали в транс и их забирали в свои владения божества.

— Это своего рода форма стыдливости,— объяснила она,— в некоторых *terreiros* избранные танцуют с открытым лицом, не скрывая своей страсти от присутствующих. Но посвященный всегда защищен, окружен уважением и избавлен от любопытства профанов и тех, кто не в состоянии постичь внутреннее ликование и благодать. Таков обычай *terreiro*, и поэтому туда неохотно допускают чужих. Но, может быть, со временем вам удастся проникнуть, кто знает.

Нам осталось только попрощаться. Однако она не хотела нас отпускать, не предложив попробовать — не из *corbeille*, которые должны оставаться нетронутыми до конца обряда, а со своей кухни — немного *comidas de santo*. Она повела нас за *terreiro*, и было это настоящее многоцветное пиршество: маниок, перец, кокосы, миндаль, имбирь, *moqueca* из *siri mole*, *vatará*, *efó*, *caruru*, черная фасоль с *farofa* и все это с нежным ароматом африканских корней, сладковатых и пикантных тропических приправ. Мы сосредоточенно пробовали пищу, осознавая, что едим с древними суданскими богами. Иалорикса сказала, что каждый из нас, не зная об этом, есть ребенок од-

ного из *origá* и часто можно определить, кто чей. Я смело спросил, чей я сын. Иалорикса вначале уклончиво заметила, что нельзя точно сказать, затем принялась рассматривать мою ладонь, провела по ней пальцем, посмотрела мне в глаза и сказала:

— Ты сын Оксалы.

Я был горд этим. Ампаро, уже успокоившись, предложила определить, чей сын Аглиз, но он ответил, что предпочитает этого не знать.

Когда мы вернулись домой, Ампаро сказала мне:

— Ты видел его руку? Вместо линии жизни у него множество линий, прерванных подобно ручью, который, встречая на своем пути камень, огибает его и течет на метр ниже. Это линия жизни человека, который умирал много раз.

— Международный чемпион длительного метемпсихоза,— сказал я.

— No pasarán,— засмеялась Ампаро.

Из простых фактов, что они изменяют и скрывают свои имена, что они перевирают свой возраст и что, как сами утверждают, они не распознаваемы, нелогично делать категорический вывод о том, что можно отрицать неизбежность их существования.

(Heinrich Neuhaus. *Pia et ultimissima admonestatio de Fratribus Roseae-Crucis, nimirum: an sint? quales sint? unde nomen illud sibi asciverint*, Данциг, Schmidlin, 1618, фр. изд. 1623, с.5)

Диоталлеви говорил, что Хесед — это сефира изящества и любви, белый огонь, южный ветер. В тот вечер в перископе я думал, что последние дни, прожитые с Ампаро в Баие, проходили именно под этим знаком.

Я вспоминаю — сколько всего человек вспоминает во время долгих часов ожидания в темноте — один из последних вечеров. У нас болели ноги, так как мы много ходили по переулкам, площадям и базарам, и сейчас мы легли в постель, вовсе не намереваясь спать. Ампаро, свернувшись клубочком в форме эмбриона, прижалась к подушке и, казалось, читала одну из моих книг об умбанде, держа ее между слегка раздвинутых колен. Иногда она лениво переворачивалась на спину, лежала с открытыми глазами и книгой на животе и слушала, как я читал о розенкрейцерах, а я пытался приобщить ее к моим открытиям. Вечер был приятным, но, как написал бы утомленный литературой Бельбо в своих *files*, не чувствовалось даже легчайшего дуновения ветра. Мы остановились в хорошей гостинице, из окна было видно море, а на кухне, все еще освещенной дневным светом, стояла подбадривающая меня корзина тропических фруктов, купленных этим утром на рынке.

— Он пишет, что в 1614 году в Германии появилось анонимное произведение "Allgemeine und general Reformation" или "Общая и вседоступная реформа всей Вселенной", с приложением "Fama Fraternitatis" — "Сказание о братстве высокодостохвального Ордена Розового Креста, всем ученым и правителям Европы", с краткой рецензией сеньора Хазельмайера, который по этой причине был заключен иезуитами в тюрьму и прикован

к галере. Сегодня эта книга доступна всем, кто желает постичь ее сущность. Издана в Касселе Вильгельмом Весселем".

— Не слишком ли длинное название?

— Кажется, в XVII веке все названия были такими, словно их писала Лина Вертмюллер. Это сатирическое произведение, басня об общей реформе человечества, более того, частично была переписана из "Ragguali di Parnaso" Траяна Боккалини. Представляет собой брошюру — пасквиль и манифест на двенадцати страничках. "Fama Fraternitatis" переиздается через год одновременно с другим манифестом, на этот раз на латыни — "Confessio fraternitatis Roseae Crucis, ad eruditos Europae". В обоих представлено братство розенкрейцеров и слышен голос создателя, таинственного С.Р. Позже и из других источников станет известно, что речь идет о Христиане Розенкрейце.

— Почему не указано его полное имя?

— Смотри, это настоящий разгул инициалов; здесь никого не называют полным именем, все представлены как G.G., M.P., I., а те, к кому особое отношение, именуются P.D. Здесь рассказывается о первых годах формирования личности С.Р. Он сначала посещает Гроб Господен, затем плывет к Дамаску, затем входит в Египет и оттуда — в Фес, который в то время был святой святых мусульманской мудрости. Там наш Христиан, который знал уже греческий и латынь, изучает восточные языки, физику, математику, естественные науки, аккумулирует всю тысячелетнюю мудрость арабов и африканцев, не исключая Каббалу и магию, даже переводит на латинский язык таинственную "Liber M." и познает, таким образом, все тайны макро- и микрокосмоса. В течение двух веков все восточное в моде, особенно то, что не понятно.

— Они всегда так это повторяют. Вы голодны, обмануты, вас эксплуатируют? Просите кубок тайны! Вот...

— Ты тоже хочешь потерять голову?

— Но я знаю, что речь идет о химии и не более того. Ни для кого это не секрет, даже те, кто не знают древнееврейского языка, свихнулись, стремясь все постичь. Иди сюда.

— Подожди. Затем Розенкрейц едет в Испанию, там также постигает оккультные доктрины и говорит, что продвигается все

ближе и ближе к Центру познания. И во время этих путешествий, которые для интеллектуала той эпохи были действительно походом за тотальной мудростью, он понял, что необходимо создать в Европе общество, которое смогло бы указать правителям путь науки и добра.

— Оригинальная мысль! Стоило так усердствовать! Я хочу охлажденную мамайю.

— Она в холодильнике. Будь добра, возьми сама, я работаю.

— Если ты работаешь, значит, ты муравей, если ты муравей, то и веди себя как муравей — иди за провизией.

— Мамайя — это роскошь, поэтому за ней должна сходить стрекоза. Если я пойду, тогда ты читай.

— Избавь, Господи. Ненавижу культуру белых. Я схожу.

Ампаро шла к кухне, а я наблюдал за ней с вождением.

Тем временем С.Р. возвратился в Германию и вместо того, чтобы заняться превращениями металлов, что позволяли его огромные знания, решил посвятить себя духовным преобразованиям. Он создал братство, изобрел магический язык и письмо, которые станут основой науки мудрости для будущих братьев.

— Нет, я испачкаю книгу, положи мне ее в рот, да нет... не дурачусь... вот так. Господи, как хороша мамайя, resencreutzliche Mutti-ja-ja... Знаешь, то, что написали розенкрейцеры в течение первых лет, могло бы осветить тоскливый мир действительности.

— А что они написали?

— С этим небольшая проблема, манифест ничего не сообщает, он заставляет тебя пустить слюну. Это настолько важная вещь, настолько важная, что должна остаться тайной.

— Какое безобразие!

— Нет-нет, постой! Поскольку розенкрейцеров становилось все больше, они решили отправиться в четыре стороны света, чтобы лечить бесплатно больных и при этом не носить одежду, по которой бы их можно было узнать, маскироваться, то есть соблюдать обычаи каждой страны, встречаться раз в год и оставаться в укрытии в течение ста лет.

— Но, извини, какую реформу хотели они провести, если была уже одна, причем свежая? Лютер — это что, дерьмо?

— Все это происходило до протестантской реформы. Здесь написано, что внимательное чтение "Fama" и "Confessio" позволяет сделать вывод...

— Кто делает вывод?

— Когда делают вывод, то просто делают вывод. Важен ум, здравый рассудок... Однако мы говорим о Розовом Кресте, об очень серьезных вещах...

— Болтовня.

— Итак, пришли к выводу, что Розенкрейц родился в 1378 году, а умер в 1484, в прекрасном возрасте ста шести лет, и не трудно догадаться, что тайное братство серьезно способствовало реформе, которая в 1615 году праздновала свое столетие. Правда и то, что в гербе Лютера есть и роза, и крест.

— Богатое воображение.

— Ты хотела бы, чтобы Лютер поместил в свой герб пылающую жирафу или расплавленные часы? Каждый — дитя своего времени. Я понял, чей я сын, помолчи, дай мне закончить. Около 1604 года розенкрейцеры восстанавливают часть своего тайного дворца, или замка и находят мраморную плиту, в которую вбит большой гвоздь. Они достают гвоздь, отваливается часть стены, появляется дверь, на которой большими буквами написано: "POST CXX ANNOS PATEBO"...

Я уже знал об этом из письма Бельбо, но не мог не воскликнуть от изумления:

— Господи!..

— Что случилось?

— Это напоминает мне один документ тамплиеров, которые... Я никогда не рассказывал тебе историю о полковнике...

— И что? Тамплиеры списали у розенкрейцеров.

— Но тамплиеры жили раньше.

— Значит, розенкрейцеры списали у тамплиеров.

— Любовь моя, без тебя я топтался бы на месте.

— Любовь моя, это Аглиз испортил тебя. Ты ждешь откровения.

— Я? Я ничего не жду!

- Тем лучше, но берегись опиума для народа.
- El pueblo unido jamás será vencido.
- Смейся, смейся. Продолжай, я хочу услышать, что говорили эти кретины.
- Эти кретины научились всему в Африке, ты не слышала?
- Эти из Африки уже начинали нас упаковывать и отправлять сюда.
- Благодаря небу. Ты могла бы родиться в Претории.— Я поцеловал ее и продолжил.— За дверью увидели склеп с семью сторонами и семью углами, прекрасно освещенный искусственным солнцем. Посредине — алтарь круглой формы, украшенный различными девизами и эмблемами типа "NEQUAQUAM VACUUM"...
- Не ква-ква? Подпись: Дональд Дак?
- Это по-латински, догоняешь? Означает: пустоты не существует.
- Еще лучше, это было бы ужасно.
- Не могла бы ты включить вентилятор, *anímula vagula blandula*?
- Но сейчас зима.
- Это на вашем неправильном полушарии, любовь моя. А у нас — июль, будь так добра, включи вентилятор, не потому, что я самец, а потому, что он с твоей стороны. Спасибо. Короче, под алтарем нашли неприкосновенное тело создателя, к которому никто не прикасался. В руке он держал "Книгу I", полную нескончаемой мудрости. "Жаль, что мир не может ее постичь,— говорится в манифесте,— иначе бульк, ух, брр, пфуу!"
- Ой!
- Я же говорил. Манифест заканчивается обещанием огромного сокровища, до сих пор скрытого, и чудесными откровениями об отношениях макро- и микрокосмоса. Не обольщайтесь, считая что мы дешевые алхимики и собираемся учить вас, как делать золото. Это игра для мошенников, а мы хотим большего и метим выше во всех отношениях. В ближайшем будущем мы распространим "Fama" на пяти языках, не говоря о "Confessio", на наших экранах. Ждем ответов и суждений ученых и несведущих. Пишите нам, звоните, называйте свои фа-

милии, увидим, достойны ли вы быть посвященными в наши тайны, на которые мы вам только намекнули. *Sub umbra alarum tuarum lehova.*

— Что это значит?

— Прощальные слова. В общем, кажется, розенкрейцеры не намерены разглашать то, что постигли, они ожидают подходящего собеседника. Ни слова о том, что сами знают.

— Как тип с фотографии... то объявление в журнале, который мы перелистывали в самолете: "Если вы мне вышлете десять долларов, я открою вам секрет, как стать миллионером".

— Но он не обманывает. Он открыл этот секрет. Как и я.

— Послушай, будет лучше, если ты продолжишь чтение. Такое впечатление, что ты видишь меня впервые.

— Это всегда как в первый раз.

— Тем хуже. Не позволю фамильярничать с собой первому встречному. Однако, возможно, именно тебе попадают все первые разы? Вначале тамплиеры, затем розенкрейцеры, а читал ли ты, скажем, Плеханова?

— Нет, я ожидаю, пока найдут его склеп через сто двадцать лет. Если только Сталин не приказал засыпать его бульдозером.

— Ну и идиот! Я иду в ванную.

Пресловутое братство розенкрейцеров заявляет, что во всей Вселенной распространились пророчествующие безумцы. Фактически появление этого призрака (впрочем "Fama" и "Confessio" подтверждают, что речь идет о простом развлечении праздного ума) породило надежду на всемирное преобразование, вызвало явления столь смехотворные и абсурдные, сколь и невероятные. Призрак, таким образом, властвует, а честные и благородные люди в разных странах нередко становились объектами всевозможных насмешек ради того, чтобы оказать поддержку или когда-нибудь явиться братьям... через Соломоново зеркало либо другим таинственным способом.

(Christoph von Besold (?).

Приложение к: Tommaso Campanella, *Von der Spanischen Monarchy*, 1623)

Дальше все было прекрасно, и когда Ампаро вернулась, я уже был готов объявить ей об удивительных событиях.

— Это невероятно. Манифесты появились в то время, когда литература подобного рода изобиловала повсюду, всех увлекало возрождение, золотой век, обетованная земля духа. Кто роется в магических текстах, кто не дает покоя печам для приготовления металлов, тот стремится управлять звездами, еще один потеет над тайными алфавитами и универсальными языками. В Праге Рудольф II превращает двор в химическую лабораторию, он приглашает Коменского и Джона Ди, королевского астролога Англии, который раскрыл все тайны космоса на нескольких страницах "Monas Ieroglyphica". Клянусь, это название труда, а *monas* означает "монада".

— Разве я что-то сказала?

— Врачом Рудольфа II был Михаэль Майер, который написал книгу визуальных и музыкальных эмблем, "Atalanta Fugiens", истинный праздник философских яиц, драконов, кусающих себя за хвост, и сфинксов. Нет ничего яснее тайных цифр, все есть иероглиф чего-то другого. Ты только подумай, Галилей бросает камни с Пизанской башни, Ришелье играет в "монополию" с

половиной Европы, а тут все таращат глаза, чтобы прочесть мировые письма. Но обрати внимание, дорогая, что кроме свободного падения физических тел, внизу (или, лучше, вверх) имеют место и другие явления. Имя этому — *abracadabra*. Торричелли создавал барометр, а они — балеты, фонтаны и фейерверки в Императорском саду в Гейдельберге. И тридцатилетняя война вот-вот должна была разразиться.

— Что за радость для матушки Кураж!

— Но и они не всегда веселились. Придворный избранник в 1619 году принимает корону Богемии только потому, я думаю, что просто умирает от желания править в Праге, магическом городе. Но через год Габсбурги достали его под Белой горой. В Праге доходит до резни протестантов, Коменский видит, как горят его дом, библиотека, как убивают его жену и сына, сам он бежит от одного двора к другому, провозглашая, как велика и полна надежды идея розенкрейцеров.

— Бедняга, ты хотел, чтобы он порадовал тебя барометром? Но извини, ты же знаешь, что мы, женщины, не такие, как мужчины, и не сразу все схватываем: кто написал манифесты?

— Самое интересное, что это не известно. Дай мне подумать... почеши мне розакрест... нет, между лопатками, нет, выше, левее, вот здесь. Итак, в этой немецкой среде можно встретить невероятные личности. Например, Симон Стюдион, который написал "*Naometria*", оккультный трактат об измерениях Храма Соломона. Генрих Кунрат — автор "*Amphitheatrum sapientiae aeternae*", вещи, изобилующей аллегориями, с древнеиудейским алфавитом и каббалистическими пещерами, вдохновившими создателей "*Fama*". Эти, последние, вероятно, были вхожи в одно из десяти тысяч тайных обществ утопистов христианского возрождения. Молва гласила, что автором был некий Иоганн Валентин Андреа, год спустя он опубликовал "*Химическую свадьбу Христиана Розенкрейца*", но он написал это в молодости, то есть когда у него в голове вертелась идея о розенкрейцерах. Однако в его окружении в Тюбингене были и другие энтузиасты, мечтавшие о республике Христианополь, возможно, они все объединились в этом. Хотя, кажется, они это сделали шутки ради, создание пандемониума не входило в их

планы. Андреа затем всю оставшуюся жизнь доказывал, что не он написал манифесты, что это был *lusus, ludibrium*, студенческая шалость, он ставит на карту свою академическую репутацию, впадает в ярость, говорит, что если розенкрейцеры и существуют, то это самозванцы. Ничто не помогает. Как только манифесты вышли (казалось, люди только этого и ждали), ученые со всей Европы начинают писать братству Розы и Креста. А поскольку они не знают, где найти розенкрейцеров, то отправляют открытые письма, публикуют брошюры, книги. Майер в этом же году издает "*Arcana arcanissima*". Правда, он не упоминает о розенкрейцерах, но все убеждены, что речь идет именно о братстве и что он уже сам не знает, что пишет. Некоторые болтают, что прочли рукопись "*Fama*". Я не думаю, что в то время было легко издать книгу, тем более с гравюрами, но Роберт Фладд в том же 1616 году (он писал в Англии, а издавался в Лейде; прибавь еще время на поездки для корректуры издания) распространяет "*Apologia compendiaria Fraternitatem de Rosea Cruce suspicionis et infamiis maculis aspersam, veritatem quasi Fluctibus abluens et abstergens*", чтобы защитить розенкрейцеров и счистить их от подозрений и "пятен", которыми их замарали, а это значит, что разгорелись яростные дебаты, что аргументы блуждают между Богемией, Германией, Англией, Голландией, во всем этом участвуют конные курьеры и странствующие мудрецы.

— А что же розенкрейцеры?

— Гробовое молчание. По-моему, этот период ожидания длился 120 лет. Наблюдали из небытия своего храма. Я считаю, что именно их молчание подогревало умы. Если не отвечают, значит, действительно существуют. В 1617 году Фладд написал "*Tractatus apologeticus integritatem societatis de Rosea Cruce defendens*", а в "*De Naturae Secretis*", появившемся в 1618 году, говорится о том, что наступил момент открыть тайну розенкрейцеров.

— И они ее открыли.

— Подумай сама. Они ее лишь усложнили, ибо обнаружили, что если от 1618 года отнять 188 лет, обещанных розенкрейце-

рами, то получается 1430 год, то есть год создания Ордена Золотого Руна.

— А какая здесь связь?

— Я не понимаю, почему 188 лет, ведь должно быть 120, но когда ты должен производить мистические вычеты и прибавления, то всегда становишься с ног на голову. Что касается Золотого Руна, то тут речь идет об аргонавтах, и я узнал из надежного источника, что их что-то связывает со Священным Граалем, а также, если позволишь, с тамплиерами. Но это еще не все. Между 1617 и 1619 годами Фладд, который публиковал больше, чем Барбара Картленд, сдает в печать четыре книги, среди которых "*Utriusque cosmi historia*" — что-то типа кратких заметок о Вселенной, иллюстрированных только розами и крестами. Майер набирается мужества и издает "*Silentium post clamores*", где утверждает, что братство существует и связано не только с Золотым Руном, но и с Орденом Подвязки. Однако человек этот слишком мало значит в обществе, чтобы к его мнению прислушивались. Представь себе ученых Европы. Если эти люди не принимают даже Майера — значит, речь идет о деле действительно исключительном. И поэтому все особы меньшего калибра играют фальшивыми картами, чтобы быть принятыми. Все кричат, что розенкрейцеры — это реальность, все утверждают, что никогда не видели братьев, и все пишут о них, как бы желая назначить им встречу, кланча аудиенции. Никому, однако, не хватило нахальства сказать: я розенкрейцер. Некоторые утверждают, что они не существуют, потому что никто с ними не контактировал, другие уверены, что существуют именно для того, чтобы на них обратили внимание и вступили в контакт.

— А они молчат.

— Как рыбы.

— Открой рот. Тебе положена мамайя.

— Объединение. Начинается тридцатилетняя война, и Иоганн Валентин Андреа пишет книгу "*Turris Babel*", где обещает, что в течение года Антихрист будет побежден, а некий Иреней Агностус создает "*Tintinnabulum sophorum*"...

— *Tintinnabulum*! Как красиво!

— ...в котором я ни в зуб ногой, но очевидно, что Кампанелла или кто-то вместо него утверждает в "Monarchia Spagnola", что вся история розенкрейцеров — это плод развращенного воображения... Потом конец, между 1621 и 1623 годами все успокаивается.

— Таким образом?..

— Таким образом, они устали. Как "Битлз". Но только в Германии. Это как бы токсичное облако. Оно движется на Францию. Одним ясным утром 1623 года на стенах парижских домов появляются манифесты Розы и Креста, предупреждающие добрых граждан о том, что депутаты главной коллегии переместились в Париж и готовы начать прием в братство. Однако согласно другой версии манифесты ясно и четко повествовали о тридцати шести невидимых, которые разбрелись по свету, разделившись на группы по шесть человек, и которым дана власть сделать невидимыми своих последователей... О, черт, опять тридцать шесть...

— Каких еще тридцать шесть?

— Которые упоминаются в моем документе тамплиеров.

— Люди совсем без воображения. А затем?

— Затем начинается коллективное безумие, одни их защищают, другие хотят с ними познакомиться, третьи обвиняют их в дьявольщине, алхимии и ереси, причем Астарот вмешивается, чтобы объявить их богатыми, могущественными, способными перемещаться по воздуху с одного места на другое. Короче, скандал.

— Хитрые эти братья. Легче всего войти в моду в Париже.

— Пожалуй, ты права. Послушай, что происходит дальше, Пресвятая Дева, какая эпоха! Картезий собственной персоной в предыдущие годы ездил в Германию в поисках розенкрейцеров, но его биограф сообщает, что он их не нашел, потому что, как мы знаем, они сменили облик. Когда, уже после появления манифестов, он возвращается в Париж, все принимают его за члена братства. В те времена дули такие ветры, что подобное мнение не способствовало хорошему реноме и могло навлечь неприятности на голову его друга Мерсенна, который выступал против розенкрейцеров, называя их никчемными, пагубно

влияющими на все чародеями, каббалистами, сеятелями порочных доктрин. И что же предпринимает Картезий? Он появляется везде, все его видят и не могут этого отрицать, а значит, он не может быть невидимым, следовательно, он не розенкрейцер.

— Это тоже метод.

— Недостаточно было просто заявить, что он не розенкрейцер. Дела обстояли так, что если кто-то приходил и говорил: "Добрый вечер, я розенкрейцер", то это верный знак того, что он им не является. Уважающий себя член братства не станет называть себя. Более того, он как можно громче будет все отрицать.

— Однако нельзя утверждать, что если кто-то отрицает свою принадлежность к братству, то он — розенкрейцер. Например, я говорю, что я не член Розы и Креста, и действительно так и есть.

— Но отрицание — это уже подозрительный знак.

— Нет, совсем нет. Что будет делать член братства, когда поймет, что люди не верят тому, кто утверждает, что он розенкрейцер, и подозревают того, кто все отрицает? Он будет говорить, что принадлежит к братьям, чтобы подумали обратное.

— Черт! Значит, все те, кто говорят, что они розенкрейцеры, лгут и, следовательно, действительно являются таковыми. Нет-нет, Ампаро, давай не попадаться в эту ловушку. У них везде есть шпионы, даже под этой кроватью, то есть они знают, что мы знаем. И говорят, что не принадлежат к братству.

— Любовь моя, мне страшно.

— Успокойся, дорогая, я с тобой, я глупец, потому что, когда они говорят, что не являются розенкрейцерами, я думаю, что они являются ими, и таким образом я их сразу разоблачаю. Разоблаченный член братства безопасен, и я выталкиваю его в окно, размахивая газетой.

— А Аглиз? Пытается убедить нас, что он — граф де Сен-Жермен. Естественно, он хочет, чтобы мы думали обратное. То есть он розенкрейцер? Или нет?

— С меня достаточно, Ампаро, давай будем спать.

— О нет, сейчас я хочу услышать все, до конца.

— Полная неразбериха. Одни розенкрейцеры. В 1627 году Бэкон пишет "Новую Атлантиду", и читатели думают, что речь идет о стране розенкрейцеров, хотя он их ни разу не упоминает. Бедный Иоганн Валентин Андреа и перед смертью клянется, что он если и был розенкрейцером, то только для смеха. Но уже очень поздно. Имея преимущество несуществования, члены братства пребывают везде.

— Как Господь Бог.

— Мне это не пришло в голову... Посмотри, Матфей, Лука, Марк и Иоанн, компания весельчаков, которые однажды собрались и решили поразвлечься: выдумали персонаж, определили основные факты, а дальше каждый волен фантазировать. Потом посмотрим, кто справился лучше. Четыре рассказа попадают в руки друзей, которые начинают умничать. Матфей довольно реалистичен, но он слишком настаивает на роли мессии; рассказ Марка очень неплох, но немного беспорядочен; у Луки элегантный стиль, это нужно признать; Иоанн перебарщивает с философией... Но, в общем, книги нравятся, переходят из рук в руки, и когда эти четверо отдают себе отчет в том, что происходит, уже слишком поздно. Павел встречает Иисуса на дороге, ведущей в Дамаск. Плиний начинает свое расследование по приказу встревоженного ходом событий императора, апокрифический легион делает вид, что он уже давно знает об этом... О ты, апокрифический читатель, мой ближний, мой брат... Петру все это бьет в голову, он начинает воспринимать себя всерьез. Иоанн угрожает рассказать правду, тогда Петр и Павел приказывают его поймать, заковать в цепи, они отправляют его на остров Патмос, где у бедняги начинается обман зрения: кузнечики на подпорках кровати, заставьте замолчать трубы, из которых течет кровь... Другие говорят, что он слишком много пьет, что у него развивается атеросклероз... А если все так и было?

— Это было именно так. Читай Фейербаха, а не свои старые книжечки.

— Ампаро, уже светает.

— Мы, наверное, больные на голову.

— Утренняя заря розенкрейцеров ласкает волны...

— Да, делай так... Это Йеманья, послушай, она приближается.

— Сделай мне ludibria...

— О, Tintinnabulum!

— Ты моя Atalanta Fugiens...

— О, Turris Babel...

— Я хочу Arcana Arcanissima, Золотое Руно, бледное и розовое, как морская раковина.

— Ш-шш... Silentium post clamores,— промолвила она.

Вполне возможно, что большинство из тех, кого называют братьями Розы и Креста в действительности являются розенкрейцерами... Нельзя считать их таковыми только на основании того факта, что они входят в объединения, близкие по сути Розе и Кресту, такое суждение может показаться парадоксальным и даже противоречивым, на первый взгляд, но его легко понять...

(René Guénon. *Aperçu sur l'initiation*,
Париж, Éditions Traditionnelles, 1981, XXXVIII, с.241)

Мы возвратились в Рио, и я опять приступил к работе. Однажды в каком-то иллюстрированном журнале я прочел, что в городе существует древний Орден Розы и Креста. Я предложил Ампаро заглянуть туда, и она согласилась, правда, не очень охотно.

Здание находилось в боковой улочке; снаружи была витрина с гипсовыми фигурками Хеопса, Нефертити, Сфинкса.

Именно в этот день состоялось пленарное заседание на тему "Розенкрейцеры и умбанда". Лектор — некий профессор Браманти, референдарий Европейского Ордена, тайный рыцарь Большого Приората *In Partibus* на Родосе, Мальте и в Фесалониках.

Мы решили войти. Помещение было плохо обставлено, украшено тантрическими миниатюрами, изображающими змея Кундалини, того самого, которого тамплиеры хотели разбудить поцелуем в задницу. Я подумал, что не стоило пересекать Атлантический океан, открывать Новый свет для того, чтобы увидеть то, что я мог увидеть в "Пикатриксе".

За столом, покрытым красным сукном, перед немногочисленной и сонной публикой стоял Браманти, тучный господин, которого, если бы не размеры его тела, можно было принять за тапира. Говорил он гладкими фразами, но, очевидно, не долго, так как речь шла о братстве Розы и Креста времен восемнадцатой династии, то есть в период правления Яхмоса I.

Четыре Скрытых Бога следили за эволюцией расы, которая за 25 тысяч лет до основания Фив создала цивилизацию в Са-

харе. Под их влиянием фараон Яхмос создал Великое Белое Братство — хранителя допотопной мудрости, которая хранилась в мизинце египтян. Браманти утверждал, что располагает документами (естественно, недоступными простым смертным), которые относятся ко времени мудрецов из Карнакского храма и их тайных архивов.

Символ розы и креста позже принял фараон Эхнатон. "У одного человека есть папирус, повествующий об этом,— говорил Браманти,— но не спрашивайте, у кого."

В улее Великого Белого Братства формировались Гермес Трисмегист, влияние которого на итальянское Возрождение было неопровержимым, как и на гностицизм Принстона, Гомер, галльские друиды, Соломон, Солон, Пифагор, Плотин, Иосиф Аримафейский, Алкуин, король Дагобер, святой Томас, Бэкон, Шекспир, Спиноза, Яков Беме, Дебюсси, Эйнштейн. Ампаро прошептала, что ей кажется, здесь не хватает только Нерона, Камбронна, Иеронима, Панчо Вилла и Бастера Китона.

Что касается влияния истинных розенкрейцеров на христианство, то Браманти заявил каждому, кто до сих пор не мог докопаться до глубины этой истории, что не случайно по легенде Христос умер на кресте.

Именно мудрецы Великого Белого Братства основали первую масонскую ложу во времена царя Соломона. О том, что Данте был розенкрейцером и масоном, как, впрочем, и святой Томас, свидетельствует каждая буква в его произведениях. В XXIV и XXV песнях "Рая" запечатлены тройной поцелуй принца Розового Креста, пеликан, белые одежды, как у стариков в Апокалипсисе, три теологические добродетели масонских капитулов — Вера, Надежда, Любовь.

Фактически символический цветок Ордена Розы и Креста (мифическая белая роза из XXX и XXXI песен) был принят римской церковью как символ Матери Спасительницы — отсюда и "Rosa Mystica" в литаниях.

И о том, что Орден Розы и Креста существовал в средние века, свидетельствует не только факт проникновения их к тамплиерам, но и конкретные документы. Браманти цитировал некоего Кизеветтера, который в конце прошлого века доказал, что

розенкрейцеры в средние века произвели четыре центнера золота для принца-курфюрста Саксонии, приводил доказательства этого на страницах "Theatrum Chemicum", напечатанного в Страсбурге в 1613 году. Однако мало кто заметил намек на тамплиеров в легенде о Вильгельме Телле: Телль вырезал свою стрелу из ветки омелы, растения, которое встречается в арийской мифологии, и попал в яблоко — символ третьего быстрого глаза змея Кундалини,— а известно, что арийцы пришли из Индии, где скрывалось братство Розы и Креста после того, как покинуло Германию.

Что касается различных движений, которые утверждают, что имеют отношение к Великому Белому Братству, то Браманти признавал ортодоксальным "Rosicrucian Fellowship" Макса Хайнделя, но только потому, что в этой среде сформировался Алэн Кардек. Всем известно, что Кардек — отец спиритизма и что на основе его теософии, которая предполагает контакты с душами умерших, сформировалась духовность умбанды — слава благородной Бразилии. В этой теософии "Aum Bhandà" является санскритским выражением, которое относится к Божественному принципу и источнику жизни ("Они опять нас обманули,— прошептала Ампаро,— даже "umbanda" — не наше слово, оно только по-африкански звучит"). Корень "Aum", или "Um" адекватен буддистскому "Om", это имя Бога на языке Адама. "Um" — это слог, который, если его произнести определенным образом, превращается в могущественную мантру и вызывает флюидные потоки гармонии, которые проникают в душу через *siakra*, или лобовое сплетение.

— Что такое "лобовое сплетение"? — спросила Ампаро.—
Неизлечимая болезнь?

Браманти предупреждал, что необходимо отличать настоящих розенкрейцеров, наследников Великого Белого Братства, конечно, скрытых под завесой Ордена Древнего и Принятого, который он недостойно представляет, от розенкрейцеров, то есть всех тех, кто с позиций личного интереса черпали вдохновение в мистике розенкрейцеров, не имея на это права. Он советовал обществу не верить ни одному розенкрейцеру, который твердит, что он розенкрейцер.

Ампаро заметила, что все представители братства Розы и Креста являются друг для друга "розенкрейцерами".

Один наглец из публики встал и спросил, как может Орден его, Браманти, претендовать на подлинность, если нарушает правило молчания, обязательное для истинного последователя Великого Белого Братства.

Браманти в свою очередь поднялся и ответил:

— Я не знал, что и сюда проникли наемные провокаторы, безбожники-материалисты. В таких условиях я больше ничего не скажу.

И он величественно вышел.

Вечером позвонил Аглиз, расспросил о новостях и предупредил, что завтра мы наконец сможем участвовать в обряде. А пока он предложил пойти чего-нибудь выпить. Ампаро была на политическом собрании со своими друзьями, и я пошел один.

Valentiniani... nihil magis curant quam occultare quod praedicant: si tamen praedicant, qui occultant... Si bona fide quaeres, concreto vultu, suspenso supercilio — altum est — aiunt. Si subtiliter tentes, per ambiguitates bilingues communem fidem affirmant. Si scire te subostendas, negant quidquid agnoscunt... Habent artificium quo prius persuadeant, quam edoceant.

(Tertullian. *Adversus Valentinianos*)

Аглиз пригласил меня посетить место, где еще готовят *batida*, как это умеют делать только люди, живущие вне времени. Хватило всего нескольких шагов, чтобы покинуть цивилизацию Кармен Миранды и очутиться в темном помещении, где несколько туземцев курили толстые, как сосиски, папиросы, напоминающие якорные тросы, скрученные старым морским волком. Таким тросом надо было манипулировать, прикасаясь к нему только кончиками пальцев, тогда из него получался широкий прозрачный лист, который скручивали в светло-желтую маслянистую трубочку. Ее нужно было часто прикуривать, но известно, чем был табак во времена, когда его открыл сэр Уолтер Ролей.

Я рассказал ему о послеобеденном приключении.

— На десерт розенкрейцеры? Ваша жажда знаний неисчерпаема, мой друг. Но прошу вас, не верьте тому, что говорят эти безумцы, они повествуют о неопровержимых документах, но никто их никогда не предъявлял. Я знаю этого Браманти. Он обычно живет в Милане, кроме того времени, когда отправляется рассыпать по миру слова. Он безобиден, но все еще верит в Кизеветтера. Легионы розенкрейцеров ссылаются на цитату на одной из страниц "Theatrum Chemicum". Но если вы захотите ее прочесть — скромно скажу: книга находится в моей миланской библиотеке, — этой цитаты вы не найдете.

— Шутник этот господин Кизеветтер.

— Вы попали в десятку. Это потому, что в XIX веке даже оккультисты стали жертвами духа позитивизма: вещь не является таковой, если ее нельзя доказать. Вспомните дебаты по поводу

"Corpus Hermeticum". Когда в XV веке он проник в Европу, Пико делла Мирандола, Фичино и многие другие мудрые мужи установили истину: это, должно быть, труд очень древний, старше египтян, старше, чем Моисей, так как в нем есть мысли, которые позже слетели с уст Платона и Иисуса.

— Как это — позже? Таковы же доводы Браманти о Данте-масоне. Если "Corpus" повторяет идеи Платона и Иисуса, это означает, что он был написан после них!

— Вот именно! Вы тоже поняли. И фактически таким был аргумент современных филологов, которые прибавили к нему свой туманный лингвистический анализ в подтверждение того, что "Corpus" был написан между II и III веками нашей эры. Это все равно что сказать, будто Кассандра родилась после Гомера, так как знала уже о гибели Трои. Верить, что время непрерывно и направленно, что оно идет от А к Б,— это современная иллюзия. Оно может также идти от Б к А, и тогда следствие порождает причину... Что означает констатация, что нечто происходит до или после? Ваша великолепная Ампаро появилась до или после своих неизвестных предков? Она слишком красива,— если вы не возражаете против объективной оценки человека, который мог бы быть ей отцом. Значит, она появилась до и есть таинственным началом того, что способствовало ее сотворению.

— Но с этой точки зрения...

— Собственно, концепция "точки зрения" ошибочна. Точки были придуманы наукой после Парменида, чтобы определять, откуда и куда все движется. Ничего не движется. Существует только одна точка, из которой в один и тот же миг появляются все остальные точки. Наивность оккультистов XIX века и нашего времени состоит в том, что они стремятся доказать правду правды методами научного обмана. Рассуждать следует не по законам логики времени, а следуя логике Традиции. Все времена символизируют друг друга, а значит, невидимый храм розенкрейцеров существует и существовал всегда, независимо от поворотов истории, вашей истории. Время последнего откровения — это время, определяемое не часами. Его связи

упрочиваются в процессе "утонченной истории", когда научные "до" и "после" значат очень мало.

— Но фактически все те, кто проповедуют вечность розенкрейцеров...

— Шуты-ученые, так как пытаются доказать то, что надо знать без доказательств. Вы полагаете, что верующие, которых мы увидим завтра вечером, знают или в состоянии доказать то, что им сказал Кардек? Они знают потому, что они готовы принять знание. Если бы мы все сохранили эту чувствительность к тайне, нас бы озарило откровение. Не обязательно хотеть, достаточно быть готовым.

— Но все же, извините за банальный вопрос, розенкрейцеры существуют или нет?

— А что значит существовать?

— Ваше право — объяснять или нет.

— Великое Белое Братство — вы можете называть их розенкрейцерами, духовными рыцарями, временным воплощением которых были тамплиеры — это как будто объединение мудрецов, не многочисленное, едва ли горстка избранных, которые путешествуют по истории человечества, чтобы сохранить ядро вечной мудрости. История не развивается от случая к случаю. Она — творение Властелинов Мира, от которых ничто не может скрыться. Естественно, Властелины Мира должны окружить себя тайной, это их способ защиты. И, таким образом, каждый раз, когда кто-то будет называть себя Властелином, или членом братства Розы и Креста, или тамплиером, знайте, что он лжет. Истинных нужно искать в другом месте.

— Итак, эта история простирается в бесконечность?

— Да, в этом и есть хитрость Властелинов.

— Но что они хотят, чтобы люди знали?

— Что существует тайна. Иначе, зачем жить, если бы все было таким, как кажется?

— И что за тайна?

— Это то, чего откровенные религии не смогли высказать. Тайна находится в потустороннем мире.

Видения бывают белыми, голубыми, бело-бледно-розовыми. В конце они становятся смешанными и очень выразительными, цвета пламени белой свечи, вы увидите искры, почувствуете, как гусиная кожа покрывает ваше тело; все это свидетельствует о том, что причина дает движущую силу тому, кто делает дело.

(Papus. *Martines de Pasqually*, Париж, Chamuel, 1895, с.92)

Наступил обещанный вечер. Как и в Салвадоре, Аглиз заехал за нами. Шатер, в котором должно было проходить собрание, или *gira*, находился в центральном районе, если можно говорить о центре в городе, который своими хвостами виляет меж холмов и спускается к самому морю, так что с высоты, освещенный вечером, он выглядит как косички, заплетенные на лысине темноты.

— Помните, сегодня будет умбанда. Orixás слаб, но сильны eguns — духи умерших. И необычайно силен Эксу, африканский Гермес, которого вы видели в Баие, а также его спутница Помба Гира. Эксу — это божество племени йоруба, демон, склонный к колдовству и проказам, но бог-шутник также существовал в мифологии американских индейцев.

— А умершие, кто они?

— *Pretos velhos* и *caboclos*. Pretos velhos — это старые африканские мудрецы, которые вели за собой людей во время депортации, как Рей Конго или Пай Августино... Они напоминают о том прекрасном периоде рабства, когда к негру уже не относятся, как к животному и он становится другом семьи, дядюшкой, дедушкой и т. д. Caboclos же — это духи индейцев, девственные силы, чистота первобытной природы. В умбанде африканские orixás остаются на заднем плане, они никогда не бывают синкретизированы с католическими святыми и выступают только в этой сущности. Это они вызывают состояние транса: медиум, *cavalo*, в определенный момент танца чувствует, что в него проникает высшее существо, и теряет ощущение своей личности. Он танцует до тех пор, пока божественная

сущность не покинет его, а после этого он будет чувствовать себя лучше, озаренный и очищенный.

— Блаженные,— сказала Ампаро.

— Да, блаженные,— соглашается Аглиз.— Они вступают в контакт с матерью-землей. Эти верующие лишены корней, брошены в ужасное горнило города, и, как говорит Шпенглер, меркантильный Запад в момент кризиса опять обращается к миру земли.

Мы пришли. Внешне шатер напоминал обычное здание, сюда также можно было войти через сад, более скромный, чем в Баие; перед дверью *barracão*, своего рода магазинчика, мы увидели статуэтку Эксу, а вокруг нее — искупительные приношения.

Когда мы вошли, Ампаро оттащила меня в сторону.

— Я все поняла. Ты не слышал? Тот тапир во время лекции распространялся об арийской эпохе, а этот говорит об упадке Запада, *Blut und Boden*, кровь и земля, чистый нацизм.

— Все не так просто, моя любовь, мы на другом континенте.

— Спасибо за информацию. Великое Белое Братство! Оно привело вас к съедению собственного Бога.

— Это католики, моя любовь, это не одно и то же.

— Одно и то же, ты разве не слышал? Пифагор, Данте, Дева Мария и масоны. Всегда нас надувают. Занимайтесь умбандой, но не занимайтесь любовью.

— Похоже, что именно ты синкретизирована. Пойдем посмотрим, пойдем. Это проявление культуры.

— Существует только одна культура: повесить последнего священника на кишке последнего розенкрейцера.

Аглиз кивнул, чтобы мы вошли. Если внешний вид здания был скромным, то внутри пылал настоящий пожар ярких цветов. Это был квадратный зал, часть которого предназначалась для cavalos, алтарь в глубине комнаты был огражден решеткой, за ним находилась эстрада с барабанами, atabaques. Та часть зала, где должен был состояться ритуал, была еще погружена в темноту, но по другую сторону решетки уже волновалась разношерстная толпа верующих и любопытных, белых и черных. В

ней выделялись медиумы со своими ассистентами и cambonos, одетые в белое, одни босиком, другие в теннисных тапочках. Алтарь меня сразу поразил: pretos velhos, caboclos в разноцветных плюмажах, святые, похожие на сахарные головки, если бы не их пантагрюэльские размеры, святой Георгий в сверкающей кирасе и пунцовой мантии, святые Косма и Дамиан, Дева, пронзенная шпагами, Христос, бесстыдно суперреалистичный, с распростертыми объятиями, как искупитель Корковадо, но в цвете. Не доставало только orixás, но их присутствие ощущалось в выражении лиц ожидающих таинства, в легком аромате тростника и готовой пищи, в едком запахе пота, вызванного жарой и возбуждением перед предстоящей gira.

Вышел pai-de-santo, сел возле алтаря и принял нескольких верующих и гостей, обдавая их густыми клубами дыма от своей сигары, благословляя их и угощая какой-то жидкостью, причем это все напоминало поспешный обряд евхаристии. Я опустился на колени вместе с моими спутниками и выпил: когда cambono наливал жидкость из бутылки, я заметил, что это обычное "Дюбоне", но заставил себя пить его маленькими глотками и с благоговением, как если бы это был эликсир жизни. Со стороны сцены доносился глухой шум atabaques, и посвященные запели искупительный гимн Эксу и Помба Гире: *Seu Tranca Ruas é Mojuba! É Mojuba, é Mojuba! Sete Encruzilhadas é Mojuba! É Mojuba, é Mojuba! Seu Marabœ é Mojuba! Seu Tiriri, é Mojuba! Exu Veludo, é Mojuba! A Pomba Gira é Mojuba!*

Начал распространяться тяжелый запах индийского ладана, поскольку pai-de-santo взял кадило и начал кадить, произнося молитвы Оскале и Святой Деве.

Atabaques ускорили ритм, cavalos завоевали пространство перед алтарем и уже начали поддаваться магическому действию pontos. Большинство из них были женщины, и Ампаро не преминула высказать ироничные замечания по поводу слабости своего пола ("Мы более восприимчивы, не так ли?").

Среди женщин было несколько европейек, Аглиз указал нам на блондинку, немецкого психолога, которая участвовала в обрядах уже многие годы. Она все испытала, но если человек не предрасположен и ему не отдано предпочтение, то это беспо-

лезно: она никогда не впадала в транс. Она танцевала, и взгляд ее был устремлен в пространство, в то время как *atabaques* не давали передышки ее и нашим нервам, а терпкий дым ладана заполнял зал, окуривая танцующих и зрителей, и, казалось, вызывал у всех — а у меня точно — спазмы в желудке. Но со мной такое случалось в "*escolas de samba*", в Рио; я знал о психологическом воздействии музыки и шума, даже того, которому поддается на субботних дискотеках наша лихорадочная молодежь. Немка танцевала с вытаращенными глазами, каждым членом своего истеричного тела как бы призывая всех забыть-ся. Постепенно другие женщины впадали в экстаз: запрокидывали головы, метались, раскачивались, плыли по морю забвения, а она почти плакала, потрясенная и напряженная, как будто безнадежно стремилась испытать оргазм, и возбуждалась, и неистовствовала, но не достигала желаемого. Стремясь потерять власть над собою, она, сама того не желая, контролировала себя каждую минуту.

В этот момент избранные осуществляли прыжок в пустоту. Их взгляды все более затуманивались, конечности напрягались, движения становились механическими, но не случайными, поскольку отражали природу сущности, поселившейся в них: некоторые приобрели болезненный вид, свесив безжизненно ладони, они исполняли движения всей рукой, имитируя плавание, другие, согнувшись, двигались медленно, и *sambonos* покрывали их белой льняной тканью, чтобы скрыть от глаз толпы тех, кого коснулся совершенный дух...

Некоторые *cavalos* неистово тряслись, а эти одержимые *pretos velhos* издавали глухие звуки — гум, гум, гум, двигали телами, наклоненными вперед, как у стариков, опирающихся на палку, выпячивали челюсти — и их лица становились изможденными и беззубыми. Одержимые *saboclos*, наоборот, издавали пронзительные крики воинов — хиахоу!!! — и *sambonos* изош-ченно поддерживали тех, кто не сопротивлялся насилию дара свыше.

Били барабаны, pontos поднимались в воздух, густой от дыма. Я держал Ампаро за руку, вдруг губы ее приоткрылись, ладони начали покрываться потом, все тело — дрожью.

— Я плохо себя чувствую,— шепнула она,— мне хотелось бы выйти.

Аглиз заметил, что произошло, и помог мне вывести ее на улицу. Вечерний воздух привел ее в чувство.

— Это ничего,— сказала она,— я, наверно, что-то плохое съела. И потом эти запахи, жара...

— Нет,— возразил pai-de-santo, который вышел за нами,— это потому, что вы обладаете способностями медиума, вы правильно отреагировали на pontos, я наблюдал за вами.

— Довольно! — воскликнула Ампаро, прибавив несколько слов на неизвестном мне наречии.

Я увидел, как pai-de-santo побледнел или посерел, как пишут в приключенческих романах, когда бледнеют чернокожие.

— Довольно, меня тошнит, я съела что-то такое... Умоляю, оставьте меня здесь одну, я хочу подышать немного свежим воздухом, а вы возвращайтесь. Предпочитаю остаться одна, я не инвалид.

Мы уступили ей, но когда я возвратился, хватив глоток свежего воздуха, ароматы, барабаны, пот, которым теперь были покрыты все тела, и вообще испорченный воздух действовали на меня как алкоголь на человека, выпившего после длительного воздержания. Я провел рукой по лбу, и какой-то старик предложил мне agodõ, маленький золоченый инструмент, своеобразный треугольник с колокольчиками, по которому ударяют палочкой.

— Поднимитесь на помост и сыграйте,— предложил он,— вы почувствуете себя лучше

В этом совете была скрыта какая-то гомеопатическая мудрость. Я ударил в agodõ, подстраиваясь под ритм барабанов, и постепенно становился не только участником происходящего, но, участвуя, властвовал над ним, движениями ног сбрасывал напряжение и освобождался от того, что меня окружало, провоцируя это что-то и соблазняя. Позже Аглиз расскажет мне о

различии между теми, кто знает обряд, и теми, кто просто участвует в нем.

По мере того как медиумы входили в транс, sambonos отводили их под стену, усаживали, предлагали сигары и трубки. Верующие, которых не обуяла страсть, подбегали и опускались на колени у их ног, шептали им что-то на ухо, слушали их советы, получая благоприятный импульс, исповедовались, обретая утешение. У некоторых появлялись первые признаки трансa, которые sambonos постепенно развивали, затем вели их в толпу, сейчас уже более спокойную.

В месте, отведенном для танцующих, двигалось много претендентов на обретение экстаза. Немка очень неестественно металась, все ожидали воздействия, но напрасно. Некоторые были во власти Эксу, у них были деланные лица, выражающие коварство, злость, лукавство, а их тела хаотично содрогались.

В этот момент я увидел Ампаро.

Сейчас я знаю, что Хесед — это не только сефира милосердия и любви. Как говорил Диоталлеви, это также момент экспансии божественной субстанции, которая распространяется бесконечно. Это забота живых о мертвых, но кто-то также сказал, что это одновременно и забота мертвых о живых.

Ударяя в agodō, я не следил больше за тем, что происходило в зале, сосредоточенный на том, чтобы контролировать свои движения и отдаваться музыке. Ампаро, должно быть, вошла минут десять назад и, очевидно, испытывала те же ощущения, что и я ранее. Но никто не дал ей agodō, и она, конечно же, этого не хотела. Увлекаемая голосами из глубины, она лишилась воли к самозащите.

Я увидел, как она вдруг бросилась на середину площадки, остановилась с неестественно вытянутым лицом и напряженной шеей, а затем забилась в сладострастной сарабане, давая понять руками, что приносит в жертву свое собственное тело.

— О, Помба Гира, Помба Гира! — закричал кто-то, обрадовавшись чуду, так как в этот вечер дьявольщина еще не появлялась.— *O seu manto é de veludo, rebordado todo em ouro, o seu*

garfo é de prata, muito grande é seu tesouro... Pomba Gira das Almas, vem toma cho cho...

Я не решался вмешиваться. Насколько возможно, я ускорил удары по металлическим прутьям, чтобы чувственно слиться с моей девушкой или с духом, что воплотился в нее.

Cambonos занялись ею: надели на нее ритуальное платье, поддерживали ее, когда она выходила из транса, короткого, но неистового. Они проводили ее и усадили, поскольку она была мокрая от пота и тяжело дышала. Она отказала тем, кто прибежал вымаливать чудо, и расплакалась.

Gira подходила к концу. Я отставил эстраду и поспешил к Ампаро; Аглиз легко массировал ей виски.

— Какой стыд,— говорила Ампаро,— я, которая не верит в это, не хотела этого, как я могла?

— Бывает, бывает,— успокаивал ласково Аглиз.

— Но, в таком случае, нет искупления,— плакала Ампаро,— я все еще рабыня. Убейся,— крикнула мне в гневе,— я грязная, бедная негритянка, дайте мне хозяина, я его заслуживаю!

— Это случалось также с белыми ахейцами,— утешал ее Аглиз.— Такова человеческая природа...

Ампаро попросила, чтобы ее отвели в туалет. Обряд заканчивался. Только немка танцевала в центре зла, брасая завистливые взгляды в сторону Ампаро. Но сейчас она двигалась с ленивым упрямством.

Ампаро вернулась через десять минут, когда мы уже прощались с pai-de-santo, который радовался великолепному успеху нашего первого контакта с миром мертвых.

Аглиз молча вел машину в тишине глубокой ночи. Остановившись перед нашим домом, сразу начал прощаться. Ампаро сказала, что предпочла бы подняться одна.

— Почему бы тебе не пройтись немного,— обратилась она ко мне,— возвращаясь, когда усну. Я приму снотворное. Извините меня оба, господа. Я уже говорила, что, очевидно, что-то съела. Все эти девушки что-то съели и выпили. Я ненавижу мою страну. Спокойной ночи.

Аглиз понял мою неловкость и предложил пойти в бар "Копакабана", открытый всю ночь.

Я молчал. Аглиз подождал, когда я начну смаковать *batida*, затем, преодолев смущение, прервал молчание:

— Раса или, если хотите, культура составляет часть нашего подсознания. А вторая часть заполнена образами, типичными, характерными для всех людей и эпох. В этот вечер климат, атмосфера ослабили нашу бдительность, вы это испытали на себе. Ампаро открыла для себя, что *ogixás*, которых, как ей казалось, она удалила из своего сердца, живут у нее в желудке. Не думаю, что это кажется ей положительным. Вы слышали, с каким уважением я говорил о сверхъестественной энергии, вибрирующей вокруг нас в этой стране. Но не думайте, что мне симпатична практика овладения ею. Быть посвященным и быть мистиком — это разные вещи. Посвящение, интуитивное понимание тайн, которые разум не может объяснить, — это глубокий процесс, медленное изменение ума и тела, которое может привести к познанию добродетелей высшего порядка, вплоть до завоевания бессмертия, но это что-то интимное, тайное. Оно не выливается наружу, оно целомудренно, и ему свойственна трезвость рассуждений и отчужденность. Поэтому Властелины Мира являются посвященными, но не отдаются мистике. Мистика для них — это рабыня, место появления *umínosum*, она помогает следить за проявлением тайны. Посвященный поощряет мистику, пользуется ею как телефоном, чтобы установить контакты на расстоянии, как химик пользуется лакмусом, чтобы доказать, что здесь происходит какая-то реакция. Мистика полезна благодаря своей театральности, она любит выставлять себя напоказ. Посвященные же откровенны только в своей среде. Они контролируют силы, которым поддается мистика. В этом смысле нет разницы между одержимостью *cavalos* и экстазами святой Терезы или святого Иоанна Крестителя. Мистицизм — это низшая форма общения с божеством. Посвящение — это продукт длительного совершенствования ума и сердца. Мистицизм — феномен демократический, если не демагогический, посвящение же — феномен аристократический.

— Значит, это явление духовное, а не телесное?

— В определенном смысле, да. Ваша Ампаро жестко контролировала свой ум, но не уследила за телом. Маловеры самые слабые из нас.

Было очень поздно. Аглиз сообщил мне, что покидает Бразилию. Он оставил мне свой адрес в Милане.

Я вернулся домой, Ампаро уже спала. Я молча лег возле нее в темноте и провел ночь без сна. У меня было чувство, что рядом со мной лежит незнакомое существо.

На следующее утро Ампаро сказала мне сухо, что уезжает в Петрополис, хочет посетить свою подругу. Мы попрощались, обоим переполняло чувство смущения.

Она ушла с полотняной сумкой и томом политической экономики под мышкой.

В течение двух месяцев она не подавала признаков жизни, и я ее не искал. Затем она мне написала короткое, очень уклончивое письмо. Сообщила, что ей нужно время, чтобы все обдумать. Я не ответил.

Я не испытывал ни мучений, ни ревности, ни ностальгии. Я ощущал себя пустым, трезвым, чистым и блестящим, как алюминиевая кастрюля.

Я провел в Бразилии еще год, но с сознанием, что сижу на чемоданах. Больше мы не встречались ни с Аглиз, ни с друзьями Ампаро, я часами валялся на пляже.

Я запускал бумажных змеев, которые в Бразилии необычайно красивы.

V

ГЕБУРА



Beydelus, Demeymes, Adulex, Metucgayn, Atine, Ffex,
Uquizuz, Gadix, Sol, Veni cito cum tuis spiritibus.

(*Picatrix*. Ms. Sloane, 1305, 152 стих)

Растрескивание сосудов. Диоталлеви нам часто рассказывал о поздней каббалистике Исаака Лурия, в которой теряется упорядоченное соединение сефирот. "Творение,— говаривал он,— это процесс вдыхания и выдыхания, словно бы Бог дышал беспокойно, тревожно, это что-то, наводящее на мысль о мехах".

— Великая Астма Бога,— прокомментировал Бельбо.

— Попробуй сам творить из ничего. Такое удастся только раз в жизни. Бог, чтобы выдуть мир, как выдувают стеклянную колбу, должен был сжаться, чтобы вдохнуть, и затем с протяжным и светящимся свистом явить десять сефирот.

— Со свистом или со светом?

— Бог подул, и стал свет.

— Множество способов.

— Но свечения сефирот необходимо собрать в емкости, способные выдержать их блеск. Сосуды, предназначенные для хранения высших сефирот — Кетер, Хокмы и Бины,— противостояли их сиянию, но в случае с низшими сефирот — Хесед, Ход, Нецах, Иесод — свет и вздох вырвались сразу и с огромной силой, сосуды разбились. Осколки света разлетелись по Вселенной, из них родилась грубая материя.

Растрескивание сосудов,— продолжал Диоталлеви озабоченно,— это серьезная катастрофа. Нет ничего менее пригодного для жизни, чем неудавшийся мир. Должно быть, с самого начала космос имел какой-то дефект, однако даже наимудрейшим раввинам не удалось полностью его объяснить. Может быть, в тот момент, когда Бог делал выдох, в первоначальной емкости осталось несколько капель масла, материальный осадок, *reshimu*, и Бог распространился вместе с этим осадком. Или же раковины, *qelippot*, бациллы разрушения, поджидали где-то, затаясь.

— Липкие ребята эти *qelippot*,— вмешался Бельбо,— агенты дьявольского доктора Фу Манчу... Ну, а потом?

— А потом,— спокойно объяснял Диоталлеви,— в свете Сурового Суда, Гебуры, называемой также Пехад, или Страх, в свете сефиры, где, согласно Исааку Слепому, Зло выставляется напоказ, раковины обрели реальное существование.

— И находятся среди нас,— подсказал Бельбо.

— Только посмотри вокруг,— добавил Диоталлеви.

— Но можно ли из них выйти?

— Скорее можно в них войти,— ответил Диоталлеви. — Все эманурует из Бога, в сжати *tsimtsum*. Наша задача — осуществить *tiqqun*, возвращение, реинтеграцию, по Адаму Кадмону. Тогда мы все реконструируем в уравновешенной структуре *partsufim* лиц, или, иначе говоря, форм, которые займут место сефирот. Восхождение души — это как шелковая веревочка, которая позволяет благочестивому намерению найти, как бы на ощупь, в темноте, путь к свету. Так мир в каждую минуту, комбинируя буквы Торы, пытается обрести естественную форму, которая бы вывела его из ужасного помешательства.

И именно это я делаю сейчас, глубокой ночью, заточенный в неестественном спокойствии этих холмов. Но в тот вечер, в перископе, меня еще обволакивала липкая слизь раковин, которые я чувствовал вокруг себя, этих незаметных улиток, прилипших к хрустальным водоемам Хранилища, рассыпанных среди барометров и заржавевших колес часов, пребывающих в глухой спячке. Я думал, что если действительно дошло до расстрескивания сосудов, то первая трещина, наверное, образовалась тем вечером в Рио, во время обряда, однако взрыв произошел после моего возвращения на родину. Медленный взрыв, без грохота, но все мы оказались увязшими в иле грубой материи, где самозарождаются и выводятся червеобразные создания.

Я вернулся из Бразилии, сам уже не зная, кто я. Мне было почти тридцать. В этом возрасте мой отец был уже отцом, знал, кто он и где живет.

Я слишком долго находился вдали от родины, тогда как там происходили большие события, я жил в мире, наполненном невероятными вещами, куда даже известия из Италии доходили

в ореоле легенды. Незадолго до того, как я покинул другое полушарие, под конец пребывания подарив себе воздушное путешествие над лесами Амазонки, мне попала на глаза местная газета, доставленная на борт самолета во время остановки в Форталезе. На первой странице была фотография человека, которого я узнал, потому что годами видел, как он смакует белое вино у Пилада. Подпись гласила: "Человек, который убил Моро".

Естественно, как я узнал по возвращении, не он убил Моро. Он, попадись ему заряженный пистолет, скорее мог бы выстрелить себе в лоб, чтобы проверить, как этот пистолет действует. Просто он единственный оказался на месте, когда полиция ворвалась в квартиру: кто-то там спрятал под кроватью три пистолета и два пакета взрывчатки. Он же на кровати в блаженном состоянии отдыхал, поскольку это был единственный предмет мебели в комнате, которую группа уцелевших от шестьдесят восьмого года арендовала у общества, чтобы удовлетворять потребности плоти. Если бы помещение не было украшено плакатом "Inti Illimani", оно напоминало бы холостяцкую квартиру. Один из жильцов был связан с какой-то вооруженной группировкой, а другие не подозревали, что финансируют его гнездо. Так что все они на один год угодили в каталажку.

Я мало что понимал в том, чем была Италия последних лет. Я покинул ее перед началом больших перемен, чувствуя себя почти виноватым, потому что убегал в момент предъявления счетов. До своего отъезда я мог распознать идеологию каждого по тону его голоса, по оборотам речи, по каноническим цитатам. Я вернулся — и даже не понимал, кто с кем. О революции уже не говорили, упоминали Желание; те, кто считали себя левыми, цитировали Ницше и Селина; правые журналы восхваляли революцию в третьем мире.

Я опять пришел к Пиладу, но почувствовал себя на чужой территории. Бильярд сохранился, художники были более или менее те же, но молодежная фауна изменилась. Я узнал, что некоторые из старых завсегдатаев теперь открыли школы трансцендентальной медитации и макробиотические рестора-

ны. Я спросил, открыл ли уже кто-нибудь шатер умбанды. Нет, я, несомненно, опередил время и приобрел неимоверную компетентность.

Желая угодить историческому ядру, Пилад все еще держал флиппер старой модели, из тех, что производят впечатление, будто их скопировали с Лихтенштейна, и массово скупаются антикварами. Но рядом выстроились, осаждаемые юными посетителями, игровые автоматы со светящимися экранами, на которых стаями планировали соколы, камикадзе Внешнего Пространства, или выскакивала, как черт из коробочки, лягушка, квакая на японском языке. Пилад теперь подмигивал злоеющими огнями, и, может быть, перед Галактическим экраном проходили посланцы Красных бригад с целью вербовки. Но им, конечно, приходилось отказываться от флиппера, потому что с пистолетом на поясе на нем не поиграешь.

Я уяснил это, когда проследил за взглядом Бельбо, сосредоточенным на Лоренце Пеллегрини. Я понял смутно то, что Бельбо понял более ясно и что я нашел в одном из его *files*. Лоренца не названа, но было очевидно, что речь идет о ней: только она играла на флиппере подобным образом.

FILENAME: флиппер

На флиппере играют не только руками, но и лобком. Задача этой игры состоит не в том, чтобы остановить шарик до того, как он попадет в лунку, и не в том, чтобы противник направил его в центр поля, а в том, чтобы заставить его задержаться наверху, где больше всего световых мишеней, и отбивать его от одной мишени к другой, чтобы шарик вертелся, заблудший и обезумевший, по собственной воле. Этого можно достичь не щелкая по шарiku, а сообщая вибрацию корпусу, нежно, чтобы флиппер этого не заметил и не произвел ответный выпад.

Сделать это можно только лобком или, скорее, движениями бедер, причем лобок не должен ритмично толкать флиппер, — он трется, пребывая на грани оргазма. А если бедра движутся естественным образом, то еще в большей степени, чем лобок, толчок производят ягодицы, но осторожно, таким образом, что в момент, когда импульс сообщается лобку, он уже

ослаблен; это как в гомеопатии: чем больше влито в раствор жидкости — и субстанция почти полностью растворяется в постоянно подливаемой воде, чтобы совершенно исчезнуть, — тем сильнее лечебный эффект. И вот от лобка бесконечно малый импульс передается корпусу, и флиппер повинуетя без следа нервозности, шарик катится вопреки естеству, вопреки инерции, вопреки закону гравитации, вопреки правилам динамики, даже вопреки хитрости конструктора, который хотел его сделать неуправляемым, и упивается движущей силой, оставаясь в игре в течение мыслимого и немыслимого времени. Но нужен женский лобок, нужно, чтобы не было пещеристого тела между тазовой костью и машиной и чтобы в нем не было эректильного вещества, а только кожа, нервы, кости, обтянутые парой джинсов, и только сублимированная эротическая ярость, лукавая фригидность, бескорыстная приспособляемость к чувственности партнера, вкус к тому, чтобы разжигать его желание, не страдая от чрезмерности своего: амазонка, должно быть, сводит с ума флиппер и заранее наслаждается тем, что потом его бросит.

Я думаю, что Бельбо влюбился в Лоренцу Пеллегрини именно в тот момент, когда почувствовал, что она может обещать ему невозможное счастье. И, думаю, что благодаря ей он начал ощущать эротический характер автоматических миров, машину как метафору космического тела и механическую игру как волшебное заклинание. Он уже начал наркотизировать Абулафией и, может быть, уже в то время вошел в дух проекта "Гермес". Он уже наверняка видел Маятник. Лоренца Пеллегрини, в результате неизвестно какого короткого замыкания, была для него предзнаменованием Маятника.

В первое время мне было трудно вновь приживаться у Пилада. Постепенно, и не каждый вечер, среди незнакомых лиц я начал находить знакомые лица выживших, пусть даже затуманенные усилием узнавания: кто стал рекламным агентом, кто налоговым советником, кто продавцом книг в кредит — но если раньше они выставляли произведения Че, то сейчас предлагали траволечение, буддизм, астрологию. Они начали немного шепелявить, небольшая проседь появилась в волосах, в руках

держали стаканы с виски, и на мгновение я почувствовал себя таким же молокососом, как и десять лет назад, когда пил благоговейно по капле в семестр.

— Что с тобой случилось, почему тебя больше у нас не видно? — спросил меня один из них.

— А вы, кем *вы* сейчас работаете?

Он посмотрел на меня так, как если бы я отсутствовал сто лет.

— Допустим, начальником отдела культуры, а что?

Я слишком многое не сказал ему в ответ.

Я решил придумать способ зарабатывать на жизнь. Я уже заметил, что много чего знаю, и все это без связи между собой, но чтобы все связать, достаточно нескольких визитов в библиотеку. Я уехал во времена, когда нужно было иметь какую-то теорию, и очень страдал, что ее у меня нет. Теперь же достаточно было иметь понятия, все на них падки, и чем они были неактуальней, тем лучше. В университете, куда я вновь пришел, чтобы посмотреть, нельзя ли куда-нибудь устроиться, — то же самое. Амфитеатры были спокойны, студенты скользили по коридорам как призраки, поочередно одалживая друг другу топорные библиографии. Что-что, но я умел составить хорошую библиографию.

Однажды какой-то студент-первокурсник, приняв меня за преподавателя (теперь преподаватели были того же возраста, что и их питомцы, или наоборот), спросил у меня, что написал лорд Чандос, о котором шла речь на лекции о циклических кризисах в экономике. Я сказал ему, что это не экономист, а один из персонажей Гофмансталя.

В тот же вечер я был на празднике у старых друзей и узнал там одного человека, работавшего в издательстве. Он поступил туда после того, как это издательство перестало печатать романы о французских коллаборационистах, чтобы сосредоточиться на албанских политических текстах. Я обнаружил, что они продолжают издавать политическую литературу, но в правительственном русле. Впрочем, не пренебрегая некоторыми хорошими книгами по философии.

— Речь идет о классиках. Кстати,— пришло ему вдруг в голову,— ты, как философ...

— Спасибо, к сожалению, нет.

— Да ну? В свое время ты был человеком, который знал все. Сегодня я перечитывал перевод текста о кризисе марксизма и вдруг наткнулся на цитату из какого-то Ансельма Кентерберийского. Кто это? Я не нашел его в словаре авторов.

Я объяснил ему, что речь идет об Ансельме из Аосты, просто англичане называют его так, потому что всегда хотят отличаться от других.

Меня осенило: вот моя специальность. Я решил открыть агентство по предоставлению информации из области культуры.

Это что-то вроде примечаний ко всяким знаниям. Вместо того чтобы шататься по ночным барам и борделям, я буду прочесывать книжные магазины, библиотеки, университетские коридоры. А потом сидеть в своей конторе, положив ноги на стол, с виски в картонном стаканчике, принесенным из лавки на углу. Звонит некто и говорит: "Я перевожу книгу и вдруг наткнулся на какого-то... на каких-то мутакалламинов. Я не могу в этом разобраться".

Ты тоже не имеешь понятия, о чем речь, но это не имеет значения: ты просишь два дня времени, пересматриваешь несколько ящиков библиотечного каталога, угощаешь сигаретой человека в бюро консультаций, нападаешь на след. Вечером ты приглашаешь в бар ассистента из отдела исламских наук, берешь ему один стакан пива, второй, он ослабляет самоконтроль и выдает тебе искомую информацию, причем бесплатно. Затем ты звонишь клиенту: "Итак, мутакалламины — это радикальные мусульманские теологи времен Авиценны, они утверждали, что мир — это, как бы лучше сказать, распыление случайностей, и он коагулирует в форму только одномоментным и временным актом божественной воли. Достаточно, чтобы Бог отвлекся на мгновение — и мир распадется на куски. Чистая анархия атомов безо всякого значения. Достаточно этого? Я работал над этим три дня, назначьте сумму гонорара".

Мне повезло: я нашел две комнатки с кухней в старом доме на окраине, который, должно быть, раньше был фабрикой с

административными помещениями, расположенными в одном крыле. Квартиры, переделанные из них, выходили в длинный коридор, я помещался между агентством по торговле недвижимостью и мастерской по набивке чучел животных (А.Салон, таксидермист). Было полное впечатление, что находишься в американском небоскребе тридцатых годов; чтобы считать себя Марлоу, мне не хватало только застекленной двери. Во второй комнате я поставил диван-кровать, а в первой — оборудовал офис. На двух стеллажах я разместил атласы, энциклопедии, каталоги, которые понемногу приобретал. Вначале мне пришлось идти на сделки с совестью и выполнять даже дипломные работы для отчаявшихся студентов. Это было нетрудно: достаточно переписать труды десятилетней давности. А потом мои друзья-издатели стали присылать мне рукописи и иностранные книги для вычитывания — конечно, самые неблагодарные и за умеренное вознаграждение.

Но я накапливал опыт, понятия и ничего не отбрасывал. Все находило свое место на карточках. Мне не приходило в голову создать компьютерную картотеку (компьютеры только появились в продаже, и Бельбо, кажется, был первопроходцем), я действовал кустарными методами, но сотворил себе что-то вроде памяти, состоящей из прямоугольничков мягкого картона с перекрестными ссылками. Кант... туманность... Лаплас, Кант... Кенигсберг... семь мостов Кенигсберга... теоремы топологии... Что-то вроде игры, где вам предлагается через ассоциации понятий перейти в пять ходов от сосиски к Платону. Например: сосиска — свинья — щетина — кисть — маньеризм — Идея — Платон. Это легко. Даже самая бесхребетная рукопись прибавляла лишних двадцать бусинок к моим информатическим четкам. Критерий был строг, и я думаю, что именно им руководствуются спецслужбы: нет информации лучшей и худшей, сила в том, чтобы все зафиксировать, поместить в картотеку, а потом искать взаимосвязи. Взаимосвязи есть всегда, надо только захотеть их найти.

Примерно через два года такой работы я был удовлетворен собой. Это меня забавляло. А тем временем я встретил Лию.

Чтоб всякий ведал, как я названа,
Я — Лия, и, прекрасными руками
Плетя венок, я здесь брожу одна.

(Чистилище, XXVII, 100-102)

Лия. Сейчас я не надеюсь больше увидеть ее; но я мог никогда не встретить ее и это было бы хуже. Я хотел бы, чтобы она была здесь, чтобы держала меня за руку, пока я восстанавливаю в памяти этапы своего падения. Потому что она мне его предсказывала. Но она должна остаться за рамками этой истории, она и ребенок. Я надеюсь, что они отложат свое возвращение, что придут, когда все будет кончено, каким бы то ни было образом.

16 июля 1981 года. В Милане оставалось мало людей, читальный зал библиотеки был почти пуст.

— Извините, но сто девятый том собиралась взять я.

— Тогда зачем же вы оставили его на стеллаже?

— Я пошла к столу проверить одну запись.

— Это не оправдание.

Она нахально вернулась за стол с книгой в руках. Я сел напротив и пытался заглянуть ей в глаза.

— Как вам удастся читать, это же не азбука Брайля? — поинтересовался я.

Она подняла голову, и я не мог понять, лицо это или затылок.

— Что? — спросила она. — А-а, мне хорошо видно.

Но, говоря это, она приподняла прядь волос; глаза у нее были зеленые.

— У вас зеленые глаза, — сказал я ей.

— Наверное. А что — это плохо?

— Да что вы! Наоборот.

Так это началось.

— Ешь, ты худой как щепка, — сказала она мне за ужином.

В полночь мы все еще сидели в греческом ресторане рядом с баром Пилада; свеча почти стекла по горлышку бутылки, а мы рассказывали друг другу обо все. Мы занимались почти одним и тем же делом: она просматривала статьи энциклопедии.

Я чувствовал, что должен ей что-то сказать. В половине первого она откинула свою гривку, чтобы лучше видеть меня, а я навел на нее указательный палец, направив вверх большой.

— Пум. Попал в десятку,— сообщил я.

— Странно,— произнесла она,— я тоже.

Так мы стали с ней одной плотью, и с этого вечера я был для нее Пумом.

Мы не могли позволить себе нового жилища, я ночевал у нее, а она часто оставалась со мной в конторе или отправлялась на охоту, потому что лучше меня шла по следу и умела подбрасывать мне ценные ассоциации.

— Мне кажется, что у нас по розенкрейцерам полупустая карточка,— говорила она мне.

— Надо опять как-нибудь ею заняться, это бразильские заметки...

— Хорошо, тогда впиши туда пересечение с Йитсом.

— А какое отношение это имеет к Йитсу?

— Какое отношение? Я здесь вычитала, что он принадлежал к обществу розенкрейцеров под названием "Утренняя Звезда".

— Что бы я делал без тебя?

Я опять зачастил к Пиладу, потому что это было что-то вроде биржи, я находил там клиентов.

Однажды вечером я вновь увидел Бельбо (в предыдущие годы он, должно быть, редко туда приходил, а потом, познакомившись с Лоренцей Пеллегрини, вернулся к старой привычке). Он был все тот же, может быть, чуть больше седины, слегка похудевший, совсем чуть-чуть.

Это была сердечная встреча, в меру его экспансивности. Несколько шуток о добрых старых временах, сдержанные заключения по поводу последнего события, в котором мы оба были замешаны, об эпистолярных последствиях этой истории.

Комиссар Де Анжелис не проявлял признаков жизни. Кто знает, может быть, дело закрыто. Я заговорил с ним о своей работе, и он, кажется, заинтересовался.

— По правде говоря, это то, чем я хотел бы заниматься — Сэм Спейд культуры, двадцать долларов в день плюс расходы.

— Но ни одна таинственная и чарующая женщина не входит в мою дверь, и никто не рассказывает мне о мальтийском соколе, — посетовал я.

— Ну, кто может знать? Вас это развлекает?

— Развлекает? — переспросил я. И процитировал его: "Это единственное, что, как мне кажется, я могу делать хорошо".

— *Good for you*, — ответил он.

Мы виделись еще не раз, я рассказал ему о своих бразильских приключениях, но он мне все время казался чуть рассеянным, больше, чем всегда. Когда Лоренцы Пеллегрини не было, он не сводил глаз с двери, когда она была, он нервно поглядывал в сторону бара, следя за каждым ее движением. Однажды вечером — это было уже перед самым закрытием — он сказал мне, отводя взгляд:

— Послушайте, вы нам можете быть полезным, но не для случайных консультаций. Могли бы вы посвятить нам любой день после обеда, допустим, на этой неделе?

— Не вижу препятствий. А в чем дело?

— Одно металлургическое предприятие заказало книгу о металлах. Рассказ в основном посредством иллюстраций. Скорее популярное, но и серьезное издание. Вы догадываетесь, о чем речь. Металлы в истории человечества, начиная с железного века до сплавов, применяемых в космонавтике. Нам нужен человек, который мог бы перерыть библиотеки и архивы в поисках красивых иллюстраций, старинных миниатюр, книжных гравюр XIX века или чего там еще, не знаю, о плавках или громоотводах.

— Хорошо, я завтра к вам зайду.

Подошла Лоренца Пеллегрини.

— Ты отвезешь меня домой?

— Почему именно я сегодня? — спросил Бельбо.

— Потому что ты мужчина моей жизни.

Он покраснел, как умел краснеть, отводя взгляд еще больше в сторону. И указал на меня:

— Вот свидетель.

Потом мне:

— Я мужчина ее жизни. Лоренца.

— Привет.

— Привет.

Он встал и шепнул ей что-то на ухо.

— При чем здесь это? — удивилась она. — Я спросила, можешь ли ты отвезти меня домой на своей машине.

— А, — погрузнел он. — Простите, Казобон, я должен поработать таксистом для женщины неизвестно чьей жизни.

— Дурачок, — нежно сказала она и поцеловала его в щеку.

Позвольте мне тем временем дать совет моему будущему или настоящему читателю, если он действительно меланхолик: ему не нужно читать о симптомах и прогнозах в следующем разделе, чтобы они его не взволновали и не принесли ему больше вреда, чем пользы, так как он будет относить все прочитанное к себе... как делает большинство меланхоликов.

(R.Burton. *Anatomy of Melancholy*, Оксфорд, 1621, вступление)

Было очевидно, что Бельбо каким-то образом связан с Лоренцей Пеллегрини. Я не мог понять, насколько тесно и с каких пор. Даже *files* Абулафии не помогли мне восстановить события.

Например, *file* об ужине с доктором Вагнером не датирован. Доктора Вагнера Бельбо знал еще до моего отъезда и поддерживал отношения с ним также после того, как я начал сотрудничать с издательством "Гарамон", так что и я с ним сблизился. Следовательно, ужин мог иметь место до или после вечера, о котором я вспоминаю. Если до, то мне понятно замешательство Бельбо, его сдержанное отчаяние.

Доктор Вагнер — австриец, который много лет преподавал в Париже, и поэтому некоторые, желая подчеркнуть свое близкое с ним знакомство, называли его "Вагнёр". Его уже лет десять регулярно приглашали в Милан две группы революционеров, возникшие сразу после шестьдесят восьмого года. Они вырывали его друг у друга, и, конечно, каждая группа трактовала его мысли по-своему. Как и почему этот знаменитый человек соглашался, чтобы его спонсорами выступали непарламентские элементы, я никогда не понимал. Теории Вагнера не имели, так сказать, политической окраски, и он мог бы, если бы захотел, приезжать по приглашению университетов, клиник, академий. Я думаю, что он принимал приглашения двух групп потому, что в глубине души был эпикурейцем и требовал возмещения своих царских расходов. Частные лица могли собрать больше денег, чем учреждения, а для доктора Вагнера это означало поездку в вагоне первого класса, роскошную гостиницу плюс гонорары за

лекции и семинары, соответствующие тарифным ставкам терапевта.

Второй вопрос — почему обе группы находили источник идеологического вдохновения в теориях Вагнера. В те годы психоанализ Вагнера казался довольно деструктивным, неортодоксальным, некартезианским и был основан на либидо, так что мог поставлять случайные теоретические положения для революционной деятельности.

Заставить рабочих все это переварить оказалось сложной задачей; может быть, именно по этой причине обе группы в определенный момент были вынуждены сделать выбор между рабочими и Вагнером, и они выбрали Вагнера. Была выдвинута идея, что новый революционер — это не пролетарий, а психически ненормальный.

— Вместо того чтобы сделать ненормальными пролетариев, лучше пролетаризировать ненормальных, и это легче, учитывая цены доктора Вагнера,— сказал мне однажды Бельбо.

Революция вагнерианцев была самой дорогостоящей в истории.

Издательство "Гарамон", финансируемое одним институтом психологии, когда-то перевело сборник небольших эссе Вагнера, очень специальных, но уже исчезнувших из продажи и, естественно, страстно желаемых его приверженцами. Вагнер приехал в Милан на презентацию книги, и таким образом завязались отношения между ним и Бельбо.

FILENAME: доктор Вагнер

Дьявольский доктор Вагнер
Двадцать шестой эпизод

Который в это серое утро ... числа

Во время дебатов я возразил ему. Сатанинский старик был этим, конечно, раздражен, но не подал виду. Более того, ответил так, как будто хотел меня очаровать.

Прямо Шарлюс и Жюпъен, пчела и цветок. Гений не терпит, когда его не любят, он должен тотчас же очаровать несогласного, чтобы тот его полюбил. Ему это удалось — я полюбил его.

Но он мне, должно быть, не простил, ибо в тот вечер развода нанес мне смертельный удар. Сам того не зная, инстинктивно: он подсознательно стремился очаровать меня и так же подсознательно решил меня наказать. Пренебрегая деонтологией, он провел бесплатный психоанализ. Подсознание кусает даже своих стражей.

История маркиза де Лантенака в романе "Девяносто третий год". Корабль вандейцев борется со штормом вблизи берегов Бретани; вдруг одна пушка отрывается от нагеля, а поскольку судно бросает из стороны в сторону, громадина пускается в бешеную пляску по палубе, грозя проломить борта. Артиллерист (увы, именно тот, который по халатности не закрепил надлежащим образом орудие), проявляя беспримерное мужество, с цепью в руке бросается навстречу чудовищу, которое вот-вот его сомнет, и задерживает его, сковывает, закрепляет, возвращает в стойло, спасая судно, экипаж и боевое задание. С наивысшей торжественностью ужасный Лантенак выстраивает команду на палубе, хвалит отважного моряка, снимает со своей шеи высокую награду, вручает ему с поцелуем, а экипаж при этом громко кричит "ура".

Затем непоколебимый Лантенак напоминает, что именно он, награжденный, несет ответственность за происшествие, и приказывает его расстрелять.

Великолепный Лантенак, виртуозный, справедливый, неподкупный! Именно так поступил со мною доктор Вагнер — удостоил своей дружбы и убил, открыв истину.

и он убил, открывая то, что я хотел на самом деле

и он открыл мне то, чего я и хотел, и боялся

История, которая начинается в маленьких бистро. Потребность влюбиться.

Некоторые вещи ты предчувствуешь, ты влюбляешься не потому, что влюбляешься, ты влюбляешься потому, что в данный момент у тебя была отчаянная потребность влюбиться. В минуту, когда ощущаешь желание влюбиться, нужно следить за тем, куда идешь: как будто ты выпил волшебный напиток, который заставит тебя полюбить первое встречное существо. Это может быть и утконос.

Почему я ощущал такую потребность именно в тот период, когда бросил пить? Связь между печенью и сердцем. Новая любовь — хороший повод, чтобы запить снова. Есть с кем пускаться в странствия по барам. Почувствовать себя хорошо.

Маленький бар — это что-то кратковременное, тайное. Он дарит тебе долгое сладостное ожидание в течение целого дня до того момента, когда ты укроешься в полумраке среди кожаных кресел. В шесть часов вечера еще пусто, гнусная клиентура придет вечером, когда начнет выступать пианист. Выбрать сомнительный американский бар, пустующий ранним вечером, официант приходит только по третьему зову, и у него уже готова новая порция мартини.

Мартини — это главное. Не виски, а мартини. Жидкость бесцветна, подними бокал — и увидишь, какая она маслянистая. Есть разница, когда смотришь на любимую сквозь мартини-коктейль в маленьком бокале на треугольной граненой ножке или когда смотришь на нее сквозь мартини с джином on the rocks, налитый в стакан, ее лицо распадается в прозрачном кубизме льдинок, эффект удваивается, если вы сдвините два бокала и прижметесь лбами к холодному стеклу так, чтобы и между лбами были два стакана, что невозможно, если бокал на ножке.

Краткий час маленького бара. Потом ты с трепетом будешь ждать следующего вечера. Нет шантажа уверенностью.

Тот, кто влюбляется в барах, не нуждается в женщине, полностью принадлежащей ему. Вас кто-то одалживает другу.

Его рисунок. Он давал вам большую свободу, всегда

был в разъездах. Подозрительная либеральность: я мог позвонить даже в полночь, он был дома, а ты — нет, он отвечал, что ты пошла куда-то, или даже: "Раз ты звонишь, может, ты случайно знаешь, где она?" Единственные мгновения ревности. Но даже таким образом я вырывал Чечилию у саксофониста. Любить или думать, что любишь, как вечный жрец какой-то древней мести.

Осложнились отношения с Сандрой: в этот раз она осознала, что меня слишком затянуло, совместная жизнь стала довольно напряженной. Нам надо расстаться? Так давай расстаемся. Нет, погоди, поговорим позже. Нет, так больше не может продолжаться. В общем, проблема была в Сандре.

Когда отправляешься в путешествие по маленьким ба-рам, драма страстей разыгрывается не с тем, с кем ходишь, а с тем, с кем расстаешься.

И тут происходит ужин с доктором Вагнером. Как раз перед этим на лекции он дал в ответ на вопрос одного провокатора определение психоанализа: "Психоанализ? Это когда у мужчины и женщины... друзья мои... что-то не ладится".

Спорили о супружестве, о разводе как иллюзии Закона. Захваченный своими проблемами, я с горячностью принимал участие в дискуссии. Мы дали втянуть себя в диалектические игры, доктор Вагнер молчал, а мы говорили, забывая о присутствии этого оракула. И тогда с видом погруженного в размышления

и тогда как бы исподтишка

и тогда с меланхолической безучастностью

и тогда, будто исподволь вступая в разговор с репликой не по теме, Вагнер сказал (я пытаюсь вспомнить его точные слова, они врезались в мою память, я не мог ошибиться): "За всю свою практику я не встречал пациента, страдающего неврозом из-за собственного развода. Причиной плохого состояния всегда был развод Другого".

Доктор Вагнер даже произносил слово "Другой" с большой буквы. Факт тот, что я подскочил, словно ужаленный аспидом

виконт подскочил, словно ужаленный аспидом

холодный пот выступил у него на лбу

барон пристально смотрел на него сквозь кольца дыма, которые лениво выползали из его тонких русских сигарет

— Вы хотите сказать,— уточнил я,— что человек переживает кризис не из-за собственного развода, но из-за возможности или невозможности развода третьего лица, которое ввергло в кризис пару, членом которой он является?

Вагнер посмотрел на меня, смущаясь, как человек, впервые встретивший ненормального. И осведомился, что я имею в виду.

Говоря откровенно, что бы я ни имел в виду, выразил я это плохо. Я попытался придать своим рассуждениям большую наглядность. Взял со стола ложку и положил ее рядом с вилкой:

— Вот это я, Ложка, женат на ней, Вилке. И есть другая пара: эта Лопатка для торта, которая замужем за Шпиговальным Ножом или Маки Мессером. Так вот, мне, Ложке, кажется, что я страдаю, потому что мне придется бросить свою Вилку, а мне бы этого не хотелось, я люблю Лопатку для торта, но соглашаюсь, чтобы она была со своим Шпиговальным Ножом. На самом же деле, как вы утверждаете, доктор Вагнер, мне плохо от того, что Лопатка для торта не расстается со Шпиговальным Ножом. Так?

Вагнер пожал плечами: он никогда не говорил ничего подобного.

— То есть как — не говорили? Вы сказали, что никогда не встречали человека, страдающего неврозом из-за собственного развода, в то время как развод другого его беспокоил.

— Возможно, я уже не помню,— неохотно признал доктор Вагнер.

— Значит, если вы это и сказали, то понимали не так, как я услышал?

Вагнер несколько минут молчал.

Сидящие за столом ждали, не осмеливаясь даже сделать глоток. Вагнер знаком попросил налить ему вина, внимательно рассмотрел жидкость на свет и наконец заговорил.

— Если вы так слышали, то это потому, что вам хотелось так услышать.

Потом он повернулся в другую сторону, заявил, что становится жарко, начал напевать арию из какой-то лирической оперы, размахивая тонким хлебцом, как будто дирижировал невидимым оркестром, зевнул, сосредоточился на кремовом торте и в конце концов, после нового приступа молчания, потребовал, чтобы его отвезли в гостиницу.

Остальные смотрели на меня как на человека, который сорвал симпозиум, где могли бы прозвучать окончательные Слова.

Воистину я слышал глас Истины.

Я позвонил тебе. Ты была дома, с Другим. Я провел бессонную ночь. Все было ясно: для меня невыносимо, что ты живешь с ним. Сандра тут ни при чем.

Затем было шесть драматических месяцев, когда я ходил за тобой по пятам, дышал в затылок, шпиона за тобой, заклиная полностью принадлежать мне, уверяя тебя, что ты ненавидишь Другого. Ты начала ссориться с Другим, он стал требовательным, ревнивым, по вечерам сидел дома, а когда уезжал, звонил два раза в день и даже среди ночи. Однажды он дал тебе пощечину. Ты попросила у меня денег, потому что хотела сбежать, я снял небольшую сумму, которую держал в банке. Ты покинула супружеское ложе, уехала в горы с друзьями, не оставив адреса. Другой в отчаянии звонил мне, спрашивая, не знаю

ли я, где ты, я не знал и выглядел обманщиком, потому что ты ему сказала, что бросаешь его ради меня.

Вернувшись, ты сообщила мне, сияя, что написала ему прощальное письмо. Тогда я и спросил себя, как же окончатся наши отношения с Сандрой, но ты быстро освободила меня от беспокойства, сказав, что познакомилась с одним парнем, у которого шрам на щеке и очень цыганская квартира. Ты пойдешь к нему жить.

— Ты меня больше не любишь?

— Наоборот, ты единственный мужчина в моей жизни, но после всего, что случилось, мне надо прийти в себя, пережить это испытание, не будь ребенком, постарайся меня понять, я в самом деле бросила мужа ради тебя, но пусть каждый живет в своем ритме.

— В своем ритме? Ты говоришь, что уходишь с другим.

— Ты интеллеktуал, причем левый, не веди себя как мафиози. Пока.

Я всем обязан доктору Вагнеру.

Тому, кто размышляет о четырех вещах — о том, что вверху, о том, что внизу, о том, что есть до и что есть после,— лучше было бы не родиться.

(*Talmud, Hagigah 2.1*)

Я объявился в "Гарамоне" как раз в то утро, когда они монтировали Абулафию, в тот момент, когда Бельбо и Диоталлеви углубились в критические рассуждения по поводу имен Бога, а Гудрун подозрительно наблюдала за мужчинами, которые встраивали эту новую, внушающую тревогу сущность между покрывающихся пылью стопок рукописей.

— Садитесь, Казобон, вот планы, касающиеся нашей истории металлов.

Мы остались вдвоем, и Бельбо показал мне оглавление, наброски глав, макеты верстки. Я, со своей стороны, должен был прочесть текст и подобрать иллюстрации. Я назвал несколько миланских библиотек, в которых, как мне казалось, был большой выбор книг.

— Этого недостаточно,— возразил Бельбо.— Нужно будет съездить и в другие места. Например, в мюнхенском Музее науки есть прекрасная фототека. В Париже есть Хранилище Искусств и Ремесел. Я тоже хотел бы там побывать, но, боюсь, не будет времени.

— Хороший музей?

— Впечатляющий. Триумф машин в готическом костеле...— Он замолчал в нерешительности, сложил бумаги, разбросанные на столе. Затем, как бы опасаясь придать слишком большое значение своему откровению, сказал: — Там есть Маятник.

— Какой маятник?

— Маятник. Он называется Маятником Фуко.

Он описал мне Маятник таким, каким я его затем увидел в субботу — а может быть в субботу я увидел его именно таким потому, что Бельбо меня подготовил к этому видению. В тот момент я, должно быть, не выказал особого энтузиазма, и

Бельбо посмотрел на меня как на человека, который, глядя на Сикстинскую капеллу, спрашивает: "И это все?"

— Возможно, потому что там господствует атмосфера церкви, но я вас уверяю, что это производит очень сильное впечатление. Подумайте только, все вокруг нас куда-то течет, и только там, вверху, существует единственная неподвижная точка Вселенной... Для маловера это способ обрести Бога, не ставя под сомнение собственное неверие, так как речь идет о Полюсе Небытия. Знаете, на людей моего поколения, которые глотали разочарования на завтрак и на ужин, это может действовать ободряюще.

— Если говорить о поколениях, то мое употребило больше разочарований.

— Вы самонадеянны. Нет, для вас это был только один сезон, вы запели "Карманьолу" — и тут же оказались в Вандее. Это быстро пройдет. У нас было по-другому. Вначале фашизм, даже если мы пережили его в детстве как приключенческий роман, но бессмертные судьбы были неподвижной точкой. Следующая неподвижная точка — движение Сопротивления, особенно для тех, кто, как я, наблюдали за ним со стороны и сделали из него вегетационный ритуал, возвращение весны, равноденствие, или солнцестояние, я всегда путаю... Потом для некоторых — Бог, для других — рабочий класс, а для многих — и то, и другое. Для интеллигента была утешительной мысль о том, что есть рабочий — красивый, здоровый, сильный, готовый переделать мир. А потом, вы сами были свидетелем, рабочий еще существовал, но класс исчез. Они, должно быть, расстреляли его в Венгрии. И тогда пришли вы. Для вас, Казобон, это было, наверное, естественно, воцарилась атмосфера праздника. Для людей моего возраста — нет; это было время платить по счетам, время угрызений, раскаяний, духовного возрождения. Мы оказались слабы, а вам удалось привнести энтузиазм, смелость, самокритику. Для нас, которым было тогда лет тридцать пять-сорок, это была надежда, унижительная, но надежда. Мы должны были стать такими, как вы, пусть даже начав все сначала. Мы не носили большие галстуки, сбросили trench-coat

и купили ношенные куртки; некоторые даже уволились с работы, чтобы не служить хозяевам...

Он зажег сигарету и притворился, что изображает горечь, чтоб его простили за слабование.

— А вы отступили по всему фронту. Мы, со своими покаянными паломничествами в Ардеатинские катакомбы, мы отказывались сочинять рекламу кока-колы, потому что были антифашистами. Мы довольствовались грошами у Гарамона, потому что книга, по крайней мере, демократична. А вы теперь, чтобы отомстить буржуа, которых вам не удалось перевешать, продаете им видеокассеты и еженедельники для фанов рока, оболваниваете их дзен-буддизмом и искусством обхождения с мотоциклом. Вы навязали нам по подписной цене свой экземпляр цитатника Мао, а на выручку накупили петард для праздника нового созидания. Безо всякого стыда. А нам всю жизнь было стыдно. Вы нас обманули, вы не несли в себе ни капли чистоты, а только юношескую угревую сыпь. Из-за вас мы почувствовали себя червяками, потому что у нас не хватало смелости с открытым лицом противостоять боливийской жандармерии, а потом вы стреляли в спину несчастным, которые проходили по улицам. Десять лет назад нам приходилось лгать, чтобы вытащить вас из тюрьмы, вы же лгали, чтобы отправить в тюрьму своих друзей. Вот почему мне нравится эта машина: она глупа, ни во что не верит, не заставляет меня верить, делает то, что я ей говорю, я глуп — и она глупа (или он). Это честные отношения.

— Я...

— Вы, Казобон, невинны. Вы убегали вместо того, чтобы бросать камни, вы сдавали экзамены, не стреляли. Тем не менее несколько лет назад я чувствовал, что подвергаюсь шантажу и с вашей стороны тоже. Заметьте, ничего личного. Циклы поколений. А когда я в прошлом году увидел Маятник, я все понял.

— Что "все"?

— Почти все. Видите ли, Казобон, даже Маятник — это лжепророк. Вы смотрите на него, думаете, что это единственная неподвижная точка в космосе, но если вы его снимете с потолка Хранилища и повесите в борделе, он будет работать точно

так же. Есть и другие маятники: один — в Нью-Йорке, во дворце ООН, другой — в Сан-Франциско, в Музее науки, и кто знает, сколько их еще. Маятник Фуко остается неизменным, только Земля вращается, где бы он ни находился. Любая точка во Вселенной неподвижна, достаточно только подвесить там Маятник.

— Бог вездесущ?

— В каком-то смысле, да. Этим-то меня Маятник и раздражает. Он обещает бесконечность, но взваливает на меня ответственность за решение — где я хочу ее иметь. Таким образом, недостаточно преклоняться перед Маятником там, где он есть, нужно заново принять решение и поискать наилучшую точку. Или...

— Или?

— Или... вы же не будете принимать меня всерьез, правда, Казобон? Нет, я могу быть спокоен, мы относимся к людям, которых не принимают всерьез... И тем не менее, как я говорил, остается ощущение, что некто за свою жизнь вешал Маятник во многих местах, и он никогда не функционировал, а там, в Хранилище, он работает безупречно... А что, если во Вселенной есть привилегированные точки? Вот здесь, на потолке этой комнаты? Нет, в это никто бы не поверил. Нужна атмосфера. Не знаю, может быть, мы все ищем нужную точку, может, она рядом с нами, но мы ее не узнаем, а чтобы узнать, надо было бы в это поверить... Короче, идем к господину Гарамону.

— Чтобы повесить Маятник?

— Что за глупости! Мы будем делать серьезные вещи. Чтобы вам платить, надо представить вас шефу, он вас потрогает, обнюхает и скажет, что вы годитесь. Идемте, пусть вас общупает шеф, его прикосновение исцеляет от золотухи.

Тайный Мастер, Совершенный Мастер, Мастер Любознательности, Интендант Зданий, Избранник Девяти, Рыцарь Истинной Арки Соломона или Мастер Девятой Арки, Великий Шотландец Священного Свода, Рыцарь Востока и Меча, Князь Иерусалима, Рыцарь Востока и Запада, Князь Розы и Креста и Рыцарь Орла и Пеликана, Великий Верховный Жрец или Возвышенный Шотландец Небесного Иерусалима, Почетный Великий Мастер Всех Лож Пожизненно, Рыцарь Прусский и Патриарх Ноактиский, Рыцарь Настоящей Секиры или Князь Ливана, Князь Дарохранительницы, Рыцарь Медной Змеи, Князь Сострадания или Милости, Великий Командор Храма, Рыцарь Солнца или Князь Посвященный, Рыцарь Святого Андрея Шотландского или Великий Мастер Света, Великий Избранный Рыцарь Кадоша и Рыцарь Белого и Черного Орла.

(Высшие масонские звания Шотландского Древнего и Принятого Обряда)

Мы прошли по коридору, поднялись на три ступеньки и вошли в дверь из матового стекла. В один миг мы оказались в другом мире. Если до сих пор виденные мною помещения были темными, пыльными, облупившимися, то эти больше походили на небольшой зал для высокопоставленных лиц в каком-нибудь аэропорту. Чуть слышно звучит музыка, голубые стены, комфортабельный зал ожидания, обставленный мебелью с фирменными вензелями, на стенах фотографии, где можно различить господ с лицами депутатов парламента, вручающих крылатую Нику господам с лицами сенаторов. На низеньком столике небрежно разбросаны, как в приемной у дантиста, несколько журналов, напечатанных на глянцевого бумаге: "Литературные анекдоты", "Позитический атанор", "Роза и терновник", "Энотрийский Парнас", "Верлибр". Я никогда не видел их в продаже, и позже узнал, почему: их распространяли только среди клиентов фирмы "Мануцио".

Сначала я подумал, что попал в помещение дирекции изда-

тельства "Гарамон", но тотчас понял, что ошибся. Мы находились во владениях другого издательства. В холле "Гарамона" была маленькая, темная и грязная витрина с последними изданиями, но книги эти были скромными, с еще не разрезанными страницами и непривлекательными сероватыми обложками, — они напоминали французские университетские издания, бумага которых через несколько лет желтела, создавая видимость того, что автор, особенно молодой, печатется уже давно. Здесь тоже была маленькая, но совсем другая витрина, освещенная изнутри, которая оказала гостеприимство книгам издательского дома "Мануцио", некоторые были раскрыты на самых лучших страницах: белые обложки, легкие, покрытые прозрачной пленкой, очень элегантные, рисовая бумага с красивым и четким шрифтом.

Названия книжных серий "Гарамона" звучали серьезно и глубокомысленно: "Гуманитарные исследования" или "Философия". Серии издательства "Мануцио" были озаглавлены утонченно и поэтично: "Не сорванный мною цветок" (поэзия), "Неведомая земля" (проза), "Час олеандра" (там публиковались книги типа "Дневник большой девушки"), "Остров Пасхи" (помоему, эта серия содержала различные эссе), "Новая Атлантида" (последним вышедшим здесь произведением был "Искупленный Кенигсберг — Предварительные рассуждения о всякой будущей метафизике, которая явится в виде двойной трансцендентальной системы и познания о феноменальном ноумене"). На всех обложках — эмблема издательства: пеликан под пальмой и девиз: "У меня есть то, что я дал другим".

Бельбо объяснил туманно и кратко: у мсье Гарамона два издательства, и все. Несколько дней спустя я заметил, что переходом между издательствами "Гарамон" и "Мануцио" пользовались только свои, доверенные лица. Официальный вход в издательство "Мануцио" был со стороны улицы Маркезе Гуальди, где гнилая атмосфера Синсеро Ренато уступала место чистеньким фасадам, широким тротуарам, парадным подъездам с лифтами, сияющими алюминием. Никто не мог бы предположить, что апартаменты в старом доме на улице Синсеро Ренато соединяются всего лишь тремя ступеньками с фирмой на улице

Гуальди. Чтобы получить разрешение разместиться в этом здании, мсье Гарамон, должно быть, в доску расшибся, и, несомненно, он воспользовался поддержкой одного из своих авторов, сотрудника управления гражданского строительства.

Нас тут же приняла госпожа Грация, по-матерински мягкая, в костюме одного цвета со стенами и шейным платком известной фирмы; с предупредительной улыбкой она ввела нас в зал, где висела карта мира.

Помещение хоть и не было слишком большим, но все же напоминало салон Муссолини в Палаццо Венеция благодаря глобусу у входа, а в глубине — красного дерева письменному столу, за которым сидел господин Гарамон, выглядевший так, словно смотришь на него в перевернутый бинокль. Гарамон сделал нам знак приблизиться, и я слегка оробел. Позже, когда войдет Де Губернатис, Гарамон выйдет ему навстречу, и это проявление радушия придаст ему еще большую харизму, потому что посетитель сначала увидит его пересекающим зал, а затем сам пройдет по этому залу под руку с хозяином, и пространство почти магическим образом увеличится вдвое.

Гарамон усадил нас напротив своего стола и заговорил жестко-радушно.

— Господин Бельбо говорил мне много хорошего о вас, господин Казобон. Нам нужны опытные сотрудники. Как вы должны были понять, речь не идет о постоянной работе, мы не можем себе этого позволить. Вы будете получать вознаграждение пропорционально своему усердию, своей самоотдаче, если позволите, потому что наша работа — это своего рода миссия.

Он назвал мне предварительную цифру, основанную на предполагаемом количестве часов работы, которая на тот момент показалась мне разумной.

— Прекрасно, дорогой Казобон.— С того момента, как я стал для него подчиненным, он уже не называл меня "господином".— Эта история металлов должна стать блестящей, и даже более того,— прекрасной. Популярной, доступной, но научной. Она должна поражать воображение читателя, но по-научному. Вот вам пример. Я читал в первых набросках, что существует такая сфера, как ее там, магдебургская — два прижатых друг к другу

полушария, между которыми выкачан воздух. К ней привязывают две пары нормандских лошадей, одну с одной стороны, другую с другой, и тянут в разные стороны, но полушария не разделяются. Короче, это научная новелла. Ваша задача — отследить ее среди всех прочих, менее живописных. А отследив, вы должны добыть рисунок, фреску, картину, что бы там ни было. Того времени. И мы ее дадим на целую страницу в цвете.

— Есть такая гравюра,— сообщил я,— я ее знаю.

— Вот видите! Браво. Целая страница, в цвете.

— Если это гравюра, то она будет черно-белой,— уточнил я.

— Да? Отлично, пусть черно-белой. Наш лозунг — точность. Но на золотом фоне, чтобы ударила читателя как обухом. Надо создавать у него ощущение, что он присутствует в тот день и в том месте, где проводится эксперимент. Ясно? Научность, реализм, страсть. Можно использовать науку, чтобы пронять читателя до глубины души. Речь идет о чем-то театральном, драматичном, как и мадам Кюри, которая возвращается вечером домой и видит в темноте фосфоресцирующее свечение, как его там, Господи... Углеродород, голконда флогистон или как он там, к черту, назывался... и вот Мария Кюри открыла излучение радия. Драматизировать. Не отступая от истины.

— Но разве радиация имеет что-то общее с металлами? — спросил я.

— А разве радий — не металл?

— По-моему, металл.

— Ну вот! Рассматривая металлы, можно свести воедино все человеческое знание. Как мы решили озаглавить книгу, Бельбо?

— Мы думали о каком-то серьезном названии вроде "Металлы и материальная культура".

— Да оно должно быть серьезным. Но с небольшой добавкой, какой-нибудь мелочью, которой все сказано, ну, например... Скажем, "Всемирная история металлов". Там китайцы тоже есть?

— Есть и китайцы.

— Ну значит, всемирная. И это не рекламный трюк, это истина. Или еще лучше: "Чудесные приключения металлов".

И в этот самый момент госпожа Грация доложила о приходе командора Де Губернатиса. Господин Гарамон на мгновение замешкался, недоверчиво взглянув на меня, но Бельбо подал ему знак, как бы говоря, что мне можно доверять. Гарамон велел впустить посетителя и вышел ему навстречу. Де Губернатис был одет в двубортный костюм, с орденской ленточкой в петлице, с авторучкой в карманчике, со сложенной газетой в боковом кармане пальто и с папкой под мышкой.

— Садитесь, дорогой командор, мой уважаемый друг де Амброзиис говорил мне о вас, о вашей жизни, проведенной в служении государству. И тайное поэтическое дарование, не так ли? Покажите же, покажите то сокровище, которое вы держите в руках... Я представляю вам двух моих генеральных директоров.

Он усадил его за стол, заваленный рукописями, и дрожащими от любопытства руками погладил папку, в которой находился шедевр.

— Не говорите ничего, я все знаю. Вы приехали из Випитено, великого и достойного города. Жизнь, посвященная таможенной службе. И втайне, день за днем, ночь за ночью — эти страницы, вдохновляемые демоном поэзии. Поэзия... Она опалила юность Сапфо и питала седовласую старость Гете... "Фармакон,— говорили греки,— яд и лекарство." Конечно, мы должны будем прочесть это ваше творение; я требую как минимум три рецензии о прочитанном — одну внутреннюю и две от наших независимых советников (к сожалению, анонимных — эти люди очень на виду), издательство "Мануцио" не публикует книги, не будучи уверенным в их достоинствах, а достоинства, не мне вам рассказывать, — это нечто неуловимое, их надо обнаруживать шестым чувством, иногда книга имеет недостатки, длинноты — даже Свево плохо писал, скажете вы,— но, черт возьми, там чувствуется идея, ритм, сила. Знаю, знаю, можете ничего не говорить, как только я бросил взгляд на первые слова вашей рукописи, я почувствовал, что в этом что-то есть, однако я не хочу быть единственным судьей, даже притом, что столько раз — о, сколько раз! — отзывы были прохладными, но я упорствовал, потому что нельзя вынести приговор автору, не на-

строившись с ним, как бы это сказать, на одну волну, ну вот, к примеру, я открываю наугад текст, принадлежащий вашему перу, и мой взгляд падает на строчку "как в день осенний, склон пожухлый..." Я не знаю, что последует дальше, но чувствую в этом широкое дыхание, ловлю образ, иногда так начинается восприятие текста, восторг, восхищение... *Cela dit*, дорогой друг, если бы можно было делать, что хочешь! Только издательское дело — это еще и производство, самое благородное из производств, но все-таки производство. А знаете ли вы, сколько стоит сейчас печать, да и бумага? Посмотрите, посмотрите в сегодняшней утренней газете, насколько поднялась *prime rate* на Уолл Стрит. Вы говорите, это нас не касается? Наоборот, очень касается. Знаете ли вы, что мы платим налог даже за продукцию, находящуюся на складе? Если я ничего не распродаю, они облагают налогом возвращенный мне товар. Я оплачиваю даже неуспех, голгофу гения, не признанного филлистерами. Эта веленевая бумага — вот смотрите, какая она тонкая; если вы не против, то я напечатаю книгу именно на такой бумаге, сразу будет видно, что вы поэт. Какой-нибудь шарлатан воспользовался бы плотной бумагой, чтобы замылить глаза и запудрить мозги, но вот эта поэзия написана сердцем, о, слова — это камни, и они потрясают мир — эта веленевая бумага обходится мне столько же, сколько бумага для изготовления банкнот.

Зазвонил телефон. Позже я узнал, что Гарамон нажал на кнопку под крышкой стола и мадам Грация соединила его с фиктивным собеседником.

— Дорогой мэтр! Как? Чудесно! Великая новость, мы бьем во все колокола! Ваша новая книга — это событие. Еще бы, издательство "Мануцио" гордо, тронут, я скажу больше — счастливо тем, что числит вас среди своих авторов. Я видел, что пишут газеты о вашей последней эпической поэме. Это тянет на Нобелевскую премию. Увы, но вы опередили свое время. Мы с огромным трудом продали три тысячи экземпляров...

Командор Де Губернатис побледнел: на три тысячи экземпляров он и надеяться не смел.

— И они не покрыли расходов по производству. Идите,

гляньте за стеклянную дверь, сколько у меня человек в редакции. Сегодня, чтобы покрыть себестоимость книги, мне нужно продать по меньшей мере десять тысяч экземпляров, и, к счастью для многих, я продаю даже больше, но это писатели с талантом, так сказать, другого типа. Бальзак был велик и торговал своими книгами как свежими булочками. Пруст тоже был велик и публиковался за свой счет. А вы — вы попадете в конце концов в школьные антологии, но не в вокзальные киоски, и даже Джойс, как и Пруст, печатался за свой счет. Такие книги, как ваши, я могу себе позволить раз в два-три года. Дайте мне три года времени...

Наступила долгая пауза. На лице Гарамона вырисовалось болезненное смущение.

— Как? За ваш счет? Нет-нет, дело не в сумме, средства можно ограничить... Просто издательство "Мануцио" не привыкло... Конечно, вы не хуже меня знаете, что и Джойс, и Пруст... Конечно, я понимаю...

Опять мучительная пауза.

— Хорошо, обсудим это. Я был с вами откровенен, а вы не терпеливы, приступим, как говорят, к *joint venture*, американцы нас этому обучили. Зайдите завтра, и сядем за расчеты... Мое уважение и восхищение.

Гарамон будто бы очнулся ото сна, провел рукой по глазам, затем сделал вид, что вдруг вспомнил о присутствии своего гостя.

— Простите. Это был Писатель, настоящий писатель, несомненно из Великих. Однако именно поэтому... Иногда чувствуешь унижительность своего ремесла. Если бы не призвание... Но вернемся к нашему делу. Мы друг другу все сказали, я вам напишу, допустим, через месяц. Ваша рукопись останется здесь, в хороших руках.

Командор Де Губернатис вышел, не проронив ни слова. Он только что одной ногой ступил в кузницу славы.

Рыцарь Планисферы, Князь Зодиака, Высочайший Герметический Философ, Верховный Командор Светил, Наипрекраснейший Первосвященник Изиды, Князь Священного Холма, Философ Самофракийский, Титан Кавказа, Дитя Золотой Лиры, Рыцарь Истинного Феникса, Рыцарь Сфинкса, Высочайший Мудрец Лабиринта, Князь Брахман, Мистический Страж Святилища, Великий Архитектор Таинственной Башни, Высочайший Князь Священной Завесы, Толкователь Иероглифов, Орфический Доктор, Страж Трех Огней, Хранитель Несообщаемого Имени, Высочайший Эдип Великих Секретов, Любимый Пастырь Оазиса Тайн, Доктор Священного Огня, Рыцарь Светлого Треугольника.

(Степени Древнего и Изначального Обряда Мемфиса-Мизраима)

"Мануцио" было издательством АСС.

АСС на жаргоне "Мануцио" означало — но почему я употребляю прошедшее время? АСС и сейчас существуют, там все продолжается как ни в чем не бывало, это я теперь отбрасываю все в ужасно давнопрошедшее время, ибо то, что случилось в тот вечер, знаменовало собой как бы разрыв во времени, в нефе церкви Сен-Мартен-де-Шан был нарушен порядок веков... или это потому, что с того вечера я вдруг постарел на много десятилетий, или же из-за боязни, что Они меня настигнут, я говорю так, как если бы составлял летопись распадающейся империи, лежа в ванне со вскрытыми венами, ожидая, когда утону в собственной крови...

АСС — это Автор за Свой Счет, а "Мануцио" — это одно из тех предприятий, которые в англосаксонских странах называются "vanity press". Оборот очень большой, административно-хозяйственных расходов — ноль. Гарамон, госпожа Грация, бухгалтер, называемый также административным директором, в задней коморке, и Лучано, калека-экспедитор, на обширном складе в подвале.

— Я никак не могу понять, как Лучано удается паковать кни-

ги одной рукой,— говорил мне Бельбо,— мне кажется, он помогает себе зубами. Впрочем, он не так много пакует: экспедиторы нормальных издательств отправляют книги в магазины, а Лучано отправляет их только авторам. Издательство "Мануцио" не интересуется читателями... Главное, как говорит мсье Гарамон, это чтобы нам не изменяли авторы, а без читателей можно прекрасно обойтись.

Бельбо восхищался господином Гарамоном. Он видел в нем силу, которой ему не было дано.

Система "Мануцио" была очень проста. Пару объявлений в местных газетах, профессиональных журналах, провинциальных литературных изданиях, особенно таких, которые после выпуска нескольких номеров закрываются. Рекламные материалы средней величины с фотографией автора и двумя-тремя запоминающимися строчками, "Благородный голос в нашей поэзии" или же "Новое доказательство таланта автора "Флорианы и ее сестер".

— И вот сети расставлены,— объяснял Бельбо,— и АСС падают туда гроздьями, если можно гроздьями падать в сети, но нелепые метафоры типичны для авторов "Мануцио", и я от них заразился, простите.

— А потом?

— Возьмем случай Де Губернатиса. Через месяц, когда наш пенсионер уже изнурен беспокойством, господин Гарамон звонит и приглашает его поужинать с несколькими писателями. Встреча назначена в арабском ресторане, очень закрытом, с внешней стороны никаких вывесок. Звонишь в дверь и называешь в глазок свое имя. Шикарная обстановка, приглушенный свет, экзотическая музыка. Гарамон пожимает руку шефу, обращается на "ты" к официантам, отсылает назад бутылки с вином, потому что год его не устраивает, или же говорит: "Простите, дорогой, но это совсем не тот кускус, что едят в Марокко". Де Губернатиса представляют комиссару X, под его контролем находятся все аэропортовые службы, а главное — он изобретатель и апостол "косморанто", международного языка мира, по поводу которого дискутируют в Юнеско. Затем профессор Y, величина в беллетристике, премия Петруццеллис

делла Гаттина 1980 года, но также и светило медицинской науки. Сколько лет преподавал профессор? О да, в те времена учеба была серьезным делом. И наша изысканная поэтесса, очаровательная Одолинда Медзофанти Сассабетти, автор книги "Целомудренные биения сердца", которую вы наверняка читали.

Бельбо признался, что он долго задавал себе вопрос, почему все АСС женского пола подписываются двойной фамилией: Лауретта Солимени Кальканти, Дора Арденци Фьямма, Каролина Пасторелли Чефалу.

Почему у знаменитых женщин-писательниц только одна фамилия, за исключением Ивы Комптон-Бернетт, а у некоторых и вообще нет фамилии, например у Колетт, но зато каждая АСС обязательно зовется Одолинда Медзофанти Сассабетти? А все потому, что истинный писатель пишет из любви к своему творению, и ему неважно, что его знают под псевдонимом вроде Нерваля, тогда как этаким АСС хочет, чтобы его узнавали соседи, жители его квартала и квартала, где он жил раньше. Мужчине его фамилии достаточно, а женщине — нет, потому что есть люди, которые знали ее под девичьей фамилией, а другие знают как замужнюю женщину. Отсюда и двойная фамилия.

— Короче, вечер, насыщенный интеллектуальным общением. У Де Губернатиса складывается впечатление, будто он пьет коктейль с ЛСД. Он будет слушать болтовню собеседников, смачный анекдот о великом поэте, который известен потому, что импотент, а как поэт немногого стоит, он будет блестящими от волнения глазами разглядывать новое издание "Энциклопедии знаменитых итальянцев", которую неожиданно вытащит Гарамон, показывая одну из страниц комиссару (видите, мой дорогой, вы также вошли в Пантеон, о, это по праву).

Бельбо показал мне энциклопедию.

— Час назад я вам задал взбучку, но безгрешных нет. Энциклопедия — это наш с Диоталлеви эксклюзив. Но я клянусь, это не ради прибавки к зарплате. Это одна из забавнейших вещей на свете, и каждый год надо подготовить и выпустить новое, дополненное издание. Структура примерно такова: одна

статья о знаменитом писателе, одна об АСС, и вся задача в том, чтобы хорошо подогнать их по алфавиту и не тратить много места на знаменитостей. Смотрите, например, на букву "Л".

ЛАМПЕДУЗА, Джузеппе Томази ди (1896-1957). Сицилийский писатель. Прожил жизнь в неизвестности и стал знаменит после смерти благодаря своему роману "Гепард".

ЛАМПУСТРИ, Адеодато (1919-). Писатель, воспитатель, воин (награжден бронзовой медалью в Восточной Африке), мыслитель, прозаик и поэт. Его исполинская фигура возвышается над итальянской литературой нашего века. Лампустри заявил о себе в 1959 г. первым томом широкомасштабной трилогии "Братья Кармасси", истории семьи рыбаков из Лукании, написанной с суровым реализмом и высоким поэтическим накалом. За этим произведением, отмеченным в 1960 г. премией Петруццеллис делла Гаттина, в течение нескольких лет появились "Увольнение" и "Пантера с глазами без ресниц", которые, возможно, еще в большей степени, чем первое произведение, дают представление об эпическом размахе, искрящемся пластическом воображении, лирическом вдохновении этого несраженного художника. Лампустри, прилежный министерский служащий, признан в своем кругу безупречно целостной личностью, примерным отцом и супругом, тончайшим оратором.

— Такой Де Губернатис,— объяснял Бельбо,— в конце концов тоже захочет войти в энциклопедию. Он всегда говорил, что обойма знаменитейших подтасована, это заговор лъстивых критиков. Но, главное, он поймет, что войдет в семью писателей, которые в то же время являются директорами государственных учреждений, высшими должностными лицами в банках, аристократами, магистрами. Одним махом он расширяет круг своих знакомств, и, если ему придется просить о какой-нибудь услуге, он теперь будет знать, к кому обращаться. Господин Гарамон имеет власть вытащить Де Губернатиса из глубокой провинции и поднять на вершину. В конце ужина Гарамон шепнет ему на ухо, чтобы он завтра утром зашел.

— И на следующее утро он приходит.

— Можете держать пари. Он проведет бессонную ночь, грезя о славе Адеодато Лампустри.

— И что потом?

— А потом, на следующее утро, Гарамон ему скажет: "Вчера вечером я не посмел об этом говорить, чтобы не обидеть других, но какая величественная вещь, я имею в виду не только положительные, более того — восторженные отзывы, но я сам лично просидел целую ночь над вашими страницами. Книга, достойная литературной премии. Грандиозно, грандиозно". Он вернется к столу, похлопает ладонью по рукописи — теперь уже мятой, затертой влюбленными взглядами как минимум четверых читателей — мять рукописи входило в обязанности госпожи Грации, — и озадаченно уставится на АСС. Так что будем делать? Что будем делать? — спросит Де Губернатис. И Гарамон ответит, что о ценности произведения даже и спорить не приходится, ясно, что эта вещь опередила наше время и издать более двух тысяч экземпляров не удастся, ну максимум две тысячи пятьсот. Что касается Де Губернатиса, то двух тысяч ему бы хватило, чтобы подарить всем известным ему особам, АСС не мыслит в планетарных масштабах, или, скорее, его планета состоит из знакомых лиц, школьных товарищей, директоров банков, коллег-преподавателей из того же колледжа, полковников в отставке. Это все, кого АСС хочет ввести в свой поэтический мир, включая и тех, которым это совершенно не нужно, вроде колбасника или префекта... Боясь, что Гарамон передумает, тогда как все в его доме, в его местечке, в конторе знают, что он представил свою рукопись в крупное миланское издательство, Де Губернатис производит расчеты. Он мог бы снять все со своего счета в банке, одолжить у своего работодателя, взять кредит, продать несколько бон казначейства — Париж стоит мессы. Он скромно предлагает свое участие в расходах. Гарамон принимал смущенный вид, у "Мануцио" это не принято, но, вообще-то, считайте, что договорились, вы меня убедили, ведь и Пруст и Джойс были вынуждены подчиниться жестокой действительности, издержки так велики, пока печатаем две тысячи экземпляров, но контракт будет на максимальное коли-

чество — десять тысяч. Подсчитайте: двести экземпляров идут вам, как автору, чтобы вы могли раздаривать кому хотите, двести — для прессы, потому что мы хотим поднять шум, достойный "Анжелики" Голонов, а тысячу шестьсот отправляем в книжные магазины. С этих экземпляров, как вы понимаете, вы ничего не будете иметь, но, если книга пойдет, мы допечатаем, и там уже ваших двенадцать процентов.

Позже я видел типовой контракт, который Де Губернатис в поэтическом угаре, должно быть, подписал, не читая, под аккомпанемент жалоб администратора на то, что господин Гарамон слишком снизил планку расходов. Десять страниц условий восьмым кеглем, права на заграницу, права на постановку в театре, права на радио- и телесценарии, на издания для слепых азбукой Брайля, права на сокращение для "Ридерс дайджест", гарантии на случай обвинения в клевете, право автора санкционировать редакторские правки, компетенция Миланского суда в решении спорных вопросов... АСС, должно быть, уже был изнурен и полностью погружен в свои мечты о славе, когда добрался до губительных условий, где сказано, что книга издается максимальным тиражом десять тысяч (ни слова о минимальном тираже), что вносимая сумма не зависит от числа отпечатанных экземпляров, о которых говорилось только устно, и более того, что через год издатель имеет право пустить под нож нераспроданную часть тиража, если автор не выкупит ее за половину стоимости, указанной на обложке. Подпись.

Запуск был пышным. Сообщение в прессу на десяти страницах с биографией и критической статьей. Без капли стыда: в редакциях газет все равно отправят в корзину. Фактически отпечатано: тысяча экземпляров в листах, из которых только триста пятьдесят переплетено. Двести автору, полсотни во второразрядные книжные магазины, объединенные в консорциум, пятьдесят в провинциальные журналы, тридцать в большие еженедельники, на всякий случай — если у них останется строчка в рубрике поступивших книг. Один экземпляр будет выслан в подарок больнице и тюрьме, — и понятно, почему в первых не излечиваются, а во вторых не искупают свою вину.

Летом подоспеет премия Петруццеллис дела Гаттина, детище Гарамона. Общие издержки: проживание и питание жюри — два дня, и Ника Самофракийская из позолоченного серебра. Поздравительные телеграммы от авторов "Мануцио".

Наконец, спустя полтора года, настанет час истины. Гарамон ему напишет: "Дорогой Друг, как я и предвидел, вы явились на пятьдесят лет раньше времени. Откликов, как вы видели, была масса, премия, аплодисменты критики, *ça va sans dire*. Но продано очень мало экземпляров, публика не готова. Мы вынуждены освободить склад согласно условиям контракта (прилагаются). Или под нож, или воспользуетесь своими правами и выкупите их за полцены, указанной на обложке.

Де Губернатис безумно страдает, родственники его утешают: люди тебя не понимают, конечно, если бы ты принадлежал к их клану, совал взятки, "Коррьере" сейчас же напечатала бы статью о тебе, все это мафия, надо бороться. Авторских экземпляров осталось только пять, а еще есть столько людей, которых нужно обогатить духовно, ты не должен позволить, чтобы твое творение пошло под нож и было пущено на производство туалетной бумаги, посмотрим, сколько мы можем наскрести, это хорошее вложение денег, живем ведь только раз, допустим, мы можем купить пятьсот экземпляров, а остальные — что ж, *sic transit gloria mundi*.

У "Мануцио" осталось 650 экземпляров без переплета; господин Гарамон переплетает 500 и высылает их наложенным платежом. Итого: автор в щедрости своей оплатил расходы по производству 2000 экземпляров, издательство "Мануцио" отпечатало 1000 и из них переплело 850, из которых 500 были оплачены повторно. Полсотни авторов в год, и издательство "Мануцио" в итоге имеет крупные суммы в активе.

И никаких угрызений совести: оно продает счастье.

Трус умирает много раз до смерти.

(Shakespeare. *Julius Caesar*, II, 2)

Я всегда усматривал противоречие между самоотдачей, с какой Бельбо работал над творениями почтенных авторов "Гарамона", стремясь к тому, чтобы гордиться выпущенными книгами, и разбойным коварством, с которым он не только помогал обводить вокруг пальца бедняг, приходящих в "Мануцио", но и отправлял на улицу Гуальди тех, кого считал неподходящими для "Гарамона" — именно это он на моих глазах пытался проделать с полковником Арденти.

Работая с ним, я часто задавал себе вопрос, почему он соглашается участвовать в таких инсинуациях. Думаю, что не ради денег. Он достаточно хорошо знал свое дело, чтобы найти высокооплачиваемую работу. Я долгое время считал, что он это делал потому, что ему представлялся случай наиболее полно исследовать человеческую глупость, причем с идеального наблюдательного пункта. То, что он называл глупостью, недоступный паралогизм, преступный бред, скрытый под маской безупречной аргументации,— все это завораживало его, и он то и дело это повторял. Но это тоже была маска. Диоталлеви — тот занимался этим шутки ради, может быть, в надежде, что какая-нибудь книга "Мануцио" подарит ему однажды новую комбинацию Торы. И я сам втянулся в это чисто для развлечения, ради смеха, из любопытства, особенно после того, как Гарамон запустил проект "Гермес".

С Бельбо дело обстояло по-другому. Я ясно осознал это, только порывшись в его *files*.

FILENAME: месть, страшная месть

Она приходит так. Если даже в кабинете есть люди, она хватает меня за воротник куртки, приближает ко мне свое лицо и целует меня. Анна, которая, чтобы поцеловать, становится на цыпочки. Она целует меня, будто играет на флиппере.

Она знает, что меня это стесняет. Но подставляет меня.

Она никогда не лжет.

— Я тебя люблю.

— В воскресенье увидимся?

— Нет, я провожу выходные с другом...

— Ты хочешь сказать, с подругой.

— Нет, с другом, ты его знаешь, это тот, который на прошлой неделе был со мной в баре. Я пообещала, ты же не хочешь, чтобы я забирала свои слова назад?

— Не забирай, но не устраивай мне... Прошу тебя, я должен принять автора.

— Гений, которого надо запустить?

— Несчастный, которого надо уничтожить.

Несчастный, которого надо уничтожить.

Я зашел за тобой к Пилладу. Тебя не было. Я долго ждал, потом пошел один, чтобы успеть до закрытия галереи. Я делал вид, будто рассматриваю картины — все равно, как говорят, искусство мертво со времен Гельдерлина. Мне понадобилось двадцать минут на то, чтобы вычислить ресторан, потому что художники всегда выбирают те, что станут знаменитыми только месяц спустя.

Ты была там, среди привычных лиц, рядом с человеком со шрамом. Ты ни на секунду не смутилась. Посмотрела на меня красноречиво и одновременно — как тебе это удастся? — вызывая, как бы говоря: ну и что? Самозванец со шрамом установился на меня как на самозванца. Остальные, которые ориентировались в ситуации, выжидали. От меня требовался повод, чтобы затеять ссору. Я бы легко выпутался, даже если б он меня поколотил. Они все знали, что ты пришла сюда с ним, чтобы спровоцировать меня. Независимо от того, позволю я себя спровоцировать или нет, моя роль была предопределена. В любом случае я давал представление.

Представление — так представление, я выбрал легкую комедию и любезно принял участие в разговоре, надеясь, что кто-нибудь восхитится моим самоконтролем.

Единственный, кто мною восхищался — это был я сам.

Ты трус, когда чувствуешь себя трусом.

Мститель в маске. Как Кларк Кент, я забочусь о молодых непонятых гениях и, как Супермен, наказываю старых гениев, справедливо непонятых. Я помогаю эксплуатировать тех, которые не были так смелы, как я, и не сумели ограничиться ролью зрителя.

Возможно ли это? Всю свою жизнь наказывать людей, которые никогда не узнают, что были наказаны? Ты захотел стать Гомером? Держись, бедняк, и верь.

Я ненавижу того, кто пытается продать мне любезную иллюзию страсти.

Если мы вспомним, что Даат располагается в точке, где Бездна отсекает Срединный Столп, и что расстояние от начала Срединного Столпа до его конца — это Путь Стрелы... и что там покоится Кундалини, мы увидим, что Даат заключает в себе тайну как зарождения, так и возрождения, ключ к проявлению всех вещей через различия противоположных пар и их соединение в Третьем Члене.

(Dion Fortune. *The mystical Qabalah*,
Лондон, Fraternity of the Inner Light, 1957, 7.19)

Как бы там ни было, я должен был заниматься не издательством "Мануцио", а чудесными приключениями металлов. Я стал прочесывать миланские библиотеки. Отправной точкой послужили учебники, я выписывал из них библиографию, и от нее поднимался к более или менее древним первоисточникам, где мог наткнуться на интересные иллюстрации. Нет ничего хуже, чем иллюстрировать главу о космических путешествиях фотографией последнего американского зонда. Господин Гарамон научил меня, что, когда не можешь найти выход, как минимум нужен ангел Гюстава Доре.

Я собрал богатый урожай любопытных репродукций, но их было недостаточно. При подготовке иллюстрированного издания, чтобы выбрать хорошую картинку, нужно просмотреть по меньшей мере еще десятков.

Я получил согласие на четырехдневную поездку в Париж. Маловато, чтобы обойти все архивы. Я отправился туда с Лией, прибыл в четверг, а обратный билет заказал на вечер понедельника. Я сделал ошибку, запланировав посещение Хранилища на понедельник — именно в этот день Хранилище закрыто. Слишком поздно, я вернулся оттуда ни с чем.

Бельбо был этим раздосадован, но я собрал много интересных материалов, и мы представили их господину Гарамону. Он просмотрел привезенные мной иллюстрации, многие из которых были цветными. Затем взглянул на счет и присвистнул:

— Дороговато, дороговато. Разумеется, мы выполняем миссию, работаем во имя культуры, *sa va sans dire*, но мы — не Красный крест, более того, мы не ЮНИСЕФ. Так ли необходимо было покупать весь этот материал? Возьмем хотя бы это, я вижу какого-то усатого господина в кальсонах, вроде д'Артаньяна, окруженного абракадабрами и козерогами, это что, Мандрейк?

— Начало медицины. Влияние Зодиака на разные части тела и соответствующие лекарственные растения. И минералы, включая металлы. Доктрина космических знаков. Это были времена, когда границы между магией и наукой были еще зыбкими.

— Интересно. Ну, а на этом фронтисписе что написано? "Philosophia Moysaica". При чем здесь Моисей, не слишком ли это первобытно?

— Это диспут о *unguentum armarium*, иначе говоря, *weapon salve*. Выдающиеся медики пятьдесят лет спорят, выясняя, может ли эта мазь, если ею смазать оружие, которым нанесли удар, исцелить рану.

— Бред сумасшедшего. И это наука?

— Не в том смысле, в котором мы ее понимаем. Они обсуждали этот вопрос потому, что только недавно открыли чудесные свойства магнита и убедились, что возможно действие на расстоянии. Как учила и магия. А раз уж действие на расстоянии... Понимаете, они-то ошибались, но Вольта и Маркони — нет. Что такое электричество и радио, если не действие на расстоянии?

— Нет, ну вы только посмотрите! Хитер наш Казобон. Наука и магия рука об руку, а? Великая мысль. Ну тогда валяйте, уберите немного этих отвратительных динамо-машин и добавьте еще Мандрейка. Несколько дьявольских заклинаний, или что там еще, на золотом фоне.

— Я не хотел бы перегибать палку. Речь идет о чудесных приключениях металлов. Всякие диковины хороши, только когда они кстати.

— Чудесные приключения металлов должны быть прежде всего историей ошибок. Помещаем красивую диковину, а из подписи следует, что это не соответствует истине. Тем не ме-

нее она помещена, и читатель приходит в восторг, потому что видит, что великие люди тоже допускают ошибки, как и он.

Я рассказал о странном случае, который приключился со мной на берегу Сены, неподалеку от набережной Сен-Мишель. Я вошел в книжный магазин, две симметричные витрины которого уже знаменовали собой шизофрению. С одной стороны книги о компьютерах и о будущем электроники, с другой — сплошь оккультные науки. То же и внутри: "Эппл" и Каббала.

— Невероятно! — изумился Бельбо.

— Очевидно, — возразил Диоталлеви. — Во всяком случае, ты, наверное, последний, кого это удивляет, Джакопо. Мир машин пытается раскрыть секрет творения: буквы и числа.

Гарамон не проронил ни слова. Он сложил руки будто в молитве и устремил взгляд к небесам. Затем хлопнул в ладоши:

— Все, что вы сегодня сказали, утверждает меня в одной мысли, которая уже несколько дней... Но всему свое время, я должен еще над этим поразмыслить. Пока что — вперед. Bravo, Казобон, ваш контракт мы пересмотрим, вы оказались ценным кадром. И давайте, вставляйте побольше Каббалы и компьютеров. В компьютерах используется кремний. Или я ошибаюсь?

— Нет, но кремний — это же не металл, а металлоид.

— Кто обращает внимание на такую мелочь, как окончания? А что же тогда *rosa rosarum*? Компьютер. И Каббала.

— Которая тоже не металл, — настаивал я.

Он проводил нас до двери. У порога он сказал мне:

— Казобон, издательское дело — это искусство, а не наука. Не будем играть в революционеров, это время прошло. Давайте Каббалу. Да, кстати, что касается вашего отчета о расходах, я позволил себе вычеркнуть спальный вагон. Не из жадности, я надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. А потому, что для поиска полезен, как бы это сказать, некоторый спартанский дух. Иначе теряется вера.

Он вновь собрал нас несколько дней спустя. "У меня в кабинете, — сказал он Бельбо, — сидит посетитель, с которым я хотел бы вас познакомить".

Мы пришли. Гарамон беседовал с жирным, лишенным подбородка господином, похожим на тапира, с двумя светлыми усиками под большим, как у животного, носом. Мне он показался знакомым, потом я вспомнил — это профессор Браманти, референдарий, или какое там у него было звание, который выступал в Рио с докладом на тему об Ордене Розенкрейцеров.

— Профессор Браманти,— сказал Гарамон,— утверждает, что сейчас самое время для опытного издателя, чувствующего культурную атмосферу, открыть серию книг, посвященную оккультным наукам.

— Для... издательства "Мануцио",— подсказал Бельбо.

— А для кого же еще? — с хитрой улыбкой подтвердил господин Гарамон.— Профессор Браманти, которого кроме прочих мне порекомендовал дорогой друг, доктор Де Амичис, автор блестящих "Летописей Зодиака", опубликованных нами в этом году, обеспокоен тем, что существующие немногочисленные серии по этим темам — почти во всех случаях выпущенные издателями несерьезными и не внушающими доверия, известными своей поверхностностью, неискренностью, некорректностью, более того, не заботящимися о точности — не воздают в полной мере должного богатству и глубине этого поля исследований...

— После краха утопий современного мира настало время переоценить культуру прошедших эпох,— заявил Браманти.

— Святые слова, профессор. Но вы должны простить нам — ну, не скажу, игнорирование, но, по крайней мере, зыбкость наших представлений об этом вопросе: что лично вы имеете в виду, говоря об оккультных науках? Спиритизм, астрологию, черную магию?

Браманти оборвал его протестующим жестом:

— Помилуйте! Это как раз и есть та пустая болтовня, которой упиваются простаки. А я говорю о науке, пусть и тайной. Конечно, и об астрологии тоже, если это необходимо, но изучаемой не для того, чтобы предсказать машинистке, что в ближайшее воскресенье она встретит мужчину своей жизни. Скорее, речь идет о серьезном исследовании, посвященном, скажем, Деканам.

— Я понимаю. Чисто научный подход. Это, конечно, соответствует нашей линии, но нельзя ли немного поточнее?

Браманти разлеся в кресле и начал блуждать взглядом по комнате, словно в поисках астрального вдохновения.

— Конечно, лучше всего воспользоваться примерами. Я бы сказал, что идеальный читатель серии такого типа должен быть последователем розенкрейцеров и, кроме того, знатоком *in magiam, in necromantiam, in astrologiam, in geomantiam, in pyromantiam, in hydromantiam, in chaomantiam, in medicinam adeptam*, я цитирую книгу Азота — ту, которую таинственная девушка дала Ставрофору, диякону, несущему в процессии крест, как рассказывается в "Raptus philosophorum". Но знания адепта охватывают и другие области, есть среди них, например, физиогностика, касающаяся оккультной физики, статики, динамики и кинематики, астрология или эзотерическая биология и изучение духов природы, герметическая зоология и биологическая астрология. Добавьте сюда космогностику, которая изучает астрологию, но в астрономическом, космологическом, физиологическом, онтологическом аспектах, или антропогностику, изучающую гомологическую анатомию, пророческие науки, флюидную физиологию, психургию, социальную астрологию и герметизм истории. Есть еще качественная математика и, как вы сами знаете, арифмология... Но на предварительном этапе познания надо постичь космографию невидимого, магнетизм, изучить ауры, сны, флюиды, психометрию и ясновидение — и в целом познать пять сверхнатуральных чувств — не говоря уже о гороскопической астрологии, которая становится карикатурой на познание, если не обращаться с ней осторожно, далее: физиогномика, чтение мыслей, искусство гадания (Таро, сонник), вплоть до таких высших ступеней, как пророчество и экстаз. Потребуется достаточное количество информации об управлении флюидами, алхимии, спагирии, телепатии, экзорцизме, обрядовой и заклинательной магии, основах теургии. Что касается истинного оккультизма, я посоветовал бы разрабатывать такие области, как первоначальная Каббала, брахманизм, гимнософия, мемфисская иероглифика...

— Тамплиерская феноменология,— осторожно вставил Бельбо.

Лицо Браманти озарилось.

— Без всякого сомнения. Но я чуть не забыл: до начальных понятий из области некромантии и колдовства небелых рас существуют ономантии, пророческие исступления, произвольное чудотворство, внушение, йога, гипнотизм, сомнамбулизм, ртутная химия... Вронский советовал мистикам не забывать о технике луденских одержимых, о страдающих конвульсиями из Сен-Медара, о мистических напитках, египетском вине, эликсире жизни и aqua tofana. Что касается злого начала (а я понимаю, что тут мы добрались до самого заповедного раздела этой серии), я сказал бы, что нужно поближе познакомиться с тайнами Вельзевула как с истинным саморазрушением, и Сатаны как свергнутого князя, и еще с тайнами Эвринома, Молоха, инкубов и суккубов. Что касается доброго начала, то это небесные тайны святых Михаила, Гавриила и Рафаила и добрых демонов. Затем мистерии Изиды, Митры, Морфея, самофракийские и элевзинские мистерии, естественные мистерии мужского начала — фаллоса, Древо жизни, Ключ к наукам, Бафомет, молот, естественные мистерии женского начала, Церера, Ктеис, Патера, Кибела, Астарта.

Господин Гарамон наклонился вперед с заискивающей улыбкой.

— Вы, конечно, не забудете о гностиках...

— Конечно, нет, хотя по этой специфической теме выпущено много хлама, и все это несерьезно. Как бы там ни было, всякий здоровый оккультизм — это форма гнозиса.

— Я это и имел в виду,— вмешался Гарамон.

— И это все? — спокойно спросил Бельбо.

Браманти надул щеки, сразу превратившись из тапира в хомяка.

— Это все... для того, чтобы посвятить себя созданию серии, а не посвящению... — простите за игру слов. Но уже с полусотней томов вы могли бы, господа, притянуть, как магнитом, тысячи читателей, которые только и ждут уверенного слова... Вложив несколько сот миллионов — я пришел именно к вам,

господин Гарамон, ибо знаю, что вы расположены к самым щедрым предприятиям — и выделив мне скромный процент, как редактору серии...

Браманти сказал достаточно и уже не представлял интереса для Гарамона. Он был спешно отослан не без великих обещаний. Как обычно, комитет советников внимательно взвесит предложение.

Но знайте, что все мы согласны, что бы мы ни говорили.

(Turba Philosophorum)

Когда Браманти вышел, Бельбо заметил, что профессору нужно было бы вынуть пробку. Господин Гарамон не знал этого выражения, и Бельбо попытался передать его смысл в нескольких почтительных иносказаниях, но безуспешно.

— В любом случае,— заключил Гарамон,— не будем слишком требовательны. Этот господин не успел еще и пяти слов сказать, как я уже понял, что это не наш клиент. Он сам. Другое дело — те, о ком он говорил, писатели и читатели. Этот Браманти как бы подкрепил размышления, которым я предавался уже несколько дней. Вот, господа.— И он театральным жестом вынул из ящика три томика.— Вот три книги, вышедшие в последние годы, и все они имели успех. Первая — на английском языке, я ее не читал, но автор — именитый критик. И что же он пишет? Прочтите подзаголовок: гностический роман. А теперь посмотрите сюда: по-видимому, роман с криминальным сюжетом, бестселлер. И о чем он повествует? О гностической церкви в окрестностях Турина. Вам-то известно, кто такие гностики...— Он остановил нас жестом.— Неважно, речь идет о какой-то дьявольской штуке, и мне этого достаточно... Знаю, знаю, я, наверное, слишком тороплюсь, но я не хочу говорить, как вы, я хочу говорить, как этот Браманти. В данный момент я — издатель, а не профессор сравнительной гносеологии или чего-то в этом роде. Что я увидел здорового, обещающего, привлекательного, более того — любопытного в речах Браманти? Эту необыкновенную способность собирать все воедино, он не сказал о гностиках, но вы видели, что он вполне мог бы их упомянуть между геомантией и геровиталом. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что здесь у меня есть другая книга знаменитого журналиста, в которой речь идет о невероятных вещах, происходящих в Турине, подчеркиваю, в Турине, городе автомобилей: колдуны, черные мессы, заклинания дьявола, и все это для людей, которые платят, а не для тех, с Юга, кото-

рые корчатся в судорогах от укуса тарантула. Казобон, Бельбо сказал мне, что вы приехали из Бразилии, где участвовали в сатанинских обрядах тамошних дикарей... Ладно, потом вы мне подробно расскажете, что это такое было, но, в сущности, это не имеет значения. Бразилия здесь, господа. На днях я лично зашел в книжный магазин, как он там называется, не помню, этот магазин лет шесть-семь назад торговал анархистской, революционной литературой. Тупамарос, террористы, более того, марксисты... И что? Как он "перекрасился"? Продает то, о чем говорил Браманти. Действительно, время сейчас смутное, и если, господа, вы зайдете в католическую книжную лавку, где раньше можно было купить только катехизис, сейчас вы там найдете даже переоценку Лютера, но они хотя бы не будут про-давать книгу, где утверждается, что религия — это сплошное надувательство. Зато в тех магазинах, о которых я говорю, продают творения авторов, которые верят в то, о чем пишут, и тех, кто насмехается над этим,— все равно, лишь бы коснуться какой-нибудь темы, как бы это сказать...

— Герметической,— подсказал Диоталлеви.

— Вот именно. Я видел по меньшей мере десяток книг о Гермесе. Таким образом, я подошел к проекту "Гермес". Да, господа, исследуем эту ветвь.

— Золотую ветвь,— заметил Бельбо.

— Именно,— подтвердил Гарамон, не уловивший намек,— речь идет о золотой жиле. Я понял, что эти люди готовы проглотить что угодно, лишь бы оно было, как вы говорите, герметическим, лишь бы там говорилось противоположное тому, о чем они читали в школьных учебниках. Я не благодетель по призванию, но в наши столь мрачные времена подарить кому-то веру, приподнять завесу познания над делами сверхъестественными... Издательство "Гарамон" всегда было верно своей научной миссии...

Бельбо напрягся.

— Мне казалось, что вы имеете в виду "Мануцию".

— И то, и другое. Послушайте меня. Я порылся в этом магазине, а потом пошел в другой, очень серьезный, где тем не

менее был свой небольшой отдел оккультных наук. По этим темам проводятся исследования на университетском уровне, и книги достойных авторов стоят бок о бок с творениями, написанными людьми типа Браманти. Теперь подумаем: этот Браманти, может быть, никогда не встречался с людьми науки, не читал их труды, и читал так, словно был одним из них. Он принадлежит к тем, кто думает, что все, что вы им говорите, относится к их проблеме, как в той истории с кошкой, о которой идет спор между супругами при разводе, в то время как она думает, что они дискутируют о том, какие потроха дать ей на завтрак. Вы же сами видели, Бельбо,— вы только ввернули насчет тамплиеров, а он сейчас же: о'кэй, и тамплиеры тоже, и Каббала, и лото, и кофейная гуща. Они всеядны. Всеядны. Вы видели физиономию Браманти: это грызун. Огромная толпа, разделенная на две категории, я уже их вижу, они проходят перед моими глазами, и имя им — легион. In primis, пишущие, и тут издательство "Мануцио" открывает им свои объятия. Достаточно привлечь их, посвятив серию, которая сделала бы много шума и могла бы называться, скажем...

— "Tabula Smaragdina", — изрек Диоталлеви.

— Что? Нет, слишком сложно, мне, например, это ни о чем не говорит, нужно название, которое бы с чем-то ассоциировалось...

— "Разоблаченная Изида", — предложил я.

— "Разоблаченная Изида"! Звучит хорошо, браво, Казобон, в этом есть что-то от Тутанхамона, скарабея, пирамид. "Разоблаченная Изида" и обложка, слегка завораживающая, но не навязчивая. Продолжим. Далее, есть второе подразделение — покупающие. Да, друзья, вы скажете мне, что "Мануцио" не интересуется покупателями. А кто нам запрещает? На этот раз мы будем продавать издания "Мануцио", господа, это будет качественный скачок! Наконец, остаются исследования на научном уровне, и тут на сцену выходит издательство "Гарамон". Мы найдем хорошего консультанта и наряду с историческими работами и другими университетскими изданиями будем публиковать три-четыре книги в год в серьезной, строгой серии с выразительным, но не красочным названием...

— "Герметика", — бросил Диоталлеви.

— Изысканно. Классическое, полное достоинства название. Вы спросите, зачем тратить деньги на "Гарамон", если мы можем зарабатывать их в "Мануцио". Но серьезная серия действует как манок, привлекает толковых людей, которые придут с другими предложениями, наведут на след, и потом, она манит тех, всяких Браманти, которых будут бросать в объятия "Мануцио". Проект "Гермес", как мне кажется, — совершенен, чистая, рентабельная операция, обеспечивающая идеальное распределение потока между двумя издательствами... Господа, за работу! Посещайте книжные магазины, составляйте библиографии, спрашивайте каталоги, смотрите, что делается в других странах... К тому же, кто знает, сколько мы пропустили людей, которые приносили сокровища определенного типа, а мы от них старались отделаться, потому что тогда нам это было ни к чему. И обязательно, Казобон, вставим немного алхимии в историю металлов. Золото — это, надеюсь, металл. Комментарии — потом, вы знаете, что я открыт для критики, подсказок, возражений, как это принято у культурных людей. С этой минуты план вступает в фазу реализации. Госпожа Грация, впустите господина, который ожидает уже два часа, так с Автором не обращаются! — сказал он, открывая перед нами дверь и стараясь, чтобы его услышали в приемной.

Люди, которых мы встречаем на улице... втайне предаются занятиям черной магией, связываются или по меньшей мере пытаются связаться с Духами Тьмы, чтобы удовлетворить свою жажду тщеславия, ненависти, любви, одним словом, чтобы творить Зло.

(J.K. Huysmans. Предисловие к: J. Bois, *Le satanisme et la magie*, 1895, с. VII-IX)

Я думал, что проект "Гермес" — это едва намеченная идея. Я еще не знал господина Гарамона. В последующие дни, пока я просиживал в библиотеках, выискивая иллюстрации о металлах, в "Мануцио" уже кипела работа.

Два месяца спустя я нашел на столе у Бельбо свежее отпечатанный номер "Энотрийского Парнаса" с длинной статьей "Возрождение оккультизма", где широко известный герметист доктор Мебиус — новенький, с иголки, псевдоним Бельбо, заработавшего таким образом свои первые серебренники на проекте "Гермес" — говорил о чудесном возрождении оккультных наук в современном мире и сообщал, что издательство "Мануцио" собирается ступить на этот путь, открывая серию "Разоблаченная Изида".

Тем временем господин Гарамон написал ряд писем в различные журналы по герметизму, астрологии, Таро, уфологии, подписываясь первым попавшимся именем и интересуясь новой серией, объявленной издательством "Мануцио". В результате редакторы этих журналов начали ему звонить, желая получить информацию, а он, напустив на себя таинственный вид, отвечал, что пока не может сообщить названия десяти первых книг, уже, между прочим, находящихся в производстве. Таким образом, мир оккультистов, несомненно сильно взбудораженный непрерывным гулом тамтама, уже был осведомлен о проекте "Гермес".

— Замаскируемся под цветочки,— сказал господин Гарамон, собрав нас в зале с картой мира,— и пчелки слетятся.

Но это было еще не все. Гарамон показал нам буклет (буклет, как он его называл — так говорят во всех миланских

издательствах, как, впрочем, и ситроен, и рено): ничего необычного, четыре страницы, но на мелованной бумаге. На первой странице воспроизводился рисунок обложки будущей серии, что-то вроде золотой печати (пятиконечная звезда Соломона, объяснил Гарамон) на черном фоне, край страницы окаймлен декоративным узором, напоминающим множество сплетенных свастик (азиатская свастика, уточнил Гарамон, ориентированная по солнцу, а не нацистская, направленная по часовой стрелке). Вверху, где должно помещаться название соответствующего тома, надпись: "Есть многое в небесах и на земле"... На внутренних страницах буклета восхвалялись заслуги издательства "Мануцио" на культурной ниве; затем при помощи нескольких броских лозунгов констатировалось, что современному миру требуются более глубокие и светлые знания, чем может дать наука: "Забытая мудрость Египта, Халдеи, Тибета — для духовного возрождения Запада".

Бельбо спросил, кому предназначены буклеты, и Гарамон улыбнулся, по выражению Бельбо, улыбкой пропащей души раджи Ассама.

— Я выписал из Франции ежегодный справочник всех тайных обществ, существующих на сегодняшний день в мире, и не спрашивайте меня, откуда взялся общедоступный справочник тайных обществ; он просто существует, вот оно, издание Анри Верье, с адресами, номерами телефонов, почтовыми индексами. Вы, Бельбо, просмотрите его и вычеркните общества, не представляющие для нас интереса, я вижу там и иезуитов, и Опус Деи, и карбонариев, и "Ротари Клуб", выписывайте все, что имеет оккультный оттенок, я уже некоторые отметил.

Он полистал справочник:

— ...абсолютисты (верят в метаморфозы), "Aetherius Society" в Калифорнии (телепатическая связь с Марсом), "Astara" из Лозанны (клятва полной сохранности великой тайны), "Atlanteans" в Великобритании (поиски утраченного счастья), "Builders of the Adytum" в Калифорнии (алхимия, Каббала, астрология), "Кружок Е.Б." из Перпиньяна (посвященный Хатор, богине любви и хранительнице Горы Мертвых), "Кружок Элифаса Леви" из Муле (я не знаю, кто этот Леви, должно быть, это

тот французский антрополог, или кто он там по специальности), "Рыцари Союза Тамплиеров" из Тулузы, "Колледж Друзей Галлии", "Спиритический Конвент Иерихона", "Cosmic Church of Truth" во Флориде, "Традиционалистский семинар Есбне" в Швейцарии, мормоны (этих я даже однажды нашел в каком-то телефонном справочнике, но, может быть, их уже там нет), "Церковь Митры" в Лондоне и Брюсселе, "Церковь Сатаны" в Лос-Анджелесе, "Объединенная Церковь Люцифера" во Франции, "Розенкрейцерская Апостольская Церковь" в Брюсселе, "Дети Тьмы", или "Зеленый Орден" из Кот-д'Ор (этих, наверное, не надо, кто знает, на каком языке они изъясняются), "Западная герметическая школа" в Монтевидео, "Национальный институт Каббалы" с Манхэттена, "Центральный храм герметической науки штата Огайо", "Tetra-Gnosis" из Чикаго, "Древние Братья Розы и Креста" из Сен-Сир-сюр-Мер, "Иоаннитское Братство за Тамплиеровское Воскресение" в Касселе, "Международное Братство Изиды" в Гренобле, "Древние баварские иллюминаты" из Сан-Франциско, "Святылище Гнозиса" из Шермен Оукс, "Американский фонд Грааля", "Sociedade do Graal do Brasil", "Герметическое братство Луксора", "Лекторий розенкрейцеров" в Голландии, "Движение Грааля" в Страсбурге, "Орден Анубиса" в Нью-Йорке, "Храм черной пятиконечной звезды" в Манчестере, "Общество Одина" во Флориде, "Орден Подвязки" (к ним, кажется, имеет отношение даже английская королева), "Орден Вриля" (неонацистское масонство, без адреса), "Ополчение Храма" из Монпелье, "Высший Орден Солнечного Храма" в Монте-Карло, "Роза и Крест" из Гарлема (до чего дошло, теперь уже негры), "Викка" (люциферовское общество кельтского послушания, они призывают 72 духа Каббалы)... в общем, надо ли продолжать?

— Они все действительно существуют? — спросил Бельбо.

— Это еще не все. За работу, составьте окончательный список и будем рассылать. Даже если это иностранцы. Среди этих людей новости быстро распространяются. Остается сделать только одно. Надо обойти хорошие книжные магазины и поговорить не только с продавцами, но и с клиентами. Упоминайте в разговорах, что существует такая-то и такая-то серия.

Диоталлеви заметил, что они не могут так засвечиваться, нужно найти более неприметных коммивояжеров, и Гарамон велел ему таких поискать.

— Главное, чтоб они работали бесплатно.

— Ну и требования! — прокомментировал Бельбо, когда мы вернулись в свою рабочую комнату. Но подземные боги нас хранили. Именно в этот момент вошла Лоренца Пеллегрини, более солнечная, чем когда бы то ни было, Бельбо просиял, а она, увидев буклеты, проявила любопытство.

Когда она узнала о плане соседнего издательства, лицо ее озарилось.

— Великолепно, у меня есть один ужасно симпатичный друг, бывший уругвайский тупамаро, который работает в журнале под названием "Пикатрикс", он всегда водит меня на спиритические сеансы. Я подружилась с одной очаровательной эктоплазмой, теперь она всегда спрашивает меня, как только материализуется!

Бельбо взглянул на Лоренцу, будто хотел о чем-то спросить, но передумал. Наверное, он уже привык не удивляться тому, что Лоренца посещает самые подозрительные места, и решил беспокоиться только тогда, когда это могло омрачить их любовные отношения (любил ли он ее?). А в этом намеке на "Пикатрикс" он усмотрел не столько призрак полковника, сколько фигуру слишком симпатичного уругвайца. Но Лоренца уже говорила о другом, рассказывала, что часто посещает эти маленькие книжные лавочки, где торгуют книгами, которые собирается публиковать "Разоблаченная Изидида".

— Там есть что посмотреть, знаете, — объясняла она. — Я захожу там лечебные травы и инструкции по созданию гомункулуса, в точности как Фауст с троянской Еленой, ой, Джакопо, давай сделаем, я бы так хотела иметь гомункулуса от тебя, потом будем держать его дома как таксу. Это легко; в этой книге было сказано, что достаточно собрать в колбу немного человеческой спермы, надеюсь, что для тебя труда не составит, да не красней, дурачок, потом смешать ее с гипоменом, это, кажется,

жидкость... секретируемая... секретирующая... как это сказать?..

— Секретируемая,— подсказал Диоталлеви.

— Да? Ну в общем, то, что выделяют беременные кобылы, мне кажется, что это очень трудно, если бы я была беременной кобылой, то вовсе не хотела бы, чтобы у меня брали гипомен, особенно незнакомые мне люди, но думаю, что его можно найти в готовом виде, как agarbatties. А потом сливаешь все это в сосуд, настаиваешь сорок дней и наконец видишь, как постепенно образуется фигурка, мини-зародыш, который еще через два месяца становится прелестным гомункулусом, выходит из сосуда и начинает тебе служить, по-моему, они никогда не умирают — подумай только, он будет носить тебе цветы на могилу, когда ты умрешь!

— А что еще ты видела в этих лавках? — поинтересовался Бельбо.

— Фантастических людей — людей, которые говорят, как ангелы, которые делают золото, а также профессиональных магов с физиономиями профессиональных магов...

— И как выглядят эти профессиональные маги?

— У них обычно орлиный нос, брови, как у русских, и хищный взгляд; они носят длинные волосы, как раньше художники, и бороду, но не густую — несколько прядей седины между подбородком и щеками, а усы у них немного торчат и спадают на верхнюю губу космами, и это хорошо, потому что губа слишком вздернута, у бедняжек торчат зубы, которые все немного находят друг на друга. Такие зубы, конечно, надо скрывать, но они улыбаются, причем очень нежно, а их глаза (хищные, как я вам сказала, да?) пронизывают вас волнующим взглядом.

— Герметическое лицо,— прокомментировал Диоталлеви.

— Да? Ну вот видите. Когда кто-то заходит и спрашивает книгу, допустим, с заклинаниями против злых духов, они тотчас же подсказывают продавцу нужное название, и как раз такое, которого в магазине нет. Но если ты с ними в дружеских отношениях и спросишь, действенна ли эта книга, они опять понимающе улыбаются, как будто разговаривают с детьми, и отвечают, что к таким вещам надо относиться осторожно. Потом они

рассказывают случаи с чертями, которые делали ужасные гадости своим друзьям, ты пугаешься, а они ободряют тебя, говоря, что часто это просто истерия. Короче, никогда не поймешь, верят они в это или нет. Часто продавцы дарят мне благовонные палочки; однажды один подарил маленькую руку из слоновой кости против сглаза.

— Так вот, если наткнешься на такого,— сказал ей Бельбо,— когда будешь там слоняться, спроси, известно ли ему об этой новой серии "Мануцио", и даже можешь показать буклет.

Лоренца ушла, прихватив десяток буклетов. В последующие недели она, должно быть, тоже хорошо поработала, но я и не представлял себе, что все будет развиваться так быстро. Несколько месяцев спустя госпоже Грации уже не удавалось сдерживать напор бесноватых, как мы определили АСС с оккультными интересами. Имя им — легион, так уж следует из их природы.

Он призывает силы Скрижали Союза, следуя Высшему Ритуалу Пентаграммы, с Активным и Пассивным Духом, с Эхиех и Агла. Он возвращается к алтарю и читает следующий призыв к Еноховым духам: Ol Sonuf Vaorsag Goho lad Balt, Lonsh Calz Vonpho, Sobra Z-ol Ror I Ta Nazps, od Graa Ta Malprg... Ds Hol-q Qaa Nothoa Zimz, Od Commah Ta Nopbloh Zien...

(Israel Regardie. *The Original Account of the Teachings, Rites and Ceremonies of the Hermetic Order of the Golden Dawn. Ritual for Invisibility*, Сент-Пол, Llewellyn Publications, 1986, с.423)

Нам повезло, и у нас состоялся первый разговор на наивысшем уровне, если учесть уровень нашего посвящения.

Наше трио, Бельбо, Диоталлеви и я, было в полном составе; мы чуть не вскрикнули от изумления, когда вошел наш гость. У него было герметическое лицо, описанное Лоренцей Пеллегрини, а кроме того, он был одет в черное.

Он вошел, осторожно оглядываясь, и представился (профессор Каместр). На вопрос "профессор чего?" ответил неопределенным жестом, как бы призывая нас к сдержанности.

— Извините,— сказал он,— я не знаю, занимаетесь ли вы этой проблемой только с чисто технической, коммерческой точки зрения или связаны с какой-нибудь группой посвященных...

Мы успокоили его.

— Это вовсе не чрезмерная осторожность с моей стороны,— заявил он,— но я не хотел бы иметь отношения с кем-то из ОХВ,— и пояснил, видя наше недоумение: — Орден Храма Востока, община последних якобы приверженцев Алистера Кроули... Я вижу, господа, что вы не знакомы с... Это к лучшему, с вашей стороны не будет предубеждений.— Он согласился присесть.— Потому что, видите ли, труд, который я сейчас хотел бы вам представить, смело возражает Кроули. Все мы, и я в том числе, еще храним верность откровениям "Liber AL vel legis", которая, как вам, наверное, известно, была продиктована Кроули в 1904 году в Каире высшим разумом по имени Айвасс. Сторонники ОХВ и сегодня изучают текст во всех четырех издани-

ях, первое из которых вышло за девять месяцев до начала войны на Балканах, второе — за девять месяцев до начала первой мировой войны, третье — за девять месяцев до китайско-японской войны, четвертое — за девять месяцев до бойни гражданской войны в Испании...

Я невольно скрестил пальцы. Он заметил это и мрачно улыбнулся.

— Мне понятна ваша нерешительность. Приняв во внимание то, что я сейчас принес вам пятую версию этой книги, вы можете задаться вопросом: что же произойдет через девять месяцев? Успокойтесь, ничего, ибо то, что я вновь предлагаю вам — это дополненная "Liber legis", поскольку мне оказал честь своим посещением не простой высший разум, а сам Эл, высшее начало, которого иначе называют Хойор-паар-Краат — двойник или мистический близнец Ра-Хоор-Кхута. Единственное, что меня волнует — хотя бы для того, чтобы избежать пагубных влияний, — будет ли у меня возможность опубликовать мой труд к зимнему солнцестоянию.

— Можно попробовать, — успокоил его Бельбо.

— Я удовлетворен. Книга наделает шуму в кругах посвященных, ибо, как вы можете понять, мой мистический источник более серьезен и достоин доверия, чем источник Кроули. Я не знаю, как Кроули мог "оживить" ритуалы Зверя, пренебрегая литургией Меча. Только обнажив меч, понимаешь, что такое Махапралая, иначе говоря, Третий глаз Кундалини. Кроме того, в своем учении о числах, целиком опирающемся на число Зверя, он не предусмотрел 93, 118, 444, 868 и 1001 — Новые Числа.

— Что они означают? — заинтересовался Диоталлеви.

— Ну, — объяснил профессор Каместр, — как говорилось уже в первой "Liber legis", каждое число бесконечно, и между ними разницы нет!

— Понимаю, — сказал Бельбо. — Но не кажется ли вам, что все это немного непонятно среднему читателю?

Каместр чуть не подпрыгнул на стуле.

— А иначе и быть не может. Абсолютно. Тот, кто понял бы эти секреты без соответствующей подготовки, провалился бы в

бездну! Даже публикуя их в завуалированном виде, я уже риску, поверьте. Я разрабатываю область поклонения Зверю по более радикальным образцам, чем Кроули, вы увидите страницы, посвященные *congressus cum daemone*, предписания, касающиеся храмовых предметов и плотского союза с Багряной Невестой и Зверем, на Котором Она Восседает. Кроули остановился на так называемом противоестественном плотском соединении, а я стараюсь перенести ритуал по ту сторону Зла, как мы его себе представляем, я касаюсь непостижимого, абсолютной чистоты Гозтии, крайнего порога Бас-Аумн и Са-Ба-Фт.

Бельбо оставалось только прозондировать финансовые возможности Каместра. Окольными путями ему удалось достичь цели, и в конце концов стало ясно, что наш гость, как и Браманти, нисколько не намерен финансировать издание своих трудов. Тогда наступила фаза отчаливания, с культурно обставленной просьбой оставить рукопись на неделю для изучения, а потом будет видно. Но при этих словах Каместр прижал рукопись к груди, заявляя, что никогда еще к нему не относились с таким недоверием, и вышел, дав понять, что располагает особыми возможностями, чтобы заставить нас пожалеть о том, что мы его оскорбили.

Тем не менее вскоре в нашем распоряжении уже был десяток добротных рукописей АСС. Нужен был хотя бы минимальный отбор, учитывая, что мы хотели их еще и продавать. Прочесть все представлялось совершенно невозможным, поэтому мы бегло просматривали оглавления и затем делились друг с другом своими открытиями.

Отсюда вытекает необычный вопрос. Знали ли египтяне электричество?

(Peter Kolosimo. *Terra senza tempo*,
Милан, Sugar, 1964, с.111)

— Мне попало кое-что об исчезнувших цивилизациях и таинственных странах,— объявил Бельбо.— Кажется, вначале существовал континент Му, где-то возле Австралии, и именно оттуда во все стороны потянулись великие потоки миграций. Один — на остров Авалон, другой — на Кавказ и к истокам Инда, затем кельты, основатели египетской цивилизации и, наконец, Атлантида...

— Старье: я могу вам весь стол завалить книгами о Му,— похвастался я.

— Но это может быть рентабельным. К тому же там есть одна прекрасная глава о миграции греков на Юкатан, повествующая о барельефе с изображением воина из Чичен-Ицы, похожего на римского легионера. Как две капли воды...

— Все шлемы в мире украшены или перьями или конской гривой,— сказал Диоталлеви.— Это не доказательство.

— Для тебя, но не для него. Он находит поклонение змее во всех цивилизациях и из этого делает вывод, что эти цивилизации имеют общее происхождение...

— Кто только не поклонялся змее? — опять сказал Диоталлеви.— Кроме, конечно, Избранного Народа.

— Ну да, они поклонялись тельцам.

— Это было мгновением слабости. Я бы отклонил, даже не смотря на рентабельность. Кельтизм и арианизм, Кали-Юга, закат Запада и эсэсовская духовность. Может быть, я параноик, но мне это отдает нацизмом.

— Что не является для Гарамона противопоказанием.

— Да, но все имеет свои границы. Зато я видел рукопись о гномах, русалках, саламандрах, эльфах и сильфидах, феях... Однако там тоже начинаются рассуждения об истоках арийской цивилизации. Такое впечатление, что праотцами эсэсовцев являются семь гномов.

- Не семь гномов, а нибелунги.
- Но здесь речь идет об ирландском Маленьком Народце. Феи — злые, а малыши добрые, только чуть-чуть задиристые.
- Ладно, отложим это. А вы, Казобон, что нашли?
- Только один любопытный текст о Христофоре Колумбе: автор анализирует его подпись и находит в ней связь с пирамидами. Целью Колумба было восстановление Иерусалимского храма, ибо он исполнял обязанности великого магистра тамплиеров в изгнании. Поскольку он, как известно, был португальским евреем, а значит, сведущим каббалистом, то усмирять бури и укрощал цингу силой волшебных заклинаний. Я не заглядывал в рукописи о Каббале, потому что думаю, что их просмотрел Диоталлеви.
- Во всех неправильно написаны еврейские буквы, это фотокопии брошюр типа "Smorfia".
- Не забывайте, что мы сейчас отбираем тексты для "Разоблаченной Изиды". Не будем заниматься филологией. Может быть, бесноватым понравились еврейские буквы, взятые из "Smorfia". По всем рукописям о масонстве я пока в неопределенности. Господин Гарамон советовал мне здесь действовать осторожно, он не хочет оказаться втянутым в полемику между различными течениями. Однако я не обошел бы вниманием вот эту, о масонской символике в Лурдской пещере. Или вот эту, великолепную, о появлении в момент изобретения флага Соединенных Штатов некоего дворянина, вероятно графа де Сен-Жермена, близкого друга Франклина и Лафайета. Хоть автор и правильно объясняет значение звездочек, но в вопросе о полосах он заблуждается.
- Граф де Сен-Жермен! — воскликнул я. — Ну надо же!
- А что, вы его знаете?
- Если я скажу да, вы не поверите. Ладно, оставим это. У меня тут есть нечто чудовищное на четырехстах страницах против заблуждений современной науки: "Атом — еврейская выдумка, ошибка Эйнштейна и мистическая тайна энергии", "Иллюзия Галилея и нематериальная природа Солнца и Луны".
- Вот поэтому, — сказал Диоталлеви, — мне больше всего понравился обзор фортовских наук.

— И что это такое?

— Название происходит от имени некоего Чарлза Хоу Фор-та, который собрал огромную коллекцию необъяснимых явлений. Дождь из лягушек в Бирмингеме, отпечатки фантастического животного в Девоне, таинственные, покрытые присосками лестницы на некоторых горных хребтах, нерегулярность в наступлении равноденствий, надписи на метеоритах, черный снег, кровавые грозы, крылатые существа на высоте восемь тысяч метров над Палермо, светящиеся круги в море, останки гигантов, водопад из сухих листьев во Франции, осадки из живой материи на Суматре и, конечно, все эти следы на Мачу-Пикчу и других вершинах Южной Америки, свидетельствующие о приземлении в доисторические времена мощных космических кораблей. Мы не одни во Вселенной.

— Неплохо,— одобрил Бельбо.— А меня заинтриговали эти пятьсот страниц о пирамидах. Известно ли вам, что пирамида Хеопса расположена точно на тридцатой параллели, пересекающей наибольшее число земель, которые выступили из-под воды? Что геометрические соотношения, обнаруженные в пирамиде Хеопса,— те же, что и в Педра Пинтада в Амазонии? Что в Египте было две крылатые змеи, одна — на троне Тутанхамона, другая — на пирамиде Саккара, и что это отсылает нас к Кецалькоатлю?

— Какое отношение имеет Кецалькоатль к Амазонии, если он входит в мексиканский пантеон? — спросил я.

— Ну, я, должно быть, упустил какое-то звено. С другой стороны, чем объяснить, что статуи острова Пасхи — мегалиты, подобные кельтским? Одного из полинезийских богов звали Йа, и это, конечно, еврейский Йод, как и древневенгерский Йов, великий и благой бог. Одна древняя мексиканская рукопись изображает землю в виде квадрата, окруженного морем, а в центре находится пирамида, у основания которой написано "Ацтлан", что напоминает Атлас или Атлантиду. Почему по обе стороны Атлантики находят пирамиды?

— Потому что легче строить пирамиды, чем сферы. Потому что ветер образует дюны в форме пирамид, а не Парфенона.

— Ненавижу дух Просвещения,— проворчал Диоталлеви.

— Я продолжу. В египетской религии культ бога Ра появляется не раньше Нового Царства, следовательно, он идет от кельтов. Вспомните святого Николая и его сани. В доисторическом Египте солнечной повозкой были сани. А поскольку в Египте они не могли скользить по снегу, их происхождение, должно быть, нордическое...

Я не уступал.

— Но до изобретения колеса на песке тоже использовали сани.

— Не перебивайте. В книге говорится, что надо вначале установить аналогии, а затем находить им объяснения. И автор предупреждает, что в конечном счете доводы вполне научны. Египтяне знали электричество, иначе они не смогли бы сделать то, что сделали. Один немецкий инженер, которому было поручено прокладывать канализацию под Багдадом, нашел электрические батарейки, еще действующие электрические батарейки, относящиеся к эпохе Сасанидов. Во время раскопок в Вавилоне обнаружили аккумуляторы, созданные четыре тысячи лет назад. И наконец, Ковчег Завета (в котором находились скрижали с заповедями, жезл Аарона и сосуд с манной из пустыни) был неким электрическим сейфом, способным производить разряды порядка 500 вольт.

— Я это уже видел в каком-то фильме.

— Ну так что? Откуда, по-вашему, сценаристы черпают свои идеи? Ковчег был сделан из древесины акации, покрыт золотом изнутри и снаружи — тот же принцип, что в электрических конденсаторах: два проводника, разделенных изолятором. Ковчег был обвит гирляндой из чистого золота. Помещался он в сухой зоне, где магнитное поле достигало 500-600 вольт на квадратный метр. Говорят, что Порсенна с помощью электричества освободил свое царство от страшного зверя, которого звали Вольт.

— Вот почему Вольта выбрал это экзотическое прозвище. До этого его звали всего лишь Шмршлын Краснопольский.

— Будем серьезнее. Тем более что у меня здесь кроме рукописей целый веер писем с откровениями о связях между

Жанной д'Арк и Книгами Сивилл, талмудическим демоном Лилит и двуполой Великой Матерью, генетическим кодом и марсианским письмом, тайным разумом растений, космическим возрождением и психоанализом, Марксом и Ницше в перспективе новой ангелологии, Золотым Числом и блошиным рынком в Клиньянкуре, Кантом и оккультизмом, Элевзинскими мистериями и джазом, Калиостро и атомной энергией, гомосексуализмом и гнозисом, Големом и классовой борьбой, кончая восьмитомным трудом о Граале и Святом Сердце.

— Что они хотят доказать? Что Грааль — это аллегория Святого Сердца, или что Святое Сердце — это аллегория Грааля?

— Я усматриваю разницу и могу ее оценить, но думаю, что автору подходит и одно, и другое. Короче, я не знаю, что с этим делать. Нужно было бы услышать мнение господина Гарамона.

И мы его услышали. Гарамон заявил, что в принципе ничего не надо отбрасывать и каждому надо предоставить возможность высказаться.

— Заметьте, большая часть того, что мы видели, повторяет то, что можно найти в привокзальных киосках,— сказал я.— Авторы, даже те, что печатаются, подпитываются друг от друга, один приводит в качестве свидетельства утверждение другого, и все используют как решающее доказательство одного из высказываний Ямвлиха.

— Ну и что? — спросил Гарамон.— Не думаете ли вы продать читателям то, что им неизвестно? Книги "Разоблаченной Изиды" должны говорить именно о том, о чем говорят другие. Они взаимно подтверждают друг друга, а значит, им можно верить. Не гонитесь за оригинальностью.

— Хорошо,— согласился Бельбо,— но нужно бы знать, что очевидно, а что нет. Неплохо бы обратиться к консультанту.

— Какого плана?

— Я не знаю. Но он должен быть скептичнее, чем бесноватые, и вместе с тем знать их среду. Кроме того, он должен сказать нам, на что надо делать ставку в герметике. Серьезный исследователь герметизма эпохи Возрождения...

— Браво,— насмешливо сказал Диоталлеви,— и как только ты сунешь ему в руки Грааль и Святое Сердце, он уйдет, хлопнув дверью.

— Это неизвестно.

— Я думаю, что у меня есть нужный человек,— оживился я.— Он действительно эрудит, который воспринимает эти вещи достаточно серьезно, но с изяществом, я бы даже сказал, с иронией. Я встретил его в Бразилии, а сейчас он должен быть в Милане. У меня где-то есть его телефон.

— Свяжитесь с ним,— сказал Гарамон.— Но осторожно, все зависит от цены. И потом, постарайтесь использовать его в чудесных приключениях металлов.

Аглиэ, кажется, был счастлив вновь услышать меня. Он спросил, как поживает очаровательная Ампаро, я сдержанно дал понять, что это дело прошлое, он извинился, сделал несколько скромных замечаний по поводу свежести, с которой молодой человек может раскрывать новые главы своей жизни. Я вкратце рассказал ему об издательском проекте. Он, кажется, заинтересовался, сказал, что с удовольствием с нами встретится, и мы договорились о встрече у него дома.

С момента зарождения проекта "Гермес" до этого дня я беззаботно потешался над половиной мира. Сейчас Они начали предъявлять счет. Я тоже был пчелой и летел к цветку, но еще не знал этого.

В течение дня ты несколько раз подойдешь к лягушке и произнесешь слова, воздающие ей почести. И ты попросишь ее совершить чудеса, каких тебе захочется... В их ожидании ты вырежешь крест, на котором принесешь ее в жертву.

(Из Ритуала Алистера Кроули)

Аглиз жил неподалеку от площади Суза: заповедная улочка, небольшой дворец конца прошлого века, скромно, но со вкусом украшенный цветами. Нам открыл старый слуга в полосатом жилете, проводил нас в гостиную и попросил подождать господина графа.

— Выходит, он граф,— прошептал Бельбо.

— Я разве вам не говорил? Это же воскресший Сен-Жермен.

— Он не может воскреснуть, потому что никогда не умирал,— отрезал Диоталлеви.— Уж не Вечный ли он жид— Агасфер?

— Некоторые утверждают, что граф де Сен-Жермен был также Агасфером.

— Вот видите!

Вошел Аглиз, как всегда одетый с иголочки. Пожал нам руки и извинился: скучная и совершенно непредвиденная встреча заставляет его задержаться в кабинете еще минут на десять. Он распорядился подать кофе и предложил нам сесть. Затем скрылся за тяжелой, потертой кожаной портьерой. Двери не было, и пока мы пили кофе, до нас доносились возбужденные голоса из соседней комнаты. Поначалу мы беседовали, повысив тон, чтобы не подслушивать, но затем Бельбо заметил, что, может быть, мы мешаем. В наступившей тишине мы услышали голос и фразу, возбудившие наше любопытство. Диоталлеви встал, словно его заинтересовала висевшая на стене у самой портьеры гравюра XVII века. На ней была изображена горная пещера, к которой взбирались паломники, преодолевая семь ступеней. Прошло еще немного времени, и мы уже все втроем делали вид, что рассматриваем картину.

Голос, который мы услышали, несомненно принадлежал Браманти:

— Короче говоря, я ни к кому чертей не посылаю! — возмущался он.

В этот день мы поняли, что у Браманти не только внешность напоминает тапира, но и голос тоже.

Другой голос, с сильным французским акцентом, не был нам знаком, он звучал резко, почти истерично. Время от времени в диалог вступал голос Аглиз, бархатистый и примиряющий.

— Полноте, господа,— увещевал Аглиз,— вы попросили рас судить вас, и для меня это большая честь, но, коль так, извольте меня выслушать. Прежде всего позвольте сказать, дорогой Пьер, что с вашей стороны было по меньшей мере неосторожно писать это письмо...

— Все очень просто, господин граф,— отвечал француз.— Этот господин Браманти, дэ... пишет статьи в журнал, который все мы, Бог ты мой, уважаем, и позволяет себе довольно мерзкие издевки по отношению к некоторым люциферянам, говоря, что они якобы воруют облатки, даже не веря в истинное присутствие, чтобы заработать на этом деньги, и тра-та-ти и тра-та-та! Ну, вот теперь все знают, что единственная признанная Люциферова церковь — та, которой я являюсь скромным тавроболиастом и психопомпом, а известно, что моя церковь, дэ... не занимается вульгарным сатанизмом и не варит из облаток ни уху, ни какое-либо там рагу, как это делает каноник Докре из церкви Сен-Сюльпис. Ну а я написал в письме, что мы, дескать, не какие-нибудь там старомодные сатанисты, поклоняющиеся Великому держителю Зла, и что нам нет нужды, дэ.. подражать Римской церкви со всеми ее дароносицами и этими, как их, ризами... Мы, скорее,— палладиане, дэ... и весь мир знает, что для нас Люцифер — это основа добра, и если уж на то пошло, то началом зла — вот уж поистине судьба-индейка — является Адонай, потому что ведь это он создал мир, а Люцифер пытался воспрепятствовать этому...

— Пусть так,— возбужденно заговорил Браманти,— я мог согрешить по легкомыслию, но это не давало вам права угрожать мне колдовством!

— Ну-ну, будет вам! Не надо запутывать, выньте затычки из ушей, я же просто употребил метафору! Скорее всего это вы в ответ напустили на меня чары!

— Да уж, конечно, я и мои братья станем терять время, чтобы посылать бесенят во все округи! Мы исповедуем "Учение и ритуал высшей магии", и мы вовсе не колдуны!

— Господин граф, я взываю к вам. Достоверно известно, что господин Браманти поддерживает отношения с аббатом Бутру, а вы же хорошо знаете, что ходят слухи, будто этот священник приказал вытатуировать себе на подошвах распятие, чтобы, о Боже, топтать нашего Господа или своего... Так вот, неделю назад встречаю я этого так называемого аббата в книжной лавке Дю Сангреаль, вы ее знаете, он улыбается мне, такой же скользкий, как его одежда, и говорит: "Ну-ну, дэ... мы с вами поладим в один из ближайших вечерков"... Но как это понимать — "в один из ближайших вечерков"? А понимать это надо так, что — послушайте-ка, через два дня начинаются визиты: я собираюсь ложиться спать — и вдруг, дэ... чувствую, как меня по лицу шлепают флюидами, ну, вы же знаете, что эти эманации легко распознать.

— Вы, наверное, потеряли подошвами о коврик.

— Вы думаете? Но тогда почему летали все безделушки? Один из моих алембиков стукнул меня по голове, гипсовый Бафомет — подарок моего бедного отца — дэ... свалился на пол, почему на стене появились красные надписи — всякая чушь и грязь, которую я не смею повторить? Вы же знаете, что не более года назад покойный господин Гро обвинил этого аббата в том, что он делает припарки, простите, из фекалий, а аббат приговорил его к смерти, и спустя две недели, дэ... бедняга господин Гро умер при таинственных обстоятельствах. А то, что этот Бутру имеет дело с ядовитыми веществами, так это установил даже почетный суд, созданный лионскими мартинистами...

— Основываясь на клевете...— вставил Браманти.

— Будет вам, знаете! Дела такого сорта всегда строятся на косвенных уликах...

— Пусть так, но суд почему-то умолчал о том, что господин Гро был алкоголиком и имел последнюю стадию цирроза.

— Да не прикидывайтесь вы ребенком! Колдовство действует естественным путем, и, если кто-то болен циррозом, его бьют по больному органу,— это азбука черной магии...

— Так, значит, если кто помирает от цирроза, так это дело рук добропорядочного Бутру? Не смешите меня!

— Тогда скажите, что происходило в Лионе в эти две недели, дэ... Оскверненная часовня, облатка с тетраграммой, ваш Бутру в просторной красной сутане с перевернутым крестом, а эта мадам Олькотт — его персональная ясновидящая — о Боже, чтобы не сказать больше, которая является перед ним с трезубцем во лбу, и пустые чаши, наполняющиеся кровью сами по себе, и аббат, харкающий в лицо верующим... Так было или не так?

— Вы слишком начитались Гюисманса, дорогой мой! — рассмехался Браманти.— Это было культурное событие, воссоздание истории, похожее на чествования школы Викка и друидских лицеев!

— Дэ... уж! Венецианский карнавал...

Послышалась возня, похоже, Браманти пытался наброситься на своего противника, а Аглиз с трудом удерживал его.

— Вот видите, видите? — выкрикивал француз тонким голосом.— Но будьте осторожны, Браманти, спросите у вашего друга Бутру, что с ним случилось! Вы этого еще не знаете, а между тем он в больнице. Спросите-ка, кто разбил ему морду! Хотя я и не занимаюсь вашей гозтией, но имею о ней представление, и, когда я понял, что в моем доме кто-то обитает, я начертил на полу спасительный круг, и поскольку я в это не верю, а ваши бесенята верят, то я снял кармелитскую хламиду и сделал обратный знак, направив чары в противоположную сторону, вот как! Вашему аббату пришлось несладко, когда они принялись отделявать его!

— Вот видите, видите? — пыхтел Браманти.— Вы видите, что это он напускает чары?

— Господа, достаточно,— заявил Аглиз вежливо, но твердо.— Сейчас вы послушайте меня. Вы знаете, как я ценю в пла-

не познания возрождение забытых обрядов, и лично я одинаково уважаю как люциферианскую церковь, так и Орден Сатаны, невзирая на демонологические различия. Вы знаете, насколько скептически я к этому отношусь, но все же мы по-прежнему принадлежим к одному и тому же духовному рыцарству, и я призываю вас хоть к минимуму солидарности. К тому же, господа, как можно впутывать Князя тьмы в наши личные неурядицы?! Это уж совершенно по-детски. Так можно стать посмешищем оккультистов. Вы ведете себя не лучше обычных франкмасонов. Будем откровенны: Бутру — асоциален и если представится случай, дорогой Браманти, предложите ему продать какому-нибудь старьевщику весь его реквизитный хлам, пригодный для Мефистофеля Бойто...

— Ну и ну, хорошо сказано,— с издевкой прошипел француз,— все это старье и есть...

— Взглянем на вещи как они есть. Возник спор о том, что мы можем назвать литургическим формализмом. Страсти накалились, но не будем оживлять тени. Заметьте, дорогой Пьер, что я вовсе не исключаю присутствия в вашем доме посторонних сущностей,— это совершенно нормально, но при помощи капли здравого смысла все можно было бы объяснить как полтергейст...

— Я этого не исключаю,— подтвердил Браманти.— Расположение звезд в это время...

— Вот и ладно! Пожмите-ка друг другу по-братски руки.

Послышалось бормотание взаимных извинений.

— Ну, вы же знаете,— говорил Браманти,— иногда для того, чтобы понять, кто взаправду жаждет посвящения, приходится заниматься и самодеятельностью. Даже у этих ни во что не верящих торговцев из Великого Востока есть свой церемониал.

— Разумеется, ритуал — это...

— Но времена Кроули прошли, ясно? — перебил его Аглиз.— А сейчас я вас оставляю — ко мне пришли.

Мы быстренько уселись на диван и стали ждать выхода Аглиз с достойным и непринужденным видом.

Воистину велик был наш труд, чтобы отыскать порядок в этих семи мерах — действенный, достаточный, особый, который всегда держал чувства настороже и память наготове.... Это значительное и ни с чем не сравнимое расположение не только помогает сохранить доверенные нам вещи, слова и искусства, но также дает нам подлинную мудрость...

(Giulio Camillo Delminio. *L'Idea del Teatro*,
Флоренция, Torrentino, 1550, вступление)

Через несколько минут к нам вышел Аглиз.

— Прошу извинить меня, дорогие друзья. У меня был неприятный разговор, и это еще мягко сказано. Наш друг Казобон знает, что я отношу себя к почитателям истории религии, и потому люди нередко прибегают к моим познаниям, может быть, даже, скорее, к моему здравому смыслу, чем к учености. Любопытно, господа, но иногда среди адептов изучения премудрости можно увидеть чрезвычайно странные личности... Я не говорю о вечных искателях трансцендентальных утешений или о меланхоликах, но ведь встречаются и глубоко знающие люди, с тончайшим интеллектом, которые отдаются ночным химерам и теряют чувство грани между традиционной истиной и архипелагом удивительного. Собеседники, с которыми я только что расстался, вели дискуссию, опираясь на детские догадки. Увы, такое случается, как говорят, в лучших семьях. Но, прошу вас, пройдемте в мой маленький рабочий кабинет — для беседы атмосфера там более благоприятная.

Он приподнял кожаную портьеру и пропустил нас в соседнюю комнату. Нам вряд ли пришло бы в голову называть ее маленьким кабинетом — столь просторно было это помещение, обставленное изысканными старинными шкафами, которые были заполнены красиво переплетенными книгами наверняка почтенного возраста. Но больше, чем книги, меня поразили застекленные стеллажи со странными предметами, похожими на камни, и зверьками, причем нельзя было понять, были это чучела, мумии или же хорошо выполненные фигурки. И все это

словно было погружено в неясный сумеречный свет. Он исходил, казалось, из большого двустворчатого окна в глубине комнаты, из витражей со свинцовыми ромбовидными переплетами, пропускавших сквозь себя лучи цвета янтаря, однако свет из окна смешивался со светом лампы, стоявшей на усеянном картами столе красного дерева. Была это одна из тех ламп, которые встречаются иногда в старых читальных залах. С куполообразным зеленым абажуром, она отбрасывала овал белого света на стол, тогда как остальное пространство зала оставалось в опаловой полутьме. Вся эта игра одинаково неестественных лучей света все же в какой-то мере оживляла, а не приглушала многоцветность потолка.

Свод был стрельчатым, и фантазии декора было угодно, чтобы он покоился на четырех небольших колоннах из красного кирпича с маленькими позолоченными капителями, однако *trompe-l'œil* картин, размещенных на семи уровнях, придавала этому своду вид парусного, а все помещение походило на похоронный зал часовни — неуловимо греховный, чувственно-меланхолический.

— Это мой маленький театр,— сказал Аглиз.— Чувствуется запах фантазий Возрождения, когда пользовались визуальными энциклопедиями, такими антологиями Вселенной. Это, скорее, машина для воспоминаний, нежели жилище. Каждое изображение, которое вы видите, при должном сочетании с другими открывает и отражает какую-либо тайну мира. Взгляните на эту процессию фигур, которых художник стремился уподобить тем, что изображены во дворце в Мантуе. Это — тридцать шесть деканов — властителей небес. И вот по привычке, а также храня верность Традиции, когда я увидел эту прекрасную реконструкцию, Бог весть кем выполненную, я пожелал, чтобы даже мелкие находки, размещенные на стеллажах и соответствующие изображениям на потолке, отражали основные элементы окружающего мира — воздух, воду, землю и огонь. Этим и объясняется, например, присутствие здесь этой маленькой грациозной саламандры — шедевра одного моего дорогого друга-чучельника, или этой хрупкой миниатюрной модели золипила

Герона. Стоит мне зажечь эту маленькую спиртовку под шаром, как содержащийся в нем воздух, нагреваясь и вырываясь через боковые рожки, приведет его во вращательное движение. Магическое приспособление! Как утверждают многие великие книги, им пользовались еще египетские жрецы в своих святилищах. Они применяли его, чтобы демонстрировать чудо и заставить людей поклоняться ему, но настоящее чудо заключается в золотом правиле, которому подчинена тайная и простая механика, воздушная и элементарная — воздух и огонь! Вот тут-то и сокрыта мудрость, которой владели наши предки и алхимики и которую утратили конструкторы циклотронов. Потому-то и обратил я свой взор к моему театру памяти — детищу великого множества других, более просторных театров, которые зачаровывали великие умы прошлого, и я знаю. Я знаю больше, чем мнимые ученые. Я знаю, что как внизу, так и вверх. И нет иного учения...

...Он предложил нам кубинские сигары необычной формы — не ровные, а перекрученные, мятые, но при этом плотные и толстые. Мы громко выразили свое удивление, а Диоталлеви подошел к книжным шкафам.

— Да что там,— произнес Аглиз,— это всего лишь мини-библиотека, сами видите, каких-нибудь сотни две томов. У меня гораздо больше в нашем родовом доме. Но каждая из книг, скромно говоря, весьма ценна и достаточно редка, да и расположены они не как-нибудь, а так, чтобы порядок словесной материи отвечал порядку изображений и предметов.

Диоталлеви робко протянул руку к книгам.

— Прошу вас,— продолжал Аглиз,— это "Oedipus Aegyptiacus" Атанасиуса Кирхера. Вы, должно быть, знаете, что он первым после Гораполлона попытался расшифровать иероглифы. Поразительный человек... Я хотел бы, чтобы этот дом был музеем принадлежащих ему достопримечательностей, которые сейчас принято считать пропавшими, потому что тот, кто не умеет искать, не находит... Очаровательный рассказчик! Как он гордился в тот день, когда открыл, что этот иероглиф означает "Блага божественного Озириса черпаются из священных цере-

моний, и пополняет их череда гениев..." А затем появился этот интриган Шампольон, человек с головой, забитой всяческими махинациями, с его — уж поверьте мне — детским тщеславием, и стал настойчиво утверждать, что знак этот указывает всего лишь на имя фараона. Сколько изобретательности проявляют наши современники, чтобы унизить священные символы! Однако книга не так уж редка и стоит меньше мерседеса. Взгляните-ка лучше на вот это — первое издание, 1595 год, "Amphitheatrum sapientiae aeternae" Кунрата. Говорят, что в мире сохранилось только два экземпляра. Но перед вами — третий. А вот это — первое издание "Telluris Theoria Sacra" Бурнетиуса. Когда по вечерам я разглядываю эти таблицы, меня всегда посещает чувство мистической клаустрофобии. Глубины нашей планеты... Неожиданно, правда? Я вижу, господина Диоталлеви заморозили эти древнееврейские буквы в "Traicté des Chiffres" Вижнера. Тогда посмотрите сюда — это первое издание "Kabbala Denudata" Кнорра Христиана фон Розенрота. Вы, наверное, знаете, что книгу эту впоследствии перевели, правда не полностью и плохо, на английский, и в начале нашего века ее продавал этот подлый Мак-Грегор Матерс... И конечно же, вы слышали кое-что о том скандальном сборище — "Золотой Заре", которое так очаровало британских эстетов. Эта банда фальсификаторов документов посвящения могла расплодить лишь бесконечную серию вырождающихся вещей — от "Утренней Звезды" до сатанических церквей Алистера Кроули, взывавшего к демонам, чтобы добиться милости некоторых дворян, верных *vice anglais*. Знали бы вы, дорогие друзья, со сколькими, мягко говоря, сомнительными личностями приходится встречаться, когда посвящаешь себя таким исследованиям, — впрочем, вы сами это увидите, если решитесь вторгнуться в эти владения.

Бельбо схватился за соломинку, протянутую ему Аглиз, чтобы перейти к делу. Он сообщил, что издательство "Гарамон" хотело бы ежегодно публиковать несколько книг, так сказать, эзотерического характера.

— О, эзотерического, — усмехнулся Аглиз, и Бельбо покраснел.

— Скажем... герметического?

— О, герметического,— снова улыбнулся Аглиз.

— Согласен,— признал Бельбо,— я, может быть, употребляю ошибочные термины, но вы наверняка понимаете, о каком сорте книг я говорю.

— О! — опять улыбнулся Аглиз.— Нет тут никакого сорта. Это — знание. Вы хотите, милые мои друзья, опубликовать целую гамму неиспорченного знания. Для вас это, быть может, лишь издательский вопрос, но если мне придется этим заняться, то для меня это будет поиск истины, *queste du Graal*.

Бельбо пояснил, взяв для примера рыбака, в сеть которого могут попасть пустые ракушки и полиэтиленовые пакеты, что в издательство будут поступать рукописи сомнительной серьезности, поэтому они и ищут строгого читателя, который смог бы отделить зерно от плевел, отмечая также любопытные истории, для одного дружеского издательства, где ценят, когда к ним направляют авторов чуть меньшего достоинства... Разумеется, за эту работу будет назначен соответствующий гонорар.

— Благодарение Богу, я человек, так сказать, состоятельный, любознательный и даже искушенный. Мне достаточно в моих поисках наткнуться на еще один экземпляр Кунрата, или на еще одну красиво забальзамированную саламандру, либо на рог нарвала (мне было бы стыдно держать его в своей коллекции, а венская сокровищница, между тем, хранит его как рог единорога), и на быстрой и приятной сделке я заработаю столько, сколько вы не сможете мне заплатить, консультирую я вас хоть десять лет. Я просмотрю ваши рукописи со смирением. Уверен, что даже в самом никудышном тексте смогу отыскать искорку если не истины, то хотя бы необычного обмана, а ведь часто крайности соприкасаются. Скучать я буду только на очевидном, и эту скуку вы мне возместите. В зависимости от скуки, которую я испытаю, я позволю себе в конце года направить вам счет, выдержанный в рамках символического. Если вы сочтете его чрезмерным, то вышлете мне ящик доброго вина.

Бельбо был озадачен. Он привык иметь дело с вечно ноющими и голодными рецензентами. Открыв свой портфель, он извлек из него объемистую рукопись.

— Мне не хотелось бы, чтобы у вас возобладало слишком оптимистическое настроение. Посмотрите, пожалуйста,— это, в общем, типичная средняя по величине работа.

Аглиз полистал рукопись:

— Тайный язык пирамид... Ну-ка, что тут в оглавлении... Пирамидион... Смерть лорда Карнавона... Свидетельство Геродота... Вы все читали ее? — спросил он, сложив странички.

— Я просмотрел ее как раз на днях,— ответил Бельбо.

Аглиз вернул ему рукопись.

— Прошу меня поправить, если мое резюме окажется неточным.

Он сел за свой письменный стол, сунул руку в карманчик жилета, вынул коробочку для пилюль, которую я уже видел в Бразилии, и принялся вертеть ее меж холеных пальцев, несколько мгновений назад гладивших корешки его любимых книг. Затем он устремил взгляд на потолочную роспись и заговорил так, словно рассказывал давно выученный текст.

— Автор этой книги, очевидно, хочет напомнить, что священные и эзотерические меры пирамид открыл в 1864 году Пьяцци Смит. Позвольте мне называть только целые числа — в моем возрасте память начинает давать сбои... Интересно, что в основании пирамид — квадрат со стороной 232 метра. Вначале их высота равнялась 148 метрам. Если перевести это в священные египетские локти, то получаем основание в 366 локтей, т.е. число дней в високосном году. Пьяцци Смит считает, что если умножить высоту на десять в девятой степени, то получим расстояние от Земли до Солнца равным 148 миллионов километров. Неплохой результат для того времени, если учесть, что рассчитанное современными учеными расстояние составляет 149,5 миллионов километров, причем не доказано, что эти современные правы. Разделив основание на ширину одного камня, получим 365. Периметр основания равен 931 метру. Разделив его на двойную высоту получим 3,14 — "π". Великолепно, не правда ли?

На лице Бельбо мелькнула недоверчивая улыбка.

— Невозможно! Скажите, как вам удается...

— Дай возможность продолжить господину графу, Джакопо,— остановил его Диоталлеви.

Аглиз поблагодарил его вежливой улыбкой. Он говорил, блуждая глазами по потолку, но мне казалось, что взгляд его был тверд и точен. Он шел по какой-то дорожке, будто читая по картинам то, что извлекал из памяти.

Итак, размер Большой пирамиды от вершины до основания составляет 161 миллион египетских пядей. Сколько же людей жило на Земле от Адама до наших дней? В более или менее точном приближении получаем что-то между 153 и 171 миллионами.

(Piazzi Smyth. *Our Inheritance in the Great Pyramid*,
Лондон, Isbister, 1880, с.583)

— Ваш автор утверждает, как я представляю, что высота пирамиды Хеопса равна квадратному корню площади каждой из сторон. Естественно, измерение следует производить в шагах, более близких к египетскому и древнееврейскому локтю, а не в метрах, поскольку метр — это абстрактная мера, придуманная современниками. Так вот, египетский локоть в ступенях равен 1,728. А потом, если мы не знаем точную высоту, можно воспользоваться пирамидионом — маленькой пирамидкой, которую водружали на вершине большой в качестве венца. Он был из золота или другого блестящего на солнце металла. Ну вот, берем высоту пирамидиона, умножаем ее на высоту всей пирамиды, затем все вместе — на десять в пятой степени — и получаем длину окружности Земли по экватору. Но и это еще не все: если умножить периметр основания на двадцать четыре в степени три вторых, то получим средний радиус Земли. Кроме того, площадь основания пирамиды, умноженная на девяносто шесть и на десять в восьмой степени, дает в результате сто девяносто шесть миллионов восемьсот десять тысяч квадратных миль, что соответствует площади поверхности Земли. Правильно?

Бельбо обычно выражал свое изумление словами из фильма "Янки Дудль Дэнди" с Джеймсом Кэгни в главной роли, который он как-то посмотрел в фильмотеке: "I am flabbergasted!" Именно это он и произнес. Было вполне очевидно, что Аглиз знает разговорный английский, ибо ему не удалось скрыть своего удовлетворения, причем он не устыдился этого тщеславного жеста.

— Дорогие друзья,— заявил он.— Когда некто, фамилия которого мне ни о чем не говорит, начинает стряпать компиляцию

о тайнах пирамид, он может сказать только то, что сегодня известно даже детям. Меня удивило бы, если б он написал что-то новое.

— То есть,— неуверенно переспросил Бельбо,— этот человек просто излагает установленные истины?

— Истины? — рассмеялся Аглиз, снова подсовывая нам коробку с рахитичными, но отборными сигарами.— Что есть истина, как говаривал один мой старинный знакомый. Здесь можно отчасти говорить о собрании глупостей. Для начала — если разделить точный размер основания пирамиды на точную удвоенную высоту и учитывать позиции после запятой, получится не число "π", а 3,1417254. Разница невелика, но значение имеет. Кстати, один из последователей Пьяцци Смит — Флиндерс Петри, тот, который измерил Стоунхенджские дольмены, рассказывает, что однажды застал своего учителя, когда тот шлифовал гранитные выступы в королевской прихожей... Возможно, все это сплетни, но Пьяцци Смит не внушал доверия, достаточно было увидеть, как он завязывает галстук. И все же среди такого количества глупостей бывают также и неоспоримые истины. Господа, не будете ли вы так любезны подойти со мной к окну?

Театральным жестом он распахнул створки, поманил нас и указал на стоявший вдалеке, на углу улочки, пересекавшейся с бульваром, деревянный киоск, в котором, очевидно, продавались билеты лотереи Мерано.

— Господа, я предлагаю вам измерить этот киоск. Вы увидите, что длина лестничной площадки равна 149 сантиметрам, то есть одной стомиллиардной расстояния от Земли до Солнца. Если разделить высоту задней части на ширину окна, получим $176:56=3,14$. Высота передней части равняется 19 дециметрам, т.е. числу лет в греческом лунном цикле. Сумма высот двух передних и двух задних ребер дает $190 \times 2 + 176 \times 2 = 732$, а это — дата победы при Пуатье. Ширина лестничной площадки равна 3,1 сантиметра, а ширина рамы окна — 8,8 сантиметра. Заменив целые числа соответствующими буквами алфавита, получим $C_{10}H_8$ — химическую формулу нафталина.

— Фантастика! — воскликнул я.— Вы это все измерили?

— Нет,— отвечал Аглиз,— некий Жан-Пьер Адам выполнил

эти замеры на другом киоске. Надо полагать, что все лотерейные киоски имеют примерно одинаковые размеры. С числами можно делать все, что угодно. Если мы захотим из священного числа 9 получить 1314 — дату сожжения на костре Жака де Моле — дату, почитаемую всеми, кто, как и я, хранит верность рыцарским традициям тамплиеров, то что нужно сделать? Умножить 9 на 146 — зловещую дату разрушения Карфагена. Как я пришел к этому результату? Я делил 1314 на два, на три и так далее, пока не нашел подходящую дату. С таким же успехом я мог бы поделить 1314 на 6,28 — удвоенное 3,14 — и получил бы 209, а это — год, в который Аттал I вступил в антимакедонский союз. Вы удовлетворены?

— Значит, вы совершенно не верите в нумерологию? — разочарованно спросил Диоталлеви.

— Я? Верю непоколебимо, верю, что Вселенная — это замечательный ансамбль числовых отношений, и чтение чисел, их символическое толкование являются многообещающим путем к познанию. Но если мир — нижний или верхний — представляет собой систему соответствий, в которой все взаимосвязано, естественно, то и киоск, и пирамида — творения рук человеческих — неосознанно воспроизводят в своей структуре гармонию космоса. Эти мнимые пирамидоведы, применяя невероятно сложные способы, открывают какие-то линейные истины, которые, может быть, и гораздо старше, и уже давно известны. Извращенной является логика поиска и открытия, ибо это — логика науки. Логике мудрости не нужны открытия, потому что она уже знает. Зачем доказывать то, что не может быть иначе? Если и есть тайна, то она находится гораздо глубже. Ваши же авторы просто плавают по поверхности. Этот-то уж точно не пропустил ни одной байки про то, что египтянам было известно электричество...

— Я боюсь даже спрашивать, как вы догадались.

— Вот видите? Для них электричество было все равно что для какого-нибудь там инженера Маркони. Даже гипотеза о том, что они имели представление об радиоактивности, выглядела бы не так по-детски. Это, кстати, интересное предположение, и в отличие от электрической гипотезы оно могло бы объ-

яснить пресловутое проклятие, которому подвергся Тутанхамон. Как египтяне двигали каменные глыбы для своих пирамид? Поднимали их с помощью электрических разрядов, подбрасывали, используя энергию расщепленного ядра? Египтяне нашли способ преодолеть силу тяжести и стали обладателями тайны левитации. Или еще один вид энергии... Известно, что халдейские жрецы приводили в действие священные механизмы посредством чистого звука, а жрецы Карнака и Фив могли распахивать двери храма силой своего голоса, и тут уж встает вопрос: разве не есть это отражение легендарной формулы "Сезам, отворись!"?

— Ну и что? — осведомился Бельбо.

— Вот тут вы и попались, дорогой друг. Электричество, радиоактивность, атомная энергия... Настоящему посвященному известно, что все это только метафоры, искусственное прикрытие, ложные условности, в лучшем случае жалкие суррогаты какой-нибудь забытой прародительской силы, которую посвященный ищет и однажды найдет. Быть может, — он на секунду умолк, — нам следовало бы говорить о теллурических токах?

— Что это? — спросил кто-то из нас троих.

Аглиз казался разочарованным.

— Вот видите! А я-то надеялся, что среди ваших претендентов появился кто-нибудь, от кого я мог бы услышать нечто более интересное. Однако уже поздно. Ну, что ж, друзья, договор заключен, а все остальное — это были бредни старого исследователя тайн.

Мы обменивались рукопожатиями, когда в кабинет вошел слуга и шепнул ему что-то на ухо.

— О, эта милая дама, — произнес Аглиз, — я совсем забыл о ней. Пусть подождет минутку, проводите ее... нет, не в гостиную, а в турецкий будуар.

Милая дама, очевидно, в этом доме чувствовала себя свободно и вела себя непринужденно, так как она уже стояла на пороге кабинета и, даже не глядя на нас в сумерках уходящего дня, уверенно направилась прямо к Аглизу и кокетливо потрепала его по щеке, говоря при этом:

— Симон, ты же не заставишь меня ждать в прихожей!

Это была Лоренца Пеллегрини.

Аглиз слегка отстранился, поцеловал ей руку и сказал, указывая на нас:

— Дорогая моя, милая София, вы знаете, что вы у себя в любом доме, который озаряете своим присутствием. Мы как раз прощались.

Лоренца заметила нас и весело взмахнула рукой в знак приветствия. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы она была удивлена или смущена чем бы то ни было.

— Великолепно,— воскликнула она,— вы тоже знакомы с моим другом! Джакопо, все в порядке (она не спросила, а сама ответила за него).

Бельбо побледнел. Мы поздоровались, а Аглиз объявил, что рад этому обоюдному знакомству.

— Я считаю, что наша милая гостья — одно из чистейших созданий, которые мне когда-либо приходилось встречать. Она воплощает своей свежестью — простите старому книжнику эту фантазию — Софию, сосланную на эту землю. Однако, милая София, я не смог вас вовремя предупредить, что обещанный вечер откладывается на несколько недель. Я сожалею.

— Ничего,— успокоила его Лоренца,— я подожду. Вы идете в бар? — спросила она нас, и прозвучало это как приказ.— Ладно, я задержусь здесь на полчаса. Попрошу у Симона один из его эликсиров, вам бы тоже следовало попробовать, но он говорит, что это только для избранных. Позже я к вам присоединюсь.

Аглиз улыбнулся с видом снисходительного дядюшки, усадил ее и проводил нас к выходу.

Мы вышли на улицу и направились в моей машине к Пиладу. Бельбо молчал. Пока мы ехали, никто не проронил ни слова. Но в баре надо было кончать с этим наваждением.

— Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, будто я возил вас к сумасшедшему,— начал я.

— Этот человек — пронизательный и тонкий,— сказал в ответ Бельбо.— Только он живет в другом мире.— И мрачно добавил: — Или почти в другом.

Traditio Templi сама устанавливает традицию тамплиеровского рыцарства — духовного и посвячительского...

(Henry Corbin. *Temple et contemplation*, Париж, Flammarion, 1980)

— Мне кажется, Казобон, я понял вашего Аглиэ,— заметил Диоталлеви, который заказал себе у Пилада бокал белого игристого, чем поверг нас обоих в состояние тревоги относительно его психического состояния.— Он интересуется тайными науками и остерегается попугаев и дилетантов. Но, как мы сегодня убедились, нагло приставив ухо,— даже презирая, он их выслушивает, критикует, вовсе не отрекаясь от них.

— Сегодня этот господин, этот граф, этот маркграф Аглиэ, или как его там еще, произнес одну ключевую фразу,— сказал Бельбо.— Духовное рыцарство. Он их презирает, но чувствует себя связанным с ними узами духовного рыцарства. Думаю, что понимаю.

— В каком смысле? — спросили мы.

Бельбо пил уже третий martini с джином (виски надо пить вечером, утверждал он, потому что это успокаивает и навеивает задумчивость, а martini с джином — в конце дня — возбуждает и подкрепляет). Он заговорил о своем детстве, прошедшем в ***, как он уже однажды рассказывал мне.

— Это было между сорок третьим и сорок пятым, в период перехода от фашизма к демократии и потом снова к диктатуре Муссолини в Сало, когда к тому же в горах воевали партизаны. Когда началась эта история, мне было одиннадцать лет и я обитал тогда у моего дядюшки Карло. Раньше мы жили в городе, но в сорок третьем бомбежки усилились, и мама решила, что мы должны эвакуироваться, как тогда говорили. В *** жили дядя Карло и тетя Катерина. Дядюшка мой был потомственный земледelec, и дом в *** ему достался в наследство вместе с землей, которую он сдал в аренду некоему Аделино Канепе. Тот обрабатывал землю, собирал урожай, давил вино и отдавал половину заработанного владельцу. Разумеется, ситуация способствовала напряженности: арендатор считал, что его эксплуатируют, а хозяин возмущался тем, что получает всего поло-

вину дохода со своей земли. Собственники ненавидели арендаторов, а арендаторы — собственников. Но они сосуществовали, как это было и с дядюшкой Карло. В четырнадцатом году он записался добровольцем в альпийские стрелки. Грубая пьемонтская натура, преданность долгу и отчизне, сначала он получил чин лейтенанта, а потом и капитана. Короче говоря, в одной из битв на Карсо он оказался рядом с каким-то болваном, который допустил, чтобы в его руках взорвалась граната — не зря же их называют ручными. В общем, дядюшку уже собирались сбросить в братскую могилу, когда один из санитаров заметил, что он еще дышит. Дядю перевезли в госпиталь, где ему вынули глаз, который свисал из глазницы, отняли руку и — по словам тети Катерины — запихнули под кожу на голове металлическую пластину, потому что он лишился куска черепа. В общем, с одной стороны — шедевр хирургии, с другой — герой. Серебряная медаль, крест кавалера Итальянской Короны, а после войны — теплое местечко в государственной администрации. По окончании службы дядя Карло занял кресло директора налоговой инспекции в *** и поселился в фамильной усадьбе, недалеко от Аделино Канепа и его семьи.

Пост директора налоговой службы приобщиł дядюшку к местной знати. А поскольку он был инвалидом войны и кавалером Итальянской Короны, то не мог не симпатизировать правительству, которое, по воле судьбы, в ту пору было правительством фашистской диктатуры. Но был ли дядюшка Карло фашистом?

Только в той мере, как говорили в шестьдесят восьмом, в какой фашизм заботился о ветеранах, раздавал им награды и служебные должности; можно сказать, что дядя Карло был умеренным фашистом. Однако он был достаточным фашистом, чтобы его ненавидел Аделино Канепа, который по вполне понятным причинам был антифашистом. Ему приходилось ходить каждый год в контору, оформлять декларацию о доходах. Он входил в кабинет с уверенным видом, предварительно очаровав тетю Катерину, преподнеся ей в подарок несколько дюжин яиц. И вот он предстал перед дядей Карло, который был не только неподкупен, как и подобает герою войны, но и знал лучше кого

бы то ни было, сколько Канепа у него украл за год, и не прощел ему ни сантима. Аделино Канепа считал себя жертвой фашизма и стал распространять лживые рассказы о дяде Карло. Жили они в одном доме: дядя на этаже для знатных людей, а Канепа — на первом. Встречались утром и вечером, но здороваться перестали. Связь поддерживала тетя Катерина, а после нашего приезда — моя мама, которой Аделино Канепа выражал большое сочувствие и понимание в связи с тем, что она приходилась свояченицей чудовищу. Дядя возвращался домой каждый вечер в шесть часов, в неизменном сером двубортном костюме, мягкой шляпе и с непрочитанным номером "Стампы". Он шел, выпрямившись, как альпийский стрелок, устремив стальной взгляд на вершину, которую предстояло покорить. Он проходил мимо Аделино Канепа, который в это время любил сидеть на скамейке в саду и делать вид, словно не замечает дядю. Затем он подходил к дверям первого этажа и церемонно снимал шляпу перед мадам Канепа. И так каждый вечер, из года в год.

Было уже восемь часов, а Лоренца все не появлялась. Бельбо пил уже пятый martini с джином.

— Наступил 1943-й год. Однажды утром дядя Карло вошел к нам, разбудил меня громким поцелуем и сказал: "Мальчик мой, хочешь знать самую важную новость года? Они скинули Муссолини". Я никогда не мог понять, переживал ли дядя Карло по этому поводу. Он был очень честным гражданином, слугой государства. Если даже он и переживал, то не говорил об этом и продолжал собирать налоги, но уже для правительства Бадольо. Потом наступило восьмое сентября, зона, в которой мы жили, попала под контроль общественной республики, и дядя Карло снова приспособился: собирал налоги для общественной республики. В эту пору Аделино хвастал своими связями с первыми отрядами партизан, появившимися в горах, и грозил всем показательным отмщением. Мы, мальчишки, тогда не знали еще, кто такие партизаны. О них рассказывали массу историй, но никто их не видел. Говорили о вожаке монархистов — сторонников Бадольо, некоем Терци (это, конечно, была кличка, как часто практиковалось тогда, и поговаривали, что он заимствовал ее у друга Дика Фульмине из комиксов) — бывшем старши-

не карабинеров, который потерял ногу в первых боях с фашистами и эсэсовцами и командовал всеми бригадами в горах вокруг ***. И вот что произошло. Однажды в городке появились партизаны. Они спустились с гор и бродили по улицам, одетые кто во что горазд, с синими платками на шее, стреляя в воздух из автоматов, чтобы объявить о своем приходе. Новость эта быстро распространилась по городку, все заперлись в своих домах, потому что не знали, что это за люди. Тетя Катерина встревожилась: похоже на то, что Аделино Канепа их друг или по крайней мере он так говорил, так вот, не причинят ли они зла дяде? Причинили. Нам рассказали, что около одиннадцати часов группа партизан с автоматами наперевес вошла в контору налоговой инспекции, арестовала дядю и увела его в неизвестном направлении. Тетя Катерина упала на кровать, изо рта ее появилась белая пена, она была уверена, что дядю Карло убьют. Достаточно одного удара прикладом по пластине на черепе — и он умрет на месте. На крики тети явился Аделино Канепа с женой и детьми. Тетка крикнула ему в лицо, что он — Иуда, выдавший дядю партизанам за то, что тот собирал налоги для общественной республики. Аделино Канепа клялся всем, что есть у него самого святого, что это неправда, но было видно, что он чувствует себя виноватым, поскольку путался в том, что говорил, и тетя его выставила. Аделино Канепа плакал, зывал к моей матери, припомнил всех кроликов и курей, которых продавал по бросовой цене, но мама замкнулась в полном достоинства молчании, а тетя Катерина все еще исходила белой пеной. Я плакал. Наконец, после двухчасовой пытки, мы услышали крики и увидели дядю Карло, едущего на велосипеде, которым он управлял одной рукой, он выглядел так, словно возвращался с прогулки. Заметив суматоху в саду, имел наглость спросить, что происходит. Он ненавидел драмы, как и все жители наших мест. Он поднялся наверх, подошел к скорбному ложу тети Катерины, которая все еще сучила исхудавшими ногами, и поинтересовался, чего это она так дергается.

— А что же, все-таки, произошло?

— А произошло то, что, вероятно, до партизан Терци дошла болтовня Аделино Канепа и они решили, что дядя Карло —

местный представитель режима, и арестовали его, чтобы преподать урок всему городку. Дядю Карло увезли на грузовике, и он предстал перед Терци, который стоял в сиянии боевых наград с автоматом в правой руке, опираясь левой на костыль. И вот дядя Карло — причем я не думаю, что это была уловка, скорее, все произошло инстинктивно, по привычке к какому-то доблестному ритуалу — щелкнул каблуками, вытянулся по стойке "смирно" и представился как майор альпийских стрелков Карло Ковассо, контуженный, инвалид войны, кавалер серебряной медали. И Терци тоже щелкнул каблуками, тоже стал по стойке "смирно" и представился как старшина королевских карабинеров Ребауденго, командир бадольевской бригады имени Беттино Риказоли, кавалер бронзовой медали. "За что?" — спросил дядя Карло. И взволнованный Терци ответил: "Пордои, господин майор, высота 327". "Черт подери,— воскликнул дядя Карло,— я находился на высоте 328, в третьем полку. Сассо ди Стриа!" "Битва солнцестояния?" "Да, битва солнцестояния" "А помните обстрел Чинкве Дита?" "Чертова задница, помню ли я?!" "А штыковую атаку накануне дня святого Крепена?" "Да Бог ты мой!" В общем, пошли вещи такого рода. А потом безрукий и безногий шагнули навстречу друг другу и обнялись. Терци сказал: "Видите ли, кавалер, видите ли, господин майор, нам донесли, что вы собираете налоги для фашистского правительства, прислуживающего оккупантам". "Видите ли, командир,— отвечал ему дядя Карло,— у меня семья, и я получаю зарплату от центрального правительства, а оно — такое, какое есть, я его не выбирал, и что бы вы делали на моем месте?" "Дорогой майор,— согласился с ним Терци,— на вашем месте я поступил бы так же, но постарайтесь хотя бы затягивать эти дела, не торопитесь." "Постараюсь,— пообещал дядя Карло,— я ничего против вас не имею, вы тоже дети Италии и храбрые бойцы." Я думаю, они поняли друг друга потому, что оба говорили "Родина" с большой буквы. Терци приказал выдать майору велосипед, и дядя Карло вернулся домой. Аделино Канепа не показывался несколько месяцев. Вот уж не знаю, в этом ли именно заключается рыцарство духа, но совершенно точно, что такие узы крепче всяких партий...

Ибо я первая и последняя. Меня почитают и презирают. Я и проститутка, и святая.

(Отрывок из *Nag Hammadi*, 6, 2)

Появилась Лоренца Пеллегрини. Бельбо возвел очи к потолку и заказал последний martini. В воздухе чувствовалось напряжение, и я поднялся, чтобы уйти. Лоренца удержала меня.

— Нет, поедemте все со мной на вернисаж Рикардо. Он открывает новый стиль! Он — гений, ты же его знаешь, Джакопо.

Я знал, кто такой этот Рикардо. Он все время околачивался у Пилада. Однако тогда я не понял, почему Бельбо упорно не сводил глаз с потолка. Прочитав *files*, я сообразил, что Рикардо был тем самым человеком со шрамом, с которым у Бельбо не хватило духу подраться.

Лоренца настаивала: галерея находится недалеко от Пилада, они организовали настоящий пир, более того — оргию. Диоталлеви это покорило, и он сразу же заявил, что ему пора возвращаться домой, я колебался, но было очевидно, что Лоренца хочет, чтобы я тоже пошел, и это также причиняло страдания Бельбо, потому что он чувствовал, как отдаляется возможность поговорить с ней с глазу на глаз. Я не смог отказаться от приглашения, и мы отправились.

Сам я не очень-то любил этого Рикардо. В начале шестидесятых годов он писал очень скучные картины, заполненные множеством тончайших черных и серых линий, очень геометричные, с определенным оптическим эффектом, от которого рябило в глазах. Называл он их так: "Композиция 15", "Параллакс 17", "Эвклид X". С наступлением 1968 года он начал выставлять их в заброшенных домах, где происходили оккупационные забастовки, потом сменил палитру и теперь писал картины сплошь на резком контрасте черного и белого, мазки кистью стали размашистыми, а название изменилось на "Это лишь начало", "Молотов", "Стоцветие". По возвращении в Милан я видел его произведения в кружке, где обожали доктора Вагнера; он убрал черный цвет и работал теперь над белыми

конструкциями, добиваясь контраста рельефом рисунка на пористой бумаге от Фабриано так, пояснял он, чтобы картина имела различный профиль в зависимости от угла падения света. Тогда это были "Восхваление двусмысленности", "Через", "Это", "Бергсгассе" и "Отрицание 15".

В тот вечер, едва мы вошли в новую галерею, я понял, что поэт-ка Рикардо очередной раз претерпела глубокие изменения. Выставка называлась "Мегале Апофазис". Рикардо перешел к образам, палитра его стала ослепительно яркой. Он играл цитатами, и, поскольку, по моему мнению, не умел рисовать, то, думаю, что работал он, проецируя на полотно диапозитив какой-нибудь известной картины,— выбор его ограничивался претенциозными академистами конца прошлого века и символистами самого начала XX века. На этом оригинальном эскизе он работал в технике пуантилизма, при помощи бесконечно малых оттенков цвета, проходя точка за точкой весь спектр, начиная всегда с яркой и сверкающей сердцевины и заканчивая абсолютно черным или наоборот — в зависимости от того, какую концепцию, мистическую или космологическую, он хотел представить. На картинах были горы, испускавшие лучи света, разбитые на россыпи сфер разреженного цвета, виднелись концентрические небеса и усматривался намек на ангелов с прозрачными крыльями, нечто, напоминавшее "Рай" Гюстава Доре. Картины назывались: "Беатрикс", "Мистическая Роза", "Данте Габриэль 33", "Верные любви", "Атанор", "Гомункулус 666". "Так вот откуда это увлечение Лоренцы гомункулами",— подумал я. Самая большая картина называлась "София": на ней был изображен рой черных ангелов, расплывавшихся в нижней части полотна и рождавших какое-то белое создание, ласкаемое большими мертвенно-бледными руками, списанными с простертых к небу рук в "Гернике". Композиция была довольно сомнительной, вблизи бросалась в глаза грубость исполнения, однако с расстояния двух-трех метров эффект был весьма лиричным.

— Я старомодный реалист,— тихо сказал мне Бельбо,— и понимаю только Мондриана. Что представляет собой негеометрическая картина?

— Раньше он писал геометрические,— ответил я.

— Это была не геометрия, а кафельная плитка для ванной.

Лоренца подбежала поцеловать Рикардо, который с Бельбо обменялся легким поклоном. Галерея была полна народу и напоминала нечто вроде нью-йоркских верхних этажей торговых домов: все помещение выкрашено в белый цвет, а под потолком — водопроводные или отопительные трубы. Бог знает, сколько они потратили, чтобы добиться такого "ретро". Стоявшая в углу акустическая система оглушала присутствующих восточной музыкой, что-то на ситаре, насколько я помню, во всяком случае, это было одно из тех произведений, в которых нельзя различить мелодию. Все с рассеянным видом проходили перед картинами, стремясь как можно скорее добраться до столов и схватить бумажный стаканчик. Мы немного опоздали, вечер уже был в разгаре, в воздухе плавали клубы дыма, какие-то девушки посредине зала начинали пританцовывать, но гости пока еще были заняты поглощением и впрямь богатых яств в буфете. Я сел на диван, у ножки которого стояла большая стеклянная чаша, до половины наполненная маседуаном. Я собрался было взять ее в руки, так как еще не ужинал, но мне вдруг показалось, что я вижу как бы отпечаток ноги, которая ступила в самую середину миски с нарезанными кубиками фруктами и превратила их в однородное месиво. И не удивительно, потому что пол уже был залит белым вином, а некоторые приглашенные передвигались с трудом.

Бельбо захватил стакан и лениво прохаживался, без видимой цели, похлопывая время от времени того или другого по плечу. Он пытался найти Лоренцу.

Однако мало кто стоял неподвижно. Толпа как бы ходила по кругу, будто пчелиный рой в поисках неизвестного цветка. Я не искал ничего и все-таки тоже встал и ходил, подчиняясь стадному чувству. В нескольких шагах от себя я увидел Лоренцу, страстно изображавшую радость встречи то с тем, то с другим; высоко подняв голову, нарочно прищутив глаза, словно была близорукой, выпрямив плечи и напругая грудь, она ступала рассеянной походкой жирафа.

В какой-то момент естественный поток движения застопорил меня в углу с картиной, и я очутился рядом с Лоренцой и Бельбо, которые наконец встретились, быть может и случайно, а теперь стояли спиной ко мне, тоже заблокированные. Не знаю, заметили ли они меня, но в общем гаме никто уже не слышал, что говорят другие. Они, видимо, тоже решили, что до них никому нет дела, а я невольно слушал их разговор.

— Ну,— спросил Бельбо,— и где же ты познакомилась с этим твоим Аглиэ?

— Моим? Он такой же мой, как и твой, если судить по тому, что я сегодня видела. Выходит, ты можешь знать Симона, а я нет. Bravo!

— Почему ты зовешь его Симоном? Потому что он называет тебя Софией?

— Это просто игра! Я познакомилась с ним в гостях, ясно? И я считаю, что он полон обаяния. Он целует мне руку, как если бы я была принцессой. А ведь он мне в отцы годится.

— Смотри, чтобы он не стал отцом твоего сына.

Мне казалось, что это я разговариваю с Ампаро в Баие. Лоренца была права. Аглиэ знал, как целовать руку молодой даме, не привыкшей к этому ритуалу.

— Почему Симон и София? — настаивал Бельбо.— Его что, зовут Симон?

— Это удивительная история. Вот ты, например, разве знал, что Вселенная — это плод ошибки и что в этом отчасти виновата я? София была женской частью Бога, потому что Бог тогда был больше женщиной, чем мужчиной. Это уже вы потом приделали ему бороду и стали называть его "Он". Я же была его доброй частью. Симон говорит, что я, София, которую зовут также... постой-ка... вот как — Эннойя, захотела зачать мир, не спрашивая разрешения. Мне кажется, что моя мужская часть не хотела сотворять — может быть, ей не хватало смелости, может быть, она была импотентом, а я — вместо того чтобы объединиться с ней, захотела сотворить мир сама. Я не могла этому противостоять, думаю, что это происходило от избытка любви, правда, я обожаю весь этот борделический мир. Так говорит Симон.

— Как это мило с его стороны. Он всем это говорит?

— Нет, глупенький, только мне. Он понял меня лучше, чем ты, и не стремится переделать меня по своему подобию. Он понимает, что нужно дать мне жить, как я сама хочу. Так поступила и София — бросилась сотворять мир. Однако наткнулась на первичную материю, такую тошнотворную, по-моему, она не пользовалась дезодорантами и, вообще, она сделала это не нарочно, но, похоже, именно она сотворила этого... Дему... как его?

— Уж не Демиурга ли?

— Да, его самого. Не помню, то ли Демиурга сотворила София, то ли он уже был, а она просто подтолкнула его — иди-ка, мол, дурачина, сотвори мир, а потом уж мы с тобой позабавимся. Демиург, наверное, был тупенький и не знал, как сотворить мир таким, чтоб был как надо, и вообще ему не следовало и браться за это дело, так как материя была плохая да и разрешения совать в нее свои лапы у него не было. Короче, он натворил, что мог, и София осталась во всем этом... Пленница мира.

Лоренца много говорила и пила. Многие гости начали легонько покачиваться на середине зала с закрытыми глазами, а Рикардо появлялся перед ней каждые пару минут и что-то наливал ей в стакан. Бельбо пытался помешать ему, говоря, что Лоренца уже выпила лишнее, но Рикардо смеялся, покачивая головой, а она возмущалась, утверждая, что может выпить больше Джакопо, потому что моложе.

— Ладно, ладно,— злился Бельбо.— Не слушай папашку. Слушай Симона. Что он тебе еще рассказал?

— Что я пленница мира, а точнее, злых ангелов... потому что во всей этой истории ангелы были плохие, они-то и подсобили Демиургу сотворить такой бордель... так вот, говорю я, эти злые ангелы держат меня у себя и не отпускают, а заставляют мучиться. Но время от времени среди людей появляется кто-то, кто меня узнает. Как Симон. Он говорит, что такое с ним уже однажды случилось, тысячу лет назад... потому что, я не сказала тебе, Симон ведь практически бессмертен... если б ты знал, все то, что он видел...

— Разумеется, разумеется. А теперь лучше перестать пить.

— Тс-с-с... Однажды Симон встретил меня, когда я была проституткой в каком-то борделишке в Тире, и звали меня Еленой...

— Это он так сказал, да? А ты и довольна. "Позвольте поцеловать вам ручку, красавица-шлюшечка моего засранного мира..." Какое благородство.

— Если и была красавица-шлюха, то это Елена. К тому же в те времена, когда говорили "проститутка", то подразумевали женщину свободную, ничем не связанную, интеллектуалку, которая не хотела быть домашней курицей. Ты же сам знаешь, что проститутка — это была куртизанка, державшая салон. Сейчас это была бы женщина, занимающаяся связями с общественностью. Назвал бы такую женщину шлюхой, этакой толстой распутницей из тех, что охотятся на шоферов грузовиков?

В этот момент Рикардо снова оказался рядом с ней и взял ее за локоть.

— Пойдем потанцуем,— предложил он.

Они вышли на середину зала, двигаясь с отсутствующим видом, подымая и опуская руки, словно выбивая ритм на барабане. Время от времени Рикардо притягивал ее к себе и властно клал ей руку на затылок, а она следовала за ним, закрыв глаза, с разгоревшимся лицом, откинув голову назад. Прямые распущенные волосы ниспадали на плечи. Бельбо курил сигарету за сигаретой.

Потом Лоренца обхватила Рикардо за талию и медленно повела его по направлению к Бельбо, пока они не остановились прямо перед ним. Продолжая двигаться под музыку, Лоренца взяла из его рук стакан. Она держалась за Рикардо левой рукой, в правой у нее был стакан, чуть влажные глаза ее смотрели на Джакопо, и могло показаться, что она плачет, но, наоборот, она улыбалась... И говорила с ним.

— И, представь себе, это было не только тогда, понял?

— Когда "тогда"? — переспросил Бельбо.

— Когда он встретил Софию. Спустя несколько веков Симон был также Гийомом Постелем.

— Разносил письма?

— Идиот. Это был ученый эпохи Возрождения, который читал по-еврейски...

— По-древнееврейски.

— Какая разница? Он читал на этом языке так, как сейчас мальчишки читают о приключениях Мики Мауса. Ему достаточно было бросить беглый взгляд. Так вот, в одной больнице в Венеции он встретил старую и неграмотную служанку — его Джоанну. Он увидел ее и сказал себе: "Вот, я понял, она — новое воплощение Софии, Эннойи, она — Великая Мать Мира, сошедшая к нам, чтобы искупить весь мир с его женской душой". Постель увез Джоанну с собой, и все считали его безумцем, а он — он хотел выволить ее из плена ангелов, а когда она умерла, он целый час смотрел на солнце, а потом много дней не ел и не пил, весь наполненный Джоанной, хотя ее уже не было среди живых, но для него она как бы и не умирала, потому что она всегда здесь, она прикована к миру и время от времени является или, как это сказать?.. воплощается... Правда, трогательная история?

— Я утопаю в слезах. А тебе — что, так приятно быть Софией?

— Но я ведь и для тебя тоже София, любовь моя. Помнишь, какие ужасные галстуки ты носил до знакомства со мной, а пиджак твой был обсыпан перхотью?

Рикардо снова положил ей руку на затылок.

— Я могу принять участие в разговоре? — спросил он.

— Молчи и танцуй. Ты — мое орудие сладострастия.

— Согласен.

Бельбо продолжал так, будто художника не существовало:

— Итак, ты его проститутка, его феминистка, которая занимается связями с общественностью, а он — твой Симон.

— Меня зовут не Симон, — заплетающимся языком объявил Рикардо.

— Не о тебе речь, — оборвал его Бельбо.

Последние несколько минут мне было как-то неловко за него. Он, который всегда так скупно выражал свои чувства, сейчас разыгрывал любовную ссору при свидетеле, хуже того — в присутствии соперника. Но последняя его реплика показала, что,

обнажаясь перед ним — в то время, как настоящим противником был другой,— он утверждал единственным дозволенным ему способом свои права на Лоренцу.

Взяв из чьих-то рук новый стакан, Лоренца сообщила:

— Но это же игра. Люблю я ведь тебя.

— Слава Богу, что не ненавидишь. Послушай, я хотел бы уйти. Что-то мой гастрит разыгрался. Я ведь все еще заложник низменной материи, и мне твой Симон ничего не обещал. Давай уйдем?

— Побудем еще немножко. Тут так хорошо. Тебе скучно? К тому же я еще не смотрела картины. Ты видел ту, на которой Рикардо изобразил меня?

— Хотелось бы мне и на тебе столько всего изобразить!— вставил Рикардо.

— Ты вульгарен. Отвали. Я разговариваю с Джакопо. Бог мой, Джакопо, ты думаешь, что только ты один способен на интеллектуальные развлечения с твоими друзьями, а я нет? Так кто же обращается со мной как с Тирской проституткой? Ты.

— Я мог бы догадаться. Я. Это ведь я толкаю тебя в объятия старых мужчин.

— Он никогда не пытался обнять меня. Он не сатир. Тебе неприятно, что он хочет не спать со мной, а видит во мне интеллектуального партнера.

— Ты кокетка.

— Тебе не следовало это говорить. Рикардо, помоги-ка мне найти что-нибудь выпить.

— Нет, постой. Скажи мне, всерьез ли ты его воспринимаешь. Я хочу понять, сошла ты с ума или нет. И хватит пить. Черт подери, скажи наконец, ты что, относишься к нему серьезно?

— Но, любовь моя, это наша с ним игра. А самое замечательное — то, что когда София поймет, кто она, и освободится от тиранов-ангелов, то может возродиться, свободная от греха...

— Ты больше не грешишь?

— Прошу тебя, не отказывайся от греха,— вмешался Рикардо, демонстративно целуя ее в лоб.

— Напротив,— ответила она Бельбо, не глядя на художника,— все эти штуки уже не грех, можно делать, что хочешь, чтобы освободиться от плоти. Так ты возвышаешься и над добром, и над злом.

Она оттолкнула от себя Рикардо и громко провозгласила:

— Я — София. Чтобы освободиться от ангелов, я должна совершить... совершить... со-вер-шить все грехи, даже самые сладостные!

Слегка пошатываясь, она направилась к месту, где сидела, вся в черном, девушка с глазами побитой собаки и бледной кожей. Лоренца вытащила ее на середину зала и стала танцевать с ней. Они почти касались друг друга животами, руки их висели как плети.

— Я могу любить даже тебя,— сказала Лоренца и поцеловала девушку в губы.

К ним полукругом придвинулись другие, кто-то что-то кричал. Бельбо сидел с непроницаемым выражением лица и смотрел в зал, как импресарио, присутствующий на отборе кандидатов на роли. Он вспотел, и у него задергался левый глаз, чего я раньше никогда не замечал. Вдруг, когда Лоренца танцевала уже минут пять, всеми своими жестами выражая готовность отдаться, он очнулся.

— А теперь иди ко мне.

Лоренца остановилась, широко расставила ноги, протянула вперед руки и воскликнула:

— Я проститутка и святая!

— Ты дура,— отрезал Бельбо и встал. Он подошел к ней, с силой схватил за руку и потащил к выходу.

— Прекрати,— кричала она,— ты не имеешь права...— Затем из глаз ее брызнули слезы, и она обхватила его руками за шею. — Любовь моя, но я же твоя София... Ты же не из-за этого рассердился...

Бельбо нежно положил ей руку на плечо, поцеловал в висок, поправил ей волосы и сказал, обращаясь к присутствующим:

— Извините ее, она не привыкла столько пить.

В зале послышались смешки. Наверняка Бельбо их тоже услышал. Дойдя до двери, он заметил меня и сделал нечто

такое, в отношении чего я до сих пор не могу сказать, было ли это сделано для меня, для остальных или для него самого. Он произнес это приглушенным голосом, когда другие уже перестали интересоваться ими.

Не отпуская Лоренцу, он полуобернулся к залу и тихо, тоном, которым говорят очевидные вещи, произнес:

— Кукареку.

Итак, когда Большой Каббалистический Мозг хочет сказать тебе что-то, не думай, что он говорит фри-вольные, вульгарные или банальные вещи,— он поверяет тебе великие тайны, как оракул...

(Thomaso Garzoni. *Il Theatro de vari e diversi cervelli mondani*, Венеция, Zanfretti, 1583, речь XXXVI)

Иконографических материалов, найденных в Милане и в Париже, оказалось недостаточно. Господин Гарамон разрешил мне отправиться на несколько дней в Мюнхен, в Немецкий музей.

Вечера я проводил в барах Швабинга — в этих огромных склепах, где играют старые усатые музыканты в коротких кожаных штанишках и где, склонившись над литровыми кружками пива, в атмосфере, наполненной густыми запахами свинины, улыбаются друг другу любовные пары. А в послеобеденные часы я занимался перелистыванием каталогов с репродукциями. Время от времени я выходил из архива и прохаживался по музею. Тут было воспроизведено все, что только мог изобрести человек: нажимаю кнопку — и оживает диорама нефтепромысла с дрожащими от напряжения буровыми; вот вхожу в настоящую подводную лодку; а теперь заставляю вращаться планеты, играю в приготовление кислот или управление цепной реакцией — в общем, это было Хранилище, но уже менее готическое и полностью обудуществленное, населенное наэлектризованными группами школяров, привыкающих любить инженеров.

В Немецком музее можно также узнать все о горном деле. Спустившись по лестнице, попадаешь в настоящую шахту, оборудованную всем, что в ней должно быть. Галереи, подъемные клетки для людей и лошадей, штольни, по которым ползком передвигаются изможденные дети (надеюсь, восковые). Можно побродить по сумрачным бесконечным вспомогательным коридорам, остановиться у края бездонного колодца, почувствовать, как холод пробирает до костей, и чуть ли не ощутить запах рудничного газа. Все это в масштабе один к одному.

Я пробирался по боковой галерее, отчаявшись уже снова увидеть солнце, как вдруг мне показалось, что какой-то знакомый силуэт склонился над бездной. Действительно, я уже где-то видел это серое сморщенное лицо, обрамленное седыми волосами, и этот совиный взгляд, но одежда, я чувствовал, должна бы быть другой, что-то вроде униформы; мне казалось, будто я встретил попа без сутаны или монаха-капуцина без бороды. Он тоже посмотрел на меня колеблясь. Как часто бывает в подобных случаях, после нескольких брошенных украдкой взглядов он решился поздороваться со мной по-итальянски. Только теперь он предстал в моем воображении в обычной своей одежде — будь он одет в желтоватого цвета длиннополоый сюртук, я сразу узнал бы господина Салона. А.Салон, таксидермист. Его мастерская находилась в нескольких шагах от моего офиса, в конце коридора бывшей фабрики, где я изображал из себя Марлоу от культуры. Я иногда встречал его на лестнице, и мы обменивались легкими поклонами в знак приветствия.

— Не странно ли, — промолвил он, протягивая мне руку, — мы с вами так давно пребываем под одной крышей, а знакомимся в чреве земли, за тысячу километров от дома.

Мы обменялись несколькими приличествующими обстоятельствам фразами. У меня создалось впечатление, что он прекрасно знает, по какой причине я здесь, и это уже было кое-что, если учесть, что я и сам этого точно не знал.

— Что занесло вас в музей техники? Мне казалось, что в вашем издательстве занимаются более возвышенными делами.

— Как вы можете знать?

— О! — сделал он неопределенный жест рукой. — Люди любят посудачить, а ко мне приходит много народу...

— А что же за люди бывают у чучельника, пардон, таксидермиста?

— Да многие приходят. Вы можете сказать, как, впрочем, все говорят, что ремесло мое не совсем обычное. Но заказчиков у меня хватает, причем разных. Музеи, коллекционеры...

— Мне не часто приходилось видеть чучела животных в домах, — заметил я.

— Правда? Это зависит от домов, в которых вы бываете... или от подвалов...

— А разве чучела держат в подвалах?

— Некоторые — да. Не во всякое жилище проникает свет солнца или луны. Таких заказчиков я боюсь, но, знаете ли, работа... Я боюсь подземных помещений.

— И потому прогуливаетесь под землей?

— Я проверяю. Я боюсь подземелья, но хочу его понять. Для этого есть не так уж много возможностей. Вы скажете: римские катакомбы. Но там нет тайны, лишь полно туристов, а управляет ими церковь. Есть еще парижская канализация... Вы были там? Ее можно посещать по понедельникам, средам и в последнюю субботу каждого месяца, вход со стороны моста Альмы. Но это также экскурсия для туристов. Разумеется, и в Париже есть катакомбы и глубокие подземелья. Не говоря уже о метро. Вы заходили когда-нибудь в дом номер сто сорок пять по улице Лафайета?

— Признаюсь, нет.

— Это несколько в стороне, между Восточным и Северным вокзалами. С первого взгляда и не разберешь, что это за здание. Но если присмотреться, то видно, что двери, хотя и кажутся деревянными, сделаны из железа и покрашены, а по ту сторону окон находятся комнаты, в которых уже веками никто не живет. Никогда ни малейший лучик света не проникает извне. А люди проходят мимо и не имеют ни малейшего понятия.

— О чем?

— О том, что это ненастоящий дом. Это просто фасад, оболочка без крыши, внутри которой ничего нет. Пустота. Это лишь дыра от трубы. Она служит для вентиляции или для отвода грязного воздуха из подземки. И когда вы это осознаете, вам кажется, что вы оказались перед зевом ада, и что если вы проникнете за эти стены, то сможете попасть в подземный Париж. Я иногда долгими часами стоял перед этими дверьми, скрывающими главную дверь, станцию, от которой можно отправиться к центру Земли. Как по-вашему, зачем они это сделали?

— Для вентиляции метро, вы же сами сказали.

— Для этого достаточно вентиляционных шахт. Нет, именно когда я нахожусь перед такими подземельями, у меня начинают возникать сомнения. Вы понимаете меня?

Говоря о тьме, он, казалось, сам начинал светиться. Я спросил, почему подземелья кажутся ему подозрительными.

— Да потому, что если существуют Властелины Мира, то они могут находиться только под землей, вот истина, о которой все догадываются, но которую немногие осмеливаются высказать вслух. Без сомнения, единственным, у кого хватило смелости прямо об этом сказать, был Сент-Ив д'Альвейдр. Вы знаете его?

Может быть, я и слышал это имя из уст того или иного из дьяволистов, но не мог вспомнить ничего более точно.

— Именно он рассказал нам об Агартхе, подземной резиденции Царя Мира, оккультном центре Синархии,— сказал Салон.— Он не побоялся, он был уверен в себе. Но все, кто публично поддерживали его, были убраны, потому что много знали.

Мы пошли вдоль галереи, а Салон все говорил, бросая рассеянные взгляды то на открывающиеся новые проходы, то на устья других колодцев, словно пытаясь найти в полутьме подтверждение своим догадкам.

— Вы никогда не задумывались, почему в прошлом веке все крупные современные города вдруг заторопились строить метро?

— Наверное, чтобы разрешить коммуникационную проблему, разве не так?

— Когда еще не было автомобилей, а люди передвигались на фиакрах? От человека с такими знаниями я ожидал бы более тонкого аргумента.

— А у вас он есть?

— Может быть,— проворкотал Салон, весь погруженный в себя и как бы отсутствующий. Впрочем, он напустил на себя такой вид скорее всего, чтобы прекратить этот разговор. И действительно, он тут же сообщил, что ему пора уходить. Пожав мне руку, задержался еще на секунду, словно в голову ему случайно пришла какая-то новая мысль.

— Кстати, этот полковник... ну, помните, тот, который много лет назад приходил к вам в издательство "Гарамон", чтобы рассказать о сокровищах тамплиеров? Вам не приходилось больше слышать о нем?

Меня как будто обожгло это грубое и нескромное хвастовство тем, что он располагает сведениями, которые я считал заповедными и похороненными. Я хотел спросить, откуда ему об этом известно, но, испугавшись, сдержался и лишь произнес с безразличным видом:

— А-а, это старая история... я о ней уж забыл. Но, кстати, почему вы сказали "кстати"?"

— Я сказал "кстати"? Ах да, конечно, мне казалось, что он кое-что нашел в одном подземелье...

— Как вы узнали?

— Не помню, кто мне об этом рассказал. Возможно, один из клиентов. Однако мое любопытство разгорается, как только на сцене появляется подземелье. Это возрастное. Всего доброго.

Он ушел, а я стал размышлять о значении этой встречи.

В определенных районах Гималаев, среди двадцати двух храмов, воплощающих двадцать две Гермесовы тайны и двадцать две буквы неких тайных алфавитов, Агартха образует собой таинственный Ноль, который невозможно найти... Огромная шахматная доска, распростертая под землей, достигает почти всех материков.

(Saint-Yves d'Alveydre. *Mission de l'Inde en Europe*,
Париж, Calmann Lévy, 1886, с.54 и 65)

По возвращении я рассказал Бельбо и Диоталлеви об этой встрече, и вместе мы начали выдвигать различные предположения. Салон, эксцентрик и сплетник, который в некотором смысле накапливал всяческие тайны, ранее знал Арденти, однако на этом все и заканчивалось. Или: Салон что-то знал об исчезновении Арденти и работал на тех, кто подготовил это исчезновение. Еще гипотеза: Салон просто стукач...

Позже появилось еще множество дьяволистов, и Салон растворился среди ему подобных.

Несколько дней спустя к нам зашел Аглиз, дабы поделиться впечатлениями о рукописях, которые ему отправил Бельбо. Он оценил их точно, строго и в то же время снисходительно. Аглиз был тертым калачом, и ему не составило труда разгадать двойную игру между издательствами "Гарамон" и "Мануцио", но и мы не стали скрывать от него правду. Похоже, он все понял и вошел в наше положение. Парой язвительных замечаний он уничтожил переданный на его суд текст, а затем с вежливым цинизмом отмечал, что для издательства "Мануцио" этот текст вполне подходит.

Я спросил его, что он может сказать об Агартхе и о Сент-Иве д'Альвейдре.

— Сент-Ив д'Альвейдр...— повторил он.— Несомненно, оригинал. Еще в юности постоянно посещал приверженцев Фабра д'Оливе. Он был всего лишь чиновником в Министерстве внутренних дел, но с какими амбициями!.. Мы не очень хорошо восприняли известие о его женитьбе на Марии-Виктории...

Аглиэ не сумел воспротивиться соблазну. Он начал говорить от первого лица. Вспоминал.

— А кем была эта Мария-Виктория? Обожаю сплетни,— заявил Бельбо.

— Мария-Виктория де Риснич, женщина необыкновенной красоты в то время, когда она была дружна с императрицей Евгенией. Но когда она познакомилась с Сент-Ивом, ей было уже за пятьдесят. Ему же около тридцати. Это был явный мезальянс. И дело не только в этом: вдобавок, чтобы добыть ему титул дворянина, она купила какие-то земли, ранее принадлежавшие маркизу д'Альвейдру. Таким вот образом этот тип получил дворянский титул, а в Париже тем временем распевались куплеты о некоем жиголо. Теперь он стал жить на средства от ренты и поэтому мог предаться своим мечтам. Он вбил себе в голову, что найдет политическую формулу, способную привести наше общество к большей гармонии. Синархия в противовес анархии. Европейское общество, управляемое тремя советами, которые представляли бы собой экономическую, административную и духовную власть в лице церкви и ученых. Просвещенная олигархия, которая избавит общество от классовой борьбы. В общем-то, бывали прожекты и похлеще этого.

— А Агартха?

— Говорил, что однажды к нему явился таинственный афганец по имени Хаджи Шариф, который на самом деле не мог быть афганцем, поскольку это типично албанское имя... И что тот посвятил его в тайну о местонахождении Царя Мира,— если даже сам Сент-Ив никогда не употреблял это название, то в дальнейшем его употребят другие — Агартха. Которую невозможно найти.

— Но где же это описано?

— В "Mission de l'Inde en Europe". Эта книга во многом повлияла на современную политическую мысль. В Агартхе есть подземные города, под ними, по направлению к центру земли, живут пять тысяч пандитов, которые правят Агартхой; конечно, цифра пять тысяч напоминает о герметических корнях ведического языка. Это вам, господа, хорошо известно. В свою очередь, каждый из этих корней представляет собой магическую

иерогамму, связанную с небесной силой и с санкцией адской силы. Центральный купол Агартхи освещают сверху как бы зеркала, пропускающие только энгармоническую гамму цветов, по отношению к которой солнечный спектр, описанный в наших работах по физике, представляет собой диатоническую гамму. Мудрецы Агартхи изучают все священные языки, чтобы прийти к единому языку — Ваттан. Когда они погружаются в самые глубины тайн, то отрываются от земли, левитируют, они могли бы разбить головы о свод купола, если бы собраты их не удерживали. Они направляют на землю молнии, регулируют циклические движения флюидов между различными точками полюсов и тропиков, интерференционные деривации в различных зонах географической широты и долготы на земле. В результате селекции некоторых видов животных им удалось создать маленьких зверьков необычайного психического совершенства, которые носят на спинах черепахи панцыри с желтым крестом, спереди и сзади у них по одному глазу и по одному рту. Эти звери многоногие и могут передвигаться в различных направлениях. Именно в Агартхе, вероятно, нашли себе убежище тамплиеры, и оттуда наблюдают за всем происходящим. Что же еще?

— Но... он писал обо всем этом всерьез? — поинтересовался я.

— Думаю, он действительно во все это верил. Поначалу мы считали его человеком экзальтированным, а затем поняли, что путем визуальных аллегорий он пытается привести нас к мысли об оккультном управлении историей человечества. Разве не говорят, что эта история представляет собой кровавую и непредсказуемую тайну? В принципе, такой ход невозможен, она должна развиваться по своим законам. Значит, должен существовать некий Разум. Вот почему далеко не самые глупые люди на протяжении многих веков размышляли о Властелинах или о Царе Мира, которые, возможно, не имеют физического облика, а представляют собой понятие, которое раз за разом становится сиюминутным воплощением Постоянного Замысла. С этим нечто, бесспорно, были связаны канувшие в прошлое великие священнические и рыцарские ордены.

- А вы сами в это верите? — спросил Бельбо.
- Поисками Неведомых Настоятелей занимаются люди, намного более рассудительные, чем он.
- И эти поиски увенчались успехом?
- Аглиз непроизвольно добродушно улыбнулся.
- Какими же Неведомыми Настоятелями они были бы, если бы их мог обнаружить первый встречный? Но, господа, за работу. У меня есть еще одна рукопись, как раз трактат о тайных обществах.
- Что-то интересное? — поинтересовался Бельбо.
- Можно себе представить... Но для издательства "Мануцио" она вполне подойдет.

Не имея более возможности открыто править земными судьбами из-за вмешательства и сопротивления правительств, это таинственное сообщество могло действовать только через тайные общества... Тайные общества, создаваемые по мере необходимости, разделены на различные группы, внешне противостоящие друг другу и время от времени провозглашающие самые противоположные мнения для того, чтобы по отдельности и с наименьшей степенью риска управлять всеми политическими, религиозными, экономическими и литературным партиями, и все они связаны, чтобы поддерживать единое направление, с никому не ведомым центром, где сокрыта могучая пружина, которая таким невидимым способом старается владеть всеми скипетрами этого мира.

(J.M.Hoene-Wronski, цит. в: P.Sédir, *Histoire et doctrine des Rose-Croix*, Рван, 1932)

Однажды я увидел господина Салона на пороге его мастерской. Это было на закате дня, и мне вдруг показалось, что он вот-вот издаст совиный крик. Он поздоровался со мной словно со старым другом и спросил, как идут мои дела. Сделав неопределенное движение рукой, я улыбнулся ему и постарался побыстрее исчезнуть.

Меня опять преследовала мысль об Агартхе. Идеи, высказанные Сент-Ивом в том виде, какими их представил Аглиз, могли казаться привлекательными для любителей всяческой дьявольщины, однако в них не было ничего, что внушало бы беспокойство. А между тем там, в Мюнхене, в словах и в выражении лица Салона я заметил какую-то тревогу.

Это навело меня на мысль зайти в библиотеку и поискать там "Mission de l'Inde en Europe".

Около каталогов и на абонементе как обычно стояла толпа. Поработав локтями, я добрался до нужного мне ящика, нашел шифр, заполнил формуляр и подал его библиотекарю. Он сказал, что книга в данный момент находится на руках, сделав при

этом такую мину, будто он рад, что мне не повезло. Именно в этот момент я услышал за спиной чей-то голос:

— Простите, но книга уже здесь, я только что ее сдал.

Я обернулся. За мной стоял комиссар Де Анжелис.

Я узнал его, и он меня тоже — я бы сказал, даже слишком быстро. Я видел его при исключительных для себя обстоятельствах, он меня — в ходе обычного для него допроса. К тому же, когда велось следствие по делу Арденти, у меня была жиденькая бородка и волосы подлиннее. Да, у него неплохая зрительная память.

Неужели он не спускал с меня глаз с момента моего возвращения из Бразилии? А может быть, он просто физиономист, полицейские должны обладать повышенной наблюдательностью, запоминать лица, имена...

— Господин Казобон! А мы, оказывается, читаем одни и те же книги!

Я протянул ему руку.

— С некоторого времени я — доктор. Может быть, подать документы на конкурс, чтобы получить место в полиции, как вы мне посоветовали в тот прекрасный день? Тогда я буду читать нужные мне книги первым.

— Достаточно просто прийти первым,— ответил он.— А сейчас книга уже вернулась на полку, и вы скоро сможете ее взять. А пока позвольте мне предложить вам чашечку кофе.

Это приглашение вовсе не привело меня в восторг, но уклониться от него было трудно. Мы направились в ближайший бар. Он спросил, по какой причине меня заинтересовала миссия Индии, и мне ужасно захотелось задать ему тот же вопрос, но я решил сначала позаботиться о собственных тылах. Я объяснил, что время от времени продолжаю заниматься изучением истории тамплиеров, которые, согласно фон Эшенбаху, покинули Европу и отправились в Индию, по некоторым источникам — именно в королевство Агартха. Теперь настала его очередь открыть карты.

— По-моему, более интересный вопрос — почему это вас так интересует,— заметил я.

— О, знаете,— протянул он в ответ,— с тех пор как вы посоветовали обратиться к книге о тамплиерах, меня весьма заинтересовала эта тема. Ведь вам лучше меня известно то, что путь от тамплиеров ведет напрямик к Агартхе.

Точно в цель. Затем он добавил:

— Это шутка. Я искал эту книгу совершенно по другим причинам. Просто потому, что...— На секунду он призадумался.— Короче говоря, время, свободное от службы, я посвящаю библиотекам. Для того, чтобы не превратиться в машину или не стать обычной ищейкой,— как вам больше нравится. А теперь, может быть, вы расскажете немного о себе?

Я погрузился в реферирование автобиографии вплоть до чудесной истории металлов.

Де Анжелис поинтересовался:

— А что, в этом издательстве и в том, что рядом, не занимаются книгами о таинственных науках?

И когда он только успел узнать о "Мануцио"? Быть может, он собрал эту информацию, когда Бельбо находился под наблюдением? Или он все еще работает по делу Арденти?

— Имея дело с субъектами вроде полковника Арденти, которые атакуют издательство "Гарамон" и которых оттуда переправляют в издательство "Мануцио", господин Гарамон извлекает немалую прибыль. Так что, если вам нужны типы наподобие старого полковника, вы сможете их там найти.

Он заметил:

— Конечно, однако сам Арденти исчез. Надеюсь, остальные — нет.

— Пока еще нет, хотя иногда я думал: к сожалению. Однако позвольте и мне задать вам вопрос, господин комиссар. Очевидно, вам довольно часто приходится заниматься людьми, которые исчезают, или даже теми, с кем происходит кое-что похуже. Неужели каждому из них вы уделяете столько... времени?

Он удивленно посмотрел на меня:

— А почему вы считаете, что я до сих пор занимаюсь делом полковника Арденти?

Мяч отбит. Он должен открыть карты, а я должен отважиться заглянуть в них. Мне нечего терять.

— Итак, комиссар, вам известно все об издательствах "Гарамон" и "Мануцио" и, кроме того, вы приходите сюда за книгой об Агартхе...

— Не понял, неужели Арденти говорил что-нибудь об Агартхе?

Еще один точный удар. Насколько я помнил, Арденти действительно намекал на Агартху. Я отразил удар:

— Нет, но он рассказал нам какую-то историю о тамплиерах, помните?

— Именно так,— подтвердил он. Затем добавил: — Не думайте, что мы занимаемся только одним делом, пока его не закроем. Так бывает лишь в кино. Труд полицейского похож на работу дантиста: к вам приходит пациент, вы сверлите ему зуб, кладете лекарство и назначаете прийти через две недели, а в промежутке принимаете сотню других пациентов. Папка с делом, подобным делу полковника, может спокойно пылиться на полках архива какой-нибудь десяток лет, а затем, в ходе совершенно другого расследования, какой-то болтун сделает некое признание, которое вскроет новое обстоятельство, трах, озарение — у следователя дело снова всплывает в памяти, и он какое-то время занят прежними мыслями... А еще позже наступает очередное озарение... или не наступает, тогда — прощай дело!

— А что же такое вас озарило?

— Не кажется ли вам этот вопрос некорректным? Однако, поверьте, здесь нет никакой тайны. Дело полковника стало вновь актуальным по чистой случайности: совершенно по иным мотивам мы следили за одним парнем и обратили внимание на тот факт, что он часто посещает клуб "Пикатрикс", о котором вы, должно быть, слышаны...

— Да нет, я знаю журнал, но не саму организацию. Чем же они занимаются?

— О, ничем таким, это обычные, спокойные люди, возможно лишь немного экзальтированные. Но я вспомнил, что Арденти тоже имел привычку бывать там, а весь профессионализм по-

лицейского состоит в том, чтобы даже через десять лет помнить, где он видел это лицо или где ему встречалось это имя. И тогда возник вопрос: что слышно об издательстве "Гарамон"? Вот и все.

— А какой интерес для политической полиции может представлять клуб "Пикатрикс"?

— Возможно, такая настырность — это результат добросовестного отношения к делу, но вы производите впечатление чрезмерно любопытного человека.

— Но ведь это вы пригласили меня на кофе.

— В самом деле, и мы оба — не на службе. К тому же, заметьте, в этом мире все как-то взаимосвязано.

Я подумал: "Какая герметическая тонкость!" Однако комиссар тут же добавил:

— Я вовсе не утверждаю, что эти люди как-то связаны с политикой, однако, знаете... Прежде мы разыскивали членов красных бригад в доходных домах, а черных — в клубах боевых искусств; теперь может оказаться, что все наоборот. Мы живем в странном мире. Можете мне поверить: десять лет назад работать было намного проще. Сегодня же легко меняется идеология любого течения. Иногда мне хочется перейти в отдел борьбы с наркоманией. Там по крайней мере ясно, что если кто-то продает героин, то он продает героин, и нет места никаким сомнениям. А как хорошо работать с неизменными ценностями!

Он несколько секунд помолчал и, как мне показалось, не знал, на что решиться. Затем достал из кармана блокнот, который внешне был похож на молитвослов.

— Послушайте, Казобон, по роду ваших занятий вы бываете у странных людей, а в библиотеках разыскиваете еще более странные книги. Помогите мне. Что вам известно о Синархии?

— Вы преувеличиваете мои возможности. Мне почти ничего не известно. Я слышал о ней, и это было связано с Сент-Ивом, вот и все.

— А что о ней говорят в ваших кругах?

— Если даже что-то и говорят, то ко мне эта информация не доходит. По-моему, от этой Синархии пахнет фашизмом.

— Да, многое из этого учения попало в программу право-экстремистской, профашистской организации "Аксыйон франсез". Но, к сожалению, не все обстоит так просто. Скажем, мне удалось обнаружить группировку, пропагандирующую Синархию, и определить, какого она цвета. Однако, углубившись в историю вопроса, я узнал, что в 1929 году некие Вивиан Постель дю Мас и Жанна Канюдо создали группу под названием "Полярис", которую вдохновляет миф о Царе Мира, а затем предложили проект синархического устройства общества, в который вошли такие понятия, как социальная защита от капиталистической эксплуатации и устранение классовой борьбы путем создания кооперативного движения... Это похоже на социализм фабианского типа, на движение в защиту личных и одновременно общих прав. И что же — и "Полярис", и ирландский фабианизм были обвинены в том, что их члены являются эmissарями синархического заговора, возглавляемого евреями. Кто же их в этом обвинил? Некий "Международный журнал тайных обществ", в котором писалось о жидо-масонско-большевистском заговоре. Большинство сотрудников журнала было связано с одним еще более тайным обществом правого толка — "Сапиньер", эти утверждают, что все революционные организации — всего лишь ширма, прикрывающая дьявольский заговор, задуманный оккультистами. Вы, конечно, можете сказать, что мы ошиблись и идеи Сент-Ива нашли свое применение в группировках реформистского толка, а правые сваливают их в одну кучу и считают, что все они — демо-плуто-социалистского происхождения. Муссолини тоже так поступал. Но почему им приписывают руководство со стороны оккультистов? Насколько я знаю, а знаю я мало, людей, собирающихся в клубе "Пикатрикс", не очень интересует рабочее движение.

— О, Сократ, мне тоже так кажется. Что же далее?

— Спасибо за Сократа, но вот что самое интересное: чем больше я об этом читаю, тем больше запутываюсь в собственных мыслях. В сороковых годах появились различные группировки, причисляющие себя к синархическим; они все говорили о новом порядке в Европе под руководством мудрых людей, стоящих над политическими распрями. И куда же все эти груп-

пы влились? В ряды сторонников коллаборационизма из Виши. Итак, вы скажете, мы опять ошиблись, потому что Синархия принадлежит к правым течениям. Не спешите. После всего того, что я прочел, я понял, что все мнения сходятся в одном: Синархия действительно существует и тайно правит миром. Однако здесь появляется одно "но"...

— Какое?

— 24 января 1937 года масон и мартинист Дмитрий Навашин (не могу сказать, что означает слово "мартинист", похоже, речь идет об одной из таких же сект), советник по экономике Народного фронта, до этого занимавший пост директора одного из московских банков, был убит членами Тайной революционно-национальной организации, более известной под названием "Кагуляры", которую финансировал Муссолини. Поговаривали, что кагуляры находятся под влиянием Синархии, Навашина убили потому, что тот проник в ее тайны. Во время немецкой оккупации появился один документ, опубликованный левыми: в нем говорилось о Синархическом пакте Империи, из-за которого Франция потерпела поражение и который является проявлением латинского фашизма португальского образца. Однако, как потом оказалось, этот пакт был составлен господами дю Мас и Канюдо, а изложенные в нем идеи публиковались повсюду. Ничего тайного. Но уже в 1946 году некий Юссон выдает эти мысли за тайные, и даже супертайные, объявляя их синархическим пактом левых революционных сил, и пишет об этом в книге "Синархия, панорама 25 лет оккультной деятельности", подписываясь псевдонимом... сейчас скажу,— Жоффруа де Шарнэ.

— Неплохой псевдоним,— заметил я,— де Шарнэ был другом де Моле, Великого магистра тамплиеров. Они вместе закончили жизнь на костре. В данном случае мы имеем дело с неотамплиером, выступающим против Синархии с позиции правых. Но корни Синархии находятся в Агартхе, которая стала убежищем тамплиеров!

— А что я вам говорил? Вот вы и навели меня на новый след. К сожалению, он еще больше все запутывает. Итак, правые обвиняют Синархический пакт Империи, социалистический и

тайный, в котором нет никакой тайны, и в то же время этот пакт подвергается нападкам со стороны левых. А теперь перейдем к новой версии. Синархия — это иезуитский заговор, целью которого является свержение Третьей республики. Тезис Роже Маннев, принадлежащего к левым. А чтобы мне жилось легче, я нашел в книгах сведения о том, что в 1943 году в определенных кругах военных вишистского правительства, конечно сторонников маршала Петэна, которые были при этом настроены против немцев, ходили документы, утверждавшие, что Синархия — это нацистский заговор, а Гитлер — розенкрейцер, подпавший под влияние масонов, то есть, как вы сами видите, эти перешли от иудо-большевистского к нацистско-имперскому заговору.

— И теперь мы знаем, какого мнения придерживаться.

— Если бы это было все. Вот еще одна версия. Синархия отождествляется со сговором международной технократии. Этот тезис в 1960 году выдвинул некий Вильмар в работе "14-й заговор на 13 мая". Целью техно-синархического заговора является дестабилизация правительства путем создания военных конфликтов, государственных переворотов, раскола в политических партиях и образования различных фракций... Узнаете этих синархов?

— Боже мой, да это же ИМГ, Империалистическое Многонациональное Государство, о котором распространяли слух красные бригады несколько лет назад...

— Верно! И что же делать комиссару Де Анжелису, если ему однажды придется столкнуться с информацией о Синархии? Спрашиваю об этом господина Казобона, эксперта по тамплиерам.

— Думаю, что действительно существует тайное общество с ответвлениями по всему миру, целью которого является распространение слухов о всемирном заговоре.

— Можете шутить, но мне...

— Я не шучу. Прочтите рукописи, которые приходят в издательство "Мануцио". Если хотите более простое объяснение, то это похоже на историю заики, который говорит всем, что его не взяли диктором на радио только потому, что он не принадлежит

к такой-то партии. Люди всегда ищут, кого бы обвинить в собственных неудачах, а диктатуры всегда находят внешнего врага для того, чтобы сплотить ряды своих сторонников. Кто-то сказал, что каждая сложная проблема имеет простое решение, но и оно — ошибочно.

— Значит, если я найду в поезде бомбу, завернутую в листовку, посвященную Синархии, я должен довольствоваться объяснением, что это простое решение сложного вопроса?

— О чем вы? Разве вам попадались в поездах бомбы, которые... Нет, простите. Я в этом действительно ничего не смыслю. Но почему вы мне об этом говорите?

— Потому что думал, что вам об этом известно больше, чем мне. А быть может, я чувствую облегчение от того, что даже вы не разбираетесь в этом. Вы говорите, что через ваши руки проходит чересчур много рукописей, идеи которых вы считаете бредовыми, и полагаете, что чтение их — пустая трата времени. А для меня эти идеи, кажущиеся вам бредовыми (говоря "вам", я имею в виду нормальных людей), чрезвычайно важны. То, что написано каким-то безумцем, может объяснить мне, как рассуждает человек, закладывающий бомбу в поезд. А может, вы боитесь стать стукачом?

— Честное слово, нет. По правде говоря, моя работа как раз состоит в том, чтобы искать идеи в каталогах. И если мне в руки попадет то, что вас интересует, обещаю не забыть о вас.

Поднимаясь, он задал мне последний вопрос:

— А в ваших рукописях никогда не встречались намеки или ссылки на Трес?

— А что это такое?

— Сам не знаю. Возможно, какое-то объединение или что-то в этом роде,— даже не могу сказать, существует ли оно на самом деле. Мне просто приходилось о нем слышать, и оно пришло мне в голову, когда мы говорили о бредовых идеях. Передайте от меня привет вашему другу Бельбо. И скажите ему, что я вовсе не собираюсь выслеживать вас. Мне просто приходится заниматься грязной работой, которую я, к сожалению, люблю.

Возвращаясь домой, я размышлял о том, для кого из нас эта встреча оказалась более полезной. Он рассказал мне массу вещей, а я ему — ничего. Можно было бы заподозрить, что он вытянул из меня что-то так мастерски, что я даже этого не заметил. Но чрезмерно подозрительные люди страдают психозом синархического заговора.

Когда я рассказал об этой встрече Лие, она сказала:

— По-моему, он был с тобой искренен. Дал волю чувствам. Думаешь, в префектуре найдется хоть один человек, готовый выслушать его рассуждения о том, к правым или левым принадлежала Жанна Канюдо? Он просто хотел понять, он ли такой тупой или действительно эта история настолько сложна. А ты не смог дать ему единственно правильный ответ.

— А что, такой существует?

— Конечно. Разбираться здесь не в чем. Синархия — это Бог.

— Бог?

— Да. Человечество не выносит мысли о том, что мир возник случайно, по ошибке, лишь благодаря тому, что четыре бестолковых атома свалились друг на друга на мокрую мостовую. Значит, надо отыскать космический заговор, Бога, ангелов или дьяволов. Синархия выполняет ту же функцию, только в меньшем масштабе.

— То есть мне нужно было ему сказать, что люди закладывают бомбы в поезда потому, что ищут Бога?

— Может быть.

У властелина тьмы благопристойное лицо.

(Shakespeare. *King Lear*, III, iv, 140)

Наступила осень. Однажды утром я пошел на улицу Маркезе Гуальди, потому что мне необходимо было спросить у господина Гарамона согласие на заказ за границей цветных фотографий. В кабинете госпожи Грации я увидел Аглиэ, склонившегося над картотекой авторов "Мануцио". Я не стал его отвлекать, поскольку уже опаздывал к назначенному времени.

После того как технический вопрос был решен, я спросил у Гарамона, что Аглиэ делает в канцелярии.

— Это гениальный человек,— ответил Гарамон.— Его проницательность и познания не имеют границ. Позавчера я пригласил его на ужин, где было пару наших авторов. Как он умеет говорить, какой стиль! Джентльмен былых времен, великий господин, сегодня таких не встретишь. Какая эрудиция, какие великолепные познания! Он рассказывал смачные анекдоты о людях, живших сотню лет назад, так, будто лично знал их, клянусь вам. А представляете, какую мысль он мне подsunул на обратном пути? Он с самого первого взгляда как бы сфотографировал всех сидевших за столом и теперь знает их лучше меня. Он объяснил, что не стоит ждать, когда авторы "Разоблаченной Изиды" сами изволят явиться. Трата сил на чтение рукописей, а в итоге неизвестно, захотят ли создатели этих рукописей участвовать в расходах по изданию. А ведь у нас в руках золотая жила: картотека авторов, чьи книги были изданы "Мануцио" за последние двадцать лет! Понимаете? Мы обращаемся к нашим славным добрым авторам, особенно к тем, кто сумел выкупить остатки тиража своих творений: "Уважаемый господин, известно ли вам, что мы приступаем к изданию новой научной серии, посвященной наивысшей духовности? Не хотел ли бы столь достойный автор оказать нам честь и принять участие в ее создании, разведать эту *terra incognita*", и так далее, и тому подобное. Повторяю, он — гений. Кроме того, он пригласил всех нас в воскресенье на вечер и хочет, чтобы мы про-

вели его в одном замке, крепости, скажу даже больше — на одной прекрасной вилле близ Турина. Похоже, мы сможем там увидеть необыкновенные вещи: какие-то ритуалы, торжественное богослужение, шабаш, во время которого кто-то покажет, как из ничего делается золото или серебро, или еще что-то в этом роде. Дорогой Казобон, это целый мир, ожидающий открытия, хотя я отношусь с огромным уважением к науке, которую вы изучаете с таким пристрастием, и очень, очень доволен нашим сотрудничеством; знаю, знаю, этот финансовый штришок, на который вы намекнули, я не забыл, мы вернемся к этому немного позже. Аглиз мне еще сказал, что там будет эта женщина, эта привлекательная дама, может быть, ее нельзя назвать красавицей, но у нее есть свой стиль и нечто во взгляде... эта знакомая Бельбо, как же ее зовут?..

— Лоренца Пеллегрини.

— Кажется, так. Что-то есть между нашим другом Бельбо и ею, правда?

— Думаю, они просто дружны.

— Ах! Это ответ джентльмена. Отлично, Казобон! Но я спрашивал не просто из любопытства: я чувствую себя отцом по отношению ко всем вам... ладно, на войне, как на войне... До свидания, дорогой!

Бельбо подтвердил, что мы должны встретиться с Аглиз на туринских холмах. Двойная встреча. Первая часть вечера — это прием в замке одного очень зажиточного розенкрейцера, а затем Аглиз отвезет нас за несколько километров от замка, где состоится ритуальное собрание друидов, конечно же в полночь, о котором он ничего конкретно не сообщал.

— Думаю, нам не мешало бы закончить наконец эту историю металлов,— добавил Бельбо.— Но здесь постоянно что-то мешает. Почему бы нам не выехать в субботу и не провести эти два дня в моем старом доме в ***? Вот увидите, там очень красивые горы, и вы не пожалеете, что приехали. Диоталлеви уже согласился; может, появится и Лоренца. Естественно... вы можете приехать с кем захотите.

Он не был знаком с Лией, но знал, что у меня есть подруга. Я сказал, что буду один. Уже два раза мы ругались с Лией. Ссора была глупой, и все должно было уладиться максимум за неделю. Но я чувствовал необходимость побыть пару дней подальше от Милана.

Итак, мы очутились в ***, наша троица из "Гарамона" и Лоренца Пеллегрини. Перед самым отъездом произошел один неприятный инцидент. Лоренца пришла к назначенному времени, но перед тем, как садиться в машину, заявила: "Мне, кажется, лучше пока остаться и дать вам спокойно поработать. Я приеду немного позже с Симоном".

Бельбо сцепил руки на руле и, неподвижно глядя прямо перед собой, медленно процедил: "Садись!" Лоренца села на переднее сидение и в течение всей поездки не снимала руку с шеи Бельбо, который вел машину в полном молчании.

*** осталось тем же селением, которое Бельбо знал еще во время войны. Несколько новых домов, приходящее в упадок сельское хозяйство, поскольку, как объяснил Бельбо, вся молодежь перебралась в город. Он показал нам холмы, теперь предназначенные для выпаса, а некогда желтые от колосившейся пшеницы. Селение возникло совершенно неожиданно, за поворотом у склона холма, где стоял дом Бельбо. Холм был пологим, а за ним — Монферрато, в легкой, прозрачной дымке. На подъеме Бельбо указал нам на почти лысый холм, на котором возвышалась часовенка с двумя елями по сторонам. "Брикко,— сказал он. Затем добавил: — Это название вам ничего не скажет, если вы не знаете истории. Прежде в понедельник на Пасху сюда приносили жертву ангелам. Сегодня на машине туда можно добраться за пять минут, а тогда, пешком, это было настоящее паломничество".

Я называю театром [место, где] все действия слов и мыслей, а также детали диалогов и аргументов выставляют как в публичном театре, где представляют трагедии и комедии.

(Robert Fludd. *Utriusque Cosmi Historia*, Tomi Secundi Tractatus Primi Sectio Secunda, Опенгейм (?), 1620 (?), с.55)

Мы подъехали к вилле. Конечно, это строение можно было назвать виллой лишь с большой натяжкой, однако в подвалах этого добротного здания находились винные погреба, где хранились вина с виноградников Ковассо, заготовленные неприемлемым в своих принципах фермером Аделино Канепой, который сдал дядюшку партизанам. Было заметно, что в доме достаточно долгое время никто не жил.

Рядом, в маленьком крестьянском доме, по словам Бельбо, еще жила престарелая тетушка Аделино. Дядя и его жена, а также супруги Канепа умерли, осталась только эта столетняя бабуля, которая продолжала копать на крохотном огороде и выкармливала четырех курочек и свинку. Остальные земли пошли на уплату налога на наследство, долгов и кто знает, чего еще. Бельбо постучал в дверь халупки, на пороге появилась старушка, которой потребовалось некоторое время для того, чтобы узнать гостя, а затем она рассыпалась в многочисленных приветственных фразах. Она хотела пригласить нас войти; Бельбо отказался, но прежде поцеловал и обнял ее.

Мы вошли в дом. Поднимаясь по лестницам, проходя коридорами, заглядывая в мрачные комнаты со старинной мебелью, Лоренца ежеминутно восторженно вскрикивала. Бельбо старался быть сдержанным и заметил, что каждый может иметь подобный "дворец де Сигоньяка" по мере своих возможностей, однако наши отзывы о его владении льстили ему. По его словам, он бывал здесь наездами, причем все реже и реже.

— Но работается здесь хорошо: летом в доме прохладно, зимой толстые стены защищают от холода, и повсюду стоят печи. Seriously, когда я был еще мальчишкой, эвакуированным,

мы занимали только две боковые комнаты там, в конце коридора. Сейчас ко мне отошел весь дом. Я работаю здесь, в кабинете дяди Карло.

В кабинете стоял один из тех секретеров, которые не гарантируют много места для размещения бумаг, но в которых множество видимых и невидимых ящичков.

— Я не смог бы здесь найти место для Абулафии, — сказал он. — Но в те редкие периоды, что я здесь бываю, мне нравится писать от руки, как прежде. — Он указал на довольно внушительный шкаф. — После моей смерти не забудьте, что здесь хранится все мое юношеское творчество: стихи, которые я сочинял в шестнадцать лет, наброски шеститомной саги, которую я писал, когда мне было восемнадцать... и так далее, и так далее...

— Покажи нам, покажи! — воскликнула Лоренца, хлопая в ладоши и кошачьими движениями подкрадываясь к шкафу.

— Стоять! — приказал Бельбо. — Там не на что смотреть. Даже я туда больше не заглядываю. Впрочем, я хотел бы, чтобы после моей смерти все это было сожжено.

— Надеюсь, здесь появляются призраки? — спросила Лоренца.

— Теперь — да. Пока был жив дядя Карло, для них не было места: здесь было очень весело. По-сельски. Я потому и приезжаю сюда, что здесь все по-сельски. Хорошо работается по вечерам, когда в долине лают собаки.

Он показал нам комнаты, в которых мы будем спать: Лоренца, Диоталлеви и я. Лоренца осмотрела свою спальню, притронулась к старинной кровати с большим белым покрывалом, понюхала постель и сказала, что у нее такое ощущение, будто она находится в одной из сказок, которые она слышала от бабушки, потому что чувствует запах лаванды, на что Бельбо возразил, что это всего лишь запах прели. Лоренца заявила, что для нее это не имеет значения, а затем прислонилась к стене и, чуть выставив вперед бедра и лобковый бугорок, словно желая склонить к уступчивости флиппер, спросила:

— А я буду здесь спать одна?

Бельбо повернул голову и наткнулся взглядом на нас, отвернулся и, выйдя в коридор, сказал:

— Мы обсудим это позже. Во всяком случае, здесь тебе будет уютно.

Отойдя с Диоталлеви в сторону, мы все же услышали, как Лоренца спрашивала Бельбо: может он ее стыдится? В свою очередь, он заметил, что если бы сам не предоставил ей комнату, она обязательно спросила бы, где ей провести эту ночь. "Дело уже сделано, и теперь у тебя нет выбора.— подытожил он.— Хитрый афганец! В таком случае я буду спать в своей комнате.— Ладно, ладно! Не шуми, ведь они приехали сюда, чтобы работать, так что пошли на террасу".

Итак, мы работали на просторной, увитой виноградом террасе, поглощая в большом количестве кофе и прохладительные напитки. Алкоголь был до вечера запрещен.

С террасы открывался вид на Брикко, у его подножья стояло большое строение, лишенное всяческого декора, украшений, но с внутренним двориком и футбольным полем. Там сновали разноцветные маленькие фигурки, мне показалось — дети. Бельбо первым нарушил молчание:

— Это салезская часовня. Именно там дон Тико учил меня играть. В оркестре.

Я вспомнил о трубе, в которой Бельбо отказал себе после той ночи, когда ему приснился сон, и поинтересовался:

— На трубе или кларнете?

Он слегка испугался:

— Откуда вам?.. Ах да, верно, я рассказывал вам о своем сне и о трубе. Нет, дон Тико учил меня играть на трубе, но в оркестре мне пришлось играть на дженисе.

— А что это такое?

— Не важно, это было в детстве. А теперь — за работу!

Однако, пока мы работали, он часто поглядывал в сторону часовни. Мне даже показалось, что он нарочно говорил о чем-то отвлеченном, чтобы иметь возможность взглянуть на нее.

Временами он прерывал дискуссию. "Там, внизу, в конце войны произошла одна из самых больших перестрелок. В *** между фашистами и партизанами существовало неписаное соглашение. Весной партизаны спускались с гор, занимали селение, и фашисты сюда не потыкались. Фашисты были не здешние, а партизаны — все уроженцы этих мест. В случае стычек они лучше знали, как пройти между зарослями кукурузы, по холмам, между изгородами. Фашисты укрепились в жилой зоне и лишь изредка прочесывали местность. Зимой партизанам было трудно оставаться на равнине: на снегу человек виден издали, и даже на расстоянии в километр можно попасть под пулеметный обстрел. Поэтому в это время партизаны уходили высоко в горы, где им были известны все тропы, обрывы и укрытия. И тогда фашисты контролировали равнину. Но этой весной все ждали дня освобождения. Здесь по-прежнему стояли фашисты, однако они не решались войти в город, опасаясь, что окончательный удар по ним будет нанесен именно там, что действительно и произошло двадцать пятого апреля. Думаю, состоялись переговоры, партизаны выжидали и не хотели ввязываться в крупный бой, они были уверены, что вот-вот должно произойти нечто важное, по ночам лондонское радио передавало все более радужные сводки, все чаще в эфире звучали сообщения для партизан из дивизии Франчи, входивших в армию Бадольо: "завтра опять будет дождливо, дядюшка Пьер доставил хлеб...", ты, может быть, слышал их, Диоталлеви? Короче, наверное, произошла какая-то ошибка, и партизаны спустились с гор еще до того, как фашисты покинули свои позиции. В тот день моя сестра сидела на этой террасе, в какой-то момент она вошла в дом, чтобы сообщить, что двое мужчин, вероятно, затеяли игру в салки, потому что бегают друг за другом с автоматами. Нас это ничуть не удивило: и с той и с другой стороны воевали молодые парни, и чтобы развеять скуку, они временами забавлялись с оружием. Однажды, развлекаясь, двое из них устроили стрельбу, и пуля угодила в ствол дерева, за которым стояла сестра. Она этого даже не заметила, а мы узнали об этом позже, от соседей, и тогда внушили ей, что при перестрелке нужно как можно быстрее прятаться. "Опять балуются", — сказала она,

входя в дом и демонстрируя, как она послушна. В этот момент мы слышали первую серию выстрелов. За ней последовали вторая, третья, затем огонь усилился, слышались сухие винтовочные выстрелы, "тра-та-та" автоматов, несколько глухих взрывов гранат, и наконец застрочили пулеметы. Тогда мы поняли, что это отнюдь не игра. Однако обсудить происходящее нам не удалось, поскольку звуки боя заглушали наши голоса. Пим-пум-бам, тра-та-та. Мама, сестра и я прижались к стене. Затем на четвереньках по коридору приполз дядя Карло и крикнул, что в этом месте оставаться слишком опасно и чтобы мы перешли в другое крыло дома. Там кроме него была тетя Катерина, которая плакала, потому что бабушка осталась на улице...

— Это когда ваша бабушка лежала лицом к земле в поле между двумя линиями огня...

— А вам откуда это известно?

— В семьдесят третьем году вы сами рассказали мне об этом, тогда, после демонстрации.

— Ну и память же у вас! Да, с вами нужно быть поосторожней... Но и отца тоже не было дома. Как мы узнали позже, в этот момент он находился в центре перестрелки и ему пришлось укрыться в одной из подворотен; выйти оттуда он не мог, поскольку и те и другие вели вдоль улицы прицельный огонь, а с башни ратуши горстка солдат Черных бригад поливали площадь свинцом из пулемета. В той же подворотне укрылся бывший фашистский мэр. Он сказал, что хочет пробраться к своему дому, который находится близко, сразу за углом. Он выждал, пока наступила тишина, выбежал из подворотни, добежал до угла, и в этот момент его настигла пулеметная очередь с башни ратуши. Инстинктивная реакция моего отца, который уже пережил первую мировую, была такова: лучше переждать в подворотне.

— Да, с этим местом у тебя связано немало теплых воспоминаний,— заметил Диоталлеви.

— Можешь мне не верить,— отозвался Бельбо,— но они действительно очень теплые. И потом, это единственная реальность, которая сохранилась в памяти.

Никто не понял, а я лишь мог догадываться — но теперь уже знаю. По сравнению с временами, когда он барахтался посреди всякой дьявольской лжи и после стольких лет жизни в мире иллюзий, которые рождает романтическая ложь, дни, проведенные в ***, казались ему миром, в котором пуля — это пуля, она может в тебя угодить или от нее можно увернуться, а две враждующие стороны разделены между собой и легко различимы по цвету, красному и черному или серо-зеленому и цвету хаки; и никаких ошибок — по крайней мере так ему тогда казалось. Мертвым был мертвым был мертвым был мертвым. Не так, как полковник Арденти, противно исчезнувший. Я подумал, что, возможно, стоит рассказать ему о Синархии, которая уже в те годы коварно подкрадывалась. Разве нельзя назвать синархической встречу его дяди Карло и Терци, если оба, находясь по разные стороны баррикад, взывали к одним и тем же рыцарским идеалам? Но к чему отнимать у Бельбо его Камбре? Воспоминания об этих временах были приятны, потому что являли ему единственную истину, и только позже он прошел через обряд инициации в сомнение. Однако, как я понял, даже во времена истины он оставался наблюдателем. В своих воспоминаниях он наблюдал за тем, как зарождалась память других, память истории и память множества историй, которые он никогда не опишет.

А возможно, в его жизни все же был момент величия и выбора? И эн сказал:

— Кроме всего прочего в тот день я совершил геройский поступок.

— Расскажи нам о нем, о мой Джон Уэйн! — попросила Лоренца.

— О, ничего особенного. Просто, когда мы переползли к месту, где прятались дядя и тетя, я стал настаивать, что буду стоять в коридоре в полный рост. "Окно расположено в глубине, мы находимся на втором этаже, и меня не зацепит", — заявил я. Мне казалось, что я — капитан, который стоит, прямой как свеча, на самой середине мостика, а вокруг так и свистят пули. Наконец дядя рассердился, оттащил меня безо всяких церемоний в комнату, и я готов был уже расплакаться, горюя

из-за забавы, которой пришел такой вот конец, как вдруг мы услышали три выстрела, шум разбивающегося стекла, а в коридоре что-то запрыгало, словно там играли теннисным мячом. В окно влетел большой шар, и, задев водосточную трубу, рикшетом пролетел по коридору, вонзившись в стену как раз в том месте, где минуту назад стоял я. Если бы меня не оттащили, он попал бы мне в ногу. Может быть.

— Боже мой, мне не хотелось бы, чтобы ты остался калеккой,— вздохнула Лоренца.

— Как знать, вероятно, сегодня я был бы этому рад,— заметил Бельбо. В самом деле, даже в этом случае он не сделал свой выбор сам. В комнату его втащил дядя.

Через час в нашей работе опять наступил перерыв.

— Потом к нам поднялся Аделино Канепа. Он сказал, что в подвале мы будем в большей безопасности. Я уже говорил, что с дядей они не разговаривали много лет. Однако в момент опасности к Аделино вернулись человеческие чувства, и дядя даже пожал ему руку. Итак, мы целый час просидели в темноте, среди бочек с вином, испарения которого начинали кружить нам головы, а наверху все клекотало. А затем очереди стали реже, отзвуки выстрелов — глуше. Мы поняли, что одна из сторон отступает, но не знали, какая. Так продолжалось до тех пор, пока из окна, находившегося у нас над головой и выходящего на тропинку, не послышался голос, говоривший на местном диалекте: "Monssu, i'è d'la repubblica bele si?"

— А что это значит? — поинтересовалась Лоренца.

— Что-то вроде "Господа, не могли бы вы мне сообщить, остались ли здесь еще сторонники Итальянской социалистической республики?" В те времена слово "республика" звучало как ругательство. Какой-то партизан задал этот вопрос случайному прохожему или человеку, стоящему у окна, а значит, тропинка свободна, фашисты ушли. Вечерело. Вскоре в дом вернулись отец и бабушка, и мы рассказали друг другу о том, что каждому из нас пришлось пережить. Мама и бабушка приготовили ужин, а дядя и Аделино Канепа обменялись церемонными поклонами. До глубокой ночи со стороны гор доносились вы-

стрелы. Это партизаны добивали бежавших фашистов. Мы победили.

Лоренца поцеловала Бельбо в голову, тот хмыкнул. Он знал, что эту победу добыли другие. А он сам оставался зрителем. Лишь на какой-то момент, когда ему угрожала отскочившая рикошетом пуля, он принял участие в событиях. Все произошло быстро, как в фильме "Хеллзаппин", когда перепутали пленки и на экране во время бала появляется индеец на коне и спрашивает, куда они направились, ему отвечают: "туда", и всадник скачет в другой фильм.

Он так сильно подул в свою прекрасную трубу, что эхо ответило ему из самого сердца гор.

(Johann Valentin Andreae. *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Страсбург, Zetzner, 1616, 1, с.4)

Мы как раз дошли до раздела, повествующего о чудесах, которые могут творить гидравлические приводы, и рассматривали гравюру XVI века "Спириталли" Герона, на которой был изображен своеобразный алтарь, на нем установлено приспособление, дующее — благодаря какому-то сложному паровому механизму — в трубу.

Я опять вернул Бельбо к его воспоминаниям:

— Так что вы говорили об этом доне Тичо Брахе, или как там его звали, который научил вас играть на трубе?

— Дон Тико. Я так и не узнал имя это его или фамилия. С тех пор я больше никогда не бывал в часовне. А все началось со случая: месса, катехизис, масса игр, и можно было выиграть образок Блаженного Доменико Савио, этого юноши в штанах из грубого сукна, собранных в гармошку, а на статуях он всегда одет в сутану дона Боско и взгляд устремлен в небо — он не желает слушать своих товарищей, которые в это время рассказывают пошлые анекдоты. Я узнал, что дон Тико организовал оркестр, состоящий из мальчиков в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Самые маленькие играли на кларнетах, флейтах, саксофонах сопрано; старшие должны были справляться с бомбардонами и турецкими барабанами. Все они были одеты в одинаковую форму: куртки цвета хаки, синие брюки и фуражки. Мечта, и я решил стать одним из них. Дон Тико сказал, что им пригодился бы дженис.

Он с чувством превосходства взглянул на нас и менторским тоном произнес:

— Дженисом на языке музыкантов называется самый маленький тромбон, а в действительности — флюгельгорн контральто в ми бемоле. Это самый дурацкий инструмент в оркестре. Он звучит "умпа-умпа-умпа-умпап", когда начинает играть марш, затем "парапапа-па-па-па-пааа" и переходит на

выбивание ритма — "па-па-па-па"... Но на нем можно легко научиться играть, при этом он, как и всякая труба, принадлежит к семейству духовых инструментов, а механизм игры на нем не отличается от механизма игры на трубе. Однако для игры на трубе требуется более сильное дыхание и более усердная работа губ,— знаете, от этого на них образуется своеобразная круговая мозоль, как у Армстронга. Тогда можно экономить на дыхании, а звук получается ясным и чистым, и не слышно, как ты дуешь; с другой стороны — внимание! — никогда нельзя надувать щеки, такое бывает лишь в литературных фантазиях и карикатурах.

— А как же труба?

— На трубе я учился играть сам: в летние послеобеденные часы, когда в часовне никого не было, я укрывался в партере нашего театра... Но я начал увлекаться трубой из любовных соображений. Видите, там внизу, в километре от часовни, маленькую виллу? В ней жила Чечилия, дочь благотельницы салезианцев. Каждый раз, когда проходил смотр оркестра, во время церковных праздников — после шествия и игры во дворе часовни,— а особенно в театре во время любительских выступлений, Чечилия с матерью всегда сидела на почетном месте в первом ряду, рядом с настоятелем храма. И тогда оркестр всегда начинал с марша под названием "Доброе начало". Первыми вступали трубы, трубы си-бемоль — исключительно золото и серебро, отменно надраенные по этому случаю. Трубы поднимались с мест и солировали. Затем они садились, и в дело вступал целый оркестр. Единственным способом обратить на себя внимание Чечилии было научиться играть на трубе.

— А другого не было? — ласково спросила Лоренца.

— Не было. Прежде всего, тогда мне было тринадцать лет, а ей — тринадцать с половиной. В этом возрасте девочка — это уже женщина, а мальчишка — сопляк. Кроме того, она была влюблена в контральтовый саксофон, некоего Папи, как по мне, типа отвратительного и облезшего; и не спускала с него глаз, а он медленно блял, поскольку саксофон, если только на нем не играет сам Орнетт Колман — а тем более, если его использует противный Папи,— обретает (так мне тогда казалось) неприлич-

ное козлиное звучание, и его голос похож на голос манекенщицы, которая напилась и вышла на улицу...

— Интересно, какой голос у манекенщицы, которая вышла на улицу? Что ты можешь об этом знать?

— В общем, Чечилия даже не знала о моем существовании. Естественно, когда по вечерам, с трудом преодолевая склон горы, я шел на соседнюю ферму за молоком, то придумывал самые невероятные истории: ее похищают чернорубашечники, а я несусь за ними, чтобы спасти ее, над головой свистят пули и с отголосками "пах-пах" падают на стерню; я сообщаю ей то, о чем она и не догадывается, а именно, что документы у меня поддельные, на самом деле я руковожу движением Сопротивления во всем Монферрато, а она признается, что всегда втайне надеялась на то, что дело обстоит именно так, и в эту секунду мне становилось стыдно, поскольку я ощущал, как по жилам растекается мед... клянусь вам, крайняя плоть даже не увлажнялась, нет, это было нечто другое, более ужасное и впечатляющее, и, вернувшись домой, я спешил на исповедь... Думаю, это и есть грех, слава и любовь... ты спускаешься по связанным простыням из окна Дворца Печали, а она, раскачиваясь в темноте над пропастью, обнимает тебя за шею и шепчет, что всю жизнь мечтала только о тебе. Остальное — это секс, копуляция, увековечение никчемного семени. Однако если бы я перешел на трубу, Чечилия не смогла бы меня игнорировать, ведь я бы стоял, лучезарный, а несчастный саксофон должен был сидеть. В звуках трубы слышатся раскаты боя, ангельские голоса, апокалипсис и победа, она зовет в атаку, тогда как саксофон играет провинциальным парням с жирными от бриллиантина волосами, когда они танцуют щека к щеке с потными девицами. И вот я словно безумный начал учиться играть на трубе, а потом наконец наступил момент, когда я пришел к дону Тико и попросил послушать меня; я чувствовал себя, как Оскар Левант во время его первой пробы на Бродвее с Джином Келли. И дон Тико должен был сказать: отныне ты будешь трубачом. Однако...

— Как это драматично! — вставила Лоренца.— Рассказывай побыстрее, не томи!

— Мне нужно было найти кого-то, кто заменил бы меня на дженисе. "Устрой это сам", — сказал дон Тико. И я устроил. Дети мои, вы должны знать, что в это время в *** проживали двое оболтусов, которые учились со мной в одном классе, хотя и были на два года старше, что свидетельствует об их склонности к наукам. Этих дикарей звали Аннибале Канталамесса и Пио Бо. Один. Исторический.

— Что-что? — переспросила Лоренца.

В молодости мы читали одни и те же книги, поэтому я принялся пояснять:

— Когда Салгари описывает достоверный факт (или факт, который он считает достоверным), скажем, то, что Сидящий Бык после Литтл-Биг-Хорн съел сердце генерала Кастера, он в конце рассказа записывает внизу страницы: 1. Исторический.

— Вот именно. Действительно, то, что Аннибале Канталамесса и Пио Бо звались именно так, является историческим фактом но это было далеко не самым худшим их качеством. Они были невероятно ленивы, воровали комиксы из газетных киосков и могли положить бутерброд с салями на страницы книги о приключениях на суше и на море, которую эти двое попросили у вас сразу же после того, как вам ее подарили на Рождество. Канталамесса считал себя коммунистом, а Бо — фашистом, но и тот и другой готовы были продаться противнику за хорошо сделанную рогатку; не имея ни малейшего понятия об анатомии, они плели пошлые истории, изобиловавшие совершенно невероятными анатомическими подробностями; и спорили о том, кто из них дольше мастурбировал минувшим вечером. Это были типы, готовые на все, так почему их должен испугать дженис? Итак, я решил их очаровать. Я расхваливал униформу оркестрантов, водил их на публичные смотры оркестра, делал намеки на любовные успехи с Дочерьми Святой Марии... И они клюнули на мою наживку. Я проводил целые дни в нашем театре, сжимая в руках длинную трость, потому что именно такую я видел на иллюстрациях в брошюрах о миссионерах; я хлестал их по пальцам, как только они начинали фальшивить, — на дженисе есть только три клапана: для указательного, среднего и безымянного пальцев, а все остальное, как я уже

говорил,— дело правильной постановки губ. Дорогие мои слушатели, не стану вас более утомлять: наступил день, когда я смог представить дону Тико два джениса, может быть, не совсем совершенные, но довольно сносные, во всяком случае для первого просмотра, к которому я их готовил долгими послеобеденными часами. Дона Тико удалось убедить, он выдал им форму, а мне вручил трубу. И неделю спустя, в праздник Марии-Покровительницы, на открытии театрального сезона "Маленьким парижанином", при опущенном занавесе, перед отцами города я стоял и играл вступление "Доброго начала".

— Ох, какая гордость! — воскликнула Лоренца, на лице которой отразилось чувство ревности.— А Чечилия?

— Она не пришла. Может, заболела. Откуда я знаю? Не пришла — и все.

Он окинул взглядом зрителей: в этот момент он чувствовал себя бардом или бродячим музыкантом. Выдержал хорошо продуманную паузу:

— Два дня спустя дон Тико прислал за мной, и когда я предстал перед ним, сказал, что Аннибале Канталамесса и Пию Бо испортили весь вечер. Они не следили за ритмом, отвлекали внимание во время пауз какими-то шуточками и дурацкими выходками, не вступали, когда положено. "Дженис,— сказал дон Тико,— это костяк всего оркестра, его ритмическая совесть, душа. Если оркестр сравнить со стадом, а дирижера — с пастухом, то дженис — это его верный пес, который не дает овцам сбиться с пути. Дирижер прежде всего следит за дженисом, и если он послушен, за ним следуют все овцы. Мой дорогой Джакопо, я вынужден просить тебя об огромной жертве — вернись к дженису и играй вместе с теми двумя. У тебя есть чувство ритма, и они будут прислушиваться к тебе. Клянусь, как только они смогут играть самостоятельно, ты перейдешь к трубе". Я многим был обязан дону Тико, и мне пришлось согласиться. На следующем празднике трубы встали и исполнили вступительную часть "Доброго начала". В присутствии Чечилии, которая по-прежнему сидела в первом ряду. А я остался в тени, как один из дженисов. Те двое балбесов так никогда и не достигли самостоятельности. Я не вернулся к трубе. Война закончилась,

я вернулся в город, забросил духовые инструменты, так никогда и не узнав фамилии Чечилии.

— Бедный мой мальчик! — посочувствовала Лоренца, обнимая его за плечи.— К счастью, теперь у тебя есть я.

— А я думал, тебе больше нравится саксофон,— сказал Бельбо. Затем, едва повернув голову, поцеловал ей руку. Он был опять серьезен.

— А теперь за работу,— призвал он.— Мы должны создать историю будущего, а не хронику потерянного времени.

Когда наступил вечер, мы громогласно отметили окончание действия сухого закона. Джакопо отбросил свои ностальгические воспоминания и померялся силами с Диоталлеви. Они долго придумывали различные абсурдные механизмы и каждый раз приходили к выводу, что нечто подобное уже изобретено. В полночь, после столь напряженного дня, все пришли к единому мнению, что пора испробовать, что такое сон в горах.

Я устроился в старой комнате и заметил, что постельное белье стало еще более влажным, чем днем. Джакопо посоветовал нам воспользоваться "церковником", этаким овальной рамой, которая удерживает покрывало приподнятым и под которую ставится грелка с углем — наверное, он хотел, чтобы мы приобшились ко всем прелестям деревенской жизни. Однако, если влажность проникла слишком глубоко, "церковник" только вытягивает ее на поверхность, человек чувствует сладостное тепло, но постель кажется совершенно мокрой. Терпение. Я зажег ночник под абажуром с бахромой, о который, как сказал поэт, перед смертью били крылышками однодневки. Погрузившись в чтение газет, я старался вызвать сон.

Однако еще целый час или два я слышал шаги в коридоре, звуки открывающихся и закрывающихся дверей, потом кто-то с силой захлопнул дверь. Лоренца Пеллегрини испытывала нервы Бельбо.

Я уже начал засыпать, когда услышал, что в мою комнату кто-то скребется. Было похоже, что это какое-то животное (однако я не заметил в доме ни кошки, ни собаки), и я подумал, что это приглашение, требование, заманивание. Возможно,

Лоренца делала это нарочно, зная, что Бельбо наблюдает за ней. А может быть, нет. Я всегда считал Лоренцу собственностью Бельбо — а вообще-то, с тех пор как я познакомился с Лией, другие женщины перестали меня интересовать. Лоренца, когда спорила с Бельбо, будь то в его кабинете или в баре, часто бросала в мою сторону заговорщицкие взгляды, словно стараясь вызвать мое расположение, но я всегда полагал, что это не выходит за рамки дружеской игры, и потом Лоренца Пеллегрини смотрела на каждого так, словно бросала вызов его любовным талантам, только делала это как-то особенно, словно говоря: "я хочу тебя, чтобы показать, что ты меня боишься"... В этот вечер, вслушиваясь в царапанье по полированной поверхности двери, я испытал другое чувство: я понял, что жажду Лоренцу.

Я накрыл голову подушкой и старался думать о Лие. "Мне хочется, чтобы у нас был ребенок,— говорил я себе.— И как только он (или она) сможет подуть в трубу, я тут же ее куплю".

Под каждым третьим деревом, по обеим его сторонам подвешено по фонарю, и прекрасная дева в голубых одеяниях зажигает их с помощью волшебного факела. А я задерживаюсь дольше, чем это необходимо, восхищаясь зрелищем неопишуемой красоты.

(Johann Valentin Andreae. *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Страсбург, Zetzner, 1616, 2, с.21)

К полудню на террасе появилась Лоренца и с улыбкой сообщила, что в расписании нашла подходящий поезд, который отправляется из *** в половине первого, сделав одну-единственную пересадку; она прибудет в Милан во второй половине дня. Спросила, проводим ли мы ее до вокзала.

Продолжая листать записи, Бельбо произнес:

— Кажется, Аглиз ждет тебя и организовал эту поездку исключительно в твою честь.

— Тем хуже для него,— отозвалась Лоренца.— Кто меня проводит?

Бельбо поднялся и сказал, обращаясь к нам:

— Я отлучусь ненадолго и скоро вернусь. После этого мы сможем остаться здесь еще на пару часов. У тебя была сумка, Лоренца?

Не знаю, разговаривали ли они по дороге на вокзал. Минут через двадцать Бельбо вернулся и без комментариев принялся за работу.

В два часа дня мы нашли уютный ресторан на рыночной площади, а выбор блюд и напитков вернул Бельбо к новым воспоминаниям детства. Однако он говорил так, словно речь шла о ком-то другом. Увы, он как-то утратил дар рассказчика, который демонстрировал совсем недавно. Мы выехали засветло, чтобы успеть на встречу с Аглиз и Гарамоном.

Бельбо свернул на юго-восток, и теперь вид из окна машины менялся с каждым километром. Холмы ***, даже несмотря на позднюю осень, придавали пейзажу мягкость и сладость; по

мере того как мы продвигались вперед, горизонт все расширялся, несмотря на то что на каждом повороте дороги вырисовывался горный пик, к которому лепилась какая-то деревушка. Но между двумя пиками открывался безграничный горизонт, простиравшийся над прудами и равнинами, как заметил Диоталлеви, добросовестно воплощавший в слова наши наблюдения. Поднимаясь на третьей скорости, мы на каждом повороте видели огромные, уходящие вдаль волнистые просторы, которые где-то на границе плато растворялись в почти зимней дымке. Казалось, что дюны собрали равнину в складки, а мы находились в самом центре гор. Впечатление было таково, словно неумелая рука демиурга придавила вершины, казавшиеся ему чрезмерно высокими, превратив их в айвовое желе с выпирающими наружу косточками, простиравшееся до самого моря или же вплоть до гребней более высоких гор.

Мы приехали в деревню, где в баре на центральной площади должны были встретиться с Аглиз и Гармоном. Узнав, что Лоренца не приехала с нами, Аглиз, если даже и был разочарован, не подал виду.

— Наша прекрасная незнакомка не захотела поделиться с другими своими тайнами. Ценю столь необычное целомудрие, — сказал он. Вот и все.

Мы ехали — мерседес Гармона впереди, рено Бельбо созда — долинами и холмами, пока не увидели в закатных лучах на гребне горы странное желтое сооружение на манер замка XVIII века, от которого отходили, как мне показалось издалека, засаженные цветами и деревьями террасы, их зелень была буйной, несмотря на время года.

Когда мы подъехали к подножью горы, то оказались на заставленной автомобилями эспланаде.

— Придется здесь оставить машины и идти дальше пешком, — сказал Аглиз.

Сумерки уже переходили в ночь. Подъем был освещен множеством факелов, закрепленных по обочинам тропы.

Странно, но о том, что происходило с этого момента и до самой глубокой ночи, у меня остались отчетливые и одновре-

менно весьма хаотичные воспоминания. Позже, укрывшись в перископе, я воскресил в памяти этот вечер и заметил какое-то родственное сходство между этими двумя событиями. "Вот ты здесь,— говорил я себе,— в неестественной ситуации, одурманенный едва уловимым затхлым запахом старого дерева, и думаешь, что находишься в могиле или в сосуде, в котором происходит превращение. Достаточно высунуть голову из кабины, и в полумраке ты увидишь, что предметы, которые сегодня днем были неподвижными, теперь шевелятся, словно элевзинские тени среди колдовских испарений. И такой же вечер был в замке: свет, неожиданности, подстерегавшие на пути, доносившиеся до меня слова и немного погода запах, который, безусловно, был запахом ладана,— все сговорилось для того, чтобы убедить меня, будто я вижу сон, но не совсем нормальный, как бывает тогда, когда знаешь, что вот-вот проснешься.

Я не должен ничего помнить. Однако я помню все, только так, словно это было не со мной, а рассказано мне кем-то другим.

Не знаю, все ли то, что я припоминаю с такой хаотичной точностью, произошло на самом деле или же мне только хотелось, чтобы так случилось, но уверен, что именно в этот вечер в наших мыслях обрел ясные очертания План — так, как бывает, когда хочешь придать какую-то форму бесформенному переживанию, превращая в фантастическую реальность ту фантазию, которую кто-то вообразил реальностью.

— Наш маршрут носит ритуальный характер,— пояснял Аглиз во время подъема.— Это висячие сады, такие же, или почти такие же, как построил Соломон де Каус для Гейдельберга, точнее для Палатинатского курфюрста Фридриха V, в великом веке торжества розенкрейцеров. Света здесь немного, но так и должно быть: нужно чувствовать, а не видеть; наш радушный хозяин не передал в точности замысел Соломона де Кауса — сконцентрировал его на более тесном пространстве. Сады Гейдельберга воплощали собой макрокосмос, а тот, кто создал их здесь, является последователем микрокосмоса. Посмотрите на этот грот, украшенный раковинами и камнями... Несомненно, он очень вычурный. А де Каус имел в виду эмблему "Atalanta Fugi-

ens" Михаэля Майера, где коралл — философский камень. Де Каусу было известно, что форма садов может влиять на небесные тела, потому что в них существуют знаки, которые своей конфигурацией повторяют гармонию Вселенной...

— Невероятно! — изумился Гарамон.— Но каким образом сад влияет на небесные тела?

— Есть такие знаки, которые склоняются друг к другу, смотрят друг на друга, обнимаются и принуждают к любви. У них нет и не может быть четкой и определенной формы. Каждый из них, в зависимости от того, что он диктует — страсть или порыв духа,— воздействует на определенные силы, как это происходит с египетскими иероглифами. Контакты между нами и божественными существами могут осуществляться только посредством печатей, символов, букв и обрядов. Исходя из тех же соображений божества обращаются к нам исключительно через сны и энигмы. Так и в случае с садами. Каждая часть этой террасы воспроизводит одно из таинств искусства алхимии, но, к сожалению, нам, как и нашему хозяину, не дано его постичь. У этого человека, который тратит все собранные на протяжении многих лет средства на построение идеограмм, не понимая их смысла, небывалая приверженность тайне, согласитесь со мной, господа.

По мере того как мы поднимались от террасы к террасе, сады меняли свой облик. Некоторые из них были похожи на лабиринт, другие имели форму эмблемы, но при этом общий рисунок нижних террас можно было увидеть, только поднявшись на верхние, так что я узрел внизу контуры короны и еще много других симметрий, которые не мог заметить ранее и которые все равно не смог бы расшифровать. Если идти между живыми изгородями, каждая терраса, вследствие действия закона перспективы, открывает определенный образ, а если смотреть с верхней террасы, то можно сделать новые открытия, которые иногда имеют совершенно противоположный смысл, чем увиденное ранее; таким образом, каждый уровень этого каскада говорил одновременно на двух различных языках.

Мы поднимались все выше и теперь увидели небольшие строения. Вот фонтан фаллической формы, который виднелся

то ли из-под арки, то ли из-под портика, с Нептуном, стоящим верхом на дельфине, ворота с колоннами, напоминавшими ассирийские, и опять арка неопределенной формы, что-то вроде нагромождения треугольников и многоугольников, причем верхушку каждого из них венчала фигурка животного — лося, обезьяны, льва...

— И все это имеет какое-то значение? — спросил Гарамон.

— Несомненно! Достаточно лишь прочесть "Mundus Symbolicus" Пицинелли, содержание которого было предварено еще великими предсказаниями Альциата. Весь сад можно прочесть как книгу или колдовское заклинание, что, впрочем, одно и то же. Если бы, господа, вы могли шепотом произносить слова, которые произносит сад, то управляли бы одной из тех неисчислимых сил, что имеют влияние и оказывают воздействие в подлунном мире. Сад — это устройство для обладания Вселенной.

Он показал нам один из гротов. Болезненное сплетение водорослей и скелетов морских животных, неизвестно — настоящих ли, из гипса ли или из камня... В глубине его виднелись туманные очертания наяды с чешуйчатым хвостом большой библейской рыбы, отдыхающей в объятиях быка в потоке воды, что текла из раковины, которую держал в лапах тритон так, как держат амфоры.

— Я хотел бы, чтобы вы уловили глубокий смысл того, что при других обстоятельствах было бы банальной водяной игрушкой. Де Каусу было хорошо известно, что если взять сосуд, наполнить его водой, закрыть отверстие и просверлить другое, даже в днище, вода не вытечет. Но если проделать отверстие еще и сверху, то вода начнет вытекать или струиться вниз.

— По-моему, это очевидно, — сказал я. — Во втором случае воздух, проникая через верх, выталкивает воду вниз.

— Типичное научное объяснение, в котором причину подменяют следствием или же наоборот. Не следует задаваться вопросом, почему вода вытекает во втором случае. Вы должны подумать, почему она не вытекает в первом.

— А почему она не вытекает? — с беспокойством спросил Гарамон.

— Потому что, если бы она вытекала, в сосуде образовалась бы пустота, а природа не терпит пустоты. *Nequaquam vacui*, это был один из принципов розенкрейцеров, позабытый современной наукой.

— Впечатляюще,— оценил Гарамон.— В нашу прекрасную историю металлов эти вещи обязательно должны быть включены, Казобон! И не говорите, что вода — это не металл. Больше воображения, черт возьми!

— Простите,— обратился Бельбо к Аглиз,— но вы представили аргумент *post hoc ergo ante hoc*. То что следует за причиной, уже предшествовало ей.

— Не стоит рассуждать линейными категориями. Вода в этих фонтанах ведет себя иначе. Не поступает так и природа, поскольку она не обращает внимание на время. Время — это изобретение Запада.

По дороге мы встречали других гостей. При виде некоторых из них Бельбо подталкивал локтем Диоталлеви, а тот шепотом комментировал: "Да, похожи на герметистов".

Именно среди паломников, похожих на герметистов, я встречал господина Салона с улыбкой суровой снисходительности на лице. Держался он несколько обособленно. Я улыбнулся ему, и он ответил мне тем же.

— Вы знаете Салона? — спросил Аглиз.

— А вы? — ответил я вопросом на вопрос.— Что касается меня, то это совершенно естественно — я живу возле его мастерской. Что вы о нем думаете?

— Я мало его знаю. Некоторые из друзей, которым можно полностью доверять, говорят, что он — осведомитель полиции.

Вот почему Салону было известно о Гарамоне и Арденти. Какая же связь могла существовать между Салоном и Де Анжелисом? Однако я ограничился вопросом:

— А что может делать осведомитель полиции на таком приеме?

— Осведомители полиции ходят повсюду,— ответил Аглиз.— Любое событие, о котором можно затем сочинить информацию, может стать для них полезным. Чем больше знает полиция — или же делает вид, что знает,— тем она сильнее. Неважно, насколько эти сведения правдоподобны. Самое главное, обратите внимание,— обладать тайной.

— Но зачем сюда пригласили Салона? — поинтересовался я.

— Друг мой,— промолвил Аглиз,— возможно, потому, что наш гость следует золотому правилу разумного рассуждения, которое гласит, что каждая ошибка может оказаться мимовольной носительницей истины. Настоящему эзотеризму не страшны противоречия.

— Вы хотите сказать, что в конце концов все эти люди приходят к взаимному согласию?

— *Quod ubique, quod ab omnibus et quod semper.* Инициация открывает горизонты непреходящей философии.

Так, философствуя, мы достигли вершины террас и оказались в начале дорожки, ведущей через раскидистый сад ко входу в здание — то ли это была вилла, то ли небольшой замок. При свете самого большого факела, водруженного на колонну, мы увидели девушку, одетую в голубое, усеянное золотыми звездами платье, которая держала в руке трубу наподобие той, в которую дудят герольды в оперных спектаклях. К плечам девушки были прикреплены два больших белых крыла, украшенных миндалевидной формы узорами, которые были помечены в центре точкой, поэтому при определенном усилии воображения их можно было принять за глаз — совсем как в церковных мистериях, в которых ангелы выставляют напоказ свои крылья из папиросной бумаги.

Мы увидели профессора Каместра, одного из первых сатанистов, посетивших нас в издательстве "Гарамон", ярого противника Ордена Храма Востока. Узнали мы его с трудом, поскольку он был одет, как нам показалось, довольно-таки странно, однако, как объяснил Аглиз, вполне в духе происходящего события: его тело было обернуто в белое льняное полотно, перевязанное красной лентой, которая перекрещивалась на

груди и на спине, а на голове красовалась странная шляпа, по форме напоминавшая головной убор XVII века, в которую он воткнул четыре красные розы. Он опустился на колени перед девушкой с трубой и произнес несколько слов.

— Воистину,— прошептал Гарамон,— на небе и на земле есть еще много вещей...

Мы прошли под украшенным узорами порталом, который напомнил мне вход на кладбище Сталье. Вверху, над сложной аллегорией в неоклассическом стиле, я увидел выгравированные слова: CONDOLEO ET CONGRATULOR.

Внутри было многолюдно и оживленно, гости толпились у буфета, устроенного в большом вестибюле, откуда две лестницы вели на верхние этажи. Я заметил другие знакомые лица, в числе которых был Браманти и, к моему удивлению, командор Де Губернатис, АСС, выпотрошенный Гарамоном, хотя, по всей видимости, ему еще не обрисовали ту ужасную перспективу, когда нужно спасать все экземпляры своего шедевра, пока их не пустили под нож, поскольку он сразу же направился навстречу моему патрону, еще издали жестами проявляя почтение и признательность. Аглиз тоже удостоился знаков почтения, но со стороны низкорослого человечка с фанатичным взглядом, который бросился к нему. По ярко выраженному французскому акценту мы узнали в нем Пьера, того самого, голос которого слышали через портьеру кабинета Аглиз, когда он обвинял Браманти в колдовстве.

Я подошел к буфету. Там стояли графины, наполненные разноцветными жидкостями, происхождение которых я не смог определить. Я налил себе желтого цвета напиток, показавшийся мне вином; с привкусом старой наливки, он оказался не так уж плох и при этом довольно-таки крепок. Возможно, в него было что-то добавлено: у меня начала кружиться голова. Вокруг толпились герметисты, а рядом с ними виднелись суровые лица вышедших в отставку префектов; до меня долетали обрывки разговоров...

— На первой стадии ты должен научиться связываться с другими умами, затем передавать иным существам мысли и

образы, заряжать местность эмоциональными состояниями, обрести власть над царством зверей. На третьем этапе попытайся спроецировать своего двойника на любую точку пространства: биолокация, как у йогов, ты должен одновременно явиться в нескольких разных обликах. Затем нужно перейти к сверхчувственному познанию растительных эссенций. И наконец, попытайся удвоиться: здесь речь идет о том, чтобы постичь теллурическую связь тела, о том, чтобы раствориться в одном месте и появиться в другом, но полностью, повторяю, а не просто как двойник. Последняя стадия — продление физической жизни...

— А бессмертие...

— Не сразу.

— А ты?

— Для этого необходима концентрация. Не скрою, это ужасно трудно. Знаешь, мне ведь уже не двадцать лет...

Я нашел свою компанию. Они входили в комнату с белыми стенами и закругленными углами. В глубине ее, словно в музее Гревена (только в этот вечер в моем воображении возник образ алтаря, который я видел в Рио в шатре умбанды), стояли две восковые статуи почти в натуральную величину, прикрытые блестящей материей, достойные разве что очень скверного бутафора. Одна из фигур представляла восседавшую на троне даму, облаченную в безупречное или почти безупречное платье, усеянное блестками. Над ней свисали на нитках создания неопределенной формы, похожие на войлочные куклы Ленчи, которые некогда служили украшением. Из усилителя, установленного в углу, доносились далекие звуки труб. Они были приятны, возможно какое-то произведение Габриэли, так что аудитивный эффект был намного лучше визуального. Справа, рядом с позолоченными весами, находилась еще одна женская фигура, одетая в кармазиновый бархат, подпоясанная белой лентой, с лавровым венком на голове. Аглиз объяснял нам значение каждой представленной здесь вещи, но я солгал бы, сказав, что слушал его внимательно. Меня больше интересовало выражение лиц

многочисленных гостей, которые переходили от статуи к статуе, проявляя почтение и восторг.

— Они нисколько не отличаются от тех, которые ходят в храм, чтобы взглянуть на черную Богородицу в платье, расшитом серебряными сердцами,— шепнул я Бельбо.— Возможно, они думают, что это сама мать Христа во плоти? Нет, но и противоположной точки зрения они тоже не имеют. Наслаждаются сходством, для них зрелище — это видение, а видение представляется реальностью.

— Да,— согласился Бельбо,— но проблема состоит не в том, чтобы определить, хуже ли эти люди тех, кто ходит в храм. Я как раз раздумывал над тем, кто такие мы сами. Мы, которые верим в Гамлета больше, чем в собственного консьержа. Имеет ли право осуждать их такой человек, как я, который скитается по свету в поисках мадам Бовари, чтобы устроить ей сцену?

Диоталлеви покачал головой и шепотом произнес, что не следовало бы воспроизводить образы божественного и что эти фигуры сродни золотому тельцу. Однако он находил это забавным.

Алхимия — это благонравная проститутка, у которой много любовников, но она всех обманывает и никого не заключает в свои объятия. Она превращает глупцов в сумасшедших, богатых в нищих, философов в болванов, а обманутых в весьма красноречивых обманщиков...

(Trithème. *Annalium Hirsaugensium, Tomus II*, S.Gallo, 1690, с.225)

Неожиданно полумрак окутал зал, а вот стены его осветились. Только сейчас я заметил, что три четверти стен занимает полукруглый экран. Когда этот экран ожил, я понял, что часть потолка и пола сделана из какого-то материала, который отражает свет, и что некоторые предметы, вначале поразившие меня своей грубоватостью — блески, весы, щит и несколько медных пластин,— тоже отражают свет. Мы оказались как бы погруженными в водную среду: кадры в ней умножались, делились на сегменты, смешивались с тенями присутствующих, пол отражал потолок, потолок — пол, и оба они — фигуры, появлявшиеся на стенах. Вместе с музыкой по залу распространялись тонкие запахи: вначале это был индийский ладан, затем какие-то другие, менее определенные запахи, которые временами бывали неприятны.

Затем полумрак превратился в непроглядную темноту, слышалось легкое бульканье вязкой жидкости, кипение лавы, и мы оказались в кратере вулкана, внутри которого клейкая и темная материя клочкотала в прерывистом блеске желтых и синеватых языков пламени.

Испарялась какая-то маслянистая, липкая жидкость, чтобы через минуту вновь упасть на дно в виде росы или дождя, а изнутри исходил зловонный запах гнили, затхлости и плесени. Я вдыхал испарения могилы, мрака, Тартара, меня окружала ядовитая навозная жижа, текущая между озерами перегоня, угольная пыль, болото, менструальные выделения, дым, свинец, экскременты, кора, пена, керосин, чернота чернее черноты, которая, слегка отступив, представила нашему взору двух рептилий — бледно-голубую и красноватую,— сплетенных, словно в

объятиях любви; они кусали друг друга за хвост, образуя какую-то единую кругообразную фигуру.

Ощущение было таким, будто я перепил спиртного: я уже не видел своих спутников, они растворились где-то в полумраке, не распознавал больше фигур, сновавших вокруг меня, воспринимая их лишь как разложившиеся флюидные очертания... Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Я знал, что этого не может быть, и все же не решился обернуться, чтобы не убедиться, что ошибся. Я ощутил запах духов Лоренцы и только теперь понял, насколько она желанна для меня. Это должна быть Лоренца. Она оказалась рядом, чтобы продолжить диалог прикосновений, поскребывания ногтей о дверь, тот диалог, который она так и не завершила вчера вечером. Казалось, что сера и ртуть соединяются, образуя страстную влагу, от которой я ощутил пульсацию в паху, впрочем, не очень бурную.

Я ждал Ребиса, ребенка-гермафродита, философскую соль, венец белого дела.

Мне казалось, что я знаю все. Возможно, все, что я успел прочесть за последние месяцы, приливом наполнило мою голову, а может быть, Лоренца передавала мне свои познания прикосновением руки, и поэтому я не переставал ощущать ее слегка влажную ладонь.

Я с удивлением заметил, что шепчу далекие имена, имена, которыми, как мне было известно, философы обозначали Белое, а я, возможно, с их помощью взывал к Лоренце; не знаю, может, я повторял их про себя словно искупительную молитву: Медь белая, Агнец непорочный, Аибатест, Альборах, Святая Вода, Ртуть очищенная, Аурипигмент, Азок, Борак, Камбар, Каспа, Белила, Свеча, Шайя, Комериссон, Янтарь, Евфрат, Ева, Фада, Ветер западный, Первооснова Искусства, Камень драгоценный Дживиниса, Алмаз, Зибах, Цива, Вуаль, Нарцисс, Лилия, Гермафродит, Хае, Ипостась, Гиле, Молоко Богородицы, Камень единственный, Луна полная, Мать, Масло животворящее, Стручок, Яйцо, Флегма, Точка, Корень, Соль Природы, Земля листовенная, Тевос, Тинкар, Пар, Вечерняя Звезда, Ветерок, Мужеподобная Женщина, Стекло Фараона, Моча Ребенка,

Гриф, Плацента, Менструация, Слуга мимолетный, Рука левая, Сперма Металлов, Душа, Олово, Сок, Сера елейная...

В смолянистом вареве, приобретшем теперь сероватый оттенок, появилась черта горизонта, ее составляли скалы и усохшие деревья, над которыми заходило черное солнце. Затем вспыхнул ослепительный свет, и возникли искрящиеся изображения, которые отражались со всех сторон, создавая эффект калейдоскопа. Повеяло литургическим, церковным запахом, у меня разболелась голова, я как бы почувствовал груз на лбу, и перед глазами предстал утопающий в роскоши зал с золочеными гобеленами; возможно, происходило свадебное пиршество, женихом был принц. Одета в белое невеста, за ними — старый король и королева на тронах, рядом — воин и еще один король, чернокожий. Перед королем небольшой алтарь, на нем — обтянутая черным бархатом книга и канделябр из слоновой кости. Рядом с канделябром — вертящийся глобус и часы, на верхушке которых возвышался небольшой хрустальный фонтан, откуда непрерывно била вода цвета крови. На фонтане, кажется, лежал череп, из его глазницы выползала белая змея.

Лоренца шептала мне на ухо слова, легкие как дыхание. Но я не слышал ее голоса.

Змея двигалась в такт грустной и медленной музыке. Сейчас старые монархи переодевались во все черное, перед ними поставили шесть накрытых крышками гробов. Послышалось несколько угрюмых звуков басовой трубы, и появился человек в черном капюшоне. Пришло время священной экзекуции, которая проходила как бы при замедленной съемке, причем король давал на нее согласие с какой-то скорбной радостью, смиренно опустив голову. Затем человек в капюшоне замахнулся топором, лезвие молниеносно начертило маятниковый путь, удар его отразился на каждой блестящей поверхности, передавшись дальше, на другие поверхности, покатались тысячи голов; и с этого момента кадры сменяли друг друга, но я уже был не в состоянии уследить за их смыслом. Кажется, все, в том числе и чернокожий король, были обезглавлены и положены в гробы, а затем зал превратился в берег моря или озера, и мы увидели,

как причалили шесть освещенных кораблей, на них перенесли гробы; корабли отплыли по водному зеркалу и растаяли в темноте за линией горизонта, а тем временем запах ладана стал осязаем, поскольку превратился в густое испарение; на какой-то миг в меня вселился страх оказаться среди приговоренных, а вокруг меня то и дело раздавался шепот: "свадьба, свадьба..."

Контакт с Лоренцой прервался, и только теперь я обернулся, чтобы отыскать ее среди теней.

А зал уже превратился в склеп или огромную гробницу, своды которой освещал небывалой величины карбункул.

В каждом углу появились женщины в одеждах девственниц, а вокруг двухэтажного котла возвышался замок на каменном цоколе, портик был похож на печь; из двух боковых башен виднелись два алембика, оканчивающихся яйцевидными колбами, а третья, центральная, башня верхушкой переходила в фонтан...

В цоколе замка видны были обезглавленные тела. Одна из женщин принесла шкатулку, вынула из нее какой-то круглый предмет и положила его на цоколь, прямо под сводами центральной башни, на вершине сразу же заработал фонтан. Прошло какое-то время, пока я узнал этот предмет: это был голова мавра, плававшая теперь словно сухое полено, доводя воду в фонтане до кипения. Испарения, шипение, бульканье...

На этот раз Лоренца положила мне руку на затылок и стала осторожно поглаживать мне голову, как она это делала в машине с Джакопо. Пришла женщина, в руках она держала золотой шар, поднесла его к печи цоколя, открыла краник и наполнила шар красной густой жидкостью. После этого сфера раскрылась, и внутри нее вместо красной жидкости оказалось большое красивое яйцо, белое как снег. Женщины достали его и установили на земле, на куче желтого песка, яйцо раскрылось, и из него вышла птица, пока еще бесформенная и вся истекающая кровью. Однако, орошенная кровью обезглавленных людей, она стала расти на наших глазах и превратилась в великолепное создание.

Теперь они отрубили голову птице и сжигали ее на неболь-

шом алтаре до тех пор, пока она не превратилась в пепел. Кто-то замесил пепел словно тесто, которое затем уложили в две формы и поставили в печь, раздувая огонь через трубки. Наконец формы открыли. Из них вышли почти прозрачные, нежные, облаченные в плоть фигурки мальчика и девочки ростом не более четырех пядей, похожие на живые создания, однако с глазами еще стеклянными, неорганическими. Их усадили на подушки, и какой-то старик поил их по капле кровью...

Пришли другие женщины с позолоченными трубами, украшенные зелеными коронами, и протянули одну из труб старику, он поднес ее ко ртам двух созданий, все еще пребывающих в состоянии между растительной вялостью и сладким животным сном, чтобы вдохнуть душу в их тела... Зал наполнился светом, свет постепенно сменился полумраком, а затем — полной темнотой, которую слегка рассеивали лишь оранжевые лампочки, после чего наступил величественный рассвет, высоко и звучно запели трубы, вокруг разлился ослепительный рубиновый свет. В этот момент я потерял Лоренцу и понял, что больше не смогу ее найти.

Все стало огненно-красного цвета, который медленно перешел в цвет индиго, а затем в фиолетовый, и экран погас. Голловая боль стала невыносимой.

— Мистериум Магнум,— громко и спокойно произнес стоявший рядом со мной Аглиз.— Возрождение нового человека через смерть и страдания. Должен признать, отличное исполнение, даже если пристрастие к аллегориям повлияло на точность воспроизведения всех этапов. Естественно, вы видели всего лишь представление, но оно рассказывает о Вещи. И наш хозяин утверждает, что ему удалось эту Вещь воспроизвести. Пойдемте, господа, посмотрим на свершившееся чудо.

И если рождаются такие чудовища, надо полагать, что это — творение природы, хотя внешне они отличаются от человека.

(Paracelse. *De Homunculis*, в: *Operum Volumen Secundum*, Женева, De Tournes, 1658, с.475)

Мы вышли в сад, и я сразу же почувствовал себя лучше. Я так и не решился спросить у остальных, действительно ли приехала Лоренца. Это был сон. Но сделав несколько шагов, мы вошли в оранжерею, и я опять ощутил удушье от жары. Среди растений, в основном тропических, стояли шесть стеклянных, герметично закрытых и опечатанных колб, отлитых в форме груши или, возможно, слезы и наполненных жидкостью лазурного цвета. Внутри каждой из них плавало по существу сантиметров двадцать ростом. Мы узнали седовласого короля, королеву, мавра, воина и двух отроков — один голубой, другой розовый, — увенчанных лаврами... Они совершали грациозные плавательные движения так, словно находились в родной среде.

Трудно было понять, сделаны они из пластика, воска или же речь идет о живых существах, поскольку мутная жидкость не позволяла увидеть, действительно ли их слабое дыхание настоящее или же это просто оптический обман.

— Похоже, они растут с каждым днем, — сказал Аглиз. — Ежедневно с утра сосуды зарывают в куче свежего навоза, конского, еще теплого, который обеспечивает самую подходящую для роста температуру. Именно поэтому Парацельс указывает, что гомункулусов необходимо выращивать при температуре лошадиной утробы. Наш хозяин утверждает, что эти гомункулусы разговаривают с ним,веряют ему секреты, пророчат, один раскрывает настоящие размеры Храма Соломона, другой рассказывает, как изгнать демонов... Честно говоря, лично я никогда не слышал, чтобы они говорили.

У них были очень выразительные лица. Король нежно смотрел на королеву, его взгляд был полон любви.

— Хозяин говорит, что однажды утром увидел неизвестно как выбравшегося из сосуда синего отрока, который пытался откупорить сосуд своей спутницы... Находясь вне своей стихии, он с трудом дышал; его еле удалось спасти, поместив обратно в жидкость.

— Ужасно! — произнес Диоталлеви. — Вообще-то, мне бы не хотелось их иметь. Пришлось бы постоянно носить с собой эти сосуды и искать навоз. А что делать с ними летом? Оставлять на консьержа?

— Но, возможно, — заключил Аглиз, — они всего лишь людионы, картезианские дьяволы. Или же автоматы.

— Черт возьми, черт возьми! — пробормотал Гарамон. — Вы только что открыли для меня новый мир, доктор Аглиз. Дорогие друзья, нам всем не мешало бы быть смиреннее. Есть многое на небесах и на земле... Но, в конце концов, на войне, как на войне...

Гарамон был просто-напросто потрясен. Лицо Диоталлеви выражало циничную заинтересованность, Бельбо никак не проявлял своих чувств.

Желая освободиться от всяких сомнений, я обратился к нему:

— Как жаль, что Лоренца не поехала с нами, ее бы это развлекло.

— Да, жаль, — подтвердил он тоном человека, мысли которого находятся где-то очень далеко.

Лоренца не приехала. А я ощущал себя, как Ампаро в Рио. Мне было не по себе. Я чувствовал себя обманутым. Никто не подал мне агодѳ.

Я оставил своих спутников, вернулся в здание и, прокладывая себе путь сквозь толпу, добрался до буфета и взял какой-то прохладительный напиток, хотя опасался, что это может быть и приворотное зелье. Я искал туалетную комнату, чтобы смочить себе виски и затылок. Найдя ее, я наконец испытал облегчение. Однако, когда я оттуда вышел, меня заинтересовала небольшая винтовая лестница, и я не смог противостоять соблазну нового приключения. Быть может, хотя мне казалось, что рассудок вернулся, я продолжал искать Лоренцу.

Несчастный безумец! Неужели ты настолько наивен, что полагаешь, будто мы в самом деле откроем тебе самую великую из тайн? Уверю тебя, каждый, кто возьмется объяснить с точки зрения обычного и литературного смысла слов то, о чем пишут философы-герметисты, тут же попадет в объятия лабиринта, из которых не сможет освободиться, и у него не будет нити Ариадны для того, чтобы найти выход.

(Artephius)

Я очутился в скудно освещенном зале, расположенном ниже уровня земли, стены его, как и фонтаны в парке, были украшены раковинами и камнями. В одном из его углов я обнаружил отверстие, похожее на раструб замурованной трубы, и еще издали услышал доносящиеся оттуда звуки. Я приблизился, и звуки стали более различимы, я уже прекрасно понимал слова, чистые, отчетливые, будто их произносили где-то совсем рядом. Ухо Дионисия!

Ухо, очевидно, сообщалось с одним из верхних залов и служило для подслушивания разговоров тех, кто в этот момент находился в непосредственной близости от входного отверстия.

— Мадам, я скажу вам то, чего еще никому не говорил. Я устал... Я работал с киноварью, ртутью; сублимировал спирт, ферменты, соли железа, стали и их шлаки, но не нашел Камня. Затем я приготовил укрепляющую, разъедающую и горящую воду, но результат был тот же. Я использовал яичную скорлупу, серу, купорос, мышьяк, нашатырь, соли стекла, алкалиновую, кухонную и каменную соли, селитру, натриевую соль, соль винного камня, карбонат калия, алембротскую соль, но, поверьте мне, не стоит всему этому доверять. Лучше избегать несовершенных, грубых металлов, иначе вы рискуете обмануться, как это было со мной. Я испробовал все: кровь, волосы, душу Сатурна, маркасситы, чеснок, марсианский шафран, стружки и шлаки железа, свинцовый глет, сурьму — все напрасно. Я работал над тем, чтобы извлечь из серебра масло и воду; я обжигал

серебро со специально приготовленной солью и без нее, а также с водкой, и добыл из него едкие масла, вот и все. Я употреблял молоко, вино, сычужину, сперму звезд, упавших на землю, чистотел, плаценту; я смешивал ртуть с металлами, превращая их в кристаллы; я направил свои поиски даже на пепел... Наконец...

— Что — наконец?

— Ничто на свете не требует большей осторожности, чем истина. Обнаружить ее — это все равно что пустить кровь прямо из сердца...

— Довольно, довольно, мои нервы и так уже не выдерживают...

— Вам одному я могу доверить свою тайну. Я не принадлежу ни к какому месту, ни к какой эпохе. Я существую вечно вне времени и пространства. Существуют люди, у которых нет ангела-хранителя, и я один из них...

— Но зачем же вы привели меня сюда?

Послышался еще один голос:

— Ну что, дорогой Бальзамо, играем в миф о бессмертии?

— Придурок! Бессмертие не миф, а реальность!

Эта болтовня мне надоела, и я уже готов был уйти, как вдруг услышал голос Салона. Говорил он тихо, с придыханием, словно удерживал кого-то за руку. Я узнал голос Пьера.

— Да бросьте,— говорил Салон,— не станете же вы утверждать, что пришли сюда из-за этой алхимической буффонады. И не для того, чтобы подышать свежим воздухом в саду. А вы знаете, что после Гейдельберга де Каус принял приглашение короля Франции заняться очисткой Парижа?

— Очисткой фасадов?

— Он не был Мальро. Подозреваю, что речь шла о канализации. Странно, правда? Этот господин придумывал символические апельсиновые рощи и яблоневые сады для императоров, а, в сущности, его интересовали подземелья Парижа. В те времена в Париже не существовало настоящей канализационной сети. Это была путаница из выходящих на поверхность

земли каналов и подземных туннелей, о которых мало что было известно. Еще во времена республики римляне знали все о своей Cloaca Maxima, а через тысячу пятьсот лет в Париже никто понятия не имел, что происходит под землей. И тогда де Каус принял предложение короля, потому что хотел узнать нечто большее. Но что? После де Кауса Кольбер решил очистить подземные стоки (это был только предлог, поскольку, заметьте, речь идет об эпохе Железной Маски) и послал туда каторжников; они отправляются в рейс по реке экскрементов, плывут по течению по направлению к Сене и беспрепятственно удаляются в своей лодке, поскольку никто не посмел встать на пути этих несчастных, источавших ужасную вонь и окруженных роем мух... Тогда Кольбер ставит жандармов у каждого выхода к реке, и каторжники нашли свою смерть под землей. В течение трех веков в Париже удалось пройти всего лишь три километра канализации. Однако в XVIII веке пройдено уже двадцать шесть километров, и произошло это как раз накануне революции. Вам это ни о чем не говорит?

— О, знаете, это...

— Дело в том, что к власти пришли новые люди, которым было известно нечто такое, чего не знали их предшественники. Наполеон отправляет целые отряды людей, которые бредут в темноте сквозь отбросы великой метрополии. Тот, кто не побоялся этой работы, обнаружил там много вещей. Кольца, золото, колые, другие драгоценности, которые неизвестно как попали в эти стоки. Я говорю о людях со здоровыми желудками: ведь они проглатывали то, что находили, а после выхода наружу принимали какое-нибудь очистительное средство и остаток жизни проводили в достатке. Было также обнаружено, что от многих домов подземные ходы ведут в канализацию.

— Ну, это уже...

— Во времена, когда содержимое ночного горшка выбрасывалось прямо в окно? И почему еще с тех времен остались туннели с боковыми ступеньками, а в их стены по обе стороны вмурованы два железных кольца, за которые можно ухватиться? Эти ходы вели к неким *tapis francs*, где собирались отбросы общества, *la pègre*, как тогда говорили, и в случае появления

полиции можно было нырнуть в такой подземный ход и явиться на свет в совершенно другом месте.

— Узнаю газетных писак...

— Ах вот как? Интересно, кого вы хотите защитить? При Наполеоне III барон Хаусманн специальным декретом предписал, чтобы для каждого дома в Париже были построены автономный мусоросборник и канал, по которому отходы поступали бы в канализационный коллектор... Это туннель два метра тридцать сантиметров высотой и метр тридцать шириной. Вы только себе представьте! Каждый дом Парижа сообщается подземным ходом с канализацией. А знаете, какова сегодня длина парижской канализации? Две тысячи километров на различных уровнях. А все началось с того, кто спроектировал в Гейдельберге эти сады...

— И что из этого?

— Вижу, у вас действительно нет желания разговаривать со мной. Или вы что-то знаете и не хотите мне сказать.

— Прошу вас, оставьте меня; вы меня здесь держите, а там меня ожидают, чтобы начать собрание.

Звук удаляющихся шагов.

До меня так и не дошло, чего хотел добиться Салон. Я огляделся вокруг, насколько мне позволяло узкое пространство между стеной, украшенной раковинами и камнями, и раструбом трубы, и у меня возникло ощущение, что я тоже нахожусь в подземелье, а надо мной сомкнуты своды, и что этот канал подслушивания ведет не иначе как в темные подземные туннели, которые сходятся в самом центре земли, где слышится топот Нибелунгов. Меня обдало холодом. Я уже собирался уйти, как вдруг услышал еще один голос:

— Пойдем. Сейчас начинаем. В потайном зале. Позовите остальных.

Это Золотое Руно стережет трехглавый Дракон. Одна его голова произошла от воды, другая — от земли, а третья — от воздуха. И эти три головы должны быть обязательно соединены в одном, самом сильном Драконе, который сожрет всех остальных Драконов.

(Jean d'Espagnet. *Arcanum Hermeticae Philosophiae Opus*, 1623, 138)

Я вернулся к своим спутникам и рассказал Аглиэ, что слышал о каком-то собрании.

— А вы становитесь любопытным! — сказал Аглиэ. — Но я могу вас понять. Если человек решил углубиться в тайны герметизма, он ничего не хочет упускать. Так вот, насколько мне известно, сегодня вечером должна состояться инициация нового члена Старинного и Общепринятого Ордена Розенкрейцеров.

— А можно это увидеть? — спросил Гарамоң.

— Нельзя. Не положено. Не подобает. Не нужно. Однако мы поступим, как те герои греческого мифа, которые увидели то, на что не должны были смотреть, и подставим чело гневу богов. Я дам вам возможность на это взглянуть.

Он провел нас по узкой лестнице в темный коридор, отодвинул портьеру, и через закрытую застекленную дверь мы увидели расположенный ниже зал, освещенный пылающими жаровнями. Стены его были обиты камчатной тканью, расшитой лилиями, а в глубине возвышался трон с позолоченным балдахином. По обе его стороны на двух треногах стояли вырезанные из картона или пластика модели Солнца и Луны, примитивно выполненные, однако покрытые то ли оловянной фольгой, то ли металлическими пластинами, разумеется золотыми и серебряными, и это производило не наихудший эффект, поскольку каждое из небесных тел было подсвечено пламенем жаровен. Над балдахином с потолка свисала огромная звезда, сверкающая драгоценными камнями или стеклянными изразцами. Потолок был обит синей камчатной тканью, усеянной серебряными звездами.

Перед троном стоял длинный, украшенный пальмами стол, на котором лежала шпага, а прямо перед столом стояло чучело

льва с широко раскрытой пастью. Очевидно, в голову зверя была вставлена красная лампочка, поскольку его глаза сверкали, а пасть, казалось, изрыгала пламя. Я подумал, что к этому, должно быть, приложил руку господин Салон, и наконец понял, о каких особенных клиентах он говорил в тот день в Мюнхене.

Около стола стоял Браманти, наряженный в пурпурную тунику и зеленые расшитые литургические одежды, на плечи его была наброшена белая мантия с золотой бахромой, на груди висел крест, а на голове был убор, чем-то отдаленно напоминающий митру и украшенный бело-красным султаном. Перед ним, расположившись в иерархическом порядке, стояло еще человек двадцать, тоже одетых в пурпурные туники, но без убранства для литургии. У всех на груди было что-то позолоченное, показавшееся мне знакомым. Я вспомнил об одном портрете эпохи Ренессанса: большой габсбургский нос и у пояса этот странный ягненок с бессильно свисающими ножками. Эти люди использовали его в качестве имитации Золотого Руна.

Браманти что-то говорил, воздев руки кверху, словно произносил литанию, а присутствующие вторили ему. Затем Браманти поднял шпагу, и все достали из-под туник стилеты или ножи для разрезания бумаги и скрестили их. Именно в этот момент Аглиз опустил портьеру. Мы увидели слишком много.

Мы удалились (на манер аллюра Розовой пантеры, как определил Диоталлеви, прекрасно информированный по части извращений современного мира) и, слегка запыхавшиеся, опять очутились в саду.

Гарамон был потрясен.

— Так это... масоны?

— О,— протянул Аглиз.— Кто такие масоны? Это последователи одного рыцарского ордена, который опирается на розенкрейцеров, а косвенно и на тамплиеров.

— Но разве все это имеет отношение к масонству? — настаивал Гарамон.

— Если то, что вы только что увидели, и имеет что-либо общее с масонством, так это то, что обряд, придуманный Браманти, является хобби для людей либеральных профессий и про-

винциальных политиков. Так уж сложилось с самого начала: франкмасонство всегда сводилось к чистой спекуляции на мифе о тамплиерах. Карикатура карикатуры. Но эти господа воспринимают все безумно серьезно. Увы! Мир кишит такими поклонниками розенкрейцеров и тамплиеров, которых вы видели сегодня. От подобных людей не приходится ожидать серьезных познаний, хотя именно среди них иногда можно встретить образованного человека, достойного нашей веры.

— Однако вы бываете в их кругах? — спросил Бельбо безо всякой иронии и заметного подвоха, словно этот вопрос касался его лично.— Кому из них... извините... кому можно было бы доверять?

— Конечно же, никому! Неужели я похож на человека доверчивого? Я смотрю на них так же — с хладнокровием, пониманием, интересом — как любой теолог наблюдает за неаполитанской толпой, орущей в ожидании чуда на праздник святого Януария. Эта толпа — свидетельство веры и глубокой потребности в чуде, и теолог бродит среди потных и обслюнявленных людей в надежде встретить святого, который сам себя не знает, который является носителем истины высшего порядка и может однажды пролить свет на тайну Пресвятой Троицы. Но при этом не следует путать Пресвятую Троицу со святым Януарием.

Он был неуязвим. Не знаю, какими словами можно охарактеризовать его герметический скептицизм, его литургический цинизм, его высочайшее неверие, позволявшее ему с уважением относиться к тем предрассудкам, которые сам он презирал.

— Все просто,— продолжил он свой ответ,— если подлинные тамплиеры оставили тайну своим продолжателям, необходимо разыскать этих людей, а сделать это проще всего в среде, где им легко скрываться и где они, возможно, сами придумывают новые обряды и мифы, чтобы действовать, не обращая на себя внимания, словно рыбы в воде. Как действует полиция, когда разыскивает беглого преступника, высочайшего класса гения зла? Она прочесывает дно, на котором обитают отбросы общества, например пользующиеся дурной репутацией бары, где обычно околачиваются мошенники мелкого калибра, не способные подняться до уровня величайших преступлений, кото-

рые по плечу разыскиваемому беглецу. Как действует стратег террора, чтобы завербовать сообщников, найти своих, обнаружить близких себе по духу? Он кружит по барам, где собираются псевдовозбудители порядка, особи слишком низкого полета, чтобы что-нибудь возбудить, их удел — демонстративное подражание своим кумирам. Утерянный огонь ищут среди горящих углей или в лесных зарослях: там палят костры, и маленькие искорки тлеют еще под сухими ветками, торфом, полусожженной листвой. А где же лучше спрятаться настоящему тамплиеру, как не в толпе карикатур на самого себя?

Друидическими общинами можно считать общины, которые называются таковыми и преследуют цели, начертанные друидами, а также совершают инициации, обращаясь к друидизму.

(M.Raoult. *Les druides. Les sociétés initiatiques celtes contemporaines*, Париж, Rocher, 1983, с.18)

Близилась полночь, и согласно программе, составленной Аглиэ, нас ожидал еще один сюрприз. Мы покинули дворцовые сады и продолжили нашу прогулку среди холмов.

Через три четверти часа Аглиэ посоветовал припарковать наши машины на краю лесных зарослей. Как он пояснил, нам нужно было пробраться сквозь чащу на одну поляну, куда не было ни дороги, ни тропинки.

Мы шли немного под гору, продираясь сквозь лесные заросли; нельзя сказать, чтобы здесь было мокро, но наши ноги ступали по настилу из гниющих листьев и скользким корням. Время от времени Аглиэ доставал карманный фонарик, чтобы сориентироваться, где лучше пройти, но после этого сразу выключал его, говоря, что не стоит уведомлять о нашем присутствии участников церемонии. Диоталлеви в какой-то момент попытался было вставить какой-то комментарий, не помню уже какой, возможно, он вспомнил о Красной Шапочке, но Аглиэ достаточно настойчиво попросил его воздержаться.

Когда мы уже выходили из кустов, услышали отдаленные голоса. Наконец-то мы добрались до лесной поляны, освещенной рассеянным сиянием — возможно, лучинами или, скорее, светлячками, которые волнообразно двигались у самой поверхности земли и излучали слабый серебристый свет,— как будто горела какая-то летучая субстанция, холодная с химической точки зрения, заключенная в мыльные пузыри, которые витали над травой. Аглиэ попросил нас остаться на месте, под прикрытием кустов, и не подавать признаков жизни.

— Скоро сюда придут жрицы. Друидессы. Они будут вызывать к великой космической богоматери Микиль, известной в христианстве как святой Михаил. И не случайно этот святой —

ангел, а значит андрогин, который мог занять место женского божества...

— А откуда они должны прибыть? — шепотом осведомился Диоталлеви.

— Из разных мест: из Нормандии, Норвегии, Ирландии... Сегодня особенное событие, а местность благоприятна для проведения обрядов.

— Почему? — спросил Гарамон.

— Потому что одни места магические, а другие нет.

— Но кто они... в повседневной жизни? — допытывался Гарамон.

— Люди. Секретари-машинистки, страховые агенты, поэтессы. Люди, которых, встретив завтра, вы можете не узнать.

Мы увидели небольшую группу людей, готовящихся к выходу на середину поляны. Я понял, что тот холодный свет исходил от маленьких фонариков, скрытых в ладонях жриц, а поскольку поляна лежала на вершине холма, то создавалось впечатление, будто они светят над самой поверхностью земли; издали я увидел, как жрицы, подходя со стороны долины, появлялись на противоположном конце поляны. На них были белые туники, развевавшиеся на легком ветерке. Они стали в круг, а на середину вышли три жрицы.

— Это три *hallouines* из Лизье, Клонмакнуга и Пино Торинезе, — пояснил Аглиз. Бельбо поинтересовался, почему именно из этих мест, но Аглиз лишь пожал плечами. — Тише, подождите. В трех словах мне не объяснить значение обряда и иерархию нордической магии. Вам придется довольствоваться тем, что я успеваю сказать. Если я не даю более пространных пояснений, то потому, что сам не знаю... или не могу вам это открыть. Я должен почитать обет молчания...

В самом центре поляны я заприметил грудку камней, по своей форме напоминавшую, хотя только в общих чертах, дольмен. Возможно, эти глыбы и определили выбор места для проведения обряда. Одна из трех жриц поднялась на дольмен и подула в трубу. Эта труба, по сравнению с инструментом, который мы видели несколькими часами раньше, еще больше походила на горн для триумфального марша Аиды. Однако из нее

раздался приглушенный, мрачный звук, который, казалось, долетал откуда-то издалека. Бельбо взял меня за локоть:

— Это же настоящая рамсинга тугов под священным баньяном...

В ответ я поступил совершенно не деликатно. Я не сразу понял, что он шутит для того, чтобы не вызывать других аналогий, и бросил щепоть соли на его рану:

— Конечно, дженис был бы менее волнующим.

Бельбо утвердительно кивнул.

— Потому-то я и стою здесь, что не хочу дженис.

Не знаю, может, именно в этот вечер он стал улавливать связь между своими видениями и тем, что случилось с ним за последние месяцы.

Аглиз не слышал наш разговор, но заметил, что мы перешептываемся.

— Это не сигнал и не предупреждение,— сказал он,— а определенного вида ультразвук, позволяющий установить контакт с подземными волнами. Видите, жрицы взяли за руки и стали в круг. Они таким образом создают некий живой аккумулятор, который принимает и концентрирует теллурические вибрации. Сейчас должно появиться облако...

— Какое облако? — шепотом спросил я.

— По традиции называется зеленым облаком. Немного терпения...

Я не был готов к появлению никакого зеленого облака. И вот совершенно неожиданно с земли поднялась шелковистая дымка, которую можно было бы назвать облаком, будь она однообразной и более плотной. Однако она состояла из отдельных хлопьев, которые скреплялись в какой-то определенной точке, а затем, подхваченные дуновением ветра, взлетали, словно клубы сахарной ваты, проплывали в воздухе и снова сбивались в ком на другом конце поляны. Это было необыкновенное зрелище: иногда хлопья появлялись где-то на фоне дерева, иногда все терялось в бледноватом тумане, потом вдруг в центре поляны поднимался клуб дыма, скрывая от нашего взгляда все, что там происходило, и оставляя видимыми только край поляны и небо, где по-прежнему светила луна. Движения

хлопьев были резкими, неожиданными, словно они повиновались какому-то капризному дуновению.

Сначала я подумал, что это могут быть химические штучки; затем, поразмыслив, решил, что на высоте в шестьсот метров вполне реальны настоящие облака. Они были предусмотрены ритуалом, призваны? Вполне вероятно, что нет, возможно, жрицы вычислили, что на такой высоте при благоприятных обстоятельствах у самой земли могут образовываться эти величественные облака.

Трудно было не восхищаться великолепием зрелища, тем более что одеяния жриц сливались с белизной дымки и их силуэты то появлялись, то исчезали в этой молочной субстанции, словно поглощались ею.

Наступил момент, когда облако заняло весь центр поляны, а одинокие клубящиеся шары, удлинясь, взлетали вверх и почти полностью закрывали луну, при этом, впрочем, не превращая поляну, которая оставалась светлой по краям, в мертвенно-белую пустыню. И вдруг мы увидели, как от облака отделилась друидесса и, вытянув вперед руки, с криком бросилась к лесу; я даже подумал, что она обнаружила нас и теперь старается обратить на нас свое проклятие. Однако в нескольких метрах от нас она неожиданно изменила направление и принялась бегать вокруг белого пятна, затем исчезла в облаке с его левой стороны, чтобы через несколько минут возникнуть с правой, и опять она пробежала так близко от нас, что я смог разглядеть ее лицо. Это была сивилла с большим дантевским носом над тонким, словно расщелина, ртом, раскрывавшимся будто морской цветок, беззубым, если не считать двух резцов и нарушающего симметрию клыка. Глаза ее были быстрые, хищные, с пронизывающим взглядом. Мне послышалось или показалось — и на этот образ накладываются другие воспоминания, — что вместе с серией слов, произнесенных на языке, который я принял за газльский, я услышал пару заклинаний по-латыни, нечто вроде "o pēgnia (oh, e oh!, intus) et eee uluma!!!", и неожиданно облако почти полностью растаяло, поляну опять залил яркий свет, и я увидел, что ее оккупировало стадо приземистых свиней с

ошейниками из недозрелых яблок. Друидесса, которая играла на трубе, все так же стояла на дольмене, потрясая ножом.

— Пошли,— сухо бросил Аглиз.— Это все.

Слушая его, я заметил, что облако нас полностью окутало, я уже почти не видел моих спутников.

— Как это, все? — послышался голос Гарамона.— Похоже, что самое интересное только начинается!

— Это все, что можно вам видеть. Остальное — исключено. Давайте уважать обряд. Пошли.

Я вошел в лес, и тут же меня обволокла окружающая нас влага. Мы шли, дрожа от холода, скользя по настилу из гнилых листьев, тяжело дыша, не разбирая пути, словно солдаты обратившейся в бегство армии. Мы добрались до дороги. Через два часа можно было уже быть в Милане. Садясь в машину Гарамона, Аглиз на прощание сказал:

— Извините, что прервал зрелище. Я хотел, господа, чтобы вы кое-что узнали, чтобы вы узнали кого-то, кто живет вокруг вас и для кого вы, собственно, отныне собираетесь работать. Однако больше этого вам видеть нельзя. Когда мне сообщили об этом событии, я пообещал, что не нарушу хода церемонии. Наше присутствие могло бы отрицательно сказаться на том, что последовало дальше.

— А свиньи? Что там происходит? — попробовал вывести Бельбо.

— Я уже сказал все, что мог.

- О чем ты думаешь, когда смотришь на эту рыбу?
- О других рыбах.
- А когда смотришь на других рыб?
- Еще о других рыбах.

(Joseph Heller. *Catch 22*, Нью-Йорк, Simon & Schuster, 1961, XXVII)

Из Пьемонта я вернулся обуреваемый угрызениями совести. Однако, увидев Лию, позабыл о всех своих вожделениях.

Следует сказать, что эта поездка навела меня на новые следы, и теперь меня больше всего заботило то, что я прежде этим не занимался. Я как раз главу за главой упорядочивал иллюстрации к истории металлов, и мне никак не удавалось вырваться из объятий демона аналогии, как это уже однажды случилось в Рио. Чем отличаются друг от друга цилиндрическая печь Реомюра 1750 года, инкубатор для выведения птенцов и атанор XVII столетия, эта материнская утроба, мрачная матка для выращивания Бог знает каких мистических металлов? У меня было такое ощущение, будто в пьемонтский замок, где я побывал неделю назад, перевезли весь Немецкий музей.

Мне становилось все труднее вылушивать мир магии из того, что мы называем сегодня миром точных измерений. Я вновь сталкивался с людьми, о которых еще в школе говорили, что они несут свет математики и физики в дебри суеверий, и обнаруживал, что свои открытия они делали, опираясь, с одной стороны, на лабораторию, а с другой — на Каббалу. Возможно, всю историю я читал по-новому, глазами сатанистов? Однако вскоре мне в руки попались подлинные тексты, где рассказы-валось о том, как физики-позитивисты прямо с университетской скамьи спешили на десерт посетить сеансы медиумов и собрания астрологов и каким образом Ньютон открыл закон всемирного тяготения, веря в существование оккультных сил (я вспомнил его исследования по космологии розенкрейцеров).

Я дал себе обещание все в науке подвергать сомнению, но теперь я не мог доверять даже мэтрам, которые учили меня во всем сомневаться.

Я сказал себе, что в этом похож на Ампаро: не верю, но

уступаю. Я ловил себя на размышлениях о том, что высота большой пирамиды действительно равна одной миллиардной расстояния между Землей и Солнцем, или о том, что между мифологиями кельтов и американских индейцев сами собой напрашиваются аналогии. И тогда я начинал вопрошать все, что меня окружало: дома, вывески магазинов, облака в небе, гра-
вюры в библиотеках, умоляя раскрыть не их собственную историю, а ту, другую, которую они несомненно скрывали, но о которой можно было догадаться, исследуя их свойства и таинственную схожесть.

Меня выручила Лия, по крайней мере на какое-то время.

Я рассказал ей все (или почти все) о своей поездке в Пьемонт, и с тех пор каждый вечер возвращался домой с новыми интересными данными, которые включал в свой список совпадений. Лия комментировала: "Ешь, ты стал тощий как щепка". Однажды вечером она присела к моему столу, волосы разделила посреди лба, чтобы смотреть мне прямо в глаза, руки сложила на животе, как это делают крестьянки. Она никогда не сидела так, с расставленными ногами, с юбкой, натянутой между коленями. Я подумал, что эта поза лишена привлекательности. А потом взглянул на ее лицо, и оно мне показалось как никогда светлым и нежным. Я выслушал ее — хоть сам еще не знал почему — с уважением.

— Пум,— сказала она,— мне совсем не нравится то, как ты работаешь в издательстве "Мануцио". Прежде ты собирал факты и нанизывал их словно ракушки. А теперь создается впечатление, будто ты зачеркиваешь номера в лото.

— Это только потому, что числа мне кажутся более забавными.

— Это не забава, а увлечение, это разные вещи. Смотри, ты можешь заболеть.

— Не будем преувеличивать. Кроме того, больны пока что они. Человек не становится сумасшедшим только потому, что работает санитаром в психиатрической клинике.

— Это еще надо доказать.

— Знаешь, я всегда с недоверием относился к аналогиям, а

теперь у меня в голове парад аналогий, какой-то Кони Айчико. Первое Мая в Москве, целый Святой Год аналогий. Я знаю, что некоторые из них лучше, чем другие, и задумываюсь, но к тому объяснений.

— Пум,— сказала Лия,— я видела твои карточки — ведь в мои обязанности входит раскладывать их по порядку. Какие бы открытия ни сделали твои сатанисты, они уже давно здесь, стоит только хорошо присмотреться.

И она похлопала себя по животу, бокам, бедрам и по лбу. Когда она сидела так, с расставленными коленями, которые натягивали юбку, то казалась крепкой и цветущей кормилицей — она, такая тонкая и гибкая,— потому что кроткая мудрость придавала ей матриархальный авторитет.

— Пум, нет архетипов, существует тело. Живот внутри прекрасен, потому что там созревает ребенок, туда радостно влетает твой птенчик и оставляет очень вкусное блюдо, поэтому так хороши и важны пещеры, овраги, норы, подземелья и даже лабиринты, которые напоминают нашу добропорядочную и святую требуху, и если кто-нибудь захочет создать нечто весьма значимое, он добудет это нечто именно из живота, ведь ты тоже из него появился в день своего рождения; плодородие всегда связано с какой-нибудь дырой, в которой вначале что-то томится, а затем появляется маленький китаец, финик, баобаб. Однако верх всегда лучше, чем низ, поскольку, когда стоишь на голове, в мозг приливает чересчур много крови, потому что ноги воняют, а волосы нет, потому что лучше взобраться на дерево и собирать плоды, чем закончить под землей и откармливать червяков, потому что, устремляясь вверх (собственно, ты хотел идти на чердак), ты редко причиняешь себе боль, а последствия падения на землю обычно бывают весьма болезненными, а значит, верх —местилище ангельских сил, а низ — дьявольских. Но поскольку то, что я перед тем сказала о моем красивом животике тоже правда, обе вещи соответствуют истине: низ и середина прекрасны с одной стороны, а верх — с другой, и ни всемирные противоречия, ни дух Меркурия ничего не могут тут поделывать. Огонь дает тебе тепло, а холод приносит бронхит, и если рассуждать с точки зрения ученого, жившего

четыре тысячелетия назад, именно огонь обладает полезными и таинственными свойствами, тем более что на нем можно изжарить себе цыпленка. Однако холод консервирует этого же цыпленка, а если сунешь руку в огонь, сразу же появится волдырь, о, такой огромный; так что если хочешь подумать о чем-то, что хранится тысячелетиями, как разум, то лучше это делать на вершине горы (мы уже видели, как это хорошо), или же в пещере (что тоже хорошо), или же в вечном холоде тибетских гор (что вообще прекрасно). А если хочешь знать, почему разум пришел к нам с Востока, а не, скажем, со швейцарских Альп, так это потому, что взоры твоих предков, которые просыпались еще до-восхода солнца, были устремлены на восток в надежде, что солнце взойдет и не будет дождя. Что за время!

— Конечно, мама.

— А как же, малыш. Солнце хорошо уже тем, что согревает тело, и еще потому, что у него хватает ума вставать каждое утро, хорошо все то, что возвращается, а не то, что отходит и навсегда исчезает и с глаз, и из сердца. Наилучший способ вернуться туда, откуда ты вышел, не повторяя дважды пройденного пути, это идти по кругу. А поскольку единственное существо, способное свернуться в бублик,— змея, это и объясняет причину появления такого множества мифов и культов, связанных со змеей; ведь непросто представить себе возвращение Солнца, скручивая в крендель бегемота. Кроме того, если при проведении ритуала тебе необходимо воззвать к Солнцу, лучше всего перемещаться по кругу, поскольку если ты идешь по прямой линии, то всего лишь удаляешься от изначального места и церемония продлится недолго, а с другой стороны, круг — наиболее удобен для любого образца, и знают об этом даже огнеглотатели, выступающие на площадях: став в круг, все могут видеть то, что происходит в его центре, а если бы целое племя выстроилось в шеренгу как солдаты, тем, дальним, ничего не было бы видно. Вот почему круг — это движение, а движение — круговое, и цикличные возвращения лежат в основе каждого культа и каждого обряда.

— Конечно, мама.

— А как же! А теперь давай перейдем к магическим числам,

которые обожают твои авторы. Один — это ты, потому что второго такого нет, у тебя одна штучка, вот здесь, и у меня одна штучка, вот здесь, один нос, одно сердце, сам видишь, сколько важных вещей существует в единственном числе. Два глаза, уха, две ноздри, мои груди и два твоих яичка, две ноги, руки и половинки ягодиц. Число три наиболее магическое, потому что наше тело его не знает, в нем ничего нет в количестве трех, это должно быть очень таинственное число, которое мы приписываем Богу, где бы мы ни жили. Однако давай поразмыслим: у тебя есть одна хорошенькая штучка, у меня есть одна хорошенькая штучка — сиди и молчи, свое остроумие оставь при себе,— так вот, если эти две штучки сложить, на свет появится еще одно существо, и нас будет трое. Да неужели же нужно быть профессором университета, чтобы объявить о том, что абсолютно все народы имеют троичную структуру, говорят о троице и так далее? Не забывай, что в религии все расчеты проводятся без помощи компьютера, а наши предки были людьми из крови и костей, которые трахались точно так же, как и мы, так что все троичные структуры не представляют собой тайны, а лишь рассказывают то, что делаешь ты и что делали они. И дальше: две ноги и две руки — это четыре, ну и четыре лапы, маленькие дети ползают на четвереньках, о чем хорошо знал сфинкс. О пяти не стоит даже говорить, у нас пять пальцев на руке, а если посмотришь на свои две руки, то увидишь еще одно священное число — десять, это и понятно, ведь заповедей тоже десять, если бы, например, их было двенадцать, то священник, перечисляя их по пальцам: один, два, три... дойдя до последних, должен был бы использовать руку ризничего. А теперь посмотри на свое тело и сосчитай все части, торчащие из туловища: руки, ноги, голова и пенис, итого шесть, но у женщины — семь, именно поэтому твои авторы никогда не принимают шестерку всерьез, разве только как сумму трех, поскольку она относится только к мужчинам, которые не могут иметь семерку, и когда они командуют, то считают это число священным, забывая, что мои соски тоже торчат вперед, но — терпение. Во-семь... Боже мой, у нас нет ни одной восьмерки... нет, погоди,

если руки и ноги считать не одной единицей, а двумя, принимая во внимание колени и локти, то получится восемь длинных костей, торчащих из туловища, прибавь к этой восьмерке туловище — и получишь девять, плюс голова — десять. Тебе нужно лишь тело и ничего больше, чтобы получить все числа, которые захочешь, а подумай-ка об отверстиях.

— Об отверстиях?

— Да, сколько отверстий у тебя на теле?

— Ну... Глаза, ноздри, уши, рот, попа — итого восемь.

— Видишь? Еще один повод, чтобы признать восемь хорошим числом. А у меня их девять! И именно через девятое ты появился на свет, вот почему число девять более божественно, чем восемь! Хочешь, чтобы я тебе объяснила другие повторяющиеся символы? Нужно ли обнажать анатомию менгиров, о которых без устали твердят твои авторы? Днем человек на ногах, а ночью он лежит, даже твой пенис (только не рассказывай сейчас, что он делает по ночам) работает стоя, а отдыхает лежа. Следовательно, вертикальное положение олицетворяет собой жизнь и находится в прямой связи с Солнцем, и дажеobelisks тянутся вверх, как деревья, а горизонтальное положение и ночь — это сон и смерть; поэтому все боготворят менгиры, пирамиды и колонны и никто не почитает балконы или балюстрады. Приходилось ли тебе когда-нибудь слышать о древнем культе Священных Перил? Вот видишь! И опять же тому причиной строение тела, ты считаешь вертикальный камень, даже если вас много, все его видят, а если бы все поклонялись горизонтальному предмету, он был бы виден лишь из первых рядов, а остальные толкались бы, крича: "а я, а я?!", что претит магической церемонии...

— А реки...

— Рекам поклоняются не потому, что они горизонтальны, а потому, что в них течет вода, и думаю, ты не станешь настаивать, чтобы я тебе объяснила, что связывает воду с телом... Ладно, короче говоря, мы такие, какие есть, у нас тела такие, а не другие, и поэтому мы, находясь за тысячи километров друг от друга, выбираем одни и те же символы; следовательно, все сходно, и ты сам знаешь, что люди, у которых есть хоть капля

соображения, глядя на закрытую и теплую внутри печь алхимика, отождествляют ее с чревом матери, готовой произвести на свет ребенка, и лишь твои сатанисты, видя готовую вот-вот разродиться Богородицу, думают, что это намек на печь алхимика. Так и провели они тысячи лет в поисках тайного послания, а ведь все находилось рядом, достаточно было лишь посмотреть в зеркало.

— Ты всегда говоришь истину. Ты — мое Я, которое, впрочем, есть моей Душой, увиденной через твое Я. Я хотел бы открыть все тайные архетипы тела.

С этого вечера в наш язык вошло выражение "заниматься архетипами", которым мы определяли минуты нежности.

Я уже засыпал, когда Лия прикоснулась к моему плечу.

— Чуть не забыла,— сказала она.— Я беременна.

Мне следовало бы прислушаться к словам Лии. Она говорила с мудростью человека, знающего, откуда берет свое начало жизнь. Спускаясь в подземелья Агартхи, забираясь в пирамиду Разоблаченной Изиды, мы приближались к Гебуре, сефире ужаса, в тот момент, когда в мире чувствовалась злость. Позволил ли я себе соблазниться хоть на миг мыслью о Софии? Моисей Кордоверо утверждает, что Женское начало лежит по левую сторону, и все его направления исходят из Гебуры... Разве что муж сумеет использовать эти способности, чтобы преобразить свою Супругу, и, сокрушив ее, направит к добру. Это как бы подтверждает мысль о том, что каждое желание должно оставаться в рамках своих возможностей. Иначе Гебура превращается в Строгость, в мрачное видение — во вместилище демонов.

Подчинить желание дисциплине... Так я и поступил в шатре умбанды, играя на агодо и участвуя в представлении вместе с оркестром, и благодаря этому я избавил себя от возможности впасть в транс. Точно так же я поступил и с Лией, усмирив желание во имя Супруги, и был за это вознагражден в лоне моих чресел, семя мое было освящено.

Однако я не смог устоять. Вскоре Тиферет соблазнила меня своей красотой.

VI

ТИФЕРЕТ



Мечтать о жизни в новом незнакомом городе — значит в скором времени умереть. В самом деле, мертвые обитают в другом месте, и никто не знает, где.

(Gerolamo Cardano. *Somniorum Synesiorum*,
Базель, 1562, 1, 58)

Если Гебура — это сефира зла и страха, то Тиферет — сефира красоты и гармонии. По словам Диоталлеви,— освещающая созерцание, древо жизни, блаженство, пурпурная иллюзия. Это — Гармония Правила и Свободы.

И этот год стал для нас годом блаженства, шутливого извращения вселенского текста, временем совершения священного богослужения в честь обручения Традиции с Электронной Машиной. Мы творили, и это нам доставляло удовольствие. Это был год создания Плана.

Для меня этот год был несомненно счастливым. Беременность Лии протекала без осложнений, а я, удачно маневрируя между издательством Гарамона и своей собственной деятельностью, научился жить без материальных проблем, мой офис так и остался в старом здании фабрики, но мы значительно обновили квартиру Лии.

Чудесное приключение металлов уже пребывало в руках корректоров и печатников. И именно в этот момент господину Гарамону в голову пришла гениальная мысль.

— Иллюстрированная история магических и герметических наук! Через какой-то год, с помощью материалов, которые поступают от всех этих сатанистов, вашей компетенции и советов такого необычного человека, как Аглиэ, мы сможем издать книгу большого формата, четыреста богато иллюстрированных страниц, вклейки в таких цветах, что у читателя дух забьет. При этом мы сможем облегчить себе дело, запустив в работу часть иконографического материала из истории металлов.

— Да, но этот материал совершенно иного плана,— возразил я.— Что я стану делать, например, с фотографией циклофона?

— Чего вы так переживаете? Больше воображения, Казобон, больше воображения! Что происходит в атомных механизмах, ну, в этих мегатронных позитронах, или как еще там они называются? Разваривают материю, добавляют немного швейцарского сыра, и получается кварк, черная дыра, отцентрифугированный уран или что там еще! Магия должна сделать свое дело, Гермес и Алхермес,— в общем, вы сами должны преподнести мне готовую сенсацию. Здесь, с левой стороны, должна быть гравюра Парацельса, абракадабра и алембики, конечно же на золотом фоне, а справа — квазары, смеситель тяжелой воды, гравитационно-галактическая антиматерия,— неужели я сам должен до этого додумываться? Тот, кто не способен во всем этом разобраться и барахтается как слепой в плену своих предубеждений, должен признать, что недостойн быть магом, он всего лишь ученый, который выманил тайну материи. Открывать чудеса вокруг нас, внушать, что в Монте Паломар сами не знают, что говорят...

Для поощрения моего энтузиазма он довольно ощутимо увеличил мне гонорар. Я бросился разыскивать миниатюры в "Liber Solis" Трисмозина, в "Liber Mutus" Псевдо-Луллия. Я набивал свои папки пятиконечными звездами, деревьями сефирот, деканами, талисманами. Ходил в самые забытые залы библиотек, покупал десятки книг у книготорговцев, некогда торговавших культурной революцией.

Я крутился среди сатанистов с непринужденностью психиатра, который проникся пониманием и любовью к своим пациентам и находит благотворными запахи, витающие в вековом парке его частной клиники. Вскоре такой психиатр начинает писать о психозе, а через какое-то время с этих страниц встает психоз. Психиатр не осознает, что пациенты соблазнили его, ему кажется, что он стал артистом. Так и родилась мысль о Плане.

Диоталлеви согласился участвовать в игре, потому что для него это была молитва. Что же касается Джакомо Бельбо, то поначалу я полагал, что он забавляется так же, как я. И лишь теперь понятно, что игра не доставляла ему никакого удо-

вольствия. Он участвовал в ней и не мог сдержаться, совсем как тот, кто привык грызть ногти.

А может быть, он принял правила этой игры, чтобы найти хотя бы одно ложное направление или театр без сцены, о которых он повествует в *file* под названием "Сон". Заменяющее богословие для ангела, который никогда не должен был бы появиться.

FILENAME: сон

Не могу припомнить, было ли это одним сном, состоявшим из нескольких картин, либо несколькими снами, увиденными в течение одной ночи один за другим, или же просто смешавшимися друг с другом видениями.

Я ищу одну женщину, которую знаю, с которой был связан так сильно, что не могу понять, почему я ослабил эту связь,— все произошло по моей вине, потому что я не приходил. Мне кажется глупым то, что я упустил столько времени. Я уверен, что ищу именно ее, более того — их, она не одна, их было много, и я всех их потерял по одной и той же причине — из-за собственной лени, и удручает меня чувство неуверенности в себе, и одной из них было бы для меня вполне достаточно, поскольку я знаю, что, потеряв их, я потерял многое. Обычно я не могу решиться раскрыть свой блокнот с номерами телефонов, а если даже раскрываю его, то не могу прочесть имен — как будто у меня дальновзоркость.

Я знаю, где она живет, точнее, не знаю, знаю только, как выглядит то место, в памяти у меня запечатлелись подворотня, ступени, лестничная площадка. Я не бегаю по городу в поисках этого места, мной овладела какая-то тревога, чувствую заторможенность, не перестаю злиться на себя за то, что позволил или захотел, чтобы наши отношения угасли,— даже если это произошло просто потому, что я не пришел на последнее свидание. Я уверен, что она ждет моего звонка. Если бы я знал, как ее имя, хоть я прекрасно знаю, кто она, вот только не могу припомнить черты лица.

Временами, в наступающей полудреме, я подвергаю этот сон сомнению. Попытайся вернуть себе память, ты знаешь

и помнишь все, только уже свел со всем этим счеты, или у тебя этих счетов никогда не было. Нет ничего, о чем бы ты не знал, где это находится. Ничего.

Меня мучает подозрение, что я что-то упустил, позабыл в суете о какой-то важной вещи, как забывают деньги или записку с нужными сведениями в одном из карманов брюк или в старом пиджаке, и лишь какое-то время спустя человек осознает, что речь шла о чем-то чрезвычайно важном, решающем, единственном.

Образ города более выразителен. Это Париж, я сейчас на левом берегу, знаю, что если перейду через мост — окажусь на площади, кажется на площади Вогезов... нет, на какой-то большей по размерам, и в глубине вырисовывается здание, похожее на Мадлен. Я пересекаю площадь, обхожу костел, попадаю на улицу (на ее углу стоит антикварный книжный магазин), которая круто поворачивает направо, разветвляясь на множество улочек и переулков, и конечно же, я в Барселоне, в Баррио Готико. Надо выйти на какую-то улицу, очень широкую, ярко освещенную, и именно на этой улице, я с точностью помню, на правой стороне, в глубине глухого переулка стоит Театр.

Невозможно точно описать, что происходит в этом храме блаженства, несомненно что-то легкомысленное, веселое и вместе с тем подозрительное, как стриптиз (из-за этого я не решился навести более точные справки), и я знаю об этом достаточно, чтобы возбужденно думать о возвращении туда. Но напрасно: в окрестностях Чатам Роуд все улицы путаются.

Я просыпаюсь с сознанием того, что упустил важную для себя встречу. Не могу согласиться с тем, будто я не знаю, что же именно потерял.

Временами я вижу себя в большом деревенском доме. Он действительно велик, но я знаю, что в нем есть еще одно крыло, куда я никак не могу попасть — словно все входы в него замурованы. А в этом крыле множество комнат, которые я уже однажды видел, и невозможно, чтобы они привиделись мне в другом сне, а в этих комнатах старинная мебель и потемневшие гравюры, столики с изогнутыми ножками, на которых стоят вырезанные из картона театрики XIX века, диваны, покрытые большими расшитыми накидками, этажерки, полные книг. Все

ежегодники "Иллюстрированного журнала путешествий и приключений на суше и на море", это неправда, что они совершенно истрепались, потому что их часто читали, и мама отдала их старьевщику. И я не могу понять, кто так запутал все эти коридоры и лестницы, ведь именно здесь, среди дорогих моему сердцу запахов старины, я хотел бы обустроить свое последнее пристанище.

Почему мне, как всем остальным, не снится выпускной экзамен?

Конструкция эта, высотой в шесть метров, была помещена в центре зала. Ее поверхность состояла из множества деревянных кубиков величиною с игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены тонкими проволочками. На каждую из сторон кубиков было наклеено по кусочку бумаги, а на этих бумажках написаны были все слова их языка во всех временах, склонениях и спряжениях, но без всякого порядка... По его команде каждый ученик взялся за одну из железных рукояток, которые в количестве сорока были прикреплены к ребрам рамы, и когда они ее вдруг повернули, расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам прочесть вполголоса образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились на поверхности рамы; если случалось, что три или четыре слова, следовавших одно за другим, могли составить часть фразы, их диктовали остальным четырем ученикам...

(J. Swift. *Gulliver's Travels*, III, 5)

Думаю, в своих рассуждениях на тему сна Бельбо еще раз вернулся к мысли об упущенной возможности и предназначении, которое заставляет его отказаться от Момента, даже если такой подвернется, поскольку он не может его использовать. Он положил начало Плану, ибо согласился с тем, что будет создавать себе иллюзорные моменты.

Я попросил его найти какой-то текст, он принялся рыться в стопках рукописей, нагроможденных на столе без всякого порядка и вне зависимости от их объемов и размеров. Наконец он нашел то, что искал, и когда попытался вытащить нужную папку из-под горы других рукописей, свалил их все на пол. Падая, папки раскрылись, а их содержимое разлетелось по сторонам.

— Разве нельзя было ее достать, сняв сначала верхнюю часть стопки? — заметил я. Не стоило утруждать себя ответом, он всегда так поступал. И при этом неизменно отвечал:

— Ничего, вечером Гудрун соберет их. Необходимо, чтобы у нее в жизни было какое-то занятие, иначе она может деградировать как личность.

Однако на этот раз он натолкнулся на мою личную заинтересованность в сохранности материалов, ибо отныне я входил в число сотрудников издательства.

— Гудрун не сумеет разложить их в правильном порядке, она перепутает все рукописи.

— Диоталлеви не помнил бы себя от радости. Ведь из этого получатся совершенно иные книги, эклектичные, случайные. Это вполне соответствует логике сатанистов.

— Мы бы оказались в положении каббалистов. Целые тысячелетия, чтобы найти подходящую комбинацию. Для Гудрун вы просто отводите роль обезьяны, которая целую вечность стучит по клавишам печатной машинки. Единственная разница — время. В смысле эволюции мы ничего не выигрываем. А нет ли программы, по которой Абулафия могла бы сделать эту работу?

В этот момент появился Диоталлеви.

— Конечно, такая программа есть,— ответил Бельбо,— и теоретически она позволяет ввести до двух тысяч данных. Достаточно лишь сесть и написать такую программу. Допустим, речь идет о строках различных поэтических произведений. Программа спрашивает, какое количество строк должно иметь стихотворение, скажем десять, двадцать или сто. После этого программа проводит случайный выбор, а говоря проще, создает все новые комбинации. Даже если строк будет десять, можно получить тысячи и тысячи случайных произведений. Вчера вечером я ввел в программу строки вроде *дрожат на холоде липы, мои веки отяжелели, если бы аспедистра пожелала, жизнь тебе дают*, и так далее. И вот вам пару результатов.

*Я не сплю ночами, играя на систре,
Смерть, твоя победа
Смерть, твоя победа...
Если бы аспедистра пожелала...*

*Из сердца зари (о, сердце)
зловещий альбатрос
(если бы аспедистра пожелала...)
Смерть, твоя победа.*

*Дрожат на холоде липы,
Я не сплю ночами, играя на сестре,
Смотрит зловеще удод.
Дрожат на холоде липы.*

— Тут есть повторы, и мне пока не удастся их избежать; похоже, это сильно усложняет программу. Но ведь повторы тоже имеют поэтическую ценность.

— Интересно, — подхватил Диоталлеви. — Так, может быть, соединить меня с твоей машиной. А что, если я введу в нее всю Тору и потом попрошу — как это сказать? — произвести случайный выбор, сможет ли она стать как настоящая Темура и восстановить все строки Книги?

— Конечно, но только это вопрос времени. Ты сможешь получить результат через несколько веков.

Я предложил:

— А если ввести в нее несколько десятков предложений из произведений сатанистов, скажем о том, что тамплиеры бежали в Шотландию или что "Corpus Hermeticum" в 1460 году оказался во Флоренции, добавить к ним несколько связующих слов типа "очевидно, что..." или "таким образом, это доказывает, что...", и тогда мы сможем извлечь часть нужных нам сведений. Затем достаточно заполнить пропущенные места, а повторения истолковать как пророчества, внушение и напоминание. В самом худшем случае мы придумаем не опубликованный пока раздел истории магии.

— Гениально! — воскликнул Бельбо, — давайте займемся этим сейчас же!

— Нет, уже семь часов. Отложим до завтра.

— А я сделаю это сегодня же. Прошу вас только на минуту задержаться, нужно поднять с пола любую из двадцати страниц, и первая попавшаяся на глаза фраза станет нашей отправной точкой.

Я нагнулся и подобрал какой-то лист.

— "Иосиф Аримафейский перевез Грааль во Францию".

— Отлично, записано! Продолжайте.

— "Следуя традиции тамплиеров, Годфрид де Буйон основал в Иерусалиме Великое Аббатство на Сионе. Дебюсси был розенкрейцером".

— Простите,— прервал нас Диоталлеви,— но необходимо также ввести несколько нейтральных данных, например что коала живет в Австралии или что Папен изобрел скороварку.

— Или что Минни обручена с Мики,— подсказал я.

— Не будем преувеличивать.

— Наоборот, будем преувеличивать. Если допустить возможность того, что во Вселенной существует хотя бы одна отправная точка, которая не является знаком чего-то иного, мы сразу же выходим за рамки герметического мышления.

— Верно. Пусть будет Минни. И если позволите, я введу ключевые данные: "Тамплиеры всегда к этому причастны".

— Это само собой разумеется,— подтвердил Диоталлеви.

Мы работали так минут десять, пока не заметили, что уже действительно поздно. Однако Бельбо заверил нас, что мы можем не переживать. Он сам закончит работу. Пришла Гудрун и сказала, что пора закрываться, однако Бельбо ответил ей, что останется, поработать и попросил собрать разбросанные по полу страницы. Гудрун издала нечленораздельные звуки, которые могли равно принадлежать латинскому языку и языку керемисов, но при этом абсолютно определенно выражали при этом недовольство и возмущение, и в этом виделся знак родства всех без исключения языков, произошедших от единого Адамового корня. Однако она все же выполнила поручение.

Утром Бельбо весь сиял от счастья.

— Функционирует! — восклицая он.— Функционирует и дает небывалые результаты!

Он протянул нам распечатанный файл.

Тамплиеры всегда к этому причастны
То, что следует ниже, неправда
Иисус был распят при Понтии Пилате
Мудрый Ормуз основал в Египте Орден Розенкрейцеров
В Провансе есть каббалисты
Чья свадьба была в Кане?
Минни невеста Мики
Из этого следует, что
Если
Друиды поклонялись черной Богородице
Значит
Для Симона Мага София — проститутка из Тира
Чья свадьба была в Кане?
Меровинги считают себя королями по праву Божьему
Тамплиеры всегда к этому причастны

— Немного туманно, — заметил Диоталлеви.

— Ты не умеешь замечать связи между словами. И не придаешь должного значения вопросу, который повторяется здесь дважды: чья свадьба была в Кане? Повторение — это магический ключ. Естественно, я это дополнил, но посвященный имеет право дополнить истину. Вот моя версия: Иисус не был распят, и именно поэтому тамплиеры не признавали распятия. Легенда об Иосифе Аримафейском скрывает непреложную истину: не Грааль, а Иисус оказался во Франции у каббалистов из Прованса. Иисус — это метафора Царя Мира, истинного основателя Розового Креста. И с кем же прибыл Иисус? Со своей женой. Почему в Евангелии не сказано, чья свадьба произошла в Кане? Да потому, что это была свадьба Иисуса, свадьба, о которой лучше было умолчать из-за всем известной грешницы Марии Магдалины. Вот почему с тех пор все просвещенные умы, начиная с Симона Мага и заканчивая Постелем, ищут первоисточник вечно женского начала в борделях. Из сказанного несколько выше следует, что Иисус — основатель королевской династии Франции.

Если наша гипотеза верна, Священный Грааль... это род и потомство Иисуса, "Истинная кровь", которую хранили тамплиеры... В то же время Священный Грааль должен был быть, в буквальном смысле, сосудом, в который собрана и в котором хранится кровь Иисуса. Иными словами, речь идет, несомненно, о лоне Магдалины.

(M.Baigent, R.Leigh, H.Lincoln. *The Holy Blood and the Holy Grail*, Лондон, Cape, 1982, XIV)

— Но тебя никто не воспримет всерьез! — воскликнул Диоталлеви.

— Наоборот, он продаст несколько сот тысяч экземпляров, — расстроено сказал я. — Данная история существует, она написана, но просто с небольшими изменениями. Я говорю о книге, посвященной тайне Грааля и секретам Рэн-ле-Шато. Вместо того чтобы читать исключительно рукописи, вам следовало бы также заглядывать в то, что публикуют другие издатели.

— Святые серафимы! — возмутился Диоталлеви. — Разве я не говорил? Эта машина способна рассказать лишь о том, что другим давным-давно известно.

И, осознав всю свою безутешность, он ушел.

— Неправда, от нее все-таки есть польза, — Бельбо был задет за живое. — Мне в голову пришла мысль, которая раньше посещала других. Ну и что? Это называется литературным полигенезом. Господин Гарамон сказал бы, что видит в здесь лишнее подтверждение тому, что я говорю правду. Этим господам пришлось размышлять не один год, а я решил всю проблему за один вечер.

— Присоединяюсь к вам, ибо игра стоит свеч. Однако полагаю, что по правилам в программу следовало бы ввести побольше данных, не связанных с сатанистами. Проблема состоит не в том, чтобы отыскать тайные связи между Дебюсси и тамплиерами, — этим занимаются абсолютно все. Проблема в том, чтобы показать скрытые связи, к примеру между Каббалой и автомобильными свечами.

Я просто высказал свою точку зрения, но для Бельбо это была неожиданная удача. Он признался мне спустя несколько дней.

— Знаете, вы были полностью правы. Любая отправная точка может обрести особую значимость, если на связана с другими. Эта связь изменяет всю перспективу. Она заставляет поверить в то, что за каждым сказанным или написанным словом, за каждым явлением в мире существует скрытый смысл, в котором заключена Тайна. Критерий подхода к этому объяснению очень прост: подозревать и еще раз подозревать. Можно найти скрытый смысл даже в знаке, запрещающем движение по этой улице.

— Конечно. Морализм мысли катаров. Движение здесь запрещено потому, что это предостерегает от уловок Демиурга. Двигаясь в этом направлении, не удастся отыскать Путь.

— Вчера вечером мне в руки попались правила для водителей категории В. Возможно, причиной были сумерки, а может быть, ваш рассказ, но мне казалось, что эти страницы хранят в себе Нечто Другое. А если автомобиль существует лишь как метафора создания мира? Только не следует замыкаться на его внешнем виде или ограничиваться представлением о панели приборов, нужно увидеть в нем то, что задумал Создатель, то, что скрывается под. То, что под, соответствует тому, что над. Древо сефирот.

— Я вас прошу не говорить...

— Это не я говорю, это оно говорит. И, прежде всего, карданный вал является по сути Деревом, к тому же эти слова одинаково звучат в итальянском языке. Итак, добавим мотор впереди, два передних колеса, сцепление, коробку передач, два шарнира, дифференциал и два задних колеса. Итого, десять наименований, как и десять сефирот.

— Только месторасположения у них разные.

— А кто сказал? Диоталлеви однажды говорил, что в некоторых версиях Тиферет считается не шестой, а восьмой сефирой, и Нецах и Ход расположены перед ней. Мое дерево — это древо Бельбот, иная традиция.

— Фиат.

— Давайте проследим за диалектикой Древа. На его вершухе расположен Двигатель. Omnia Movens, который, можно сказать, является Источником Созидания. От него энергия сообщается двум Величественным Колесам — Колесу Разума и Колесу Мудрости.

— Да, если это переднеприводная машина...

— Древо Бльбот прекрасно тем, что допускает метафизические альтернативы. Возьмем картину духовного космоса с передним приводом, когда расположенный впереди Мотор передает свою волю непосредственно Величественным Колесам, в то время как в материалистическом понимании существует образ деградировавшего космоса, в котором Крайний Мотор передает Движение двум Последним Колесам: из глубины космической эманации высвобождаются низкие вещества материи.

— А если у нас задние и мотор и привод?

— Это — сатанинский вариант. Соединение Величественного с Ничтожным. Бог отождествляется с движением грубой, грязной материи. Бог предстает как нереализуемое вечное стремление к Божественному. Это становится похожим на Растрескивание Сосудов.

— А может, это скорее Поломка Глушителя?

— Именно так все происходит в Абортивном Космосе, где ядовитое дыхание Архонтов распространяется в Космическом Эфире. Однако давайте не будем отвлекаться. За Мотором и двумя Колесами следует Сцепление, сефира Благодати, которая приводит в действие или же отключает поток Любви, связывающий остальную часть Древа с Высшей Энергией. Это Диск, мандала, ласкающая другую мандалу. А далее Ларчик Превратностей, или перемен, как говорят позитивисты, который является источником Зла, поскольку дает человечеству власть ускорять или замедлять непрерывный процесс эманации. Это достаточно хорошо объясняет, почему автоматическая коробка передач стоит дороже, в этом случае само Древо принимает решение, соответствующее принципу Великого Равновесия. Затем следует Шарнир, который, обратите внимание, как бы случайно носит имя великого мага эпохи Ренессанса — Карда-

на, и Коническая Передача — тут надо отметить оппозицию по отношению к четырем Цилиндрам мотора,— которая является Венцом (Кетер, Низшая Корона), сообщаящим движение земным колесам. И здесь становится очевидным предназначение сефиры Разниц, или дифференциалов, которая с величественным чувством Прекрасного распределяет космические силы между двумя Колесами, Славы и Победы, которые в Неабортном Космосе (передний привод) имитируют движение, передаваемое Величественными Колесами.

— Вы предложили довольно-таки логичное объяснение. А сердце Мотора, местопребывание Единого, Венец?

— Но ведь достаточно взглянуть на это глазами посвященного. Великий Мотор оживает, когда происходит действие Всаживания и Выхлопа. В сложном Божественном дыхании первоначально участвовали только две единицы, именующиеся Цилиндрами (явный геометрический архетип), потом они подключили третий и наконец во взаимной любви и согласии — четвертый цилиндр. В процессе этого дыхания в Первом Цилиндре (первом не по иерархии, а случайно оказавшимся таковым по месту своего расположения) Поршень, или Пистон (этимологически от "Pistis Sophia"), совершает движение от Верхней Мертвой Точки до Нижней Мертвой Точки, а в это время Цилиндр наполняется энергией. Я, конечно, упрощаю, поскольку здесь надо было еще упомянуть об ангельских иерархиях, то есть Распределительных Клапанх, которые, как говорит мой учебник, "открывают и закрывают Просветы, соединяющие внутреннюю часть Цилиндров с каналами, которые сосут смесь"... Сердце Мотора взаимодействует с остальным Космосом только через посредство этого механизма, и здесь, я полагаю, вырисовывается, но я не хотел бы, чтобы меня считали еретиком, первичное ограничение Единого, который в определенном смысле зависит в своей созидательной деятельности от Великих Эксцентриков. Необходимо более внимательно прочесть Текст. Так или иначе, когда Цилиндр наполняется Энергией, Поршень поднимается к Верхней Мертвой Точке и создает Максимальную Степень Сжатия. Это *tsimtsum*. И здесь происходит Большой Взрыв, Взрыв и Расширение. Проскакивает Искра, смесь вспыхивает и горит, и,

как сказано в инструкции, — это единственная Активная Фаза Цикла. И горе, если в Горючую Смесь попадут инородные частицы, эти *qelippot*, капли нечистой материи, такой как вода или кока-кола. Расширения не происходит или же оно происходит слабыми толчками...

— Разве "Shell" не означает *qelippot*? Следует быть внимательнее. Отныне лишь молоко Святой Девы...

— Еще посмотрим. Возможно, здесь имеет место сговор "Семи Сестер", этих низших принципов, желающих контролировать механизм Созидания... Во всяком случае, вслед за Расширением наступает Божественное дыхание, именуемое в древнейших рукописях Выхлопом. Поршень возвращается к Верхней Мертвой Точке и выталкивает сгоревшую бесформенную материю. И только в том случае, когда это очищение удастся, наступает Новый Цикл. Это наводит на мысль о неоплатоновском механизме Эксода и Парода, прекрасной диалектике Пути, ведущего к Вершине, и Пути Вниз.

— *Quantum mortalia pectora caecae noctis habent!* И сыновья материи никогда не отдавали себе в этом отчета!

— Вот почему все великие гностики учат нас, что стоит доверять пневматике, а не гиликам.

— К завтрашнему дню я подготовлю мистическое толкование телефонного справочника...

— Наш Казобон, как всегда, не лишен амбиций... Только здесь вы столкнетесь с неразрешимой проблемой Единого и Множественного. Не лучше ли продвигаться вперед постепенно? Исследуйте вначале механизм действия стиральной машины.

— Он говорит сам за себя. Здесь происходит алхимическое преобразование самых черных дел в дела белее белых.

Da Rosa, nada digamos agora...

(Sampayo Bruno. *Os Cavaleiros do Amor*,
Лиссабон, Guimarães, 1960, с. 155)

Став на путь сомнений, человек не пропускает ни единой мелочи. После наших рассуждений о дереве мотора, я готов был видеть в каждом предмете, который попадался мне под руку, раскрывающие его признаки.

Я поддерживал отношения с бразильскими друзьями, и как раз в эти дни в Коимбре происходил коллоквиум, посвященный луизитанской культуре. Друзья из Рио больше из желания увидеть меня, чем из уважения к моей компетенции в этом вопросе, умудрились достать мне приглашение. Лия не поехала, она была на седьмом месяце, беременность лишь едва изменила ее стройные линии, превратив в легкое подобие фламандской мадонны, и все же она предпочла не связываться с трудностями дальнего переезда.

Со старыми друзьями я провел три превосходных вечера, а когда мы возвращались на автобусе в Лиссабон, то поспорили, где нам сделать промежуточную остановку: в Фатиме или в Томаре. В Томаре был замок, за стенами которого нашли укрытие португальские тамплиеры, когда доброта короля и папы спасла их, благословив Орден Рыцарей Христа. Я не хотел упускать случая побывать в замке тамплиеров, и к счастью, Фатима не привлекла остальную часть нашей группы.

Томар очень точно соответствовал моим представлениям о замке тамплиеров. Туда вела хорошо укрепленная дорога, пролегающая вдоль стен внешних бастионов с крестообразными бойницами. Ступив на нее, человек сразу же окунался в атмосферу времен крестовых походов. Рыцари Христа процветали в этой усадьбе в течение долгих веков. Согласно Традиции Генрих Мореплаватель и Христофор Колумб были членами Ордена, и как следствие — морские экспедиции, которые принесли Португалии колоссальные богатства. Долгие годы безоблачной мирной жизни в этих местах позволили тамплиерам отстроить и

расширить замок, к средневековой части прибавились крылья в стиле ренессанса и барокко. Я был тронут до глубины души, когда входил в церковь тамплиеров с ее восьмиугольной ротондой, воспроизводящей очертания ротонды над Гробом Господним. Больше всего меня поразило то, что кресты тамплиеров здесь были различной формы. Однажды, разглядывая хаотичную иконографию по этой проблеме, я уже задавался таким вопросом. В то время как крест мальтийских рыцарей оставался более или менее неизменным, тамплиерские кресты, похоже, испытывали влияние времен и местных традиций. Вот почему охотникам за тамплиерами достаточно обнаружить какой-нибудь крест, дабы быть уверенными в том, что они напали на след тамплиеров.

Затем гид подвел нас к выпиленному вручную в каменной породе окну настоящего *janela*, истинного туннеля, в котором мы увидели коллаж из морских находок, водорослей, ракушек, якорей, цепей и канатов — почитание подвигов рыцарей на океанах. А по обе стороны окна, словно опоясывая две башенки, которые представляли собой его раму, был вырезан символ Ордена Подвязки. Как оказался знак английского ордена в португальском монастыре-крепости? Наш гид не смог этого объяснить, но чуть позже, на другой стороне, похоже северовосточной, я увидел изображение Золотого Руна и не мог удержаться от мысли о тонкой сети связей между Орденом Подвязки и Золотым Руном, Золотым Руном и Аргонавтами, Аргонавтами и Граалем, Граалем и тамплиерами. Мне тут же вспомнились болтовня Арденти и некоторые страницы из рукописей сатанистов... Я вздрогнул, когда гид проводил нас в небольшой зал и указал на свод с несколькими замками. Это были небольшие розетки, на некоторых из них я увидел высеченное лицо, бородатое и неопределенно-козлиное. Бафомет...

Мы спустились в склеп. Сначала семь ступеней, затем голая каменная дорожка — и мы очутились в апсиде, где, вероятно, некогда был алтарь или восседал великий магистр. К этому месту можно было попасть, пройдя под семью увеличивающимися в размерах замками свода, которые напоминали по форме розу, причем последняя из этих роз, самая большая,

находился над колодцем. Крест и роза, да еще в монастыре тамплиеров, да еще в помещении, наверняка построенном задолго до появления манифестов розенкрейцеров... Я задал несколько вопросов гиду, и он улыбнулся мне в ответ: "Если бы вы только знали, сколько сюда приезжает исследователей оккультизма... Говорят, в этом зале происходили посвящения..."

Совершенно случайно попав в еще не отреставрированный, заваленный пыльной мебелью зал, я обнаружил там на каменном полу множество больших картонных ящиков. Я заглянул наугад в один из них и увидел обрывки книги на древнееврейском языке, похоже, XVII век. Какое отношение к Томару имели евреи? Гид пояснил, что рыцари поддерживали хорошие отношения с местной еврейской общиной. Он подвел меня к окну и указал на французский сад, разбитый в форме небольшого, изысканного лабиринта. "Творение,— объяснил он,— архитектора-еврея Самуэля Шварца, который жил в XVII веке".

Вторая встреча — в Иерусалиме... А первая — в замке. Разве не об этом говорилось в послании из Провэна? Боже мой, да ведь замок, о котором упоминалось в ордонансе, найденном Ингольфом, не был ни мифическим Монсальватом из рыцарских романов, ни гиперборейским Авалоном. Тамплиеры из Провэна оказались перед жесткой неизбежностью назначить первое свидание. Какое же место может быть более подходящим для управления командориями, а не для чтения книг о рыцарях Круглого Стола? Томар, замок Рыцарей Христа, где оставшиеся в живых члены Ордена пользовались полной свободой, непоколебимыми гарантиями и где они могли встретиться с посланцами второй группы!

Я покидал Томар и Протугалию с воспаленным рассудком. Только теперь я начал совершенно серьезно воспринимать послание, показанное нам Арденти. Образовав тайный Орден, тамплиеры разрабатывают план, рассчитанный на шестьсот лет, и только в нашем веке осуществление этого плана должно быть завершено. Они были серьезными людьми. Говоря о замке, они имели в виду реально существующее место. В плане речь шла о Томаре. Тогда какой маршрут был бы идеальным? Какова последовательность следующих пяти встреч? Они долж-

ны были состояться в местах, где тамплиеры могли рассчитывать на дружеское содействие, покровительство, соучастие. Полковник вспоминал о Стоунхендже, Авалоне, Агартхе... Глупости. Надо снова прочесть весь текст.

"Естественно,— говорил я себе, возвращаясь в Милан,— речь идет не о том, чтобы раскрыть тайну тамплиеров, а о том, чтобы ее выстроить".

Мысль о том, что необходимо вернуться к документу, оставленному нам полковником, казалось, пришлось Бельбо не по душе, и он без энтузиазма рылся в нижнем ящике своего стола. И все же, отметил я, он его сохранил. Вместе мы еще раз прочли послание из Провэна. После стольких лет.

Оно начиналось словами, зашифрованными по системе Тритема: "*Les XXXVI inuisibles separez en six bandes*". И далее:

*a la ... Saint Jean
36 p charrete de fein
6 ... entiers avec saiel
p ... les blancs mantiax
r ... s ... chevaliers de Pruins pour la ... j . nc
6 foiz 6 en 6 places
chascune foiz 20 a ... 120 a ...
iceste est l'ordonation
al donjon li premiers
it li secunz joste iceus qui ... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'altre part de l'iau
it a l'ostel des popelicans
it a la pierre
3 foiz 6 avant la feste ... la Grant Pute.*

— Через тридцать шесть лет после повозки с сеном, в ночь святого Иоанна 1344 года, шесть опечатанных посланий для рыцарей в белых мантиях, спасенных рыцарей из Провэна, для

мщения. Шесть раз по шесть в шести местах, каждые в двадцать лет, итого в течение ста двадцати лет, таков План. Первые идут в замок, затем опять у тех, которые ели хлеб, потом в укрытии, потом у Нашей Госпожи, что за рекой, потом в доме попликанов и наконец на камне. Вы только вдумайтесь: в 1344 году послание гласило о том, что первые должны направиться в замок. Действительно, рыцари обосновались в Томаре в 1357 году. Теперь нужно решить, куда должна была направиться вторая группа. Представьте себе, что вы беглый тамплиер. Где бы вы укрылись для того, чтобы основать еще одно братство?

— Ну... Если верно, что те, кто бежал с повозкой, укрылись в Шотландии... Но почему в Шотландии они стали бы есть хлеб?

Я стал непревзойденным мастером в изобретении цепей ассоциаций. Достаточно было найти какую-то отправную точку. Шотландия, Хайленд, ритуалы друидов, ночь святого Иоанна, летнее солнцестояние, огни в ночь святого Иоанна, Золотая Ветвь... Вот и нить, пусть даже очень тонкая... Я что-то читал об огнях в ночь святого Иоанна в "Золотой Ветви" Фрэзера.

Я позвонил Лие:

— Окажи мне услугу, возьми "Золотую Ветвь" и найди, что там говорится об огнях в ночь святого Иоанна.

В таких делах Лия была несравненной. Она сразу же отыскала нужный раздел.

— Что тебя интересует? Это древний ритуал, который был распространен почти по всей Европе. Его совершают в тот момент, когда солнце достигает своего зенита, а святой Иоанн — это как бы дополнение, чтобы придать празднику окраску христианства...

— А в Шотландии было принято есть хлеб в этот праздник?

— Подожди, дай я посмотрю... Кажется, нет... А, вот: хлеб они ели, но не на праздник святого Иоанна, а в первомайскую ночь, в ночь огней Бельтана — праздник, имеющий друидическое происхождение и особо почитаемый в шотландском Хайленде...

— Вот оно что! А почему они ели хлеб?

— Они замешивали лепешки из муки и овса и жарили их на костре... Вслед за этим следовал ритуал, напоминавший обряд

приношения в жертву людей... Эти лепешки назывались *bannock*...

— Как? Продиктуй по буквам, пожалуйста!

Она продиктовала, и я поблагодарил ее, сказав, что она — моя Беатриче, моя фея Моргана, и добавил еще много ласковых слов. Я пытался припомнить собственную догадку. Согласно легенде тайный союз появился в Шотландии при короле Роберте Брюсе, которому тамплиеры помогли одержать победу в битве при Бэннок Берне. В награду король создал новый Орден — святого Андрея Шотландского.

Достав с полки большой английский словарь, я принялся за поиски: *bannok* на средневековом английском (*bannuc* на старосаксонском, *bannach* на газльском) — это разновидность пирога из ячменя, овса или другого зерна, испеченного на плите или на решетке. *Burn* обозначает "поток". Оставалось лишь перевести сочетание этих слов так, как это сделали бы французские тамплиеры, посылая известие из Шотландии своим собратьям в Провэн, и вышло что-то вроде потока лепешек, или булок, или хлеба. Тот, кто ел хлеб, победил поток хлеба, вот и шотландское ядро, которое, возможно, в те времена распространилось почти на все Британские острова. Это логично: путь из Португалии в Англию короток, в отличие от путешествия с полюса в Палестину!

Пусть белыми как снег будут твои одежды... Если сейчас ночь, зажги много огней, чтобы вокруг тебя все сияло... А теперь начни соединять несколько букв, или великое множество, переставляй их и складывай, пока не почувствуешь тепло в своем сердце. Обрати внимание на движение букв и на то, что возникает при их перестановке. А когда ты ощутишь, что твое сердце стало достаточно теплым, когда увидишь, что сквозь сочетание букв ты начинаешь понимать то, что не смог бы никогда понять сам или опираясь на обычные познания, когда ты будешь готов принять проникающий в тебя поток Божественной силы, тогда употреби всю глубину собственной мысли, чтобы представить в своем сердце Имя и Его Высших Ангелов так, словно они человеческие существа и сейчас находятся рядом с тобой.

(Abulafia. Hayye ha-'Olam ha-Ba)

— Это впечатляет,— сказал Бельбо.— Но где в таком случае может быть Убежище?

— Шесть групп обосновались в шести местах, и лишь одно из них именуется Убежищем или Укрытием. Любопытно. Это значит, что в других местах, будь то в Португалии или Англии, тамплиеры могли жить спокойно, хоть и под вымышленными именами, а там вынуждены были искать укрытия. Я назвал бы Убежищем место, где укрылись парижские тамплиеры после того, как покинули Храм. И поскольку очевидно, что самый разумный путь ведет из Англии во Францию, почему бы не допустить, что тамплиеры оборудовали себе убежище в самом Париже, выбрав для этого никому не известное и хорошо охраняемое место? Ведь они были неплохими политиками и вполне могли предположить, что через двести лет ветер подует в другую сторону и они смогут опять действовать совершенно открыто или почти открыто.

— Насчет Парижа — согласен. А что будем делать с четвертым местом?

— Полковник думал, что это Шартр, но поскольку мы приняли Париж, то в качестве четвертого места не можем оставить Шартр: совершенно очевидно, что План должен был распространяться на все европейские центры. Впрочем, оставим тайный путь и последуем политическим. Похоже, их передвижения происходили по синусоидальной линии, и именно поэтому мы должны переместиться на север Германии. Итак, там за рекой или за водой, в общем за Рейном, находится не церковь, а местечко, названное в честь Божьей Матери. А около Данцига был город, носящий имя Богородицы, то есть Мариенбург.

— А почему встреча должна была произойти именно в Мариенбурге?

— Да потому, что это — столица рыцарей Тевтонского Ордена! Отношения тамплиеров с тевтонцами не были испорчены, как с госпитальерами, которые, словно стервятники, только и ждали падения Ордена Тамплиеров, чтобы завладеть их имуществом. Тевтонский Орден был создан в Палестине германскими императорами в противовес тамплиерам, но вскоре тевтонцы отправились на север, чтобы сдерживать нашествие прусских варваров. Они так браво взялись за дело, что уже через два века создали государство, простиравшееся по всем прибалтийским просторам. Они действовали на территории Польши, Литвы и Латвии, основали Кенигсберг, единственный раз потерпели поражение в Эстонии от Александра Невского и приблизительно в то самое время, когда тамплиеров арестовывали в Париже, избрали столицей своего королевства Мариенбург. И если бы существовал план покорения мира, тамплиеры и тевтонцы вполне могли бы разделить зоны своего влияния.

— Вы знаете, я согласен, — сообщил Бельбо. — Теперь — пятая группа. Где могут быть эти попликаны?

— Не знаю, — признался я.

— Вы меня разочаровываете, Казобон. Может быть, лучше задать этот вопрос Абулафии?

— Об этом не может быть и речи, — сказал я, задетый за живое. — Абулафия существует для того, чтобы подбрасывать нам необычные ассоциации. А попликаны — это факт, а не ассоциа-

ция, а факты относятся к компетенции Сэма Спейда. Дайте мне несколько дней.

— Даю вам две недели,— заявил Бельбо.— Если через две недели здесь не появятся попликаны, вы мне должны будете бутылку "Баллантина" двенадцатилетней выдержки.

Это было бы непосильным расходом для моего кошелька. Неделю спустя я передал попликанов в распоряжение моих ненасытных компаньонов.

— Все совершенно ясно. Следите за моим рассказом, поскольку нам предстоит вернуться в IV век, на территорию Византии; во времена, когда по Средиземноморью уже распространились различные группы манихейского толка. Начнем с последователей архонтизма — секты, основанной в Армении Петром Кафарбарухийским, имя которого, вы должны это признать, звучит прекрасно. Антиевреи, дьявол, отождествленный с Саваофом, богом евреев, который живет на седьмом небе. Для того чтобы достичь Великой Матери Света, обитающей на восьмом небе, надо отказаться и от Саваофа, и от крещения. Согласны?

— Согласны,— сказал Бельбо.

— Но последователи архонтизма были благородными ребятами. В V веке появляются мессалиане, которые, между прочим, продержались во Фракии до XI века. Мессалиане были монархистами, а не дуалистами. Однако это не мешало им иметь дело с темными силами, да так, что в некоторых рукописях их именуют борборитами, от слова *borboros* — грязь, потому что они выделяли такое, о чем даже трудно поведать.

— И что же они делали?

— Ничего необычного. Мужчины и женщины воздевали к небу руки с их собственными выделениями: со спермой или менструальной кровью, а затем съедали их, говоря, что вкушают тело Христа. А если случалось так, что женщина забеременела, то в определенный момент они засовывали руку в ее утробу, вырывали эмбрион, толкли его в ступе, смешивали с медом и перцем — и... ешь то, что тебя съедает.

— Что за гадость! — поморщился Диоталлеви.— Мед с перцем!

— Таковы были мессалиане, которых одни называли страотистами или фибионитами, а другие — борборитами, и которые делились на наазеитов и фемиионитов. Однако некоторые отцы Церкви считали борборитов поздними гностиками, а значит дуалистами, они почитали Великую Мать Барбело, а их посвященные именовались гиликами, то есть детьми материи, в отличие от психиков, которые находились ступенью выше, и пневматиков, представляющих собой настоящую элиту,— они составляли как бы "Ротари Клуб". Но, возможно, стратиотисты были лишь гиликами митраистов.

— Вам не кажется, что это немного туманно? — осведомился Бельбо.

— Естественно. Никто из них не оставил после себя никаких документов. Все, что мы знаем, почерпнуто из сплетен их врагов. Неважно. Я хотел лишь показать, какой хаос творился тогда на средиземноморских просторах. И объяснить, откуда взялись павликиане. Они исповедовали учение некоего Павла, вокруг которого собрались иконоборцы, изгнанные из Албании. Начиная с VIII века они размножались, как кролики, из секты превратились в общину, из общины в банду, из банды в политическую силу; византийские императоры были обеспокоены настолько, что начали высылать против них императорские войска. Их влияние распространилось до границ арабского мира и Евфрата, проникло на византийские территории до Черного моря. Их колонии были разбросаны повсюду и существовали вплоть до XVII века, когда иезуиты предприняли попытку обратить их в свою веру; даже в наше время на Балканах и далее на юг можно обнаружить несколько их общин. Итак, во что верили павликиане? В Бога, единственного и триединого; однако в сотворение мира вмешался Демиург и сами ведьмы, и мы видим, каковы результаты всего этого. Они не признавали Ветхий Завет, таинства, презирали крест и не почитали Богородицу, утверждая, что Христос взошел на небеса, пройдя сквозь Марию, как проходят через трубу. Богомилы, которых они частично вдохновляли, скажут, что Христос вошел в Марию через одно ухо и

вышел через другое, она даже этого не заметила. Некоторые обвиняли их еще и в том, что они почитали солнце и дьявола и смешивали кровь детей с просфорами и вином для причастия.

— Как и все.

— Это были времена, когда участие в мессе было мучением для еретика. Для него это было все равно что стать мусульманином. Такими они были. Я рассказываю вам об этом потому, что, когда еретики-дуалисты расплодились в Италии и в Провансе, а люди хотели подчеркнуть, что они такие, как павликиане, то называли их попликанами, публиканами, популиканами, которые *gallice etiam dicuntur ab aliquis popelican!*

— Ну вот наконец и они.

— Именно. В IX веке павликиане продолжали доводить до отчаяния всех византийских властителей, и вот император Василий поклялся, что если ему в руки попадет их предводитель, Хризошейр, который вторгся в церковь святого Иоанна Предтечи в Эфесе и напоил коня в кропильнице...

— Все тот же грех,— вставил Бельбо.

— ...то он вонзит три стрелы в его голову. Он выслал императорские войска, Хризошейра схватили, отрубили ему голову и отослали ее императору; последний же, установив ее поочередно на столе, трюмо и на колонне,— пах, пах, пах! — всадил в нее три стрелы. Я думаю, по одной в глаза, а третью — в рот.

— Да, необычные люди,— заметил Диоталлеви.

— Они поступали так не со зла,— сказал Бельбо.— Это было воплощение их веры. Осуществление задуманного. Продолжайте, Казобон,— видите, наш Диоталлеви не улавливает теологических тонкостей.

— Я уже заканчиваю. Итак, крестоносцы столкнулись с павликианами. Случилось это недалеко от Антиохии во время первого крестового похода, когда павликиане сражались на стороне арабов, а также при осаде Константинополя, когда павликианская община пыталась назло французам сдать город болгарскому царю Иоаннису, о чем свидетельствует Виллеардуин. Вот откуда берут свое начало их связи с тамплиерами, и вот что разрешает нашу загадку. Если верить легенде, катары вдохновили тамплиеров, а на самом деле было все наоборот:

они сами вдохновляли катаров. Во время крестовых походов они встретились с павликианскими общинами и установили с ними тайные связи, точно так же, как с мистиками и мусульманскими еретиками. С другой стороны, достаточно проследить за направлением, данным в Ордонансе. Дорога тамплиеров может пролегать только через Балканы.

— Но почему?

— Ибо не подлежит сомнению, что шестая встреча назначена в Иерусалиме. В послании сказано, что они должны прийти к камню. А где находится камень, который и сегодня для мусульман является предметом настолько почитаемым, что если хочешь его увидеть, надо предварительно снять обувь? Вот именно, в самом центре мечети Омара в Иерусалиме, на том месте, где раньше стоял Храм тамплиеров. Не знаю, кто должен был ждать их в Иерусалиме: возможно, группа переодетых тамплиеров, сумевшая там выжить, или же каббалисты, связанные с португальцами, но я совершенно уверен в том, что кратчайший путь из Германии в Иерусалим лежит через Балканы, там и ожидала пятая группа — павликиане. Как видите, при таком раскладе План становится совершенно прост и ясен.

— Должен сказать, что вы меня убедили,— произнес Бельбо.— Но в какой точке Балкан должны были их ждать попликаны?

— Я полагаю, что болгарские богомилы — прямые наследники учения павликиан, однако тамплиеры из Провэнса не могли предвидеть того, что Болгария на пять веков попадет под господство турков.

— Соответственно можно предположить, что осуществление Плана прервалось на этапе перехода между Германией и Болгарией. Но когда же это могло произойти?

— В 1824 году,— произнес Диоталлеви.

— Простите, но почему именно в этом году?

Диоталлеви быстро изобразил следующую диаграмму:

ПОРТУГАЛИЯ	АНГЛИЯ	ФРАНЦИЯ	ГЕРМАНИЯ	БОЛГАРИЯ	ИЕРУСАЛИМ
1344	1464	1584	1704	1824	1944

— В 1344 году первые великие магистры каждой группы обосновались в шести указанных местах. В течение ста двадцати лет в каждой из групп сменилось по шесть великих магистров, и в 1464 году шестой по счету великий магистр из Томара встретился с шестым великим магистром из Англии. В 1584 году двенадцатый по счету английский магистр встретился с двенадцатым французским магистром. Цепочка продолжалась в той же последовательности, и если встреча с болгарями не состоялась, то разрыв цепи происходит именно в 1824 году.

— Допустим, что она действительно не состоялась,— сказал я.— Но тогда я не могу понять, почему столь предусмотрительные люди, в руках у которых находились четыре шестых части окончательного текста, не смогли восстановить весь текст. Или почему они не смогли войти в контакт со следующей группой, если уж встреча в Болгарии не состоялась?

— Неужели вы, Казобон, действительно считаете, что тамплиеры из Провэнса были такими дураками? — удивился Бельбо.— Если они хотели, чтобы их послание оставалось в тайне в течение шести веков, то они должны были принять какие-то меры предосторожности. Магистр каждой из групп знает, где ему искать следующего магистра, но он не может найти остальных, которые, в свою очередь, понятия не имеют, где отыскать магистров предыдущих групп. Если немцы потеряли следы болгар, то они никогда не смогут отыскать тех, кто ожидает их в Иерусалиме, а последние никогда не смогут отыскать своих предшественников. Что же касается восстановления послания по разрозненным фрагментам, все зависит от того, как эти фрагменты были распределены. Естественно, это не было сделано в логической последовательности. Достаточно, чтобы в послании не доставало какой-то одной части, и оно становится совершенно непонятным, а тот, у кого в руках находится эта недостающая часть, тоже не знает, что с ней делать.

— Вы только подумайте,— сказал Диоталлеви,— если встреча действительно не состоялась, то сегодня Европа представляет собой сцену, на которой происходит тайный балет с участием групп, они напрасно ищут друг друга, и при этом каждая из них знает, что достаточно лишь сушей безделицы для того,

чтобы стать обладателем мира. Как же звать того чучельника, о котором вы нам рассказывали, Казобон? Возможно, заговор действительно существует и вся история — всего лишь результат борьбы за восстановление утраченного послания? Мы — как слепцы, а они, невидимые, орудуют вокруг нас.

Бельбо и мне в голову пришла одна и та же мысль, и мы одновременно открыли рты. Но в данном случае одинаковые ассоциации казались делом естественным. Мы также знали, что по крайней мере два фрагмента послания из Провэна, а именно упоминание о тридцати шести невидимых, разделенных на шесть групп, и о периоде в сто двадцать лет, уже приводились в споре о розенкрейцерах.

— В конечном итоге, это были немцы,— заключил я.— Я еще раз перечитаю манифесты розенкрейцеров.

— Но вы же сами говорили, что они фальшивы,— возразил Бельбо.

— Ну и что? Ведь мы тоже воссоздаем фальсификат.

— Верно,— заметил он.— Я забыл об этом.

Elles deviennent le Diable: débiles, timorées, vaillantes à des heures exceptionnelles, sanglantes sans cesse, lacrymantes, caressantes, avec des bras qui ignorent les lois... Fi! Fi! Elles ne valent rien, elles sont faites d'un côté, d'un os courbe, d'une dissimulation rentrée... Elles baisent le serpent...

(Jules Bois. *Le satanisme et la magie*,
Париж, Chailley, 1895, с. 12)

Он забыл об этом. Теперь я уже знаю. Уверен, что именно к этому периоду относится этот файл, короткий и ошеломляющий.

FILENAME: Эннойя

Ты приехала совершенно неожиданно. Принесла эту травку. Я этого не хотел, не хочу, чтобы какая-то растительная субстанция влияла на работу моего мозга (однако я лгу, поскольку курю табак и пью продукты перегонки зерновых). Когда в начале шестидесятых годов мне изредка предлагали посидеть в кругу, где из рук в руки переходила скользкая от слюны грязная самокрутка, которую при последних затяжках накалывали на булавку, мне всегда хотелось рассмеяться.

Но вчера мне предложила ее именно ты, я подумал, что это, возможно, твой способ отдаваться, и согласился покурить с тобой. Мы танцевали, прижавшись друг к другу, хоть никто так давно не танцует, в то время как — о позор! — звучала Четвертая Малера. Ощущение было таким, словно мои руки уносили в воздухе античное создание, полное сладострастия, с морщинистым лицом старой козы, змею, которая вылезла из моей поясицы, и я испытывал к тебе такое же почтение, какое испытывают по отношению к старой и всеобщей куме. Возможно, я продолжал двигаться, прижавшись к твоему телу, но я чувствовал, что ты стремишься к полету, превращаешься в золото, отворяешь закрытые двери, передвигаешь по воздуху предметы. Я

проник в твое темное чрево, Мегале Апофазис. Пленница ангелов.

Разве не тебя я искал? Может, я нахожусь здесь только для того, чтобы ждать тебя? Неужели каждый раз я тебя терял потому, что не мог узнать? А может, каждый раз я тебя терял потому, что узнавал, но не мог осмелиться? А может, каждый раз терял тебя потому, что, узнавая, знал уже наперед, что должен потерять тебя?

Куда же ты ушла вчера вечером? Утром я проснулся с головной болью.

Мы все еще храним в памяти тайные намеки на период в 120 лет, с которыми брат А..., наследник Д и последний из второй линии преемственности — который жил со многими из нас,— обращался к нам, представителям третьей линии преемственности...

(*Fama Fraternitatis*, в: *Allgemeine und general Reformation*, Кассель, Wessel, 1614)

Я поспешил прочесть полностью оба манифеста розенкрейцеров "Fama" и "Confessio". Просмотрел также "Химическую свадьбу Христиана Розенкрейца" Иоганна Валентина Андреа, потому что именно Андреа считают автором манифестов.

Оба манифеста появились в Германии между 1614 и 1615 годами. Через тридцать лет после встречи французов и англичан в 1584 году, но почти за столетие до того, как французы должны были соединиться с немцами.

Читая манифесты, я настроил себя не верить в то, о чем в них говорилось, а воспринимать их так, как если бы содержание их было совсем другим, то есть читать между строк. Я знал, что необходимо пропускать абзацы и считать одни предложения более важными, чем другие. Именно этому нас учили сатанисты и их мэтры. Если эволюция происходит в хрупкое время откровения, не стоит фанатично держаться за мелочные и бессмысленные логические цепи и их однообразные последовательности. Однако, с другой стороны, если оба манифеста рассматривать в буквальном смысле, то они являют собой нагромождение абсурдов, загадок, противоречий.

Следовательно, они не могли проповедовать то, что с виду проповедовали, и поэтому не были ни призывом к глубокой духовной реформе, ни историей бедного Христиана Розенкрейца. Они представляют собой закодированное послание, его следует читать, накладывая шифровальную сетку, которая, открывая одни участки текста, закрывает другие. Как и в послании из Провэнса, где имели значение только начальные буквы. У меня не было такой сетки, но следовало предположить, что она существует, и читать с недоверием.

Тот факт, что в обоих манифестах речь идет о Плане из Провзна, не подлежит обсуждению. В могиле С.Р. (аллегория Гранж-о-Дим, ночь 23 июня 1344!) предусмотрительно спрятано сокровище для потомков, сокровище "скрыто... на сто двадцать лет". Ясно и то, что сокрытое — не материальные ценности. Дело не только в том, что они полемизировали с наивной жадностью алхимиков, но и в том, что обещали великое преобразование истории. А для тех, кто еще этого не понял, следующий манифест повторяет, что не стоит игнорировать подношение, которое касается *miranda sextae aetatis* (чудес шестого и вместе с тем последнего свидания), и еще раз подтверждает: "Если бы было угодно Богу донести до нас свет его шестого "Candelabrum"..., если бы можно было все прочесть в одной книге и, читая, понимать и запоминать то, что было... Как было бы прекрасно, если бы можно было песней (вслух читаемым посланием) превратить обычные булыжники (*lapis exillis!*) в жемчуг и драгоценные камни..." Далее речь шла о тайнах, о правительстве, которое должно быть установлено в Европе, и о "великом деле", которое следует совершить...

Сказано там, что С.Р. поехал в Испанию (или в Португалию?) и показал тамошним мудрецам, "где черпать истинные *indicia* грядущих столетий", но напрасно. Почему напрасно? Почему группа немецких тамплиеров в начале XVII века раскрыла ревностно хранимую тайну, словно речь шла о том, чтобы выйти из укрытия и оказать сопротивление блокированию процесса передачи?

Никто не может отрицать, что манифесты — это попытка восстановить те этапы Плана, которые синтезировал Диоталлеви. Первым братом, о смерти которого или о факте, что он дошел до "крайности", сообщено, был умерший в Англии брат I.O. Кто-то, следовательно, успешно прибыл на первое свидание. Упоминается также о второй и третьей линиях преемственности. До этого момента все должно происходить без сбоев: вторая линия, английская, контактирует с третьей, французской, в 1584 году, и те, кто пишут в начале XVII века, могут говорить только о том, что случилось с первыми тремя группами. В "Химической свадьбе", написанной Андреа в юношеском воз-

расте, а следовательно до манифестов (хотя они появились уже в 1616 году), упоминается о трех величественных храмах, о трех местах, которые уже должны были быть известны.

Я хорошо знал, что хотя в обоих манифестах и встречаются одни и те же термины, их употребление наводит на мысль, будто произошло какое-то тревожное событие.

Зачем, например, делать такой упор на утверждении, что уже настало время, настал момент, хотя противник пустил в ход все хитрости для того, чтобы помешать использованию благоприятного случая? О каком благоприятном случае идет речь? Говорится о том, что конечной целью С.Р. был Иерусалим, но он не смог туда прибыть. Почему? Восхваляются арабы, так как они обмениваются посланиями, тогда как в Германии ученые не могут помогать друг другу. Упоминается также о "самой большой группе, которая хочет завладеть всем пастбищем". И это касается не только кого-то, кто стремится изменить План в своих личных интересах, но и существенного изменения.

В "Fama" представлено, что в начале кто-то разработал магическое письмо (ну конечно же, Провэнское послание) и что часы Бога отбивают каждую минуту, "а наши не могут отбить даже часа". Кто не уловил биение Божественных часов, кто не сумел прибыть в нужное время в указанное место? Вспоминается о первичной группе братьев, которые могли бы раскрыть тайную философию, но они решили рассеяться по всему миру.

В манифестах сквозит какая-то обеспокоенность, неуверенность, чувство смятения. Братья первой линии преемственности позаботились о том, чтобы у каждого был "достойный наследник", но "они решили хранить в тайне... место своего погребения, и мы его не знаем до сих пор".

На что делается намек? Что было неизвестно? О месте какого "погребения" нет сведений? Вероятно, манифесты были написаны в связи с потерей какой-то информации и обращены к тому, кто случайно мог эту информацию знать, чтобы он раскрылся,— это было для меня очевидно.

Конец "Fama" — недвусмысленный: "Мы еще раз обращаемся ко всем ученым Европы... чтобы они доброжелательно отнеслись к нашему заявлению... чтобы поделились с нами своими размышлениями... Даже если сейчас мы еще не рас-

крыли своих имен... каждый, кто сообщит свое имя, будет разговаривать с нами с глазу на глаз или — если этому что-то помешает — мы свяжемся письменно”.

Именно это и хотел предпринять полковник, публикуя свою историю. Склонить кого-то к тому, чтобы он нарушил молчание.

Речь шла о какой-нибудь ситуации, каком-то скачке, какой-то случайности, несообразности. В гробнице С.Р. было начертано не только *post 120 annos patebo*, что напоминало о ритме свиданий, но и *Nequaquam vacuum*. Вместо “пустоты нет” написано “пустоты не должно быть”. Но все же образовалась пустота, которую надо было заполнить!

И еще раз я задал себе вопрос: почему эти слова написаны именно в Германии, где четвертая линия должна была просто ждать, проявляя святое терпение, пока придет ее очередь? В 1614 году немцы не могли отчаиваться из-за несостоявшейся встречи в Мариенбурге, потому что эта встреча была предусмотрена в 1704 году!

Отсюда можно сделать только один вывод: немцы сетовали на то, что не произошла предыдущая встреча!

Вот ключ! Немцы в четвертой линии сожалели, что англичане во второй линии не установили связь с французами третьей линии! Ну конечно же. В тексте можно обнаружить аллегории, понятные даже детям: открывают могилу С.Р. и находят там подписи братьев первого и второго кругов, но не третьего! Португальцы и англичане есть, а где же французы?

Итак, оба манифеста розенкрейцеров содержат намек, — который можно обнаружить, если читать их умело — на тот факт, что англичане не смогли встретиться с французами. А согласно тому, что мы установили, только англичане знали, где найти французов, а французы были единственными, кто знал, где найти немцев. Но даже если бы в 1704 году французы отыскивали немцев, то прибыли бы на свидание без двух третей того, что должны были завещать.

Розенкрейцеры выходят на поверхность, несмотря на грозящие им опасности, поскольку это был единственный способ спасти План.

Мы даже не знаем с уверенностью, обладали ли Братья второй линии теми же познаниями, что и братья первой, и были ли они допущены ко всем тайнам.

(*Fama Fraternitatis*, в: *Allgemeine und general Reformation*, Кассель, Wessel, 1614)

Я решительно сообщил об этом Бельбо и Диоталлеви, и они согласились с тем, что тайный смысл манифестов становится понятным даже оккультистам.

— Сейчас все ясно,— заявил Диоталлеви.— Мы вбили себе в голову, что осуществление Плана застопорилось при переходе от немцев к павликианам, а на самом деле оно было прервано в 1584 году, между Англией и Францией.

— Но почему? — спросил Бельбо.— Есть ли у нас основания считать, что в 1584 году англичанам не удалось встретиться с французами? Ведь именно англичане, и только они, знали, где находится Укрытие.

Он хотел правды. И "оживил" Абулафию. Для начала он попросил выдать связи между двумя данными. Вот распечатка.

Минни невеста Мики

Тридцать дней в ноябре, как и в апреле, июне и сентябре

— Как это интерпретировать? — недоумевал Бельбо.— У Минни свидание с Мики, но по ошибке она его назначает на 31 сентября, и Мики...

— Тихо! — выкрикнул я.— Минни могла бы совершить ошибку, только если бы назначила свидание на 5 октября 1582 года!

— Но почему?

— Григорианская реформа календаря! Ведь это очевидно! В 1582 году вступила в силу григорианская реформа, которая скорректировала юлианский календарь, и для восстановления равновесия было снято 10 дней в октябре, с 5 по 14!

— Но свидание во Франции было назначено на 1584 год, в ночь святого Иоанна, 23 июня,— вспомнил Бельбо.

— Действительно. Но если мне не изменяет память, реформа была введена не везде одновременно.— Я посмотрел на вечный календарь, который стоял на полке.— Вот. Реформа действительно была объявлена в 1582 году и отменяла дни с 5 по 14 октября, но это касалось только Папы. Франция принимает реформу в 1583 году и упраздняет дни с 10 по 19 декабря. В Германии — схизма, и католические регионы принимают реформу в 1584 году, как и в Чехии, а протестантские районы признали ее только в 1775 году, понимаете, почти через двести лет, не говоря уже о Болгарии (и этот факт стоит запомнить), которая решается на этот шаг лишь в 1917 году. Посмотрим на Англию... Она перешла на грегорианский календарь в 1752 году! Это понятно: ненависть к папистам велит англиканам сопротивляться в течение двух веков. И теперь вы сами видите, что произошло. Франция упразднила десять дней в конце 1583, года и к июню 1584 года все уже успели к этому привыкнуть. Но когда во Франции было 23 июня 1584 года, в Англии — это еще 13 июня, и трудно себе представить, чтобы бравый англичанин, даже если он был тамплиером, предвидел это обстоятельство, особенно в то время, когда информация поступала очень медленно. У них и сейчас левостороннее движение и они игнорируют десятичную систему мер... Итак, англичане прибыли в Укрытие 23 июня, а для французов это было 3 июля. К тому же мы имеем право предположить, что свидание должно было происходить не под звуки фанфар, а украдкой, в определенном месте и в определенное время. Французы 23 июня прибывают на место, ждут день, два, три, семь, а затем уезжают; убежденные: что-то случилось. И возможно, отчаявшись, они отказываются от встречи как раз накануне, 2 июля. А англичане прибывают 3 июля и никого не находят. Возможно, они также прождали неделю, и безрезультатно. В это время и разминулись два великих мэтра.

— Прекрасно! — воскликнул Бельбо.— Именно так и должно было быть. Но почему зашевелились именно немецкие розенкрейцеры, а не англичане?

Я взял еще один день, перевернул вверх дном свою карто-теку и возвратился в издательство, раздуваясь от гордости. Я нашел след, казалось туманный, но именно так трудился Сэм Спейд — для его орлиного взгляда не существовало пустячных вещей. Около 1584 года Джону Ди, магу и каббалисту, астрологу королевы Англии, было поручено изучить вопрос, связанный с реформой юлианского календаря!

— Англичане встретили португальцев в 1464 году. Такое впечатление, что после этой даты Британские острова охватила какая-то каббалистическая горячка. Джон Ди стоит во главе этого ренессанса магии и герметизма. Он создает личную библиотеку, насчитывающую четыре тысячи томов, и кажется, будто ее укомплектовали тамплиеры из Провэнса. Его "*Monas hieroglyphica*" черпает вдохновение непосредственно из "*Tabula smaragdina*", библии алхимиков. А чем занимается Джон Ди после 1584 года? Он читает "*Steganographia*" Тритема. Причем читает в рукописи, так как она впервые была напечатана только в начале XVII века. Руководитель английской группы, который потерпел неудачу, поскольку не явился на условленную встречу, Ди хочет разобраться с тем, что же, собственно, произошло, в чем ошибка. А так как он был хорошим астрономом, то бьет себя по лбу и восклицает: "Какой же я глупец!" И чтобы найти способ исправить ошибку, начинает изучать грегорианскую реформу, вымаливая при случае у Елизаветы годовое содержание. Но отдает себе отчет в том, что уже слишком поздно. Он понятия не имеет, с кем контактировать во Франции, однако у него есть знакомые в среднеевропейском регионе. Прага Рудольфа II — одна большая лаборатория алхимиков, и поэтому именно в это время Ди едет в Прагу, встречается с Кунратом, автором "*Amphitheatrum sapientiae aeternae*", аллегорические таблицы которого вдохновляли как Андреа, так и розенкрейцеров. Какие связи установил Ди? Я не знаю. Удрученный угрызениями совести, оттого что совершил непоправимую ошибку, он умирает в 1608 году. Не пугайтесь: в Лондоне в действие вступает другой герой, в котором люди признали розенкрейцера и который писал о розовом кресте в своей "Новой Атлантиде". Я говорю о Фрэнсисе Бэконе.

— Действительно ли Бэкон писал о розовом кресте? — спросил Бельбо.

— Не совсем, но некий Джон Хэйдон, переписал "Новую Атлантиду", изменив название — "The Holy Land" — и вставив туда розенкрейцеров. А для нас именно это имеет значение. По очевидным соображениям Бэкон ни о чем не пишет открыто, а с другой стороны, как бы и пишет.

— А кто не согласен, пусть Бог его накажет.

— Верно. Именно под влиянием Бэкона появляется стремление еще больше укрепить отношения между английскими и немецкими кругами. В 1613 году состоялась свадьба Елизаветы, дочери царствующего тогда Якова I, с Фридрихом V, курфюрстом Рейнского Палатината. После смерти Рудольфа II Прага утрачивает свое привилегированное положение, ее преемником стал Гейдельберг. Свадьба принца и принцессы — это настоящий триумф тамплиеровских аллегорий. Режиссуру лондонских церемоний доверили самому Бэкону, который представил аллерию мистического рыцарства вместе с тамплиерами на вершине холма. Не подлежит сомнению, что Бэкон, будучи продолжателем Ди, является руководителем английской группы тамплиеров...

— ...А поскольку также не подлежит сомнению, что он — автор драм Шекспира, то нам следует перечитать всего Шекспира, который, несомненно, пишет исключительно о Платоне, — заявил Бельбо. — Ночь святого Иоанна, сон в летнюю ночь.

— 23 июня — это первая летняя ночь.

— Еще одна поэтическая вольность. Я задаю себе вопрос, как случилось, что никто никогда не принимал во внимание эти доводы. Сейчас мне кажется, что эта правда излучает ослепительный свет.

— Мы отвлеклись от рационального мышления, — вмешался Диоталлеви, — Я об этом всегда говорил.

— Дай продолжить Казобону, который, по-моему, проделал отличную работу.

— Мой рассказ почти подошел к концу. После лондонских торжеств начались празднества в Гейдельберге, где Соломон де Каус построил для курфюрста висячие сады, бледную копию

которых мы видели, как вы помните, однажды вечером в Пьемонте. Во время этого веселья появилась аллегорическая колесница, которая славila супруга как Язона, и на двух мачтах корабля, установленного на колеснице, возникли символы Золотого Руна и Подвязки. Я надеюсь, что вы не забыли, что Золотое Руно и Подвязка представлены также на колоннах в Томаре... Все совпадает. Через год появляются манифесты розенкрейцеров — сигнал, который английские тамплиеры, склонив к сотрудничеству друзей из Германии, подали на всю Европу с тем, чтобы восстановить прерванную нить Плана.

— Но чего они хотели добиться?

Nos invisibles pretendus sont (à ce que l'on dit) au nombre de 36, separez en six bandes.

(Effroyables pactions faictes entre le diable & les pretendus Invisibles,
Париж, 1623, с.6)

— Возможно, операция преследовала двойную цель: с одной стороны, подать сигнал французам, а с другой — восстановить разорванные связи с немецкой группой, которая, несомненно, была расчленена в результате проведения лютеранской реформы. Но именно в Германии и произошла самая большая путаница. С момента выхода манифестов приблизительно в 1621 году их авторы получили слишком много ответов...

Я упомянул о некоторых из бесчисленных брошюр, которые появились на эту тему и позабавили меня и Ампаро в ту ночь в Салвадоре.

— Вероятно, среди них есть такие, которые кое-что знают, но они растворяются в толпе экзальтированных людей, энтузиастов, которые понимают манифесты буквально, и, возможно, провокаторов, которые стараются погубить начинание, смутьянов, халтурщиков... Англичане хотят включиться в дискуссию, направить ее на нужный путь, и вовсе не случайно Роберт Фладд, очередной английский тамплиер, в течение одного года пишет три книги с целью внушить правильную интерпретацию манифестов... Но отныне реакция становится неконтролируемой; началась тридцатилетняя война; палатинатский курфюрст был побежден испанцами; Палатинат и Гейдельберг постоянно грабили; Богемия в огне... Англичане решают еще раз отступить во Францию и попытаться там. Вот почему в 1623 году розенкрейцеры появляются со своими манифестами в Париже и обращаются к французам почти с такими же предложениями, какие они ранее делали немцам. И что же мы читаем в одном из пасквилей, который опубликовал в Париже тот, кто не доверял розенкрейцерам и старался мутить воду? Что они были почитателями дьявола, это понятно, но поскольку нельзя до конца скрыть правду даже в клевете, то мы находим в этом тексте намек на то, что они объединились в Марэ.

— И что?

— А вы не знаете Париж? Марэ — это квартал Храма, а также, обратите внимание, квартал еврейского гетто! Не говоря уже о том, что эти пасквили обвиняют розенкрейцеров в связях с сектой иберийских каббалистов, Алюмбрадос! Возможно, только создается видимость того, что памфлеты розенкрейцеров атакуют тридцать шесть невидимых, на самом же деле они хотят облегчить их распознавание... Габриэль Нодэ, библиотекарь Ришелье, пишет "Instructions à la France sur la vérité de l'histoire des Frères de la Rose-Croix". Какие предписания? Это что, рупор тамплиеров третьей группы или авантюрист, вступивший не в свою игру? С одной стороны, создается впечатление, что он хотел бы, чтобы розенкрейцеров признали первыми сатанистами, но с другой — не скупится на клеветнические заявления, утверждая, что есть еще три коллегии розенкрейцеров, и, вероятно, это правда, поскольку третью группу сменяют три следующие. Он сообщает о совершенно неправдоподобных местах (например, в Индии, на плавучих островах), но также утверждает, что одна из коллегий находится в подземельях Парижа.

— Вы считаете, что все это объясняет Тридцатилетнюю войну? — спросил Бельбо.

— Без всякого сомнения, — ответил я. — Ришелье, пользующийся преимуществом, если речь идет о доступе к информации, которую поставляет Нодэ, не хочет, чтобы что-либо происходило за его спиной, но во всем ошибается, ввязывается в войну и еще больше путает карты. Однако я не оставил бы без внимания два других факта. В 1619 году после сорокашестилетнего молчания в Томаре собирается капитул Рыцарей Христа. Предыдущая встреча состоялась в 1573 году, всего за несколько лет до 1584 года, возможно для того, чтобы подготовить с англичанами поездку в Париж, но после этой аферы с манифестами розенкрейцеров они собрались снова, чтобы определить линию поведения: присоединиться ли к операции англичан или искать другие пути.

— Конечно, — говорит Бельбо, — эти люди заблудились в лабиринте: один выбирает эту дорогу, другой ту, а третий что-то выкрикивает, и никто уже не знает, что он слышит — чей-то

ответ или эхо собственного голоса... Они действуют на ощупь. И что же тем временем происходит с павликианами и иерусалимитами?

— Интересно! — вздохнул Диоталлеви.— Не забывайте, что именно в это время распространяется лурианская Каббала и начинают поговаривать о Растрескивании Сосудов... В это же время ширятся круги сторонников идеи о том, что Тора — неполное послание. В одном польском хасидском писании говорится: если бы взамен произошло другое событие, родилось бы другое сочетание букв. Однако проясним дело. Каббалисты вовсе не в восторге от мысли, что немцы пытаются опередить время. Надлежащий порядок и основа Торы остались скрытыми, они известны только Богу, хвала Ему! Но не заставляйте меня говорить о безрассудстве. Если в План вплетена святая Каббала...

— Если План существует, он должен охватывать все. Или он глобален, или ничего не объясняет,— заметил Бельбо.— Но Казобон говорил о другом признаке.

— Да. И даже о нескольких признаках. Еще до того, как наступил фатальный 1584 год, год несостоявшейся встречи, Джон Ди начал изучать картографию и организовывать морские экспедиции. И с кем он вступает в сообщество? С Педро Нуньесом, придворным космографом короля Португалии... Ди пользуется его влиянием для организации путешествия, которое привело бы к открытию северо-восточного пути в Китай, он вкладывает деньги в экспедицию некоего Фробишера, тот плывет к полюсу и возвращается с эскимосом, которого все принимают за монгола; он подбивает Фрэнсиса Дрейка совершить кругосветное путешествие, мечтает о поездке в восточном направлении, так как Восток лежит в основе всех оккультных знаний, и перед началом, я уже не знаю, какой экспедиции, он призывает ангелов.

— И что это значит?

— Мне кажется, что Ди в действительности был заинтересован не в открытии земель, а в их картографическом изображении, вот почему он сотрудничал с Меркатором и с Ортелиусом, великими картографами. Вот так, из обрывков имеющихся у

него сведений он понял, что окончательное восстановление должно привести к какой-то карте, и стремился прийти к этому самостоятельно. Возможно ли, чтобы от ученого такого уровня ускользнуло расхождение между календарями? А если это было старательно продумано? Ди, казалось, хотел восстановить послание сам, опережая другие группы. Я подозреваю, что именно ему принадлежит мысль, будто послание можно дополнить, применяя магические или научные методы, не ожидая исполнения Плана. Синдром нетерпения. Формируется тип мещанского завоевателя, подрывается принцип солидарности, на котором основывалось духовное рыцарство. Если именно такая мысль пришла в голову Ди, что говорить о Бэконе! С этого момента англичане стремятся к раскрытию тайны, используя все секреты новой науки.

— А немцы?

— Немцам оставим лучше традиционный путь. Таким образом мы сможем объяснить по меньшей мере два века истории философии и столкновение англосаксонского эмпиризма с романтическим идеализмом...

— Мы постепенно восстанавливаем историю мира,— сказал Диоталлеви.— Мы вновь пишем Книгу. Это мне нравится, и даже очень.

Другой забавный случай криптографии обнаружил в 1917 году один из лучших историографов Бэкона доктор Альфред фон Вебер Эбенхоф из Вены. Опираясь на различные системы, опробованные на произведениях Шекспира, ученый попытался применить их к некоторым произведениям Сервантеса... В ходе исследований он обнаружил революционное вещественное доказательство: в первом английском переводе "Дон Кихота", который выполнил Шелтон, есть правки, сделанные рукой самого Бэкона. И фон Эбенхоф пришел к выводу, что этот английский вариант — оригинал романа и что Сервантес опубликовал лишь его испанский перевод.

(J.Duchaussoy. *Bacon, Shakespeare ou Saint-Germain?*
Париж, La Colombe, 1962, с.122)

Мне кажется очевидным, что в последующие дни Джакомо Бельбо принялся пожирать исторические произведения, касающиеся розенкрейцеров. Однако излагая нам свои выводы, он извлек из своих фантазий наглую фабулу, натолкнувшую нас на ценные соображения. Сейчас я знаю, что он писал на Абулафии значительно более сложную историю, в которой буйная игра цитат смешивалась с фрагментами его личных мифов. Имея возможность сочетать отрывки истории, относящейся к другим, он почувствовал потребность написать в повествовательной форме свою собственную историю. Мы же об этом ничего не знали. И меня гложет сомнение: то ли он, собравшись с духом, экспериментировал со своими возможностями использовать вымысел, то ли, подобно сатанисту, отождествлял себя с Великой Историей, которую выворачивал наизнанку.

FILENAME: странный кабинет доктора Ди

Я уже давно забыл, что являюсь Талботом. Во всяком случае, с тех пор, как решил называться Келли. По правде, я лишь подделал документы, как, впрочем, и все. Люди королевы

беспощадны. Чтобы скрыть мои бедные обрезанные уши, я вынужден носить черную ермолку, и все бормочут, что я — маг. Ну и пусть. Такая известность приносит доктору Ди процветание.

Я поехал к нему в Мортлейк. Он как раз изучал какую-то карту. Дьявольский старец и не подумал выйти за пределы общих фраз. Зловещие молнии в лукавых глазах, костистая рука, глядящая козлиную бородку.

— Это манускрипт Роджера Бэкона,— сообщил он.— Мне его одолжил император Рудольф II. Вам известна Прага? Советую побывать в этом городе. Там вы смогли бы обнаружить нечто, что изменило бы вашу жизнь. *Tabula locorum rerum et thesaurorum absconditorum Menabani...*

Я бросил беглый взгляд на образец транскрипции тайного алфавита. Но доктор тут же спрятал манускрипт под кипой других пожелтевших листов. Жить во времени и в среде, где каждый листок, даже если он только что — с бумажной фабрики, желтеет!

Я показал доктору Ди некоторые пробы пера, в основном мою поэзию, посвященную *Dark Lady*. Сияющее изображение из моего детства, темное, ибо поглощено мраком времени и ускользает от меня. И моя трагическая импровизация, история Джима Конопляника, который возвращается в Англию в свите сэра Уолтера Ролея и находит отца убитым братом по кровосмешению. Белена.

— Фантазии вам не занимать, Келли,— сделал вывод Ди,— и вы нуждаетесь в деньгах. Есть юноша, кровный сын человека, имя которого я не смею произнести даже мысленно... так вот, этот юноша мечтает о славе и чести. Он страдает от недостатка способностей, и вы, оставаясь в укрытии, будете его душой. Пишите и живите в тени его славы; только вы и я будем знать, что эта слава принадлежит вам, Келли.

Итак, я многие годы провел над составлением сюжетов, которые королева и вся Англия приписывали этому бледному молодому человеку. *If I have seen further it is by standing on ye sholders of a Dwarf*. Мне было тридцать лет, и никто меня не убедит, что это наилучший период жизни.

— Вильям,— сказал я ему,— отрасти волосы, чтобы закрыть уши, это тебе больше идет.

У меня был план (подстроиться под него?).

Можно ли жить, ненавидя Потрясателя копьём, если сам являешься таковым? That sweet thief which sourly robs from me.

— Спокойно, Келли,— говорил мне Ди,— возвеличивать-ся, оставаясь в тени,— это привилегия тех, кто готовится поко-рить мир. Keere a Lowe Profyle. Вильям будет одним из наших обличий.

И он открыл мне — ох, только частично — правду о Кос-мическом Заговоре. Тайна тамплиеров!

— А место? — спросил я.

— Ye Globe.

Я уже давно ложился спать с петухами, но однажды в полночь, копаясь в личной шкатулке Ди, я обнаружил формулы и хотел призвать ангелов, как это делал он во время полнолуния. Ди нашел меня свалившимся в самом центре круга Макрокосма; я чувствовал себя так, словно меня отстегали кнутом. На лбу — пятиконечная звезда Соломона. Теперь я должен еще больше натягивать на глаза свою ермолку.

— Ты еще не знаешь, как это делать,— рассвирепел Ди.— Не лезь сюда, а то я прикажу вырвать тебе ноздри. I will show you Fear in a Handful of Dust...

Он поднял костлявую руку и произнес страшное слово: Гарамон! Мне казалось, что меня сжигает внутренний огонь. Я убежал (в ночь).

Потребовался целый год, чтобы Ди простил меня и по-святил мне свою Четвертую Книгу Тайн, "post reconciliationem kellianam".

Этим летом меня поглотила страсть к абстракции. Ди вызвал меня в Мортлейк, кроме меня там были Вильям, Спен-сер и аристократического вида молодой человек с бегаящим взглядом, Фрэнсис Бэкон. He had a delicate, lively, hazel Eie. Doctor Dee told me it was like the Eie of a Viper. Ди открыл нам часть правды о Космическом Заговоре. Речь шла о встрече в Париже франкского крыла тамплиеров и соединении обеих частей карты. Туда отправились Ди и Спенсер в сопровождении Педро Нуньеса. Мне и Бэкону он доверил конверты с некоторы-ми документами — под клятвенное обещание вскрыть их только, если они не вернутся.

Они вернулись, осыпая друг друга оскорблениями.

— Это невозможно,— говорил Ди.— План математичен, он досконален, как моя "Monas leroglyphica". Мы должны были их встретить, это была ночь святого Иоанна.

Терпеть не могу, когда меня недооценивают. Я спросил:

— О какой ночи святого Иоанна вы говорите — их или нашей?

Ди стукнул себя по лбу и разразился страшными ругательствами.

— O, from what power hast thou this powerful might?

Бледный Вильям тут же записал эту фразу, подлый плагиатор. Ди лихорадочно рылся в альманахах и эфемеридах.

— О, Боже! Как я мог быть таким глупым? — Он стал бранить Нуньеса и Спенсера: — Неужели я один должен обо всем думать? Из тебя космограф, как из козьей задницы труба! — синий от злости, рычал он на Нуньеса. И добавил: — Амазаниэль Зоробабель!

Нуньес попятился, словно его боднул в живот невидимый баран, и, бледный, рухнул на землю.

— Дурак,— бросил Ди.

Спенсер, белый как стена, с трудом вымолвил:

— Можно бросить приманку. Я заканчиваю сейчас поэму, аллгорию на королеву фей и хочу ввести рыцаря-розенкрейцера... Разрешите мне закончить. Настоящие тамплиеры объявятся, они поймут, что мы знаем, и вступят с нами в контакт...

— Я тебя знаю,— ответил Ди.— Пока ты напишешь и люди прочтут твою поэму, пройдет пятилетие и даже больше. Но мысль о приманке не так глупа.

— Почему вы, доктор, не свяжетесь с ними с помощью ваших ангелов? — спросил я.

— Глупец! — на сей раз ругательство было обращено ко мне.— Ты не читал Тритема? Ангелы адресата являются, чтобы объяснить послание, которое он получит. Мои ангелы — это не конные посыльные. Французов мы пропустили. Но у меня есть план. Я знаю, как найти кого-нибудь из немецкой линии. Надо ехать в Прагу.

Послышался шум, поднялась тяжелая портьера из камчатной ткани, и мы увидели прозрачную руку, а затем появилась Она, Гордая Дева.

— Ее королевское величество! — воскликнули мы, падая на колени.

— Ди,— изрекла Она,— я знаю все. Не думайте, что мои предки спасли рыцарей, чтобы затем даровать им власть над миром. Я требую, слышишь, требую, чтобы в конце концов тайна стала достоянием Короны.

— Ваше королевское величество, я жажду добыть тайну. Любой ценой. И я этого хочу для Короны. Я должен найти других ее хранителей, если не существует более короткого пути, но когда они по глупости откроют мне то, что знают, я без труда уничтожу их с помощью кинжала или aqua tofana.

На лице Королевы-Девы появилась ужасная улыбка.

— Хорошо, мой добропорядочный Ди... Я хочу немного — только полной Власти. А если тебе будет сопутствовать успех, ты добудешь Подвязку. А тебе, Вильям,— и она обратилась с похотливой нежностью к малому паразиту,— еще одна подвязка и еще одно золотое руно. Следуй за мной.

Я прошептал на ухо Вильяму:

— Perforce I am thine, and that is in me...

Вильям наградил меня взглядом, полным елейной признательности, и скрылся за портьерой. Je tiens la reine!

Я был с Ди в Золотой Праге. Мы ходили по узким, смрадным улочкам недалеко от еврейского кладбища, и Ди приказал мне быть осторожным.

— Если распространится известие о несостоявшейся встрече, другие группы начнут действовать на свой страх и риск. Я боюсь евреев, иерусалимиты имеют здесь, в Праге, слишком много агентов...

Был вечер. Блестел голубоватый снег. Перед мрачным входом в еврейский квартал приткнулись лотки рождественской ярмарки, а между ними возвышалась затянута красным сукном и освещенная чадящими факелами мерзкая сцена театра марионеток. Мы прошли под аркадой из тяжелых камней, около бронзового фонтана, по решеткам которого свисали ледяные

сталактиты, и нам открылся новый проход. Над старинными порталами — позолоченные головы львов держали в пастьях бронзовые кольца. Какая-то легкая вибрация приводила в движение эти стены, какие-то необъяснимые звуки скатывались по низким крышам и текли по водосточным трубам. Дома, эти тайные обитатели, обнажали свою призрачную жизнь... Старый ростовщик, завернутый в длинную, поношенную одежду, слегка задел нас, и мне показалось, что я услышал его шепот: "Опасайтесь Атанасиуса Перната"...

Ди пробормотал:

— Я опасуюсь совсем другого Атанасиуса...

И теперь мы добрались до Золотой Улочки...

Вдруг здесь (и до сих пор при этом воспоминании уши, которых у меня больше нет, начинают гореть под потертой шапочкой) во мраке нового неожиданного перехода перед нами предстал гигант, отвратительное серое существо, опирающееся на сучковатую, витую палку из белого дерева. Его лицо было лишено всяческого выражения, а тело покрыто зеленовато-бронзовым панцирем. От этого создания исходил резкий запах сандала. Меня охватил смертельный ужас, под действием чар я окаменел, впившись взором в стоявшее передо мной существо. Я ни на минуту не мог отвести взгляда от туманного облака, обволакивающего его плечи, мне с трудом удалось различить хищное лицо египетского ибиса, а за ним — множество лиц, кошмаров моего воображения и памяти. Контуры этого призрака расширялись и сокращались во мраке прохода, как если бы медленное дыхание заставляло колыхаться всю его фигуру... И, о ужас, когда я опустил взгляд, то вместо ног увидел на снегу бесформенные культи, серая и бескровная плоть которых была вывернута и поднималась до лодыжек концентрическими набухшими складками.

О мои алчные воспоминания...

— Голем! — объяснил Ди.

Он воздел руки к небу, и черная одежда с широкими рукавами сползла на землю, образуя *cingulum*, пуповину, которая соединяла положение рук в воздухе с поверхностью и глубинами земли.

— Jezebel, Malkuth, Smoke Gets in Your Eyes! — промолвил он.

И сразу же Голем рассыпался как песочный замок под дуновением ветра, нас почти ослепили частицы его глиняного тела, которое распалось в воздухе на атомы, и тут же у наших ног появилась маленькая кучка пепла. Ди нагнулся, пошарил своими тощими пальцами в этой пыли, вытащил оттуда маленький свиток пергамента и спрятал его у себя на груди.

В это время из мрака вынырнул старый раввин в замуколенной круглой шапочке, напоминающей мою ермолку.

— Думаю, что это доктор Ди, — сказал он.

— Here Comes Everybody, рабби Леви. Я рад вас видеть!

А тот продолжал:

— Вы случайно не видели существо, бродившее в этой местности?

— Существо? — переспросил Ди удивленно. — Кем созданное?

— К черту, Ди, — огрызнулся рабби Леви. — Это был мой Голем.

— Ваш Голем? Ничего о нем не знаю.

— Берегитесь, доктор Ди, — промолвил побледневший рабби Леви. — Вы затеяли игру, которая вам не под силу.

— Не знаю, о чем вы говорите, рабби Леви, — пожал плечами Ди. — Мы здесь для того, чтобы изготовить несколько унций золота для вашего императора. Мы не какие-то дешевые некроманты.

— Возвратите мне хотя бы пергамент, — взмолился рабби Леви.

— Какой пергамент? — удивился Ди с дьявольской наивностью.

— Будьте прокляты, доктор Ди! — воскликнул раввин. — Воистину вам не увидеть зари нового века.

И он удалился в ночь, бормоча под нос угрюмые согласные и не вставляя ни единой гласной. О, Дьявольский и Святой язык!

Ди стоял, прислонившись к влажной стене перехода, лицо его было землистым, волосы взъерошенными.

— Я знаю рабби Леви,— произнес он.— Я умру пятого августа 1608 года по грегорианскому календарю. А вы, Келли, поможете мне осуществить мой план. Именно вам надлежит довести его до конца. Помните: *Gilding pale streams with heavenly alchymy*.

Я это запомнил, а Вильям — со мной и против меня.

Он больше ничего не сказал. Белесая туча, которая терлась спиной об оконные стекла, желтый дым, который терся спиной об оконные стекла, слизывали грани вечера. Мы уже были в другом переходе, беловатые пары исходили от решеток, отсюда были видны развалины с кривыми стенами, ритмичные градации туманного разума... А когда я спускался на ощупь по какой-то лестнице (с неестественно прямоугольными ступенями), то заметил силуэт старика в выцветшем *redingote* и высоком цилиндре.

Ди его тоже увидел.

— Калигари! — воскликнул он.— Это дом мадам Со-стрис. *The Famous Clairvoyante!* Быстрее!

Мы ускорили шаг и оказались у двери халупки на слабоосвещенной, зловеще семитской улочке.

Мы постучали, дверь отворилась как по волшебству. Мы вошли в просторную прихожую, обрамленную семиглавыми подсвечниками, выпуклыми четырехгранниками, веером расположенными звездами Давида. Старые скрипки цвета лака древних картин лежали кучей у входа на длинном анаморфичном столе. С высокого свода пещеры свисало чучело большого крокодила, слегка раскачиваемое вечерним ветерком в слабом свете единственной лучины, а может быть, множества — или ни одной. В глубине, перед чем-то вроде палатки или балдахина, под которым стоял *tabernakulum*, бормоча без передышки семьдесят два Имени Бога и богохульствуя, молился Старец. Вдруг на меня сошло озарение *Nous*, и я понял, что это Генрих Кунрат.

— Приветствую тебя, Ди,— промолвил он, повернувшись и прервав молитву.— Чего ты хочешь?

У него был вид набитого соломой броненосца, игуаны без возраста.

— Кунрат,— сказал Ди,— третья встреча не состоялась.

Кунрат разразился страшным проклятьем:

— Lapis Exillis! И что же?

— Кунрат, ты мог бы бросить приманку и связать меня с немецкой линией тамплиеров.

— Посмотрим,— произнес Кунрат.— Я могу попросить Майера, который имеет большие связи при дворе. Но тогда ты мне откроешь тайну Девственного Молока. Самой секретной Печи Философов.

Ди улыбнулся. О, какая божественная улыбка у этого Мудреца! Затем он сложил руки как для молитвы и прошептал:

— Когда ты захочешь видоизменить и растворить в воде или в Девственном Молоке сублимированную ртуть, помести ее на тонкую металлическую пластину между выступами и кубком с Вещью, старательно растертой, не прикрывай его, но сделай так, чтобы горячий воздух охватывал обнаженную материю, подогрей все на огне от трех углей и поддерживай этот огонь в течение восьми солнечных дней, затемними и тщательно растирай на мраморе, пока материя не станет неосязаемой. После этого помести ее в стеклянный алейбик и продистиллируй в Balneum Mariae над чаном с водой, но расстояние между алейбиком и водой должно быть не более двух пальцев, алейбик надо подвесить в воздухе и одновременно разжечь огонь под чаном. Тогда, и только тогда материя живого серебра, находясь в этом горячем и влажном чреве, хоть и совершенно не касаясь воды, сама превратится в воду.

— Мэтр,— воскликнул Кунрат, падая на колени и целуя костлявую, прозрачную руку доктора Ди.— Мэтр, я сделаю так. А ты получишь то, что тебе нужно. Запомни эти слова: Роза и Крест. Ты их еще услышишь.

Ди завернулся в свою длинную одежду так, что виднелись лишь его сверкающие и злобные глаза.

— Пошли, Келли,— сказал он.— Этот человек теперь наш. А ты, Кунрат, держи Голема подальше от нас, пока мы не возвратимся в Лондон. А после пусть Прага превратится в один пылающий костер для казни.

Он собрался уходить. Кунрат, все еще стоящий на коленях, подполз к нему и схватил за полу одежды.

— Однажды к тебе, возможно, придет один человек. Он захочет написать о тебе. Будь ему другом.

— Дай мне Власть,— прошептал Ди с таким выражением на изможденном лице, которое трудно описать,— и его судьба будет обеспечена.

Мы вышли. Область пониженного давления атмосферы перемещалась с Атлантического океана на восток в направлении антициклона, расположившегося над Россией.

— Едем в Москву,— сказал я.

— Нет,— ответил Ди,— возвращаемся в Лондон.

— В Москву, в Москву,— шептал я иступленно.— Ты хорошо знал, Келли, что никогда туда не доберешься. Тебя ждет Башня.

Мы возвратились в Лондон. Доктор Ди сказал:

— Они стремятся прийти к Решению раньше нас. Келли, ты напишешь для Вильяма что-нибудь... какую-то дьявольскую инсинуацию, намекающую на них.

Чрево демона, я это хорошо сделал, но Вильям испортил текст и все перенес из Праги в Венецию. Ди охватил черный гнев. Но бледный, потливый Вильям чувствовал себя неуязвимым под крылом королевской наложницы. Я время от времени передавал ему свои лучшие сонеты, а он нагло требовал все новых и новых — для Нее, для Тебя, my Dark Lady. Как ужасно слышать твое имя, произносимое устами этого фигляра (я не знал что, этот человек с душой, обреченной на двойное проклятие, искал ее через Бэкона).

— Достаточно,— сказал я ему.— Я устал созидать в тени твоей славы. Пиши сам!

— Я не могу,— ответил он, и у него был взгляд человека, увидевшего Лемура,— мне не позволяют.

— Кто — Ди?

— Нет, Верулам. Ты разве не видишь, что отныне он дергает за все веревки? Он заставляет меня писать произведения, которыми затем будет похвастаться как своими. Ты не понял, Келли, что именно я — настоящий Бэкон, но потомки этого никогда не узнают. О, паразит! Как я ненавижу этого приспешника Сатаны!

— Бэкон — ничтожество, но он талантлив, — заметил я. — Почему он не пишет сам?

Я не знал, что у него не было времени. Нам это стало известно лишь через несколько лет, когда Германию отхватил психоз розенкрейцеров. И тогда, собрав воедино разрозненные намеки, слова, которые раньше так неохотно соскальзывали с его уст, я понял, что автором манифестов розенкрейцеров был он. Именно он писал под вымышленным именем — Иоганн Валентин Андреа!

Тогда я не понимал, для кого писал Андреа, но теперь, во мраке камеры, в которой томлюсь, более ясно видящий, чем дон Изидро Пароди, теперь-то я знаю. Сказал мне это Соапез, мой тюремный товарищ, бывший португальский тамплиер: Андреа писал рыцарский роман для какого-то испанца, который в то время также находился в застенках. Я не знаю почему, но этот замысел пригодился бедному Бэкону, который хотел войти в историю как неизвестный автор приключений рыцаря из Ла Манчи и поэтому попросил Андреа тайно написать это произведение, сам Бэкон хотел выдать себя за настоящего неизвестного автора, чтобы, оставаясь в тени, наслаждаться (но зачем, за чем?) триумфом другого.

Однако я отвлекаюсь от темы, мерзну в этой камере, и у меня болит большой палец на ноге. Я пишу при слабом свете керосиновой лампы последние произведения, которые мир узнает под именем Вильяма.

.....

Доктор Ди умер, шепча: "Света, больше Света" и прося зубочистку. Он сказал: *Qualis Artifex Pereo!* Его убил Бэкон. Много лет назад, задолго до того как умерла королева с разбитыми душой и сердцем, Верулам в определенном смысле очаровал ее. Теперь черты ее лица исказились, она похудела и уподобилась скелету. Вся еда ее состояла из кусочка белого хлеба и супа из цикория. На бедре висела шпага, и в минуты гнева она с силой вонзала ее в гардины и в обивку стен своих уединенных покоев. (А если бы за такой гардиной был кто-нибудь и подслушивал? Или крыса, крыса? Хорошая мысль, старик Келли, следует ее записать). Находящуюся в таком состоянии старуху Бэкон без особого труда убедил в том, что это он — Вильям, ее

внебрачный сын: он предстал перед королевой на коленях, и она, уже слепая, покрыла его овечьей шкурой. Золотое Руно! Говорят, что он нацеливался на трон, но я знаю, что его интересовало совсем другое — захватить План. И тогда он стал виконтом Сент-Олбанским. И, чувствуя в себе силу, устранил Ди.

.....

Королева умерла, да здравствует король... Отныне я стал неугодным свидетелем. Меня завлекли в ловушку однажды вечером, когда Dark Lady наконец могла стать моей и танцевала в моих объятиях, находясь во власти трав, вызывающих видения, она, вечная София с морщинистым лицом старой козы... Он ворвался с группкой вооруженных мужчин, приказал завязать мне глаза платком, и я сразу же понял: купорос! И как Она смеялась, как ты смеялась, Pin Ball Lady — *oh maiden virtue rudely strumpeted, oh gilded honor shamefully misplac'd!*..— когда он касался тебя своими хищными руками, а ты называла его Симон и целовала его зловещий шрам...

В Башню, в Башню,— смеялся Верулам.

С тех пор я валяюсь здесь, в компании с человеческим призраком, который называет себя Соапез, и тюремщики знают меня только как Джима Конопляника. Я глубоко, с горячим рвением изучал философию, право и медицину, а также, увы, теологию. А теперь я здесь, бедный, бедный сумасшедший, и знаю столько же, сколько и раньше.

.....

Через бойницу я наблюдал за королевской свадьбой и рыцарями с красными крестами, гарцевавшими под звуки труб. Я должен был быть там и играть на трубе. Чечилия знала об этом, и еще раз лишила меня вознаграждения, которое ожидало меня у цели. Играл же Вильям. А я, скрытый в тени, писал для него.

— Я тебе подскажу, как отомстить,— прошептал Соапез; в этот день он открылся в своей настоящей сущности: бонапартистский аббат, много веков назад помещенный в эту могилу для живых.

— Ты выберешься отсюда? — спросил я.

— If...— начал он, но сразу же умолк.

Выстукивая ложкой по стене таинственную азбуку, которую, по его словам, получил от Тритема, он начал передавать послание кому-то в соседней камере. Графу де Монсальват.

.....

Прошли годы. Соапез упорно стучал в стену. Теперь я знаю для кого и с какой целью. Его звали Ноффо Деи. Деи (по какой таинственной Каббале Деи и Ди звучат похоже? Кто донес на тамплиеров?), осведомленный Соапезом, разоблачил Бэкона. Что он сказал, мне неизвестно, но через несколько дней Верулам был арестован. Его обвинили в содомии, поскольку говорили (меня бросает в дрожь при мысли, что это правда), что ты, Dark Lady, Черная Дева друидов и тамплиеров, ты есть не что иное, как вечный гермафродит, творение ученых рук, но чьих? Сейчас, сейчас я уже знаю: рук твоего любовника, графа де Сен-Жермена! Но кто же такой Сен-Жермен, как не сам Бэкон (сколько всего знает Соапез, этот непризнанный тамплиер, имеющий множество жизней...)?

.....

Верулам вышел из тюрьмы и благодаря магическим штучкам вновь обрел расположение монарха. Сейчас, по словам Вильяма, он проводит ночи на Темзе, в "Пиладз Паб", играя на этой странной машине — изобретенной по его просьбе жителем Нолы, который из-за него сгорел на костре в Риме и которого перед тем он вызвал в Лондон, чтобы вырвать у него секрет, — на астральной машине, пожирательнице обезумевших шаров, которую, через бесконечные миры, в сиянии ангельского света, непристойными движениями торжествующего зверя напирая лбом на ее корпус, чтобы вызывать смену небесных тел в расположении Деканов и понять последние тайны ее великого преобразования и даже тайну Новой Атлантиды, он назвал Готтлибской машиной, пародируя таким образом священный язык Манифестов, приписываемых Андреа...

— Ах, — воскликнул я (s'écria-t-il), сознание пронзительно-ясное, но слишком поздно и напрасно, а сердце громко бьется под кружевами корсета: вот почему он забрал у меня трубу, этот амулет, талисман, космическую связь, которая имела власть над злыми духами. Что он может замышлять в своем До-

ме Соломона? "Поздно,— повторил я себе,— он получил слишком большую власть".

.....

Говорят, что Бэкон умер. Соапез уверяет меня, что это ложь. Никто не видел его труп. Он живет под вымышленным именем, бок о бок с ландграфом де Хессе, посвященный в самые строгие тайны и, следовательно, бессмертный, готовый продолжать свое мрачное сражение за триумф Плана — триумф его имени и под его контролем.

После этой гипотетической смерти меня посетил Вильям — как всегда, со своей улыбкой лицемера, которую не скрыла от меня даже решетка. Он спросил, почему в сонете 111 я написал о каком-то Красильщике, и процитировал стих: "To What It Works in, Like the Dyer's Hand..."

— Я никогда не писал этих слов,— возразил я. И это было правдой... Ясно: их включил Бэкон перед тем, как исчезнуть, подавая какой-то таинственный знак тем, кто в будущем должен дать приют Сен-Жермену как эксперту по тинктурам... Я думаю, что когда-нибудь он попытается убедить мир в том, что именно он написал произведения Вильяма. Каким все становится очевидным, когда смотришь из мрака камеры!

.....

Where Art Thou, Muse, That Thou Forget'st So Long?

Я чувствую себя разбитым, больным. Вильям ждет от меня нового материала для своих беспутных клоунад в Globe.

Соапез пишет. Я заглянул через его плечо. Чертит какие-то непонятные слова: Rivverrun, past Eve and Adam's... Закрывает листок, присматривается ко мне, видит, что я бледнее Духа, читает в моих глазах Смерть. Шепчет мне:

— Отдохни. Не бойся. Я буду писать вместо тебя.

Он так и делает, это маска маски. Я медленно угасаю, а он забирает мой последний свет, свет темноты.

Несмотря на добрые намерения, его дух и предсказания предстают как очевидные демонические иллюзии... Они вполне способны ввести в заблуждение множество любопытных, вызвать возмущение и нанести ущерб Церкви Господа Бога нашего.

(Из сведений о Гийоме Постеле, переданных Игнатию Лойоле отцами иезуитами Салмероном, Лустом и Уголетто 10 мая 1545 г.)

Бельбо рассказал нам безразличным тоном о том, что он придумал, не зачитывая написанного и избегая всяких намеков на личности. Он даже дал понять, что это Абулафия назвала различные возможные комбинации. С утверждением, что Бэкон был автором манифестов розенкрейцеров, я уже где-то сталкивался. Меня поразила одна деталь: Бэкон был виконтом Сент-Олбанским.

В памяти у меня беспрестанно роилось нечто, постоянно возвращающее меня к мысли о моей старой диссертации. Ночь я провел, роясь в своей картотеке.

— Господа! — торжественно объявил я на следующее утро своим партнерам. — Нам не следует строить предположения о связующих звеньях. Они существуют. Когда святому Бернару пришла в голову мысль созвать консилиум для того, чтобы узаконить деятельность тамплиеров, среди тех, на кого возлагали задачу по его организации, был приор Сент-Олбанса, который, между прочим, носил имя первого английского мученика, принесшего свет евангельской истины на Британские острова, уроженца Верулама, вотчины Бэкона. А Сент-Олбанс — имя кельтское и, безусловно, друидское — был, как и святой Бернар, посвященным.

— Этого недостаточно, — парировал Бельбо.

— Погодите. Сент-Олбанский приор был также аббатом Сен-Мартен-де-Шан, аббатства, в котором в будущем должно было располагаться Хранилище Искусств и Ремесел!

Это произвело соответствующее впечатление на Бельбо.

— Боже мой!

— И это еще не все,— добавил я.— Хранилище было задумано и открыто для увековечивания памяти Бэкона. Двадцать пятого брюмера III года Конвент уполномочил Комитет народного образования издать орега отпиа Бэкона. А восемнадцатого вандемера того же года тот же Конвент принял закон, который предписывал строительство дома искусств и ремесел, идея которого повторяла идею Дома Соломона, описанного Бэконом в "Новой Атлантиде" как место, где собраны все образцы технических изобретений человечества.

— Ну и что из этого? — не понял Диоталлеви.

— А то, что Хранилище — это Маятник,— объяснил Бельбо.

По реакции Диоталлеви я понял, что Бельбо еще не поделился с ним своими соображениями по поводу маятника Фуко.

— Не будем торопиться,— заметил я.— Маятник был изобретен и установлен в музее лишь в прошлом веке. Оставим его пока в покое.

— Оставить его в покое? — возмутился Бельбо.— Сразу видно, что вы никогда не задерживали взгляд на Иероглифической Монаде Джона Ди или на талисмане, который должен был вобрать в себя все познания человечества. Разве это не напоминает маятник?



— Хорошо,— сказал я,— допустим, мы можем установить связь между этими двумя фактами. Но как перейти от Сент-Олбанса к Маятнику?

Через несколько дней я знал уже и это.

— Итак, Сент-Олбанский приор является аббатом Сен-Мартен-де-Шан, а именно это аббатство затем становится тамплиерофильским центром. Бэкон благодаря местонахождению своей вотчины устанавливает контакты с друидами и верными продолжателями дела святого Альбана и проходит посвящение.

А теперь слушайте: Бэкон еще только начинал свою деятельность в Англии, а во Франции уже завершал свою жизнь Гийом Постель.

(Бельбо чуть заметно скривился, и я вспомнил разговор на вернисаже Рикардо, когда он сказал, что Постель ассоциируется с тем, кто похитил у него Лоренцу. Но это была сиюминутная реакция.)

— Постель изучает древнееврейский язык, пытается доказать, что он — мать всех языков, переводит "Zohar" и "Bahir", поддерживает связи с каббалистами, выдвигает проект всеобщего мира, сходный с планом немецких групп розенкрейцеров, пытается убедить короля Франции стать союзником султана, посещает Сирию, Грецию, Малую Азию, изучает арабский язык — одним словом, полностью повторяет путь Христиана Розенкрейца. Совсем не случайно он подписывает некоторые из своих произведений именем Розиспергиус, то есть тот, кто рассеивает розовый цвет. А Гассенди в своем "Examen Philosophiae Fluddanae" утверждает, что имя Розенкрейц происходит не от слова "роза", а от "рос", то есть роса. В одной из своих рукописей он говорит о секрете, который необходимо хранить до тех пор, пока не наступит нужное время, и употребляет выражение: "Дабы не метать бисер перед свиньями". А знаете, где появляется эта цитата из Евангелия? На фронтисписе "Химической свадьбы". А отец Марэн Мерсенн в своем обвинении против розенкрейцера Фладда пишет, что он слеплен из той же глины, что и тот *atheus magnus*, то есть Постель. Помимо этого, Ди и Постель, похоже, виделись в 1550 году, хотя только спустя тридцать лет они могли узнать о том, что они — великие магистры Плана и должны встретиться в 1584 году. Итак, Постель объявляет, вы только послушайте, что король Франции как прямой потомок старшего сына Ноя, который считался основателем кельтской линии, а значит и друидской цивилизации, может быть единственным законным претендентом на титул Властелина Мира. Вот именно: Властелин Мира из Агартхи, но сказано это было на три века раньше. Пропустим историю его любви к одной ошипанной старухе по имени Джоанна, которую он называл *Sophia divina*, — у этого

парня не хватало извилин. Обратим внимание на то, что у него было немало могущественных врагов, его называли собакой, мерзким чудовищем, клоакой всех ересей, бесноватым, в которого вселились целые полчища демонов. Однако даже после скандала с Джоанной Инквизиция не считала его еретиком, а всего лишь *amens* — слегка помешанным. В общем, это означало, что никто не смеет уничтожить этого человека, потому что он выражает интересы какой-то весьма влиятельной группы. Обращаю внимание Диоталлеви на то, что Постель отправляется также на восток, и что он является современником Исаака Лурия, вы можете сделать из этого какие угодно выводы. И вот в 1564 году (в том самом, когда Ди пишет "*Monas hieroglyphica*") Постель отказывается от своей ереси и удаляется... угадайте, куда? В монастырь Сен-Мартен-де-Шан! И чего же он ждет? Ясное дело — 1584 года!

— Безусловно,— подтвердил Диоталлеви.

Я продолжал:

— Понимаете, что это значит?! Постель — великий магистр французской группы и ожидает встречи с группой из Англии. Но он умирает в 1581 году, за три года до того, как она должна была произойти. Отсюда — выводы: во-первых, недоразумение в 1584 году произошло потому, что в нужный момент не нашлось такого же светлого ума, каким был Постель, который способен был понять, что происходит в связи с путаницей в календаре; во-вторых, Сен-Мартен-де-Шан был тем местом, где тамплиеры всегда чувствовали себя как дома и где надо было укрыться, ожидая человека, на которого была возложена миссия провести третью встречу. Сен-Мартен-де-Шан был Укрытием!

— Все прекрасно сходится, как в мозаике.

— А теперь следите за ходом моего повествования. В год несостоявшейся встречи Бэкону было лишь двадцать лет. Однако в 1621 году он стал виконтом Сент-Олбанским. Что он получает в наследство? Загадка. Факт тот, что именно в этом году кто-то выдвинул против него обвинение в коррупции, и он попадает на некоторое время в тюрьму. Бэкон обнаружил нечто, внушавшее страх. Кому? Безусловно, именно в этот период

Бэкон понял, что к Сен-Мартену приковано пристальное внимание, и именно поэтому он решает построить там Дом Соломона — лабораторию, в которой ему экспериментальным путем удалось бы раскрыть тайну.

— Но что тогда могло бы связывать последователей Бэкона с революционными группами конца XVIII века? — спросил Диоталлеви.

— А может, это было масонство? — подбросил версию Бельбо.

— Отличная мысль. По сути, это Аглиэ внушил ее в тот вечер в замке.

— Необходимо восстановить цепь событий. Что же именно произошло в этих кругах?

Вечного сна... могут избежать лишь те, кто еще при жизни сумел обратить свое сознание к высшему миру. Посвященные в тайну, Адепты стоят у края этой дороги. Уйдя в воспоминания, анамнесис, они, согласно Плутарху, становятся свободными, расторгают узы, в лавровом венке перевозносят "мистерии" и наблюдают, как на земле толпы тех, которые не посвящены и не "чисты", толкаются и давят друг друга в болоте и сплошном мраке.

(Julius Evola. *La tradizione ermetica*,
Рим, Edizioni Mediterranee, 1971, с.111)

Я смело предложил свои услуги, когда возник вопрос о проведении быстрого и точного поиска нужных данных. Лучше бы мне промолчать! Я завяз в трясине книг, содержащих исторические исследования и пересуды о герметизме, и отличить достоверные данные от фантазий авторов было далеко не простым делом. Целую неделю я трудился словно автомат, и наконец решился показать малопонятный список сект, лож и конвентов. В ходе его составления по моей спине время от времени пробегала дрожь — когда я встречал знакомые имена, которые не предполагал увидеть в подобной компании, и некоторые хронологические совпадения, которые, по моему мнению, невозможно было оставить без внимания. Я показал документ двум своим сообщникам.

1645 — Лондон: Эшмол создает Незримый Колледж в духе розенкрейцеров.

1662 — Из Незримого Колледжа рождается Королевское Общество, ставшее, как всем известно, колыбелью масонства.

1666 — Париж: Академия Наук.

1707 — Родился Клод-Луи де Сен-Жермен, если он действительно когда-нибудь родился.

1717 — Создание Великой Лондонской Ложы.

1721 — Андерсон составляет Конституцию английских масонов. Петр I, пройдя посвящение в Лондоне, основывает ложу в России.

- 1730** — Монтескье, находясь проездом в Лондоне, проходит посвящение.
- 1737** — Рамсей подтверждает тезис о тамплиеровском происхождении масонства. Зарождается Шотландский Обряд, который отныне ведет борьбу с Великой Лондонской Ложей.
- 1738** — Фридрих, в то время наследный принц Пруссии, прошел посвящение. Он станет покровителем энциклопедистов.
- 1740** — Во Франции появляются различные ложи: Верных Шотландцев в Тулузе, Суверенного Высшего Совета, Материнской Шотландской Ложы Великого Французского Глобуса, Колледжа Верховных Принцев Королевской Тайны в Бордо, Двора Суверенных Предводителей Храма в Каркассоне, Филадельфийцев в Нарбонне, Капитула Розенкрейцеров в Монпелье, Верховных Посвященных Истинных...
- 1743** — Первое публичное выступление графа де Сен-Жермена. Учреждение в Лионе титула Рыцаря Кадоша, который должен отомстить за тамплиеров.
- 1753** — Виллермоз создает ложу Великой Дружбы.
- 1754** — Мартинес де Паскуалли основывает Храм Избранных Козна (возможно, это произошло в 1760 году).
- 1756** — Барон фон Хунд основывает Ортодоксальный Тамплиеровский Устав. По утверждению некоторых, его вдохновителем был Фридрих II Прусский. В нем впервые упоминаются Неведомые Настоятели. Злые языки внушают, что этими Настоятелями являются Фридрих I и Вольтер.
- 1758** — Сен-Жермен прибывает в Париж и предлагает королю свои услуги эксперта по тинктурам. Он бывает у Помпадур.
- 1759** — Формируется Совет Императоров Востока и Запада, который через три года составит Конституцию и правила в Бордо, из которых затем образуется Старинный и Общепринятый Шотландский Обряд (появившийся официально лишь в 1801 году). Для шотландского ритуала станет типичным преумножение высших должностей — до тридцати трех.
- 1760** — Сен-Жермен направляется с довольно сомнительной дипломатической миссией в Голландию. Вынужден бежать, его арестовывают в Лондоне, а затем отпускают на свободу. Дом Пернети основывает ложу Иллюминатов в Авиньоне. Мартинес де Паскуалли образует Всемирную Ложу Избранных Рыцарей Масонов.
- 1762** — Сен-Жермен в России.

- 1763** — Казанова встречается в Бельгии Сен-Жермена, тот представляется де Сюрмоном и превращает простую монету в золото. Виллермоз основывает Суверенный Капитул Рыцарей Розенкрейцеров Черного Орла.
- 1768** — Виллермоз входит в состав Избранных Козна, основанных де Паскуалли. В Иерусалиме выходит в свет апокриф "Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilée, ou le vrai Rose-Croix": в нем говорится, что ложа розенкрейцеров находится на горе Хиредон в шестидесяти милях от Эдинбурга. Паскуалли встречается Луи-Клода де Сен-Мартена, который впоследствии будет известен как Незвестный Философ. Дом Пернети становится библиотекарем прусского короля.
- 1771** — Герцог Шартрский, известный позже как Филипп Равноправный, становится великим магистром Великого Востока, впоследствии Великого Французского Востока, и пытается объединить все ложи. Сопротивление со стороны лож шотландского обряда.
- 1772** — Паскуалли отправляется в Санто-Доминго, а Виллермоз и Сен-Мартен создают Верховный Суд, который затем трансформируется в Великую Шотландскую Ложу.
- 1774** — Сен-Мартен отходит от дел для того, чтобы стать Незвестным Философом, а Ортодоксальный Тамплиеровский Устав направляет уполномоченного для переговоров с Виллермозом. В результате переговоров образована Шотландская Директория Провинции Овернь. От Овернской Директории затем произойдет Шотландский Измененный Обряд.
- 1776** — Сен-Жермен под именем графа Велдоуна предлагает Фридриху II проекты в области химии.
С целью объединения всех герметистов образовывается Общество Филатетов. Ложа Семи Сестер: в нее входят Гильйотен и Кабанис, Вольтер и Франклин. Вайсхаупт создает ложу Баварских Иллюминатов. Некоторые утверждают, что он был инициирован неким датским купцом Кольмаром, возвращающимся из Египта, который, возможно, и есть сам таинственный Альтотас, учитель Калиостро.
- 1778** — Сен-Жермен знакомится в Берлине с Домом Пернети. Виллермоз создает Орден Благочестивых Рыцарей Святого Города. Ортодоксальный Тамплиеровский Устав приходит к согласию с Великим Востоком и признает Шотландский Измененный Обряд.
- 1782** — Большое собрание всех инициатических лож в Вильгельмсбаде.
- 1783** — Маркиз Томе основывает ложу Сведенборгского Обряда.

- 1784** — Сен-Жермен между тем умирает во время работы над планом запуска фабрики цветных красок для ландграфа де Хессе.
- 1785** — Калиостро создает ложу Мемфисского Обряда, которая впоследствии станет ложей Древнего и Изначального Обряда Мемфиса-Мизраима и увеличит число высших должностей до девяноста. Разражается скандал с колье королевы, инспирированный Калиостро. Дюма, желая дискредитировать монархию, описывает этот скандал как масонский заговор. Распущен Орден Баварских Иллюминатов, подозреваемый в революционных заговорах.
- 1786** — Мирабо инициирован Баварскими Иллюминатами в Берлине. В Лондоне появляется манифест розенкрейцеров, авторство которого приписывается Калиостро. Мирабо обращается с посланием к Калиостро и Лаватеру.
- 1787** — Во Франции насчитывается около семиста лож. Выходит в свет "Nachtrag" Вайсхаупта, где опубликована диаграмма структуры одной из тайных организаций, каждый член которой может знать лишь своего непосредственного руководителя.
- 1789** — Начало революции и кризис лож во Франции.
- 1794** — Восьмого вандемера депутат Грегуар представляет Конвенту проект создания Хранилища Искусств и Ремесел. Оно будет учреждено в 1799 году в Сен-Мартен-де-Шан Советом Пятиста. Герцог Брауншвейгский призывает ложи самораспуститься, поскольку их очернила в глазах общественности одна зловредная секта.
- 1798** — Арест Калиостро в Риме.
- 1801** — В Чарльстоуне официально объявлено о создании ложы Древнего и Принятого Шотландского Ритуала, имеющего тридцать три степени.
- 1824** — Венский двор направляет французскому правительству документ, в котором обличает деятельность тайных сообществ: Абсолютистов, Независимых, Высшей Мести Карбонариев.
- 1835** — Каббалист Оттингер утверждает, что встречался в Париже с Сен-Жерменом.
- 1846** — Венский писатель Франц Граффер издает описание встреч его брата с Сен-Жерменом в 1788-1790 годах; однажды во время такой встречи Сен-Жермен принимает своего посетителя, листая книгу Парацельса.
- 1865** — Создание Общества Розенкрейцеров в Англии (согласно другим источникам оно было создано в 1860 или в 1867 году). В него

- вступает Бульвер-Литтон, автор книги о розенкрейцерах под названием "Занони".
- 1868** — Бакунин создает Союз Социалистической Демократии, вдохновителями которого, как считают некоторые, были Баварские Иллюминаты.
- 1875** — Елена Петровна Блаватская создает Теософское Общество. Появляется "Разоблаченная Изида". Барон Спедальери объявляет себя членом Великой Ложи Одиноких Горных Братьев, Иллюминированным Братом Старого и Восстановленного Ордена Манихеев и Высшим Иллюминатом Мартинистов.
- 1877** — Госпожа Блаватская высказывается о теософской роли Сен-Жермена. Его воплощениями были Роджер и Фрэнсис Бэконы, Розенкрейц, Прокл, святой Альбан. Великий Французский Восток упраздняет ссылку на Великого Построителя Мира и провозглашает полную свободу совести. Он прекращает связи с Великой Английской Ложей и становится светским и радикальным.
- 1879** — Создание Общества Розенкрейцеров в США.
- 1880** — Начало деятельности Сент-Ива д'Альвейдра. Леопольд Энглер реорганизует ложу Баварских Иллюминатов.
- 1884** — Папа Лев XIII в своей энциклике "Humanum Genus" обличает масонство. Католики покидают его ряды, а рационалисты спешат принять его членство.
- 1888** — Станислас де Гюайта создает Каббалистический Орден Розенкрейцеров. Создание в Англии Герметического Ордена Золотой Зари. Одиннадцать степеней, от неофита до Иссисимуса. Императором его становится Мак-Грегор Матерс. Его сестра выходит замуж за Бергсона.
- 1890** — Жозефин Пеладан выходит из организации Гюайта, создает Католическую ложу Розенкрейцеров Храма и Грааля, а себя провозглашает Царем Меродаком. Конфликт между розенкрейцерами Гюайта и Пеладаном будет назван войной двух роз.
- 1891** — Папюс издает свой "Traité Méthodique de Science Occulte".
- 1898** — Алистер Кроули посвящен в Золотую Зарю. Позже он создаст на собственные средства Орден Телема.
- 1907** — Из Золотой Зари вычленяется Утренняя Звезда, в которую вступает Йитс.
- 1909** — Спенсер Льюис возрождает в Америке Древний Мистический Орден Розенкрейцеров и в 1916 году в отеле с успехом демон-

стрирует превращение куска цинка в золото. Макс Хайндель создает Братство Розенкрейцеров. Не установлены дата создания Лекториума Розикруцианума, Старших Братьев Розенкрейцеров, Герметического Братства, Храма Розы и Креста.

1912 — Ученица Блаватской Анни Безант основывает в Лондоне Орден Храма Розенкрейцеров.

1918 — Рождение в Германии Общества Туле.

1936 — Появление во Франции Великого Галльского Приорства. В своих "Cahiers de la fraternité polaire" Энрико Контарди ди Роддио утверждает, что его посетил граф де Сен-Жермен.

— И что же все это значит? — спросил Диоталлеви.

— Это вопрос не ко мне. Вы хотели получить даты? Вот они. Больше я ничего не знаю.

— Нужно будет посоветоваться с Аглиз. Готов поспорить, что даже он не знает все эти организации.

— Да что вы, ведь это его хлеб. Но мы можем его испытать. Давайте добавим в список несуществующую или недавно созданную секту.

Я вспомнил об одном странном вопросе Де Анжелиса: слышал ли я о Тресе. И предложил:

— TRES.

— А что это такое? — осведомился Бельбо.

— Если это акростих, то за ним должен скрываться текст, — заявил Диоталлеви, — иначе мои раввины не смогли бы применить Нотарикон. Подумаем... "Templi Resurgentes Equites Synarchici". Вам нравится?

Название нам понравилось, и мы поместили его в конце списка.

— Со всеми их условными названиями придумать еще одно было не так-то просто, — приговаривал Диоталлеви в эйфории мании величия.

Если бы вам нужно было одним словом выразить главную черту французского масонства XVIII века, самым подходящим было бы слово "дилетантизм".

(René Le Forestier. *La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste*, Париж, Aubier, 1970, 2)

На следующий вечер по нашему приглашению Аглиэ появился у Пилада. Редко кто заходил сюда в костюме и при галстуке, и присутствие в баре нашего гостя, одетого в серо-голубой костюм и белоснежную рубашку, с золотой заколкой в галстуке, вызвало определенного рода сенсацию. К счастью, в шесть вечера у Пилада было немногочисленно.

Заказав марочный коньяк, Аглиэ привел Пилада в полное замешательство. Естественно, такой коньяк здесь был, но он царствовал на полке за стойкой, и уже многие годы к нему никто не притрагивался.

Аглиэ говорил, рассматривая на свет напиток, а затем грея коньяк в руках; при этом мы заметили на манжетах его рубашки золотые запонки, наводящие на мысль о псевдоегипетском стиле.

Мы показали ему список, сказав, что взяли его из рукописи одного из сатанистов.

— То, что тамплиеры были связаны со старинными ложами мастеров-каменщиков, которые сформировались при построении Храма Соломона, не подлежит сомнению. Как не подлежит сомнению и то, что с тех пор члены лож ссылаются на архитектора Храма, Хирама, который стал жертвой загадочного убийства, и посвящают себя делу мести за него. В результате преследований, несомненно, многие рыцари Храма влились в эти братства ремесленников, и миф о мести за Хирама слился воедино с мифом о мести за Жака де Моле. В XVIII веке в Лондоне существовали ложи настоящих масонов-каменщиков, так называемые действенные ложи, но постепенно некоторые оставшиеся не у дел, хоть и очень уважаемые аристократы, привлеченные традициями ритуалов, стали претендовать на право вступления в них. Таким образом, действенное масонство, ко-

торое было поприщем ремесленников и каменщиков, превратилось в спекулятивное масонство, прибежище символических каменщиков. В это время некий Дезагюлье, популяризатор идей Ньютона, склоняет протестантского пастора Андерсона к составлению конституции ложи Братьев Каменщиков действующего толка и начинает распространять идею о том, что масонские братства существовали в виде корпораций еще четыре тысячи лет назад, до начала строительства Храма Соломона. Отсюда берет начало весь этот масонский маскарад с фартуком, угломером и молотком. И все же, возможно, именно поэтому масонство становится модным: дворянам оно позволяет говорить о древности корней их родов, еще больше оно подходит мещанам, которые получают возможность не только участвовать в собраниях на равных правах с дворянами, но и носить шпагу. В эпоху обнищания нового мира дворянам необходима какая-то среда, в которой они могли бы контактировать с новыми производителями капитала, а эти, последние, в свою очередь, как вы догадываетесь, искали способ занять достойное место в обществе.

— Кажется, тамплиеры появляются несколько позже.

— Рамсей был первым, кому удалось установить с ними прямой контакт, однако у меня нет никакого желания об этом говорить. Подозреваю, что он это делал по наущению иезуитов. Именно его стараниями появилось на свет шотландское крыло масонского движения.

— В каком смысле шотландское?

— Шотландский обряд — не что иное, как франко-германское изобретение. Лондонские масоны установили три градации членства: подмастерье, компаньон и мастер. Шотландские масоны увеличили количество степеней, что означало увеличение уровней посвященности и тайны... Фатоватых по натуре французов это едва не свело с ума...

— Но что же это за тайна?

— Никакой тайны, конечно же, не было. Если бы она существовала (или если бы они ею владели), это служило бы подтверждением необходимости столь сложной градации инициации. Рамсей же увеличивает количество степеней инициации

для того, чтобы внушить людям, будто ему доверена какая-то тайна. Можете себе представить, какую дрожь должен был испытывать доблестный лавочник, полагая, что может наконец стать князем мщения...

Аглиз был щедр на сплетни о каменщиках. И как обычно, он незаметно перешел к рассказу от первого лица.

— В те времена во Франции уже сочиняли *couplets* о новой моде на *frimaçons*, ложи появлялись как грибы после дождя, в них входили архиепископы, монахи, маркизы и купцы, а члены королевской семьи удостаивались чести быть великими магистрами. Членами ложи Ортодоксального Тамплиеровского Устава, созданной подозрительным типом фон Хундом, были Гете, Лессинг, Моцарт и Вольтер; ложи появлялись в среде военных, в полках составлялись планы заговоров с целью мести за Хирама и поговаривали о неизбежности революции. Для других же масонство было *société de plaisir*, своего рода клубом, символом общественного статуса. Там можно было встретить кого угодно: Калиостро, Месмера, Казанову, барона Хольбаха, д'Аламбера... Энциклопедистов и алхимиков, либертинов и герметистов. Это стало особенно заметно в период революции: члены одной и той же ложи оказались в разных лагерях, и казалось, что великая их дружба готова была навсегда кануть в Лету...

— А не существовало ли разногласий между Великим Востоком и Шотландской Ложей?

— Только на словах. Вот вам пример: в ложу Семи Сестер вошел Франклин, который старался навязать ей мирскую направленность. Его интересовала исключительно поддержка американской революции... В то же время одним из ее великих магистров был граф де Мильи, который занимался поисками эликсира долголетия. Но поскольку он был глупцом, то во время своих экспериментов отравился и умер. Кроме этого, господа, вспомните Калиостро: с одной стороны, он придумывал египетские обряды, а с другой — был втянут в аферу с колье королевы, скандал, инспирированный новыми руководящими классами для того, чтобы дискредитировать *Ancien Régime*. И

Калиостро завяз в этом по уши, понимаете? Постарайтесь себе представить, с какими людьми приходилось иметь дело...

— Похоже, это было нелегко,— с пониманием произнес Бельбо.

— Но кто были эти бароны фон хунды, искавшие Неведомых Настоятелей? — спросил я.

— В период разгула мещанского фарса появились группы людей с совершенно различными целями, которые, чтобы привлечь большее количество последователей, отождествляли себя с масонскими ложами, но при этом преимущественно преследовали цели инициации. В это время и состоялась дискуссия о Неведомых Настоятелях. Фон Хунд, к сожалению, не был серьезным человеком. Поначалу он убеждает своих последователей в том, что Неведомыми Настоятелями были Стюарты. Затем решает, что целью Ордена является выкуп имущества тамплиеров, и собирает для этого средства где только возможно. Но их постоянно не хватает; он попадает в лапы некоего Штарка, утверждавшего, что получил от настоящих Неведомых Настоятелей, живущих в Санкт-Петербурге, секрет производства золота. Вокруг фон Хунда и Штарка толкуются теософы, алхимики, новоиспеченные розенкрейцеры, и все они избирают великим магистром самого безупречного аристократа — герцога Брауншвейгского. Тот сразу понимает, что оказался в скверной компании. Один из членов Ортодоксальных Тамплиеров ландграф де Хессе обращается к графу де Сен-Жермену, полагая, что тот сможет получать для него золото, впрочем, не станем затрагивать эту тему — в те времена приходилось потворствовать капризам могущественных людей. Но верхом всего было то, что этот человек выдавал себя за святого Петра. Лаватер, находясь однажды в гостях у ландграфа, даже устроил сцену герцогине Девошширской, считавшей себя Марией Магдалиной.

— А что же эти виллермозы, эти мартинесы де паскуалли, которые создавали одну секту за другой?

— Паскуалли был авантюристом. В одной из своих тайных комнат он производил теургические опыты, и духи ангелов являлись ему в виде полос света или иероглифов. Виллермоз воспринял это всерьез, поскольку был энтузиастом своего де-

ла, честным, но наивным. Его увлекала алхимия, он не переставал думать о Великом Деле, которому должны посвятить себя избранные, чтобы определить точное соотношение шести благородных металлов, изучая смысл шести букв первого имени Бога, которое Соломон сообщил своим избранныкам.

— И что?

— Виллермоз создает многочисленные секты послушников и одновременно становится членом многих лож, как это было принято в те времена, он находится в постоянном поиске последнего откровения, опасаясь, что оно вьет себе гнездышко каждый раз в новом месте, что было правдой, а возможно, и единственной истиной на свете... Таким образом, он попадет в число Избранных Козна де Паскуалли. Но в 1772 году Паскуалли исчезает, отправившись в Санто-Доминго, и, бросив свои начинания, оставляет их на волю случая. Почему он убегает? Думаю, он завладел какой-то тайной и не захотел делиться ею с другими. Во всяком случае, мир праху его, он отправился туда, куда заслуживала его черная душа...

— А что же Виллермоз?

— В те годы все мы были потрясены смертью Сведенборга, человека, который мог бы многому научить больной Запад, если бы только Запад прислушался к нему; а тем временем наш век мчался навстречу революционному безумию, дабы удовлетворить амбиции третьего сословия... Итак, именно в это время Виллермоз слышал от фон Хунда об Ортодоксальном Тамплиеровском Уставе и был восхищен. Ему сказали, что тамплиер, который себя обнаружил, основав, скажем, публичную организацию, уже не может быть тамплиером, однако следует принять во внимание, что XVIII век был эпохой безмерной доверчивости. Виллермоз вместе с фон Хундом пытается создать сочетания различных организаций, следы которых можно увидеть в вашем списке, господа, и так продолжается до тех пор, пока фон Хунда не разоблачили: оказывается, он был из тех, кто способен удрать, прихватив общественную кассу, и герцог Брауншвейгский изгоняет его из организации.

Аглиз еще раз заглянул в список.

— Ах да! Я совсем забыл о Вайсхаупте. Баварские Иллюминаты благодаря своему названию поначалу привлекали значительное количество одаренных умов. Но этот Вайсхаупт был анархистом, сегодня мы бы сказали — коммунистом, и, господа, если бы вы только знали о маниакальных увлечениях людей этого круга: государственные перевороты, смещение с трона государей, реки крови... Однако заметьте: Вайсхаупт вызывает у меня восхищение, но не своими политическими воззрениями, а тем, что сумел хорошо продумать концепцию функционирования тайного общества. Оказывается, можно иметь прекрасную идею хорошо продуманной организации, а цели — туманные. В общем, герцог Брауншвейгский счел своим долгом привести в порядок ту путаницу, что осталась после фон Хунда, и пришел к выводу, что к тому времени в германской среде свободных каменщиков существовало по крайней мере три враждующих между собой течения: одно объединяло в себе сапиентистов и оккультистов, включая нескольких розенкрейцеров, в другом собрались рационалисты, а третьим было революционно-анархистское движение Баварских Иллюминатов. Тогда он предложил различным орденам и обрядам собраться в Вильгельмсбаде для "конвента", как говорили в те времена. Им было предложено дать ответ на следующие вопросы. Действительно ли Орден произошел от старинного общества, и если да, то от какого? Действительно ли существуют Неведомые Настоятели, которым доверена древняя традиция, и если да, то кто они? Каковы настоящие цели Ордена, предполагается ли конечной целью его деятельности восстановление Ордена Тамплиеров? И так далее, включая вопрос, должен ли Орден заниматься оккультными науками. Виллермоз с энтузиазмом отзывается на этот призыв: наконец он сможет получить ответы на вопросы, которые честно пытался разрешить всю свою жизнь... И вот тогда происходит этот случай с де Мэстром.

— С которым из них? — спросил я. — С Жозефом или с Ксавье?

— С Жозефом.

— С реакционером?

— Если он и был реакционером, то лишь в незначительной степени. Станный человек. Заметьте, господа, этот защитник католической церкви именно в то время, когда папские буллы клеймят масонство, вступает в ложу под названием "Жозефус и Флорибус". Более того, он принимает масонство, когда в 1773 году папа выступает с посланием против иезуитов. Конечно же, де Мэстру более близки ложи шотландского типа, конечно же, он не относится к числу мещанских иллюминистов, иными словами — к просветителям, он — один из иллюминатов. Прошу вас обратить внимание на это различие, поскольку итальянцы называли иллюминистами якобинцев, в то время как в других странах это слово применялось к ревнителям старых традиций,— странная путаница...

Потягивая коньяк, он достал сделанный из почти белого металла портсигар и угостил нас *cigarillos* необычной формы ("Мне их изготавливает специалист из Лондона,— объяснил он,— как и сигары, которые вы, господа, курили у меня, они превосходны. Прошу",— он говорил, устремив взгляд в воспоминания).

— Де Мэстр... Это был человек изысканного ума, и слушать его было настоящим наслаждением для души. В некоторых кругах инициантов он приобрел большой авторитет. И все же в Вильгельмсбаде он обманул всеобщее ожидание, направив герцогу письмо, в котором решительно отрицает преемственность по отношению к тамплиерам, ставит под сомнение существование Неведомых Настоятелей, полезность эзотерических наук. Основанием для его отречения послужила верность католической церкви, но его аргументы достойны мещанского энциклопедиста. Когда герцог прочитал письмо в кругу наиболее приближенных лиц, никто не захотел в это поверить. Теперь де Мэстр утверждает, что целью Ордена является лишь духовное обновление и что церемониалы и традиционные ритуалы служат лишь для того, чтобы удержать мистический дух в состоянии пробуждения. Он восхваляет новые символы масонов, но утверждает, что образ, который представляет слишком много вещей, не представляет собой ничего. А это, простите, уже противоречит великой традиции герметизма — символ есть тем

полнее и могущественнее, чем более он неясен, трудно постигаем, иначе — где же душа Гермеса, тысячеликого бога? По поводу Ордена Тамплиеров де Мэстр высказывался, что скарденность его породила, скарденность и погубила, вот и все. Савоец не мог не помнить того, что Орден был уничтожен с благословения папы. Никогда не следует доверять католическим легитимистам, как бы ни была сильна их склонность к герметизму. Заявление относительно Неведомых Настоятелей было действительно смешно: они не существуют, потому что никто их не знает. Ему возразили: их никто не знает, ибо иначе они не были бы неведомыми. Не кажется ли вам его логика немного странной? Удивительно, что столь верующий человек может быть настолько глух к существованию тайны. Наконец де Мэстр призвал: давайте вернемся к Евангелию и отречемся от Мемфисского безумия. Он предложил нам всего лишь тысячелетиями неизменную линию Церкви. Теперь вы понимаете, в какой атмосфере проходил съезд в Вильгельмсбаде. С уходом такого авторитета, как де Мэстр, Виллермоз оказался в меньшинстве, и в лучшем случае можно было достичь компромисса. Ритуал тамплиеров был сохранен, а вопрос о происхождении замят; короче говоря — полное поражение. Именно тогда шотландское течение упустило удобный случай: если бы дела пошли по-иному, возможно, история грядущего века выглядела бы совершенно иначе.

— А позже? — спросил я. — Уже ничего нельзя было починить?

— А что можно было, пользуясь вашим выражением, починить?.. Три года спустя один евангелистский проповедник, некий Ланце, примкнувший к Баварским Иллюминатам, погибает в лесу от молнии. При нем найдены инструкции Ордена, в дело вмешалось баварское правительство, обнаружило, что Вайсхаупт готовил антиправительственный заговор, и на следующий год Орден прекратил свое существование. Более того, опубликованы записки Вайсхаупта, содержащие предполагаемые планы Иллюминатов, и это дискредитировало всех французских и германских неотамплиеров... Следует отметить, что Иллюминаты Вайсхаупта придерживались взглядов проякобински настро-

енных масонов и специально проникли в неотапливаемое помещение, чтобы его погубить. Эта злая сила совершенно не случайно привлекла на свою сторону Мирабо, трибуна революции. Могу я быть с вами откровенен?

— Конечно.

— Люди вроде меня заинтересованные в том, чтобы связать разорванную нить Традиции, оказались в растерянности перед лицом события, которое произошло в Вильгельмсбаде. Кто-то догадывался, но молчал, кто-то знал, но лгал. А потом было уже слишком поздно: надвигалась революционная буря, затем — грызня между оккультистами XIX века... Взгляните на ваш список, господа, на этот фестиваль злой воли и простодушия, на это рытье ям под собой, на эти взаимные исключения, тайны, которые гуляют по устах толпы. Оккультический театр.

— Вы имеете в виду, что оккультисты не внушают доверия? — спросил Бельбо.

— Необходимо уметь отличать оккультизм от эзотеризма. Эзотеризм заключается в поиске познаний, передающихся только символами, полностью недоступными для профанов. В отличие от него оккультизм, получивший распространение в XIX веке, — это всего лишь верхушка айсберга, незначительная часть эзотерических познаний. Тамплиеры были посвященными, и доказательством этому пусть послужит то, что даже под давлением пыток они не выдавали тайну. Именно упорство, с которым они ее хранили, убеждает нас в их инициации и навевает ностальгию по былым знаниям. Оккультисты — это экзгибиционисты. А, как сказал Пеладан, тайна, в которую должны быть посвящены немногие, но которую знают все, ничего не стоит. К сожалению, Пеладан был оккультистом, а не иницированным. XIX век — это век оговоров и доносов. Кто угодно принимается за публикацию тайн магии, теургии, Каббалы, Таро. И если бы они еще в это верили!

Аглиз опять обратил взор на наш список с саркастической и одновременно сочувственной улыбкой.

— Елена Петровна. В общем-то, благородная женщина, но не смогла сказать ничего такого, что не было бы написано большими буквами на всех стенах... Де Гюайта. Необыкновен-

ный библиоман, нашпигованный наркотиками. Папиус. Этот в полном порядке. Вдруг он задержал взгляд в какой-то точке.

— TRES. Что это еще за новости? В какой рукописи вы это нашли?

"Силен,— подумал я.— Заметил интерполяцию".

Мы попытались выйти из положения:

— Понимаете, мы составляли этот список, пользуясь различными текстами, основную часть которых уже вернули, поскольку это была макулатура. Бельбо, вы припоминаете, откуда взялся этот Трес?

— Кажется, нет. А вы, Диоталлеви?

— Прошло уже несколько дней... А это важно?

— Никоим образом,— успокоил нас Аглиз.— Я просто никогда не слышал этого названия. Вы действительно не можете сказать, где оно упоминалось?

Мы подтвердили, что не помним, и выражаем сожаление по этому поводу.

Аглиз достал часы из кармана жилета.

— Боже мой, у меня назначена еще одна встреча! Извините, господа.

Он ушел, а мы погрузились в дискуссию.

— Теперь все ясно. Англичане бросили масонский призыв, дабы объединить всех инициированных Европы вокруг проекта Бэкона.

— Однако этот план удался лишь наполовину: идея сторонников Бэкона была столь привлекательна, что принесла результаты, противоположные ожидаемым. Так называемое шотландское течение видит в новом соглашении способ восстановить преемственность и вступает в контакт с германскими тамплиерами.

— Аглиз считает эту историю непонятной. Естественно. Теперь мы одни можем сказать, что произошло в действительности, а что произошло потому, что мы так решили. В это время группы различных национальностей вступают в борьбу друг против друга, и я не стал бы исключать возможности, что этот Мартинес де Паскуалли является агентом группы из Томара;

англичане обличают шотландцев, которые вдруг оказываются французами, а французы очень четко разделены на две группы: проанглийскую и прогерманскую. Массонство — это всего лишь внешняя оболочка, предлог, позволяющий представителям различных групп (Бог знает, куда девались павликиане и иерусалимиты) встречаться и враждовать, чтобы завладеть хоть каким-то обрывком тайны.

— Массонство похоже на "Рикс Бар" в Касабланке,— заметил Бельбо.— Это ставит с ног на голову общепринятое мнение. Массоны не являются тайным обществом.

— Ясное дело, это всего лишь открытый порт, как Макао. Фасад. Тайна находится в другом месте.

— Бедные массоны!

— Прогрессу требуются жертвы. И все же признайте, что сейчас мы открываем закон имманентного рационализма истории.

— Рационализм истории — это всего лишь результат определенного переписывания Торы,— сказал Диоталлеви.— Мы поступаем именно так, и да будет благословенно имя Всевышнего.

— Ладно,— произнес Бельбо.— А пока сторонники Бэкона имеют Сен-Мартен-де-Шан, франко-германское крыло неотамплиеров распадается на мириады сект... Но мы еще не решили, о какой тайне идет речь.

— Этого я и жду от вас!— воскликнул Диоталлеви.

— От нас? Мы все в одной упряжке, и если не найдем достойного выхода, будем выглядеть достаточно скверно.

— Перед кем?

— Конечно же, перед историей, трибуналом Истины.

— Quid est veritas? — спросил Бельбо.

— Мы,— ответил я.

Эту траву философы называют чертополохом. Действие оной проверено, и лишь ее семена изгоняют дьяволов и их призраков... Семена сии давали девушке, мучимой по ночам дьяволом, и зельем он был изгнан.

(Johannes de Rupescissa. *Trattato Sulla Quintessenza*, II)

В последующие дни я забросил План. Лия должна была скоро родить, и я использовал каждую свободную минуту, чтобы побыть с ней. Лия пыталась меня успокоить, говоря, что решающий момент еще не наступил. Она посещала занятия, где рассказывали, как надо себя вести, чтобы роды прошли безболезненно. А я пытался участвовать в каждом ее упражнении. Лия отвергла помощь науки в определении пола нашего ребенка. Она предпочитала неожиданность. Я согласился с этим чудачеством. Я прикасался к ее животу, не задумываясь, кто из него появится; мы решили называть его покамест Вещью.

Меня беспокоило лишь то, как я смогу помочь при родах.

— Я тоже имею отношение к Вещи,— говорил я.— И вовсе не желаю походить на папаш из кинофильмов, которые только то и делают, что снуют по больничному коридору и курят одну сигарету за другой.

— Пум, ты не сможешь сделать больше, чем это возможно. Наступает момент, где главным действующим лицом могу быть только я. А потом, ты ведь не куришь и, надеюсь, не станешь использовать эту ситуацию, чтобы поддаться этому пороку.

— Так что же мне все-таки делать?

— Твое участие возможно лишь до и после родов. После, если это окажется мальчик; ты будешь его воспитывать, формировать, прививать ему, как и полагается, эдипов комплекс, когда придет время, ты с готовностью приобщишься к ритуалу отцеубийства, и в один прекрасный день с улыбкой на устах покажешь ему свой несчастный кабинет, картотеку, корректуру превосходной истории металлов и скажешь: "Сын мой, однажды это все станет твоим".

— А если родится девочка?

— Тогда ты ей скажешь: "Доченька, в один прекрасный день все это перейдет твоему ленивому мужу".

— А что мне делать до того?

— Когда начнутся схватки, между которыми будут перерывы, надо будет считать, потому что по мере того, как промежутки сокращаются, приближается время родов. Мы вместе будем считать, и ты будешь задавать ритм, как гребцам на галере. Таким образом ты поможешь осторожно выйти Вещи из своей темной пещеры. Бедняга-бедняжка... Знаешь, сейчас ему или ей хорошо в темноте, сосет себе соки, словно вампир, а потом, в один прекрасный момент, выскочит на солнечный свет, заморгает глазками и спросит: "Куда, к черту, я попал-попала?"

— Бедняга-бедняжка. И при этом еще не будет иметь счастья знаясь с господином Гармоном. Ну что ж, давай учиться считать.

Мы считали, держась в темноте за руки. Я фантазировал. Вещь — это настоящая Вещь, которая, явившись на свет, придает смысл всем этим рассказам сатанистов. Несчастных сатанистов, которые ночи напролет придумывают себе химическую свадьбу, корпя над вопросом, действительно ли у них получается золото восемнадцати каратов и в самом ли деле философский камень — это *lapis exillis*, несчастный Грааль из обожженной глины. Мой Грааль был здесь, в чреве Лии.

— Вот так,— сказала Лия, водя моей рукой по своему выпуклому упругому животу,— здесь настаивается твоя *materia prima*. А что говорили о превращениях в закрытых сосудах люди, которых ты видел тогда в замке?

— О, они говорили, что там булькает меланхолия, сернистая земля, черный свинец и масло Сатурна; что там протекает все размягчающий, перемешивающий, превращающий в жидкую массу, пропитывающий, все всасывающий и отдающий зловонной могилой и землей Стикс...

— Неужели они все импотенты? Не знают, что в сосуде зреет наша Вещь, беленькая, прекрасная и розовая?

— Уверен, они знают, но для них даже твой животик — это метафора, которая вмещает в себя тайну...

— В нем нет никаких тайн, Пум. Нам прекрасно известно, как формируется Вещь, образуются ее нервики, мускулы, глазки, селезенки, поджелудочные железы...

— Боже мой! Сколько же селезенек? Это что, будет Rosemary's Baby?

— Это я сказала просто так. Но мы должны быть готовы к встрече Вещи, даже если она появится на свет с двумя головами.

— Ясное дело. Я обучу ее играть дуэтом: на кларнете и на трубе... Нет, тогда бы у нее было четыре руки, а это уже чересчур; хотя представь себе, какой из него может получиться пианист, даже если вообразить себе отдельный концерт для левой руки. Бр-р... Но даже моим сатанистам известно, что в этот день в клинике появится шедевр в белых тонах, родится Ребис, андрогин...

— Только этого не хватало! Лучше послушай. Давай назовем его Джулио или Джулия, по имени моего деда, согласен?

— Не возражаю, звучит приятно.

Лучше бы я на этом и остановился. Написал бы какую-нибудь бестолковую книгу, настоящую grimoire для всех адептов "Разоблаченной Изиды", чтобы объяснить им бессмысленность поисков secretum secretorum, что страницы книги жизни не содержат никакого скрытого смысла, а весь он здесь — в утробах всех на свете Лий, в палатах клиник, на соломенных тюфяках, на каменистых берегах рек, что все камни, возвратившиеся из изгнания, и святой Грааль — это не что иное, как подобие маленьких кричащих обезьян, у которых свисает еще с живота пуповина, доктор шлепает их по попе. И что Неведомыми Настоятелями для Вещи были мы с Лией, и что Она сразу же узнает нас, не дожидаясь ответа какого-то глупца де Мэстра.

Но нет, нам — с нашей язвительностью — захотелось поиграть в прятки с сатанистами и доказать им, что если и существует какой-то космический заговор, то мы сможем придумать другой, космичнее которого трудно себе представить.

"Так тебе и надо,— думал я в тот вечер.— Сейчас торчишь здесь и ждешь, что должно произойти под маятником Фуко".

Могу с уверенностью утверждать, что эта мерзость не могла зародиться в чреве матери, и что это творение Эфиальта, инкуба или еще какого-нибудь отвратительного злого демона, зачатая словно из загнившей ядовитой грибницы, порождение фавнов и нимф, более подобное демону, чем человеку.

(Athanasius Kircher. *Mundus Subterraneus*,
Амстердам, Jansson, 1665, II, с.279-280)

В этот день меня угнетало какое-то предчувствие, и я хотел остаться дома, однако Лия сказала, чтобы я не забивал себе лишним голову и шел работать.

— У тебя еще есть время, Пум, я еще не рожаю. Мне тоже нужно прогуляться. Так что иди.

Я был уже у своего офиса, когда распахнулась дверь мастерской Салона. Показался старик в своем желтом рабочем фартуке. Мне пришлось с ним поздороваться, и он пригласил меня в мастерскую, которую раньше мне не приходилось видеть. Итак, я вошел.

Если здесь некогда и существовали жилые комнаты, то Салон, видимо, убрал все внутренние стены, поскольку помещение, которое я увидел, представляло собой огромных размеров пещеру, границы ее определить было невозможно. Из каких-то давно забытых архитектурных соображений это крыло здания являло собой мансарду, и свет проникал через косо установленные окна. Не знаю, то ли стекла были грязными или матовыми, то ли Салон их занавесил от падающих вертикально лучей солнца, а может, поводом были кучи различных вещей, которые, казалось, кричали о страхе перед свободным пространством, но освещение в пещере было такое, словно день уже подошел к своему закату, еще и потому, что помещение было разделено старыми аптечными полками, которые образовывали аркады, переходы и создавали невероятные перспективы. Преобладающий оттенок — коричневый: все предметы, этажерки, столы были каштанового цвета — соединение рассеянного дневного света со светом старых ламп, выхватывавших

предметы из темноты. Мое первое ощущение было таким, словно я попал в мастерскую скрипичных дел мастера времен Страдивари, уже тогда заброшенную хозяином, и с тех пор здесь на полосатых животах теорб понемногу скапливалась пыль.

Когда мои глаза постепенно привыкли к освещению, я понял, что нахожусь, как и следовало ожидать, в окаменевшем зоопарке. Тут медвежонок со стеклянными прозрачными глазами карабкался на искусственную ветку, рядом застыла в священной неприступности лесная сова, на столе прямо передо мной находилась то ли ласка, то ли куница, то ли хорек — не знаю. Посреди стола стояло какое-то доисторическое животное, которое с первого взгляда опознать было невозможно: похожее на кошку, но выглядевшую так, словно на нее смотрели через рентгеновский аппарат.

Это существо можно было принять за пуму, гепарда или же большую собаку, я видел только скелет, частично набитый паклей, которая не распадалась благодаря железному каркасу.

— Датский дог одной богатой дамы с добрым сердцем, — осклабился Салон, — которая хочет, чтобы он напоминал ей о супружеской жизни. Хотите посмотреть, как это делается? С животного снимается шкура, мускулатура, вынимаются внутренности, шкура с внутренней стороны обрабатывается раствором с мышьяковым мылом, а затем вымачиваются и отбеливаются кости... Посмотрите на эту этажерку — прекрасная коллекция хребтов и грудных клеток. Неплохая мертвецкая, правда? Затем все эти кости соединяются с помощью проволоки, и когда скелет готов, я монтирую арматуру, применяя обычно сено, паклю, папье-маше или гипс. И наконец — шкура. Таким образом, я устраняю вред, который наносят смерть и порча. Посмотрите на эту сову, разве не выглядит она как живая?

С тех пор все совы на свете стали казаться мне мертвыми, обреченными Салоном на склеротическую вечность. Глядя на этого бальзаматора животного царства, на его кустистые брови и серые щеки, я старался понять, живой он человек или же является шедевром собственного ремесла.

Чтобы лучше его рассмотреть, я отступил на шаг назад и ощутил какое-то прикосновение к затылку. Вздрыгнув, я обернулся и увидел, что привел в действие маятник.

По комнате носилась большая расчлененная птица, раскачиваясь соразмерно с движением пронзившей ее насквозь стрелы. Стрела вошла со стороны головы, и я увидел — поскольку туловище было разодрано, — что она достигла места, где некогда находились сердце и желудок, а затем разделилась на части в форме перевернутого трезубца. Одно острие, более толстое, пробило все внутренности и словно меч указывало на землю, тогда как два боковых зубца прошли через лапы птицы и вышли симметрично между когтями. Птица слегка покачивалась, и три острия указывали вниз те места, на которых остались бы их следы, если бы они касались пола.

— Превосходный экземпляр беркута, — объяснил Салон. — Только мне еще придется несколько дней над ним поработать. Сейчас я как раз занимаюсь подбором глаз. — И словно палач святой Люции, всю жизнь собиравший на память предметы, оставшиеся от его деяний, он достал коробочку, наполненную стеклянными роговицами и зрачками. — Здесь не так все просто, как с насекомыми, которым бывает достаточно булавки и коробки. Бесхребетных, например, приходится обрабатывать в формалине.

На меня повеяло моргом.

— Похоже, это очень увлекательная работа, — вслух произнес я. И в то же время подумал о живой Вещи в утробе Лии. Меня охватила леденящая сердце мысль: если Вещь умрет, я похороню ее в земле собственными руками, чтобы Она своей плотью кормила червей и удобряла землю. Только тогда Она сможет остаться для меня живой...

Я вздрогнул, потому что Салон обратился ко мне, доставая с этажерки какое-то странное создание. Это был дракон сантиметров тридцати в длину, рептилия с большими черными перепончатыми крыльями, с петушиным гребнем и широко раскрытой пастью, в которой торчали мелкие, острые как пила зубы.

— Красивый, правда? Это моя собственная композиция. Я использовал саламандру, летучую мышь и чешую змеи... кожу...

Это подземный дракон. Меня вдохновлял...— И он указал на лежавший на другом столе фолиант, переплетенный старым пергаментом, как старинные фармацевтические книги, завязанный на кожаные шнуры.— Она стояла мне целого состояния, но я, хоть и не библиофил, хотел иметь эту книгу. Это "Mundus Subterraneus" Атанасиуса Кирхера, первое издание, 1665 год. А вот и дракон. Точь-в-точь такой же, правда? Как говорил этот несчастный иезуит, который знал все об уже известном, еще неизвестном и вообще несуществующем, этот дракон обитает в испарениях вулканов...

— А вы продолжаете размышлять о подземельях? — спросил я, вспомнив нашу встречу в Мюнхене и разговор, который донесло до меня ухо Дионисия.

Я раскрыл книгу на другой странице: здесь был изображен шар в виде черного и распухшего анатомического органа, окутанного паутиной вьющихся огненных вен.

— Если Кирхер не ошибся, в сердце Земли ходов больше, чем на ее поверхности. И если в природе что-то происходит, то причиной этому жара, что клубится там, внизу...

Я подумал о творении в черном тоне, об утробе Лии, о Вещи, которая готовится вырваться из своего сладостного вулкана.

— ...и если что-то происходит в мире людей, то все это готовится там, внизу.

— Это мысль отца Кирхера?

— Нет, он занимался только природоведением... Однако примечательно то, что вторая часть книги посвящена алхимии и алхимикам, и как вы можете убедиться, здесь он атакует розенкрейцеров. Откуда эти нападки на розенкрейцеров в производстве, посвященном подземному миру? Нашему иезуиту было много чего известно; он знал, что последние из тамплиеров укрылись в подземном царстве Агартхи...

— Похоже, они по-прежнему там,— осмелился вставить слово я.

— По-прежнему,— подтвердил Салон.— Только не в Агартхе, а в других чревах. Возможно, даже у нас под ногами. В Милане

теперь тоже есть метро. А кому оно было нужно? Кто руководил работами, когда его рыли?

— Я думаю — инженеры, специалисты.

— Вы говорите так, словно стараетесь закрыть на все глаза. А тем временем издаете у себя неизвестно чьи книги. Есть ли среди ваших авторов евреи?

— Мы не требуем у авторов справки о национальной принадлежности, — сухо ответил я.

— Только не считайте меня антисемитом. Среди моих лучших друзей тоже есть евреи. Я имею в виду весьма определенный тип евреев...

— Какой же?

— Я знаю, о чем говорю...

Он раскрыл свой сундучок. В неописуемом беспорядке там валялись воротнички, подвязки, домашняя утварь, значки различных технических учебных заведений, даже вензель императрицы Александры Феодоровны и крест Почетного Легиона. На всех этих вещах он увидел печать Антихриста в виде треугольника или двух взаимно переплетающихся треугольников.

(Alexandre Chayla. "Serge A. Nilus et les Protocoles",
La Tribune Juive, 14 мая 1921, с.3)

— Видите ли,— добавил Салон,— родился я в Москве. Именно в России во времена моей молодости были опубликованы тайные иудейские документы, в которых ясно сказано, что если вы хотите подчинить себе правительства различных стран, нужно действовать под землей. Вот, послушайте.— Он взял в руки небольшой блокнот, где от руки были выписаны различные цитаты.— "К этому времени во всех городах будут построены линии метро и другие подземные коммуникации. Именно так мы сможем взорвать все города на Земле". Протоколы Древних Сионских Мудрецов, документ номер девять!

Мне пришло в голову, что коллекция позвоночника, кордебочка с глазами, кожи, которые он натягивал на каркас, попали сюда из лагеря смерти. Но нет, передо мной стоял старик, испытывавший ностальгию по старому русскому антисемитизму.

— Если я верно понял, существует заговор, в котором участвуют не все евреи, и этот заговор имеет определенные цели. Но почему все должно происходить под землей?

— Для меня это яснее ясного! Ни один заговорщик не действует на виду у всех, при свете дня. Все знают об этом с незапамятных времен. Обладать миром — значит обладать тем, что находится внизу. Подземными течениями.

Мне вспомнился один из вопросов, заданных Аглиз в своем кабинете, и еще то, как друидессы из Пьемонта зывали к теллурическим течениям.

— Почему кельты устраивали свои святилища в глубине

земли, почему они прокладывали туннели к священным колодцам? — продолжал Салон.— Всем известно, что эти колодцы достигали радиоактивных слоев земли. А как устроен Глэнстоунбери? Не идет ли случайно речь об острове Авалон, с которого пошел миф о Граале? И кто придумал Грааль, если не евреи?

Боже мой, опять Грааль! Но какой Грааль, если существует только один — это моя Вещь, связанная с радиоактивными слоями матки Лии, которая, может быть, именно в этот момент плывет к устью колодца, может быть, готовится к выходу, в то время как я торчу здесь, среди этих набитых сов, сто из которых мертвы, а одна разыгрывает из себя живую.

— Все церкви поставлены в тех местах, где прежде находились кельтские менгиры. Почему они закапывали в землю такие огромные камни, если это стоило им таких больших трудов?

— А почему египтяне мучились, воздвигая пирамиды?

— Вот именно. Антенны, термометры, зонды, иглы, подобные тем, которые китайские врачи вонзают в наиболее чувствительные, ключевые точки тела. А в самом сердце Земли существует расплавленное ядро, нечто схожее с Солнцем, я бы даже назвал его настоящим Солнцем, вокруг которого по различным траекториям что-то вращается. Орбиты теллурических течений. Кельтам было известно, где они проходят и как ими управлять. А Данте, Данте? Что он хотел нам сказать, описывая спуск в ад? Понимаете, что я имею в виду, милый друг?

Мысль быть его милым другом мне не понравилась, однако я продолжал его слушать. Джулио-Джулия, мой Ребис, заключенный, словно Люцифер, в утробе Лии, но он-она, Вещь, рано или поздно поднимется на дыбы и устремится вверх и так или иначе выйдет наружу. Ведь Вещь создана для того, чтобы выбраться из утробы и поведать всем о своей чистой тайне, а не для того, чтобы нырять головой вниз и искать там какую-то гнусную тайну.

Салон продолжал свой монолог: мне казалось что он, рассказывает выученный наизусть текст:

— Вы знаете, что такое английские leys? Если вы облетите

Англию на самолете, то увидите, что все святые места соединены прямыми линиями, сеткой линий, которые охватывают всю территорию и которые по-прежнему видимы, потому что по ним в дальнейшем были проложены дороги...

— Если существовали святые места, они должны были быть соединены дорогами, а для дорог выбирался кратчайший и прямой путь...

— Да? А почему тогда птицы мигрируют именно вдоль этих линий? Почему эти линии соответствуют траекториям летающих тарелок? Речь идет о тайне, которая была утрачена в период римского завоевания, однако еще остались люди, которые в нее посвящены...

— Евреи,— подсказал я.

— И они в том числе. Первейшим принципом в алхимии является VITRIOL: *Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem*.

Lapis exillis. Мой Камень, который медленно возвращается из изгнания, из своего сладкого, гипнотического изгнания во вместительном сосуде Лии, не ища иных глубин, мой прекрасный белый Камень, который тоскует по поверхности... Мне хотелось броситься домой, к Лие, ожидать вместе с ней появления Вещи. В помещении Салона стоял затхлый пещерный запах, а пещеры — это начала, которые следует покинуть, а не цели, к достижению которых надо стремиться. И все же я слушал Салона, а в моей голове уже клубились новые чертовские мысли о Плане. В ожидании единственной Истины в этом подлунном мире я придумывал новую ложь. Я был слеп, как живущие под землей животные.

Я встрепенулся. Необходимо было выбраться из этого туннеля.

— Мне нужно идти,— сказал я.— При случае, надеюсь, вы сможете порекомендовать мне книги по этой теме.

— О, все, что написано,— ложь, такая же ложь, как душа Иуды. Все, что мне известно, я узнал от отца...

— Он был геологом?

— О, нет,— рассмеялся Салон.— Каким там геологом! Мне

нечего стыдиться, да и много воды утекло с тех пор,— мой отец служил в Охранке. Непосредственно под руководством ее Главы, легендарного Рачковского.

Охранка. Охранка, что-то вроде КГБ, а не была ли она царской тайной полицией? А кем был Рачковский? У кого еще похожая на эту фамилия? Боже, ведь это таинственный посетитель полковника граф Ракоски... Нет, хватит, я слишком увлекся обычным течением обстоятельств. Я никогда не делал чучел из мертвых животных, я плодил живых.

Когда в материи Великого Дела появилась Белизна, Жизнь победила Смерть, их Царь воскрес. Земля и Вода превратились в Воздух, наступила власть Луны, у них родился Ребенок... Тогда Материя приобрела устойчивость, которую не способен уничтожить даже Огонь... Когда артист видит первозданную белизну, Философы говорят, что можно порвать все книги, поскольку они становятся бесполезными.

(Dom J. Pernety. *Dictionnaire mytho-hermétique*,
Париж, Bauche, 1758, "Blancheur")

Я наскоро пробормотал какие-то извинения. Кажется, я сказал ему: "Моя подруга должна завтра рожать". Салон высказал свои наилучшие пожелания, сделав при этом вид, что не понял, кто же будущий отец. Я побежал домой, чтобы глотнуть свежего воздуха.

Лии не было. На кухонном столике меня ждала записка: "Любовь моя, отошли воды. Я не нашла тебя на работе. Беру такси и еду в родильный дом. Приди ко мне, я чувствую себя одинокой".

Меня охватила паника: ведь я должен был находиться там и считать вместе с Лией, я должен был быть в офисе, чтобы она могла легко меня найти. Вещь родится мертвой, Лия тоже умрет, а Салон сделает чучела из них обеих.

Я вбежал в клинику с таким видом, словно страдал от воспаления среднего уха, бросился с расспросами к тем, кто ничего не знал, и два раза перепутал отделения. Я говорил всем, что они должны знать, где в этот момент рождает Лия, и все в ответ просили меня успокоиться, потому что здесь рожают все.

Наконец, сам не знаю как, я оказался в каком-то зале. Лия была бледна, но эта бледность отливала жемчугом, и к тому же она улыбалась. Кто-то убрал пряди волос с ее лица и спрятал их под белый колпак. Впервые я видел Лиин лоб во всем блеске. Рядом с ней находилась Вещь.

— Это Джулио, — сказал она.

Мой Ребис. Я тоже участвовал в его создании, и сделал это не из кусков мертвечины и мыла с мышьяком. Он был жив и здоров, и все пальцы у него были на месте.

Мне захотелось осмотреть его с ног до головы.

— Ох, какая у него маленькая пушечка, ах, какие большие ядрышки.— Затем я поцеловал Лию в открытый лоб: — В этом твоя заслуга, дорогая, все зависит от сосуда.

— Конечно, это моя заслуга, бессовестный. Мне пришлось считать самой.

— Если речь идет о счете, то я считаю тебя самой лучшей! — сказал я ей.

Подземные жители достигли наивысшего уровня познания... Если бы наше безумное человечество вздумало начать против них войну, они смогли бы взорвать всю поверхность нашей планеты.

(Ferdinand Ossendowski. *Beasts, Men and Gods*, 1924, V)

Я все время был рядом с Лией, даже после выхода из больницы, потому что как только она оказалась дома и начала менять малышу пеленки, то сразу же расплакалась и заявила, что сама никогда с этим не справится. Позже мне объяснили, что было вполне естественно: когда спадает возбуждение, вызванное победными родами, наступает чувство бессилия перед множеством обязанностей. В первые дни я шатался из угла в угол с ощущением собственной ненужности, однако, не имея возможности кормить грудью, я провел немало часов за чтением всего, что мне удалось найти о теллурических течениях.

Выйдя на работу, я попытался обсудить это с Аглиз. Каким-то особенным жестом он дал понять, что ему скучно.

— Бледные метафоры, которые должны быть намеком на змея Кундалини. Даже китайские геоманты искали в земле следы дракона, но при этом теллурический змей символизировал просто змея инициатического. Богиня отдыхает около свернувшегося клубком змея, спит, погруженная в летаргический сон. Кундалини слегка подрагивает, издавая нежный свист и соединяя тяжелые тела с телами легкими. Словно водоворот или водная турбина, словно половина слога ОМ.

— Но на какую тайну намекает змей?

— На тайну теллурических течений. Но тех, настоящих.

— А что такое настоящие теллурические течения?

— Великая космологическая метафора и намек на змея.

"К черту этого Аглиз,— подумал я.— Мне известно на эту тему больше, чем ему".

Я прочитал свои записи Бельбо и Диоталлеви, и у нас больше не осталось никаких сомнений. Нам удалось добыть для

тамплиеров достойную их тайну. Это было наиболее экономичное и элегантное решение, достоинство которого состояло в том, что начали подходить друг к другу все элементы нашей тысячелетней мозаики.

Итак, теллурические течения не были для кельтов секретом: о них им поведали уцелевшие после катастрофы жители Атлантиды, эмигрировавшие — частью в Египет, а частью в Бретань.

А жители Атлантиды обо всем этом узнали от наших предков, которые прошли от Авалона через континент Му и добрались до пустыни в центре Австралии — во времена, когда все континенты были соединены, составляли превосходную Пангею, так что можно было беспрепятственно путешествовать. Если бы только они сумели прочесть (как это умеют аборигены, хранящие, впрочем, молчание) таинственный алфавит, начертанный на большом массиве Айерс Рок, то мы бы уже добрались до Объяснения. Айерс Рок является антиподом огромной горы (неизвестной), которая и есть Полюс, но настоящий, инициатический Полюс, а не тот, до которого может добраться любой исследователь из породы земных обывателей. Как это обычно бывает, совершенно ясно каждому, кто не ослеплен западными псевдонауками, видимого Полюса на самом деле не существует, а существует тот, который не может увидеть никто, кроме нескольких посвященных, которые держат рот на замке.

И все же кельты полагали, что достаточно было найти глобальный план течений. Вот почему они воздвигали мегалиты: их менгиры были радиоизмеряющими приборами, играли роль стержня, были электрическими розетками, установленными в местах разветвления течений. Leys определяли направление обнаруженного течения. Дольмены служили камерами конденсации энергии, где друиды, используя свои геомантические способности, пытались экстраполировать целостную систему. Кромлехи, Стоунхендж — это микро-макрокосмические обсерватории, где, исследуя расположение светил, пытались определить расположение течений, поскольку, как утверждает "Tabula Smaragdina", то, что над, изоморфно с тем, что под.

Однако проблема заключается не в этом или по крайней мере не только в этом. И вторая часть уцелевших жителей Ат-

лантиды поняла это. Тайное познание египтян перешло от Гермеса Трисмегиста к Моисею, который и не думал передавать его своей гольтебе с брюхами, набитыми манной: он им оставил десять заповедей, которые те хотя бы могли уразуметь. Аристократичную же по духу истину Моисей зашифровал в Пятикнижии. Вот это и поняли каббалисты.

— Вы только подумайте,— сказал я,— все было уже написано, как в открытой книге, и соответствовало по значимости Храму Соломона, а хранителями тайны были розенкрейцеры, составлявшие Великое Белое Братство, то есть секту эссенов, которые, как известно, посвятили в свои тайны Иисуса, что стало причиной Его распятия, которое иначе никак нельзя объяснить...

— Несомненно, а страсти Христовы — это аллегория, предвестие суда над тамплиерами.

— Конечно. А благодаря Иосифу Аримафейскому тайна Иисуса попадает, или возвращается, в страну кельтов. Но эта тайна, конечно же, еще не полная, христианским друидам известен лишь ее фрагмент, что объясняет эзотерическое значение Грааля: что-то существует, но что именно — мы не знаем. О том, что это, о том, что Храм говорил уже в полном изложении, догадывается лишь небольшая группа оставшихся в Палестине раввинов. Они поведали об этом инициатическим мусульманским сектам — суфиям, исмаилитам, мутакалламинам. А от них это знание переходит к тамплиерам.

— Наконец тамплиеры. А то я уже начал беспокоиться.

Мы окончательно лепили План, он словно глина поддавался нашему воображению. Тамплиеры открыли тайну во время долгих бессонных ночей, сидя вдвоем в одном седле, в пустыне, где дул беспощадный самум. Они вырывали ее кусок за куском у тех, кому были известны силы космической концентрации Черного Камня в Мекке — наследства вавилонских магов,— поскольку совершенно ясно, что строительство Вавилонской башни было не чем иным, как попыткой, к сожалению слишком поспешной и справедливо окончившейся неудачей из-за гордыни авторов проекта, построить самый мощный из всех менгиров. Да только вавилонские архитекторы допустили ошибку в расче-

тах, поскольку согласно тому, что показал отец Кирхер, если бы башня была достроена до конца, то из-за ее чрезмерного веса земная ось сместилась бы на девяносто, а может быть, и больше градусов, и наша бедная планета вместо итифаллической и эрекционной короны, направленной прямо в небо, имела бы бесплодный отросток, этакий размягченный пенис, этакий обезьяний хвост, болтающийся где-то внизу, Шекину, затерянную в головокружительных глубинах антарктической Малкут, обвислый иероглиф для пингвинов.

— Однако какую же тайну удалось открыть тамплиерам?

— Терпение, скоро подойдем и к этому. Для создания мира потребовалось семь дней. Так что посмотрим.

Земля представляет собой магнитное тело; некоторые ученые открыли, что это — один большой магнит, о чем три сотни лет назад говорил Парацельс.

(Е.П.Блаватская. *Разоблаченная Изида*,
Нью-Йорк, Bouton, 1877, I, с.XXIII)

Мы сделали попытку, и она оказалась удачной. Земля представляет собой большой магнит, а значит, сила и направление ее течений зависят, между прочим, от влияния небесных тел, сезонных циклов природы, прецессии равноденствий и космических циклов. Вот почему система течений непостоянна. Но она должна быть такой, как система волос, которые растут по всей окружности головы, а создается впечатление, будто они выходят по спирали из одной точки на затылке, где с трудом поддаются действию гребня. Если удастся найти такую точку и установить на ней самую мощную станцию, можно будет завладеть всеми теллурическими потоками на планете, можно будет ими руководить и направлять их. Тамплиеры поняли, что тайна состоит не только в том, чтобы обладать всеобщей картой мира, но и в том, чтобы найти критическую точку, Omphalos, Umbilicus Telluris, Центр Мира, Источник Управления.

Все алхимические нравоучения, хтонический спуск черного дела, электрический разряд белого дела были всего лишь понятными для посвященных символами этого многовекового поиска, успешный исход которого стал бы красной стадией и означал бы абсолютное познание и головокружительную власть над планетарной системой течений. Тайна, настоящая тайна алхимиков и тамплиеров состоит в определении Источника этого внутреннего ритма, столь же ужасного и регулярного, как дрожь змея Кундалини, еще не изученного в большинстве своих проявлений, однако действующего исправно, как часы, в определении Источника единственного, настоящего Камня, когда-либо упавшего с небесных высей, — Великой Матери-Земли.

Это-то и хотел понять Филипп Красивый. Это и объясняет

исполненные злости домогательства инквизиторов по поводу таинственного поцелуя *in posteriori parte spine dorsi*. Им нужна тайна Кундалини. Здесь и речи не было о содомских грехах!

— Все это превосходно,— сказал Диоталлеви.— Но когда вы научитесь управлять теллурическими течениями, что вы станете делать? Пиво?

— Как же это вы не поняли всей значимости этого открытия? — удивился я.— Всади в теллурический Пуп мощный стержень... Обладание такой станцией позволит предвосхищать все дожди и засухи, спускать с цепи ураганы, наводнения и землетрясения, расщеплять континенты, опускать в морскую пучину острова (Атлантида, бесспорно, затонула в результате неудавшегося эксперимента), выращивать леса и горы... Представляете? Это нечто лучшее, чем атомная бомба, которая угрожает здоровью даже того, кто ее сбросил. С вашего командного пункта вы звоните — ну, не знаю кому— президенту Соединенных Штатов и говорите: завтра я хочу иметь фантастиллион долларов, или требуете независимости Латинской Америки, или Гавайев, или же уничтожения всего ядерного оружия, иначе Калифорнийская расщелина окончательно разверзнется, и Лас-Вегас превратится в плавающий притон...

— Но ведь Лас Вегас находится в Неваде...

— Да какая разница! Контролируя теллурические течения, можно оторвать также Неваду, даже Колорадо. А потом вы звоните в Верховный Совет и говорите: милые друзья, к следующему понедельнику прошу доставить мне всю волжскую икру, а в Сибири я хочу устроить магазин замороженных продуктов, иначе я всосу ваши Уральские горы, Каспийское море выйдет из берегов, а Литву и Эстонию превращу в острова, которые утоплю в Филиппинской Впадине.

— Действительно,— признал Диоталлеви,— огромная власть. Это позволяет переписать Землю, как Тору. Например, передвинуть Японию к Панамскому заливу.

— Паника на Уолл Стрит.

— Это вам не космические войны. И не превращение металла в золото. Направляете соответствующий заряд туда, куда нужно, доводите до оргазма внутренности Земли, заставляете

их сделать за десять секунд то, на что ей понадобились бы миллиарды лет,— и весь Рурский бассейн превращается в бриллиантовые залежи. Элифас Леви говорил, что познание флюидных приливов и всеобщих течений составляет тайну всемогущества человека.

— Похоже на то,— согласился Бельбо,— это все равно что превратить всю Землю в одну минную камеру. Совершенно очевидно, что Райх был тамплиером.

— Все, кроме нас, были тамплиерами. К счастью, нам удалось сделать это открытие. Теперь мы имеем перед ними временное преимущество.

Так что же на самом деле сдержало тамплиеров после того, как они овладели тайной? Знать — это еще не все, надо уметь свои знания использовать. Пока же, наученные сатанинским святым Бернаром, тамплиеры заменили менгиры, бесполезные кельтские стержни, готическими соборами, куда более чувствительными и мощными, в которых были склепы, заселенные черными Богородицами, и которые находились в прямом контакте с радиоактивными слоями; они покрыли всю Европу сетью передающе-принимающих станций, которые обменивались друг с другом информацией о силе и направлении движения флюидов, о настроении и напряжении течений.

— А я утверждаю, что им удалось открыть залежи серебра в Новом Свете, они вызывали извержения вулканов, а затем, управляя Гольфстримом, заставили воды вынести металл к португальским берегам. Томар был центром, из которого распределяли товар, а Восточный Лес — основными закромами. Вот откуда их богатства. Но это были всего лишь крохи. Они поняли, что для полноценного применения их тайны необходимо дожидаться технологического прогресса, на что потребуется по меньшей мере шестьсот лет.

И в этой ситуации тамплиеры разработали План таким образом, чтобы лишь их последователи, когда они смогут должным образом воспользоваться своими познаниями, смогли отыскать местонахождение Umbilicus Telluris. Но как дошло до того, что фрагменты единственного послания были разделены

между тридцатью шестью особами, разбросанными по всему свету? Были ли это части одного и того же послания? Нужна ли такая сложная форма для того, чтобы сообщить, что Umbilicus находится, скажем, в Баден-Бадене, Кунео или Чаттануге?

Карта? Однако на карте Umbilicus должен быть обозначен каким-то знаком. И тот, у кого отрывок карты с этим знаком, все узнает, и он не нуждается в остальных частях послания. Нет, это было что-то более сложное. Мы ломали над этим голову несколько дней, пока Бельбо не решил прибегнуть к помощи Абулафии. Ответ был таков:

Гийом Постель умирает в 1581 году
Бэкон — виконт Сент-Олбанский
В Хранилище висит маятник Фуко

Настало время найти применение Маятнику.

Уже через несколько дней я предложил решение, которое можно было бы назвать элегантным. Один из сатанистов принес нам рукопись о герметической тайне соборов. Наш автор утверждал, что строители собора в Шартре подвесили однажды шнур со свинцовым грузом к замку свода и без всякого труда определили, что Земля вращается.

— Это и объясняет причину суда над Галилеем,— заметил Диоталлеви.— Церковь учуяла в нем тамплиера.

— Нет,— возразил Бельбо,— судившие Галилея кардиналы были адептами тамплиеров, они проникли в Рим и поспешили закрыть рот проклятому тосканцу, тамплиеру-изменнику, из тщеславия готовому все разболтать, опережая на четыреста лет дату исполнения Плана.

Во всяком случае, это открытие объясняло, почему под Маятником мастера-каменщики начертили лабиринт, стилизованное изображение подземных течений. Мы начали искать изображение шартрского лабиринта: солнечные часы, роза ветров, кровообращение, дорожка из слизи, оставленная погруженным в сон Змеем. Глобальная карта течений.

— Хорошо, допустим, что тамплиеры пользовались Маятни-

ком для того, чтобы обозначить Umbilicus. Вместо лабиринта, который несмотря ни на что остается абстрактной схемой, положите на пол карту мира и скажите, например, что в точке, на которую указало острие Маятника в определенный час, и находится Umbilicus. Но где же эта точка?

— На сей счет нет никаких сомнений — в Сен-Мартен-де-Шан, в Укрытии.

— Хорошо,— произнес Бельбо.— Однако допустим, что в полночь Маятник проходит вдоль линии, я говорю наугад, Копенгаген-Кейптаун. Где же тогда находится Umbilicus: в Дании или в Южной Африке?

— Справедливое замечание,— согласился я.— Однако наш сатанист также пишет, что в Шартре, в одном из витражей хоров есть щель, и в один и тот же час через нее проникает солнечный луч и освещает всегда одну и ту же точку, всегда одну и ту же плиту каменного пола. Не помню, какой из этого следует вывод, но в любом случае речь идет о какой-то тайне. Вот вам механизм. На хорах в Сен-Мартене на одном из окон, в том месте, где два окрашенных или матовых стекла спаяны оловом, есть царапина. Подобраны они тщательно, и, похоже, на протяжении шестисот лет кто-то постоянно заботится о том, чтобы все оставалось в первоначальном виде. Когда в определенный день восходит солнце...

— ...а это может быть лишь рассвет 24 июня, день святого Иоанна, в праздник летнего солнцестояния...

— ...и вот в этот день и в этот час первый же солнечный луч, проникший сквозь щель, падает на Маятник, и в месте, где находится Маятник в этот момент, именно в этой точке на карте расположен Umbilicus!

— Отлично,— похвалил Бельбо.— А что если этот день — пасмурный?

— Тогда приходится ждать следующего года.

— Простите,— возразил Бельбо,— но у нас есть еще последняя встреча, в Иерусалиме. Разве Маятник не должен быть подвешенным к куполу мечети Омара?

— Нет,— попытался я его разубедить.— В некоторых точках

земного шара Маятник совершает полный цикл за 36 часов, на Северном полюсе потребовалось бы 24 часа, а на экваторе поле колебания оставалось бы неизменным. Итак, местонахождение имеет значение. Если тамплиеры сделали свое открытие в Сен-Мартене, их расчеты подходят только для Парижа, потому что в Палестине у Маятника была бы другая траектория колебаний.

— А кто сказал, что открытие было сделано в Сен-Мартене?

— Об этом свидетельствует то, что они избрали Сен-Мартен местом своего Укрытия, то, что от Сент-Олбанского приора до Постеля и до Конвента они держали это место под своим контролем, то, что после первых же экспериментов Фуко Маятник был помещен там. Фактов достаточно много.

— А встреча в Иерусалиме?

— Ну и что из того? В Иерусалиме послание было восстановлено, а это дело не нескольких минут. После этого следует подготовительный период длиной в год, и 23 июня следующего года все шесть групп встречаются в Париже, чтобы наконец определить, где же находится Umbilicus, и приступить к покорению мира.

— И все же что-то здесь не клеится,— сопротивлялся Бельбо.— То, что речь идет об определении местонахождения Umbilicus, знают все из тридцати шести. В соборах уже подвешивали маятники, значит, это не представляло собой никакой тайны. Тогда что же мешало Бэкону, Постелю или даже самому Фуко (раз уж он сделал Маятник, то сам, очевидно, входил в эту клику) — Боже мой, что же им мешало поместить карту мира на пол под Маятник в соответствии с четырьмя главными направлениями? Мы идем по ложному пути.

— Нет, мы идем не по ложному пути,— заверил я.— В послании указана одна деталь, которую не мог знать никто: какую карту нужно при этом использовать!

Карта — это еще не территория.

(Alfred Korzybski. *Science and sanity*, 1933, 4-е издание,
The International Non-Aristotelian Library, 1958, II, 4, с.58)

— Представьте себе положение в картографии во времена тамплиеров,— сказал я.— В том веке были в ходу арабские карты, на которых, между прочим, Африка находилась вверху, а Европа — внизу; навигационные карты, выполненные довольно точно, и карты трех-четырёхсотлетней давности, которые еще считались годными для школ. Заметьте, для того чтобы определить, где находится Umbilicus, нет необходимости иметь точную карту в нашем понимании этого термина. Достаточно, чтобы она выполняла одно условие: будучи сориентированной, показала Umbilicus в той точке, где Маятник будет освещен 24 июня, на заре. А теперь слушайте внимательно: предположим, чисто теоретически, что Umbilicus находится в Иерусалиме. На наших современных картах Иерусалим расположен в строго определенном месте, хотя даже сегодня это зависит от типа проекции. Но у тамплиеров была карта, лишь Бог знает как сделанная. Какое это для них имело значение? Не Маятник зависит от карты, а именно карта зависит от Маятника. Вы следите за ходом моей мысли? Это может быть самая бессмысленная карта в мире, лишь бы только, когда ее расположат определенным образом под Маятником на рассвете 24 июня, вещий луч солнца указал точку, где именно на этой карте, а не на какой-либо другой, появится Иерусалим.

— Но это не разрешает нашу проблему,— сказал Диоталлеви.

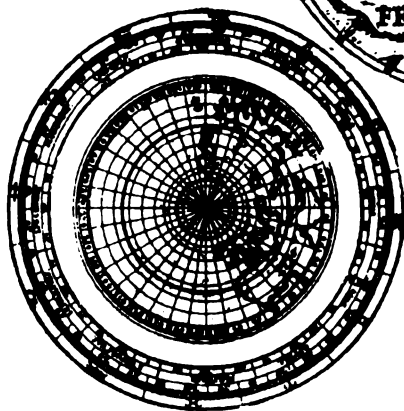
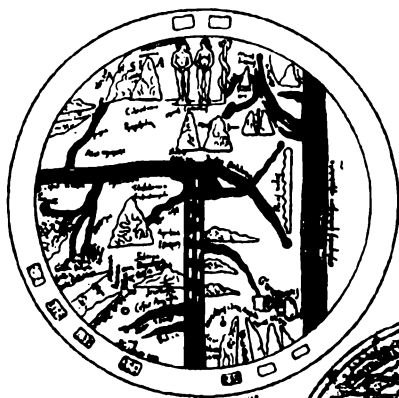
— Конечно нет, как и проблему Тридцати Шести Невидимых. Потому что, если вы не возьмете соответствующую карту, ничего не получится. Попробуем представить карту, ориентированную канонически, где восток означает направление апсиды и запад — направление нефа; именно так ориентированы церкви. А теперь выскажем первую пришедшую в голову гипотезу: в это фатальное утро Маятник должен находиться над какой-то зо-

ной, расположенной, грубо говоря, на востоке, почти у границ юго-восточного квадранта. Если бы мы имели дело с часами, то сказали бы, что Маятник укажет на пять часов двадцать пять минут. Согласны? А теперь смотрите.

Я пошел за историей картографии.

— Вот, номер один, карта XII века. Она повторяет структуру Т-образных карт, вверху — Азия с земным Раем, слева — Европа, справа — Африка, и здесь же, за Африкой, они поместили Антиподов. Номер два, карта, вдохновитель которой — "Somnium Scipionis" Макроба, в различных вариантах эта карта просуществовала до XVI века. На ней Африка несколько сплющена. А теперь внимательно смотрите: сориентируйте обе карты одним и тем же способом — и вы увидите, что на первой пять часов двадцать пять минут соответствуют Арабии, а на второй — Новой Зеландии, так как в этой точке имеются антиподы. Можно все знать о Маятнике, но если неизвестно, какой картой пользоваться, — дело проиграно. Послание содержало сверхзашифрованные инструкции о месте, где можно найти нужную карту, возможно, созданную только для этой цели. Итак, в послании говорилось, где эту карту искать, в каком манускрипте, в какой библиотеке, в каком аббатстве или замке. И могло даже случиться, что Ди, или Бэкон, или кто-либо еще восстановил послание, кто знает. Может быть, в послании говорилось, что карта находится в таком-то месте, но за это время, учитывая то, что происходило в Европе, аббатство могло сгореть, его могли разрушить или же карту похитили и спрятали неизвестно где. Может быть, кто-то располагает картой, но не знает, для чего она служит, или же знает, но не точно, и бродит по свету в поисках того, кому она понадобится. Представьте весь этот круговорот предположений, все эти ложные следы, послания, которые читают так, словно в них речь идет о карте, хотя говорится вовсе о другом, и послания, в которых говорится о карте, но читают их так, словно там описывается, скажем, производство золота. Возможно, были и такие, которые пытались непосредственно восстановить карту на основе предположений.

— Каких предположений?



— Например, микро-макрокосмических сообщений. Вот еще одна карта. Вы знаете, где я ее нашел? Она помещена во втором трактате "Utriusque Cosmi Historia" Роберта Фладда. Не следует забывать, что Фладд — это человек, связанный с розенкрейцерами в Лондоне. Итак, что делает наш Роберт Флактибус, как он любил себя называть? Он представляет уже не карту, а странную проекцию всего земного шара со стороны полюса, конечно мистического полюса, и следовательно с точки зрения идеального Маятника, подвешенного на идеальный замок свода. Это действительно карта, задуманная для размещения под Маятником! Это же неоспоримая очевидность; не понимаю, как случилось, что никто еще до этого не додумался...

— Потому, что приспешники дьявола медлительны и еще раз медлительны,— сказал Бельбо.

— Поэтому мы вдвоем являемся единственными достойными наследниками тамплиеров. Но я продолжу: вы узнали схему? Это подвижное соединение из тех, что использовал Тритем для шифрования своих посланий. Это не карта. Это проект устройства для испытания различных вариантов, для изготовления альтернативных карт, пока не найдут настоящую. И Фладд говорит об этом в легенде: это эскиз *instrumentum*, над ним еще надо работать.

— Но разве это не тот же Фладд, который упрямо отрицал вращение Земли? Как он мог думать о Маятнике?

— Мы имеем дело с посвященными. Посвященный отрекается от того, что знает, и лжет, чтобы скрыть тайну.

— Это-то и должно объяснить,— говорит Бельбо,— почему Ди имел так много хлопот с этими королевскими картографами. Не потому, что хотел узнать "истинную" форму мира, а потому, что стремился восстановить из всех ложных карт ту единственную, которая ему будет полезна и, следовательно, будет единственно настоящей.

— Неплохо, очень неплохо,— сказал Диоталлеви.— Дойти до истины, правильно восстанавливая ложный текст.

Главным и наиболее полезным занятием этой Ассамблеи должна быть, по-моему, работа над естественной историей в соответствии с проектами Верулама.

(Christiaan Huygens. Письмо к Кольберу в: *Oeuvres complètes*, Гаара, 1888-1950, VI, с.95-96)

Заключения шести групп не ограничились поисками карты. Возможно, тамплиеры в первых двух частях послания, которыми располагали португальцы и англичане, намекали на Маятник, но само понятие "маятник" было чем-то туманным. Одно дело заставить двигаться шнур со свинцовым отвесом и совсем другое — создать механизм такой точности, чтобы он был освещен солнцем в назначенную, с точностью до секунды, минуту. Именно поэтому тамплиерам понадобилось на расчеты шесть веков. Бэконовское крыло взялось за работу в этом направлении и стремилось привлечь на свою сторону всех посвященных, с которыми оно безуспешно стремилось установить контакт.

Вовсе не случайным стечением обстоятельств является тот факт, что человек Розового Креста Соломон де Каус пишет для Ришелье трактат о солнечных часах. И со времен Галилея продолжают бешеные исследования маятников. Поводом было желание узнать, как их использовать для определения географической долготы, но когда в 1681 году Хьюгенс открывает, что маятник точен в Париже, но отстает в Кайенне, то сразу же приходит к выводу, что это зависит от центробежной силы, обусловленной вращением Земли. И когда он публикует свой "Horologium", где развивает галилеевские предположения о маятниках, кто его вызывает в Париж? Кольбер, тот самый Кольбер, который пригласил в Париж Соломона де Кауса, чтобы он занялся подземельями!

Когда в 1661 году Accademia del Cimento предвосхищает выводы Фуко, Леопольд Тосканский за пять лет распускает ее и вскоре получает из Рима в качестве скрытой компенсации шляпу кардинала.

Но это не все. Охота за маятником продолжается и в последующие века. В 1742 году (за год до первого задокументиро-

ванного появления графа де Сен-Жермена) некто Де Мэран представляет памятную записку о маятниках в Королевскую Академию наук; в 1756 году (когда в Германии был принят Устав тамплиеров) некто Буге пишет "sur la direction qu'affectent tous les fils à plomb".

Я нашел фантазмагорические названия — хотя бы произведения Жана-Батиста Био 1821 года "Recueil d'observations géodésiques, astronomiques et physiques, exécutées par ordre du Bureau des Longitudes de France, en Espagne, en France, en Angleterre et en Écosse, pour déterminer la variation de la pesanteur et des degrés terrestres sur le prolongement du méridien de Paris". Во Франции, Испании, Англии, Шотландии! И в отношении меридиана Сен-Мартена! А публикация в 1823 году сэром Эдвардом Сэбином "An Account of Experiments to Determine the Figure of the Earth by Means of the Pendulum Vibrating Seconds in Different Latitudes"? А этот таинственный граф Федор Петрович Литке, который в 1836 году публикует результаты своих исследований о поведении маятника во время морского путешествия вокруг света? Для Императорской Академии наук Санкт-Петербурга! Почему и русские тоже?

А если за это время группа, конечно же наследственно бэконовская, решила раскрыть тайну потоков без карт и маятника, обращаясь снова, с самого начала к дыханию Змея? Из этого следовало, что предположения Соломона были правильными: приблизительно во времена Фуко индустриальный мир — создание бэконовского крыла — начинает прокладывать метрополитеновские сети в европейских метрополиях.

— Верно,— сказал Бельбо,— XIX век связан с подземельями: Жан Вальжан, Фантомас и Жавер, Рокамболь,— все передвигаются туда и обратно по трубопроводам и крупным коллекторам нечистот. Боже мой, только сейчас я осознал, что все творчество Жюль Верна — это инициационное раскрытие тайн подземелий! Путешествие к центру Земли, 20 тысяч лье под водой, пещеры таинственного острова, огромное подземное царство Черной Индии! Надо восстановить план его удивительных путешествий, и мы, конечно, найдем набросок витков Змея, карту

leys, восстановленную для каждого континента. Верн исследует и сверху, и снизу сеть теллурических потоков.

Я его поддержал.

— Как зовут главного героя "Черной Индии"? Джон Гэррал, почти анаграмма Грааля.

— Мы не чудаки, твердо стоим обеими ногами на земле. Верн дает более выразительные сигналы: Робур Завоеватель, R.C., Роза-Крест. А Робур, читаемый наоборот, будет Рубор, т.е. цвет красной розы.

Phileas Fogg. Имя, имеющее определенный смысл. "Eas" — с греческого передает значение полноты (что эквивалентно "pan" и "poly"), Phileas — это то же, что и Poliphile. Что касается Fogg, то оно означает по-английски "туман"... Никаких сомнений, Жюль Верн принадлежит к обществу "Туман". Он был настолько мил, что захотел выяснить связи этого общества с Роза+Крест, так в конце концов спрашивается, кто же этот благородный путешественник по имени Филеас Фогг, если не член Роза+Крест?.. А впрочем, не входит ли он в Реформ-Клуб, начальные буквы которого, R.C., означают именно Роза+Крест? Ко всему этот Реформ-Клуб зарождается при "Pall-Mall", что лишний раз намекает на Сон Полифила.

(Michel Lamy. *Jules Verne, initié et initiateur*,
Париж, Payot, 1984, с.237-238)

Восстановление заняло у нас много дней. Мы прерывали работу, чтобы сообщить друг другу о последних связях, мы просматривали все, что попадало под руку: энциклопедии, газеты, комиксы, каталоги издательских фирм, читали по диагонали, выискивая ассоциации, переворачивали букинистические лавки, обнюхивали газетные киоски, с головой погружались в манускрипты сатанистов, мы спешили в нашу контору, чтобы с триумфом бросить на стол новейшую находку. Когда я вспоминаю эти недели, все дело кажется мне грозным и неистовым, как фильм Лэрри Сзмона, где действие происходит с рывками и прыжками, где двери открываются и закрываются со сверхзвуковой скоростью, в воздухе летают торты с кремом, где мы видим погони по лестницам вверх и вниз, сталкивающиеся старые автомобили, обваливающиеся полки стеллажей в бакалейной лавке и груды консервных банок, бутылок, головок сыра, брызги сельтерской воды, взрывающиеся мешки с мукой. И наоборот: когда я вспоминаю перерывы, мертвые периоды, то есть остальную жизнь, кружившуюся вокруг нас, то все могу снова прочесть, как если бы это происходило в замедленном

темпе. План формировался в ритме, характерном для художественной гимнастики, это напоминало медленное вращение дискобола, осторожные движения толкателя ядра, длительные перерывы между ударами мячика во время игры в гольф, минуты бесполезного выжидания в бейсболе. Как бы то ни было, каков бы ни был ритм, судьба нас награждала: кто хотел найти связи, всегда и везде их находил, мир — это сетка, водоворот свойств, каждая вещь отсылает к другой, каждая вещь объясняет другую...

Я ничего не сказал об этом Лие, чтобы не раздражать ее, я не обращал внимания даже на Джулио. Проснувшись ночью, я осознал, что Рене Картезиус — это R.C. и что он тратил слишком много энергии на поиск розенкрейцеров, а затем — на опровержение информации о том, что нашел их. Откуда такая одержимость Методом? Метод служил для отыскания тайны, которая околдовала всех посвященных Европы... Кто прославлял готическую магию? Рене де Шатобриан. А кто написал во времена Бэкона "Steps to the Temple"? Ричард Крэшоу. А наконец, Раниери де Кальсабиджи, Рене Шар, Раймонд Чандлер? А Рик из Касабланки?

Эта наука, еще не потерянная по меньшей мере в своей материальной части, была передана церковным строителям монахами из Сито... В прошлом веке их знали под именем "Компаньоны Башни Франции". Именно к ним обратился Эйфель, занявшись строительством своей башни.

(L. Charpentier. *Les mystères de la cathédrale de Chartres*, Париж, Laffont, 1966, с.55-56)

Теперь мы закончили просмотр целой новой эпохи — словно трудолюбивые кроты, роющие подземные туннели, чтобы наблюдать за планетой снизу. Но нам требовалось что-то еще, какие-то другие начинания, которые использовали последователи Бэкона, и результаты, этапы которых были у всех на виду, но никто ими не интересовался... При бурении земли зондируют глубокорасположенные слои, а кельты и тамплиеры не ограничивались рытьем колодцев. Они вбивали стержни, направленные прямо в небо, чтобы иметь связь с мегалитами и воспринимать влияние звезд...

Эта идея появилась у Бельбо в одну из бессонных ночей. Он выглянул в окно и увидел вдаль, над крышами Милана, свет металлической трансляционной вышки, главной антенны города. Строгой и разумно построенной Вавилонской башни. И тогда его осенило.

— Эйфелева башня, — заявил он нам на следующее утро. — Как мы могли до сих пор об этом не подумать? Металлический мегалит, менгир последних кельтов, стрела, вонзающаяся в небо, самая высокая из всех готических стрел. Для чего же Парижу понадобилась эта бессмысленная постройка? Этот небесный зонд, антенна, принимающая сигналы от всех герметических стержней, вкопанных в земную кору, от статуй Острова Пасхи, от Мачу-Пикчу, от статуи Свободы, которая возникла по инициативе принадлежащего к посвященным Лафайета, от обелиска Луксора, от самой высокой башни в Томаре, от Колосса Родосского, который продолжает транслировать из глубин порта, где уже никто не сможет его найти, от храмов в брахманских

джунглях, от башенок на Великой Стене, от вершины Айерс Рок, от игл Стрелы Страсбурга, которыми любовался один посвященный — Гете, от лиц на Маунт Рашмор (как много понял другой посвященный — Хичкок!), от антенны Эмпайр Стейт Билдинг, скажите — что еще напоминает это творение американских посвященных, как не империю Рудольфа Пражского! Башня улавливает информацию из-под земли и сопоставляет ее с информацией, поступающей с неба. А кто представил нам первый кинематографический образ Башни? Рене Клер в фильме "Париж спит". Рене Клер, R.C.

Заново прочитана полная история науки: даже космическое соревнование становится теперь понятным, даже эти сумасшедшие спутники, которые осуществляют лишь фотосъемку земной коры для обнаружения невидимых напряжений, подводных течений, теплых воздушных потоков. И чтобы, разговаривая между собой, обращаться к Башне, к Стоунхенджу...

Это любопытное совпадение, что издание 1623 года in folio, вышедшее под именем Шекспира, насчитывало как раз тридцать шесть произведений.

(W.F.C.Wigston. *Francis Bacon versus Phantom Captain Shakespeare: The Rosicrucian Mask*, Лондон, Kegan Paul, 1891, с.353)

Когда мы обменялись плодами наших фантазий, нам показалось, и справедливо, что действовали мы запрещенными методами, использовали какие-то странные ассоциации, верить в которые нам должно было быть стыдно — если бы нам это поставили в упрек. В нас вселяло надежду убеждение — безмоявное, как того требует этикет иронии, — что мы пародируем логику других. Но во время продолжительных пауз, когда каждый из нас со спокойной совестью самостоятельно накапливал материалы для нашей совместной работы, ибо был убежден, что собирает фрагменты, которые составят пародию мозаики, наш мозг привык соединять без усталы все со всем, а чтобы довести этот процесс до автоматизма, требовались определенные навыки. Я думаю, что на каком-то этапе исчезает разница между игрой в веру и верой.

Так происходит со шпионами: они проникают в секретные службы противника, привыкают думать как противник — это для них единственное спасение, — и не подлежит сомнению тот факт, что через некоторое время они частично переходят на сторону противника, которая уже стала их стороной. Или с теми, кто живет одиноко, за единственного друга принимая собаку: они разговаривают с ней с утра до вечера, вначале пытаются понять логику ее действий, затем воображают, что собака понимает их логику, сначала они замечают, что собака робка, затем — что ревнива, еще позже — что она обидчива, и наконец начинают постоянно на нее злиться, устраивать сцены ревности. Они уверены, что собака стала подобной им, в действительности же они сами уподобились ей; они горды, считая, что очеловечили ее, а на самом деле — сами особачились.

Из нас троих я менее всего был втянут в игру — возможно, благодаря ежедневному контакту с Лией и ребенком. Я осознавал себя участником игры, я чувствовал себя так, словно опять слышу звуки адогō во время обряда: я находился среди тех, кто вызывает эмоции, а не поддается им. Если говорить о Диоталлеви, то тогда я не знал, а сейчас знаю: он приучал свое тело мыслить категориями сатанистов. Что же касается Бельбо, то он отождествлял себя с ними также на уровне сознания. Я приспособливался, Диоталлеви — развращался, Бельбо — переплощался. И, все трое, мы постепенно теряли ту интеллектуальную твердость взгляда, которая позволяет отличать подобию от истины, метафору от самой вещи. Мы теряли эту таинственную, яркую, замечательную способность, благодаря которой, когда мы говорим, что кто-то оскотинился, то ни на минуту не допускаем мысли, что у этого кого-то отрасли шерсть и появились копыта, тогда как сумасшедший, думая об оскотинившихся, видит лающее, роющее землю, хрюкающее, ползающее или летающее существо.

Что касается Диоталлеви, то мы смогли бы заметить, что с ним происходит, если бы не были так возбуждены. Мне кажется, все началось в конце лета. Он вновь появился похудевшим, но это не была та мускулистая стройность, какая бывает у тех, кто несколько недель лазил по горам. Его нежная кожа альбиноса приобрела желтоватый оттенок. Если даже мы бы это заметили, то подумали бы, что он провел свой отпуск, склонившись над равнинскими свитками. Но наши мысли занимало совсем другое.

В последующие дни мы уже были в состоянии мало-помалу разобраться с теми направлениями, которые были не согласны с бэконовским движением.

Например, общая масонология видит в Баварских Иллюминатах, которые стремились уничтожить понятие "народ" и дестабилизировать государство, вдохновителей не только анархизма Бакунина, но и самого марксизма. Детского. Иллюминаты были подстрекателями, которых бэконисты отфильтровали среди тевтонцев, но совсем о другом думали Маркс и Энгельс,

когда начинали "Манифест" 1848 года красноречивой фразой "Призрак бродит по Европе". Откуда эта готическая метафора? "Коммунистический Манифест" делает саркастический намек на охоту за призракoм Плана, который потрясает историю нашего континента уже несколько столетий. Он предлагает альтернативу как бэконистам, так и неотамплиерам. Будучи евреем, Маркс, возможно, изначально был рупором раввинов Жероны или Сафеда и стремился привлечь к поискам весь избранный Богом народ. Затем эта инициатива увлекла его: он отождествляет Шехину, изгнанный народ, с пролетариатом, предаёт надежды своих доверителей, отвергает направления иудаистского мессианства. Тамплиеры всего мира, соединяйтесь! Карта — рабочим. Превосходно! Есть ли лучшее историческое оправдание для коммунизма?

— Ну хорошо,— сказал Бельбо,— но сторонники Бэкона тоже встречают препятствия на своем пути, не так ли? Некоторые из них, попав в плен научных иллюзий, оказываются в тупике. Я имею в виду Эйнштейна и Ферми, которые, отыскивая тайну в глубинах микрокосмоса, делают ложные открытия. Вместо телурической энергии, чистой, естественной, мудрой, они приходят к атомной энергии — технологической, грязной, развращенной...

— Пространство-время, ошибка Запада,— бросил Диоталлеви.

— Это потеря Центра. Вакцина и пенициллин как эрзац эликсира долголетия,— вмешался я.

— То же самое касается другого тамплиера, Фрейда,— продолжал Бельбо.— Вместо того, чтобы углубляться в лабиринты физического подземелья, он погружается в лабиринты подземелья психического, как будто в этой области алхимии не сказали уже всего, и наилучшим образом.

— Однако именно ты,— напомнил Диоталлеви,— хлопчешь об издании книги доктора Вагнера. По мне, психоанализ — это штучка для неврастеников.

— Да, а пенис — только фаллический символ,— заключил

я.— Не будем разглагольствовать и терять время. Мы еще не знаем, какое место отвести павликианам и иерусалимитам.

Но прежде чем нам удалось разрешить новую проблему, мы напали на другую группу, которая не входила в состав Тридцати Шести Невидимых, но довольно быстро вступила в игру и частично расстроила планы, привнеся в них элемент путаницы. Это — иезуиты.

Барон фон Хунд, шевалье Рамсей... и многие другие, кто установил степени в этих обрядах, действовали по указаниям Главы Иезуитов... Тамплиерство — это Иезуитство.

(Письмо Шарля Сотерана г-же Блаватской, 32 .: А и Р.Р. 94 .: Мемфис, К.Р. ✕, К.Кадош, М.М. 104 Енг и т.д., Посвященные Английского Братства Розенкрейцеров и других тайных обществ, 11.1.1877;
в: *Разоблаченная Изида*, 1877, II, с.390)

Мы их встречали довольно часто, уже со времен первых манифестов розенкрейцеров. В 1620 году в Германии появляется "Rosa Jesuitica", где упоминается, что символ розы был католическим и имел отношение к Деве Марии еще до того, как стал символом розенкрейцеров и предполагалось, что оба ордена должны быть солидарны, а розенкрейцеры — только одна из новых формулировок иезуитской мистики, используемых населением реформированной Германии.

Я припоминаю слова Салона о том, с какой злостью отец Кирхер ставил к позорному столбу розенкрейцеров, и это в то время, когда он говорил о глубинах земного шара.

— Отец Кирхер,— сказал я,— является центральным персонажем этой истории. Почему этот человек, который столько раз доказывал, что умеет быть наблюдательным и что он обладает вкусом к экспериментам, утопил пару хороших идей в тысячах страниц немыслимых гипотез? Он переписывался с лучшими английскими учеными, и в каждой его книге поднимаются типичные проблемы розенкрейцеров. Он делает вид, будто противопоставляет себя им, а на самом деле стремится присвоить их идеи, представить их версию в качестве своей, враждебной Реформе. В первом издании "Fama" господин Хазельмайер, приговоренный иезуитами к галерам за свои реформистские идеи, непрерывно подчеркивает, что настоящими добрыми иезуитами являются они, розенкрейцеры. Ну хорошо. Кирхер пишет свои тридцать с чем-то томов, чтобы доказать, что настоящими добрыми розенкрейцерами являются иезуиты. Иезуиты попытаются наложить руку на План. Отец Кирхер хочет изучать маятники, и он делает это, но по-своему, изобретая плане-

тарные часы, чтобы знать точное время в каждом из филиалов Братства, разбросанных по всему свету.

— Но как иезуиты узнали, что существует План, ведь тамплиеры погибали, но не признавались? — спросил Диоталлеви. Ответ, что иезуиты всегда знают на йоту больше дьявола, ничего не стоил. Мы хотели иметь более подходящее объяснение.

Вскоре мы его нашли. И снова Гийом Постель. Листая историю иезуитов Кретино-Жоли (сколько мы насмеялись над этим несчастным именем!), мы установили, что Постель, охваченный мистическим неистовством и жадой духовного возрождения, прибыл в 1544 году к святому Игнатию Лойоле в Рим. Игнатий принял его восторженно, но Постелю не удалось отвлечься от своих *idees fixes*, своей каббалистики, своего экуменизма, что не могло прийтись по вкусу иезуитам, и менее всего им нравилась идея наиболее *fixe*, ради которой Постель не пошел бы ни на какие уступки, а именно — что Властелином Мира должен стать король Франции. Игнатий был святым, но святым испанским.

Таким образом, в один прекрасный момент произошел разрыв: Постель покинул иезуитов или иезуиты выставили его за дверь. Но если Постель был иезуитом, хоть и короткий период времени, то должен был поведать святому Игнатию, которому поклялся в послушании *perinde ac cadaver*, о своей миссии. "Дорогой Игнатий,— вероятно, сказал он ему,— знай, что, принимая меня, ты принимаешь тайну Плана тамплиеров, недостойным французским представителем которых я являюсь. Мы даже будем вместе ожидать третьей мирской встречи 1584 года, будем ожидать *ad maiorem Dei gloriam*.

Итак, благодаря Постелю и его минутной слабости иезуиты узнали о тайне тамплиеров. Такой секрет надо использовать. Святой Игнатий отходит в вечное блаженство, но его последователи не спускают глаз с Постеля. Они хотят знать, с кем он встретится в этом роковом 1584 году. Увы, Постель умирает раньше, и даже то, что в момент смерти у его изголовья (как утверждает один из наших источников) находился неизвестный иезуит, ни к чему не привело: иезуиты так и не узнали, кто является его преемником.

— Извините, Казобон,— вмешался Бельбо,— по-моему, здесь что-то не стыкуется. Если все это так, то иезуиты не могли знать, что в 1584 году встреча не состоялась.

— Однако не следует забывать,— заметил Диоталлеви,— что, по словам язычников, иезуиты были людьми, сделанными из железа, и нелегко было водить их за нос.

— О, если рчь идет об этом,— признал Бельбо,— один иезуит съест с кашей двух тамплиеров за завтраком и двух за обедом. Они тоже были распущены, и не раз, при этом надо добавить, что к их роспуску были причастны все правительства Европы, однако они все еще существуют.

Надо было влезть в шкуру иезуита. Что делать иезуиту, если Постель выскальзывает из рук? У меня сразу возникла идея, но такая дьявольская, что даже наши сатанисты, я полагаю, не смогли бы ее проглотить: движение розенкрейцеров придумано иезуитами!

— После смерти Постеля,— предположил я,— иезуиты (а известно, как они были коварны) с математической точностью рассчитали путаницу с календарями и решили взять на себя инициативу. Они устраивают гигантскую мистификацию с розенкрейцерами, точно просчитав, что в результате этого получится. Среда экзальтированных людей, попавшихся на крючок, неожиданно появляется некто из числа подлинных представителей ядра. Можно представить себе гнев Бэкона: Фладд, глупец, ты не мог держать язык за зубами?! Но, виконт, My Lord, я думал, что это наши... Кретин, разве я не учил остерегаться папистов? Это тебя надо было сжечь, а не несчастного из Нолы!

— В таком случае,— сказал Бельбо,— почему иезуиты или работавшие на них их католические полемисты нападали на розенкрейцеров как на еретиков и одержимых дьяволом, когда те переместились во Францию?

— Надеюсь, вы не предполагаете, что иезуиты работали так прямолинейно? Иначе, что это были бы за иезуиты?

Мы долго обсуждали мое предложение и наконец единодушно решили, что лучше всего придерживаться первоначальной гипотезы: розенкрейцеры были приманкой, подброшенной французам бэконистами и немцами. Но как только появились

манифесты, иезуиты почуяли, чем пахнет. И немедленно включились в игру, чтобы смешать все карты. Очевидно, что целью иезуитов было воспрепятствовать соединению английской и немецкой групп с французской. И здесь любая хитрость была хороша, даже самая подлая.

Одновременно они собирали всякие доносы, накапливали информацию и скрывали это... где? "В Абулафии", — пошутил Бельбо. Но Диоталлеви, который в это время сам добывал документы, сказал, что не стоит шутить. Иезуиты абсолютно точно конструировали огромный, сверхмощный электронный калькулятор, который должен был дать заключение по поводу скрупулезно собранной столетней галиматии, обрывков правды и лжи.

— Иезуиты, — сказал Диоталлеви, — поняли то, о чем ни бедные тамплиеры из Провэнса, ни бэконовское крыло еще не имели представления, то есть что можно добиться восстановления карты посредством комбинаторики, используя операции, предвосхищающие операции самых современных электронных мозгов! Иезуиты первыми изобрели Абулафию! Отец Кирхер изучил все трактаты по искусству комбинаторики начиная с Луллия. И посмотрите только, что он опубликовал в своем "Ars Magna Sciendi"...

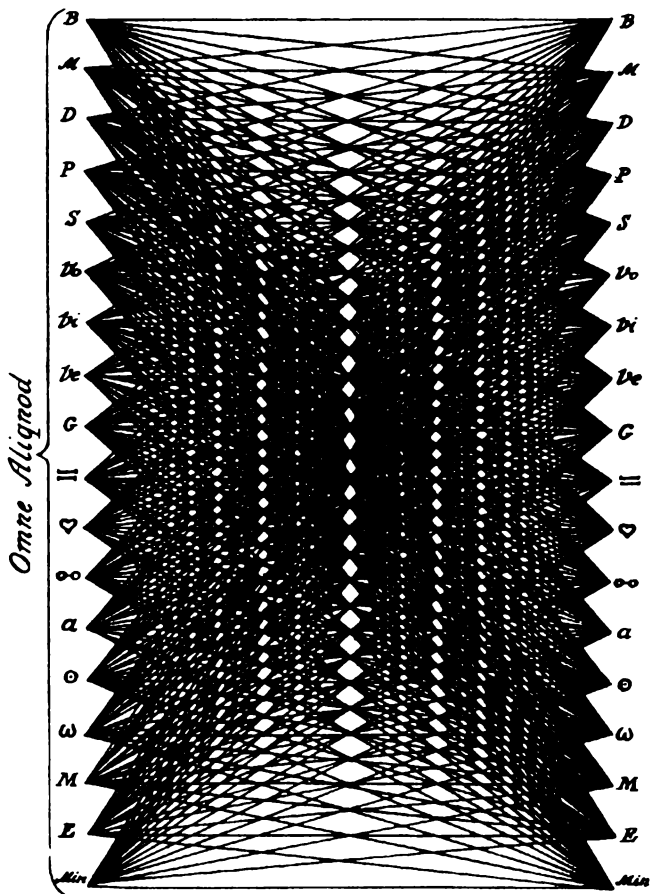
— Мне это напоминает кружева, выполненные крючком, — заметил Бельбо.

— Ну, нет же, господа, это все возможные перестановки с элементами. Расчет с факториалом, как в "Sefer Jesirah". Размещения и перестановки — сама основа Темуры.

Так оно и было. Одно дело создать расплывчатый проект Фладда, чтобы найти карту исходя из полярной проекции, другое — знать, сколько нужно проб и суметь их сделать, чтобы прийти к оптимальному решению. А прежде всего, одно дело создать абстрактную модель всех возможных перестановок и совсем другое — сконструировать машину, способную привести эти перестановки в действие.

Как Кирхер, так и его ученик Скотт проектируют маленькие механические органы, приспособления для перфокарт, компьютеры ante litteram, основанные на бинарном счете. Каббала, применимая к современной механике.

IBM: Iesus Babbage Mundi, Iesum Binarium Magnificamur.
 AMDG: Ad Maiorem Dei Gloriam? И далее: Ars Magna, Digitale
 Gaudium! IHS: Iesus Hardware & Software!



В лоне самых мрачных потемок сформировалось общество новых существ, которые общаются, хотя вроде бы одни других никогда не видели, договариваются, хотя ничего друг другу не объясняли, служат друг другу, хотя и без симпатий... Это общество вобрало в себя от уклада иезуитов слепое повиновение, от франкмасонства — испытания и внешние церемонии, от тамплиеров — подземные заклинания и неслыханную храбрость... Возможно, графу де Сен-Жермену удалось нечто большее, чем подражание Гийому Постелю, манией которого было выдавать себя за более старого, чем он был на самом деле?

(Marquis de Luchet. *Essai sur la secte des illuminés*,
Париж, 1789, V и XII)

Иезуиты поняли, что если необходимо дестабилизировать противника, то наилучшим способом будет создать тайные секты, дожидаться, пока туда вступят опасные энтузиасты, и затем всех их арестовать. Или же, если вы опасаетесь заговора, организуйте его сами и таким образом все, кто мог бы к нему примкнуть, попадут под ваш контроль.

Я вспомнил замечание, которое Аглиз высказал относительно Рамсея, первым установившего прямую связь между масонством и тамплиерами: он намекает на то, что Рамсея связывало нечто с католическими кругами. Действительно, уже Вольтер обвинял Рамсея в том, что он человек иезуитов. На факт рождения английского масонства иезуиты откликнулись из Франции появлением шотландских неотамплиеров.

Это позволяет понять, почему в ответ на заговор в 1789 году некто маркиз де Люше анонимно опубликовал свое знаменитое "*Essai sur la secte des illuminés*", где атакует иллюминатов всех сортов — Баварских и любых других: невзирая на то, были ли они анархистскими антиклерикалами или мистическими неотамплиерами, он сваливает их всех в одну кучу (невероятно, как все кусочки нашей мозаики постепенно и наилучшим образом становятся на место!), вплоть до павликиан, не говоря уже о

Постеле и Сен-Жермене. Он сокрушается о том, что эти формы мистицизма тамплиеров лишают вероятности масонство, которое, напротив, было обществом по-настоящему смелых и честных людей.

Бэконисты придумали масонство, как "Рикс Бар" в Каса-бланке, иезуитские неотамплиеры уничтожили их идею, а Люше был направлен в качестве killer для уничтожения всех групп, которые не были бэконовскими.

Но при этом мы должны учитывать и другой факт, который бедному Аглиэ не внушал доверия. Почему де Мэстр, человек иезуитов, за добрых семь лет до появления маркиза де Люше, направился в Вильгельмсбад, чтобы посеять раздоры между неотамплиерами?

— Движение неотамплиеров успешно развивалось в первой половине восемнадцатого века,— сказал Бельбо,— а к концу века оказалось в плачевном состоянии. Во-первых, потому, что им завладели революционеры, для которых все — между Богом Разума и Высшим Существом — подчинялось тому, чтобы обезглавить короля, считал Калиостро; а во-вторых, потому, что в Германии в дело вмешались немецкие принцы (и прежде всего — Фридрих Прусский), цели которых, несомненно, совпадали с целями иезуитов. Когда мистический неотамплиеризм, кем бы он ни был придуман, создал "Волшебную флейту", люди Лойолы решили от него избавиться, и это вполне нормально. Совсем как в сделках: приобретаешь компанию, перепродаешь, ликвидируешь, доводишь до банкротства, увеличиваешь ее капитал,— все это зависит от общего плана, тебя не заботит, чем закончит простой консъерж. Или как со старой машиной: когда она перестает ездить, ты отправляешь ее на свалку.

В настоящем масонском кодексе нельзя найти другого Бога, кроме Мани. Это бог масона-каббалиста, бог древних розенкрейцеров, бог масона-мартиниста... Впрочем, все подлости, приписываемые тамплиерам, приписываются также манихеям.

(Abbé Barruel. *Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme*, Гамбург, 1798, 2, XIII)

Стратегия иезуитов стала нам понятной, когда мы открыли отца Баррюэля. Между 1797 и 1798 годами, откликаясь на Французскую революцию, он пишет свои "*Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme*", настоящий роман-фельетон, который начинается (вдумайтесь!) со времен тамплиеров. Последние после сожжения на костре Моле преобразовались в тайное общество, целью которого было уничтожение монархии и папства, а также создание мировой республики. В XVIII веке они овладевают франкмасонским движением вольных каменщиков, которое становится послушным орудием в их руках. В 1763 году основывают Литературную Академию, в состав которой вошли Вольтер, Тюрго, Кондорсе, Дидро, д'Аламбер и которая собиралась у барона д'Хольбаха. В Академии постоянно готовили заговоры, что привело к созданию в 1776 году движения якобинцев. Кто же является марионетками в руках истинных шефов, Баварских иллюминатов — цареубийц по призванию?

Это нечто лучшее, чем свалка машин. Разделив, с помощью Рамсея, масонство на два крыла, иезуиты его снова воссоединили, чтобы нападать по всему фронту.

Книга Баррюэля произвела определенный эффект: в Национальном архиве находится по меньшей мере два полицейских доклада о подпольных сектах, затребованных Наполеоном. Эти доклады подготовлены неким Шарлем де Беркхаймом, который — как это делают все секретные службы, вылавливающие информацию из различных публикаций, — не нашел ничего лучшего, как тупо скопировать вначале книги маркиза де Люше, а затем — Баррюэля.

Располагая описаниями иллюминатов, от которых кровь стынет в жилах, и резкими изобличениями директории Неведомых Настоятелей, стремящихся господствовать над миром, Наполеон не колеблясь решает стать на их сторону. Он назначает своего брата Жозефа великим мэтром Великого Востока, а сам, если верить многочисленным источникам, вступает в контакты с масонством и, если верить другим источникам, становится в нем сановником высокой степени. Хотя четко не ясно, какого обряда. Может быть, всех — того требовала предусмотрительность!

Нам не известно, о чем был осведомлен Наполеон, но не будем забывать, что он немало времени провел в Египте и, кто знает, с какими мудрецами беседовал в тени пирамид (там даже ребенку понятно, что те знаменитые сорок веков были ясным намеком на Герметические Традиции).

Но он должен был знать гораздо больше, если в 1806 году созвал ассамблею французских евреев. Официальный повод был банальным — попытка уменьшить ростовщический процент, убедиться в преданности еврейского меньшинства, найти новые источники финансирования... Однако это не объясняет, почему он решил назвать эту ассамблею Великим Синедрионом, вызывая в памяти идею директории Настоятелей, более или менее Неведомых. В действительности же коварный корсиканец ориентировался на представителей иерусалимитов и стремился снова объединить различные разрозненные группы.

— И не случайно в 1808 году войска маршала Нея оказались в Томаре. Вы улавливаете связь?

— Мы здесь именно для того, чтобы улавливать связь.

— Теперь Наполеон, готовясь к войне с Англией, держит в руках почти все европейские центры, а через посредство французских евреев — иерусалимитов. Кого ему еще не достает?

— Павликиан.

— Точно. А мы еще не решили, где они поселились. Но Наполеон подсказывает нам это, направившись на их поиски в Россию.

Не имея возможности в течение веков покинуть славянские территории, павликиане, естественно, реорганизовались под вывесками различных мистических русских сект. Одним из влиятельных советников Александра I был князь Голицын, связанный с некоторыми сектами мартинистской направленности. А кто в России за дюжину лет до Наполеона в качестве полномочного представителя Савойи устанавливает связи с мистическими кругами Санкт-Петербурга? Де Мэстр.

В то время он недоверчиво относился к любой организации иллюминатов, которые, по его мнению, ничем не отличались от иллюминистов, то есть людей просвещения, несущих ответственность за кровавую бойню революции. Почти дословно повторяя Баррюэля, он говорил о сатанистской секте, которая хотела овладеть миром, и, возможно, подразумевал Наполеона. Если же наш великий реакционер решает соблазнить мартинистов, то это потому, что предвидел, благодаря своему проницательному уму, что последние, вдохновляемые теми же источниками, что французские и немецкие неотаплиеры, были, однако, поборниками единственной, еще не развращенной западными идеями группы — павликиан.

Тем временем стало очевидным, что план де Мэстра не имел успеха. В 1816 году иезуиты были изгнаны из Санкт-Петербурга, и де Мэстр возвратился в Турин.

— Согласен,— сказал Диоталлеви,— мы нашли павликиан. Уберем со сцены Наполеона, который, конечно, не достиг своих целей. В противном случае с острова Святой Елены одним мановением руки он заставил бы содрогаться своих врагов. А что происходит сейчас в среде этих людей? Я теряю голову.

— Половина из них ее уже потеряла,— успокоил его Бельбо.

О, как вы хорошо разоблачили эти адские секты, прокладывающие дорогу Антихристу... Однако есть одна из них, которую вы затронули лишь мимоходом.

(Письмо капитана Симонини к Баррюэлю,
отрывок из *La civiltà cattolica*, 21.10.1882)

Маневр Наполеона с евреями склонил иезуитов к корректровке курса. "Mémoires" Баррюэля не содержат никакого намека на евреев. Но в 1806 году Баррюэль получает письмо от некоего капитана Симонини, который напоминает ему, что Мани и Старец с Гор были евреями, что движение франкмасонов было основано евреями и что евреи проникли во все существующие тайные общества.

Письмо Симонини, умело распространенное в Париже, поставило в затруднительное положение Наполеона, который как раз прибыл для установления контактов с Великим Синедрионом, что, конечно, обеспокоило павликиан, так как в те годы Священный Синод Московской Православной Церкви заявил: "Наполеон намеревается объединить сейчас всех евреев, которых гнев Божий рассеял по Земле, он хочет, чтобы они разрушили Церковь Христа и провозгласили Его настоящим Мессией"

Добрый Баррюэль поддерживает мысль, что этот заговор не только масонский, но и жидо-масонский. Между прочим, идея этого сатанинского заговора была удобна для нападения на нового врага, то есть на общество "Сбыт продуктов угольного производства" и, следовательно, отцов-антиклерикалов Возрождения, от Мазини до Гарибальди.

— Но все это имело место в начале девятнадцатого века,— напомнил Диоталлеви.— Тогда как великое антисемитское наступление началось в конце века публикацией "Протоколов Мудрецов Сиона". И "Протоколы" появляются в русских кругах. Это была инициатива павликиан.

— Естественно,— подтвердил его Бельбо.— Не подлежит сомнению факт, что на этом этапе иерусалимитская группа разделилась на три группы. Первая через испанских и прован-

сальских каббалистов присоединилась к крылу неотамплиеров; вторая была поглощена бэконовским крылом, из которого вышли ученые и банкиры. Именно на них обрушились иезуиты. Что касается третьей группы, то она обосновалась в России. Русские евреи — это в основном мелкие коммерсанты и ростовщики, потому на них и косятся бедные крестьяне. Благодаря тому, что еврейская культура — это культура Книги и все евреи умеют читать и писать, то они в своей значительной части пополняют ряды либеральной и революционной интеллигенции. Павликиане являются мистиками, реакционерами, они тесно связаны с феодалами, таким образом они проникли в высшее общество. Очевидно, что между ними и иерусалимитами не может произойти слияния. Итак, они заинтересованы в дискредитации евреев, а через евреев — научились этому у иезуитов — они ставят в затруднительное положение своих внешних врагов, а также неотамплиеров и бэконистов.

В этом не было никакого сомнения. Со всей мощью и сатанинским террором, царствование короля — триумфатора Израиля — приближалось к нашему невозрожденному миру; король, рожденный из крови Сиона, Антихрист, приближается к трону всемирной державы.

(Сергей Нилус. *Эпилог к Протоколам*)

Идея была приемлемой. Достаточно установить, как попали "Протоколы" в Россию.

Один из наиболее влиятельных мартинистов конца века Папюс очаровал Николая II во время визита царя в Париж, затем прибыл в Москву и взял с собой некоего Филиппа, точнее Филиппа Низьера Ансельма Вахода. Этот Ваход, одержимый дьяволом в шесть лет, целитель в тринадцать, гипнотизер в Лионе, также восхитил Николая II и его истеричную супругу. Филипп был приглашен ко двору, назначен медиком военной академии в Санкт-Петербурге, произведен в генералы и статские советники.

Его противники решили тогда противопоставить ему особу, ниспосланную свыше, которой удалось бы подорвать его авторитет. И нашли Нилуса.

Нилус был монахом-пилигримом, в сутане из грубой шерсти он бродил (а что еще он должен был делать?) по лесам, являя длинную бороду пророка, двух жен, одну девочку и одну ассистентку или любовницу, причем все они благоговейно внимали каждому слову, слетавшему с его уст. Наполовину духовный наставник из тех, которые в определенный момент исчезают с полной кассой, наполовину отшельник из тех, кто кричит, что конец света близок. И действительно, его навязчивой идеей были козни Антихриста.

План сторонников Нилуса состоял в том, чтобы посвятить его в попы и женить (одной женой больше, одной меньше) на Елене Александровне Озеровой, фрейлине царицы, поскольку благодаря этому он мог бы стать духовником царской семьи.

— Я человек мягкий,— сообщил Бельбо,— но начинаю подозревать, что убийство семьи Романовых было похоже на операцию по истреблению крыс.

В итоге в определенный момент сторонники Филиппа обвинили Нилуса в распутной жизни, и только Бог знает, не были ли они правы. Нилус вынужден был покинуть двор, но кто-то пришел ему на помощь, передав текст "Протоколов". А поскольку все путали мартинистов (вдохновляемых Сен-Мартеном) с мартинезистами (преданными Мартинесу де Паскуалли, который мало нравился Аглиэ) и поскольку ходили слухи, что Паскуалли — еврей, то дискредитируя евреев, развенчивали мартинистов, а дискредитируя мартинистов, устраняли влияние Филиппа.

Первая, неполная версия "Протоколов" появилась уже в 1903 году в санкт-петербургской газете "Русское знамя", которой руководил воинствующий антисемит Крушеван. В 1905 году с благословения правительственной цензуры эта версия была дополнена и в виде книги под названием "Источник наших несчастий" издана предположительно неким Бутоми, участвовавшим с Крушеваном в создании Союза Русского Народа, известного впоследствии под названием "Черная Сотня", которая для осуществления погромов и крайне правых покушений объединила обыкновенных преступников. Бутоми, на этот раз под своим именем, публикует очередной опус — "Враги человеческой расы — Протоколы из секретных архивов центральной канцелярии Сиона".

Но речь шла о дешевых брошюрах. Расширенная версия "Протоколов", о которой позднее заговорили во всем мире, появилась в 1905 году в третьем издании книги Нилуса "Великое в Малом: Антихрист и неминуемая политическая неизбежность", которая вышла в свет в Царском Селе под эгидой местного отделения Красного Креста. В ее основе лежали пространные мистические размышления. Вскоре эта книга попала в руки царя. Митрополит Московский предписал читать ее во всех московских церквях.

— Но какая связь между "Протоколами" и нашим Планом? —

спросил я.— Здесь постоянно говорят об этих "Протоколах", может быть, мы их прочтем?

— Нет ничего проще,— сказал Диоталлеви.— Их постоянно кто-нибудь переиздает. Когда-то это делали, демонстрируя негодование, затем, мало-помалу, публикация начала доставлять удовольствие.

— Таковы уж эти язычники.

Единственным обществом, которое мы знаем и которое было бы способно конкурировать с нами в этом искусстве, могло быть общество иезуитов. Однако мы смогли их дискредитировать в глазах глупых плебеев, и все потому, что их организация была видимой, в то время как мы действуем за кулисами, заботясь о сохранении тайны.

(Протоколы, V)

"Протоколы" представляют собой двадцать четыре программных пункта, приписываемых Мудрецам Сиона. Намерения этих Мудрецов показались нам достаточно противоречивыми: то они хотят упразднить свободу печати, то призывают к либерализму. Они критикуют либерализм, но, кажется, являются выразителями программы, которую левые радикалы приписывают мультинациональным союзам, включая те ее пункты, которые предусматривают возможность использования спорта и визуального воспитания для одурманивая масс. В целях захвата мирового господства они анализируют различные приемы, восхваляют силу золота. Они полны решимости содействовать революциям во всех странах, используя недовольство народа и дезориентируя его путем провозглашения либеральных идей. И в то же время поощряют неравенство. Они думают над тем, как утвердить повсеместно президентские режимы, контролируемые фигурантами, людьми Мудрецов. Они стремятся инспирировать войны, увеличивать производство оружия и (о чем также говорил Салон) строить метрополитены (подземные!), чтобы иметь возможность минировать большие города.

Они говорят, что цель оправдывает средства, поощряют антисемитизм, чтобы держать в кулаке несчастных евреев и разжалобить страданиями последних сердца язычников (путь дорогостоящий, говорил Диоталлеви, но эффективный). С наивным простодушием они утверждают: "Нами движут безграничное честолюбие и всепоглощающая алчность, мы охвачены чувством безжалостной мести и обжигающей ненависти" (тем самым демонстрируя изощренный мазохизм, поскольку на каж-

дом шагу воспроизводят устоявшийся образ скверного еврея, образ, который уже использовался в антисемитской прессе и который, без всякого сомнения, должен был украсить обложки всех изданий их книги). Они выступают за отмену изучения произведений писателей-классиков и античной истории.

— В общем и целом,— отметил Бельбо,— Мудрецы Сиона — это банда кретинов.

— Не стоит так шутить,— сказал Диоталлеви.— Эту книгу восприняли очень серьезно. Меня поразила одна вещь: желая представить книгу как насчитывающий много столетий еврейский заговор, ее фактический материал соотносят с французской полемикой конца века. Кажется, ссылка на визуальное воспитание, используемое для оболванивания масс, намекает на образовательную программу Леона Буржуа, который вводит девятерых масонов в состав своего правительства. В другом фрагменте содержится совет голосовать за лиц, скомпрометировавших себя в Панамском скандале, а таковым был и Эмиль Любэ, который в 1899 году стал президентом республики. Упоминание о метро объясняется тем, что в то время правые газеты выступили с протестом против того, что среди акционеров кампании по строительству метрополитена было слишком много евреев,— причина, в силу которой выдвигались предположения, что текст был составлен во Франции в последнее десятилетие XIX века, а значит — во времена дела Дрейфуса, для того, чтобы ослабить либеральный фронт.

— Но не это меня поразило,— сказал Бельбо.— Чувство *déjà vu*. Все сводится к тому, что Мудрецы докладывают о плане завоевания мира, а мы уже где-то эти слова слышали. Стоит лишь только отбросить некоторые ссылки на факты и проблемы прошлого века, заменить подземные туннели метрополитена подземельями Провэна, всякий раз вместо "евреи" читать "тамплиеры", а вместо "Мудрецы Сиона" — "Тридцать Шесть Невидимых, разделившихся на шесть банд"... Друзья мои, да ведь перед нами Ордонанс из Провэна!

Voltaire lui-même est mort jésuite: en avoit-il le moindre soupçon?

(F.N.de Bonneville. *Les Jésuites chassés de la Maçonnerie et leur poignard brisé par les Maçons*,
Orient de Londres, 1788, 2, c.74)

Все давно происходило на наших глазах, но мы не отдавали себе в этом полного отчета. На протяжении шести веков шесть групп боролись за осуществление Плана из Провэнза, и каждая из них использует схему текста, изменяет лишь объект и приписывает авторство Плана своему противнику.

После того как розенкрейцеры появились во Франции, иезуиты заменяют план его негативным отпечатком: дискредитируя розенкрейцеров, они дискредитируют идеи последователей философии Бэкона и нарождающегося английского масонства.

Стоило только иезуитам изобрести неотамплиеризм, как маркиз де Люше приписывает этот план неотамплиерам. Отрекшись от неотамплиеров, иезуиты исповедуют учение Баррюзля, идеи которого по сути своей не отличаются от воззрений Люше. Но теперь их относят ко всем вольным каменщикам вместе взятым.

Бэконовский контрвыпад. Внимательно изучив документы, имеющие отношение к полемике, которая развернулась в либеральной и антиклерикальной прессе, мы обнаружили, что от Мишле и Кинэ до Гарибальди и Жоберти авторство Ордонанса относилось на счет иезуитов (и не от самого ли тамплиера Паскаля и его друзей исходит такая идея?). Эта тема становится популярной с появлением "Вечного жида" Эжена Сю и персонажа-злодея господина Родэна — воплощения мирового иезуитского заговора. Но у Сю мы обнаружили нечто гораздо большее. Текст, казалось, был копией — хоть и появился на полвека раньше — "Протоколов", причем слово в слово. Речь шла о последней главе "Тайн народа". Поистине сатанинский план иезуитов, вплоть до малейших преступных деталей, излагается в документе, посланном генералом Общества отцом Ротаном

(лицом историческим) господину Родэну (персонажу "Вечного Жида"). А вот что писал своему другу-демократу Родольф де Жерольштайн (один из героев "Парижских тайн"), к которому случайно попали "Протоколы": "Посмотрите только, мой дорогой Лебрэнн, какой адский замысел, какие несказанные страдания, какие ужасные деспотизм и тиранию он уготавливает Европе и миру, если по какой-либо несчастной случайности будет воплощен в жизнь..."

Чем не предисловие Нилуса к "Протоколам"? И разве Сю не приписывал иезуитам девиз (который, как мы уже знаем, в "Протоколах" приписывался евреям): "Цель оправдывает средства".

Вряд ли кому-нибудь потребуются иные доказательства того, что эта степень Розового Креста была ловко введена тайными руководителями франкмасонов... Сходство ее доктрины, ненависти и кощунственной деятельности с Каббалой, гностиками и манихеями указывает на ее авторство, то есть на евреев-каббалистов.

(Mons. Léon Meurin, S.J. *La Franc-Maçonnerie, Synagogue de Satan*, Париж, Retaux, 1893, с.182)

С появлением "Тайн Народа" иезуиты поняли, что Ордонанс вменяется в вину именно им, и, прибегнув к тактике защиты, которая еще никогда никем не применялась, завладели письмом Симонини и обвинили в авторстве Ордонанса евреев.

В 1869 году Гужено де Муссо, известный автор двух книг о магии XIX века, издает свое произведение под названием "Les Juifs, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens", где утверждает, что евреи используют Каббалу и поклоняются Сатане, в свете того, что тайные связи напрямую ведут от Каина к гностикам, тамплиерам и масонам. Де Муссо получает специальное благословение от папы Пия IX.

Однако история Плана, воспетая Сю, была подхвачена другими людьми, которые не были иезуитами. Много лет спустя произошла невероятная, почти криминальная история. "Таймс" после появления "Протоколов", которые он воспринял очень серьезно, в 1921 году представил информацию о том, что один русский помещик, по убеждениям монархист, укрывшийся в Турции, приобрел у бывшего офицера тайной русской полиции, беженца, поселившегося в Константинополе, старые книги, среди которых было издание без обложки, но на корешке можно было прочесть надпись "Жоли", и с предисловием 1864 года. Оно, похоже, являлось литературным источником "Протоколов". "Таймс" в результате поисков, проведенных в Британском Музее, обнаружил оригинал книги Мориса Жоли "Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel", изданной в Брюсселе (однако была сделана ссылка на Женеву, 1864 год). Морис Жо-

ли не имел ничего общего с Кретино-Жоли, но необходимо было исследовать эту аналогию, определенно имевшую какое-то значение.

Книга Жоли представляла собой либеральный памфлет на Наполеона III, в котором Макиавелли, воплощавший собой цинизм диктатора, ведет спор с Монтескье. За эту революционную инициативу Жоли был арестован, провел пятнадцать месяцев в тюрьме и в 1878 году покончил жизнь самоубийством. Программа евреев из "Протоколов" почти слово в слово повторяла то, что Жоли вложил в уста Макиавелли (цель оправдывает средства), а через Макиавелли — в уста Наполеона. И все же "Таймс" не обратил внимания (зато это сделали мы) на то, что Жоли совершенно беспардонно скопировал документ Сю, появившийся на свет по крайней мере на семь лет раньше.

Писательница-антисемитка, некая Неста Вебстер, увлеченная теориями заговора и Неведомых Настоятелей, в свете того, что "Протоколы" стали банальной и глупой копией, блеснула гениальной интуицией, которая может быть свойственна только истинному иницианту или искателю инициантов. Согласно ее версии, Жоли был инициирован и в совершенстве знал план Неведомых Настоятелей, но поскольку он ненавидел Наполеона III, то приписал авторство плана ему, однако это не означает, что план не существовал бы независимо от Наполеона. А поскольку план, описанный в "Протоколах", в точности соответствует планам, которые обычно составляют евреи, значит, он и есть еврейским планом. Нам же оставалось лишь исправить ход рассуждений мадам Вебстер, следуя ее собственной логике: поскольку План полностью соответствовал плану, который должны были придумать тамплиеры, он и принадлежал тамплиерам.

А впрочем, наша логика основывалась на фактах. Нам очень понравилось дело с пражским кладбищем. Оно было связано с именем некоего Германа Гедше, занимавшего скромный пост почтового служащего в Прусской империи. Этот человек уже однажды опубликовал сфабрикованные документы с целью дискредитации демократа Вальдека, которого обвинял в попытке

покушения на короля Пруссии. После того как подлог был обнаружен, он стал редактором печатного органа консервативно настроенных крупных собственников "Die Preussische Kreuzzeitung". Затем под псевдонимом сэр Джон Рэтклифф принялся сочинять сенсационные романы, в том числе издал в 1868 году "Biarritz". Именно в этом произведении он запечатлел оккультистскую сцену, которая разыгралась на пражском кладбище, весьма похожую на собрание иллюминатов, описанное Дюма в "Джузеппе Бальзамо", где Калиостро, предводитель Неведомых Настоятелей, среди которых находится Сведенборг, замышляет заговор с подвесками королевы. На пражском кладбище собрались представители двенадцати израильских племен, чтобы обсудить план покорения мира.

В 1876 году в одном русском памфлете была приведена сцена из "Biarritz", но так, словно событие это имело место в жизни. То же самое сделает в 1818 году во Франции журнал "Le Contemporain". При этом утверждалось, что информация почерпнута из достоверного источника, а именно — от английского дипломата сэра Джона Редклиффа. В 1896 году некий Бурнан в своей книге "Les Juifs, nos contemporains" повторяет описание сцены на пражском кладбище, уверяя, что подрывную речь произнес великий раввин Джон Ридклиф. Позже утверждали, что, наоборот, настоящего Ридклифа привел на это фатальное кладбище Фердинанд Лассаль, еврей и социалист.

Все эти планы более или менее соответствуют планам, описанным несколько ранее, в 1880 году "Журналом Исследований Еврейства" (антисемитским), где опубликовано два письма, авторство которых приписывалось евреям, жившим в XV веке. Евреи из Арле, подвергшись преследованиям, обращаются за помощью к своим братьям из Константинополя, а те им отвечают: "Любимые Моисеевы братья, если французский король заставляет вас принять христианство, вам ничего не остается, как это сделать, однако сохраните закон Моисеев в ваших сердцах. Если же вас лишат вашего состояния, сделайте так, чтобы дети ваши занимались торговлей и тем самым понемногу отбирали состояние у христиан. Если же будут покушения на вашу жизнь, пусть ваши дети станут врачами и фармацевтами,

дабы могли отбирать жизнь у христиан. Если разрушат ваши синагоги, пусть ваши дети станут канониками и церковнослужителями, чтобы разрушить их церкви. Если же вы подвергнетесь другим унижениям, пусть ваши дети станут адвокатами и нотариусами, и, вмешиваясь в государственные дела всех стран, вы сможете поработить христиан, обрести владычество над миром и отомстить им за все”.

Далее речь шла о плане иезуитов, и, возвращаясь назад,— об Ордонансе тамплиеров. Некоторые изменения, минимальные перестановки. “Протоколы” говорили сами за себя. Таким образом, абстрактный план заговора приписывался всем заговорам и кочевал из одного в другой.

И когда мы были уже готовы восстановить отсутствующее звено цепи, связывающей всю эту историю с Нилусом, мы наткнулись на Рачковского, начальника ужасной Охранки, тайной царской полиции.

Надежное прикрытие необходимо всегда и везде. Наша сила проистекает в значительной степени от скрытности. Вот почему нам всегда приходится скрываться под названием другого общества.

(Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Illuminaten-Orden, 1794, с. 165)

Именно в эти дни, перечитывая произведения наших сатанистов, мы обнаружили, что в ходе всех своих перевоплощений граф де Сен-Жермен однажды стал Ракоцким: по крайней мере именно когда он пребывал в этом образе, его опознал посланник Фридриха II в Дрездене. А ландграф де Хессе, в доме которого якобы умер Сен-Жермен, утверждал, что покойный был родом из Трансильвании, а его предки носили фамилию Рагоцки. К этому стоит добавить, что Коменский посвятил свою "Пансофию" (произведение, написанное, бесспорно, в духе розенкрейцеров) одному ландграфу (сколько ландграфов в этой истории!) по фамилии Раговский. И последний элемент мозаики. Роясь в букинистической раскладке на площади Каstellо, я обнаружил немецкую книгу о франкмасонстве, автор которой не был указан, но на авантитуле рукой неизвестного было дописано, что авторство принадлежит некоему Карлу Авг. Раготски. А поскольку фамилию Ракоски носил таинственный человек, который, возможно, убил полковника Арденти, то мы располагали возможностью включить нашего графа де Сен-Жермена в План.

— Не наделяем ли мы излишним могуществом этого авантюриста? — озабоченно поинтересовался Диоталлеви.

— Да нет, так и должно быть, — ответил Бельбо. — Это необходимо, как соевый соус в китайских блюдах: если его нет, то это не китайское блюдо. Посмотри на Аглиз, который прекрасно ориентируется в ситуации: он не принял Калиостро или Виллермоза как возможные модели поведения. Сен-Жермен — это квинтэссенция Гомо Герметикус.

Петр Иванович Рачковский. Жизнерадостный, лстивый, хищный и хитрый гениальный фальсификатор. Начал с того,

что, будучи мелким чиновником, вошел в контакт с революционными группами и в 1879 году был арестован тайной полицией и обвинен в предоставлении убежища приятелям-террористам, покушавшимся на жизнь генерала Дрентеля. Он переходит на сторону полиции и записывается (внимание, внимание!) в Черную Сотню. В 1890 году в Париже ему удается обнаружить организацию, которая изготавливала бомбы, предназначенные для покушений в России, и он арестовывает шестьдесят три террориста. Десять лет спустя стало известно, что эти бомбы были сделаны его людьми.

В 1887 году он распространяет письмо раскаявшегося революционера, некоего Иванова, в котором утверждается, что большинство террористов — евреи, а в 1890 году — *"confession par un vieillard ancien révolutionnaire"*, где скрывавшиеся в Лондоне революционеры обвиняются в принадлежности к британской разведке. В 1892 году — поддельная статья Плеханова, обвиняющая руководство партии "Народная Воля" в издании этого "раскаяния".

В 1902 году Рачковский предпринимает попытку создать франко-российскую антисемитскую лигу. Для этой цели он использует близкую розенкрейцерам тактику: утверждает, что такая лига существует, для того, чтобы кто-то впоследствии действительно ее создал. Однако при этом не забывает и о другой тактике: крупницы правды смешивает с фальшью, правду явно отрицает, и благодаря этому никто не задумывался над тем, что же на самом деле является вымыслом. В Париже он распространяет таинственное воззвание к французам в поддержку Лиги Русских Патриотов, штаб-квартира которой находится в Харькове. В этом воззвании он предпринимает нападки на себя самого как на человека, жаждущего провала Лиги, и предсказывает, что он, Рачковский, пересмотрит свои взгляды. Он также обвиняет сам себя в том, что в своей деятельности использует совершенно дискредитировавших себя людей, таких как Нилус, что полностью соответствует истине.

Почему авторство "Протоколов" можно приписать Рачковскому?

Покровителем Рачковского был министр Сергей Витте, прогрессивно настроенный человек, желавший превратить Россию в современное государство. Одному Богу известно, почему он решил при этом воспользоваться услугами реакционера Рачковского, но мы уже были готовы ко всему. У Витте был политический противник в лице Ильи Ционского, который однажды выступил против него в печати с полемическими заметками, напоминавшими отдельные главы "Протоколов". Однако труды Ционского не содержали намека на евреев, поскольку он сам был иудейского происхождения. В 1897 году Рачковский по приказу Витте производит обыск в доме Ционского в Территате и обнаруживает там памфлет, замысел которого был заимствован из книги Жоли (или же из книги Сю) и в котором Витте приписывались идеи, присущие Макиавелли — Наполеону III. Будучи гением фальсификации, Рачковский заменяет фамилию Витте словом "евреи" и пускает текст гулять по свету. Имя Ционского как бы случайно наводило на мысль о Сионе, и при желании дело можно было представить так, будто один авторитет из евреев обличает еврейский заговор. Вот как появились на свет "Протоколы". Именно в этот период их текст попал в руки Юлианы, или Устины, Глинки, которая бывает в Париже в кругах госпожи Блаватской, а в свободные минуты составляет доносы на русских революционеров, находящихся в эмиграции. Глинка, бесспорно, является агентом павликиан, которые, в свою очередь, имеют тесные связи с помещиками и жаждут убедить царя в том, что программа Витте подобна программе международного заговора евреев. Глинка передает документ генералу Оргеевскому, а тот через начальника царской гвардии — царю. Итак, Витте оказался в весьма затруднительном положении.

Так увлеченный антисемитизмом Рачковский навлек опалу на своего покровителя. А возможно, тем самым и на себя самого. Действительно, начиная с этого периода следы его теряются. Может быть, Сен-Жермен воплотился в кого-нибудь другого. Между тем наша история обрела осмысленные и рациональные очертания, поскольку основывалась на цепочке фактов,

настолько же реальных, насколько реально существование Господа Бога нашего, как говорил Бельбо.

Все это возвращало меня к рассказу Де Анжелиса о Синарии. Прелесть всей этой истории — несомненно, нашей истории, но, возможно, также Истории, как утверждал Бельбо, смотря на меня горящим взглядом и показывая свои записи — состояла в том, что в смертельной схватке различные группировки истребляли друг друга, используя одно и то же оружие.

— Первая задача хорошего агента,— констатировал я,— довести как на агента на кого-то из тех, в чью среду ему удалось проникнуть.

Бельбо принялся рассказывать:

— Мне вспоминается одна история, случившаяся в ***. Я постоянно встречал в сумерках на улице, в черном автомобиле марки балилла парня, которого звали Ремо или как-то похоже. Черные усы, черные выщипанные волосы, черная рубашка, черные, ужасно порченные зубы. Он целовал девушку. Я чувствовал отвращение к этим черным зубам, прикасавшимся к прекрасному существу с белокурыми волосами; и хотя я совершенно не помню ее лица, но для меня она была воплощением одновременно чистой девственности и проститутки, воплощением вечной женственности. И зело от того содрогался.— Понимая, что его уносит в сторону на нежных волнах воспоминаний, он нарочно прибег в последней фразе к этому выпендрочно-ироничному стилю.— Я часто спрашивал себя и других, почему этот чернорубашечник Ремо безбоязненно появлялся на виду у всех даже тогда, когда в *** не было фашистов. Мне объяснили, что ходят слухи, будто он — разведчик партизан и выполняет их задание. И вдруг совершенно неожиданно однажды вечером я увидел его в той же черной балилле, с теми же черными зубами, целовавшего ту же девушку, но уже одетого в рубашку цвета хаки, с красным галстуком на шее. Он перешел на сторону Гарибальдийских бригад. По этому случаю все его приветствовали, а он объявил, что принял боевой псевдоним Х9, как у героя Алекса Раймонда, приключенческие романы которого читал в "Аввентюрозо". "Ты храбрец, Х9!" — говорили ему... А я

ненавидел его еще больше, потому что теперь он обладал девушкой как бы с согласия народа. Нашлись и такие, которые утверждали, будто он — фашистский шпион, проникший к партизанам, но, думаю, это были те, кто сам желал заполучить девушку; однако — Х9 все же находился под подозрением...

— А что случилось потом?

— Простите, Казобон, а почему вас так интересуют мои дела?

— Потому что вы о них рассказываете, а рассказы — это факты коллективного воображения.

— Good point. Так вот, однажды утром Х9 отправился за город. Возможно, он назначил девушке свидание где-то в поле, подальше от этой проклятой дыры, собираясь доказать, что его член не так изъеден, как зубы (простите, но мое отношение к этому человеку с тех пор не стало лучше), короче говоря, фашисты устроили ему ловушку, завлекли в город и на следующий день расстреляли в пять часов утра.

Молчание. Бельбо рассматривал свои руки, которые сложил вместе словно во время молитвы. Затем он развел их в стороны и произнес:

— Это доказывает, что он не был шпионом.

— А смысл притчи?

— А кто вам сказал, что притчи должны иметь смысл? Однако, если хорошо поразмыслить, возможно, это свидетельствует о том, что коль хочешь что-нибудь доказать, приходится умереть.

Ego sum qui sum.

(Исход, 3, 14)

Ego sum qui sum. An axiom of hermetic philosophy.

(Г-жа Блаватская. *Разоблаченная Изида*, с. 1.)

— Кто ты такой? — вместе спросили триста голосов, и одновременно двадцать шпаг сверкнули в руках сидевших ближе других призраков...

— Ego sum qui sum, — ответил он.

(Alexandre Dumas. *Joseph Balsamo*, II)

Я встретился с Бельбо на следующее утро.

— Вчера мы сочинили неплохие страницы для романа с продолжением, — сказал я ему. — Но если мы хотим создать более достоверный План, возможно, следует больше придерживаться действительности.

— Какой действительности? — переспросил он. — Может, только беллетристика и способна отразить настоящую реальность. Нас обманули.

— Кто?

— Нам внушили, что, с одной стороны, существует настоящее искусство, изображающее типичных персонажей в типичных ситуациях, а с другой — беллетристика, представляющая нетипичных героев и нетипичные ситуации. Я считал, что настоящий денди никогда не полюбит ни Скарлетт О'Хара, ни Констанцию Бонасье, ни тем более Перлу ди Лабон. Я развлекался такой литературой, чтобы выйти за тесные рамки жизненных правил. Мне она нравилась возможностью неожиданных поворотов. Так вот, это не так.

— Не так?

— Нет. Пруст был прав: скверная музыка отражает жизнь лучше, чем "Missa Solemnis". Искусство обманывает нас и успокаивает, оно подсовывает нам мир таким, каким его видят артисты. Беллетристика, внешне созданная для развлечений,

представляет мир таким, каким он есть на самом деле, или по крайней мере таким, каким он будет. Женщины больше похожи на Миледи, чем на Люцию Монделла, Фу Манчу более реален, чем Мудрый Натан, а История больше напоминает историю, рассказанную Сю, чем ту, в научных предсказаниях Гегеля. Шекспир, Мелвилл, Бальзак и Достоевский писали такую литературу. В жизни действительно случается то, что когда-то уже было описано в книгах.

— Это потому, что легче подражать беллетристике, чем настоящему искусству. Требуется немало усилий, чтобы стать Джокондой, а стать Миледи не представляется трудным в силу нашей природной склонности к легкости.

Диоталлеви, до сих пор молчавший, заметил:

— Посмотрите на нашего Аглиз. Для него легче подражать Сен-Жермену, чем Вольтеру.

— Да,— согласился Бельбо,— в глубине души женщины считают Сен-Жермена более привлекательным, чем Вольтера.

Несколько позже я обнаружил *file*, в котором Бельбо в литературной форме подводил итог нашим заключениям. Я говорю "в литературной форме" потому, что понимаю: для него было забавой восстановить этот эпизод, добавляя на свое усмотрение несколько связующих фраз. Я не могу припомнить всего, что он там цитировал, все случаи плагиата и заимствований, однако многие строки этого неистового коллажа показались мне знакомыми. В очередной раз убегая от тревог, которые несет История, Бельбо писал и возвращался к жизни посредством того, что написал.

FILENAME: возвращение Сен-Жермена

Пять веков назад длань мщенья Всемогущего направила меня из глубин Азии в эти земли. Я приношу с собой ужас, горе и смерть. Смелее вперед, ведь нотариусом Плана являюсь я, хотя другим это не известно. Мне приходилось видеть вещи и похуже, а ухищрения в Варфоломеевскую ночь стоили мне куда больших усилий, чем то, что предстоит сделать сейчас. О, почему мои губы змеятся в этой дьявольской улыбке? Я тот, кем я

есмы, если только проклятый Калиостро не отнял у меня все до последнего волоска.

Однако триумф уже близок. Когда я еще был Келли, Со-апез всему меня научил в лондонском Тауэре. Тайна состоит в том, чтобы уметь становиться кем-то другим.

При помощи искусных интриг мне удалось запереть Джузеппе Бальзамо в крепости Сан-Лео и завладеть его тайнами. Я больше не существую как Сен-Жермен, и все думают, что я — граф Калиостро.

На всех часах города пробило полночь. Какая неестественная тишина! В этом молчании нет ничего достойного внимания. Вечер прекрасен, хоть и очень холодный: луна на высоком небе ледяным светом освещает самые недоступные улочки старого Парижа. Должно быть, десять часов вечера: колокол аббатства Блэк Фрайерс своими ударами недавно отметил наступление восьми часов. Ветер заставляет мрачно скрипеть железные флюгеры на унылой поверхности крыш домов. Плотный слой облаков покрывает небо.

Капитан, мы держимся на плаву? Нет, наоборот, тонем. Проклятье, скоро "Патна" потонет; прыгай, Джим Конопляник, прыгай! Разве не отдал бы я бриллиант величиной с орех, лишь бы избавиться от этого страха? Держи круче к ветру, прочнее удерживай штурвал, ставь бизань, брамсель и все что хочешь, нас ждет гибель, внизу дует настоящий ветер!

Я скриплю зубами, и смертельная бледность охватывает мое восковое лицо зеленоватым пламенем.

Как оказался здесь я, человек, ставший воплощением мести? Черты в аду лишь презрительно улыбнулись бы слезам существа, угрожающий голос которого так часто заставлял их дрожать от страха во чреве их огненной бездны.

А, вот и факел.

На сколько ступенек я спустился, чтобы оказаться в этой норе? На семь? На тридцать шесть? Каждый камень, к которому я прикасался, каждый мой шаг таили в себе иероглиф. Когда я его найду, Тайна окажется в моих руках. Затем останется лишь ее расшифровать, а решение станет Ключом к Посланию, кото-

рое лишь одному посвященному, и только ему, сможет ясно поведать, какова же природа Энигмы.

Энигму от ее решения отделяет всего один шаг, и в ее блистательном свете возникает Иерограмма, которая позволяет истолковать вопросительную молитву. После этого всем станет известно об Арканах, вуали, саване, египетском гобелене, за которыми скрывается Пятиконечная Звезда. А отсюда — к свету, чтобы сообщить Пятиконечной Звезде Скрытый Смысл, Каббалистический Вопрос, на который не многие смогут дать ответ, чтобы громогласным голосом объявить о Непостижимом Знаке. Склонившись над ним, Тридцать Шесть Невидимых должны будут дать ответ и пояснить Руны, смысл которых открыт лишь для сынов Гермеса, и только им будет дана Печать Насмешки, Маска, за которой скрывается то, что они хотят обнажить,— Мистический Ребус, Высшая Анаграмма...

— Сатор Арепо! — кричу я голосом, который бы заставил задрожать даже гром.

Отложив в сторону колесо, которое он так уверенно держал своими руками убийцы, Сатор Арепо поспешил предстать предо мной. Я узнаю его, впрочем, я и так подозревал, кто он такой. Это Лучано, калека-экспедитор, которого Неведомые Настоятели назначили исполнителем моей гнусной и кровавой задачи.

— Известно ли тебе, Сатор Арепо,— насмешливо поинтересовался я,— какой окончательный ответ скрыт в Высшей Анаграмме?

— Нет, граф,— неосторожно ответил он,— и я хочу это услышать из твоих уст.

Мои бледные губы искривляются от адского хохота, гулко раздающегося под древними сводами.

— Мечтатель! Только настоящий инициант знает, как этого не знать!

— Да, учитель,— ответил тупой калека-экспедитор.— Как вам будет угодно. Я готов.

Мы в подземных трущобах Клиньянкура. В эту ночь я прежде всего отомщу тебе, первой тебе, которая научила меня благородному ремеслу преступника. Я должен отомстить тебе

за то, что притворяешься, будто любишь меня, и что еще хуже — сама веришь в это, и лишенным имен врагам, с которыми ты проведешь ближайший уикенд. Лучано, ненужный свидетель моих унижений, подставит мне свое плечо — единственное — а затем умрет.

В полу норы устроен люк в подземелье, *réservoir*, подземный кишечник, используемый с незапамятных времен для хранения контрабандного товара. Подземелье необыкновенно сырое, поскольку стены его соприкасаются с парижской канализацией, лабиринтом преступного мира, и от этого соседства они источают несказанную вонь; перегородка настолько тонка, что достаточно при помощи Лучано, вернейшего слуги в преступных делах, проделать в стене отверстие, и вода хлынет в подвал, заставив обрушиться и так шатающиеся стены, *réservoir* соединится с канализацией, где сейчас плавают толстые гниющие крысы, и тогда темная поверхность подземелья, что сейчас виднеется сквозь люк, станет преддверием ночной гибели: далеко, далеко Сена, затем — море...

Из люка свешивается веревочная лестница, закрепленная за верхний край, на которой, почти касаясь воды, устраивается с ножом Лучано: одна рука его крепко ухватилась за верхнюю перекладину, вторая сжимает огромный нож, а третья готова схватить жертву. "А теперь сиди тихо и жди,— говорю я ему,— увидишь, что будет".

Я убедил тебя убрать всех мужчин со шрамами — пойдем со мной, будь навеки моей, давай избавимся от этих назойливых существ, я хорошо знаю, что ты их не любишь, сама об этом говорила, мы будем только вдвоем, ты и я, да еще подземные течения.

Ты как раз вошла, надменная, словно весталка, скрюченная и сварливая, как ведьма — о, адское видение, ты, от которой содрогается вся моя многовековая утроба и грудь сжимается в тисках желания, о, пленительная мулатка, ведущая меня к гибели. Я разрываю тонкую батистовую сорочку, которая украшала мою грудь, ногтями прорываю в ней кровавые борозды и ощущаю, как страшный жар обжигает мне губы, холодные, словно длань змия. Я не в силах сдержать глухой рев, который поднимается из самых глухих закоулков моей души и проры-

вается сквозь галерею моих звериных зубов — мое "я", кентавр, изрыгаемый из глубин Тартара,— и почти не слышно, как летит саламандра, я же подавляю рев и приближаюсь к тебе с ужающей улыбкой на лице.

— Дорогая моя София,— говорю я мягко и вкрадчиво, как способен говорить лишь тайный шеф Охранки.— Иди сюда, я ждал тебя, давай вместе скроемся во мраке,— и ты смеешься липким смешком, сморщившись, предвкушая наследство или добычу, рукопись "Протоколов", которую можно будет продать царю... Как хорошо ты умеешь скрывать под этим ангельским личиком свою сатанинскую природу; ты, целомудренно прикрытая андрогинными джинсами, почти прозрачной сорочкой, которая прячет позорную лилию, выжженную на белой коже твоего плеча палачом из Лилля!

Прибыл первый дурак, которого я заманил в эту ловушку. Я с трудом различаю черты его лица, скрытого капюшоном, но он показывает мне знак тамплиеров из Провэнса. Это Соапез, наемный убийца группы из Томара.

— Граф,— говорит он,— долгожданный момент наступил. Слишком долго мы были рассеяны по свету. У вас есть последняя часть послания, у меня — та, которая появилась в самом начале Великой Игры. Но это уже другая история. Давайте объединим наши силы, а остальные...

Я завершаю фразу за него:

— ...А остальные пусть идут к чертям. Подойди к центру зала, брат мой, там стоит ларец, а в нем то, что ты ищешь столько веков. Не бойся темноты, она не угрожает, а защищает.

Этот дурачок двигается почти на ощупь. Глухой, едва уловимый звук. Он упал в люк, и Лучано, поймав его у самой воды, вонзает острие ножа, молниеносно подрезает горло, потоки пузырящейся крови вливаются в kloкочущую навозную жижу.

Стук в дверь.

— Это ты, Дизразли?

— Да, я,— отвечает незнакомец, в котором мои читатели

без труда узнают великого магистра английской группы, находящегося уже на самой вершине власти, но постоянно неудовлетворенного.

Он произносит:

— My Lord, it is useless to deny, because it is impossible to conceal, that a great part of Europe is covered with a network of these secret societies, just as the superficies of the earth is now being covered with railroads...

— Ты это уже говорил в Палате Общин 14 июля 1856 года, я все помню. Перейдем, однако, к делу.

Бэконовский еврей цедит сквозь зубы ругательства. Он продолжает:

— Их слишком много. Тридцать Шесть Невидимых превратились уже в триста шестьдесят. Умножь на два — и получишь семьсот двадцать. Вычти сто двадцать лет, по истечении которых открывается дверь, и получишь шестьсот, как во время атаки под Балаклавой.

Чертовски разумный человек, для которого цифры не представляют никакого секрета.

— И что из этого?

— У нас есть золото, а у тебя — карта. Давай объединим наши силы, и мы будем непобедимы.

Жестом, полным величия, я указываю на несуществующий ларец, и ему, ослепленному вожделием, кажется, что он его действительно видит в темноте. Идет, падает.

Зловещий блеск лезвия Лучано, и несмотря на темень, я замечаю, как в застывших зрачках англичанина замерло удивление. Правосудие свершилось.

Жду третьего — предводителя французских розенкрейцеров Монфокона де Вильяра, готового предать тайну общества, о чем я уже предупреден.

— Я граф де Габалис, — представляется этот фатоватый лжец.

Мне потребовалось немного слов, чтобы направить его шаги навстречу судьбе. Он проваливается, и жаждущий крови Лучано делает свое дело.

Ты улыбаешься мне в темноте, говоришь, что ты — моя, а значит, моя тайна станет твоей. Обольщайся, обольщайся, отвратительная карикатура Шехины. Да, я твой Симон, но погоди, ты еще не знаешь главного. А когда ты это узнаешь, то перестанешь знать.

Что еще добавить? Один за другим появляются остальные.

Отец Бресциани сообщил, что от немецких иллюминатов должна прибыть Бабетта Интерлаккен, правнучка Вайсхаупта, великая дева швейцарского коммунизма, которая выросла среди попоек, грабежей и крови, специалист по вытягиванию на свет Божий самых тайных секретов, вскрытию посланий без видимого нарушения печатей, подношению ядов по приказу своей секты.

Входит, прекрасный молодой демон преступности, одетая в шубу из меха белого медведя, длинные белокурые волосы струятся из-под дерзкой меховой шапочки, надменный взгляд, на лице — маска презрительности. Я без труда помогаю ей добраться до своей гибели.

О, ирония языка, этого дара, которым природа снабдила нас, чтобы мы могли умалчивать о таинственных извилинах нашей души! Иллюминатка становится жертвой Мрака. Я слышу, как она богохульствует, когда Лучано трижды вращает нож в ее сердце. *Déjà vu, déjà vu...*

Очередь Нилуса, который на минуту поверил в то, что будет обладать и царицей, и картой. Ты жаждал Антихриста, подлый, сластолюбивый монах? Он перед тобой, но ты не догадываешься об этом. И я направляю его, слепого, осыпая тысячами мистических иллюзий, к поджидающей его гнусной ловушке. Лучано крест-накрест вспарывает ему грудь, и Нилус погружается в вечный сон.

Я должен преодолеть вековое недоверие к последнему — Мудрецу Сиона, который, как утверждают, является Агасфером, Вечному Жиду, бессмертному, как я. В его слаща-

вой улыбке сквозит недоверие, на бороде еще не высохла кровь нежных христианских созданий, которых он, следуя обычаю, зверски убивает на пражском кладбище. Ему известно, что я Рачковский, одолеть его можно только хитростью. Я даю ему понять, что в ларчике находится не только карта, но еще и необработанные бриллианты, которые нужно огранить. Я знаю, какой властью обладают бриллианты над этой богоубийственной тварью. Он направляется к своему предназначению, подталкиваемый жадностью, и к своему Богу, жестокий и мстительный, богохульствуя в минуту смерти, пронзенный, как Хирам, и трудно ему посылать проклятия — он даже не может произнести имени своего Бога.

Как я был простодушен, полагая, что завершил Великое Дело!

Словно от порыва ветра дверь норы снова распаивается, и появляется фигура с мертвенно-бледным лицом, руками, сложенными на груди, и с бегающим взглядом, человеку этому никогда не скрыть своей природы, поскольку одет он в черные одежды своей черной Братии. Отпрыск Лойолы!

— Кретино! — восклицаю я, введенный в заблуждение.

Он поднимает руку жестом лицемерного благословения.

— Я не есть тем, кем есть, — отвечает он мне с улыбкой, в которой нет ничего человеческого.

И это правда, они всегда прибегали к такой технике. Временами отрицают даже сами перед собой собственное существование, а потом кричат о могуществе своего ордена, чтобы запугать людей нерадивых.

— Мы всегда не те, какими вы нас себе представляете, сыновья Велиала (говорит сейчас этот обольститель государей). Но ты, о Сен-Жермен...

— А откуда тебе известно, кто я на самом деле? — спрашиваю я, потрясенный.

Он угрожающе ослабил:

— Я знал тебя еще раньше, когда ты всеми силами пытался отдалить меня от смертного одра Постеля, когда под именем аббата Хербли я помог тебе завершить одно из твоих перевоплощений в самом сердце Бастилии (о, я до сих пор ощущаю

на лице эту железную маску, на которую обрекла меня Братия при помощи Кольбера!), я знал тебя еще тогда, когда следил, как ты плетешь сети заговора вместе с Хольбахом и Кондорсе...

— Родэн! — словно пораженный молнией воскликнул я.

— Да, Родэн, тайный генерал иезуитов! Тот самый Родэн, которого ты не заманешь в ловушку, как ты это сделал с остальными простофилями. Знай же, о Сен-Жермен, нет на свете таких преступлений и таких губительных ловушек, которых мы не изобрели бы до вас во славу Бога нашего, что оправдывает все средства! А сколько венценосных голов заставили мы пасть в ночь, после которой не наступил рассвет, путем куда более искусного обмана, дабы обрести владычество над миром. А теперь ты хочешь помешать мне, находящемуся в шаге от цели, прибрать к нашим алчным рукам тайну, которая в течение пяти веков движет мировой историей?

Говоря так, Родэн становится ужасен. На лице этого отпрыска Игнатия можно увидеть следы всех кровавых амбиций, святотатства и мерзостей, которые были присущи папам эпохи Возрождения. Я хорошо вижу: им владеет неудовлетворенная жажда власти, от которой бурлит его зловонная кровь, вгоняя его в пот и распространяя вокруг него тошнотворный запах.

Как нанести удар этому последнему врагу? Внезапно мне на помощь пришла интуиция, которая могла быть наживкой лишь для тех, перед которыми вот уже долгие века человеческая душа обнажена.

— Посмотри на меня,— сказал я.— Я тоже Тигр!

Одним рывком я вытолкнул тебя на середину зала, содрал с тебя сорочку, разорвал плотно облегающую броню, которая скрывала прелести твоего бронзового брюха, теперь ты в бледном свете луны, проникающем через приоткрытую дверь, выпрямляешься, более красивая, чем змий, соблазнивший Адама, гордая и сладострастная, девственница и проститутка, облаченная лишь в силу своего тела, ибо нагая женщина — вооруженная женщина.

Египетская газовая ткань покрывает твои густые волосы, грудь волнуется под легким муслином. Вокруг маленького лба, выпуклого и упрямого, обвилась золотая змейка с изумрудными

глазами, угрожая с твоей головы тройным рубиновым жалом. О, эта твоя туника из черного газа, отвсечивающая серебристыми искорками, стянутая шарфом, расшитым мрачными ирисами, вся в черных жемчужинах! Твой манящий, выступающий лобок — выбритый, чтобы взоры любовников могли наслаждаться наготой, достойной статуи! Твои соски, изнеженные кисточкой невольницы из Малабара, окрашены тем же кармином, который обагрят губы, манящие к себе словно открытая рана!

Родэн тяжело дышит. Длительное воздержание, жизнь, проведенная в мечтаниях о могуществе, умножают охватившую его непреодолимую страсть. При виде этой прекрасной и доступной королевы с черными, как у демона, глазами, округлыми плечами, благоухающими волосами, с белоснежной, нежной кожей Родэна охватило вождление, страстное желание познать неведомые ему доселе ласки, несказанное наслаждение, и он весь внутренне содрогнулся, как леший, подглядывающий за обнаженной нимфой, которая смотрит в воду, куда канул Нарцисс. Стоя напротив света, я представляю себе его безумную гримасу. Родэн напоминает сейчас окаменевшую Медузу, вылепленную в стремлении познать запоздалую мужественность, и теперь, ему на погибель, он весь охвачен пламенем вождления; он натянут, как лук, который должен сломаться от такой силы натяжения.

Вдруг он падает на пол, пресмыкаясь перед этим видением, и вытягивает вперед руку, словно умоляя о капле живительного эликсира.

— О, как ты красива! — хрипит он. — О, эти маленькие зубки молодой волчицы, которые так сверкают, когда ты открываешь твой алый пухлый ротик... О, твои большие изумрудные глаза, которые то искрятся, то изнемогают в истоме. О, демон желаний!

Еще бы, негодяй, ведь теперь она колышет бедрами, обтянутыми прозрачной синеватой тканью, и выставляет лобок, чтобы довести флиппер до последней стадии безумства.

— О, видение, будь моим, — выкрикивает Родэн, — будь моим хоть на одну секунду и озари этим мигом жизнь, проведенную в служении ревнивому божеству, успокой вспышкой сладострастия вечность в пламени, куда толкает меня один твой

вид. Умоляю тебя, прикоснись губами к моему лицу, о моя Анти-нея, моя Мария Магдалина, ты, которую я желал при виде впадавших в экстаз праведниц, которую я страстно желал, лицемерно восхищаясь ликами девственниц, о моя Богиня, ты красива, как солнце, светла, как луна, и я отрекаюсь от Бога и его святых, от самого Римского Понтифика, и даже более — отрекаюсь от Лойолы и преступной клятвы, связывающей меня с Братством, молю тебя об одном-единственном поцелуе, и пусть после этого я умру!

Он продвинулся еще на один шаг вперед на заскорузлых коленях, с сутаной, задравшейся на бедрах, с рукой, вытянутой к этому недостижимому счастью. Вдруг он упал на спину, и казалось, что глаза вылазят у него из орбит. Ужасные конвульсии исказили его черты — так выглядят лица мертвецов, через которых пропустили разряд электрического тока. На губах появилась синеватая пена, а изо рта вырывалось придушенное, с присвистом дыхание, как при достигшей своей последней стадии гидрофобии, потому что в фазе пароксизма эта ужасная болезнь сатириазис, как удачно заметил Шарко, возмездие за развратную жизнь, принимает такие же формы, что и бешенство.

Это конец. Родна душит беспричинный смех. После чего он замертво валится на пол и превращается в остывающий труп.

В один миг он лишился рассудка и умер проклятым.

Я ограничился тем, что подтянул тело к люку, осторожно, чтобы не запачкать свои высокие лакированные остроносые башмаки о грязную сутану последнего врага.

В уносящем жизни ноже Лучано на этот раз нет надобности, но мой опричник уже не способен контролировать свои действия. Он с хохотом протыкает ножом уже бездыханное тело.

Теперь я подвожу тебя к самому краю люка, лаская твою шею и волосы на затылке, и когда ты склоняешься над ямой, чтобы полюбоваться, что там происходит, спрашиваю:

— Ты довольна своим Рокамболом, моя неприступная любовь?

И когда ты сладострастно киваешь мне в ответ и язвительно смеешься, источая слюну, которая капает в бездну, я

совсем незаметно сжимаю пальцы, что ты делаешь, любимый, ничего, София, я убиваю тебя, я стал уже Джузеппе Бальзамо, и ты мне больше не нужна.

Испутив дух, любовница Архонтов камнем падает в воду, Лучано ударом ножа подтвердил приговор моих безжалостных рук, и я сказал:

— А теперь можешь выйти оттуда, верный вассал моей проклятой души.

Когда он, поднимаясь, повернулся ко мне спиной, я всадил ему между лопаток тонкий стилет с треугольным лезвием, который не оставляет почти никаких следов. Он сваливается вниз, я закрываю люк и покидаю нору, оставляя за собой восемь трупов, которые одному мне известными каналами плывут по направлению к Шатле.

Я возвращаюсь в свою маленькую комнатку в пригороде Сент-Оноре и смотрю в зеркало. "Вот,— говорю я себе,— я и стал Властелином Мира". Со своей башни я управляю Вселенной. Иногда от осознания своего могущества я испытываю легкое головокружение. Я господин энергии. Я опьянен всевластием.

Увы, жизнь мстит без промедления. Несколько месяцев спустя, в самом глубоком склепе замка в Томаре я, теперь уже безраздельный обладатель тайны подземных течений и господин шести священных мест, давних Тридцати Шести Невидимых, последний из последних тамплиеров и Неведомый Настоятель над всеми Неведомыми Настоятелями, решил сочетаться браком с прекрасной Чечилией, андрогинным существом с ледяным взглядом, от которого меня уже ничто не отделяет. Я нашел ее два века спустя, после того, как у меня ее забрал человек с саксофоном. И вот она уверенно ступает, удерживая равновесие, по спинке скамьи, голубая и белокурая, а мне до сих пор неизвестно, что скрывается у нее под воздушным тюлем.

Часовня вырублена в скале, над ее алтарем висит будоражащая картина, на которой представлены мучения грешников в чреве ада. Угрюмые монахи в капюшонах пропускают меня, я пока не чувствую тревоги, очарованный иберийской фантазией...

Но — о ужас! — полотно поднимается, а за ним, за этим прекрасным творением какого-то Арчимбольдо из бандитского притона, расположена еще одна часовня, похожая на ту, где я нахожусь, и там перед другим алтарем на коленях стоят Чечилия, а около нее — мой лоб покрывается холодным потом, волосы становятся дыбом — что это за человек, выставяющий напоказ свой шрам? Это тот, настоящий Джузеппе Бальзамо, которого кто-то освободил из карцера Сан-Лео!

А я? В эту минуту самый старший из монахов отбрасывает назад свой капюшон, и я узнаю жуткую улыбку Лучано, который неизвестно как спасся от моего стилета, от сточных вод и грязи, перемешанной с кровью; потоки должны были унести этого воскресшего покойника в молчаливую глубь океана, а он стоит передо мной и перешел на сторону врагов из жажды мести.

Монахи сбрасывают свои одежды и предстают передо мной в доспехах и белых мантиях, на которых огнем горят кресты. Это же тамплиеры из Провэнса!

Они хватают меня и заставляют обернуться назад: со спины ко мне приближается палач в сопровождении двух безликих помощников; мою голову засовывают в нечто, похожее на гарроту, и клеймят раскаленным железом, как всех узников, — мерзкая улыбка Бафомета навсегда останется у меня на плече; теперь я уже понимаю, что сделано это для того, дабы я занял место Бальзамо в Сан-Лео, иначе говоря, вернулся бы на место, предназначенное мне много веков назад.

"Но ведь они должны узнать меня, — говорю я себе, — и поскольку все полагают, что я — этот заклеенный, то кто-то придет мне на помощь, по крайней мере мои сообщники, — невозможно подменить одного узника другим так, чтобы этого никто не заметил, ведь мы живем не во времена Железной Маски... Иллюзии! Я понимаю это, как только палач наклоняет мою голову над медным тазом, от которого исходят зеленоватые испарения... Купорос!

Мне завязывают тряпкой глаза и тычут мое лицо в разъедающую жидкость, невыносимая режущая боль; кожа на щеках, на носу, на подбородке стягивается, трескается и облезает за один миг, и когда, потянув за волосы, мою голову приподни-

мают, лицо оказывается неузнаваемым: табес, оспина, невыразимая пустота, гимн отвращению; и я вернусь обратно в карцер, как возвращается множество беглецов, у которых хватает смелости обезобразить себя, чтобы не быть узанными.

А! — в бессилии кричу я, и как сказал бы повествователь, с моих губ, сгнивших губ, срывается одно-единственное слово, возглас надежды: Избавление!

Но избавление от чего, мой старый Рокамболь, я хорошо знал, что не должен стараться стать героем! Твои ухищрения обернулись возмездием. Ты издевался над писателями, произведения которых были посвящены обману, иллюзиям, а сейчас сам пишешь, используя машину в качестве алиби. Ты обольщаешься, когда слушаешь себя с экрана, и воображаешь, что эти слова принадлежат кому-то другому, думаешь, что остаешься зрителем, а на самом деле попал в ловушку и стараешься оставить хоть какой-то след на песке. Ты осмелился изменить текст романа мира, а романс мира втягивает тебя в свой сюжет, который придумали другие.

Лучше бы ты остался на своих островах, Джим Конопляник, а она бы считала тебя мертвым.

Национал-социалистическая партия не выносила тайных обществ, поскольку сама была тайным обществом со своим великим магистром, своей расистской гносеологией, своими ритуалами и своими инициациями.

(René Alleau. *Les sources occultes du nazisme*,
Париж, Grasset, 1969, с.214)

Кажется, именно в это период Аглиз ускользнул из-под нашего контроля. Это выражение употребил Бельбо, произнеся его неестественно равнодушным тоном. Лично я снова приписал это ревности. Влияние Аглиз на Лоренцу было его навязчивой идеей, с которой он молча боролся, а вслух смеялся над влиянием, которое Аглиз оказывал на Гарамона.

Возможно, в этом была и наша вина. Аглиз начал привлекать Гарамона на свою сторону почти год назад, со дня алхимического праздника в Пьемонте. Гарамон доверил ему картотеку АСС, чтобы он выловил в ней новые жертвы для увеличения каталога "Разоблаченной Изиды"; он советовался с ним по каждому вопросу и, несомненно, каждый месяц аккуратно выписывал чек на его имя. Гудрун, которая временами отправлялась в разведывательное путешествие в конец коридора, за стеклянную дверь, ведущую в туманное, непроницаемое королевство "Мануцио", доносила нам озабоченным тоном, что Аглиз практически занял кабинет госпожи Грации, диктовал ей письма, приглашал новых посетителей в кабинет Гарамона, короче говоря — и здесь от волнения Гудрун теряла еще больше гласных, — вел себя, как ее шеф. Нам следовало бы пораньше призадуматься, почему Аглиз проводит столько времени над списками адресов авторов издательства "Мануцио". У него было достаточно времени, чтобы обнаружить новых АСС, которые могли бы взяться за написание книг для "Разоблаченной Изидой". А вместо этого он продолжал писать, разговаривать с людьми, проводить совещания. Но, по существу, мы сами склонили его к тому, чтобы он вышел из-под нашей опеки.

Бельбо устраивала эта ситуация. Чем больше значил Аглиз на улице Маркезе Гуальди, тем меньше Аглиз присутствовал на

улице Синсеро Ренато, а это означало, что тем менее вероятным было то, что один из неожиданных визитов Лоренцы Пеллегрини — при которых он с каждым разом зажигался все больше и больше, не пытаясь скрыть своего возбуждения,— может быть прерван неожиданным появлением "Симона".

Такое положение дел устраивало и меня, поскольку я равнодушно относился к "Разоблаченной Изиде", — меня все больше затягивала история магии. Мне казалось, что у сатанистов я обучился всему, чему мог обучиться, и я отдал в руки Аглиэ все контакты (и договоры) с новыми авторами.

Диоталлеви тоже не имел ничего против в том смысле, что создавалось впечатление, будто жизнь все более теряла для него значение. Когда теперь я все вспоминаю, то осознаю, что мы тогда не замечали, с какой угрожающей быстротой он худел, и не раз приходилось видеть, как он сидел в кабинете, склонившись над какой-то рукописью, вперив взгляд в пустоту; мне казалось тогда, что ручка вот-вот выскользнет у него из рук. Это была не дрема, а крайняя степень истощения.

Однако существовала еще одна причина, по которой нас устраивало, чтобы Аглиэ появлялся у нас все реже и реже, отдавал нам не понравившиеся ему рукописи и затем скрывался в конце коридора. На самом деле нам не хотелось, чтобы он слышал, о чем мы говорим. Если бы нас спросили, почему, мы ответили бы, что из чувства стыдливости или деликатности, ведь мы занимались пародированием метафизики, в которую он так или иначе верил. А, по существу, речь шла о недоверии, постепенно мы обрели естественное самообладание людей, которые осознают, что располагают тайной, и шаг за шагом оттесняли Аглиэ в толпу профанов, поскольку мы все трое медленно и со все уменьшающимся количеством улыбок познавали то, что сами изобрели. Кроме того, как говорил Диоталлеви в редкие моменты хорошего настроения, теперь, когда мы создали настоящего Сен-Жермена, мнимый Сен-Жермен нам не нужен.

Внешне Аглиэ не принимал нашей сдержанности на свой счет. Он весьма вежливо и изысканно приветствовал нас, а затем исчезал. С аристократизмом, граничащим со спесью.

В один из понедельников я довольно-таки поздно появился в издательстве, и ожидавший меня с нетерпением Бельбо попросил зайти к нему, пригласив также и Диоталлеви.

— Важные новости! — заявил он.

Он готов был продолжить, но тут вошла Лоренца. Бельбо разрывался между радостью от ее прихода и нетерпеливым желанием поведать нам о своей находке. Почти тотчас же раздался стук в дверь, и на пороге появился Аглиз.

— Не хочу вам мешать, прошу вас, сидите. Не имею права прерывать совещание. Хотел бы только предупредить нашу дорогую Лоренцу, что я нахожусь в другом конце коридора, у господина Гарамона. И надеюсь, у меня есть возможность пригласить ее в полдень на рюмку черри в мой кабинет.

В его кабинет! На этот раз Бельбо вышел из себя. По крайней мере настолько, насколько у него получалось выходить из себя. Дождавшись, когда Аглиз закрыл за собой дверь, он сквозь зубы процедил:

— Ma gavte la nata!

Лоренца, которая все еще махала рукой вслед Аглиз, с веселым видом поинтересовалась, что это значит.

— Это на туринском диалекте. Означает: "вытащи свою пробку" или, если тебе так больше понравится, "извольте вытащить вашу пробку". Когда имеешь дело с чванливой и высокомерной особой, то предполагается, что ее раздувает от собственной спеси, словно воздушный шар, и что все это самонадувание и спесь держат ее тело в надутom состоянии благодаря вставленной в сфинктер пробке, которая обеспечивает все это аэростатическое величие, а значит, предложив собеседнику ее вытащить, вы хотите, чтобы он выпустил из себя воздух, чему нередко сопутствует пронзительный свист и уменьшение внешней оболочки до жалкого состояния истощенного, бескровного призрака былого величия.

— Я не знала, что ты настолько вульгарен!

— Теперь будешь знать!

Разыграв обиду, Лоренца вышла. Я знал, что Бельбо от этого стало только хуже: вспышка гнева успокоила бы его, но де-

монстрация наигранной обиды заставляла думать, что и проявления страсти у Лоренцы всегда театральны.

Наверное, поэтому он почти сразу же решительно произнес:

— Давайте продолжим.

Он хотел сказать, что пора продолжить работу над Планом, взяться за него серьезно.

— Что-то мне не хочется,— признался Диоталлеви.— Я себя неважно чувствую. Болит вот здесь,— он притронулся к животу.— Думаю, у меня гастрит.

— Скажите пожалуйста,— возмутился Бельбо,— а у меня что — не гастрит?... От чего у тебя может быть гастрит? От минеральной воды?

— Вполне возможно,— Диоталлеви с трудом выдавил улыбку.— Вчера вечером я поступил неразумно. Я привык к "Фугги", а не удержался и выпил "Сан Пеллегрино".

— Будь осторожен, такие излишества тебя погубят. Однако продолжим: я уже два дня умираю от желания все вам рассказать. Мне наконец стало известно, почему вот уже несколько веков Тридцать Шесть Невидимых не могли определить вид карты. Джон Ди ошибся, и нам необходимо пересмотреть всю географию. Мы живем внутри поллой Земли, окруженные земной оболочкой. И Гитлер понимал это.

Нацизм — это период, когда дух магии овладел рычагами материального прогресса. Ленин говорил, что коммунизм — это социализм плюс электрификация. В некотором роде гитлеризм — это обезьяничанье плюс танковые дивизии.

(Pauwels и Bergier. *Le matin des magiciens*,
Париж, Gallimard, 1960, 2, VII)

Бельбо удалось вставить в План даже Гитлера.

— Что написано пером, не вырубишь топором. Доказано, что основатели нацизма были связаны с тевтонским неотамплиерством.

— Это преувеличение.

— Я ничего не выдумываю, Казобон, по крайней мере в этот раз!

— Спокойно, разве мы хоть когда-нибудь что-либо выдумывали? Мы всегда исходили из объективных данных, во всяком случае из общепризнанных фактов.

— Точно так же мы поступим и в этот раз. В 1912 году на свет появился Германенорден, проповедовавший ариософию, то есть философию превосходства арийской расы. В 1918 году некий барон фон Зеботтендорф создает филиал этого движения под названием Туле Гесселльшафт — тайное общество, энную вариацию Ортодоксального Тамплиеровского Устава, но с очевидными расистскими, пангерманскими и проарийскими чертами. А в тридцать третьем этот же Зебеттендорф напишет, что именно он посеял зерна, которые затем взрастил Гитлер. Еще одна деталь: свастика появилась как раз в кругах Туле Гесселльшафт. И кто же вошел в Туле с момента его основания? Рудольф Гесс, проклятый вдохновитель Гитлера! А за ним Розенберг! И сам Гитлер! Кстати, возможно, вам приходилось читать в газетах о том, что в своей камере в Шпандау Гесс по-прежнему занимался эзотерическими науками. В двадцать четвертом фон Зеботтендорф издает брошюру об алхимии, где отмечает, что первые эксперименты по расщеплению атома служат подтверждением истинности Великого Дела. И он пишет

роман о розенкрейцерах! Кроме того, возглавляет астрологический журнал "Astrologische Rundschau", а Тревор-Ропер написал, что нацистские бонзы во главе с Гитлером и пальцем не пошевелият, пока им не составят гороскоп. Похоже, в 1943 году они обратились за помощью к группе медиумов для того, чтобы узнать, где находится арестованный Муссолини. Короче говоря, все нацистская элита была связана с тевтонским неоокультизмом.

Казалось, Бельбо совершенно позабыл о размолвке с Лоренцей, и я помогал ему в этом, подталкивая к продолжению нашего разговора.

— Вообще-то говоря, в этой связи можно подумать о гипнотическом влиянии Гитлера на толпу. Внешне он был плюгавенький, с писклявым голосом, как же ему удавалось доводить всех этих людей до исступления? Похоже, он обладал способностями медиума. Возможно, какой-то местный друид обучил его, как вступать в контакт с подземными течениями. И он стал как бы стержнем, биологическим менгиром. Он передавал энергию течений своим приспешникам, собравшимся на стадионе в Нюрнберге. Некоторое время это ему удавалось, а потом его батареи иссякли.

Всему миру: я заявляю, что Земля внутри полая и пригодна для жизни; она содержит некое число твердых сферических тел, концентрично расположенных, то есть одно тело помещено в другое, и что Земля открыта на обоих полюсах на широте двенадцати или шестнадцати градусов.

(Ж.Клев Симмес, пехотный капитан, 10 апреля 1818 года, цит. в: "Sprague" Кана и Лея, *Lands Beyond*, Нью-Йорк, Rinehart, 1952, X)

— Примите мои комплименты, Казобон: у вас оказалась точная интуиция, хотя вам многое неизвестно. Единственной непреодолимой страстью Гитлера были подземные течения. Гитлер был сторонником теории полой Земли, *Hohlweltlehre*.

— Дети мои, я ухожу, у меня разыгрался гастрит,— сказал Диоталлеви.

— Подожди, сейчас будет самое главное. Земля внутри полая, мы обитаем не снаружи, не на выпуклой коре, а внутри, на вогнутой ее поверхности. То, что мы считаем небом, представляет собой клубок газа, в котором местами встречаются светящиеся зоны, этот газ наполняет внутреннюю полость земного шара. Все астрономические измерения должны быть пересмотрены согласно этой теории. Небо не бесконечно и обладает своими границами. Солнце, если оно действительно существует, размерами не больше того, что мы видим. Это всего лишь тридцатисантиметровая частичка, находящаяся в центре. Об этом уже подумывали греки.

— Это все ваши выдумки,— устало произнес Диоталлеви.

— Это никак не назовешь моими выдумками! С этой идеей выступил в начале XIX века в Америке некий Симмес. Затем, к концу века она была подхвачена другим американцем, Тидом, который опирался на эксперименты в области алхимии и на книгу Исайи. А после первой мировой войны эта теория была усовершенствована одним немцем, имени которого я не могу припомнить, а лишь могу сказать, что он стал создателем движения *Hohlweltlehre*, которое, о чем говорит само название, отстаивало принцип полого строения Земли. Итак, Гитлер и его

приспешники находят, что теория полой Земли полностью соответствует их принципам, говорят, что некоторые снаряды "фау-1" не попадали в цель потому, что их траектория была рассчитана исходя из предпосылки, что Земля имеет вогнутую форму, а не выпуклую. Сам Гитлер полагал, что он является Властелином Мира, а нацистский верховный штаб — это Неведомые Настоятели. А где должен жить Повелитель Мира? Внизу, в подземелье, а не наверху. Исходя именно из этой теории Гитлер решает переиначить порядок научных поисков, концепцию окончательной карты и способ трактовки Маятника! Необходимо заново собрать шесть групп и с самого начала пересмотреть все подсчеты. Давайте рассмотрим принцип гитлеровских завоеваний... Первым из них стал Данциг, который по замыслу должен был предоставить ему контроль над традиционными местами пребывания тевтонской группы. Затем наступает время Парижа и Эйфелевой башни, где с помощью Маятника он вступает в контакт с синархическими группами, и в дальнейшем вводит их в правительство Виши. После этого Гитлер обеспечивает себе нейтральность, а по сути, союзничает с португальской группой. Четвертая цель очевидна — Англия, однако нам известно, что здесь не все было так просто. Параллельно он развязывает войну в Африке, желая достичь Палестины, но и в этом случае его ждет поражение. Тогда, завоевав Балканы и Россию, он добивается подчинения себе павликианских территорий. Когда ему кажется, что у него в руках находятся четыре шестых части Плана, он направляет Гесса с тайной миссией в Англию с предложением о перемирии. И поскольку последователи Бэкона не позволяют поймать себя на крючок, на Гитлера снисходит "озарение": теми, кто обладает наиболее значительной частью тайны, могут быть лишь извечные враги, евреи. И нет необходимости отправляться на их поиски в Иерусалим, где их осталось не так уж много. Фрагмент послания иерусалимской группы находится вовсе не в Палестине, а в руках одной из групп еврейской диаспоры. Все это и объясняет Великое Жертвоприношение.

— В каком смысле?

— Задумайтесь на минуту. Представьте себе, что вы хотите совершить акт геноцида...

— Прошу тебя, — взмолился Диоталлеви, — это уже чересчур, у меня болит желудок, я ухожу.

— Подожди, ради Бога, когда мы говорили о том, как тамплиеры потрошили сарацинов, тебе это было интересно, потому что с тех пор прошло немало времени; а теперь тебя одолевает морализм маленького интеллигентишки. Мы как раз стараемся пересмотреть основные пункты Истории, и ничто не должно нас пугать!

Мы почувствовали себя в плену его энергии и позволили ему продолжать.

— В геноциде евреев особенно поражает медлительность в использовании метода: сначала их держат голодными в лагерях, затем раздевают донага, затем душ, после чего длительное старательное хранение гор трупов, передача в архив одежды, списывание личных вещей... Этот метод не был бы рациональным, если бы речь шла только об убийстве. Рациональным он становится лишь тогда, когда речь идет о поиске, о поиске текста, который один из миллионов людей, представитель иерусалимской группы Тридцати Шести Невидимых, хранил где-нибудь в одежде, во рту, вытатуированным на коже... Только поисками Плана можно объяснить непонятную бюрократию геноцида! Гитлер ищет у евреев отправную мысль, благодаря которой с помощью Маятника он мог бы обнаружить точку, где под вогнутым сводом полой Земли пересекаются подземные течения, которые именно в этой точке, заметьте, как совершенна эта концепция, переходят в небесные течения, а это уже материализация, если можно так сказать, тысячелетних предположений герметистов через теорию полой Земли: то, что под, соответствует тому, что над! Таинственный Полус совпадает с Сердцем Земли, тайный замысел небесных тел — это то же, что и тайный замысел жителей подземной Агартхи, между небом и адом больше не существует никакой разницы, а Грааль, *lapis ex illis*, превращается в *lapis ex coelis* в том смысле, что становится Философским Камнем, который представляет собой оболочку, предел, границу, хтоническую матку небес! Гитлер пола-

гал, что когда ему удастся найти эту точку в пустом центре Земли, который совпадает с центром неба, он станет властелином мира, Королем которого он себя считал по праву расовой принадлежности. Вот почему до самого последнего момента в глубине своего бункера он надеялся отыскать Таинственный Полюс.

— Довольно! — заявил Диоталлеви. — Теперь мне действительно совсем плохо. У меня сильные боли.

— Ему действительно плохо, и не из-за идеологической полемики, — поддержал я его.

Кажется, до Бельбо это дошло только теперь. Он вскочил с места и бросился на помощь другу, который держался за край стола и, казалось, вот-вот потеряет сознание.

— Прости, старина, я, кажется, увлекся. Надеюсь, тебе стало плохо не от моего рассказа? Разве мы не обмениваемся такими анекдотами вот уже двадцать лет? Однако я вижу, тебе действительно плохо, может, это на самом деле гастрит? В таком случае достаточно одной таблетки гастрофарма. И грелка. Пошли, я помогу тебе добраться домой, и лучше всего вызвать врача. Береженного Бог бережет.

Диоталлеви заверил, что может добраться домой сам, на такси, и что он еще не при смерти. Ему необходимо было полежать. Да, он обещал сразу же вызвать врача. И вовсе не рассказ Бельбо довел его до такого состояния — еще вчера вечером он чувствовал себя очень неважно. От последних слов Бельбо, кажется, стало легче, и он проводил Диоталлеви до такси.

Вернулся он с озабоченным видом.

— Я только теперь задумался над тем, что вот уже несколько недель у этого парня скверный вид. Круги под глазами... Но, Боже, я уже десять лет назад должен был умереть от цирроза, но со мной ничего, а он живет как аскет, и у него гастрит, а может, еще что похуже; думаю, что это язва. К черту План. Мы все живем ненормальной жизнью.

— Полагаю, боль прекратится после таблетки гастрофарма.

— Я тоже так думаю. Но лучше, чтобы он к животу приложил грелку. Будем надеяться на его благоразумие.

Qui operatur in Cabala... si errabit in opere aut non purificatus accesserit, deorabitur ab Azazale.

(Pico della Mirandola. *Conclusiones Magicae*)

В конце ноября у Диоталлеви был приступ. На следующий день мы надеялись увидеть его на работе, но он позвонил и сказал, что его забирают в больницу. Доктор нашел, что симптомы его болезни не внушают опасений, но все же лучше провести обследование.

Мы с Бельбо связывали его болезнь с Планом, работа над которым зашла слишком далеко. Намеками мы убеждали друг друга, что подобная причина бессмысленна, но все равно не могли избавиться от чувства вины. Во второй раз мы с Бельбо оказались союзниками: однажды мы солидарно молчали (не отвечая на вопросы Де Анжелиса), а сейчас вместе говорили слишком много. Было глупо считать себя виновными в случившемся — тогда мы еще были в этом уверены, — но все же нам было как-то не по себе. Так, в течение месяца, а может и больше, мы не говорили о Плате.

Две недели спустя появился Диоталлеви и небрежным тоном заявил, что попросил у Гарамона отпуск для оздоровления. Ему предложили лечение, но он не очень распространялся по этому поводу, сказал только, что раз в два-три дня должен появляться в клинике и что после курса лечения, по его мнению, он немного ослабел. Не знаю, можно ли было ослабеть еще больше: лицо его теперь было того же цвета, что и волосы.

— И заканчивайте с этим делом, — добавил он. — Как видите, оно вредит здоровью. Это месть розенкрейцеров.

— Не беспокойся, — ответил, улыбаясь, Бельбо, — мы так надерем задницу твоим розенкрейцерам, что они оставят тебя в покое. Достаточно одного щелчка пальцами.

Лечение Диоталлеви продлилось до начала следующего года. А я погрузился в историю магии — настоящей, серьезной, а не такой, как наша, думал я. Гарамон как минимум раз в день появлялся на нашей территории и справлялся о Диоталлеви.

"Прошу вас, господа, сообщайте обо всем, что необходимо: лично я и все наше издательство постараемся сделать все возможное для нашего драгоценного друга. Для меня он как сын, даже более — как брат. Во всяком случае, слава Богу, мы живем в цивилизованной стране и, что бы там ни говорили, у нас превосходная социальная защита".

Аглиз проявил большую заботу: спросил у нас название клиники и перезвонил доктору, своему близкому другу (а кроме того, сказал он, брату одного АСС, с которым он поддерживает весьма сердечные отношения). Лечению Диоталлеви будут уделять особое внимание.

Лоренца тоже была обеспокоена. Она почти каждый день заходила в издательство Гарамона и интересовалась новостями. Прежде это сделало бы Бельбо счастливым, а теперь стало причиной весьма мрачного заключения. Бывая здесь, Лоренца ускользала от него, поскольку приходила не к нему.

Незадолго до Рождества я услышал обрывок разговора. Говорила Лоренца: "Вот увидишь, там прекрасный снег, и у них очень уютные комнатки. Ты сможешь покататься на лыжах. Ну?" Из этого я сделал вывод, что они собираются вместе встретить Новый год. Но на следующий день после праздника святой Епифании Лоренца появилась в коридоре издательства и Бельбо сказал ей: "Счастливого Нового года!", а когда она попыталась его поцеловать, он увернулся.

Выйдя отсюда, мы добрались до страны, название которой Милестр... где, говорят, обитал один по имени Старец с Гор... И приказал он возвести на самых высоких горах, окружавших равнину, высокую и толстую стену окружностью в XXX миль, а вход образовывали двое оккультных врат, которые были прорублены в каменной горе.

(Odorico da Pordenone. *De rebus incognitis*,
Impressus Esauri, 1513, разд.21, с.15)

Однажды, в конце января я шел по улице Маркезе Гуальди и увидел, что из издательства "Мануцио" выходит Салон.

— Я пришел поболтать со своим другом Аглиз,— объяснил он мне.

С другом? Насколько мне помнится праздник в Пьемонте, Аглиз отзывался о нем далеко не по-дружески. Что же это могло означать — желание Салона сунуть свой нос в дела "Мануцио" или же Аглиз использовал его Бог знает для какой связи?

Он не дал мне времени на размышление, предложив вместе выпить аперитив, и мы оказались у Пилада. Прежде мне никогда не приходилось его видеть в этих краях, однако он приветствовал старика Пилада так, словно они были давними знакомыми. Мы присели за столик, и он поинтересовался, как у меня дела с историей магии. Он и об этом знал! Я попытался выяснить, что ему известно о полой Земле и об этом Зеботтендорфе, которого цитировал Бельбо.

Он рассмеялся:

— Да, верно, что среди ваших посетителей есть немало сумасшедших. Об этой истории с полой Землей я ничего не знаю. Что же касается Зеботтендорфа, то это был престранный тип... Он осмелился вдолбить в голову Гиммлеру и его компании самоубийственные для немецкого народа идеи.

— И что это были за идеи?

— Восточные сказки. Этот человек держался подальше от евреев и просто обожал арабов и турок. А известно ли вам, что

на столе Гиммлера кроме "Mein Kampf" постоянно лежал Коран? В молодости Зеботтендорф увлекся какой-то турецкой инициатической сектой и принялся изучать исламскую гносеологию. Произносил "Фюрер", а думал при этом о Старце с Гор. А когда они все вместе создали СС, то думали об организации, которая полностью походила бы на ассасинов... Подумайте, почему во время первой мировой войны Германия и Турция заключили между собой союз...

— Но откуда все это известно вам?

— Кажется, я вам уже говорил, что мой бедный папочка работал на Охранку. Так вот, помню, в то время царская полиция была весьма обеспокоена деятельностью ассасинов, и первый сигнал подал Рачковский... Затем их оставили в покое, поскольку ассасины не были евреями, которые представляли собой главную опасность. Евреи вернулись в Палестину и заставили остальных выбраться из пещер. Однако история, о которой мы говорим, достаточно туманна, так что давайте поставим на этом точку.

Он сделал вид, словно жалеет о том, что сказал уже слишком много. Однако здесь произошла еще одна странная вещь. После всего того, что случилось, теперь я совершенно уверен, что это мне не привиделось, но тогда, глядя округлившимися глазами на то, как Салон, выйдя из бара, встретился на углу улицы с человеком явно восточного типа, я подумал, что у меня начались галлюцинации.

Как бы там ни было, Салон рассказал мне достаточно много, чтобы возбудить мое воображение. Старец с Гор и ассасины не были для меня неизвестными, в своей диссертации я даже однажды посвятил им несколько слов, приписывая тамплиерам связь с ними. Как мы могли об этом забыть?

Таким образом, я снова заставил работать свой мозг, а еще больше — пальцы, перебирая карточки со старыми записями, и меня озарила такая мысль, что я уже не мог сдерживаться.

Утром я ворвался в кабинет Бельбо.

— Они во всем ошибались! И мы во всем ошибались!

— Спокойнее, Казобон. Кто? О, Боже мой, вы опять о Плане! — Он секунду в нерешительности помолчал. — Знаете, у меня неприятные новости о Диоталлеви. Сам он ничего не говорил, и тогда я позвонил в клинику, но там мне кроме общих фраз не захотели ничего сказать, потому что я не его родственник, а у него нет родственников, кто же тогда о нем побеспокоится? Мне не понравились их недомолвки. Они сказали, что это что-то не представляющее особой опасности, однако терапевтического лечения недостаточно и лучше поместить его в больницу на какой-то месяц для хирургического вмешательства... Короче, они не хотят говорить все как есть, и эта история все больше начинает мне не нравиться.

Я не знал, что сказать в ответ, и принялся что-то листать, дабы отвлечь Бельбо от цели своего триумфального появления. Но он не выдержал первым. Был похож на азартного игрока, неожиданно увидевшего колоду карт.

— К черту! — воскликнул он. — К сожалению, жизнь продолжается. Говорите, что там у вас?

— Они ошибались. И мы ошибались во всем или почти во всем. Так вот: Гитлер действительно делал то, что делал, с евреями, однако потерпел в этом полный провал. В течение долгих веков почти во всем мире оккультисты изучали древнееврейский язык, пытаясь использовать знания, полученные в каббалистике, и максимум, что они могли вынести из этого — какой-то гороскоп. А почему?

— Ну... Потому что иерусалимская рукопись до сих пор где-то укрыта от посторонних глаз. Кроме того, насколько нам известно, никто не видел часть послания, находящуюся у павликиан...

— Такой ответ больше подошел бы Аглиз, но не нам. У меня есть кое-что получше. Евреи во всей этой истории ни при чем.

— В каком смысле?

— Евреи не имеют никакого отношения к Плану. И не могли иметь. Давайте попытаемся представить себе положение, в котором находились тамплиеры сначала в Иерусалиме, а затем в европейских командориях. Французские рыцари встречаются с рыцарями немецкими, португальскими, испанскими, итальян-

скими, английскими, и вместе они ведут дела с византийцами, особенно со своими противниками — турками. С этими противниками они не только сражаются, но, как мы уже это видели, ведут переговоры. Речь шла о вооруженных силах, разговоры велись между дворянами на основе равенства. А кем были палестинские евреи в то время? Религиозным, этническим и расовым меньшинством, к которому толерантно, со снисходительным уважением относились арабы и с которым весьма скверно обращались христиане: не следует забывать, что во время различных крестовых походов они по пути не раз сгоняли их в гетто, где происходила резня. Так можно ли предположить, что тамплиеры могли обмениваться тайной информацией с евреями, которых они на дух не переносили? Никогда в жизни! А в европейских командориях евреи занимались в основном ростовщичеством; их считали людьми подлого сословия, с которых можно драть шкуру и которым не следует доверять. Неужели, говоря об отношениях между рыцарями, думая о плане, составленном в рыцарском духе, можно себе представить, что тамплиеры из Провэнса связывали его осуществление с гражданами второго сорта? Никогда в жизни!

— Однако как тогда быть с магией эпохи Возрождения, с магией, которая придавала такое большое значение изучению Каббалы?..

— Волей случая мы приближаемся к третьей встрече, царит нетерпение, все ищут кратчайший путь, древнееврейский казался священным и таинственным языком, каббалисты занимаются своими делами, и у них другие цели, а тридцать шесть, разбросанные по всему миру, решают, что непонятный язык может хранить Бог знает какие тайны. Именно Пико делла Мирандола провозгласил: *nulla nomina, ut significativa et in quantum nomina sunt, in magico opere virtutem habere non possunt, nisi sint Hebraica*. И что из этого? Пико делла Мирандола был кретином.

— Это еще неизвестно!

— Кроме того, его не допускали к участию в Платоне, поскольку он был итальянцем. Что он мог знать? Еще хуже обстоят дела у таких, как Агриппа, Рейхлин, и у всей этой отвратительной компании, которая сразу же бросилась по ложному пути. Я

лишь восстанавливаю историю этого ложного пути, ясно? Мы позволили себе поддаться влиянию Диоталлеви, который втянул нас в каббалистические сети. Он играл Каббалой, а мы вставили в План евреев. А если бы Диоталлеви был так же увлечен китайской культурой, неужели мы вставили бы в План китайцев?

— Возможно.

— А я думаю, что нет. Но незачем рвать на себе волосы, мы попали в ловушку, так же как и все остальные. Ошибка, возможно, была допущена еще во времена Постеля. Через двести лет после Провзна они узнали, что шестая группа находится в Иерусалиме. А это не так.

— Но, простите, Казобон, мы сами пересмотрели версию Арденти и решили, что встреча на камне должна была состояться не в Стоунхендже, а в мечети Омара.

— И мы ошиблись. Существует еще немало камней. Нужно подумать о каком-то городе, заложенном на камне, на вершине горы, на скале, на утесе, где-то над бездной... Шестая группа ждет своего часа в Аламутской крепости.

И явился Каирос со скипетром в руке, означавшим царственность, и передал его первому созданному богу, и взял тот его и сказал: "Твое тайное имя будет из 36 букв".

(Hasan-i Sabbāh. *Sargozašt-i Sayyid-nā*)

Закончив таким образом свое бравурное выступление, я должен был дать пояснения. И я делал это в течение нескольких последующих дней, объясняя долго, детально и при помощи документов, выкладывая за столиком у Пилада одно доказательство за другим, Бельбо следил за ходом моей мысли со все более туманящимся взглядом, прикуривая одну сигарету за другой и каждые пять минут отставляя очередной стакан, в котором не оставалось ничего, кроме нескольких кубиков льда, и Пилад спешил его наполнить.

Первыми источниками были те, в которых появились первые упоминания о тамплиерах — от Жерара Страсбургского до Жуанвиля. Тамплиеры входили в контакты, иногда в конфликты, а чаще всего — в тайные перемирия с ассасинами Старца с Гор.

Эта история действительно выглядит совсем непросто. Начинается она после смерти Магомета, когда произошел раскол между суннитами — приверженцами обычной трактовки законов — и сторонниками Али, зятя Пророка и мужа Фатимы, который увидел, что он лишается главного наследства. Именно группа учеников Али, которые признавали *shi'a*, образовали крыло исламских еретиков, шиитов. Эта инициатическая доктрина видела постоянство откровения не в обычной медитации над словами Пророка, а в самой личности Имама, властелина, главы, богоявления, Царя Мира.

Итак, что же произошло с этим еретическим крылом ислама, которое было наиболее подвержено влиянию эзотерических доктрин средиземноморского бассейна, от манихеев до гностиков, от последователей неоплатонизма до последователей иранской мистики, и всех прочих течений, за историей развития которых на Западе мы следили долгие годы? Это была

длинная история, и нам не удалось в ней разобраться, тем более что различные авторы и арабские протагонисты имели необычайно длинные имена, а для транскрипции наиболее серьезных текстов использовали диакритические знаки; и поздним вечером мы уже не могли увидеть разницу между именами Абу 'Абди'л-ла Мухаммад б. 'Али ибн Раззам ат-Та'и аль-Куфи. Абу Мухаммад 'Убайяду'л-лах. Абу Му'ини'д-Дин Насир ибн Хосров Марвази Кобадияни (думаю, что для арабов столь же сложно постичь разницу между Аристотелем, Аристоксеном, Аристархом, Аристидом, Анаксимандром, Анаксименом, Анаксагором, Анакреонтом и Анахарсисом).

Одно не вызывало сомнений. Шиизм раскололся на два течения: одно, называемое двухдесятичным, которое ожидает прихода своего Имама, и другое — исмаилиты, которое зарождается в королевстве фатимидов в Каире, а позже, после различных перипетий, утверждается как реформированный исмаилизм в Персии благодаря действиям такого привлекательного, таинственного и беспощадного человека, как Хасан Саббах. Именно на юго-востоке от Каспийского моря, в Аламутской крепости, Орлином Гнезде Хасан основывает свой первый центр и устанавливает свой непоколебимый трон.

Именно там Хасан окружает себя своими единомышленниками, *fidā'iyyūn*, или феодаинами, до смерти преданными ему, которых он использовал для политических убийств как орудие *gihād hafī* — тайной священной войны. Феодаины, или как их там называли, впоследствии стали печально известны под названием ассасинов, сегодня не вызывающим положительных эмоций, но тогда оно звучало великолепно и было эмблемой целой плеяды монахов-воителей, во многом напоминавших тамплиеров, готовых умереть за свою веру. Духовное рыцарство.

Аламутская крепость и одновременно замок — это Камень. Она построена на высокогорном гребне длиной в четыреста метров и шириной в несколько шагов, максимум тридцать; человеку, приближающемуся к ней по Азербайджанской дороге, она казалась естественной горной стеной, ослепительно белой при палящем солнце, лазурной при пурпурном закате, бледной

на рассвете и кроваво-красной при восходе солнца, а в некоторые дни она как бы растворялась в облаках или же сверкала молниями. По верхним краям стен можно было с трудом различить едва уловимые очертания искусственно созданных четырехугольных башен, которые снизу казались обломками скал, устремившихся ввысь на сотни метров и угрожающе нависавших над дорогой; наиболее доступный склон представлял собой осыпь камней, на которую до сих пор не могут подняться археологи. В те времена попасть на гору можно было только по скрытой крутой лестнице, вырубленной в скале так, как вырезают мякоть червивого яблока, для защиты которой достаточно было одного-единственного лучника. Непрístupная, головокружительно устремленная к Миру Иному крепость Аламут, гнездо ассасинов. Туда можно было добраться лишь верхом на орле.

Именно там царствовал Хасан, а после него те, кого именуют Старцами с Гор, и первым среди них был его мрачный преемник Шинан.

Хасан изобрел свой способ безраздельного господства как над своими людьми, так и над противником. Врагам он объяснял, что если они не подчинятся его воле, то будут убиты. А от ассасинов невозможно было скрыться. В период, когда крестоносцы еще сражались за обладание Иерусалимом, первый министр султана Низаму'л-Мулк был убит наемником, вонзившим в него кинжал, когда султана в паланкине несли к женам. Убийца был переодет в дервиша. Атабек Химс при выходе из своего замка для пятничной молитвы был окружен вооруженными до зубов охранниками, но все же его убили наемники Старца.

Шинан решает убить христианина, маркиза Конрада Монферратского, и приказывает двум своим людям затесаться среди неверных, научиться их языку и перенять их обычаи, загодя пройдя нелегкую подготовку. Во время торжественного богослужения, проводимого епископом Тирским в честь ничего не подозревающего маркиза, они, переодевшись монахами, набросились на Конрада и ранили его. Одного из ассасинов тут же прикончили телохранители, а второй укрылся в церкви, дождался, когда туда внесут раненого, завершил свое грязное дело и тут же скончался с ощущением полного блаженства.

Как утверждали арабские историки, принадлежавшие к сунне, а затем христианские летописцы от Одерика Порденонского до Марко Поло, Старец изобрел ужасный способ превращать своих самых верных людей в непобедимые боевые механизмы, преданные ему до последнего вздоха. Усыпленных молодых людей приносили на вершину горы, где доводили до изнеможения, подсовывая вино, женщин, цветы, устраивали безумные пиры, окуривали гашишем, от которого происходит название секты. И когда они больше не могли обходиться без блаженства этого искусственно созданного подобия Рая, их во время сна выносили из крепости и ставили перед альтернативой: иди и убей, и тогда Рай, который ты только что покинул, будет навсегда твоим; если же ты этого не сделаешь, то навсегда возвратишься в геену обычной жизни.

И они, окуренные наркотиками, убийцы, обреченные на смерть, подчинялись его воле, приносили себя в жертву.

Как их боялись, чего только не рассказывали о них крестоносцы безлунными ночами при свисте самума! Как восхищались тамплиеры этими зверьми, порабощенными желанием страдать, они готовы были широко раскрыть для ассасинов свои кошельки, а требовали взамен лишь символическую дань, следуя игре взаимных уступок, братства по оружию, вспарывая друг другу животы на полях сражений, а после предаваясь дружеским беседам, в которых делились своими мистическими видениями, магическими формулами и тонкостями алхимии...

От ассасинов тамплиеры переняли тайные обряды. И только трусливая тупость не позволяла королевским балы и инквизиторам короля Филиппа понять, что плевок на крест, поцелуй в зад, черный кот и поклонение Бафомету были не чем иным как подражанием другим обрядам, которые исполняли тамплиеры под влиянием гашиша, первого таинства, которое они познали на Востоке.

Итак, становится ясно, что План зародился и должен был зародиться только там: от людей из Аламута тамплиеры узнали о подземных течениях, с людьми из Аламута они встретились в Провэне и организовали тайный заговор тридцати шести Невидимых; именно поэтому Христиан Розенкрейц предпринял пу-

тешествоие в Фес и по другим местам Востока, поэтому к Востоку обратился Постель, именно поэтому у Востока, у Египта, страны исмаилитов-фатимидов, маги Возрождения заимствовали имена божеств, включенных в План,— Гермеса, Гермеса-Тота или Тота, и мошенник Калиостро создавал свои обряды на манер египетских. А иезуиты, эти иезуиты, оказались не столь глупы, как мы предполагали, во главе с Кирхером сразу же набросились на изучение иероглифов, коптского и других восточных языков, а древнееврейский был только прикрытием и данью моде того времени.

Эти тексты не предназначены для простых смертных...
Гностическое восприятие — это путь лишь для избранных... Поскольку в Библии сказано: не мечите бисер перед свиньями.

(Kamal Jumblatt. Интервью в *Le Jour*, 31.3.1967)

Arcana publicata vilescent: et gratiam prophanata amittunt. Ergo: ne margaritas obijce porcis, seu asinus substerne rosas.

(Johann Valentin Andreae. *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Страсбург, Zetzner, 1616, фронтиспис)

Где же искать того, кто смог бы ждать на камне в течение шести веков и кого надо было ждать на камне? Конечно, Аламут в конце концов пал во времена монгольского нашествия, но секта исмаилитов продолжала свое существование на всем пространстве Востока: с одной стороны, они смешались с нешиитским суфизмом, с другой — породили ужасную секту друзов, а с третьей — уцелели вместе с индийскими хаджами, сторонниками Ага Хана, пребывавшими невдалеке от того места, где находится Агартха.

Однако мне удалось обнаружить еще одну прелюбопытную вещь. В эпоху правления династии Фатимидов понятия древних египтян о герметизме были как бы открыты заново благодаря академии Гелиополиса в Каире, где был воздвигнут Дом Наук. Дом Наук! Так что же вдохновило Бэкона на создание его Дома Соломона, который должен был стать моделью для Хранилища?

— Да, это верно, верно, больше нет никаких сомнений, — промолвил совершенно опьяневший Бельбо. И вдруг встрепенулся. — А что же каббалисты?

— Это всего лишь параллельная, никак не пересекающаяся с первой история. Иерусалимские раввины почувствовали, что между тамплиерами и ассасинами что-то происходит, и испанские раввины, которые кружили по Европе и делали вид, что хотят одалживать под проценты деньги разным командориям, тоже что-то пронюхали. Они не были посвящены в тайну и, ре-

шив сохранить национальное достоинство, собрались разгадать ее собственными силами. Как это: мы, Богоизбранный Народ, и не ведаем тайны тайн? И трах-бах, зарождается традиция каббализма, самоотверженная попытка представителей всех существующих на свете диаспор жить и действовать так, словно им все известно и они господствуют над всеми.

— Однако, поступая так, они заставили христиан поверить в то, что им действительно все известно.

— И в определенный момент кто-то допускает грубейшую ошибку. Путает Исмаил с Израилем!

— В таком случае Баррюэль, "Протоколы" и все остальное — не что иное, как результат путаницы в согласных.

— Шесть миллионов евреев убито по вине Пико делла Мирандолы.

— Или же, возможно, существует другая причина. Богоизбранный народ занялся толкование Книги. И тем самым распространил некую навязчивую идею. А остальные, не найдя ничего в Книге, решили отомстить. Люди опасаются тех, кто ставит их лицом к лицу с Законом. Но почему же ассасины не дали знать о себе раньше?

— Да что вы, Бельбо! Представьте себе, насколько был опустошен этот регион со времен Лепантского сражения. Ваш Зебботендорф хорошо понимает, что надо что-то искать среди турецких дервишей, однако к этому времени Аламут больше не существует, а дервиши укрылись невесть где. Они выжидают. И вот их час пробил, они поднимают голову в период исламского ирредентизма. Вставив в План Гитлера, мы отыскали одну из достоверных причин второй мировой войны. А сделав действующими лицами Плана Аламутских ассасинов, бросаем луч света на все, что произошло за этот период в районе между Средиземным морем и Персидским заливом. И именно здесь может существовать TRES, Templi Resurgentes Equites Synarchici, общество, целью которого может быть восстановление ранее утраченных контактов между духовным рыцарством различных вероисповеданий.

— Или же оно разжигает конфликты, дабы все это заблокировать и самому половить рыбку в мутной воде. Это ясно. Итак,

мы приблизились к концу нашей работы по исправлению Истории. Неужели в момент высшей истины Маятник укажет на то, что Umbilicus Mundi находится в Аламуте?

— Это было бы преувеличением. Лично я предпочитаю этот последний пункт оставить в подвешенном состоянии.

— Подвешенным, как Маятник.

— Если вам так нравится. Нельзя во всеуслышанье заявлять о том, что нам может взбрести в голову.

— Конечно, конечно. Достоверность прежде всего.

В это вечер только я мог гордиться тем, что мне удалось придумать красивую историю. Я сравнивал себя с эстетом, использовавшим плоть и кровь окружающего мира для создания Прекрасного. С этого момента Бельбо был лишь моим адептом. Как все, не потому, что был просвещен, а *faute de mieux*.

Claudicat ingenium, delirat lingua, labat mens.

(Lucretius. *De rerum natura*, III, 453)

Возможно, именно в эти дни Бельбо попытался разобраться во всем, что с ним произошло. Однако беспощадность самоанализа не смогла отвести от него зло, которое стало уже привычным.

FILENAME: а если бы?

Придумывать План: План оправдывает твое существование настолько, что перестаешь чувствовать собственную ответственность даже за сам План. Достаточно бросить камень и спрятать руку за спину. Если бы действительно существовал План, не было бы неудач.

Чечилия так и не досталась тебе, потому что архонтам было угодно, чтобы Аннибале Канталамесса и Пио Бо не справились с самым симпатичным из духовых инструментов. Ты убежал от банды с Канальчика, потому что деканы хотели тебя сохранить для другого искупительного жертвоприношения. А человек со шрамом обладает более могущественным талисманом, чем твой.

План и виновник. Некое подобие мечты. *An Deus sit*. Если так, то из-за него.

Вещью, адрес которой я потерял, есть не Конец, а Начало. Это не объект, которым обладаю я, а субъект, который обладает мной. Общая боль, половинчатая радость, о чем еще говорит Миф? Двойной восьмисложный стих.

Чья это была мысль, самая успокаивающая из когда-либо существовавших? Ничто не сможет разубедить меня в том, что мир — это порождение мрачного бога, а я — продолжение тени этого бога. Вера ведет к Абсолютному Оптимизму.

Да, верно, я прелюбодействовал (или не прелюбодействовал), но это Бог не сумел решить вопрос Зла. Ну-же, давайте растолчем плод в ступе с медом и перцем. Так угодно Богу.

Если уж надо верить, то пусть это будет религия, которая не внушает тебе чувства вины. Какая-то неизвестная религия, окутанная дымкой, подземная, не имеющая конца. Как роман, а не как теология.

Пять путей и одна-единственная цель. Какое расточительство! Лабиринт, наоборот, ведет куда угодно и никуда. Чтобы красиво умереть, нужно роскошно жить.

Один лишь злой Демиург может вызвать в нас ощущение того, что мы сами хороши.

А что если космического Плана нет?

Какой фарс жить в изгнании, хотя никто тебя не изгонял! И быть в изгнании в несуществующем месте.

А что если План действительно существует, но тебе никогда не суждено его разгадать?

Когда религия бессильна, помогает искусство. Его придумывает План, метафора непознаваемого. Даже заговор, составленный людьми, может заполнить пустоту. Они не издали "Сердце и страсть", потому что я не принадлежу к тамплиерской клике.

Жить так, как будто План существует,— вот камень философов.

If you cannot beat them, join them. Если План существует, достаточно к нему присоединиться...

Лоренца испытывает меня. Смирение. Если бы у меня хватило смирения воззвать к ангелам, даже не веря в них, и начертать подходящий круг, моя душа была бы спокойна. Может быть.

Поверь, что тайна существует, и ты почувствуешь себя посвященным. Это ничего не стоит.

Создать огромную надежду, которую невозможно будет искоренить, потому что у нее нет корней. Несуществующие предки никогда не придут к тебе сказать, что ты их предал. Религия, которую можно наблюдать, бесконечно ей изменяя.

Как Андреа: придумать ради забавы, будто ты сделал величайшее в истории открытие, а когда остальные начнут ломать над этим голову, поклясться остатком жизни, что ты здесь не при чем.

Создать истину с размытыми очертаниями: как только кто-то попытается дать ей точное определение, изгнать его. Оправдывать лишь тех, кто высказывается еще более туманно, чем ты. *Jamais d'ennemis a droite.*

К чему писать книги? Лучше переписать Историю, которая впоследствии станет реальностью.

Почему бы вам не перенестись в Данию, господин Вильям Ш.? Джим Конопляник, Иоганн Валентин Андреа, Люкматье избородил Зондский архипелаг между Патмосом и Авалоном, от Белой Горы до Минданао, от Атлантиды до Фессалоник... Никейский собор, Ориген отрезает себе яйца и показывает их, окровавленные, отцам Города Солнца, скрипевшему зубами Хираму, который грызет *filioque*, *filioque*, в то время как Константин вонзает свои хищные когти в пустые орбиты Роберта Фладда, смерть, смерть евреям в Антиохийском гетто, *Dieu et mon droit*, реет хоругвь, к черту офитов и борборитов с их ядовитыми борборизмами. Пусть грянут трубы и появятся Благочестивые Рыцари из Святого Города с головой мавра, насаженной на пику, Ребис, Ребис! Магнитный ураган, разрушай Башню. Рачковский воет над обгоревшим трупом Жака де Моле.

У меня не было тебя, но я могу уничтожить эту историю.

Если проблема заключается в отсутствии бытия, если бытие — это то, что выражается столь различными способами, то чем больше мы говорим, тем больше существует бытие.

Мечта науки — чтобы бытия было немного, сконцентрированного и определенного. $E=mc^2$. Ошибка. Чтобы еще в самом начале спастись от вечности, необходимо, чтобы бытие существовало как попало, к стати и некстати. Как змея, завязанная узлом пьяным матросом. Безвыходность.

Придумывать, придумывать неистово, не заботясь о связности, до тех пор, пока невозможно будет ничего резюмировать. Простая передача эстафеты от одной эмблемы к другой, из которых одна непрестанно поясняет другую. Расщепить мир

на сарабанду цепи анаграмм. И затем поверить в Необъяснимое. Разве не в этом состоит правильное чтение Торы? Истина — это анаграмма еще одной анаграммы. Анаграмма = великое искусство.

Это должно было произойти в те дни. Бельбо решил серьезно воспринять мир сатанистов не от чрезмерности веры, а от ее недостатка.

Униженный своей неспособностью к созиданию (в течение своей жизни он использовал свои несбывшиеся желания и ненаписанные страницы, первые из которых были метафорой по отношению ко вторым и наоборот, как вывеску своей предполагаемой, неосязаемой трусости), он понял, что, строя План, он творит. Влюбился в своего Голема, и это служило ему утешением. Жизнь — его собственная и жизнь всего человечества — как произведение искусства и отсутствие искусства — искусство лжи. *Le monde est fait pour aboutir à un livre (faux)*. Однако человечество свято старается верить в эту фальшивую книгу — поскольку само же ее написало, — и если бы заговор действительно существовал, то он не был бы подлым, одолимым и инертным.

Здесь истоки того, что случилось потом, а именно тот способ применения заведомо нереального Плана в борьбе с казавшимся вполне реальным противником. Чуть позже, когда он понял, что План окутывает его со всех сторон так, как если бы действительно существовал, или почувствовал, что он, Бельбо, сделан из того же теста, из которого слепил свой План, он отправился в Париж, словно у него там была назначена встреча с откровением, с извращением.

Преследуемый в течение многих лет каждодневными угрызениями совести из-за того, что до сих пор общался только с им самим созданными призраками, он испытывал облегчение при мысли о возможности увидеть призраки, которые становятся реальностью, известной еще кому-то помимо него, даже если этот кто-то был Врагом. Может, он поехал, чтобы броситься

в пасть волка? Конечно, поскольку этот волк обретал очертания, становясь более реальным, чем Джим Конопляник, а может, и Чечилия или даже Лоренца Пеллегрини.

Испытывая терзания из-за стольких упущенных встреч, Бельбо чувствовал, что сейчас его ожидает настоящая встреча, такая, что даже из трусости он не может махнуть на нее рукой: его приперли к стене. Измышляя, он создал зародыш реальности.

Список номер 5 — шесть маек, шесть пар подштанников и шесть носовых платков — всегда интриговал исследователей, в основном из-за полного отсутствия носков.

(Woody Allen. *Getting even*, Нью-Йорк, Random House, 1966, "The Metterling List", с.8)

Именно в это время чуть менее месяца назад, Лия решила, что мне будет полезен месячный отпуск. "У тебя усталый вид", — сказала она. Возможно, работа над Планом отняла у меня много сил. С другой стороны, ребенку, как говорили бабушка с дедушкой, необходим свежий воздух. Друзья предоставили нам свой домик в горах.

Выехали мы не сразу. Необходимо было закончить кое-какие дела в Милане, и к тому же Лия сказала, что нет ничего лучше отдыха в городе, когда знаешь, что должен выехать за его пределы.

В те дни я впервые заговорил с Лией о Плане. Прежде она была слишком занята ребенком и лишь догадывалась, что мы с Бельбо и Диоталлеви заняты решением какой-то головоломки, над которой сидим днями и ночами, однако я не делился с ней нашими проблемами с тех пор, как она прочла мне нравоучение о мании сходства. Возможно, после этого я испытывал чувство стыда.

Итак, я рассказал ей о Плане, который был отшлифован до мельчайших деталей. Она знала о болезни Диоталлеви, а я, ощущая, что совесть моя не совсем чиста, словно сделал что-то такое, чего не следовало делать, пытался представить План как геройский труд исследователя.

Лия ответила:

— Пум, мне не нравится вся эта история.

— Она тебя не привлекает?

— Сирены тоже умели быть привлекательными. Послушай, а что тебе известно о собственном подсознании?

— Ничего, я даже не знаю, есть ли оно у меня.

— Ну вот. А теперь представь себе, что один венский ве-

сельчак, дабы позабавить своих друзей, придумал всю эту историю, включив в нее собственный Эдипов комплекс, и сны, которых никогда не было в его жизни, и маленьких Гансов, которых он никогда в жизни не видел... И что же из этого вышло? Появляются миллионы людей, готовых впасть в психоз. И еще миллионы готовых на этом заработать.

— У тебя паранойя, Лия.

— У меня? Нет, у тебя!

— Конечно, можно быть параноиком, но по крайней мере ты должна признать хотя бы это: в работе мы отталкивались от текста Ингольфа. Прости, но когда в руках оказывается настоящее послание тамплиеров, появляется желание разобраться в нем от начала и до конца. И даже если те, кто работают над его расшифровкой, кажутся тебе смешными и глупыми, само послание от этого не перестает быть реальностью.

— Пока что тебе известно лишь то, что наплел этот Арденти, который, по твоим же словам, оказался искусным очковитрателем. А кроме того, мне самой хотелось бы взглянуть на этот текст.

Не было ничего проще — ведь он лежал у меня в папке.

Лия взяла в руки листок, осмотрела его с обеих сторон, сморщила нос и отбросила волосы с глаз, чтобы лучше рассмотреть первую, зашифрованную его часть. Она спросила:

— Здесь все?

— Разве тебе этого недостаточно?

— Достаточно, и даже более того. Дай мне два дня на размышления.

Когда Лия просит два дня на размышления, это значит, что она собирается показать, насколько я глуп. А когда я ее упрекаю в этом, она мне постоянно отвечает: "Когда я вижу, что ты глуп, тогда я уверена, что люблю тебя по-настоящему. Люблю тебя, даже если ты глуп. Разве это не придает тебе уверенности в прочности наших отношений?"

В течение двух последующих дней мы не касались этой темы, и кроме того, Лия почти не бывала дома. А по вечерам она устраивалась где-то в углу, и я видел, как она что-то записывала и рвала странички одну за другой.

Когда мы приехали в горы, малыш с утра до вечера ползал на четвереньках по лужайке, а Лия приготовила ужин и приказала есть, потому что я стал тощим как щепка. После ужина она попросила принести ей двойной виски, в котором было бы побольше льда и поменьше содовой, закурила сигарету, что делала только в самых важных случаях, попросила меня сесть и все мне выложила.

— Слушай меня внимательно, Пум, потому что я хочу тебе доказать, что простые объяснения всегда самые верные. Ваш полковник сказал, что Ингольф обнаружил это послание в Провэнсе, и у меня нет оснований ставить его слова под сомнение. Должно быть, он действительно спустился в подземелье и действительно обнаружил там шкатулку с этим текстом,— она постучала пальцем по французскому тексту.— Никто не может подтвердить, что найденная им шкатулка была усеяна бриллиантами. Полковник сказал вам только то, что Ингольф, судя по записям, продал какую-то шкатулку. А почему бы и нет: ведь это была старинная вещь, за которую он мог выручить немного денег, однако ничто не говорит о том, что это было его единственным средством к существованию. Возможно, у него осталось небольшое наследство от отца.

— А почему шкатулка не может быть драгоценной?

— Потому что это послание напоминает счет из прачечной. Ну, прочти его еще раз.

*a la ... Saint Jean
36 p charrete de fein
6 ... entiers avec saiel
p ... les blancs mantiax
r ... s ... chevaliers de Pruins pour la ... j . nc
6 foiz 6 en 6 places
chascune foiz 20 a ... 120 a ...
iceste est l'ordonation
al donjon li premiers
it li secunz joste iceus qui ... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'altre part de l'iau*

*it a l'ostel des popelicans
it a la pierre
3 foiz 6 avant la feste ... la Grant Pute.*

— Ну и что ты хочешь этим сказать?

— Черт возьми, а тебе не приходило в голову просмотреть туристический проспект с историческими заметками об этом Провэне? Ты сразу же обнаружил бы, что Гранж-о-Дим, где найден этот текст,— это место сбора торговцев, потому что Провэн был ярмарочным центром Шампани. И что Гранж находится на улице святого Иоанна. В Провэне продавали все, но особо бойко шла торговля тканями, *draps* или *dras*, как писали в те времена, и на каждом рулоне был знак гарантии, своего рода печать. Вторая статья дохода для Провэна — розы, красные розы, которые крестоносцы доставляли из Сирии. Они были настолько знамениты, что когда Эдмонд Ланкастерский женился на Бланш д'Артуа и получил титул графа Шампани, на его гербе появилась красная роза из Провэна. Отсюда — война двух роз, поскольку на гербе у этих, из Йорка, красовалась белая роза.

— А откуда ты все это знаешь?

— Из одной книги в двести страниц, изданной туристическим центром Провэна, которую я нашла во французском культурологическом центре. Но это еще не все. В Провэне есть цитадель, которая называется Донжон (что в переводе со старофранцузского означает "замок, крепость"), есть ворота Хлеба; существовала церковь Укрытия и, естественно, повсюду были разбросаны церквушки в честь Божьей матери, Нотр-Дам, была или по-прежнему существует улица Круглого Камня, где лежал *pierre de cens*, на который подданные графа складывали десятинную подать. Кроме того, там есть улица Белых Мантий и улица, которую именуют Великой Улицей Веселых Проституток по причине, о которой ты сам можешь догадаться, то есть там расположены бордели.

— А как быть с попликанами?

— В Провэне существовали катары, которые, как и положено, окончили свою жизнь на костре, а великим инквизитором

тоже был раскаявшийся катар по кличке Дьявол Робер. Так что нет ничего странного в том, что там оставалась улица или местность, которую считали местом жительства катаров, даже если их там уже не было.

— Однако в 1344 году...

— Да кто же тебе сказал, что этот документ был написан в 1344 году? Твой полковник прочел 36 лет *после повозки с сеном*, но заметь, что в те времена буква *p*, написанная с определенного вида апострофом, означала *post* — "после", а другое *p*, без апострофа, означало *pro* — "для". Автором этой записки был обычный мирный торговец, сделавший свои записи о торговле в Гранже на улице святого Иоанна, а не в ночь святого Иоанна, и записал цену за каждую повозку с сеном в су, денье или других мелких монетах, которые тогда были в обращении.

— А как же тогда сто двадцать лет?

— А кто говорит о годах? Ингольф записал эти слова как 120 а... Но кто сказал, что это а? Я проверила по таблице условных сокращений тех времен, и обнаружила, что для обозначения *denier* или *dinarium* использовались довольно-таки странные знаки, один из которых был похож на дельту, а второй на тету, то есть колечко, лопнувшее с левой стороны. Достаточно написать эту букву небрежно, наспех или писать, как мог писать бедный торговец, — и вот уже человек с воспаленным воображением вроде твоего полковника готов прочесть ее как а, потому что ему на глаза уже где-то попадалась эта история со ста двадцатью годами; думаю, для тебя не станет откровением, что он мог прочесть это в любой книге о розенкрейцерах, и ему очень хотелось найти запись, похожую на "*post 120 annos patebo*"! И что же происходит дальше? Он находит в тексте *it* и читает это как *iterum*. Однако *iterum* сокращенно записывается как *itm*, а *it* означает *item* и употребляется в записях, где есть повторения. Наш торговец составил список сделанных ему заказов и попытался подсчитать, какой доход принесут некоторые из них. Он должен поставить букеты роз из Провена, что и обозначено буквами *r... s... chevaliers de Pruins*. А там, где полковник прочел *vainjance* (поскольку его голова была забита рыцарями Кадоша), следует читать *jonchée*. Розы использовали во

время различных празднеств, для изготовления диадем, ковровых настилов. И вот как надо читать твое послание из Провэнса:

*На дороге святого Иоанна
36 су за повозку с сеном
шесть рулонов нового сукна со знаком
на улице Белых Мантий
Розы крестоносцев для jopchee:
шесть букетов из шести в шести указанных местах,
каждый по 20 денье, что составляет вместе 120 денье.
В следующем порядке:
первый в Крепость
item второй к Хлебным Воротам
item в церковь Укрытия
item в церковь Нотр-Дам, за рекой
item в старое здание катаров
item на улицу Круглого Камня.
И три букета из шести перед праздником, улица проститут-
ток,*

потому что им, бедняжкам, тоже хотелось устроить себе праздник с цветами.

— Боже мой,— выдавил я из себя,— безусловно, ты права.

— Да еще как права! Разве я тебе не говорила, что это нечто вроде счета из прачечной?

— Секунду. Согласен, это может быть счетом из прачечной, однако первый текст действительно представляет собой зашифрованное послание, в котором говорится о тридцати шести невидимых.

— Действительно. С французским текстом я справилась за час, но над этим мучилась целых два дня. Мне пришлось поискать в Амброзианской и Тривульцианской библиотеках Тритема, а ты ведь хорошо знаешь библиотекарей: прежде чем выдать из хранилища старинную книгу, они смотрят на тебя так, будто ты собираешься эту книгу съесть. Однако эта запись одна из самых простых. Прежде всего, и это ты сам должен был бы заметить, что "les 36 invisibles separez en six bandes" — это тот же

французский, что и у нашего торговца. Да, вы тоже, конечно, обратили внимание на то, что здесь употреблено выражение из памфлета XVII века, когда розенкрейцеры появились в Париже. Но при этом вы рассуждали точно так же, как ваши сатанисты: если послание зашифровано по методу Тритема — значит, Тритем сделал копию текста, принадлежащего тамплиерам, и поскольку он приводит здесь фразу, бывшую в ходу в среде розенкрейцеров, то, значит, план, приписываемый розенкрейцерам, был планом тамплиеров. Однако если ты попробуешь подойти к этому с другой стороны, как это сделал бы каждый, кто имеет в голове больше чем одну извилину, то получится следующее: послание в стиле Тритема было написано после его жизни, а поскольку здесь приводится выражение, находившееся в употреблении в среде розенкрейцеров XVII века, то оно было написано после XVII века. Какое же простейшее предположение следует из этого? Обнаружив текст из Провэна, Ингольф, который, как и полковник, был поведен на тайнах герметистов, прочел "тридцать шесть" и "сто двадцать" — и сразу же подумал о розенкрейцерах. А поскольку он был одержим криптографией, то решил позабавиться и расшифровать послание из Провэна, пользуясь ключом. Он пробует — и получает согласно криптосистеме Тритема фразу о розенкрейцерах.

— Великолепное объяснение. Но значит оно не больше, чем догадка полковника.

— Согласна с тобой, но только до определенного момента. Однако представь себе, что у тебя не одна, а несколько догадок, и все они опираются друг о друга. Ты уже более уверен в том, что отгадал правильно, да? Я начала с того, что подвергла все эти предположения сомнению. Слова, которыми пользовался Ингольф, не свойственны Тритему. Они принадлежат к тому же ассирио-вавилонско-каббалистическому стилю, но выглядят совершенно иначе. А ведь если Ингольфа интересовали слова, начинающиеся с нужных ему букв, он мог найти таких сколько угодно у Тритема. Так почему же он их не взял?

— И почему же?

— Возможно, ему были необходимы совершенно определенные буквы, даже в том случае, если они стояли на втором,

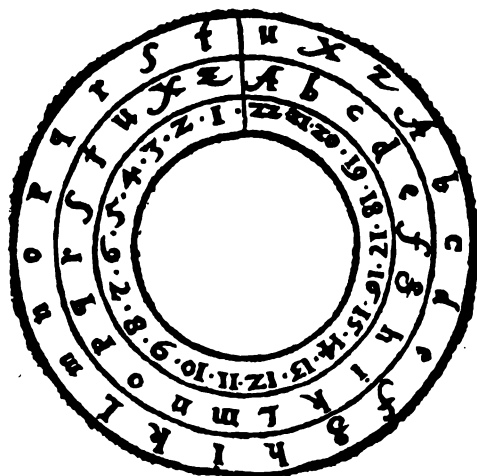
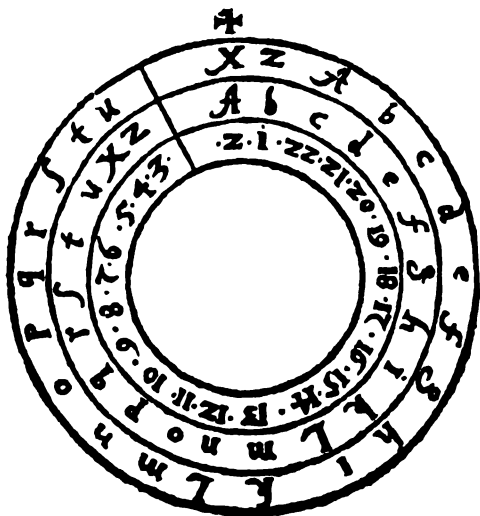
третьем или четвертом месте. А может, наш изобретательный Ингольф захотел получить послание, зашифрованное сразу в нескольких системах. Он желал превзойти Тритема. У Тритема можно обнаружить сорок главных криптосистем: в одной имеют значение лишь начальные буквы, в другой — первая и третья буквы, в следующей — одна заглавная буква считается, а следующая нет и так далее; при желании можно придумать еще сотню таких же систем. Что же касается десяти малых криптосистем, то полковник учел лишь первый круг, самый простой. Однако последующие действуют по принципу второго круга, и вот тут ты располагаешь копией. Представь себе, что внутренний круг можно вращать таким образом, что заглавная буква А начинает совпадать с какой-нибудь буквой внешнего круга. Таким образом, ты получишь систему, где А записывается, как Х и так далее; и другую систему, где А соответствует букве U и так далее... Имея двадцать две буквы в каждом круге, ты получишь не десять, а двадцать одну криптосистему, и останется лишь двадцать вторая, в которой А соответствует А...

— Не станешь же ты утверждать, что для каждой буквы каждого слова ты использовала двадцать одну систему...

— В придачу к моим извилинам мозгам мне сопутствовала удача. Поскольку самые короткие слова состоят из шести букв, совершенно ясно, что значение имеют лишь только первые шесть букв, а остальные написаны так, для красоты. Почему именно шесть? Я предположила, что Ингольф зашифровал первую, затем одну пропустил, зашифровал третью, а после пропустил еще две и зашифровал шестую. Если для первой буквы он применил систему номер один, то для третьей — систему номер два, и мне это показалось логичным. Тогда я прибегла к системе номер три для шестой буквы, и получилась осмысленная фраза. Не исключаю, что Ингольф использовал также и другие буквы, однако трех совпадений мне показалось вполне достаточно, так что дальше ты вполне сможешь продолжить эту работу сам.

— Не томи меня. Что у тебя получилось?

— Посмотри на этот текст. Я подчеркнула в нем буквы, имеющие значение.



*Kuabris Defrabax Rexulon Ukkazaal Ukzaab Urpaefel Taculbain
Habrak Haçoruin Maquafel Tebrain Hmçatuin Rokasor Himesor
Argaabil Kaquaаn Docrabax Reisaz Reisabrax Decaiquan Oiquaquil
Zaitabor Qaxaop Dugraq Xaelobran Disaeda Magisuan Raitak Huidal
Uscolda Arabaom Zipreus Mecrim Cosmae Duquifas Rocarbis*

— Итак, нам известно, о чем говорит первое послание,— оно касается тридцати шести невидимых. А теперь послушай, что получается, если, следуя принципу второй системы, заменить третьи буквы: chambre des demoiselles, l'aiguille creuse.

— Но я это уже видел, это...

— En aval d'Étretat — la Chambre des Demoiselles — Sous le Fort du Fréfossé — Aiguille Creuse. Этот текст был расшифрован Арсеном Люпенем, когда он обнаружил Полую иглу! Ты, конечно, припоминаешь: в Этрета на берегу пляжа уносится ввысь Aiguille Creuse, своеобразный природный замок, пригодный для жилья, тайное убежище Юлия Цезаря во времена завоевания Галлии, а затем — резиденция французских королей. Источник небывалой силы Люпена. А ведь знаешь, люпенологи с ума сходят от этой истории, совершают паломничества в Этрета ищут другие тайные ходы, выводят анаграммы из каждого слова Леблана... Ингольф был люпенологом в не меньшей степени, чем розенкрейцерологом, и поэтому шифровал все подряд.

— Однако мои сатанисты могли бы настаивать на том, что тамплиерам тоже был известен секрет иглы, а значит, послание было написано в Провэнзе в XIII веке...

— Конечно, и я это знаю. Но теперь наступает очередь третьего текста. Третья система применима к шестым буквам. Вот послушай: merde i'en ai marre de cette stéganographie. А это уже чистой воды современный французский, так тамплиеры не выражались. Но так выразился Ингольф, когда ему надоело зашифровывать свои рассказы и он в последний раз решил пошутить, посылая шифром к черту то, над чем трудился. Однако поскольку он обладал острым умом, хочу обратить твоё внимание на то, что каждое из этих трех посланий состоит из тридцати шести букв. Мой бедный Пум, Ингольф забавлялся точно так

же, как и вы, а этот придурочный полковник воспринял все это всерьез.

— Тогда почему же Ингольф исчез?

— А кто тебе сказал, что его убили? Ему просто надоело жить в Оксэре, постоянно видеть перед глазами фармацевта да еще свою дочь, старую деву, которая с утра до вечера заливался слезами. И он едет в Париж, удачно продает там одну из своих старинных книг, находит себе вдовушку, которая мечтала как раз о таком, и полностью изменяет свою жизнь. Как и многие из тех, которые выходят из дома за сигаретами — и жены только их и видели.

— А полковник?

— Разве ты не говорил, что даже полиция не была уверена в том, что его убили? Он вполне мог проверить несколько махинаций, а затем, видя, что жертвы обмана вот-вот должны его настичь, исчезнуть. Возможно, в эту самую минуту он продает Эйфелеву башню какому-нибудь американскому туристу, которому представился Дюпоном.

Я не мог так легко отступить на всех фронтах.

— Ладно, отправной точкой для нас был счет из прачечной, но это свидетельствует о нашей изобретательности. Ведь нам было известно, что мы занимаемся творческой выдумкой, поэзией.

— В вашем плане нет ничего поэтического. Это гротеск. Людям в голову не приходит вновь сжечь Трои, потому что они прочли Гомера. Благодаря тому пожару Троя стала чем-то таким, чего никогда не было и никогда не будет или же будет вечно. И все эти значения обретены благодаря тому, что все ясно и предельно просто. А твои розенкрейцеровские манифесты никогда не были ни ясными, ни понятными, а представляли собой борборигму с обещанием тайны. Вот почему нашлось так много тех, кто хотел придать им достоверность, и каждый находил в них то, что хотел. У Гомера нет никаких тайн. А ваш план напичкан тайнами, потому что в нем полно противоречий. Именно поэтому ты легко встретишь тысячи людей, готовых во всем этом распознать самих себя. А теперь давай все взвесим.

Гомер не играл ни в какие игры. А вы играете. Будьте поосторожней с вымыслом,— в него верят все. Люди не поверили Шеммельвайсу, который убеждал врачей, что перед тем, как принимать роды, необходимо вымыть руки. То, что он говорил, было слишком просто. Люди верят тем, кто торгует снадобьями для интенсивного роста волос. Инстинктивно они чувствуют, что те пытаются объединить истины, которые не могут сосуществовать вместе, что в них нет ни логики, ни добропорядочности. Но им внушили, что Бог многосложен, непостижим, а отсутствие связи они воспринимают как нечто, что подходит природе Бога. Невероятное больше всего походит на чудо. Так что вы придумали снадобье, способствующее росту волос. Мне это не нравится, это грязная игра.

Эта история ничуть не испортила наш отдых в горах, я совершал чудесные пешие прогулки, читал серьезные книги, никогда еще не проводил столько времени с малышом. Однако между мной и Лией осталось что-то недосказанное. С одной стороны, Лия прижала меня к стенке, и ей было неприятно, что она меня так унизила, а с другой — она не была уверена в том, что ей удалось убедить меня.

И действительно, я тосковал по Плану, мне не хотелось избавляться от него, поскольку мы очень долго с ним жили.

Спустя несколько дней я проснулся рано, чтобы успеть на единственный поезд до Милана. В Милане меня настиг звонок Бельбо из Парижа, и началась вся эта история, которую я еще до конца не пережил.

Лия была права. Нам необходимо было поговорить об этом раньше. Однако раньше я все равно ей бы не поверил. Созидание Плана стало для меня чем-то вроде Тиферет, сердцем тела сефиры, гармонией между правилом и свободой. Диоталлеви сказал мне, что Моисей Кордоверо предостерегал нас: "Тот, кто кичится своим знанием Торы перед несведущим, а значит перед большинством народа Яхве, заставляет Тиферет возгордиться перед Малкут". Однако лишь теперь я понял, что такое Малкут, Царствие этой земли во всей своей озаряющей про-

стоте. Я понял это только сейчас. Достаточно рано, чтобы понять, но, возможно, слишком поздно, чтобы пережить момент истины.

Не знаю, увижу ли я тебя еще когда-нибудь, Лия. Если нет, то последнее воспоминание о тебе у меня будет ассоциироваться с рассветом несколько дней назад, когда ты еще спишь под одеялом. Я поцеловал тебя и, колебавшись минуту, вышел.

VII

НЕЦАХ



Заметил, черный пес бежит по пашне?

Кругами, сокращая их охваты,
 Все ближе подбирается он к нам.
 И, если я не ошибаюсь, пламя
 За ним змеится по земле полян.

Как он плетет вокруг нас свои извивы!
 Магический их смысл не так-то прост.

Все меньше круг. Он подбегает. Стой!

(Фауст. I, У ворот)

Обо всем, что произошло за время моего отсутствия и, в частности, в последние дни перед моим возвращением, я мог узнать только из *files* Бельбо. Да и в них лишь один был ясный, представленный в виде упорядоченных записей,— последний, сделанный, очевидно, перед отъездом в Париж, чтобы я или кто-либо другой смогли прочитать его — для будущих поколений. Другие записи, которые он, как обычно, делал для себя, расшифровать было вовсе не просто. Лишь я один, войдя в мир тайных откровений, который являла Абулафия, мог разобраться в них или по крайней мере выстроить на их основании какие-либо догадки.

Было начало июня. Бельбо казался взвинченным. Врачи примирились с мыслью, что Гудрун и он — единственные родственники Диоталлеви, и наконец заговорили. На вопросы печатников и корректоров Гудрун отвечала теперь, складывая губы, словно пыталась произнести слово, состоящее из одного слога, но с ее уст не слетало ни единого звука. Болезнь табу.

Гудрун навещала Диоталлеви ежедневно и, мне кажется, тревожила его своими переполненными жалостью глазами. Он знал, но ему было стыдно, что и другие узнают об этом. Говорил он через силу. Бельбо записал: "От лица осталось лишь

очертание щек". У него выпадали волосы — это был результат терапии. Бельбо записал: "От рук остались только пальцы".

Полагаю, что в одну из тяжелых встреч Диоталлеви начал говорить Бельбо то, что собирался сказать в свой последний час. Бельбо уже отдавал себе отчет в том, что нельзя отождествлять себя с Планом, что, может быть, это и есть Зло. Но, возможно, для того, чтобы придать Плану характер объективности, вернуть форму чистого вымысла, он и записал его слово в слово, будто это были мемуары полковника. Он излагал его как посвященный, который завещал свою последнюю тайну. Я думаю, что для него это было лечение: он возвращал литературу — как бы плоха она ни была — то, что не было жизнью.

Но десятого июня случилось, вероятно, нечто такое, что потрясло его. Записи по этому поводу очень запутанны, и я попытаюсь высказать свою версию.

Лоренца попросила, чтобы он отвез ее на машине на Ривьеру, она хотела навестить знакомую, чтобы забрать у той уж не знаю что именно: то ли какой-то документ, то ли нотариальный акт, то ли какую-то безделушку, которую вполне можно было выслать и почтой. Бельбо согласился, в восторге от возможности провести с ней воскресенье на море.

Они приехали в это место — мне не удалось понять точно, где оно находится, но где-то недалеко от Портофино. Описание, сделанное Бельбо, состояло сплошь из настроений. Из него выплывали не пейзажи, а только споры, напряженные, отчаянные ситуации. Пока Лоренца ходила к подруге, Бельбо ждал ее в баре, вернувшись, она предложила пообедать в рыбном ресторане на крутом обрыве над морем.

С этого момента рассказ стал каким-то прерывистым, и я выстроил его из кусков диалога, который Бельбо передавал без кавычек, словно записывал в горячке. Они подъехали в машине настолько близко, насколько это было возможно, потом продолжили путь пешком, поднимаясь вверх цветущими и неприступными лигурийскими тропами, и наконец нашли ресторан. Но едва уселись, как увидели на соседнем столике карточку, гласившую, что он зарезервирован для господина Аглиэ.

Смотри-ка, ну и совпадение, сказал, наверное, Бельбо. Ужасное совпадение, ответила, возможно, Лоренца, которая не хотела, чтобы Аглиз узнал, что она здесь с Бельбо. Почему тебя это смущает, что тут плохого, разве Аглиз имеет право ревновать? О каком праве ты говоришь, речь идет о приличиях. Он пригласил меня провести с ним этот вечер, а я ответила, что занята, мне не хочется выглядеть лгуней. Ты не лгунья, ты ведь и вправду занята — со мной, разве этого нужно стыдиться? Стыдиться, конечно, не нужно, но позволь мне самой решать, что прилично, а что нет.

Они ушли из ресторана и стали возвращаться по той же тропе. Внезапно Лоренца остановилась: навстречу шли люди, которых Бельбо не знал, друзья Аглиз, объяснила Лоренца, а ей не хотелось, чтобы ее увидели. Унизительная ситуация: она прислонилась к парапету мостика над усаженным оливковыми деревьями склоном и уткнулась в газету, словно умирала от желания узнать, что делается в мире, а он курил в десяти шагах, делая вид, что оказался тут случайно.

Знакомые Аглиз прошли, но теперь, заявила Лоренца, если пойти по тропе, то наверняка они встретят и его самого. К черту, к черту, отвечал Бельбо, а если даже и так? А Лоренца упрекала его в том, что у него нет ни капли сочувствия. Выход: вернуться к машине, минуя тропу, идя прямо вдоль склона. Лихорадочное бегство по залитым солнцем террасам, и у Бельбо сломался каблук. Лоренца повторяла: ты видишь, как здесь красиво, если б ты столько не курил, у тебя не было бы такой одышки.

Они добрались до машины и Бельбо сказал, что лучше вернуться в Милан. Нет, ответила Лоренца, Аглиз, возможно, опоздал, и мы встретим его на трассе. Он знает твою машину, посмотри, какая чудная погода, поедem проселочными дорогами, это будет прекрасно, выедем на автостраду Солнца и поужинаем, когда пересечем По.

Почему именно за По? И что значит — проселочными дорогами, взгляни на карту, есть только один путь: подняться в горы за Ушио, затем пересечь Апеннины, сделать остановку в Боббио, а оттуда поехать в Пьяченцу. Ты сошла с ума, это хуже,

чем марш Ганнибала с его слонами. Ты не любишь приключения, сказала она, а кроме того, на этих холмах столько прекрасных ресторанчиков. Не доезжая Ушио, например, мы попадем в "Мануэлину", двенадцать звездочек по Мишлену, разнообразная рыба, которую только можно вообразить.

"Мануэлина" была забита битком, стояла очередь клиентов, выглядывавших столики, на которые уже подали кофе. Ничего страшного, заявила Лоренца, в нескольких километрах отсюда есть сотня местечек еще более прекрасных. Они нашли ресторан через два с половиной часа, в грязном селении, которое, по словам Бельбо, даже военные стыдятся наносить на свои карты, а пообедали переваренными макаронами с тушенкой. Бельбо допытывался, что все это значит — не случайно же она привезла его туда, где должен был появиться Аглиз. Она хотела кого-то из них спровоцировать, только он не понимал, кого именно, она же отвечала, что он — параноик.

Проехав Ушио, они поднялись на какой-то перевал и, когда ехали по деревне, напоминавшей сицилийское селение в воскресную послеобеденную пору во времена Бурбонов, большая черная собака стала посреди дороги, как будто никогда раньше не видела автомобиля. Бельбо стукнул ее бампером, но на нее это не подействовало, однако, выйдя из машины, они увидели, что у бедного животного брюхо все в крови и из него торчит что-то странное и красное (половые органы, кишки?), она скулила, из пасти текла пена. Прибежали несколько местных жителей. Бельбо спросил, кто хозяин собаки — он хочет возместить убыток, но она оказалась бездомной. Без сомнения, собака составляла одну десятую населения этого забытого Богом места, но никто не мог сказать, что это за собака, хотя все ее знали. Кто-то предложил позвать старшину карабинеров, чтоб он пристрелил ее, и конец.

Все занялись поисками старшины, но тут появилась какая-то женщина, которая заявила, что она — любительница животных. У меня дома шесть кошек, пояснила она. Ну и что, ответил Бельбо, это же собака, она подышает, а я тороплюсь. Собака или кошка, какая разница, сказала дама, нужно быть сердечнее. Старшины нигде нет, надо найти кого-нибудь из общества за-

щиты животных или из ближайшей больницы, может быть, удастся спасти собаку.

Солнце нещадно палило, обжигало Бельбо, Лоренцу, машину, собаку, всех стоявших вокруг, и казалось, оно никогда не зайдет. У Бельбо было такое ощущение, что он вышел из дому в одних трусах и никак не может проснуться, дама продолжала твердить свое, старшину найти было невозможно, собака истекла кровью и прерывисто дышала, издавая жалобные звуки. Скулит, сказал Бельбо, ярый пурист, и дама подхватила: конечно, разумеется, скулит, ему больно, а вы что же, не могли ехать поаккуратнее? На деревушку постепенно надвигался демографический бум. Бельбо, Лоренца и собака оказались главным зрелищем этого угрюмого воскресного пополудня. Подошла девочка со стаканчиком мороженого и спросила, не с телевидения ли они и не организуют ли конкурс "Мисс апеннинская лигурийка". Бельбо грубо приказал ей немедленно убираться откуда пришла, а не то он сделает с ней то же, что и с собакой. Девочка расплакалась. Подошел местный врач и сказал, что эта девочка — его дочь и Бельбо не знает, с кем имеет дело. После быстрого обмена извинениями и взаимных представлений выяснилось, что врач опубликовал в "Мануцио", известном миланском издательстве, "Дневник затерянной деревушки". Бельбо попался на удочку и заявил, что он свой человек в "Мануцио", и теперь доктор захотел, чтобы Бельбо и Лоренца непременно остановились у него поужинать, Лоренца нервничала и толкала Бельбо локтем в бок, теперь про нас наверняка напишут в газетах, скажут, что мы дьявольские любовники, ты не мог придержать язык?

Солнце по-прежнему изливало на землю зной, на колокольне начали звонить к вечерне (вот мы и на Ультима Туле, цедил сквозь зубы Бельбо, солнце жарит уже полгода, от полуночи до полуночи, а у меня кончились сигареты), собака молча страдала, и никто на нее уже не обращал внимания. Лоренца заявила, что у нее начинается приступ астмы, а Бельбо теперь был уверен, что космос стал результатом ошибки Демиурга. Наконец ему пришло в голову, что они могут поехать вдвоем за помощью в ближайший населенный пункт. Любительница живот-

ных была согласна: пусть отправляются, но побыстрее возвращаются, человеку, который работает в издательстве, можно доверять, она сама так любит Марино Моретти.

Бельбо тронулся в путь и цинично проскочил следующий же городок. Лоренца проклинала всех животных, которыми Господь осквернил землю в первые пять дней, и Бельбо согласился, хотя осмелился критиковать и труды шестого дня, и, возможно, отдых в седьмой, потому что пришел к выводу, что это было самое сатанинское из воскресений, которые ему довелось пережить.

Они добрались до Апеннинского перевала, и оказалось, что на карте эта дорога выглядит гораздо короче, а им пришлось потратить несколько часов. Они перемахнули через Боббио и к вечеру достигли Пьяченцы. Бельбо устал и хотел хотя бы поужинать с Лоренцой. Он снял номер на двоих в единственной свободной гостинице рядом с вокзалом. Едва поднявшись в номер, Лоренца заявила, что не станет ночевать в таком месте. Бельбо ответил, что найдет что-нибудь получше, если она ему позволит забежать в бар и выпить рюмку martinis. В баре подавали только местный коньяк, он вернулся в номер, но Лоренцы там не было. Он пошел справиться у портье и получил записку: "Любовь моя, я обнаружила прекрасный поезд на Милан. Уезжаю. Увидимся на неделе".

Бельбо бросился на вокзал, но перрон был пуст. Все, как в вестерне.

Он провел ночь в Пьяченце. Хотел купить что-нибудь из "Черной серии", но вокзальный киоск был закрыт. В гостинице же он нашел только журнал туристского общества.

В довершение несчастий в журнале этом был помещен репортаж об апеннинских перевалах, которые он только что преодолел. В его воспоминании — поблекшем, как если бы все эти перипетии произошли с ним в давно минувшие дни — они представляли собой выжженную солнцем, пустынную, с тучами пыли территорию, усеянную нечистотами. На глянцевах страницах журнала это были места мечты, куда следовало вернуться —

даже пешком, чтобы шаг за шагом еще раз вкусить от ее прелестей. Одним словом, острова Самоа Джима Коноплянника.

Как может человек оказаться на пути к гибели только из-за того, что сбил собаку? И тем не менее все так и было. В ту ночь в Пьяченце Бельбо решил, что План — это укрытие, благодаря которому он избежит новых поражений, ибо в пределах Плана он сам может решать, кто, как и когда.

Наверное, в тот же вечер он решил отомстить Аглиз, хотя и не знал, за что и с какой целью. Он задумал ввести Аглиз в План — так, чтобы тот ни о чем не догадался. К тому же для Бельбо было характерно стремиться к реваншу, единственным свидетелем которого будет он сам. Не из скромности, а из недоверия к свидетельствам других людей. Аглиз, вовлеченный в План, будет устранен, растворится в дыму, как фитиль свечи. Станет нереальным, как тамплиеры Провэнза, розенкрейцеры и сам Бельбо.

"Это не составит труда,— думал Бельбо,— мы же сумели свести до наших размеров Бэкона и Наполеона, а чем Аглиз лучше? Пошлем и его на поиски Карты. Освободился же я от Арденти и от воспоминаний о нем, поместив его в лучшую выдумку, чем его собственная. Точно так же будет и с Аглиз."

Я думаю, он действительно верил в это — в несбыточное желание. Этот *file* заканчивался — да иначе и быть не могло — обязательной цитатой всех, кому жизнь уготовала поражение: "*Bin ich ein Gott?*"

Что же это за скрытое влияние, оказываемое через прессу на все окружающие нас подрывные движения? Или это действуют разные Силы? Или же есть только одна Сила, невидимая группа, управляющая всем остальным,— круг настоящих Посвященных?

(Nesta Webster. *Secret Societies and Subversive Movements*,
Лондон, Boswell, 1924, с.348)

Возможно, он забыл бы о своем намерении. Возможно, ему достаточно было написать о нем. Возможно, если бы он сразу встретился с Лоренцей, в нем снова ожило бы желание и оно примирило бы его с жизнью. Но именно в понедельник после обеда к нему в кабинет зашел благоухающий экзотической туалетной водой и с улыбкой во весь рот Аглиз. Зашел, чтобы вернуть несколько забракованных рукописей, которые он прочитал в восхитительный уик-энд на Ривьере. К Бельбо вернулась его обида. И он решил посмеяться над ним, поманив его призрачным гелиотропом.

И вот с видом этакого боккачевского Буффальмакко он намекнул Аглиз, что уже больше десяти лет над ним довлеет груз посвященческой тайны. Собственно, речь идет о рукописи, доверенной ему неким полковником Арденти, утверждавшим, что он владеет Планом тамплиеров... Полковника похитили, а может быть, убили и забрали бумаги, но перед этим он вышел из издательства Гарамона с текстом-приманкой, намеренно искаженным, выдуманным, даже по-детски наивным, который служил лишь для того, чтобы дать понять: полковник имел дело с посланием из Провэнза и с подлинными последними записями Ингольфа, теми, которые его убийцы все еще ищут. Только вот тонюсенькая папочка, в которой всего-то десять маленьких листков, а в этих десяти листках — подлинный текст, тот, который на самом деле обнаружили в бумагах Ингольфа, так вот — эта папочка осталась у Бельбо.

— Как любопытно! — отреагировал Аглиз,— расскажите-ка, расскажите мне.

И Бельбо рассказал. Он рассказал ему весь План в том виде, в котором мы его придумали, как если бы он был откровением той давней рукописи. Он даже сказал, еще более таинственным и конфиденциальным тоном, что один полицейский — некий Де Анжелис — также подошел к порогу истины, но напнулся на герметическую стену — как подходит здесь это слово — молчания Бельбо, хранителя величайшей тайны человечества. Тайна же эта по сути и в конечном счете сводится к тайне Карты.

Тут он сделал паузу, полную многозначительности — как и все длинные паузы. Его сдержанность в отношении конечной истины гарантировала правду предпосылок. Для того, кто по-настоящему верит в тайную традицию (рассчитывал он), нет ничего более красноречивого, чем молчание.

— Н-да, очень интересно, очень интересно,— бормотал Аглиэ, вынимая из жилетки свою табакерку и делая вид, что думает о другом.— Ну... а карта?

А Бельбо думал: старый развратник, ты заводишься, так тебе и надо, работаешь под Сен-Жермена, а сам — всего лишь мелкий проходимец, шулер, живешь за счет игры тремя картами, потом покупаешь Колизей у такого же проходимца, который сумел тебя надуть. Сейчас я спроважу тебя на поиски географических карт, и ты исчезнешь во чреве земли, унесенный потоками, и ты разобьешь голову о южный полюс какой-нибудь кельтской сваи.

И сказал вслух, тщательно взвешивая слова:

— Разумеется, в рукописи тоже была карта, а точнее, ее подробное описание со ссылкой на оригинал. Это удивительно, вы не можете представить себе, сколь просто решение задачи. Карта была доступна любому, всякий мог ее рассмотреть, тысячи людей проходили ежедневно перед ней на протяжении веков. А с другой стороны, система ориентировки карты так элементарна, что достаточно запомнить ее схему — и можно тут же воспроизвести карту. Так просто и так непредсказуемо... Задумайтесь только, лишь для того, чтобы представить себе: получается так, как если бы карта была вписана в пирамиду Хеопса, выставлена перед всем миром и веками все читали, перечиты-

вали и расшифровывали пирамиду, чтобы найти в ней другие намеки, другие расчеты, не подозревая их невероятную и чудеснейшую простоту. Это же шедевр невинности. И вероломства. Тамплиеры из Провэнса были действительно чудесниками.

— Вы и в самом деле разбудили мое любопытство. И что же, вы не покажете мне эти документы?

— Признаюсь вам, я все уничтожил: и десять листов, и карту. Я был в ужасе, надеюсь, вы понимаете?

— Вы хотите сказать, что уничтожили такой ценный документ...

— Я уничтожил его, однако, как я уже говорил вам, открытие чрезвычайно просто. Карта вот здесь,— он постучал себя пальцем по лбу, и ему стало смешно, потому что он вспомнил анекдот про немца, овладевшего "железной" методой изучения итальянского языка: в первый день одно слово, во второй — два и так далее, а в итоге он смог сказать, постучав себя по голове: "У мене все сдесь, в мой садниса".— Я ношу эту тайну в себе уже больше десяти лет, больше десяти лет я ношу здесь эту карту,— он снова указал на лоб,— как наваждение, и я в ужасе от той власти, которую мог бы получить, если бы решился вступить во владение наследством Тридцати Шести Невидимых. Теперь вы понимаете, почему я убедил Гарамона опубликовать "Разоблаченную Изиду" и "Историю магии". Я жду верного контакта.

И все более входя в роль и желая подвергнуть Аглиэ решающему испытанию, он рассказал ему почти наизусть пламенные слова, произнесенные Арсеном Люпенем в присутствии Ботреле в конце "Aiguille Creuse": "Бывают моменты, когда у меня кружится голова от моей мощи. Я упиваюсь своей силой и властью".

— Полноте, дорогой друг,— сказал Аглиэ,— а вдруг вы чрезмерно доверились воображению какого-то сумасшедшего? Вы уверены, что документ этот подлинный? Почему бы вам не положить на мой опыт в этих вещах? Если б вы знали, сколько таких откровений попадалось мне на жизненном пути, и я по меньшей мере смог доказать их несостоятельность. Мне доста-

точно одного моего взгляда, чтобы оценить достоверность этой карты. Мне приятно сознавать, что я обладаю некоторыми познаниями — пусть скромными, но точными — в области традиционной картографии.

— Граф,— отвечал ему Бельбо,— я от вас первого слышу, что открытая посвященческая тайна больше ни на что не годна. Я молчал столько лет, буду молчать и дальше.

И он умолк. Аглиз — был он проходимцем или нет — тоже по-настоящему вжился в свою роль. Всю свою жизнь он наслаждался погружением в тайны, в которые нельзя проникнуть, и теперь был твердо убежден в том, что на устах Бельбо навсегда останется печать молчания.

В это время вошла Гудрун и сообщила, что встреча в Болонье назначена на полдень в пятницу.

— Вы можете выехать утренним экспрессом,— добавила она.

— Восхитительный поезд,— заметил Аглиз.— Хотя на него нужно всегда резервировать место заранее, особенно в летний сезон.

Бельбо сказал, что даже в последний момент можно всегда найти место, пусть даже в вагоне-ресторане, где подают завтрак.

— Желаю вам, чтоб так и вышло,— произнес Аглиз.— Болонья — красивый город. Но там так жарко в июне...

— Я проведу там всего два-три часа. Мне нужно обсудить один эпиграфический текст, у нас проблемы с репродукциями...— А потом вдруг выпалил: — Это пока что не отпуск. Отдыхать я отправлюсь в период летнего солнцестояния, возможно, я решусь на... Вы меня понимаете. Надеюсь на ваше умение хранить чужие тайны. Я говорил с вами как с другом.

— Я умею молчать не хуже вас. Во всяком случае, благодарю вас за доверие.

С этими словами он удалился.

Бельбо эта встреча успокоила: полная победа его астральных рассказов о нищете и позоре подлунного мира.

На следующий день ему позвонил Аглиз.

— Прошу извинить меня, дорогой друг. У меня возникла небольшая проблема. Как вы знаете, я немного приторговываю старыми книгами. Вечером мне прислали из Парижа дюжину книг XVIII века в переплетах, которые имеют определенную ценность и которые я непременно должен завтра передать партнеру во Флоренции. Я должен был бы отвезти их сам, однако в данный момент не могу отлучиться. Мне пришло в голову вот какое решение. Вы собираетесь ехать в Болонью. Завтра я приду на вокзал за десять минут до отправления поезда и передам вам маленький чемоданчик. Вы положите его на полку и оставите там, когда будете выходить в Болонье. Если можно, сойдите, пожалуйста, последним, чтобы убедиться, что его никто не прихватил с собой. Во Флоренции мой партнер войдет в вагон и заберет чемоданчик. Я понимаю, что затрудняю вас этим, но если бы вы смогли оказать мне такую услугу, я был бы вам бесконечно признателен.

— Охотно,— согласился Бельбо,— но как ваш друг из Флоренции узнает, где лежит чемоданчик?

— Я более предусмотрителен, чем вы, и заказал билет заранее: вагон восемь, место сорок пять. До самого Рима, так что ни в Болонье, ни во Флоренции никто его не займет. В благодарность за ваш труд я гарантирую вам место без перспективы трястись в вагоне-ресторане. Я, однако, не осмелился заплатить за билет. Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что я плачу свои долги столь грубо.

"Действительно, по-джентльменски,— подумал Бельбо,— он пришлет мне ящик марочных вин. Чтобы я выпил за его здоровье. Вчера только я хотел избавиться от него, а сегодня оказываю ему услугу. Ну что ж, не могу же я отказать".

В среду утром Бельбо отправился на вокзал заранее, выкупил свой билет до Болоньи и встретил Аглиз с чемоданчиком у вагона номер восемь. Чемоданчик был довольно увесистым, но компактным.

Бельбо уложил его на полку над сорок пятым местом и уселся, вынув из кармана пачку газет. Главной новостью были похороны Берлингуэра. Через некоторое время место рядом с

ним занял какой-то бородатый господин. Бельбо показалось, что он уже где-то его видел (возможно, на празднике в Пьемонте, но он не был уверен). К моменту отправления купе заполнилось.

Бельбо читал газету, а бородатый пассажир пытался завязать разговор с другими соседями по купе. Он начал о жаре, о плохом кондиционировании, о том, что в июне никогда не знаешь, как одеваться: по-летнему или по-осеннему. Он заметил, что лучшая одежда — это легкий клубный пиджак, такой как раз, как на Бельбо, и спросил, не английского ли он производства. Бельбо утвердительно кивнул: фирмы Берберри — и снова уткнулся в газету.

— Эти пиджаки самые лучшие, — продолжал господин, — но ваш особенно красив, потому что отсутствуют позолоченные пуговицы, которые так бросаются в глаза. А кроме того, к нему очень идет ваш бордовый галстук.

Бельбо поблагодарил и вернулся к газете. Господин продолжал говорить остальным, как трудно подобрать галстук к пиджаку, а Бельбо читал. "Ясное дело, — думал он, — они все считают меня невежей, но в поезде я хочу избежать контактов с людьми. У меня таких связей по горло каждый день".

Тогда бородатый господин сказал:

— Как много газет вы читаете, да к тому же различных направлений. Вы, должно быть, судья или политик.

Бельбо ответил, что нет, что он работает в издательстве, которое публикует книги по арабской метафизике. Сказал он это в надежде отпугнуть противника. На того эти слова действительно подействовали.

Появился контролер. Он спросил, как это получилось, что у Бельбо билет до Болоньи, а место зарезервировано до Рима. Бельбо ответил, что передумал в последнюю минуту.

— Как хорошо, — заметил бородатый господин, — когда можешь менять решения в зависимости от настроения, не думая о кошельке. Я вам завидую.

Бельбо усмехнулся и отвернулся в другую сторону. "Ну вот, — подумал он, — теперь они смотрят на меня как на транжиру или думают, что я ограбил банк".

В Болонье Бельбо встал и направился к выходу.

— Пойдите, вы забыли чемодан,— окликнул его сосед.

— Нет, за ним должны прийти во Флоренции,— ответил Бельбо,— и я попросил бы вас посматривать за чемоданом.

— Будьте покойны,— уверил бородач.— Можете на меня положиться.

Бельбо вернулся в Милан вечером, по дороге он купил две банки мясных консервов, соленое печенье, включил телевизор. Там все еще говорили о Берлингуэре, значит, все идет своим чередом. Сообщение прозвучало как-то скромно, в конце передачи.

Сегодня около полудня в экспрессе Болонья—Флоренция, в вагоне номер восемь, одному бородатому пассажиру показалось подозрительным поведение попутчика, сошедшего в Болонье и оставившего на полке свой чемодан. Он, правда, сказал, что чемодан должны забрать во Флоренции, но разве не так действуют террористы? И потом, почему он зарезервировал место до Рима, а вышел в Болонье?

Пассажиров в купе охватило беспокойство. В какой-то момент бородатый господин сказал, что не может больше выдерживать такое напряжение. Лучше совершить ошибку, чем погибнуть: он сообщил бригадире поезда. Бригадир приказал остановить состав и вызвал железнодорожную полицию. Подробности произошедшего неизвестны, поезд стоял в горах, встревоженные пассажиры высыпали на пути, пиротехников все не было... Наконец специалисты вскрыли чемодан — и обнаружили в нем часовой механизм, установленный на время прибытия во Флоренцию. Взрыв мог уничтожить несколько десятков человек.

Полиции не удалось разыскать бородатого господина. Скорее всего он перешел в другой вагон и сошел во Флоренции, чтобы не попасть в газеты. По телевидению к нему обратились с просьбой дать о себе знать.

Остальные пассажиры на удивление точно запомнили человека, оставившего чемодан: тип, который с первого взгляда

внушает подозрение. На нем был синий английский пиджак с пуговицами без позолоты, бордовый галстук, избегал общения, создавалось впечатление, что он хотел во что бы то ни стало остаться незамеченным. Однако у него вырвалось, что он работает не то в газете, не то в издательстве, не то каком-то месте, имеющем отношение (здесь мнения свидетелей расходились) к физике, к метану или к метемпсихозу. Но, несомненно, к этому приложили руку арабы.

Полицейские комиссариаты и отделения жандармерии были подняты на ноги. К следователям начали поступать первые сигналы. В Болонье арестованы два ливийца. Полицейский художник выполнил портрет со слов очевидцев, который теперь появился на экране. Рисунок не был похож на Бельбо, однако Бельбо был похож на рисунок.

У Бельбо не могло быть сомнений. Человек с чемоданом — это он. Но ведь в чемоданчике были книги Аглиз. Он позвонил ему — телефон молчал.

Было уже поздно. Он не решился выйти на улицу и лег спать, выпив снотворное. На следующее утро он еще раз попытался связаться с Аглиз. Тишина. Он спустился на улицу, чтобы купить газеты. К счастью, первая полоса была по-прежнему занята похоронами, информация о находке в поезде, а также портрет-робот были помещены в середине газеты. Бельбо втянул голову в плечи, поднял воротник и вернулся в дом, и уже там заметил, что на нем вчерашний пиджак. Хорошо еще, что он не повязал бордовый галстук.

Бельбо принялся вновь перебирать в уме события минувшего дня, как вдруг зазвонил телефон. Говорил кто-то незнакомый, с иностранным акцентом, похожим на балканский. Слова тянулись как мед, звонок человека, который не имеет к делу никакого отношения и действует только по доброте душевной. Бедный господин Бельбо, говорил он, оказаться впутанным в такую неприятную историю. Никогда не следует братья перевозить чужие посылки, не проверив их содержимое. Было бы крайне прискорбно, если бы в полицию сообщили, что незнакомец с сорок пятого места — это господин Бельбо.

Разумеется, можно было бы избежать подобного исхода, если бы только господин Бельбо решился на сотрудничество. Например, если бы он сказал, где находится карта тамплиеров. А поскольку в Милане начала гореть под ногами земля, ибо все знают, что автор покушения сел в экспресс в Милане, было бы разумно перенести все дело на нейтральную территорию, скажем в Париж. Однако было бы лучше, если бы Бельбо выехал немедленно, пока его кто-нибудь не узнал. Книжная лавка Слонан, улица Мантикор, 3. В полдень 20 июня он увидит там знакомое лицо — того самого господина с бородой, с которым они так любезно беседовали в поезде. Бородач скажет ему, где найти остальных друзей, а позже, не спеша, в хорошей компании, подгадав к наступлению летнего солнцестояния, он наконец расскажет все, что знает, и все закончится без травм и потрясений. Итак, улица Мантикор, 3, легко запомнить.

Сен-Жермен... Очень светский, очень умный... Говорит, что владеет всякими тайнами... Часто использовал для своих появлений это известное волшебное зеркало, которому отчасти обязан своей славой... Благодаря катоптрическому эффекту он вызывал требуемые и почти всегда узнаваемые тени, его связь с потусторонним миром не вызывала сомнений.

(Le Couiteux de Canteleu. *Les sectes et les sociétés secrètes*, Париж, Didier, 1863, с.170-171)

Бельбо понял, что погиб. Все стало ясно. Аглиз поверил в его историю и хочет заполучить карту. Он подстроил ему ловушку и теперь держит его в кулаке. Либо Бельбо поедет в Париж и расскажет то, чего сам не знает (но то, что он этого не знает, известно лишь ему одному: я уехал, не оставив адреса, а Диоталлеви был при смерти), либо на него набросится вся полиция Италии.

Возможно ли, однако, чтобы Аглиз опустил до такой грязной игры? Что это ему дает? Нужно бы схватить этого старого безумца за шиворот и оттащить в полицию: только так можно выпутаться из этой истории.

Бельбо вскочил в такси и поехал в маленький особняк возле площади Пиола. Окна дома закрыты, а на входной двери — объявление агентства по торговле недвижимостью: "СДАЕТСЯ". Безумие. Аглиз жил здесь еще неделю назад. Он позвонил в соседний дом. "Этот господин? Он выехал как раз вчера. Понятия не имею, куда он мог уехать, я едва знал его, это был очень незаметный человек и, по-моему, он все время проводил в разъездах."

Оставалось только обратиться в агентство. Но там никогда и не слышали об Аглизе. Особняк был снят в свое время какой-то французской компанией. Плата поступала регулярно через банк. Арендный договор был расторгнут в течение последних двадцати четырех часов, причем съемщик отказался и от залога. Связь они поддерживали только по почте с неким господином Раготьки. Больше им ничего не было известно.

Это невозможно. Раготьки или Ракоски — таинственный посетитель полковника, разыскиваемый хитроумным Де Анжелисом и Интерполом, занимается тем, что снимает дома. В нашем рассказе Ракоски, о котором говорил Арденти, был перевоплощенным Рачковским из Охранки, который, в свою очередь, был перевоплощенным, вечно возвращающимся Сен-Жерменом. Но при чем тут Аглиз?

Бельбо, крадучись, словно преступник, добрался до своего офиса и заперся в кабинете. Он пытался разобраться в ситуации.

Было от чего потерять голову, и Бельбо не сомневался, что уже потерял ее. И при этом не с кем посоветоваться. Вытирая пот с лица, он почти машинально листал рукописи, положенные накануне ему на стол, не зная, что предпринять, и вдруг на одной из страниц мелькнуло имя Аглиз.

Он посмотрел на заголовок рукописи. Поделка кого-то из сатанистов. "Правда о графе Сен-Жермене". Начал читать. Там говорилось, со ссылкой на биографию Шакорнака, что Клод-Луи де Сен-Жермен выдавал себя поочередно за господина де Сюрмона, графа Салтыкова, мистера Велдоуна, маркиза де Бельмара, князя Ракоци или Рагоцки и так далее, а фамилия его была граф де Сен-Мартен и маркиз д'Аглиз по названию пьемонтского имения его предков.

Прекрасно, теперь Бельбо знал, какой точки зрения придерживаться. Его не только преследовали за терроризм, не только План оказался настоящим, не только Аглиз исчез в какие-нибудь два дня, но в довершение всего оказалось, что он вовсе не мифоман, а подлинный и бессмертный граф де Сен-Жермен, который не утруждал себя тем, чтобы скрывать это. Единственное, что было правдой в этом круговороте обмана, это — его имя. Нет, даже не это, его имя также было поддельным, Аглиз не был Аглиз, но неважно, кто он был, ибо фактически он вел себя, и уже долгие годы, как персонаж повести, которую мы, именно мы, придумали гораздо позже.

Как бы то ни было, альтернативы Бельбо не видел. Аглиз исчез, и он не может указать полиции того, кто передал ему

чемодан. И даже если предположить, что в полиции ему поверят, то станет явным, что передал его ему человек, разыскиваемый за убийство, человек, услугами которого как рецензента он пользовался вот уже по меньшей мере два года. Хорошенькое алиби!

Но, чтобы придумать всю эту историю — которая сама по себе выглядела довольно беллетристически — и чтобы заставить полицию поверить в нее, следовало предположить наличие другой истории, выходящей за рамки фантазии, а именно истории о том, что придуманный нами План отвечает во всех деталях — включая лихорадочные заключительные поиски карты — настоящему плану, в котором присутствуют Аглиэ, Ракоски, Рачковский, Раготьки, бородатый господин, Трес, вся остальная рать вплоть до тамплиеров из Провэнса. И что полковник был прав. Но прав он был, одновременно ошибаясь, так как в конечном счете наш План отличается от его, а если его план настоящий, то наш — нет и наоборот, и если правы мы, то почему за десять лет до этого Ракоски похитил у полковника ложный документ?

От самого только чтения того, что Бельбо записал в Абулафии, у меня возникло желание в то утро биться головой о стену. Чтобы убедиться, что стена, хотя бы стена, существует на самом деле. Я представил себе, как должен был чувствовать себя Бельбо в тот день и в последующие дни. Но это было еще не все.

Пытаясь найти кого-нибудь, кто смог бы ему помочь, он позвонил Лоренце. Ее не было дома. Бельбо готов был поспорить, что больше не увидит ее. В определенном смысле Лоренца была существом, выдуманным Аглиэ, Аглиэ — существом, выдуманным Бельбо, а Бельбо уж не знал, кто же выдумал его самого. Он открыл газету. Наверняка в ней было только одно: то, что он — человек с портрета-робота. Чтобы лишний раз его в этом убедить, раздался телефонный звонок, на этот раз в офисе. Все тот же балканский акцент и те же рекомендации. Встреча в Париже.

— Но кто вы? — выкрикнул Бельбо.

— Трес,— ответил голос.— А о Тресе вам известно больше нашего.

И тогда он решился. Снял трубку и набрал номер Де Анжелиса. В префектуре полиции с ним были не очень любезны, сказав, что такой здесь больше не работает. Затем, уступив его настойчивым просьбам, соединили с каким-то отделом.

— О, кого я слышу, господин Бельбо,— ответил Де Анжелис тоном, который показался Бельбо ироничным.— Вы застали меня случайно. Сажу на чемоданах.

— На чемоданах? — Бельбо испугался: ему показалось, что в словах Де Анжелиса прозвучал намек.

— Меня переводят на Сардинию. Там, кажется, будет поспокойнее.

— Господин Де Анжелис, мне нужно срочно с вами поговорить. Это срочно, по поводу той истории...

— Истории? Какой?

— Да той, с полковником. Да и другой тоже... Вы как-то спрашивали Казобона, слышал ли он что-нибудь о Тресе. Так вот, я об этом слышал. Хочу сообщить вам нечто важное.

— Не рассказывайте мне ничего. Я больше этим не занимаюсь. И потом, не кажется ли вам, что вы несколько запоздали?

— Признаюсь, я, действительно, не все вам сказал тогда, несколько лет назад. Но сейчас мне нужно с вами поговорить.

— Нет, господин Бельбо, не говорите мне ничего. Я уверен, что наш разговор прослушивают, и я хочу, чтобы вы знали, что я ничего не желаю слышать и ничего не знаю. У меня двое маленьких детей. И мне уже грозили, что с ними могут случиться неприятности. Мало того, мне доказали, что это не шутки: вчера утром моя жена завела машину, и в этот момент взорвался багажник. Совсем маленький заряд, не больше петарды, но достаточный для того, чтобы дать мне понять: кто хочет, тот добьется. Я пошел к префекту полиции и сказал ему, что всегда выполнял свой долг, делал больше, чем нужно, но я не герой. Я мог бы пожертвовать своей жизнью, но не жизнью жены и де-

тей, и попросил о переводе. А потом пошел и сказал всем вокруг, что я трус и делаю в штаны. И теперь то же самое говорю вам и тем, кто нас слушает. Я испортил свою карьеру, потерял уважение к себе, я просто-напросто человек без чести, но я хочу спасти тех, кто мне дорог. Говорят, Сардиния — прелестный уголок, мне даже не придется экономить, чтобы отправлять детей летом к морю. До свидания.

— Погодите, дело очень серьезное, я попал в скверную историю...

— В скверную историю? Я очень доволен. Когда я просил вас о помощи, вы мне отказали. И ваш друг Казобон тоже. Сейчас же вы оказались в дерьме и просите помощи у меня. Так вот, я тоже в дерьме. Вы опоздали. Вы, очевидно, захотите сказать, что полиция находится на службе у граждан, так, кажется, говорят в кино? Вот и хорошо, обращайтесь в полицию, к моему преемнику.

Бельбо повесил трубку. Превосходно сработано: ему даже не позволили воспользоваться помощью единственного полицейского, который мог бы ему верить.

Потом он подумал, что Гарамон со всеми его знакомствами — префектами, высокопоставленными чиновниками — мог бы протянуть ему руку помощи. Он бросился к нему.

Гарамон выслушал его рассказ приязненно, прерывая изредка вежливыми восклицаниями вроде "да что вы говорите?!", "подумать только!", "это же целый роман, да что роман — фантастика". Затем он сложил руки, посмотрел на Бельбо с бесконечной симпатией во взгляде и сказал:

— Мой мальчик, позвольте мне называть вас так, ибо я мог бы быть вашим отцом, ну, может быть, не отцом, поскольку я все-таки человек молодой, более того, юный, а старшим братом, если вы позволите. Я говорю от чистого сердца, а мы ведь знакомы уже столько лет. Мне кажется, что вы перевозбуждены, что вы на пределе сил, нервов, скажу больше, вы устали. Не подумайте, что я не ценю вас, я знаю, что вы преданны издательству телом и душой, и однажды придется учитывать все

даже, как бы это сказать, в материальном плане, поскольку это ничему не повредит. Но на вашем месте я взял бы отпуск. Вы говорите, что попали в затруднительное положение. Откровенно говоря, я не стал бы драматизировать, хотя, согласитесь, для издательства "Гарамон" не было бы приятно, если бы один из его сотрудников, лучших сотрудников, оказался замешанным в какой-то подозрительной истории. Вы говорите, что кто-то хочет встретиться с вами в Париже. Я не имею ни малейшего желания вникать в подробности, я просто верю вам. Что делать? Поезжайте туда: разве не лучше будет сразу все выяснить? Вы говорите, что у вас, как бы это сказать, конфликтные отношения с джентльменом — графом Аглиэ. Я не хочу знать, что именно произошло между вами, и я не буду пережевывать ту омонимическую деталь, о которой вы мне рассказали. В этом мире масса людей носят одинаковые фамилии, не так ли? Если Аглиэ передает вам очень вежливо: "Приезжайте в Париж, чтобы все выяснить", так что же, поезжайте в Париж, это же не приведет к концу света. В отношениях между людьми должна быть ясность. Едьте в Париж, и если у вас что-то накопилось на душе, то не держите это в себе. Все, что у вас в уме, должно быть и на языке. К чему все эти тайны! Если я правильно понял, граф Аглиэ сожалеет о том, что вы не хотите сказать ему, где находится какая-то карта, план, послание или что-то в этом роде, которым вы владеете, но для вас это не имеет никакого значения, в то время как нашему доброму Аглиэ это необходимо для научных целей. Мы же с вами служим культуре, или я ошибаюсь? И отдайте вы ему эту карту, этот атлас, эти топографические схемы, я не хочу даже знать, что это такое. Если уж он этого так хочет, то должна быть какая-то причина, несомненно весома, ибо джентльмен всегда джентльмен. Так что поезжайте в Париж, пожмите друг другу руки и покончите с этим. Хорошо? И не нервничайте больше, чем нужно. Вы же знаете, что я всегда на посту.

Он нажал кнопку переговорного устройства.

— Мадам Грация... Ну вот, ее нет, как только она нужна, ее никогда нет на месте. У вас неприятности, мой дорогой Бельбо,

но если б вы знали, сколько их у меня. До свидания, если увидите в коридоре мадам Грацию, пошлите ее ко мне. И послушайте моего совета, отдохните.

Бельбо вышел. Мадам Грации не было в приемной, и он увидел, как загорелась красная лампочка прямого телефона Гарамона, который, по всей видимости, кому-то звонил. Бельбо не смог удержаться (по-моему, впервые в жизни он позволил себе подобную бестактность). Поднял трубку и стал слушать. Гарамон говорил кому-то: "Не беспокойтесь. Мне кажется, я его убедил. Он поедет в Париж... Это мой долг. Не зря же мы принадлежим к одному духовному рыцарству".

Итак, Гарамон тоже посвящен в тайну. Но в какую? В ту, которую мог теперь открыть только Бельбо. И которой не существовало.

Наступил вечер. Бельбо направился к Пиладу, перекинулся там парой слов с незнакомыми посетителями и напился. На завтра он поспешил к единственному оставшемуся у него другу. Он отправился к Диоталлеви. Ему пришлось обращаться за помощью к человеку, который умирал.

Об их последнем разговоре он оставил в Абулафии отчет, написанный как бы в горячке, из которого я не мог понять, что исходило от Диоталлеви, а что — от Бельбо, потому что и в том, и в другом случае этот рассказ был как бы шепотом человека, говорящего правду и знающего, что время тешить себя иллюзиями миновало.

И так случилось с рабби бен Элишой и его учениками, которые, изучая книгу "Jesirah", ошиблись в движении и подались назад, увязнув в земле до пупа по причине силы букв.

(Pseudo Saadya. Комментарий к Sefer Jesirah)

Никогда прежде он не был так похож на альбиноса, хотя сейчас у него уже почти не осталось волос на голове, бровей и ресниц. В общем, вполне походил на бильярдный шар.

— Извини,— сказал ему Бельбо,— могу я с тобой поговорить о последних ударах судьбы?

— Говори. У меня больше нет судьбы. Одна только необходимость. С большой буквы "н".

— Я слышал, что открыли новый способ лечения. Эта болезнь пожирает двадцатилетних парней, но медленнее действует на пятидесятилетних, и таким образом есть время, чтобы найти эффективное решение.

— Это все не для меня. Во-первых, мне еще нет пятидесяти. У меня молодой организм. Мне дана привилегия умереть раньше тебя. Но ты видишь, мне трудно говорить. Так что рассказывай, а я отдохну.

Из уважения, из послушания Бельбо поведал ему всю свою историю.

После этого заговорил Диоталлеви, сопя как Нечто из научно-фантастического фильма. Он был теперь и таким же прозрачным, как Нечто, почти невидимой была граница между тем, что снаружи, и тем, что внутри, между кожей и мышцами, между нежным белесым пушком на животе, выглядывавшим из расстегнутой пижамы, и слизистым сплетением внутренностей, которые становятся видимыми только при помощи рентгеновских лучей или же на поздней стадии болезни.

— Джакопо, я лежу тут и не в состоянии видеть того, что происходит там, вокруг. Могу только сказать, что то, что ты мне рассказал, происходит либо внутри тебя, либо снаружи. В том и в другом случае не имеет значения, кто сошел с ума — ты или

весь мир. В обоих случаях некто в большей степени, чем следовало, изменил, перемешал и спутал слова Книги.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Мы согрешили против Слова, того, которое создало мир и удерживает его. Ты теперь за это наказан, так же как и я. Между нами нет разницы.

Вошла медсестра, чем-то смочила ему губы, сказала Бельбо, что его нельзя утомлять, но Диоталлеви запротестовал:

— Оставьте меня в покое. Я должен передать ему Истину. Вот вы, вы знаете Истину?

— Кто, я? Вы такое у меня спрашиваете...

— Вот и уходите. Мне нужно сказать кое-что важное моему другу. Послушай, Джакомо. Человеческое тело состоит из конечностей, суставов, органов, и Тора точно так же. И как Тора состоит из конечностей, суставов и органов, так и человеческое тело. Согласен?

— Да.

— А когда рабби Меир учился у рабби Акибы, то он смешился с чернилами купорос, и учитель ничего не говорил. Но когда рабби Меир спросил у рабби Исмаэля, правильно ли он поступает, тот ответил: сын мой, будь осторожен в твоей работе, потому что работа эта Божественна, и если ты пропустишь одну только букву или напишешь лишнюю, ты разрушишь весь мир... Мы пытались написать заново Тору, но не обратили внимания на лишние или недостающие буквы...

— Но это же была шутка...

— С Торой не шутят.

— Но мы-то шутили с историей, с писаниями других...

— Может ли писание, творящее мир, не быть Книгой? Дай мне немного воды, нет, не в стакане, намочи платок. Спасибо. Теперь слушай. Перемешивая буквы Книги, мы перемешиваем мир. От этого никуда не уйти. Любой книги, даже букваря. Разве типы вроде твоего доктора Вагнера не утверждают, что у того, кто играет со словами, анаграммами и переворачивает вверх дном словарь, черная душа и он ненавидит своего отца?

— Это не совсем так. Эти типы — психоаналитики и говорят так, чтобы заработать. Они не имеют ничего общего с твоими раввинами.

— Имеют, имеют, все они раввины. И все они говорят об одном и том же. Ты думаешь, что раввины, размышляя о Торе, имели в виду какой-то свиток? Они говорили о нас, о тех, кто хочет обновить свое тело при помощи языка. Теперь слушай. Чтобы обращаться с буквами Книги, нужно быть очень набожным, а мы такими не были. Любая книга прошита именем Бога, а мы составляли анаграммы из всех книг истории и не молились. Молчи и слушай. Тот, кто занимается Торой, поддерживает мир в движении, а когда читает или переписывает заново, поддерживает в движении свое тело. Ибо нет такой части тела, у которой не было бы эквивалента в мире... Намочи платок, спасибо. Если ты нарушаешь Книгу, ты нарушаешь мир, если нарушаешь мир, то нарушаешь тело. Вот чего мы не поняли. Тора выпускает какое-нибудь слово из своей оболочки, оно является на мгновение и сразу же прячется. И является оно только тому, кто его любит. Это можно сравнить с очень красивой женщиной, которая прячется в своем жилище, в глухой комнатухе. У нее единственный возлюбленный, о существовании которого никто не подозревает. И если кто-то другой захочет ее изнасиловать, схватить ее своими грязными лапами, она взбунтуется. Она знает своего любовника, приоткрывает дверь и показывается на мгновение. И тут же снова прячется. Слово Торы открывается только тому, кто его любит. А мы, мы хотели говорить о книгах без любви и в шутку...

Бельбо снова смочил ему губы платком.

— Ну и что?

— А вот что: мы захотели сделать то, что нам не было позволено, к чему мы не были готовы. Манипулируя словами Книги, мы хотели создать Голема.

— Не понимаю.

— Ты уже не можешь понять. Ты — пленник твоего создания. Но твоя история происходит все еще во внешнем мире. Не знаю как, но ты можешь выпутаться. Со мною же все обстоит иначе. Я экспериментирую на своем теле с тем, что мы делали шутки ради в Плане.

— Не говори глупостей, все дело в клетках...

— А что же такое клетки? Месяц за месяцем, как набожные раввины, мы произносили разные комбинации букв Книги. ГСС, СГС, ГСГ, СГГ. То, что говорили наши губы, заучивали наши клетки. А что сделали мои клетки? Они придумали другой План и теперь движутся по своему усмотрению. Мои клетки придумывают историю, которая отличается от истории человечества. Мои клетки усвоили, что можно ругаться, анаграммируя Книгу и все книги мира. И они научили этому мое тело. Они совершают инверсию, транспозицию, альтерацию, пермутацию, создают невиданные доселе и лишённые смысла клетки или клетки, смысл которых противоположен здравому. Должен ведь быть правильный смысл и смысл ошибочный, иначе наступает смерть. Но они, они играют без веры, вслепую. Джакопо, пока я еще мог читать, я прочел много словарей. Я изучал историю слов, чтобы понять, что же происходит с моим телом. Мы, раввины, поступаем именно так. Ты никогда не задумывался, что термин "метатеза" из риторики похож на термин "метастаз" из онкологии? Вместо "гам" ты говоришь "маг". А вместо "Рим" — "мир". Это — Темура. В словаре указано, что "метатеза" означает перестановка, мутация. А "метастаз" означает мутация, перестановка. Как же они бестолковы, эти словари. Корень один и тот же — глагол "метатитими" или "метистими". Однако "метатитими" означает: я посредничаю, переносу, заменяю, отменяю закон, изменяю смысл. А "метистими"? Да то же самое: я перемещаю, меняю местами, транспонирую, меняю общее мнение, трогаюсь умом. Так вот, мы и всякий, кто ищет тайный смысл за пределами буквы, тронулись умом. То же самое сделали покорные мои клетки. Поэтому я и умираю, Джакопо, и ты это знаешь.

— Ты так говоришь, потому что болен...

— Я так говорю, потому что наконец все понял о своем теле. Я изучаю его день за днем, я знаю, что в нем происходит, только не могу никак на это влиять, клетки больше не слушаются. Я умираю потому, что убедил клетки, будто правил не существует и можно любой текст превратить во что угодно. Я потратил всю жизнь, чтобы убедить в этом себя, именно я, благодаря моему мозгу. И, очевидно, мой мозг передал им это послание. Почему

я должен считать, что они осторожнее моего мозга? Я умираю, потому что мы фантазировали, не зная меры.

— Послушай, то, что происходит с тобой, не имеет отношения к нашему Плану...

— Неужели? Так почему же с тобой случилось такое? Мир ведет себя так, как мои клетки.

Обессилевший, он откинулся на подушку. Вошел врач и сказал тихим голосом, что нельзя подвергать такому напряжению умирающего.

Бельбо ушел, и больше Диоталлеви он не видел.

"Ладно,— писал он,— меня разыскивает полиция по тем же причинам, по которым Диоталлеви заболел раком. Бедный друг, он умирает, а я, я, у которого нет рака, чем я занимаюсь? Я еду в Париж искать правило развития новообразований".

Он поехал не сразу. Он провел четыре дня кряду взаперти, приводя в порядок свои *files*, фразу за фразой, пытаюсь найти объяснение. Затем он составил отчет, своеобразное завещание — для себя самого, для Абулафии, для меня, для каждого, кто сможет его прочитать. А во вторник он наконец уехал.

Я думаю, Бельбо отправился в Париж, чтобы сказать им, что у него нет никаких тайн, что настоящая тайна заключается в том, чтобы дать возможность клеткам жить согласно их инстинктивной мудрости, что если искать тайны под поверхностью, то мир будет обречен на мерзкий рак. И что самый мерзкий и самый глупый из всех — это он, он, который ничего не знал и все выдумал, и это ему дорого обойдется, но он уже слишком давно свыкся с мыслью, что он трус, а Де Анжелис доказал ему, что герои не ходят косяками.

В Париже у него, вероятно, состоялась первая встреча, и он осознал, что Они не верят тому, что он говорит. Его слова были слишком искренни. Теперь Они ждали откровения — под страхом смерти. Бельбо нечего было им открыть, и он боялся умереть, что было его последним проявлением трусости. Тогда-то он и попытался затеряться и позвонил мне. Но Они схватили его.

C'est une leçon par la suite. Quand votre ennemi se reproduira, car il n'est pas à son dernier masque, congédiez-le brusquement, et surtout n'allez pas le chercher dans les grottes.

(Jacques Cazotte. *Le diable amoureux*,
1772, страница изъята из последующих изданий)

"А теперь,— размышлял я в квартире Бельбо, заканчивая читать его исповедь,— что же я должен предпринять?" Идти к Гарамону не имеет смысла. Де Анжелис уехал. Диоталлеви больше нечего сказать. Лия находится далеко, и там нет телефона. Сегодня суббота, 23 июня, шесть утра, и если что-то должно случиться, то это случится сегодня ночью, в Хранилище.

Мне нужно было поскорее принять решение. "Почему,— спрашивал я себя в тот вечер в перископе,— ты не притворился, что тебя все это не касается? Перед тобой были записки сумасшедшего, который пишет о своих разговорах с другими безумцами и о своей последней беседе с человеком перевозбужденным, сверхугнетенным, поскольку он умирает. Ты даже не уверен, что Бельбо звонил из Парижа, может быть, он находился в нескольких километрах от Милана, а может быть, в телефонной будке на углу. Зачем тебе впутываться в эту скорее всего вымышленную историю, которая не имеет к тебе отношения?"

Но все эти вопросы я задавал себе в перископе, когда ноги мои деревенели, сумерки сгущались, а я испытывал неестественный и одновременно очень естественный страх, который любое человеческое существо должно испытывать ночью, находясь в одиночестве в пустом музее. Утром же, напротив, мне не было страшно. Только любопытно, и ничего больше. Может быть, я испытывал чувство долга по отношению к другу.

И я решил, что должен тоже поехать в Париж, еще не зная точно зачем. Но я не мог оставить Бельбо одного. Возможно, он ожидал от меня только того, чтобы я проник ночью в пещеру тугов и в момент, когда Суйодхана занесет над его сердцем

жертвенный нож, ворвался под своды храма со своими сипаями, вооруженными дробовиками, и вытащил бы его оттуда целым и невредимым.

К счастью, у меня было с собой немного денег. В Париже я взял такси и поехал на улицу Мантикор. Водитель долго ругался, потому что не мог найти эту улицу даже на схеме. И в самом деле, это оказался проулок шириной не больше коридора в железнодорожном вагоне, недалеко от старой улицы Бьевр, за церковью Сен-Жюльен-Ле-Повр. Такси не смогло туда проехать, и я вышел на углу.

Я не без колебаний пошел по улочке, на которую не выходила ни одна дверь. В одном месте она расширялась — там, где находилась книжная лавка. Почему-то этот дом был под номером три, хотя не было ни первого, ни второго, ни других номеров. Это была маленькая лавка с единственным окном, половина двери ее была приспособлена под витрину. По бокам — несколько десятков книг, достаточно, чтобы понять жанр места. Внизу — ряд маятников, пыльные мешочки с благовонными палочками, маленькие восточные и южноамериканские амулеты. Многочисленные колоды карт Таро разных стилей и оформления.

Внутри было не больше комфорта: груды книг на стенных полках и на полу, в глубине — столик, за ним сидел владелец лавки, которого, казалось, поместили туда специально, чтобы дать возможность писателю написать, что он старше своих книг. Он перелистывал толстую, заполненную от руки конторскую книгу, не обращая внимания на посетителей. Впрочем, их в этот момент было всего двое. Поднимая клубы пыли, они пытались достать с шатких этажерок две старые толстые книги, на которых уже не осталось обложек. Они принялись читать их, похоже, не собираясь покупать.

Единственное место, свободное от полок с книгами, занимала афиша. Кричащие краски, портреты *in tondo* с двойной окантовкой, как на афишах мага Гудини. "Маленький цирк Невевероятного. Мадам Олькотт и ее связи с Невидимым". Лицо мужское, оливкового цвета, две пряди черных волос собраны в

шиньон, который припилен на затылке. Мне показалось, что я где-то уже видел это лицо. "Священный танец в исполнении Кричащих дервишей. Малыши-уродцы, или Внуки Фортунио Личети". Нагромождение поразительно безобразных маленьких монстров. "Алекс и Дени, Авалонские великаны, Тео, Лео и Гео Фоксы, Разведчики эктоплазмы".

В лавке Слоан имелось и впрямь все, и на все случаи жизни — от колыбели до гроба, даже здоровое вечернее развлечение, куда можно было привести детей перед тем, как растереть их в ступе. Раздался звонок телефона, и старик сдвинул стопку листов, чтобы дотянуться до трубки. "Да, мсье,— заговорил он,— именно так". Несколько минут он слушал молча, сначала утвердительно кивая головой, потом лицо его приняло растерянное выражение, но, я бы сказал, что все это адресовалось посетителям, как если бы все могли слышать то, что слышал он, а он не хотел нести за это ответственность. Затем выражение лица его стало возмущенно-шокированным, как у всех парижских торговцев, когда у них спрашивают то, чего нет в их магазине, или у администраторов гостиниц, когда они сообщают вам, что свободных номеров нет. "О нет, мсье. Ах, это... Нет-нет, мсье, мы этим не занимаемся. Понимаете ли, мы торгуем книгами, можем дать вам справку о каталогах, но вот это... Это очень личные вопросы, а мы... Ну... знаете, по этим вопросам скорее всего можно обратиться к кюре или... если хотите, к экзорцистам. Да-да, я знаю, бывают и среди нашего брата случаи, когда этим занимаются... Но только не мы. Нет, в самом деле, описания мне недостаточно, и все же... Сожалею, мсье. Что? Да... если хотите. Это известное место, только не спрашивайте моего мнения. Именно, именно, знаете ли, в таких случаях доверие — это все. К вашим услугам, мсье".

Два других посетителя ушли. Мне же было не по себе. Но в конце концов я решился, кашлянул, чтобы привлечь внимание старика, и сказал, что ищу знакомого, приятеля, который часто заходит сюда, господина Аглиз. Он посмотрел на меня так, словно это я только что говорил с ним по телефону. Может быть, добавил я, он знает его не как Аглиз, а как Ракоски, или

Солтыкова, или... Он снова посмотрел на меня, прищурив глаза, с лицом, не выражающим никаких эмоций, и заметил, что у меня странные друзья, если у них такое количество имен. Я ответил, что все это неважно, что я спросил просто так. "Подождите,— сказал он,— сейчас придет мой компаньон, возможно, он знает человека, которого вы ищете. Присядьте-ка пока, вон там, в углу, есть стул. Я сделаю один звонок и проверю." Он снял трубку, набрал номер и негромко заговорил.

"Казобон,— сказал я себе,— ты еще глупее, чем Бельбо. Чего ты ждешь? Чтобы Они появились и сказали: ах, какое совпадение, друг Джакомо Бельбо тоже приехал сюда, идемте, идемте с нами..."

Я вскочил будто подброшенный пружиной, поклонился и вышел. В одну минуту я пробежал улицу Мантикор, свернул в какую-то улочку и очутился на набережной Сены. "Дурак,— ругал я себя,— на что ты надеялся? Что ты появишься, встретишь Аглиэ, схватишь его за шиворот, а он станет извиняться, мол, это было всего лишь недоразумение, вот ваш друг, с его головы не упал ни один волос". Теперь же Они знают, что ты тоже здесь.

Было уже за полдень, вечером что-то должно было случиться в Хранилище. Как быть? Я свернул на улицу Сен-Жак и пошел по ней, время от времени оглядываясь. В какой-то момент мне показалось, что следом за мной идет араб. Но почему я подумал, что это араб? Характерной чертой арабов, по крайней мере в Париже, является то, что они не похожи на арабов, в Стокгольме все было бы иначе.

Я подошел к какой-то гостинице, вошел и спросил номер. Поднявшись с ключом по деревянной лестнице на галерею с балюстрадой, с которой было видно конторку портье, я заметил, что входит тот самый араб. По коридору ходили другие люди, смахивавшие на арабов. Это естественно, в этом квартале расположены маленькие гостиницы для арабов. Стоило ли так волноваться?

Я вошел в номер. Он оказался вполне приличным, даже с телефоном, жаль только, что я не знал, кому позвонить.

Я погрузился в тревожную дрему. В три часа я умылся и направился в Хранилище. Мне теперь не оставалось ничего другого, кроме как войти в него, остаться после закрытия и ждать полуночи.

Так я и сделал. И вот за несколько часов до двенадцати ночи я сидел в перископе в ожидании чего-то.

Нецах, по определению некоторых толкователей,— это сесифира Прочности, Стойкости, постоянного Терпения. Нас ожидает действительно Испытание. Однако другие толкователи утверждают, что это Победа. Чья? Может быть, в этой истории побежденных, дьяволистов, обманутых Бельбо, Бельбо, обманутого дьяволистами, Диоталлеви, обманутого своими клетками, только я был на какой-то момент победителем. Я настороженно сидел в перископе, зная, что Они придут, а Они не знали обо мне. Первая часть замысла прошла по моему плану.

А вторая? Пройдет она по моему плану или же по Плану, который отныне мне больше не принадлежал?

VIII

ХОД



Для наших Церемоний и Ритуалов в Храме Розового Креста нам служат две длинные и красивые Галереи. В одной мы размещаем модели и образцы всех редчайших и совершеннейших изобретений, в другой — Статуи величайших Изобретателей.

(John Heydon. *The English Physitians Guide: Or A Holy Guide*, Лондон, Ferris, 1662, Предисловие)

Я находился в перископе уже слишком долго. Было, наверное, часов десять или половина одиннадцатого. Если что-то должно случиться, то произойдет это в нефе, перед Маятником. Значит, мне пора было спуститься и поискать укрытие, которое стало бы хорошим наблюдательным пунктом. Если я приду туда поздно, после того, как Они уже войдут (через какой вход?), Они меня заметят.

Спуститься. Выпрямить ноги... Вот уже несколько часов я не мог думать ни о чем другом, но теперь, когда я могу, когда было самое время двинуться с места, я чувствовал себя словно парализованным. Мне надо было в темноте пройти через зал, осторожно пользуясь карманным фонариком. Сквозь оконные стекла сочился слабый ночной свет, и я здорово ошибался, когда представлял, что в лунном сиянии музей выглядит пугающе. Если бы я позабыл об осторожности, то свалился бы, столкнув при этом на пол какой-нибудь стеклянный или металлический экспонат. Время от времени зажигая фонарик, я чувствовал себя как в кабаре "Крейзи Хорз", когда внезапно вспыхивающий луч света выхватывает из темноты — к сожалению — не обнаженное тело, а какие-то винты, болты, подпорки.

А если вдруг лучик моего фонарика наткнется на живое существо, на чей-то силуэт, на посланца Властелинов, идущего за мной по пятам? Кто закричит первым? Я прислушался. Зачем? Ведь я шел бесшумно, едва касаясь пола. Значит, он тоже.

Еще днем я внимательно изучил расположение залов и был уверен, что даже в темноте сумею найти монументальную лестницу. В действительности же я шел почти на ощупь и в конце концов заблудился.

Возможно, я снова и снова проходил по одним и тем же залам, возможно, я никогда отсюда не выйду, а может быть, это блуждание среди лишенных смысла машин было ритуалом.

Правда же заключалась в том, что я не хотел идти вниз, а стремился оттянуть время встречи.

Я вышел из перископа после долгой и беспощадной борьбы с самим собой. Все эти часы, мысленно возвращаясь к ошибке, совершенной нами в последние годы, я пытался понять, почему безо всякой разумной причины я отправился на поиски Бельбо, который оказался здесь по еще менее разумной причине. Но как только я выставил ногу за пределы перископа, все изменилось. Скользя по залам, я размышлял как бы чужим умом. Я стал Бельбо. И как Бельбо, который уже приблизился к концу своего длинного пути к озарению, я знал, что любой предмет на этой земле, будь он самый мерзкий из всех, должен быть прочитан как иероглиф другого предмета, и нет ничего Другого, более реального, чем План. О да, я хитрец, достаточно было вспышки, одного взгляда в проблеске света, чтобы я все понял. Со мной так просто не совладать.

...Двигатель Фромана: вертикальная конструкция с ромбовидным основанием словно анатомический воск, через который просвечивают искусственные ребра, в нее заключены множество катушек, всяких батареек, выключателей, всех этих штук, как их там, черт побери, называют в школьных учебниках, приводимых в движение трансмиссионным ремнем, связанным со шкивом через зубчатое колесо... Для чего она могла быть нужна — эта машина? Ответ очевиден: для измерения теллурических токов.

Аккумуляторы. Что они аккумулируют? Нельзя отделаться от мысли о Тридцати Шести Невидимых в качестве упрямых секретарей (хранителей тайны), стучащих по ночам на своих запи-сывающих тамбуринах, чтобы извлечь из них хоть один звук, одну искру, один вызов, которые протянулись бы диалогом между одним ребром и другим, между бездной и поверхностью, от Мачу-Пикчу к Авалону, бип, бип, бип, быстро, быстро, быстро. Памерсиэл, Памерсиэл, я поймал колебание, ток Му 36,

ток, которому брахманы поклонялись как слабому дыханию Бога, подсоединяю контакты, включая микро-макрокосмический контур, под земной корой дрожат все корни мандрагоры, слышу пение Вселенской приязни, конец связи.

Бог мой, на равнинах Европы пускали друг другу кровь армии, папы сыпали анафемами, встречались императоры, гемофилы и кровосмесители, в охотничьем домике дворцовых садов — и все это, чтобы заслонить роскошным фасадом работу тех, кто в Доме Соломона вслушивался в слабые призывы Umbilicus Mundi.

Они были здесь, чтобы управлять этими гексатетраграмматическими псевдотермическими электрокапиллярными машинами (так, наверное, сказал бы Гарамон), и время от времени один из Них изобретал вакцину или лампочку, чтобы оправдать чудесное приключение металлов, однако задача состояла совсем в другом, и вот все Они собрались здесь в полночь, чтобы запустить эту статическую машину Дюкрете — прозрачное колесо, похожее на патронташ, а сзади — два дрожащих шарика, удерживаемые двумя дугowymi палочками. Возможно, они тогда соприкасались и из них вылетали искры, Франкенштейн надеялся, что так он сможет дать жизнь своему Голему, но нет, нужно ждать другого сигнала: рой, рой, старый крот...

...Швейная машинка (как же она отличается от тех, на рекламных плакатах, где с ней соседствуют пилюли для увеличения бюста и большой орел, который парит над горами, а в его когтях — Робур Завоеватель, R.C.). Но если ее привести в движение, начнет вращаться колесо, колесо — кольцо, кольцо... а что делает тот, кто прислушивается к кольцу? На табличке написано: "токи, индуцируемые земным полем". Какое бесстыдство — а ведь это могут прочесть даже дети, когда приходят сюда в послеобеденные часы, — настолько человечество уверено, что движется в другом направлении. Можно испробовать все, можно идти на высший эксперимент, утверждая, что речь идет о механике. Властелины Мира дурачили нас веками. Выводили в поле, окружали, прельщали Заговором, а мы писали поэмы, восхваляющие паровоз.

Я ходил взад и вперед, представлял себя совсем маленьким, микроскопическим, и тогда я стал бы путешественником, обалдевшим на улицах механического города, ощерившегося металлическими небоскребами. Цилиндры, батареи, лейденские банки одна на другой, карусель двадцать сантиметров высотой, *touriquet électrique à attraction et repulsion*. Талисман для стимулирования токов симпатии. *Colonnade étincelante formée de neuf tubes, électroaimant*, гильотина, а в центре — это было похоже на печатный станок — свисали крюки, поддерживаемые стойловыми цепями. Печатный станок, в который можно сунуть руку, голову, предназначенные для сплющивания. Стекланный колокол, приводимый в движение двухцилиндровым пневматическим насосом, что-то вроде алембика, снабженного снизу чашей, а справа — медным шаром. В нем Сен-Жермен готовил тинктуры для гессенского ландграфа.

Стойка для трубок со множеством маленьких клепсидр с вытянутыми сужениями, при виде которых в воображении всплывали женщины Модильяни, в середине какое-то непонятное вещество, в двух рядах по девять, верхние куполы на разной высоте, словно маленькие монгольфьеры, готовые взмыть в воздух, но удерживаемые на земле шаровидным балластом. Прибор для изготовления Ребиса — на глазах у всех.

Отдел стекла. Я уже был здесь. Зеленые флаконы, хозяин-садист предлагает мне концентрированные яды. Железные машины для производства бутылок, открывающиеся и закрывающиеся двумя рычагами, а если бы кто-то вместо бутылки сунул туда руку? Щелк, как это делают огромные плоскогубцы, эти ножницы, эти скальпели с изогнутыми остриями, которые можно вставить в сфинктер, в уши, в матку, чтобы извлечь из нее еще теплый зародыш, а затем растолочь его с медом и перцем и удовлетворить жажду Астарты... Теперь я шел через зал с большими витринами, различал кнопки для включения спиральных буров, которые неумолимо движутся к глазам жертвы. Колодец и Маятник. Это почти карикатура, как бесполезные машины Голдберга, как пресс для пыток, в котором Деревянная Нога держал Мики Мауса, *engrenage extérieur à trois pignons*, триумф механики эпохи Возрождения, Бранка, Рамел-

ли, Дзонка, мне были знакомы эти шестерни, я использовал их в чудесных приключениях металлов, но сюда они были помещены позже, в прошлом веке, готовые приструнивать бунтарей после завоевания мира, тамплиеры научились у ассасинов, как заставить замолчать Ноффо Деи, когда удастся его схватить, обвисшие конечности врагов Властелинов Мира перекрутятся в направлении солнца подобно свастике Зеботтендорфа, все готово, Они ждут знака, все на глазах у всех, План стал публичным достоянием, но никто не сможет его разгадать, скрипучие глотки поют свой завоевательский гимн, великая оргия ртов с единственнм зубом, губы смыкаются в гримасе, и создается впечатление, что все зубы в одно мгновение выпали на землю.

В конце концов я очутился перед *émetteur à étincelles soufflées*, который спроектирован специально для Эйфелевой башни, чтобы обмениваться сигналами времени между Францией, Тунисом и Россией (тамплиеры из Провэнса, павликиане и ассасины из Феса—Фес не в Тунисе, а ассасины были в Персии, и потом, нельзя играть в утонченность, когда живешь в витках Утонченного Времени), и я уже видел эту чудовищную машину, выше меня самого, с проделанными в стенках отверстиями, воздухозаборниками; кто хотел убедить меня, что это — радиоприемник? Ну да, я уже видел ее, я проходил там сегодня днем, Бобур!

На наших глазах. А действительно, для чего был предназначен этот огромный громоздкий ящик в центре Лютеции (Лютеция, дыра для моря подземной грязи), там, где раньше находилось Чрево Парижа с его хоботами, захватывавшими воздушные потоки, с этим безумием труб, желобов, этим ухом Дионисия, открытым внешней пустоте, чтобы посылать звуки, послания, сигналы к центру земного шара и возвращать их, изрыгая информацию из ада? Сначала Хранилище как лаборатория, потом Башня как антенна, наконец, Бобур как глобальное приемо-передающее устройство. Неужели кто-то думает, что установил эту гигантскую присоску, чтобы позабавить четверку заросших и дурно пахнущих студентов, желающих послушать последнюю модную пластинку через вставленный в ухо японский наушник? На наших глазах. Бобур как ворота подзем-

ного царства Агартхи, как памятник все возрождающимся синархическим справедливостям. А те — два, три, четыре миллиарда Тех, они не знают об этом или стараются не знать. Глупые и гилики. А пневматики в течение шести веков обращены к своей цели.

Внезапно я очнулся на главной лестнице и спустился по ступеням, еще больше насторожившись. Приближалась полночь. Мне нужно было спрятаться в моем наблюдательном пункте до Их прихода.

По-моему, было часов одиннадцать или около того. Я пересек зал Лавуазье, не зажигая фонарик, все еще под властью воспоминаний о послеобеденных галлюцинациях, и вошел в галерею с моделями железных дорог.

В нефе уже кто-то был. Я видел колышущиеся слабые огоньки. Послышались звуки быстрых шагов, шум переставляемых предметов.

Я погасил фонарь. Успею ли я добраться к будке охранника? Я проскользнул вдоль стендов с моделями поездов и вскоре добрался до статуи Грамма, в трансепте. Статуя возвышалась на деревянном кубическом постаменте (кубический камень Эзода!), словно охраняя вход в хоры. Я помнил, что моя статуя Свободы должна находиться прямо за его спиной.

Передняя стенка пьедестала была откинута, образуя своего рода мостик, по которому можно было выйти из вентиляционной шахты. И действительно, оттуда появился человек с фонарем, возможно газовым, с цветными стеклами. Фонарь отбрасывал на лицо красноватый свет. Я влип в угол, и он меня не заметил. К нему приблизился кто-то с хоров. "Поторопитесь,— сказал он подошедшему,— они будут через час".

Итак, это был авангард, который готовил все необходимое для ритуала. Если их немного, я смогу ускользнуть к Свободе незамеченным. Пока не пришли тем же путем Они, Бог знает откуда и сколько. Я долго сидел затаившись, следя за отблесками фонарей в церкви, за чередованием света и тени. Я вычислял, когда они отдалятся от Свободы настолько, чтобы я оказался в тени. В какой-то момент я рискнул проскользнул вдоль левого бока Грамма, с трудом прижимаясь к стене и втя-

гивая живот. Хорошо, что я худой как щепка. Лия... Я подбежал и втиснулся в будку.

Чтобы не обнаружить себя, я уселся на пол, скрючившись, как зародыш. Сердце билось учащенно, а может, это стучали зубы.

Нужно расслабиться. Я равномерно задышал носом, постепенно заглатывая воздуха все больше. Без сомнения, именно так во время пыток можно сознательно вызвать обморок, чтобы не чувствовать боли. И в самом деле, я почувствовал, как медленно погружаюсь в объятия Подземного Мира.

Наше дело — это тайна в тайне, тайна чего-то, остающегося сокрытым, тайна, объяснить которую может только другая тайна, это тайна о тайне, которая насыщает себя тайной.

(Ja'far-al-Sâdiq, шестой Имам)

Я медленно приходил в себя: слышны были какие-то звуки, глаза резал более яркий свет. Ноги затекли. Я попытался медленно и без шума встать. Казалось, я стою на тысячах иголок. Малая Сирена. Я осторожно сделал несколько движений, пару приседаний, и боль поутихла. Только после этого я осторожно выставил голову, посмотрел направо и налево и, убедившись, что убежище мое оставалось в достаточной темноте, смог окончательно успокоиться.

Неф был полностью освещен. Фонарями, но теперь их было десятки и десятки, принесенных участниками, которые толпились за моей спиной. Они наверняка появлялись из той вентиляционной шахты и продвигались по левой стороне к хорам, заполняя неф. "Боже мой,— подумалось мне.— Ночь на Лысой горе в версии Уолта Диснея".

Они не говорили, а шептали, но все вместе производили ясное жужжание, вроде статистов в опере: рабарбаро, рабарбаро.

По левую от меня сторону фонари стояли полукругом на полу, замыкая сплюснутым кругом восточную дугу хоров, доходя крайней точкой этого псевдополукруга с южной стороны до статуи Паскаля. В этом месте находилась жаровня с раскаленными углями, на которую кто-то подбрасывал травы, благовоения. Дым проникал в мое укрытие, сушил горло, вызывая ощущение возбуждения и одновременно лихорадочного головокружения.

В мерцании фонарей я увидел, что в центре хоров шевелится чья-то тонкая и очень подвижная тень.

Маятник! Маятник качался теперь не в своем обычном месте — в центре стыка трансептов. Он стал больше, и его подве-

сили к верхней точке свода, в самом центре хоров. Шар стал крупнее и крепче нить, как мне показалось, пеньковая или витая из металлических тросов.

Маятник был теперь огромным, именно так он должен был выглядеть в Пантеоне. Таким, какой видится луна в телескоп.

Они решили вернуть ему то состояние, в котором тамплиеры впервые испытывали его, за полтысячелетия до Фуко. Чтобы дать ему возможность свободно колебаться, они убрали некоторые конструкции, добавив к амфитеатру хоров грубую симметричную антистрофу, обозначенную фонарями.

Я думал, как Маятнику удастся колебаться с таким постоянством теперь, если под плитами пола не могло быть магнитного регулятора. И вдруг понял. На краю хоров, у Дизеля стоял какой-то человек, который, перемещаясь с кошачьей легкостью в соответствии с изменениями плоскости колебаний, точным движением руки, легким прикосновением пальца посылал шару слабый импульс всякий раз, когда шар двигался в его направлении.

Он был во фраке, как Мандрейк. Позже, когда я разгляжу других его сотоварищей, пойму, что это фокусник, иллюзионист из Маленького цирка мадам Олькотт, профессионал, умеющий рассчитывать усилие на кончиках пальцев, с твердой рукой, удобно использующий в своей работе бесконечно малые отклонения. Возможно, он мог чувствовать тонкой подошвой своих сверкающих туфель вибрацию токов и водить руками, подчиняясь логике сферы и Земли, которой соответствовала сфера.

Его спутники. Теперь я их тоже видел. Они двигались между автомобилями, стоящими в нефе, скользили вдоль *draisiennes* и мотоциклов, почти перекатывались во тьме. Один нес кресло и покрытый красным сукном стол в просторную галерею в глубине, другой устанавливал новые фонари. Маленькие, темные, бормочущие, похожие на рахитичных детей, а одного из проходивших вблизи меня я разглядел: монголоидные черты лица и лысая голова. Прелестные монстры мадам Олькотт, маленькие безобразные уродцы, которых я уже видел на афише в лавке Слоан.

Цирк был в полном составе — режиссеры, полиция, хореографы ритуала. Я увидел Алекса и Дениса — Авалонских великанов, перепоясанных кожаными доспехами с массой заклепок. И впрямь великаны — светловолосые, они недвижно стояли со скрещенными на груди руками, опершись о громадину обеисанте.

У меня не было времени задаваться другими вопросами. Кто-то вошел торжественной походкой, воцарив тишину поднятой рукой. Я узнал Браманти только по пурпурной тунике, белой мантии и митре, он был в этом убранстве в тот далекий вечер в Пьемонте. Браманти приблизился к жаровне, что-то бросил на угли, пламя взмыло вверх, затем повалил густой тяжелый белый дым, и по нефу медленно пополз запах. "Совсем как в Рио,— подумал я,— на празднике алхимиков. А у меня нет agodō". Пришлось прикрыть нос и рот платком. Но мне показалось, что передо мной уже два Браманти, а Маятник качается, раз за разом меняя направление, как карусель.

Браманти загнусавил:

— Алеф бет гимел далет хе вау зайин хет тет йод каф ламед мем нун самех айин пе цаде коф реш шин тау!

Толпа молитвенно отвечала:

— Пармесиэл, Падиэл, Камуэл, Азелиэл, Бармизэл, Гедизэл, Асириэл, Мазериэл, Дорхтиэл, Узиэл, Кабаризэл, Райзиэл, Симизэл, Армадиэл...

Браманти подал знак, кто-то вышел из толпы и опустился перед ним на колени. Лицо его я видел лишь мгновение. Это был Рикардо, человек со шрамом, художник.

Браманти стал задавать ему вопросы, на которые тот отвечал, произнося заученные наизусть фразы.

— Кто ты?

— Я адепт, еще не допущенный к наивысшим таинствам Трес. Я готовился в тишине, в медитации, в размышлениях над тайной Бафомета, в сознании того, что Великое Дело вращается вокруг шести нетронутых печатей и что только в конце мы познаем тайну седьмой.

— Как ты был принят?

— Проходя через перпендикуляр к Маятнику.

- Кто тебя принял?
- Мистический Легат.
- Ты узнал его?
- Нет, потому что он был в маске, я знаю только Рыцаря в звании более высоком, чем мое, а он знает Наометра званием выше его звания, и каждый знает только одного. И так я хочу.
- Quid facit Sator Arepo?
- Tenet Opera Rotas.
- Quid facit Satan Adama?
- Tabat Amata Natas. Mandabas Data Amata, Nata Sata.
- Ты привел женщину?
- Да, она здесь. Я передал ее тому, кому мне сказали. Она готова.
- Иди и ожидай.

Французский язык диалога с обеих сторон был далек от совершенства. Затем Браманти возгласил:

— Братья, мы собрались здесь во имя Единого Ордена, во имя Неизвестного Ордена, к которому вы принадлежали всегда, хоть до вчерашнего дня о том не знали! Поклянемся. Да падет анафема на осквернителей тайны. Да падет анафема на клеветников Окультиного, да падет анафема на тех, кто выставлал напоказ Ритуалы и Таинства.

— Анафема!

— Анафема Невидимой Коллегии, незаконным детям Хирама и вдовы, хитроумным мастерам лжи Востока и Запада, Древней Принятой или Ректифицированной, Мизраиму и Мемфису, Филатетам и Девяти Сестрам, Строгому Соблюдению и Ордену Храма Востока, Иллюминатам Баварии и Авиньона, Рыцарям Кадоша, Избранным Коэна, Совершенной Дружбе, Рыцарям Черного Орла и Святого Града, Розенкрейцерам Англии, Каббалистам Золотой Розы+Креста, Золотой Заре, Розе и Католическому Кресту Храма и Грааля, Утренней Звезде, Астрому Аргентуму и Телему, Врилю и Туле, всякому старому и мистическому узурпатору имени Великого Белого Братства, Смотрителям Храма, каждой Коллегии и каждому Приорству Сионскому или Галльскому!

— Анафема!

— Если кто по наивности, по приказанию, по причине прозелитизма, по расчету или злой воле был посвящен в ложу, коллегия, приорство, капитул, орден, незаконно подвергается власти Неведомых Настоятелей и Властелинов Мира, этой ночью пусть отречется от них и молит об исключительном возвращении в дух и тело единого и истинного правила, в TRES: Templi Resurgentes Equites Synarchici, триединый и тринософический мистический и всегосаинственнейший Орден Синархических Рыцарей Храмова Возрождения!

— Sub umbra alarum tuarum!

— Пусть войдут сановники тридцати шести последних и всегосаинственнейших званий!

Браманти стал вызывать избранных по одному, и они входили, одетые в литургические одежды, со знаком Золотого Руна на груди.

Рыцарь Бафомета, Рыцарь Шести Нетронутых Печатей, Рыцарь Седьмой Печати, Рыцарь Тетраграмматона, Рыцарь Мститель Флориана и Деи, Рыцарь Атанора... Досточтимый Наометр Вавилонской башни, Досточтимый Наометр Большой Пирамиды, Досточтимый Наометр Соборов, Досточтимый Наометр Храма Соломона, Досточтимый Наометр Императорского Сада, Досточтимый Наометр Храма Гелиополиса...

Браманти произносил ранги, названные входили группами, так что я не мог понять кто был кто, но среди двенадцати первых я совершенно точно определил Де Губернатиса, старика из книжной лавки Слоан, профессора Каместра и некоторых других, которых встречал в тот памятный пьемонтский вечер. Помоему, рыцарем Тетраграмматона был сам Гарамон, он шествовал с серьезным и священным видом, весь полный осознания своей новой роли, касаясь дрожащими руками Руна на груди.

Браманти меж тем продолжал:

— Мистический Легат Карнака, Мистический Легат Баварии, Мистический Легат Барбелогностиков, Мистический Легат Камелота, Мистический Легат Монсежюра, Мистический Легат Тайного Имама... Верховный Патриарх Томара, Верховный Патриарх Килвиннинга, Верховный Патриарх Сен-Мартен-де-Шан,

Верховный Патриарх Мариенбада, Верховный Патриарх Невидимой Охранки, Верховный Патриарх in partibus Крепости Аламут...

А патриархом Невидимой Охранки был несомненно Салон, как всегда с серым лицом, но одетый на сей раз не в рабочую накидку, а в расшитую красным яркую желтую тунику. За ним выступал Пьер, психопомп Люциферовой церкви, у которого вместо ордена Золотого Руна на груди висел кинжал в золотых ножнах.

Браманти продолжал:

— Высокий Иерогам Химической Свадьбы, Высокий Психопомп Родоставротийский, Высокий Референдарий Всетаинственнейших Арканов, Высокий Стеганограф Иероглифической Монады, Высокий Космический Астральный Соединитель, Высокий Хранитель Могилы Розенкрейца... Вселегчайший Архонт Поток, Вселегчайший Архонт Полой Земли, Вселегчайший Архонт Мистического Полюса, Вселегчайший Архонт Лабиринтов, Вселегчайший Архонт Маятника Маятников...

Браманти перевел дух, и мне показалось, что последнюю фразу он произносит скрепя сердце:

— И Вселегчайший из Вселегчайших Архонтов, Служитель Служителей, Всепокорнейший Секретарь Эдипа Египетского, Нижайший Вестник Властелинов Мира и Привратник Агартхи, Последний Туриферарий Маятника, Клод-Луи, граф де Сен-Жермен, князь Ракоци, граф де Сен-Мартен и маркиз д'Аглиз, господин де Сюрмон, маркиз Велдоун, маркиз де Монферрат, Эймор и Бельмар, граф Солтыков, рыцарь Шонинг, граф Цароги!

Входившие располагались в галерее, лицом к Маятнику и стоявшим в нефе, в этот момент появился Аглиз — в синем двубортном костюме, бледный и сосредоточенный, ведя за руку, словно провожая по тропе Аида чью-то душу, тоже бледную и как бы одурманенную наркотиками, одетую в одну лишь белую прозрачную тунику, с распущенными волосами Лоренцу Пеллегрини. Я увидел ее в профиль, чистую и болезненную, как прерафаэлитская прелюбодейка. Да, слишком прозрачна, чтобы снова не возбудить мое желание.

Аглиз подвел Лоренцу к жаровне у статуи Паскаля, погладил ее по словно отсутствующему лицу и сделал знак Авалонским великанам, те взяли ее под руки и отвели в сторону. После этого он сел за стол лицом к присутствующим, и теперь я прекрасно видел, как он достал из жилета свою табакерку, несколько раз провел по ней пальцами и заговорил:

— Братья, рыцари. Вы оказались здесь потому, что на днях Мистические Легаты предоставили вам информацию, следовательно, вы все знаете о причине нашего собрания. Мы должны были бы встретиться в ночь на 23 июня 1945 года, многих из вас, вероятно, тогда еще не было на свете, по крайней мере в их нынешнем облики. Мы сошлись здесь потому, что через шестьсот лет тяжких скитаний мы нашли того, кто знает. Как он смог узнать — и узнать больше нас — это тревожная загадка. Но я очень надеюсь, что среди нас (и ты не сможешь отпереться, правда, мой друг, который однажды уже проявил чрезмерное любопытство?) так вот, я очень надеюсь, что среди нас находится человек, который мог бы нам об этом поведать. Арденти!

Полковник Арденти — это был, конечно же, он, все такой же черноволосый, хотя и постаревший, — пробрался через толпу и предстал пред тем, кто был теперь его судьей, удерживаемый на расстоянии Маятником, который обозначал запретное пространство.

— Давненько же мы не виделись, брат, — улыбнулся Аглиз. — Я знал, что, когда весть распространится, ты не устоишь. Так как же? Ты знаешь, что сказал пленник, а ведь он узнал это от тебя. Значит, ты знал и молчал.

— Граф, — заговорил Арденти, — пленник лжет. Для меня униительно вести такие речи, но честь превыше всего. История, которую я ему поведал, отличается от той, которую мне рассказали Мистические Легаты. Что же касается интерпретации текста (да, это правда, я действительно заполучил весть много лет тому назад в Милане и от вас этого не скрывал), то она другая... Лично я бы не смог прочитать его так, как прочитал пленник, именно поэтому мне пришлось обратиться тогда за помощью. Должен признать, что вместо поддержки, я наталкался только на недоверчивость, вызовы и угрозы...

Возможно, Арденти хотел еще что-то добавить, но, глядя на Аглиз, он не спускал глаз и с Маятника, который оказывал на него чарующее действие. Как загипнотизированный, он рухнул на колени и сказал только:

— Простите за то, что я не знаю.

— Ты прощен, потому что умеешь не знать,— смиростивился Аглиз.— Ступай. Итак, братья, пленнику известно слишком много такого, чего никто из нас не ведает. Он знает даже, кто мы такие, хотя мы сами об этом узнали от него. Нужно поторопиться, скоро рассветет. Вы останетесь здесь, погружаясь в медитацию, а я еще раз закроюсь с ним, чтобы вызвать его на откровение.

— Нет уж, господин граф, нет! — В полукруг выступил Пьер, глаза его были широко раскрыты.— Вы вели с ним разговоры уже два дня, не предупредив нас, а тип этот ничего не видел, ничего не сказал, ничего не слышал — прямо как три обезьяны. А что же вы сейчас-то от него надеетесь услышать? Нет, сюда, здесь, при всех!

— Успокойтесь, дорогой Пьер. Я привел сюда сегодня ту, которую считаю самым очаровательным воплощением Софии, таинственную связь между миром ошибки и Высшей Огдоадой. Не спрашивайте, как и почему, но с помощью такой посредницы он заговорит. Скажи им, кто ты, София.

И Лоренца, все еще пребывавая в каком-то сомнабулическом состоянии, с трудом произнесла, чеканя слова:

— Я... проститутка и святая.

— Ну и ну, хороша штука,— осклабился Пьер.— Тут присутствуют сливки посвященных, а нам объявляют сбор шлюх. Не морочьте мне голову, сюда его и немедленно! Перед лицом Маятника!

— Не будем детьми,— урезонивал его Аглиз.— Дайте мне час времени. Почему вы думаете, что здесь, перед Маятником, он заговорит?

— Он заговорит, когда начнет умирать. *Le sacrifice humain!* — закричал Пьер, обращаясь к нефу.

И неф ответил во всю мочь:

— *Le sacrifice humain!*

Вперед вышел Салон:

— Граф, отбросим в сторону ребячество, брат прав. Мы не полицейские...

— Не вам бы это говорить,— с издевкой произнес Аглиз.

— Мы не полицейские и считаем недостойным прибегать к обычным методам расследования. Однако я не верю в то, что жертвы, приносимые подземным силам, имеют какую-то ценность. Если б они хотели подать нам знак, то уже давно сделали бы это. Кроме пленника знал и кто-то еще, однако он исчез. Так вот, сегодня у нас есть возможность провести очную ставку пленника с теми, кто знает, и...— он усмехнулся, глядя на Аглиз прищуренными глазами из-под кустистых бровей,— очную ставку с нами или с некоторыми из нас...

— Что вы этим хотите сказать, Салон? — спросил Аглиз голосом, которому явно не хватало уверенности.

— С позволения господина графа я хотела бы объяснить,— вклинилась мадам Олькотт. Это была она, я видел ее на афише. Землистая кожа, подчеркиваемая оливковым цветом платья, блестящие от жира волосы собраны на затылке, хриплый мужской голос. Еще в лавке Слоан мне показалось знакомым это лицо, и вот теперь я вспомнил: это была та друидесса, которая почти наткнулась на нас на лужайке в ту далекую ночь.— Алекс, Денис, приведите пленника.

Она сказала это властным тоном, и неф одобрительно загудел. Гиганты оставили Лоренцу на попечение двух милых уродцев, Аглиз, судорожно вцепившись в подлокотники кресла, не осмелился протестовать.

Мадам Олькотт подала знак своим ублюдкам, и между статуей Паскаля и обеиссанте установили три маленьких кресла, в них она усадила троих типов. Все трое смуглые, маленькие, но мускулистые, нервные, с большими белыми глазами.

— Тройняшки Фоксы, вы их хорошо знаете, граф. Тео, Лео, Гео, усаживайтесь и готовьтесь.

В это время вернулись Авалонские великаны, держа под руки — кого бы вы думали? — Джакопо Бельбо, едва-едва доходившего им до плечей. Мой бедный друг выглядел страшно бледным, давно не бритым. Со связанными за спиной руками и

распахнутой на груди рубашкой он вышел на эту задымленную арену, глаза его часто заморгали. Похоже, он не удивился этому сборищу иерофантов, видно, за последние дни он приучил себя быть готовым ко всему.

Однако он не ожидал увидеть Маятник, во всяком случае, не в этом месте. Но великаны подтащили его к креслу Аглиз. Теперь Бельбо не видел Маятник, слышал только легкий шорох, когда тот скользил за его спиной.

В какой-то момент Бельбо обернулся и увидел Лоренцу. Он был потрясен, попытался окликнуть ее, высвободиться, но Лоренца, безмолвно глядевшая в его сторону, казалось, никого не узнавала.

Бельбо, конечно же, хотел спросить у Аглиз, что с ней сделали, но ему не позволили. В глубине нефа, со стороны кассы и книжных стеллажей, послышался рокот барабанов и несколько резких звуков флейт. В одно мгновение распахнулись дверцы четырех автомобилей, и из них вышли четыре существа, которых я уже тоже видел на афише Маленького цирка.

В фетровых шляпах без полей, напоминающих фески, в просторных, наглухо застегнутых черных пальто из автомобилей появились Вопящие Дервиши — словно воскресшие, встающие из могил, — и уселись на корточки по линии магического круга. Флейты издавали теперь плавную мелодию, а эти так же плавно хлопали ладонями по полу и склоняли головы.

Из кабины аэроплана Бреге, как муэдзин из своего минарета, возник и пятый, он завел на незнакомом языке монотонную песнь со стенаниями, с плачем, с пронзительными вскрикиваниями, а тем временем снова застучали барабаны, постепенно усиливая интенсивность звука.

Мадам Олькотт подошла сзади к братьям Фокс и нашептывала им что-то подбадривающее. Все трое откинулись на спинки кресел, ухватившись руками за подлокотники, смежив веки, и начали двигать всеми мышцами лицами, пока не показались капельки пота.

Мадам Олькотт обратилась к собранию:

— А сейчас мои почтенные братишки доставят нам трех человек, которые знают. — Она сделала паузу, затем добавила: —

Эдвард Келли, Генрих Кунрат и...— еще пауза — ...граф де Сен-Жермен.

Впервые я увидел, как Аглиэ потерял самообладание. Он вскочил с кресла, совершив тем самым ошибку. Затем бросился к женщине, почти чудом избежав столкновения с Маятником, и выкрикнул:

— Гадюка, обманщица, ты же знаешь, что этого не может быть...— Потом, обращаясь к нефу: — Клевета, ложь! Остановите ее!

Но никто не шевельнулся. Только Пьер занял место в кресле и сказал:

— Продолжим, мадам.

Аглиэ успокоился. Он взял себя в руки и отошел в сторону, слившись с толпой.

— Ну-ну,— бросил он с вызовом,— давайте попробуем.

Мадам Олькотт взмахнула рукой, словно давая старт гонке. Звуки, исходившие от инструментов и звучашие все более проникновенно, разбились на какофонию диссонансов, барабаны били, не придерживаясь ритма, танцовщики, которые уже начали двигать туловищем взад и вперед, вправо и влево, поднялись, сбросили с себя накидки и вытянули руки, как бы готовые взлететь. Застыв на миг, они вновь закружились вокруг своей оси, используя левую ногу как точку опоры, задрав голову кверху, устремив застывший взгляд в одну точку. Повинуясь вращению, их складчатые одежды раздулись колоколом, напоминая цветы, терзаемые ураганом.

В это же время медиумы скрючились, словно от боли, напряженные лица их исказила гримаса, слышалось хриплое дыхание, казалось, что они пытаются освободить свои кишечники, но безуспешно. Свет от жаровни ослаб, и прихвостни мадам Олькотт погасили все фонари, стоявшие на полу. Церковь освещалась лишь фонарями в нефе.

Постепенно свершалось чудо. Из рта Тео Фокса показалась какая-то беловатая пена, которая медленно затвердевала, такая же пена, хоть и с небольшой задержкой, вытекала из рта его братьев.

— Так, так, братишки,— вкрадчиво нашептывала мадам Олькотт,— давайте, еще немного, вот так...

Танцовщики пели прерывающимися, истеричными голосами, головы их раскачивались и вдруг падали на грудь, крики, которые они издавали, были поначалу конвульсивными, а потом перешли в хрипение.

Казалось, что из медиумов сочится с потом какая-то газовая субстанция, постепенно уплотняющаяся. Она была как лава, как белок, который, медленно высвобождается; субстанция, извиваясь, поднималась и опускалась, змеиными движениями ласкала их плечи, грудь, ноги. Я уже не мог понять, откуда все это исходит: из пор кожи, изо рта, из ушей, из глаз? Толпа напирала, оттесняя медиумов в сторону танцовщиков. Что до меня, то весь мой страх улетучился. Уверенный, что смогу раствориться в толпе, я покинул укрытие и еще больше погрузился в атмосферу испарений, которые распространялись под сводами.

Медиумов окутывало какое-то люминисцентное молочное облако неясных очертаний. Субстанция была в стадии отделения от них и принимала амёбовидные формы. От облака одного из братьев отделилось нечто вроде острия, которое изогнулось и снова впилося в его тело, как птица, которая норовит клюнуть. На кончике острия образовались два нароста, похожие на рожки улитки...

Глаза у танцовщиков были закрыты, на губах — пена, все так же кружась на одной ноге, они начали, насколько позволяло пространство, двигаться вокруг Маятника, чудом не пересекая его траекторию. Кружась все скорее они сбросили свои колпаки, выпустив на волю длинные черные волосы, а головы их, казалось, вот-вот оторвутся от туловища. Они закричали так же, как в тот вечер в Рио, хоу-у, хоу-у, хоу-у-у-у-у...

Белые формы становились все отчетливее, одна из них приняла очертание, похожее на фигуру человека, другая была фаллосом, колбой, змеевиком, а третья все больше походила на птицу, на сову с большими глазами и торчащими ушами, с крючковатым клювом, как у старой учительницы естественных наук.

Мадам Олькотт спросила первую форму:

— Келли, это ты?

Форма издала звук. Говорил явно не Тео Фокс, а чей-то далекий голос, с трудом произнесший:

— Now... I do reveale, a ... a mighty Secret if you marke it well...

— Да, да,— настаивала мадам Олькотт.

Голос продолжал:

— This very place is call'd by many names... Earth... Earth is the lowest element of All... When thrice yee have turned this Wheele about... thus my greate Secret I have revealed...

Тео Фокс приподнял руку, как бы моля о пощаде.

— Расслабься, только чуть-чуть, держи это...— сказала мадам Олькотт. Затем обратилась к силуэту совы.— Я узнаю тебя, Кунрат, что ты нам скажешь?

Сова начала производить звуки:

— Hallelu... Jàah... Hallelu... Jaàh... Was...

— Was?

— Was helfen Fackeln Licht... oder Briln... so die Leut... nicht sehen... wollen...

— Мы хотим,— настаивала мадам Олькотт,— скажи нам, что ты знаешь...

— Symbolon kósmou... tâ ántra... kai tân enkosmiôn... dunámeôn erithento... oi theológoi...

Лео Фокс тоже был на пределе сил, голос совы становился все слабее. Лео свесил голову и едва сохранял форму. Неумолимая мадам Олькотт призывала его держаться и обратилась к последней форме, которая к этому моменту тоже приняла чело-векоподобный вид.

— Сен-Жермен, Сен-Жермен, это ты? Что ты знаешь?

И силуэт завел какую-то мелодию. Мадам Олькотт приказала музыкантам убавить грохот, танцовщики больше не выли, хотя и продолжали кружиться, готовые свалиться от усталости.

Форма пела:

— Gentle love this hour befriends me...

— Это ты, я узнаю тебя,— подбадривала мадам Олькотт,— говори, скажи нам, где, что...

И форма продолжала:

— Была ночь... Я прихожу, закутав голову льняным покрывалом, я нахожу железный алтарь и кладу на него таинственную ветвь... О, мне показалось, что я падаю в пропасть... галереи из черных каменных глыб... я спускаюсь под землю...

— Это ложь, ложь,— кричал Аглиз, — братья, вы все знаете этот текст, это "Très Sainte Trinosophie", написал его я. Любой может прочитать это, заплатив шестьдесят франков!

Он набросился на Гео Фокса и стал трясти его за руку.

— Прекрати, мошенник,— завопила мадам Олькотт,— ты убьешь его!

— Плевать! — зарычал Аглиз, стаскивая медиума с кресла.

Гео Фокс попытался удержаться, хватаясь за собственные выделения, потекшие пеной на пол. Потом рухнул в вязкую слизь, которую он продолжал изрыгать, и вытянулся без признаков жизни.

— Прекрати, безумец,— кричала мадам Олькотт, хватая Аглиза за руки. Потом обратилась к двум другим братцам: — Держитесь, мои маленькие, они должны еще говорить. Кунрат! Кунрат, скажи ему, что вы не поддельные.

Лео Фокс, спасая жизнь, пытался вновь проглотить сову. Мадам Олькотт забежала за его спину и сжимала ему виски, подчиняя своей воле. Сова, заметив, что сейчас исчезнет, обратилась к своему же изрыгателю.

— Фай, Фай, Дьявол,— шипела она, намериваясь выклевать ему глаза.

Лео Фокс захрипел, как будто ему перерезали сонную артерию, и повалился на колени. Сова исчезла, превращаясь в мерзкую грязь ("фи-и-и, фи-и-и", — посвистывала она), и туда же упал медиум, задохнувшись в липкой массе. Взбешенная мадам Олькотт обратилась к храбро державшемуся Тео:

— Говори, Келли, ты слышишь меня?

Келли молчал. Он силился оторваться от медиума, который теперь вопил так, будто у него вырывали внутренности, и пытался подобрать то, что произвел, махая руками, словно крыльями.

— Келли, безухий мерзавец, не вздумай плутовать,— орала мадам Олькотт.

Но Келли, которому все не удавалось оторваться от медиума, теперь пытался задушить его. Он стал похож на жевательную резинку, от которой последний из братьев Фокс пытался отклеиться, но усилия были напрасны. Наконец Тео тоже рухнул на колени, закашлялся, постепенно смешиваясь с ужасной, пожирающей его массой, затем покатился по полу, дергаясь так, словно его охватило пламя. То, что только что было Келли, покрыло его сначала словно саваном, чтобы через минуту умереть, разжижаясь, и оставить его на полу, опустошенного, уменьшенного до половины самого себя — детская мумия, забальзамированная Салоном. В этот же миг четверо танцовщиков разом остановились, замахали высоко поднятыми руками, в несколько секунд захлебнулись тем, что стекало с них потоком, и свалились, таякая, как щенки, и прикрывая головы руками.

На галерею вернулся Аглиз, промокая вспотевший лоб платком, который извлек из нагрудного кармана пиджака. Он дважды вздохнул и положил в рот белую пастилку. Затем призвал всех к тишине.

— Братья, рыцари! Вы видели, какой гадости хотела подвергнуть нас эта женщина. Возьмем же себя в руки и вернемся к моему плану. Дайте мне один час, и после этого я приведу пленника.

Мадам Олькотт вышла из игры. Охваченная почти человеческим страданием, она склонилась над медиумами. Но Пьер, который следил за происходящим, сидя в кресле, снова завладел ситуацией.

— Нет,— заявил он,— я вижу только один способ, да. *Le sacrifice humain!* Ко мне пленника, ко мне!

Загипнотизированные его энергией, Авалонские великаны схватили Бельбо, который наблюдал за всеми этими сценами с лицом, лишенным всякого выражения, и вытолкнули его к Пьеру. С пластичностью жонглера тот встал, водрузил кресло на стол, вытянул стол в центр зала, потом ухватился за нить пролетавшего Маятника и, немного попятившись, остановил шар. Все произошло мгновенно, словно по какому-то Плану, а может быть, действительно, они успели в сутолоке договориться. Великаны взошли на так называемый пьедестал, втащили пленни-

ка на кресло, и один из них дважды обмотал вокруг шеи Бельбо нить Маятника, а второй в это время удерживал шар, прижимая его к краю стола.

Браманти устремился к виселице, ослепительно величавый в своей алой хламиде, и затанул:

— Exorcizo igitur te per Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, per Alfa et Omega qui sunt in spiritu Azoth. Saddai, Adonai, Jotchavah, Eieazereie! Michael, Gabriel, Raphael, Anael. Fluat Udor per spiritum Eloim! Maneat Terra per Adam Iot-Cavah! Per Samael Zebaoth et in nomine Eloim Gibor, veni Adramelech! Vade retro Lilith!

Бельбо замер в кресле с веревкой на шее. Великанам уже не нужно было держать его. Стоило ему сделать одно неловкое движение, и он бы упал, тогда петля затянулась бы на его горле.

— Идиоты,— кричал Аглиз,— как же мы теперь вернем его на место?

Он беспокоился о том, чтобы спасти Маятник.

Браманти усмехнулся:

— Не волнуйтесь, граф. Мы здесь не для того, чтобы перемешивать ваши тинктуры. Этот Маятник таков, каким он и был зачат Ими. Он знает, куда идти. И кроме того, нет ничего лучше человеческой жертвы, чтобы заставить Силы действовать.

До этого момента Бельбо дрожал. Теперь же я увидел, как он расслабился, не скажу, что успокоился, но с любопытством начал рассматривать публику. Думаю, что в это мгновение, наблюдая, как сцепились два соперника, видя перед собой бесформенные тела медиумов, а справа и слева все еще трясущихся и стенающих дервишей, смятые наряды "рыцарей", он вновь обрел свой самый сокровенный дар — чувство смешного.

Я уверен, что в этот момент он решил больше не поддаваться страху. Возможно, это чувство превосходства возникло у него потому, что он находился на возвышении и наблюдал оттуда за этим сборищем бесноватых, родом из Grand Guignol, увлекшихся марионеточной вендеттой, а в это время в глубине, почти у самого входа потерявшие интерес к зрелищу ублюдки толкались и смеялись, как Аннибале Канталамесса и Пио Бо.

Он только обратил встревоженный взгляд на Лоренцу. Она часто вздрагивала, и великаны снова держали ее под руки. Лоренца вернулась в сознание. Она плакала.

Не знаю, задумал ли Бельбо не показывать ей свой страх, либо же его решение было скорее единственно возможным для него способом выразить свое презрение и явить свою силу этой куче навоза. Как бы то ни было, он держался прямо, с поднятой головой, с расстегнутой на груди рубашкой, со связанными за спиной руками — гордо, с видом человека, которому неведом страх.

Успокоенный хладнокровием Бельбо и смирившийся с оставшейся маятника, по-прежнему стремящийся узнать тайну, дошедший до черты, у которой можно подвести итог поискам целой жизни, а возможно, и нескольких жизней, полный решимости вновь подчинить себе своих сторонников, Аглиз еще раз обратился к Джакопо:

— Ну-ну, Бельбо, решайтесь. Вы же видите, в каком, мягко говоря, затруднительном положении вы находитесь. Так что кончайте эту вашу комедию.

Бельбо не отвечал. Он смотрел в другую сторону, как если бы хотел из деликатности не слушать разговор, случайным свидетелем которого стал.

Аглиз настаивал, уговаривая его, как ребенка:

— Я понимаю вашу обиду и, если позволите, вашу сдержанность. Я сознаю, что вам неприятно делиться настолько личной и ревниво хранимой тайной с плебеями, которые устроили здесь столь мало поучительный спектакль. Так вот, вы можете доверить вашу тайну мне одному, на ухо. Сейчас я прикажу спустить вас вниз и знаю, что вы скажете мне слово, одно только слово.

В ответ он услышал:

— Вы так думаете?

Тогда Аглиз сменил тон. Впервые в жизни я видел его таким властным, требовательным, беспощадным. Он говорил так, будто был одет в египетское платье одного из своих друзей. Я заметил, что голос его звучит фальшиво, казалось, что он пародирует тех, для которых не скупился на свое снисходитель-

ное сострадание. И в то же время он весь проникся важностью своей уникальной роли. Повинуясь какому-то замыслу — потому что это не могло быть инстинктивным — он вводил Бельбо в мелодраматическое действие. Если это была игра, то хорошая, ибо Бельбо не почувствовал никакого блефа и слушал Аглиэ с таким вниманием, на которое тот не рассчитывал.

— Теперь ты будешь говорить,— гремел Аглиэ,— ты будешь говорить и не останешься вне этой большой игры. Если будешь молчать — тебе конец. Будешь говорить — станешь участником триумфа. Потому что поистине сегодня ты, я и мы все находимся в Ход, в сефире великолепия, величия и славы, в Ход, которая управляет церемониальной и ритуальной магией, в Ход — в мгновении, когда раскрывается вечность. Об этом мгновении я мечтал веками. Говори и соединишься с теми едиными, которые после твоего откровения смогут называться Властелинами Мира. Унизься и возвысишься. Ты будешь говорить, потому что я так приказываю, ты будешь говорить, потому что я это говорю, а мои слова *efficiunt quod figurant!*

А Бельбо, теперь уже непобедимый, объявил:

— *Ma gavite la nata...*

Аглиэ, даже если он и ожидал отказа, побледнел от оскорбления.

— Что он сказал? — истерическим голосом спросил Пьер.

— Он не хочет говорить,— изложил ответ Бельбо Аглиэ и, разведя руки в бессильном и снисходительном жесте, обратился к Браманти:

— Он ваш.

Пьер вскрикнул с перекошенным лицом:

— Хватит, хватит, *le sacrifice humain, le sacrifice humain!*

— Да, пусть он умрет, мы все равно найдем ответ,— кричала такая же перекошенная мадам Олькотт, которая вернулась в центр арены и бросилась в сторону Бельбо.

Почти одновременно Лоренца встрепенулась, вырвалась из лап великанов и подбежала к Бельбо, к подножию виселицы, широко раскинув руки, словно пытаясь остановить нападающих, она сквозь слезы кричала:

— Вы все обезумели, что вы делаете?

Аглиз, уже направлявшийся к выходу, на мгновение изумленно замер, потом побежал назад, чтобы удержать ее.

После этого все произошло за секунду. У Олькоттихи распустился шиньон и развевался, как ядовитые щупальца медузы, она вцепилась когтями в Аглиз, царапая ему лицо, отталкивая в сторону силой инерции своего тела. Отступая, Аглиз споткнулся о ножку жаровни, закрутился вокруг своей оси, как дервиш, упал, ударился головой о стоявшую рядом машину и вытянулся на полу с разбитым в кровь лицом. В этот же миг Пьер кинулся на Лоренцу, на ходу вынимая из ножен, висевших на груди, кинжал. Я видел его теперь со спины и не сразу понял, что случилось. Я заметил, как Лоренца с восковым лицом сползает к ногам Бельбо, а Пьер размахивает кинжалом и воет:

— Enfin, le sacrifice humain! — Затем, повернувшись лицом к нефу, заорал во всю глотку: — l'a Cthulhu! l'a S'ha-t'n!

Толпа, заполняющая неф, всколыхнулась, одни падали с искаженными страхом лицами, другие могли вот-вот перевернуть машину Кюньо. Я услышал — по крайней мере мне так показалось, и что-либо более смешное трудно было вообразить — голос Гарамона, уговаривавшего: "Прошу вас, господа, немножко хороших манер..." Браманти в экстазе стоял коленопреклоненный перед телом Лоренцы и декламировал: "Азар, Азар! Кто схватит меня за горло? Кто пригвоздит меня к полу? Кто пронзит кинжалом мое сердце? Я недостойн переступить порог дома Маат!"

Может быть, никто и не хотел этого, может быть, жертвы Лоренцы было бы достаточно, но приспешники скопились теперь внутри магического круга, благо Маятник остановили, чего-то — я готов был поклясться, что это был Арденти, — толкнули, и стол просто-таки выскользнул из-под ног Бельбо, выскочил, и одновременно, подчиняясь тому же толчку, рванулся Маятник, потянув за собой свою жертву. Под тяжестью шара веревка натянулась, обвиваясь вокруг шеи моего бедного друга, повисшего в воздухе на нити Маятника, который понесся вместе с ним сначала к восточной стене хоров, затем вернулся

с его уже, как я надеялся, безжизненным телом, в моем направлении.

Толпа снова оттянулась к краю, чтобы освободить место чуду. Главный по колебаниям, опьяненный возрождением к жизни Маятника, раскачивал его, толкая тело повешенного. Ось колебаний проходила по диагонали от моих глаз к одному из витражей, наверняка, к тому, с царапиной, сквозь которую сюда через несколько часов проникнет первый луч солнца. Поэтому я не видел Джакопо, раскачивающегося лицом ко мне, но подозреваю, что, судя по обстоятельствам, именно такую фигуру он описывал в пространстве...

Голова Бельбо казалась вторым шаром, помещенным вдоль линии нити, идущей от основания к замку свода, и создавалось впечатление, что когда металлический шар отклонялся вправо, голова Бельбо, второй шар — влево и наоборот. В течение какого-то времени оба шара расходились в противоположных направлениях, и предмет, носившийся в пространстве, выглядел уже не прямой линией, а напоминал треугольник. Хотя голова Бельбо двигалась, подчиняясь действию силы натянутой нити, тело его — быть может, сначала в последней судороге, а потом в спазматических дерганиях деревянной куклы — прочерчивало в воздухе собственные линии, независимо от головы, нити и привязанного ниже шара: руки в одну сторону, ноги в другую, и мне подумалось, что если бы кто-нибудь заснял все это аппаратом Муйбриджа, зафиксировав на пленке каждый миг, отмечая две крайние точки, которых достигала голова в определенный период, две точки застывания шара в бездействии, пункты, независимые от точек идеального пересечения нитей, и промежуточные пункты, отмеченные колебаниями тела и ног, то повешенный на Маяльнике Бельбо начертил бы, я утверждаю, в пространстве древо сефирот, излагая в свой высший миг саму историю всех вселенных, определив в своем воздушном скитании все десять этапов безжизненного дыхания и извержения Божественного в мир.

Потом вдруг, хотя колебатель все еще продолжал раскачивать эти зловещие качели, по воле какого-то чудовищного сгущения сил, какого-то перемещения энергии тело Бельбо засты-

ло в неподвижности, а нить с шаром колебалась как маятник только на промежутке от тела до земли, остальная же ее часть — то, что соединяло Бельбо с замком свода,— удерживалась в строго вертикальном положении. Так, спасшийся от ошибки мира и своих движений, Бельбо сам стал точкой подвеса. Постоянным Стержнем. Местом, которое удерживает свод мира, и только у его стоп колебалась нить с шаром, от одного полюса к другому, без передышки, вместе с землей, пробегающей под ними, указывая на новые континенты, и шар не мог, да никогда и не сможет указать, где находится Пуп Мира.

Свора дьяволистов, на время потрясенная зрелищем, снова принялась кричать, и я подумал, что истории этой пришел конец. Если Ход — сефира Славы, то Бельбо получил свою славу. Один-единственный бесстрашный жест примирил его с Абсолютом.

Идеальный маятник состоит из очень тонкой нити, не поддающейся ни сжатию, ни скручиванию, длиной L , к центру тяжести которой подвешен груз. Если речь идет о шаре, то центром тяжести является центр шара, если речь идет о человеческом теле, то этот центр находится в 0,65 м от его верхней точки. Если рост повешенного 1,70 м, его центр тяжести расположен на высоте 1,05 м от его ног, и длина L выражается именно таким числом. Это означает, что если голова вместе с шеей равна 0,30 м, то центр тяжести расположен на $1,70 - 1,05 = 0,65$ м от головы и на $0,65 - 0,30 = 0,35$ м от шеи повешенного.

Период малых колебаний маятника, определенный Гюйгенсом, выражается формулой (1):

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{L},$$

где L представлено в метрах, $\pi = 3.1415927$,
 $g = 9.8 \text{ м/с}^2$.

Из примера (1) получаем:

$$T = \frac{2 \times 3.1415927}{9.8}\sqrt{L} = 2.00709\sqrt{L},$$

т.е. приблизительно (2):

$$T = 2\sqrt{L}.$$

Заметьте, что T не зависит от веса повешенного (равенство людей перед Богом)...

Двойной маятник с двумя грузами, подвешенными к одной нити... При воздействии на A , A начинает колебаться, но через какое-то время останавливается, и начинается колебание B . У соединенных маятников различны масса и длина, от одного к другому передается энергия, однако время колебаний энергии неодинаково... Такие блуждания энергии наблюдаются также, если вместо того, чтобы придать свободное движение

маятнику А, раскачав его, мы будем и далее периодически воздействовать на него, прилагая какую-то силу. Это означает, что если на повешенного будут направлены порывы (регулярные) ветра, то через какое-то время повешенный прекратит раскачиваться, а маятник Фуко продолжит колебания, как если б он был прикреплен к повешенному.

(Отрывок из личного письма Марио Сальвадори.
Колумбийский университет, 1984)

Это место не обещало мне более никаких откровений. Я воспользовался суматохой, чтобы пробраться к статуе Грамма.

Пьедестал был еще открыт. Я проскользнул вовнутрь, сошел по ступенькам и оказался на маленькой, освещенной единственной лампочкой площадке, от которой вела крутая каменная лестница. Преодолев ее, я вошел в затемненный коридор с довольно высоким сводом. Сначала трудно было понять, где я и откуда доносится плеск воды. Потом глаза мои привыкали к темноте. Это была канализация, своего рода поручень страховал от того, чтобы я не упал в воду, но не мешал вдыхать отвратительные запахи, смесь химии с органикой. Во всей этой истории по меньшей мере одно было правдой — парижские стоки. Стоки Кольбера, Фантомаса или де Кауса.

Я шел по самому большому каналу, не сворачивая в темные ответвления и надеясь узреть какой-либо знак, который укажет мне, где следует прервать эту прогулку по подземелью. Во всяком случае я удалился на внушительное расстояние от Хранилища, и по сравнению с тем царством ночи канализация Парижа несла облегчение, свободу, чистый воздух, свет.

Перед глазами стояло одно только видение: иероглиф, начертанный в музее мертвым телом Бельбо. Я не мог понять, чему соответствовал этот рисунок. Сейчас я знаю, что это физический закон, но то, как я это узнал, придает случившемуся еще большую символичность. Здесь, в загородном доме Джакопо среди множества его записей я нашел письмо, в котором на его вопрос было дано разъяснение по поводу того, как действует маятник и как он поведет себя, если к нити подвесить

еще один груз. Так что, кто знает, как давно Бельбо думал о Маятнике, представлял его и Синаем, и Голгофой. Он не стал жертвой недавно созданного Плана, он подготовил свою смерть в воображении задолго до этого, не зная — так как был уверен, что не имеет права на творчество,— что его навязчивые мысли предвосхищали действительность. А может быть, он выбрал себе именно такую смерть, чтобы доказать самому себе и другим, что даже у негениев воображение всегда творческое.

В каком-то смысле, проигрывая, он выиграл. Или проиграл все; кто готов к такому единственному способу победить? Все проиграл тот, кто не понял, что речь шла совсем о другой победе. Но в субботу вечером я этого еще не открыл.

Идя по каналу, аменс, как Постель, может быть, заблудившийся в тех же потемках, я вдруг увидел знак. Висевшая на стене и светившая более ярко лампа вырывала из темноты времянку, которая вела к деревянному люку. Я рискнул и попал в подобие подвала, заваленного пустыми бутылками, от него отходил коридорчик с двумя сортирами — один с маленьким мужчиной, а другой с маленькой женщиной на двери. Я — снова в мире живых.

Я остановился, с трудом переводя дух. Только сейчас в мыслях возникла Лоренца. И теперь плакал уже я. А Лоренца уплывала далеко-далеко из моих жил, так, будто никогда ее и не было. Я не мог даже вспомнить ее лицо. Она была самой мертвой в этом мире мертвых.

В конце коридора я нашел еще одну лестницу и дверь, за которой было помещение, заполненное дымом и дурными запахами, какая-то забегаловка, харчевня, восточный бар: цветные официанты, потные клиенты, жирные шашлыки и кружки пива. Я вышел за дверь как некто, кто уже был здесь и просто ходил помочиться. Никто не обратил на меня внимания, разве что человек за кассой, подавший мне, когда я появился, едва уловимый знак полужакрытыми глазами, словно говоря, мол я все понял, проходи, я ничего не видел.

Если бы око могло заметить демонов, населяющих мир, существование стало бы невозможным.

(Talmud, Berakhoth, 6)

Я вышел из бара и оказался под фонарями ворот Сен-Мартен. Восточной была забегаловка, из которой я только что выбрался, восточными были и магазины вокруг, все еще освещенные. Запах кускуса и пряностей, толпа. Масса молодежи, с голодными лицами, многие тащили спальные мешки. Я не мог войти в кафе чего-нибудь выпить, и спросил у какого-то парня, что происходит. Демонстрация, на завтра готовилась большая демонстрация против закона Савари. Приезжали автобусами.

Какой-то турок-друг, наверняка переодетый исмаилит, на ломаном французском завлекал меня в места определенного сорта. Ни за что! Подальше от Аламута! Мне не известно, кто кому служит. Остерегаться!

Я пересек перекресток. Сейчас слышны лишь мои собственные шаги. Чем хороши большие города, так это тем, что стоит отойти на несколько метров, и ты уже в одиночестве.

Однако внезапно, пройдя несколько домов, я заметил слева Хранилище — бледную массу в ночи. Снаружи — полное совершенство. Памятник, погруженный в сон праведника. Я продолжал двигаться на юг, по направлению к Сене. Передо мной была какая-то цель, но четко я ее не представлял. Хотелось спросить у кого-нибудь, что же произошло.

Бельбо умер? На небе ни облачка. Навстречу мне идет группа студентов. Все молчат, словно под властью *genius loci*. Слева — силуэт церкви Сен-Николя-де-Шан.

Иду дальше по улице Сен-Мартен, пересекаю улицу Медведей, широкую, похожую на бульвар, боюсь сбиться с пути, хотя, впрочем, я его не знаю. Осмотревшись, вижу справа, на углу, две витрины Издательства розенкрейцеров. Эти витрины не освещены, однако благодаря уличному фонарю и карманному фонарику, мне удастся разглядеть, что там выставлено. Книги и предметы. История евреев, граф де Сен-Жермен, алхимия,

тайные дома розенкрейцеров, послание строителей соборов, катары, Новая Атлантида, египетская медицина, храм Карнака, Бхагавад-Гита, реинкарнация, розенкрейцеровские кресты и канделябры, бюсты Изиды и Озириса, ладан в коробочках и в таблетках, карты Таро. Кинжал, оловянный нож для бумаги с круглой рукояткой и с печатью Розового Креста. Чем они занимаются, хотя я меня высмеять?

Теперь я прохожу перед фасадом Бобура. Днем здесь шумит деревенская ярмарка, но в этот час площадь почти пуста, лишь кое-где разрозненные молчаливые и сонные группки, редкий свет brasseries. Все правда. Большие вентиляционные шахты, поглощающие энергию земли. Может быть, толпы, которые заполняют площадь днем, служат для создания вибрации, герметическую машину надо кормить свежатинкой.

Церковь Сен-Мерри. Напротив — книжный магазин Ля Вуивр, на три четверти оккультистский. Главное — не впасть в истерию. Я сворачиваю на Ломбардскую улицу, чтобы не столкнуться с выводком скандинавских девушек, со смехом выходящих из еще открытого бистро. Замолчите, разве вы не знаете, что Лоренца умерла?

Но умерла ли она? А если это я умер? В Ломбардскую улицу перпендикуляром врезается улица Фламель, в конце которой видна белая башня Сен-Жак. На пересечении этих улиц — книжная лавка "Аркан 22", карты Таро и маятники. Алхимик Николя Фламель, книжный магазин алхимиков и башня Сен-Жак: с белыми львами у основания, этот бесполезный памятник поздней готики над Сеной дал в свое время название эзотерическому журналу. В башне Паскаль проводил опыты по определению веса воздуха, да, впрочем, и сейчас в ней на высоте 52 метров находится метеорологическая лаборатория. Возможно, прежде чем возводить Эйфелеву башню, они начинали именно здесь. Есть же привилегированные районы. И никто этого не замечает.

Я возвращаюсь к Сен-Мерри. Снова громкий девичий смех. Не хочу видеть людей. Обхожу церковь по улице Монастыря Сен-Мерри — дверь в трансепт, старая, из неотесанного дерева. Слева открывается вид на площадь, прилегающую к Бобуру,

освещенную дневным светом. Просторное место с бассейном или искусственным прудом, на поверхности которого колышутся машины Тенгели и прочие разноцветные творения человеческих рук, являя вид невсамделишного развала зубчатых колес, а на заднем плане я замечаю нагромождения труб и широко раскрытых пастей Бобура — будто брошенный у стены, обвитой плющом, "Титаник", который потерпел крушение в лунном краере. Там, где не повезло соборам, огромные лайнеровы люки перешептываются с Черными Девами. Их могут открыть лишь те, кто знают, как совершить путешествие вокруг Сен-Мерри. Так что нужно продвигаться, я вышел на след, я обнажаю одну из Их козней в самом центре Города-Света, заговор обскурантов.

Сворачиваю в улицу Судей-Консулов и снова оказываюсь перед фасадом Сен-Мерри. Не знаю почему, но что-то побуждает меня зажечь фонарик и направить его свет на портал. Цветистая готика, соединенные друг с другом арки.

И вдруг, ища то, что не ожидал найти, я вижу его на архивольте портала.

Бафомет. Как раз там, где сходятся полуарки; на вершине первой сидит голубка Святого Духа во всей славе своих каменных лучей, а на вершине второй — окруженный молящимися ангелами он, Бафомет, со своими ужасными крыльями. На фасаде церкви. Без всякого стыда.

Почему здесь? Потому что мы недалеко от Храма. А где находится Храм или то, что от него осталось? Возвращаюсь, иду на северо-восток и выхожу на угол улицы Монморанси. В 51-м номере — дом Николя Фламелья. Между Бафометом и Храмом. Искушенный химик наверняка знал, с кем ему придется считаться. Перед домом неясно какой эпохи — "Таверна Николя Фламелья" — *roubelles*, полные омерзительной гадости. Дом старый, отреставрированный для туристов, для сатанистов низшего сорта, гиликов. Рядом — *american bar* с рекламой компьютеров "Apple": "Берегитесь, клопы!" *Soft-Hermes. Dir Temurah.*

Я на улице Тамплъ, иду по ней до пересечения с улицей Бретань, где находится скверик Тампля, унылый, как кладбище, некрополь принесенных в жертву тамплиеров.

Иду по улице Бретань до пересечения с улицей Вьей-дю-Тамплъ, на которой, после перехода через улицу Барбетт, попадаются странные магазины, где продают электролампочки необычной формы — в виде уток, листов плюща. Слишком нарочито современны. Меня этим не возмешь.

Улица Фран-Буржуа: я уже в Марэ и знаю, что скоро появятся старые кошерные мясные лавки. Что общего у евреев с тамплиерами теперь, когда мы установили, что их место в Плана занимают Аламутские ассасины? Зачем я здесь? Я ищу ответ? Нет, я просто хочу подальше убежать от Хранилища. Либо же я неосознанно направляюсь в какое-то место, знаю, что оно не может быть здесь, но пытаюсь вспомнить, где оно, как Бельбо, когда искал во сне чей-то забытый адрес.

Навстречу движется непристойная на вид группа. Злой смех, идут гурьбой, вынуждая меня сойти с тротуара. На мгновение становится страшно — а вдруг они посланы Старцем с Гор и явились сюда именно за мной. Но нет, они исчезают в ночи, однако говорят на иностранном языке, в котором сквозит шиитство, талмудизм, коптство — и все со змеиным шипением.

Навстречу попадают андрогинные фигуры в длинных широких плащах. Плащи розенкрейцеров. Проходят мимо, сворачивают на улицу Севинье. Ночь полностью вступила в свои права. Я убежал из Хранилища, чтобы возвратиться в город обычных людей, и я замечаю, что город обычных людей задуман как катакомбы со специально выделенными маршрутами для посвященных.

Плетется пьяный. Может быть, он притворяется. Остерегаться, все время остерегаться. Еще один открытый бар, официанты в длинных до пят фартуках уже убирают стулья и столы. Я едва успеваю войти, и мне подадут пиво. Выпиваю кружку залпом и заказываю еще одну. "Что, жажда замучила?" — заговаривает один из них. Однако без дружелюбия, с подозрением. Еще бы не замучила, с пяти часов ни глотка, хотя жажда может мучить, даже если ты и не провел ночь под маятником. Идиоты. Я расплываюсь и ухожу, пока они не запечатлели в памяти мою внешность.

Вот я уже на углу площади Вогезов. Иду под аркадой. Что это был за старый фильм, в котором раздавались одинокие шаги Матиаса, сумасшедшего убийцы, бродившего ночью по площади Вогезов? Я останавливаюсь. Кто-то идет за мной? Конечно, нет, они тоже остановились. Достаточно поставить пару витрин, и аркада превратится в залы Хранилища.

Низкие своды XVI века, полнопрофильные арки, галереи гравюр и антиквариата, мебель. Площадь Вогезов, такая низкая со своими старыми рифлеными, выщербленными, облезлыми калитками, люди, которые живут здесь, не трогались с места сотни лет. Люди в желтых накидках. Площадь, на которой живут одни таксидермисты. Выходят из дому лишь ночью. Они знают плиту на тротуаре — колодец, через который можно проникнуть в Мир Подземный. На глазах у всех.

"Союз сбора взносов социального страхования и пособий многосемейным, номер 75". Новый подъезд, наверняка здесь живут богатые, но рядом — старая облупленная дверь, как на улице Синсеро Ренато. Затем, под номером 3, недавно обновленная дверь. Чередование гиликов и пневматиков. Сеньоры и их рабы. Здесь, где тузы прибиты к чему-то, что должно быть аркой. Ясно: тут раньше располагалась книжная лавка оккультистов, а теперь ее нет. Выселили целый квартал. Эвакуировали за ночь. Так же поступил и Аглиз. Теперь они знают, что кто-то знает, и начинают уходить в подполье.

Я на углу улицы Бираг. Вижу бесконечную линию портиков, и ни души вокруг. Я предпочел бы темноту, однако на тротуар льется желтый свет ламп. Я мог бы закричать, но никто не услышал бы меня. Сидя в тишине за закрытыми окнами, через которые не проникает и капля света, таксидермисты, одетые в свои желтые плащи, только издевательски ухмыльнулись бы.

Но нет, между портиками и сквериком, в центре площади, стоят машины, скользят редкие тени. Однако отношения не становятся от этого любезнее. Мне пересекает дорогу большая немецкая овчарка. Черная собака одна ночью. Где же Фауст? Может быть, он послал верного Вагнера выгулять пса?

Вагнер. Вот мысль, которая крутилась у меня в голове, не выходя наружу. Доктор Вагнер, вот кто мне нужен. Он скажет,

что все это неправда, что Бельбо жив, а Трес не существует. Какое облегчение я бы почувствовал, если бы узнал, что сошел с ума.

Я покидаю площадь чуть ли не бегом. За мной едет какая-то машина. Нет, она просто ищет место для стоянки. Я спотыкаюсь о мешки с мусором. Машина паркуется. Они ехали не за мной. Выхожу на улицу Сент-Антуан. Хорошо бы взять такси. Оно вдруг является, как по заказу. Я говорю водителю:

— Авеню Элизе-Реклю, 7.

Je voudrais être la tour, prendre à la Tour Eiffel.

(Blaise Cendrars)

Я не знал, где я, и не осмеливался спросить у шофера, потому что если кто-нибудь берет в такую пору такси, значит едет домой, иначе он как минимум — убийца. К тому же таксист ворчал: в центре было еще полно этих проклятых студентов, везде как попало припаркованы автобусы, дерьмо и все тут, если б от него зависело, всех — к стенке, есть смысл удлинить путь. Он объехал практически весь Париж, прежде чем наконец высадил меня у дома номер семь на какой-то пустынной улице.

Никакой доктор Вагнер на табличке не значился. Может быть, семнадцать? Или двадцать семь? Я сделал две-три попытки, потом пришел-таки в себя. Неужели я, предполагая, что мне удастся отыскать нужный подъезд, собирался действительно стащить доктора Вагнера с постели в столь поздний час, чтобы рассказать ему свою историю? Я оказался здесь по той же причине, по которой блуждал от заставы Сен-Мартен до площади Вогезов. Я убегаю. А теперь я убежал с того места, к которому убежал из Хранилища. Мне нужен был не психоаналитик, а смиренная рубашка. Или хорошая порция сна. Или Лия. Чтобы она взяла мою голову, крепко прижала между грудью и подмышкой и промурчала: "Веди себя прилично".

Что я искал: доктора Вагнера или авеню Элизе-Реклю? Почему теперь я вспомнил имя, которое мне попало, когда собирал материалы для Плана. Это был кто-то из прошлого века, написавший уж теперь и не припомню какую книгу о земле, недрах, вулканах, некто, совавший нос под предлогом занятий академической географией в Мир Подземный. Один из них. Я бегу от них, а они все время у меня за спиной. Мало-помалу, в течение нескольких столетий они заняли весь Париж. И весь остальной мир.

Нужно возвращаться в гостиницу. Найду ли я еще такси? По моим предположениям, я мог находиться где-то на окраине

предместья. Я направился к месту, откуда струился более сильный, рассеянный свет и было видно небо. Сена?

И вот, дойдя до угла, я увидел ее.

Слева. Я должен был предвидеть, что она здесь, что притаилась поблизости, в этом городе названия улиц содержат недвусмысленное послание, вас все время предупреждают, тем хуже для меня, если я не подумал об этом.

Она была здесь, мерзкий паук из мертвой материи, символ, инструмент их мощи. Мне следовало бы бежать, но я чувствовал, как она манит меня притягивает к паутине, кивая головой снизу вверх и наоборот, я уже не мог охватить ее одним взглядом, я был практически в середине, меня рассекали тысячи ее полос, казалось, что меня бомбардируют железные занавесы, падающие со всех сторон, стоило ей хоть чуточку сместиться, и она раздавила бы меня одной из своих чудовищных лап.

Башня. Я находился в единственном месте города, откуда не было видно, как ее дружеский профиль выныривает из океана крыш, фриловый, как на картинах Дюфи. Она была надо мной, уносилась над моей головой. Я чувствовал, где находится ее верхушка, но ходил сначала вокруг, а потом в пределах ее основания, зажатый между ее ступнями, я видел ее подколени, живот, головокруглый лобок, представлял перпендикулярный кишечник, соединенный в одно целое с пищеводом, который помещался в шее этого политехнического жирафа. Несмотря на ажурность, она обладала свойством тушить свет вокруг себя, и по мере того как я двигался, она показывала мне в разной перспективе различные пещерные своды, выступающие из сумерек как в телеобъективе.

Справа от нее, на северо-востоке, на горизонте появился лунный полумесяц. Временами башня брала его как бы в рамку, создавая эффект оптического обмана, свечения одного из своих колченогих экранов, но стоило мне сдвинуться, и формат экранов менялся, луна исчезала, сливаясь с металлическими ребрами, животное сжевывало, переваривало ее, растворяло в другом измерении.

Гиперкуб. Четырехразмерный куб. Сейчас, через скопление

арок, я видел движущийся свет, даже два, красный и белый мигающие огни, вероятно самолет, который ищет, где сесть — в Руасси или в Орли. Но вдруг — кто-то сдвинулся: то ли я, то ли самолет, то ли башня — огни исчезли за какой-то балкой, я ждал, что они появятся снова в другом просвете, но увы. У башни было сто окон — все они подвижные, и каждое выходило на собственный участок пространства-времени. Ее бока не ограничивали эвклидовы сгибы, а разрезали космическую ткань, вызывали катастрофы, листали страницы параллельных миров.

Кто сказал, что при помощи этой Нотр-Дам Париж подвешен к потолку Вселенной? Наоборот, она была предназначена для того, чтобы подвесить Вселенную на своей стреле, — и это естественно, разве она не является эрзацем Маятника?

Как бишь ее называли? Суппозиториум-одиночкой, полым обелиском, славой проволоки, апофеозом мостовых быков, воздушным алтарем какого-то идолопоклоннического культа, пчелой в центре розы ветров, печальной, как руины, уродливым колоссом цвета ночи, бесформенным символом ненужной силы, чудом абсурда, бессмысленной пирамидой, гитарой, чернильницей, телескопом, длинной, как речь министра, древним божеством и современным чудищем... Вот кое-что из того, чем она есть, и если б я обладал шестым чувством Властелинов Мира, то опутанный пучками ее голосовых связок, усеянных полипами болтов, я услышал бы сейчас, как хрипло она исполняет музыку сфер. Сейчас Башня высасывала волны из сердца полый земли и передавала их всем менгирам на свете. Корневище склепанных суставов, шейный артроз, протез протеза — какой ужас! Если б они захотели сбросить меня в бездну, то с того места, где я находился, им пришлось бы метнуть меня к вершинам. Не приходилось сомневаться, что я возвращался из путешествия к центру земли и пребывал в состоянии антигравитационного головокружения антиподов.

Нет, нам это не приснилось, перед моими глазами представало неопровержимое подтверждение Плана, но пройдет немного времени, и Башня сообразит, что я шпион, враг, песчинка в механизме, коего она является образом и двигателем, неза-

метно распустив какой-нибудь из ромбов своих тяжелых кружев, она поглотит меня, я исчезну в складках ее небытия, перенесенный в иные миры.

Если я еще немного пробуду под ее сплетениями, ее огромные когти сомкнутся, изогнутся, как клыки, и всосут меня, после чего животное вновь примет притворную позу преступной и зловещей точилки для карандашей.

Еще один самолет: этот не летит ниоткуда, она выродила его между первым и вторым позвонками костлявого мастодонта. Я присматривался к ней, и была она без конца, как замысел, ради которого она появилась на свет. Если бы мне удалось остаться здесь, не опасаясь, что меня сожрут, я мог бы следить за ее перемещениями, за ее медленными вращениями, наблюдать за ее почти неуловимой манерой разбираться и вновь собираться под холодным дуновением потоков. Несомненно, Властелины Мира знают, что она — геомантическая фигура, и в ее незаметных для глаза метаморфозах они читают важные сигналы, постыдные приказы. Башня вращается над моей головой, словно ввинчиваясь в Мистический Полюс. Или нет, она неподвижна как магнитный стержень, и вращает небосвод. Это привело к такому же головокружению.

"Как она, однако, здорово держится, эта Башня,— думал я,— издалека приветливо строит глазки, но если приблизиться, попытаться проникнуть в ее тайну, она убьет тебя, заморозит твои кости, и для этого ей всего-то и нужно, что показать бессмысленный ужас, из которого она сделана. Теперь я знаю, что Бельбо умер и что План — настоящий, потому что настоящая сама Башня. Если мне не удастся убежать, убежать снова, я не смогу это никому рассказать. Пора бить тревогу."

Какой-то шум. Стоп, возвращаемся к действительности. На полной скорости мчится такси. Одним рывком мне удастся высвободиться из магического пояса, я машу руками и бросаюсь вперед, рискуя попасть под колеса, потому что машина затормозила лишь в последний миг, будто нехотя, а по дороге шофер расскажет мне, что, когда ему случается проезжать ночью

под Башней, он боится ее и прибавляет газу. Почему? — спрашиваю я.— Потому что... потому что страшно, вот и все.

Я быстро добрался до гостиницы. Пришлось долго звонить, чтобы разбудить портье, который валился с ног ото сна. Я сказал себе: "Теперь ты должен выспаться. Остальное — завтра". Я выпил несколько таблеток снотворного, достаточно, чтобы отравиться. Что было потом — не помню.

Есть у безумия огромный дом,
В котором всякого оно приемлет,
Особенно же тех, кто имут золото и власть.

(Sebastian Brant. *Das Narrenschiff*, 46)

Я проснулся в два часа дня в состоянии прострации и кататонии. Я помнил все совершенно ясно, но не был уверен, что это происходило на самом деле. Сначала я хотел было спуститься на улицу за газетами, но потом решил, что даже если бы рота спаги ворвалась в Хранилище сразу после тамошних событий, то все равно не хватило бы времени, чтобы поместить новость в утренних газетах.

И потом, у Парижа в тот день были другие заботы. Об этом сразу же сообщил портье, когда я сошел вниз выпить кофе. Город бурлит, многие станции метро закрыты, в некоторых районах возникли стычки с полицией, но студентов слишком много, а то, что они делают, — это уж слишком, в самом деле.

В телефонном справочнике не сложно было найти номер доктора Вагнера. Я даже попробовал позвонить, хотя ясно было, что он не работает в воскресенье. Как бы там ни было, а мне нужно было вернуться в Хранилище. Я вспомнил, что в воскресенье оно открыто.

Латинский квартал был охвачен волнениями. Группы молодежи маршировали с транспорантами, выкрикивая какие-то лозунги. На острове Ситэ я увидел полицейский заградительный отряд. Вдалеке слышались взрывы. Именно так, наверное, это происходило в шестьдесят восьмом. У церкви Сент-Шапель царил беспорядок, я почувствовал запах слезоточивого газа. Послышался топот массы наступавших — то ли студентов, то ли полицейских, мимо бежали люди, мы укрылись за какой-то решеткой, перед нами была цепочка полицейских, на мостовой разгорались страсти. Какой позор: я нахожусь в компании стареющих буржуа и ожидаю затихания революции.

Потом мне удалось пробраться по боковым улочкам, мимо места, где когда-то находился Рынок, и выйти на улицу Сен-Мартен. Хранилище было открыто. Белый чистый дворик, на фасаде — табличка: "Хранилище искусств и ремесел, учреждено декретом Конвента от 19 вандемьера III года... в бывшем приорстве Сен-Мартен-де-Шан, основанном в XI веке". Все в порядке, и даже есть обычные воскресные посетители, безразличные к проделкам студентов.

Я вошел — по воскресеньям вход бесплатный — и увидел, что все предметы находились на своих местах, так же, как накануне, в пять часов вечера. Сторожа, посетители, Маятник на привычном месте... Я искал следы, того, что здесь произошло, если это действительно произошло: но кто-то все тщательно убрал. Если это действительно произошло.

Не помню, как я провел остаток дня. Не помню даже, что я видел, слоняясь по улицам, укрываясь время от времени, чтобы не попасть в переделку. Позвонил в Милан, на всякий случай. Из суеверия набрал номер Бельбо. Потом Лоренцы. Затем номер издательства Гарамона, которое, конечно же, было закрыто. И все же, если эта ночь сегодня, то все произошло вчера. Но от того вечера и до сегодняшней ночи прошла целая вечность.

К вечеру я осознал, что ничего не ел. Мне хотелось спокойствия и немного роскоши. Возле комплекса "Рыночный Форум" я зашел в ресторан, где обещали рыбу. Выполнили обещание полностью и даже более того. Столик мой оказался как раз перед аквариумом. Достаточно нереальный мир способствовал тому, чтобы я снова погрузился в атмосферу сплошных подозрений. Ничто не происходит случайно. Эта рыба похожа на астматического гезикаста, утратившего веру и обвиняющего Бога в том, что Он умалил смысл Вселенной. Саваоф, Саваоф, как удается тебе так хитрить, что я поверил, будто ты не существуешь? Плоть окутывает своей властью весь мир — подобно гангрене... Вот эта похожа на Минни, хлопает длинными ресницами и делает губки бантиком. Минни — невеста Мики. Я ем *salade folle* из трески — такой нежный, как тело ребенка. С

медом и перцем. Здесь присутствуют павликиане. Эта кружит среди кораллов, летает как аэроплан Бреге: машет крыльями, как чешуекрылое. Ставлю сто против одного, что она всматривается в свой зародыш гомункулуса, который она оставила на дне дырявого атанора, брошенного в кучу мусора перед домом Фламелья. А там — рыба-тамплиер, вся в черной броне, рыщет в поисках Ноффо Деи. Она прикасается к астматическому выкидышу, который плывет, озабоченный и обиженный, навстречу неведомому. Я поворачиваю голову, в конце улицы вижу вывеску другого ресторана: "У Р..." — Роза и Крест? Рейхлин? Розиспергиус? Рачковскиракоцицарогий? Подписи, подписи...

Так, так, единственный способ поставить черта в затруднительное положение — это заставить его поверить, что ты в него не веришь. Не стоит обсуждать метание по ночному Парижу и видение Башни. Уйти из Хранилища, думая, что видел то, что видел, а потом воспринять город как кошмар, разве это не естественно? Но что же я видел в Хранилище?

Совершенно необходимо поговорить с доктором Вагнером. Не знаю, почему я вбил себе в голову, что это панацея, но уже вбил и все. Терапия словом.

Как я добрался до сегодняшнего утра? Кажется, я зашел в кинотеатр, где показывали "Даму из Шанхая" Орсона Уэллса. Досидев до сцены с зеркалами, я не выдержал и ушел. Но, может быть, это неправда, может быть, все это происходило в моем воображении.

В девять утра я позвонил доктору Вагнеру, фамилия Гармон помогла мне преодолеть барьер секретарши, доктор как будто вспомнил меня, а услышав о том состоянии, в котором я пребывал, тут же согласился принять меня, в половине десятого, пока не появились другие пациенты. Он показался мне любезным и понимающим.

Может быть, мне приснился и сам визит к доктору Вагнеру. Секретарша спросила мою фамилию, заполнила карточку и получила с меня плату. Хорошо, что у меня уже был билет на обратный путь.

Кабинет небольшой, без дивана. Окна выходят на Сену, слева — тень Башни. Доктор Вагнер принял меня с профессиональной любезностью, да, собственно, все правильно: я ведь был уже не его издателем, а клиентом. Широким и спокойным жестом он пригласил меня сесть в кресло напротив него, с противоположной стороны стола, как на приеме у министра. "Ну что?" Сказав это, он оттолкнулся в кресле на колесиках, так что теперь я увидел его спину. Он сидел, наклонив голову, и, казалось мне, сложив руки на животе. Оставалось лишь одно: говорить.

Из меня полилось, как из рога изобилия. Я все выложил, от начала и до конца: то, что я думал два года тому назад, что я думал в прошлом году, то, что я думал о том, что думают Бельбо и Диоталлеви. И, главное, рассказал о том, что произошло в ночь святого Иоанна.

Вагнер ни разу не перебил меня, ни разу утвердительно не кивнул головой, ни разу не выказал неодобрения. Вполне возможно, что он заснул. Наверное, в этом заключалась его методика. А я все говорил. Терапия словом.

Затем я ждал, чтобы с его уст слетел какой-нибудь звук, мое спасение.

Вагнер встал, медленно-медленно. Не поворачиваясь ко мне лицом, он обошел стол и направился к окну. Заложив руки за спину, погруженный в свои мысли, устремил взор на улицу.

Тишина длилась минут десять-пятнадцать.

Потом, стоя все так же спиной ко мне, он произнес бесцветным, тихим, успокаивающим голосом:

— Мсье, вы сошли с ума.

Сам он при этом не пошевелился, я тоже. Еще минут через пять я понял, что продолжения не будет. Визит окончен.

Я ушел, не попрощавшись. Секретарша обратила ко мне широкую улыбку, после чего я снова очутился на авеню Элизе-Реклю.

Было одиннадцать часов. В гостинице я собрал вещи и помчался в аэропорт, не теряя веры в свою счастливую звезду. Мне пришлось ожидать два часа, и за это время я позвонил в

Милан Гарамону collect call, потому что у меня не осталось ни копейки. Ответила Гудрун. Она казалась отупевшей больше обычного, и я трижды кричал ей, чтобы она ответила да, oui, yes, чтобы подтвердила связь.

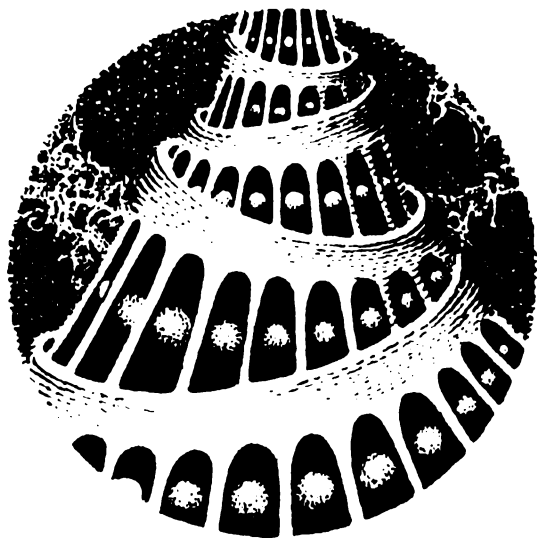
Она плакала: Диоталлеви умер в субботу, в полночь.

— И никто, никто из его друзей не пришел сегодня на похороны, какой стыд! Даже господин Гарамон, правда говорят, что он уехал за границу. Я, Грация, Лучано да еще какой-то господин весь в черном, с бородой, вьющимися бакенбардами и в большой шляпе, выглядел как могильщик. Бог знает, откуда он взялся. Но где вы, Казобон? И где Бельбо? Что происходит?

Я невнятно пробормотал какие-то извинения и повесил трубку. Меня пригласили в самолет.

IX

ИЕСОД



Социальная теория конспирации... это следствие недостаточного обращения к Богу и закономерного вопроса: "А что есть вместо Него?"

(Karl Popper. *Conjectures and refutations*,
Лондон, Routledge, 1969, I, 4)

Путешествие благоприятно подействовало на меня. Не только потому, что уехав из Парижа, я покинул и подземелье, а даже больше — я выполз из земли, из ее коры. Небо и белые от снега горы. Одиночество на высоте десять тысяч метров и ощущение опьянения, которое всегда приносят полет, повышенное давление в салоне самолета, провал в небольшую воздушную яму. Я подумал, что только здесь, наверху, я снова стою обеими ногами на земле. И я решил поставить точки над "i": сначала записать все пункты в записной книжке, а потом, закрыв глаза, положиться на судьбу.

Прежде всего я перебрал в голове неоспоримые, очевидные вещи.

Нет сомнений в том, что Диоталлеви умер. Мне об этом сказала Гудрун. Она всегда пребывала вне нашей истории, не поняла бы ее, и поэтому она — единственная, кто говорит правду. Затем: правда и то, что Гарамон уехал из Милана. Разумеется, он может быть где угодно, но в последние дни Гарамон не предупредил нас и даже не намекнул на то, что будет в Париже, где я его и видел.

Бельбо тоже нет в Милане.

Теперь попытаемся представить, что то, что я наблюдал субботним вечером в Сен-Мартен-де-Шан, действительно произошло. Может быть, не так, как виделось мне, учитывая, что я был одурманен музыкой и фимиамом, но что-то произошло. Та же история, что и с Ампаро. Вернувшись домой, она не была уверена, что ею до этого овладела Помба Гира, но она точно знала, что побывала в шатре умбанды и что ей показалось, что — или она вела себя так, как если бы — Помба Гира властвовала над ней.

Наконец, то, что мне сказала Лия в горах,— правда, все что она прочла, выглядело вполне убедительным, послание из Провэнза — это лишь счет из прачечной. Тамплиеры никогда не собирались в Гранж-о-Дим. Никакого Плана не было, как не было и послания.

Счет из прачечной стал для нас просто полем для кроссворда с пустыми клетками и без определений слов. Нужно, следовательно, заполнить клетки так, чтобы все надлежащим образом перекрещивалось. Хотя, может быть, пример этот не совсем адекватный. В кроссворде слова пересекаются и пересекаются они должны на общей букве. В нашей же игре пересекались не слова, а понятия и факты. Значит, правила тут другие — всего их три.

Первое правило: понятия связаны друг с другом по аналогии. Но нет правил, по которым можно было бы с самого начала определить, подходит какая-нибудь аналогия или нет, потому что в определенном смысле любая вещь может быть похожа на любую другую. Например. Картофелина пересекается с яблоком, так как оба они — плоды растений и имеют округлую форму. Яблоко — по библейской ассоциации — пересекается со змеей. Змея — по формальному сходству — с бубликом, бублик — со спасательным кругом, от него переходим к купальнику, от купальника — к завиткам волн при купании, от них — к валику, от валика — к рулону туалетной бумаги как предмету гигиены, от гигиены — к спирту, от спирта — к наркотикам, от наркотиков — к шприцу, от шприца — к дырке, от дырки — к земле, от земли — к картошке.

Чудесно. Второе правило гласит, что если все сходится, то игру можно вести. От картофелины до картофелины все сходится. Значит, это правда.

Третье правило: ассоциации не могут быть взяты из воздуха — в том смысле, что они должны уже быть хотя бы раз представлены, а лучше, чтобы много раз. Только благодаря этому связи — очевидны.

В принципе, в этом и заключалась идея господина Гарамона: книги сатанистов не должны содержать новшеств, а должны

лишь повторять уже сказанное, иначе что бы произошло с силой Традиции?

Так, собственно, мы и поступили: ничего не придумали за исключением способа составления фрагментов. Точно так же поступил и Арденти. Он ничего не придумывал, просто его мозаика получилась неудачной, и кроме того, он был менее образован, чем мы, и не располагал таким количеством фрагментов.

У них же были фрагменты, но не было кроссвордной сетки. И потом, все-таки, мы были лучше.

Мне припомнилась фраза, сказанная Лией в горах, когда она порицала меня за участие в грязной игре: "Люди гонятся за картами, как сумасшедшие. Стоит тебе показать им какую-нибудь схему, и они набросятся на нее, как стая волков. Ты выдумываешь, а они верят. Нельзя дразнить их воображение сверх меры".

В общем-то, так всегда и бывает. Какой-нибудь юный Герострат сгорает от желания прославиться. И вот однажды он видит фильм, в котором художочный недоросль стреляет в звезду *country music* и попадает на первые страницы газет. Формула найдена, остается пойти и замочить Джона Леннона.

Это все равно, что ситуация с академическими изданиями. Как стать поэтом, которого печатают и в итоге заносят в энциклопедии? Гарамон объясняет: это очень просто — надо банковать. Академическое издательство раньше об этом не думало, но поскольку имеется издательский план "Мануцио", оно сообщается с ним. Академическое издательство убеждено, что нуждалось в "Мануцио" с давних времен, но не знало о его существовании.

Следствие: мы придумали несуществующий План, а Они не только приняли его за чистую монету, но и убедили себя, что давно уже являются его частью. Иными словами, они отождествили разрозненные и нечеткие фрагменты своих проектов с частями нашего Плана, отчеканенного по неопровержимой логике аналогий, внешних проявлений, намеков.

Поскольку Они осуществляют выдуманный нами план, то это равносильно тому, что План существовал, больше того — существует.

И с этого момента полчища дьяволистов будут рыскать по свету в поисках карты.

Мы предложили карту людям, которые стремятся преодолеть подсознательную фрустрацию. Какую именно? Подсказка содержится в последнем *file* Бельбо: неудачи не было бы, если бы План действительно существовал. Поражение? Да, но не по твоей вине. Быть поверженным космическим заговором не позорно. Ты не трус, ты мученик.

Не жалуйся, что смертен, что не властен над тысячами микроорганизмов, набрасывающихся на тебя. Ты не виноват, что у тебя не цепкие ноги, исчез хвост, шерсть и клыки, что соришь нейронами на дороге жизни, что вены твои теряют эластичность. Это все проделки Завистливых Ангелов.

То же можно отнести и к повседневной жизни. Взять, к примеру, биржевые крахи. Они происходят потому, что кто-то сделал неверный шаг, а взятые все вместе неверные шаги создают панику. Потом те, у кого нервы послабее, задают себе вопросы: да кто же сотворил этот заговор и кому это выгодно? И горе тому, кто не найдет врага, устроившего заговор,— он будет чувствовать виноватым себя. Если ты чувствуешь себя виноватым, то придумываешь заговор, даже несколько. И ты должен составить свой собственный заговор, чтобы нейтрализовать предыдущий.

А чем изощреннее заговоры других, тем больше ты поддаешься их чарам и сознаешь собственное непонимание и тогда подгоняешь под их мерку свой собственный заговор. Так, собственно, и произошло, когда иезуиты и бэконисты, павликиане и неотамплиеры футболили друг другу планы. Тогда Диоталлеви заметил: "Ты, безусловно, приписываешь другим то, что делаешь сам, и если ты делаешь что-то отвратительное, те, другие, становятся отвратительными. Однако поскольку другие хотели бы по своему обыкновению делать именно то отвратительное, что делаешь ты, то они действуют вместе с тобой, заставляя думать, что — таки да — действительно, то, что ты им приписываешь, есть то, чего они всю жизнь желали. Бог ослепляет того, кого хочет погубить, достаточно Ему помочь".

Заговор, чтобы быть таковым, должен быть окружен тайной. Должна существовать тайна, которая освободит нас от фрустрации благодаря тому, что мы ее узнаем, она приведет нас к спасению, либо познание тайны будет эквивалентно спасению. Только вот существует ли такая яркая тайна?

Несомненно, при условии, что ее никогда не узнают. Обнаженная, она может лишь разочаровать нас. Разве Аглиэ не говорил мне о стремлении к таинственности, властвовавшем в эпоху Антонинов? А ведь недавно явился некто, объявивший себя Сыном Бога. Сыном Бога, который становится плотью и искупает грехи мира. Разве это была грошовая тайна? И она обещала спасение всем — достаточно было возлюбить ближнего своего. Разве такая тайна — это мало? А в наследство она оставила весть о том, что, если кто скажет нужные слова в нужное время, тот сможет превратить кусок хлеба и стакан вина в тело и кровь Сына Божьего и этим кормиться. Так что ж, эту тайну надо было выбросить в корзину? И она заставила отцов церкви задуматься, а потом объявить, что Бог и един и триедин, и что Дух Святой происходит от Отца и Сына, но Сын не происходит от Отца и Духа. Так неужели, это всего лишь семечки для гириков? И тем не менее те, другие, которым до спасения было рукой подать — *do it yourself*, — так и не сподобились. Выходит, это и есть откровение? Какая банальность! И давай бороздить на своих посудинах все Средиземное море в поисках утерянного знания, для которого эти копеечные догмы были бы всего лишь поверхностным покровом, притчей для нищих духом, иероглифом, содержащим намек, многозначительным подмигиванием в сторону Пневматиков. Загадка Троицы? Слишком проста — что-то тут неладно.

Жил-был некто, может быть, Рубинштейн, так ответивший на вопрос, верит ли он в Бога: "О, нет, я верю... в нечто гораздо большее..." А другой человек (может быть, Честертон?) сказал: "То, что люди перестали верить в Бога, не означает, что они больше ни во что не верят, они верят во все".

Все не составляет большей тайны. Самых больших тайн не бывает, так как стоит их раскрыть, и они становятся маленькими. Есть только пустая тайна. Тайна, которая ускользает. Сек-

рет растения ятрышник состоит в том, что оно означает тестикулы и оказывает на них действие, а тестикулы означают знак зодиака, знак зодиака — иерархию ангелов, иерархия ангелов — музыкальную гамму, гамма — связь между настроениями и так далее. Посвящение — это значит познавать и никогда не останавливаться, очищать вселенную от шелухи, как луковицу, а луковица-то эта вся состоит из шелухи: представим себе бесконечную луковицу с центром повсюду, но не имеющую нигде края поверхности, или же луковицу в виде ленты Мебиуса.

Настоящий посвященный — тот, кто знает, что самая сильная тайна — это тайна без содержания, ибо никакому врагу не удастся заставить его ее признать и ни одному правоверному не удастся ее от него скрыть.

Теперь динамика ночного ритуала у Маятника представлялась мне более логичной, последовательной. Бельбо утверждал, что владеет тайной, и тем самым приобрел власть над Ними. Их стремлением, даже со стороны такого искушенного человека, как Аглиз, который сразу же затрубил всеобщий сбор, было выудить ее у него. И чем упорнее Бельбо отказывался открыть ее, тем сильнее Они верили, что тайна эта велика. Чем отчаяннее он клялся, что не владеет ею, тем больше Они убеждались, что он знает ее и что это настоящая тайна, ибо в противном случае Бельбо раскрыл бы ее.

На протяжении веков поиск этой тайны был для них цементирующим средством — будь то в разгар отлучений от церкви, междоусобных войн или боевых вылазок. Теперь они намерены ее познать. Две вещи приводили в ужас: то, что тайна может просто разочаровать, и что когда ее узнают все, она уже не будет тайной. Будет их концом.

Вот тогда-то Аглиз почуял, что если Бельбо заговорит, то узнают все, и он — Аглиз — потеряет туманную ауру, которая давала ему Божественный дар и власть. Если бы Бельбо доверился только ему, то Аглиз остался бы бессмертным Сен-Жерменом, — дарованная ему отсрочка смерти совпадала с отсрочкой тайны. Он попытался принудить Бельбо раскрыть ему тайну на ухо, а когда понял, что это невозможно, то спровоцировал его, возвестив о капитуляции, а главное — приняв само-

довольный вид. О, как хорошо старый граф знал его, ему было известно, что у людей из этих районов упрямство и боязнь показаться смешным сильнее самого страха. Он вынудил его принять вызов и сказать "нет" окончательно.

А остальные — боясь того же — предпочли убить его. Они теряли карту — на ее новые поиски им отводились века, но спасали свежесть своего заплесневелого и слюнявого стремления.

Я вспомнил историю, рассказанную Ампаро. Перед тем как приехать в Италию, она несколько месяцев жила в Нью-Йорке, в одном из кварталов, в которых в лучшем случае снимают сериалы об уголовной полиции. Однажды она возвращалась домой одна, в два часа ночи. И когда я спросил, не боялась ли она сексуальных маньяков, она поведала мне свою методику. Как только такой маньяк подходил к ней и проявлял свои намерения, она брала его под руку и говорила: "Так что ж, пойдем переспим", после чего обескураженный тип смылся.

Сексуальный маньяк хочет не секса, он хочет его желать, в лучшем случае красть его, но по возможности так, чтобы жертва об этом не знала. Когда же ему предлагают секс и немедленно, то естественно, он удирает, сломя голову, иначе это был бы довольно странный маньяк.

А мы захотели пощекотать их желания, предложить им самую что ни на есть пустую тайну, потому что мало того, что мы сами ее не знали, но к тому же мы знали, что она фальшива.

Самолет летел над Монбланом, и все пассажиры сгруппировались с одной стороны, чтобы не упустить возможность увидеть этот тупоконечный карбункул, который вырос в результате дистонии подземных потоков. Я думал, что если все то, о чем я сейчас думаю, справедливо, то, может быть, и не существует подземных потоков, как не существует послание из Провэнса, а история расшифровки Плана в том виде, в котором мы ее воссоздали, является именно Историей.

В моей памяти всплывал последний *file* Бельбо. Если бытие столь пусто и столь хрупко, что может держаться лишь за счет иллюзии тех, кто ищет его тайну, то тогда и вправду — как говорила Ампаро в вечер умбанды, после своего поражения — нет искупления, а мы все — рабы, дайте нам хозяина, мы это заслужили...

Это невозможно. Это невозможно, потому что Лия сказала мне, что есть нечто большее, и у меня есть тому доказательство, зовут его Джулио, и сейчас он играет в долине, таскает за хвост козу. Это невозможно, потому что Бельбо дважды сказал "нет".

Первый раз он сказал "нет" Абулафии, у которой я пытался вырвать его тайну. "Ты знаешь пароль?" — последовал вопрос. А ответ, ключ к знанию, звучал: "нет". В этом заключается какая-то правда, а именно то, что не только не существует магическое слово, но что мы его даже не знаем. Однако тот, кто сумеет это признать, сможет кое-что узнать, по крайней мере то, что смог узнать я сам.

Второе "нет" он сказал той субботней ночью, отказавшись от протянутого ему якоря спасения. Он мог бы придумать какую-нибудь карту, назвать одну из тех, о которых знал от меня, ведь при таком положении Маятника эта банда оголтелых ни за что бы не определила *Umbilicus Mundi*, а если бы даже определила, то потеряла бы как минимум еще с десятков лет, чтобы понять, что это не он. Так нет же, он не захотел покориться и предпочел умереть.

Не то чтобы он не захотел подчиниться разнузданной жажде власти, он не захотел покориться бессмысленному. Он знал в какой-то мере, что каким бы хрупким не было бытие, каким бы бесконечным и бесцельным не был наш вопрос о мире, существует нечто, имеющее больший смысл, чем все остальное.

О чем же таком Бельбо интуитивно догадался — может быть, только в тот момент, — что позволило ему опровергнуть содержание последнего *file* и не вверить свою судьбу тому, кто гарантировал ему какой-то План? Что же такое он понял — наконец, — что позволило ему поставить на карту свою жизнь, как

если бы все, что он должен был познать, было открыто им уже давным-давно, хотя он об этом и не догадывался, и как если бы перед лицом его единственной, настоящей, абсолютной тайны все, что происходило в Хранилище, было безнадежно глупо, как глупо было в тот момент хвататься за жизнь?

Мне чего-то не хватало, какого-то звена в цепи. Мне казалось, что я уже знаю все деяния Бельбо, от жизни и до смерти, за исключением одного.

После посадки, доставая из кармана паспорт, я наткнулся на ключ от этого дома. Я взял его в прошлый четверг вместе с ключом от квартиры Бельбо. Мне припомнился день, когда Бельбо показал мне старый шкаф, в котором хранились все его труды или, иными словами, его юношеские опусы. Быть может, Бельбо написал нечто такое, что не могло находиться в Абулафии, и это нечто было погребено здесь — в ***.

Моя догадка не содержала ничего разумного. "Тем больше оснований,— подумал я,— считать ее правильной". Во всяком случае, терять мне было нечего.

Я отправился на стоянку за машиной, и вот я здесь.

Я не застал ни старую родственницу Канепы, с которой мы познакомились в те времена, ни сторожа дома. Возможно, она успела умереть. Здесь не было никого. Я прошел по всем комнатам. Всюду стоял запах сырости, и я уже почти собрался зажечь грелку в одной из спален. Но какой смысл греть постель в июне? Стоит раскрыть окно, и в дом проникнет теплый вечерний воздух.

Сразу после захода солнца не было луны. Совсем, как в Париже, субботней ночью. Она поднялась очень поздно, и теперь я вижу небольшой ее кусочек, меньше, чем в Париже, лениво поднимающийся над низкими холмами во впадине между Брикко и другой бугристой местностью, на которой, возможно, уже косили хлеба.

Кажется, я приехал сюда около шести часов вечера, ибо было еще светло. Из еды я ничего не захватил, но потом, бродя

по дому, я зашел в кухню и увидел подвешенное к балке кольцо колбасы. Я поужинал колбасой, запивая ее водой,— было уже десять часов. Теперь меня мучит жажда. Я поднялся в кабинет дядюшки Карло с большим графином воды и пью каждые десять минут, потом схожу вниз, снова наполняю графин и начинаю все сначала. Сейчас уже, наверное, часа три ночи. Но я не зажигаю свет и с трудом различаю стрелки будильника. Я размышляю, глядя в окно. На склонах холмов мелькают светлячки, словно блуждающие звезды. Изредка появляется какая-нибудь машина, едет в глубину долины или в гору, к оседлавшим вершины холмов деревням. Вряд ли такие картины представляли перед Бельбо, когда он был еще мальчиком. Не было машин, не было этих дорог, а был комендантский час и светомаскировка.

Едва войдя в дом, я открыл заветный шкаф. Множество полок, заваленных бумагами,— от первых школьных тетрадок до бесконечных связок листов со стихами и прозой отроческих лет. В юности все пишут стихи, потом настоящие поэты свои стихи уничтожают, а плохие поэты — публикуют. Бельбо был слишком трезв, чтобы их сохранить, и слишком беспомощен, чтобы их уничтожить. Итак, он похоронил их в шкафу дядюшки Карло.

Я читал несколько часов кряду. В течение следующих долгих часов и до самого этого момента я размышлял над последним текстом, который нашел, когда готов был уже вот-вот отказаться от дальнейших поисков.

Не знаю, когда Бельбо его составил. На этих бесчисленных листах переплетаются фрагменты, написанные разными руками или, скорее, одной рукой, но в разное время. Как если бы он написал это очень рано, лет в шестнадцать-семнадцать, потом отложил в сторону, вернулся к написанию в двадцать лет, затем в тридцать и, может быть, еще позднее. И так до момента, когда перестал вообще писать, если не считать Абулафию, однако он не осмелился подвергнуть эти строчки электронному унижению.

Когда я читал, мне казалось, что я вижу перед собой хорошо знакомую историю: тяжелые события в *** между 1943 и

1945 годами — дядюшка Карло, партизаны, молельня, Чечилия, труба. Я знаю пролог — это все были темы, преследовавшие Бельбо в юношеском возрасте. Бельбо, лишенного иллюзий и печального пьяницу. Он тоже знал, что мемуарная литература — это последнее прибежище жулья.

Но я — не литературный критик. Я снова Сэм Спейд, который ищет последнюю путеводную нить.

И вот так я нашел Текст-Ключ. Он представляет собой, вероятно, последнюю главу жизнеописания Бельбо в ***. После этого уже больше ничего не могло произойти.

Подожгли венец трубы, и я увидел, как открылось отверстие в куполе и восхитительная огненная стрела скользнула вниз через ствол трубы и проникла в безжизненные тела. Затем отверстие снова закрылось, и трубу тоже убрали.

(Johann Valentin Andreae. *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Страсбург, Zetzner, 1616, 6, с. 125-126)

В тексте много пропусков, наложений, неточностей, зачеркнутого — видно, что я только что вернулся из Парижа. Я не просто перечитываю его, я его переживаю.

Дело происходило где-то к концу апреля 1945 года. Немецкая армия отступала, фашистов ждал разгром. Во всяком случае *** уже окончательно контролировали партизаны.

После последней битвы, той, о которой Бельбо рассказал нам именно в этом доме (почти два года назад), несколько партизанских бригад встретились в ***, чтобы отсюда наступать на город. Они ждали сигнала радио Лондона и собирались атаковать, как только Милан тоже будет готов к восстанию.

Прибыли и бригады гарибальдийцев под командованием Раса — чернобородого гиганта, очень популярного в здешних местах. Одеты они были кто во что горазд, каждый в свое, только косынки да звезды на груди у всех были красные. Вооружены они были примерно так же: у кого старый мушкет, у кого автомат, отобранный у врага. Они резко отличались от бадольевских бригад, которые носили синие платки, мундиры цвета хаки, похожие на английские, и были вооружены новейшими автоматами "стэнами". Союзники щедро помогали бадольевцам, сбрасывая по ночам грузы на парашютах после того как — вот уже на протяжении двух лет — каждый вечер около одиннадцати часов пролетит таинственный "пиппетто" — английский самолет-разведчик, причем никто не мог понять, что он мог разведать, учитывая что на многие километры вокруг не было видно ни огонька.

Между гарибальдийцами и бадольевцами чувствовалась напряженность. Рассказывали, что в тот памятный вечер бадоль-

левцы бросились на врага с криком "Вперед, Савойя!", хотя некоторые из них утверждали, что мол это все сила привычки, что мол кричать, когда идешь в атаку, еще не значит, что ты — монархист, они и сами знают, что король наделал немало ошибок. Гарибальдийцы издевательски подсмеивались над ними. Можно кричать "Савойя", идя в штыковую на поле боя, но не тогда, когда прыгаешь в укрытие со "стэнном" в руках. Они просто продались англичанам.

И все же им удалось достичь некоего *modus vivendi*. Для наступления на город нужно было единое командование, и выбор пал на Терци, который командовал бригадой, оснащенной лучше других, он был к тому же ветераном — участвовал в первой мировой войне, — был героем и пользовался доверием союзного командования.

Вскоре, по-моему, даже не дождавшись восстания в Милане, они двинулись на штурм города. Оттуда поступали хорошие вести, операция прошла успешно, бригады с победой возвращались в ***, однако они понесли потери. По слухам, в бою погиб Рас, а Терци был ранен.

В один из дней послышался шум моторов, победные песни, все люди выбежали на центральную площадь: по главной дороге движутся первые отряды, подняты вверх кулаки, знамена, приветствие оружием из окон легковых машин и на подножках грузовиков. Люди с тротуаров забрасывали их цветами.

Вдруг кто-то крикнул: "Рас, Рас", и действительно, это был Рас. Он сидел на заднем крыле доджа, борода всклокочена, из распахнутой на груди рубашки выглядывали завитки потных волос. Он смеялся и махал рукой в знак приветствия.

Вместе с ним с доджа спрыгнул Рампини, близорукий парень, чуть постарше других, который раньше играл в местном оркестре: пропал месяца три назад, говорили, что он ушел в партизаны. И вот он здесь, с красным платком на шее, в рубашке цвета хаки, в синих штанах. Это была униформа оркестра дона Тико, но у Рампини теперь был пояс с кобурой, а в ней — пистолет. Через толстые очки, которые когда-то служили поводом для шуток, он смотрел сейчас на девушек, окруживших

его, словно это был сам Флэш Гордон. У Джакопо мелькнула мысль о Чечилии — не было ли ее среди этой толпы?

За каких-нибудь полчаса площадь заполнили партизаны, толпа выкрикивала имя Терци, требуя его выступления.

Терци появился на балконе мэрии, опираясь на костыль, бледный, жестом руки пытаясь успокоить толпу. Джакопо ждал речь, потому что все его детство, как и детство его ровесников, было отмечено большими и историческими речами дуче, наиболее значительные цитаты из которых вдалбливали в головы ученикам, а точнее говоря, им вдалбливали в головы все, так как каждая фраза была поучительным высказыванием.

Установилась тишина. Терци заговорил еле слышным хриплым голосом, трудно было его понять. Он произнес: "Граждане, друзья мои. После стольких тяжелых жертв... мы вернулись. Слава погибшим за свободу".

И все. Повернулся и скрылся в доме.

Но люди радостно кричали, партизаны вздымали вверх автоматы, "стэны", карабины, старые ружья девяносто первого года и стреляли в воздух, а на землю сыпались гильзы, мальчишки путались под ногами партизан и гражданских. Такого урожая у них уже могло и не быть, если война, как обещали, закончится через месяц.

Но были и убитые. По ужасной случайности погибли два жителя соседней деревни Сан-Давиде, и их семьи просили похоронить парней на маленьком местном кладбище.

Командование партизан решило устроить торжественные похороны: сомкнутые военные ряды, украшенные катафалки, муниципальная капелла, приходской священник. И, разумеется, местный оркестр.

Дон Тико согласился без колебаний. Во-первых, говорил он, потому что его взгляды всегда были антифашистскими. И потому, как перешептывались музыканты, что уже год он заставлял их разучивать два похоронных марша, которые рано или поздно пришлось бы сыграть. И наконец, говорили местные злые языки, чтобы забыть "Джовинеццу" — фашистский гимн.

А с "Джовинеццей" вышла в свое время вот такая история.

За много месяцев до прихода партизан оркестр дон Тико вышел на улицу по случаю праздника Бог весть какого святого и был остановлен Черными бригадами. "Играйте "Джовинеццу", преподобный отец", — приказал капитан, барабаня пальцами по стволу автомата. Что было делать. Дон Тико сказал: "Давайте попробуем, парни, лучше, чем пуля в лоб". Он стал отбивать такт ключом, и безобразная какофония звуков наполнила ***. Играли нечто, в чем только "неистовая надежда на реванш" по военной чести позволила бы распознать "Джовинеццу". Позор для всех. Во-первых, потому, что уступили, говорил потом дон Тико, но главное — потому, что играли, как болваны. Да, я священник и антифашист, но прежде всего искусство для искусства.

Джакопо в тот день не выходил. У него воспалились миндалины. На улице были лишь Аннибале Канталамесса и Пио Бо, и одно их присутствие служило поводом для крушения национал-фашизма. Но для Бельбо проблема состояла в другом, по крайней мере когда он об этом писал. Он упустил еще одну возможность узнать, сумел бы он сказать "нет". Вероятно, именно поэтому он погиб, повешенный на Маятнике.

Короче говоря, похороны назначили на воскресное утро. Все собрались на церковной площади. Терци со своими бойцами, дядюшка Карло и несколько знатных людей коммуны, которые по такому случаю надели награды за участие в первой мировой войне, и теперь неважно, кто был фашистом, а кто нет, люди пришли отдать последние почести героям. Тут же были служители церкви, муниципальная капелла в темных костюмах и катафалки с лошадьми, покрытыми попонами бело-кремового цвета с серебряными и черными узорами. Возница был одет как наполеоновский маршал — треуголка, накидка, плащ тех же цветов, что и убранство лошадей. Здесь же находился и местный оркестр — в фуражках, рубашках хаки и синих штанах, со сверкающими медью, отливающими чернотой и переливающимися разными цветами инструментами.

Между *** и Сан-Давиде километров пять-шесть вьющейся вверх дороги. Воскресным днем, после обеда, пенсионеры преодолевали ее, играя в шары: сыграют партию, остановятся,

выпьют несколько фляг вина, сыграют следующую и так далее, до самой часовни на вершине.

Несколько километров подъема — это пустяк, если играть по дороге в шары и, может быть, пустяк, если даже их преодолеть в строю, с оружием на плече, с устремленным вперед взглядом, вдыхая свежий весенний воздух. Но попробуйте пройти эту дистанцию, играя на инструменте — щеки раздуты, пот течет ручьями, недостаток воздуха. Капелла мэрии, собственно, ничем другим и не занималась, но для парней из оркестра это было-таки тяжелым испытанием. Они держались героически: дон Тико размахивал ключом, кларнеты верещали на исходе сил, саксафоны астматически блеяли, бомбардоны и трубы испускали звуки агонии, но все-таки они выдержали до самой деревушки, дошли до края крутой тропинки, ведущей к кладбищу. Аннибале Канталамесса и Пио Бо только делали вид, что играют, но Джакомо стоически исполнял роль сторожевой собаки под благословляющим оком дона Тико. Если сравнить их с муниципальной капеллой, то они не ударили в грязь лицом, и это подтвердили Терци и другие командиры партизан: браво, ребята, вы и вправду отличились.

Один из командиров, с голубым платком на шее и с радужными лентами орденов за две мировые войны сказал: "Святой отец, дайте ребятам перевести дух в деревне, они уже еле идут. Вы подойдете потом, к концу. Мы предоставим вам грузовик, который отвезет вас после всего в ***".

В харчевню бросились и музыканты из капеллы — старые похоронные волки, безо всякого стеснения уселись за столы, потребовав требухи и вина. Они собирались пьянствовать до вечера. Парни дона Тико, напротив, столпились у стойки, где хозяин подавал мятное мороженое ядовито-зеленого цвета, словно оно было получено в результате химических экспериментов. Ледяная масса скатывалась в горло, вызывая болезненное пощипывание посреди лба, как при сильной простуде.

Потом прошли небольшой отрезок пути в сторону кладбища, где их поджидал грузовичок. Они влезли на него с шумными выкриками и теперь стояли в кузове, сбившись в кучу, тол-

кая друг друга инструментами. Вдруг с кладбища вышел тот же командир и обратился к дону Тико:

— Святой отец, для прощальной церемонии нам нужен трубач. Тут дела всего минут на пять.

— Трубач! — профессионально скомандовал дон Тико, и несчастный обладатель этого титула, исходивший зелено-мороженым потом и мечтавший о домашнем ужине, мешковатый селянин, бесчувственный к любому эстетическому порыву и какой-либо идейной солидарности, начал ныть, что уже поздно, что он хочет домой, что у него иссякла слюна и так далее, и так далее, чем привел в замешательство дона Тико, которому было стыдно перед командиром.

И вот тогда Джакопо, увидев в полуденном сиянии пленительный образ Чечилии, предложил:

— Если он даст мне трубу, я сыграю.

Глаза дона Тико засверкали признательностью, а потный официальный трубач облегченно вздохнул. Произошел обмен инструментами, словно смена караула.

И Джакопо двинулся на кладбище, ведомый психопомпом с орденами за Аддис-Абебу. Все вокруг отливало белизной — залитая солнцем стена, могилы, цветущие деревья вдоль изгороди, стихарь преподобного отца, готового дать последнее благословение, только фотографии на надгробных плитах выделялись своей коричневой унылостью. Да еще большой букет знамен перед выкопанными могилами.

— Парнишка, — сказал командир, — становись рядом со мной, по команде подашь сигнал "смирно", потом, опять по команде — сигнал "вольно". Легко, правда?

Очень легко. Если забыть, что Джакопо никогда до этого не приходилось играть ни "смирно", ни "вольно".

Он держал трубу в согнутой правой руке, уперев ее в бок, концом чуть вниз, как держат карабин, и ждал команды, подняв голову, втянув живот и выгнув грудь.

Терци держал речь, рубя воздух короткими отрывистыми фразами. Джакопо подумал, что ему придется, играя, поднять голову вверх, и солнце ослепит его. Но именно так умирают

трубачи, а поскольку умирают только раз, то лучше уж держаться как надо.

Потом командир шепнул ему: "Сейчас". И гаркнул: "Сми-и-и-и-р...". Но Джакопо не знал, как играть "смирно".

Мелодия, вероятно, была гораздо сложнее, но в тот момент он способен был сыграть лишь до-ми-соль-до, и стоявшим рядом суровым бойцам этого наверняка хватило бы. Вдохнув воздухом перед финальным "до", он пустил его и держал очень долго, чтобы оно успело, писал Бельбо, долететь до солнца.

Партизаны замерли по стойке "смирно". Живые были так же недвижимы, как и мертвые.

Двигались только могильщики. Слышен был звук опускаемых в ямы гробов, потом — веревок, трущихся о дерево. Но движение это было еле уловимым, как солнечный зайчик, пробегающий по шару, когда легкое смещение света свидетельствует о том, что в самой сфере ничего не происходит.

Затем пронесся абстрактный шум, когда бойцы взяли оружие "на к-раул". Священник произнес слова, сопутствующие окроплению святой водой, командиры подошли к могилам и бросили вниз по горсти земли. Вслед за этим по внезапно прозвучавшей команде к небу взлетел залп салюта: та-та-та, бах-бах, а с ним вместе с цветущих деревьев взмыли с гамом птицы. Но и в этом тоже не было движения, все происходило так, словно одно и то же мгновение возвращается, представляя каждый раз в новом качестве, а запечатлеть мгновение навсегда не значит смотреть на него, пока проходит время.

Вот почему Джакопо стоял не двигаясь, не обращая внимания даже на падавшие к его ногам гильзы, он не опустил трубу, а все еще прижимал ее к губам, держа пальцы на клапанах, замерев всем телом, направив инструмент к небу. Он продолжал играть.

Его длинная финальная нота все еще звучала: неслышимая никем из присутствующих, она улетала из колокола трубы, как легкое дыхание, клубочек воздуха, который он продолжал нагнетать в мундштук, держа язык между едва приоткрытыми губами, но не прикасаясь ими к инструменту. Труба же не

изменяла положения, хотя и не опиралась о губы, благодаря одному только напряжению локтей и плеч.

Джакопо не прерывал иллюзию ноты, ибо чувствовал, что в этот момент он разматывает нить, которая удерживает солнце. Светило прекратило свой путь, застыв в полуденном состоянии, которое могло бы длиться вечность. И все зависело теперь от Джакопо: достаточно ему было оборвать эту связь, отпустить нить, и солнце отскочило бы далеко-далеко, как мячик, а вместе с ним и день, и событие этого дня, это действие без перерывов, без до и после, которое развивалось без движения по той лишь причине, что в его власти было захотеть и сделать.

Если б он захотел перевести дух перед новой нотой, то слышался бы звук чего-то рвущегося, гораздо сильнее оглушавших его залпов салюта, и тогда снова бы затикали в тахикардическом ритме вселенские часы.

Джакопо всей душой желал, чтобы стоявший рядом мужчина не скомандовал "вольно"; я мог бы отказаться,— обращался он к себе,— и все осталось бы так навсегда, дуй сколько хватит сил.

Я думаю, что его охватило состояние оцепенения и головокружения, которое овладевает ныряльщиком, когда он стремится не подниматься на поверхность, а хочет продлить свое движение по дну, причем до такой степени, что при попытке выразить то, что он чувствовал тогда, фразы, которые я теперь читал, ломались, прерывались, обкарнывались троеточиями, обезображивались до рахитичности эллипсами. Но ясно было, что в тот момент — нет, он этого не написал, но это было ясно,— в тот момент он обладал Чечилией.

Джакопо Бельбо не мог тогда понять — как не понимал он этого, когда писал о своем не осознанном "я",— что в тот момент он праздновал свою химическую свадьбу с Чечилией, Лоренцей, Софией, с землей и небом. Быть может, он был единственным из смертных, которому удалось наконец завершить Великое Дело.

Никто тогда еще ему не рассказал, что Грааль — это чаша, но к тому же еще и копьё, и что его поднятая, как чаша, труба

была одновременно и оружием, орудием очень мягкой власти, которое пускает стрелы в небеса, чтобы объединить землю с Мистическим Полюсом. С единственной Постоянной Точкой, когда либо существовавшей во Вселенной: с той точкой, которой Джакопо своим дыханием давал жизнь на единственное мгновение.

Диоталлеви тогда еще не рассказал ему, что можно быть в Иесод — сефире Основания, знаке примирения с верхним луком, который натягивается, чтобы выпускать стрелы для измерения Малкут, сефиры, которая является его щитом. Иесод — это капля, вытекающая из стрелы, чтобы произвести древо и плод, это душа мира, ибо есть мгновением, когда мужская сила, производя на свет, соединяет между собой все состояния бытия.

Суметь соткать этот *Cingulum Veneris* — значит исправить ошибку Демиурга.

Как можно потратить жизнь на поиски Случая и не заметить, что решающий момент, момент, оправдывающий рождение и смерть, уже прошел? Он не вернется, но он был — необратимый, полный, блистательный, щедрый, как всякое откровение.

В тот день Джакопо Бельбо заглянул в глаза Истине. Единственной, которая ему дана, так как истина, которую он познавал, говорит, что истина очень коротка (все, что потом, — это только комментарий). Вот почему он пытался укротить нетерпеливость времени.

В то время он этого, конечно же, не понял. Как не понял, когда писал или когда принимал решение больше вообще не писать об этом.

Что до меня, то в тот вечер я понял: автор должен умереть, чтобы до читателя дошла его истина.

Наваждение Маятника, которое, должно быть, преследовало Джакопо Бельбо в течение всей его взрослой жизни, было (как утерянные во сне адреса) изображением того второго мгновения, зафиксированного, а затем отброшенного, когда он настоящему прикоснулся к своду мироздания. И мгновение,

когда он заморозил пространство и время, выпустив свою зенитную стрелу, не было знаком, символом, намеком, фигурой, подписью, энигмой: оно было тем, чем было, и тем, что не подменяло собой ничего другого, мгновением, к которому нельзя апеллировать, поскольку все счета уравнены.

Джакомо Бельбо не понял, что тогда настал его момент, которого ему должно было хватить на всю жизнь. Он не распознал его и посвятил остаток своих дней поискам другого момента, пока не погубил себя. А может быть, он все-таки что-то заподозрил, иначе не возвращался бы так часто к эпизоду с трубой. Но вспоминал он о ней как о чем-то утраченном, хотя он и был ее обладателем.

Я верю, я надеюсь, я молюсь, чтобы в момент смерти на Маятнике Джакомо Бельбо понял это и обрел покой.

Затем последовала команда "вольно". Ему пришлось бы так или иначе подчиниться, ибо дыхания уже не хватало. Он прервал контакт и сыграл одну только ноту — высокую и затухающую, нежно, чтобы приучить мир к ожидавшей его меланхолии.

Командир сказал:

— Bravo, юноша. Можешь идти. Ты — хороший трубач.

Священник удалился, партизаны направились к воротам в другом конце кладбища, где их поджидали машины, могильщики засыпали могилы и тоже ушли. Джакомо покинул кладбище последним. Он не мог расстаться с уголком, где испытал счастье.

Грузовичка с оркестром уже не было.

Джакомо удивился: как это могло случиться, ведь дон Тико ни за что бы его так не бросил. Оглядываясь с высоты времени, вероятнее всего было бы предположить, что произошло недопонимание: кто-то сказал дону Тико, что мальчика в долину отвезут партизаны. Но в тот момент Джакомо не без оснований подумал, что между командами "смирно" и "вольно" прошло слишком много веков, что дети дожили до седых волос, до смерти, и их прах развеялся, образовав эту туманную дымку,

окрасившую голубым холмистые просторы, раскинувшиеся перед его очами.

Джакопо был один. За ним — опустевшее кладбище, в руках — труба, перед ним — расплывавшиеся в голубизне холмы, которые тянулись один за другим к желеподобной бесконечности, а над головой — мстительное солнце свободы.

Он решил, что должен заплакать.

Но вдруг появился кортеж с разряженным, как генерал императора, возницей, одетым во все кремово-черно-серебряное, влекомый закованными в варварские маски лошадьми (видны были только глаза), украшенными, как катафалки: ассиро-египетско-греческий бело-красный балдахин покоился на тонких витых колоннах. Человек в треуголке остановился на мгновение возле одинокого трубача, и Джакопо спросил: "Вы не подвезете меня домой?"

Человек был настроен доброжелательно. Джакопо устроился возле него на козлах и на колеснице для покойников начал возвращение в мир живых. Этот Харон, выполнивший на сегодня свою миссию, молча подстегивал похоронных скакунов на подъемах. Джакопо — весь прямой, с трубой подмышкой, в фуражке с блестящим козырьком, проникнутый осознанием своей новой неожиданной роли.

Они спустились с холмов, за каждым поворотом расстилались новые просторы виноградников, еще залитые ослепляющим светом, и после неподдающегося счету времени они добрались наконец до ***. Пересекли окруженную колоннадой главную площадь, пустынную, как только могут быть пустынные площади в тех краях в два часа пополудни в воскресенье. На углу один из школьных товарищей увидел сидящего на катафалке Джакопо с трубой подмышкой, с устремленным в бесконечность взглядом и развел руками, выражая тем самым удивление.

Когда Джакопо вернулся домой, ему не хотелось ни есть, ни говорить. Он забился в уголок на террасе и стал играть на тру-

бе, но так, как если бы это была сурдина: тихо-тихо, чтобы не нарушить тишину сиесты.

К нему подошел отец и спокойно, с безмятежностью человека, знающего законы жизни, сказал:

— Если сложится хорошо, то через месяц вернемся домой. В городе ты не сможешь играть на трубе. Владелец выгонит нас на улицу. Поэтому постарайся забыть о ней. Если у тебя и вправду есть склонность к музыке, то можешь учиться играть на пианино.— Потом, увидев, как у сына заблестели глаза, добавил: — Ну-ну, глупышка. Ты понимаешь, что плохие времена кончились?

На следующий день Джакопо вернул трубу дону Тико. А двумя неделями позже их семья покинула ***, возвращаясь в будущее.

X

МАЛКУТ



Но вот о чем, как мне кажется, я должен сожалеть, так это о том, что я вижу таких безумных и глупых идолопоклонников, которые... копируют совершенство египетского культа; и ищут божество, хотя не имеют на это никакого основания, в экскрементах мертвых и безжизненных вещей; и при этом они выставляют на посмеище не только эти божества и искусственных почитателей, но также и нас... и, что еще хуже, они празднуют победу, видя, сколь уважаемы их сумасшедшие ритуалы...— Не терзайся этим Мом,— сказала Изиды,— ведь судьбой предписана изменчивость тьмы и света.— Но беда в том,— ответил Мом,— что они уверены, будто пребывают в свете.

(Giordano Bruno. *Spaccio della bestia trionfante*, 3)

Я должен обрести покой. Я понял. Разве некоторые из них не говорили, что спасение придет, когда будет достигнута полнота знания?

Я понял. Я должен обрести покой. Кто сказал, что покой, а также радость, триумф, исчезновение усилий рождаются от созерцания порядка, порядка понятого, пережитого в роскоши, выполненного без остатка? Все ясно, прозрачно, взгляд оставливается как на целом, так и на частях, и око видит, как части сходятся в целом, оно выхватывает середину, из которой вытекает лимфа, дыхание, корень всех "почему"...

Я должен быть изнурен покоем. Из окна кабинета дядюшки Карло я смотрю на долину и на этот медленно поднимающийся кусочек луны. Большой горб Брикко, более ровные хребты расположенных дальше холмов рассказывают историю медленных и сонливых потрясений матери-земли, которая, потягиваясь и позевывая, сотворяла и разрушала синие долины в глухих вспышках сотен вулканов. Никакого глубокого направления подземных течений. Земля раскалывалась в полусне и меняла одну поверхность на другую. Там, где сначала паслись аммониты, теперь алмазы. Там, где поначалу зарождались алмазы, теперь виноградники. Логика морены, лавины, оползня. Сдви-

нуть случайно какой-нибудь камень с его места, и он скатывается вниз, оставляя за собой свободное пространство (ах, horror vacui!), на него сваливается другой камень, и так получается возвышенность. Поверхности. Поверхности поверхностей на поверхностях. Мудрость Земли. И Лии. Бездна — это водоворот долины. Зачем преклоняться перед водоворотом?

Но почему, поняв, я не нашел покоя? Зачем любить *Fatum*, если это убивает тебя так же, как Провидение и Заговор Архонтов? Наверное, я еще не все понял, не хватает еще какого-то пространства, интервала.

Где-то я читал, что в самый последний момент, когда жизнь — поверхность на поверхности — уже покрыта налетом опыта, ты знаешь все: тайну, мощь и славу, знаешь, зачем родился, почему умираешь и как по-другому все могло сложиться. Ты мудр. Но высшая мудрость в этот момент заключается в том, чтобы знать, что ты узнал слишком поздно. Понимаешь все, когда уже нечего понимать.

Теперь я знаю, что собой представляет Закон Царства — бедной, безнадежной, оборванной Малкут, в котором нашла убежище Мудрость, двигаясь ощупью, чтобы обрести утраченную ясность ума. Истина Малкут — единственная истина, сверкающая в ночи сефирот, и так есть потому, что Мудрость замечает в Малкут, что она обнажена, и открывает, что первая тайна — это не существовать или существовать всего мгновение, которое является последним. После этого вновь за дело принимаются Те.

А вместе с ними — сатанисты: ищут бездны, в которых может быть спрятана тайна, ставшая их безумием.

По склонам Брикко тянутся бесчисленные ряды виноградников. Я знаю их, я видел такие же в свое время. Никакая Теория чисел не смогла объяснить, всходят они вверх или вниз. Посреди рядов — но туда нужно идти босиком и с детства иметь грубые ступни — растут персиковые деревья. Это желтые персики — такие растут только в виноградниках и раскалываются надвое от легкого нажатия пальцами. Косточка выпрыгивает

почти сама, чистая, словно после химической обработки, лишь несколько червеподобных ниточек жирной белой мякоти приклеилось каким-то атомом. Когда их ешь, то почти не ощущаешь на коже пушок, от которого пробегает дрожь от языка до самого паха. В иные времена тут щипали травку динозавры. Потом другая поверхность закрыла эту поверхность. И все же — подобно играющему на трубе Бельбо,— когда я откусил персик, я понял Царство и составил с ним одно целое. Вне этого — только искусственная суета. Придумай, придумай план, Казобон. Тот, который создавали все, чтобы объяснить динозавров и персики.

Я понял. Моим покоем и моим триумфом должна быть уверенность в том, что понимать нечего. Но я, который все понял, я здесь, а Они ищут меня, думая, что я хранитель откровения, которого Они так корыстно жаждут. Недостаточно понять, если остальные отказываются это сделать и продолжают задавать вопросы. Они ищут меня, Они, наверное, напали на мой след в Париже, Они знают, что я сейчас здесь, Они по-прежнему хотят получить Карту. И сколько бы я ни говорил им, что никаких карт нет, Они всегда будут хотеть завладеть ею. Бельбо был прав: да пошел ты ко всем чертям, идиот, чего ты хочешь — убить меня? Ох, да хватит же в конце концов. Ты можешь меня прикончить, но не добьешься, чтобы я сказал, что Карты нет, каждый должен сам научиться хитрить...

Мне больно при мысли, что я не увижу больше Лию и малыша, Вещь, Джулио, мой философский камень. Но камни выживают сами. Может быть, он как раз напал на свой Случай? Нашел мяч, муравья, травинку и видит в их бездне рай. Он тоже узнает слишком поздно. Он будет добрым, и пусть он сам насладится своим днем.

Черт побери. И все-таки, мне больно. Терпение, как только я умру, я забуду о боли.

На дворе ночь. Я вылетел из Парижа сегодня рано утром, оставив слишком много следов. У Них было время догадаться,

где я. Совсем скоро Они будут здесь. Как я хотел бы записать все, о чем я думал сегодня. Но если Они это прочитают, то привлекут из всего этого новую мрачную теорию и снова веками будут пытаться расшифровать тайное послание, которое скрывается за моим рассказом. "Не может быть,— скажут Они,— чтобы этот тип признался лишь в том, что забавлялся за наш счет. Нет, сам он, быть может, этого не знал, но Бытие направляет нам послание через его забвение".

Какая разница, напишу я или нет. Они всегда будут искать другой смысл, даже в моем молчании. Такие уж Они. Они слепы к откровениям. Малкут есть Малкут, и больше ничего.

Но поди скажи Им это. Они не верят.

В таком случае лучше остаться здесь, ждать и смотреть на холмы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КЕТЕР

1. Когда блеск вечности 8
2. У нас есть различные и очень любопытные Часы 16

2. ХОКМА

3. In hanc utilitatem clementes angeli 28
4. Тот, кто старается проникнуть в Сад философов 36
5. И начини комбинировать это слово 41
6. Judá León se dio a permutaciones 53

3. БИНА

7. Не ждите слишком много от конца света 58
8. Я, пришедший от света и от богов 63
9. В правой руке она сжимала золотую трубу 69
10. И в конце концов каббалистически из *vinum* нельзя сделать иного вывода 73
11. Ее бесплодие было бесконечным 81
12. Sub umbra alarum tuarum 86
13. Li frere, li mestre du Temple 95
14. Он признал бы также, что убил самого Господа Бога 115
15. Обращусь за помощью к графу Анжуйскому 128
16. До своего ареста он состоял в Ордене только в течение девяти месяцев 135
17. Таким образом исчезли рыцари Храма 142
18. Громадина, ажурная от трещин и пещер 149

19.	Орден ни на минуту не прекращал своего существования	157
20.	Невидимый и неприступный центр, владыка, который должен очнуться ото сна	167
21.	Грааль... настолько тяжел.....	178
22.	Не желали, чтобы им задавали вопросы.....	183

4. ХЕСЕД

23.	Аналогия противоположностей.....	190
24.	Sauvez la faible Aischa	195
25.	Эти таинственные посвященные	201
26.	Все традиции Земли	204
27.	Рассказывая однажды о близком знакомстве с Понтием Пилатом.....	210
28.	Существует субстанция, которая окутывает весь мир	215
29.	Из простого факта, что они скрывают свои имена	221
30.	Пресловутое братство розенкрейцеров.....	227
31.	Вполне возможно, что большинство из тех, кого называют братьями Розы и Креста.....	235
32.	Valentiniani	239
33.	Видения бывают белыми, голубыми, бело-бледно- розовыми	242

5. ГЕБУРА

34.	Beydelus, Demeymes, Adulex.....	252
35.	Я — Лия	260
36.	Позвольте мне дать совет	264
37.	Кто размышляет о четырех вещах	272
38.	Тайный Мастер, Совершенный Мастер	276
39.	Рыцарь Планисферы.....	283
40.	Трус умирает много раз.....	290
41.	В точке, где Бездна	293

42.	Все мы согласны	300
43.	Люди, которых мы встречаем на улице	304
44.	Он призывает силы	310
45.	Отсюда вытекает необычный вопрос.....	313
46.	Несколько раз подойдешь к лягушке	319
47.	Чувства настороже и память наготове	324
48.	Точное приближение	331
49.	Рыцарство тамплиеровское и посвятительское	336
50.	Ибо я первая и последняя	341
51.	Итак, когда Большой Каббалистический Мозг	351
52.	Огромная шахматная доска, распростертая под землей	356
53.	Не имея более возможности открыто править земными судьбами	360
54.	Властелин тьмы	370
55.	Я называю театром.....	373
56.	Он так сильно подул в свою прекрасную трубу	381
57.	Под каждым третьим деревом подвешено по фонарю	388
58.	Алхимия — это благонравная проститутка	398
59.	И если рождаются такие чудовища.....	403
60.	Несчастный безумец!	405
61.	Это Золотое Руно	409
62.	Друидическими общинами можно считать.....	413
63.	О чем ты думаешь, когда смотришь на эту рыбу	418

6. ТИФЕРЕТ

64.	Мечтать о незнакомом городе	426
65.	Поверхность состояла из множества деревянных кубиков	431
66.	Если наша гипотеза верна.....	436
67.	Da Rosa, nada digamos agora	441
68.	Пусть белыми как снег будут твои одежды.....	447
69.	Elles deviennent le Diable	455

70.	Мы храним в памяти тайные намеки	457
71.	Мы даже не знаем с уверенностью	461
72.	Nos invisibles pretendus	466
73.	Другой забавный случай.....	470
74.	Несмотря на добрые намерения.....	484
75.	Адепты стоят у края этой дороги	489
76.	Дилетантизм.....	495
77.	Эту траву называют чертополохом	506
78.	Могу с уверенностью утверждать, что эта мерзость	509
79.	Он раскрыл свой сундучок.....	514
80.	Когда появилась Белизна	518
81.	Они смогли бы взорвать всю поверхность нашей планеты.....	520
82.	Земля представляет собой магнитное тело.....	524
83.	Карта — это еще не территория	530
84.	В соответствии с проектами Верулама.....	534
85.	Phileas Fogg. Имя, имеющее определенный смысл	537
86.	К ним обратился Эйфель.....	539
87.	Это любопытное совпадение.....	541
88.	Тамплиерство — это Иезуитство.....	545
89.	Сформировалось в лоне самых мрачных потемок	550
90.	Все подлости, приписываемые тамплиерам.....	552
91.	Как вы хорошо разоблачили эти адские секты	555
92.	Со всей мощью и сатанинским террором	557
93.	В то время как мы действуем за кулисами	560
94.	En avoit-il le moindre soupçon?	562
95.	Указывает на евреев-каббалистов.....	564
96.	Надежное прикрытие необходимо всегда и везде.....	568
97.	Ego sum qui sum	573
98.	Расистская гносеология, ритуалы.....	588
99.	Обезьянничанье плюс танковые дивизии	592
100.	Я заявляю, что Земля внутри поля.....	594
101.	Qui operatur in Cabala.....	598

102.	Высокая и толстая стена	600
103.	Твое тайное имя будет из 36 букв	605
104.	Эти тексты не предназначены для простых смертных	610
105.	Delirat lingua, labat mens	613
106.	Список номер 5	618

7. НЕЦАХ

107.	Черный пес бежит по пашне	632
108.	Или это действуют разные Силы?	639
109.	Сен-Жермен... Очень светский, очень умный	648
110.	Ошиблись в движении и подались назад	655
111.	C'est une leçon par la suite	660

8. ХОД

112.	Для наших Церемоний	666
113.	Наше дело — это тайна	673
114.	Идеальный маятник	694
115.	Если бы око могло заметить демонов	697
116.	Je voudrais être la tour	703
117.	Есть у безумия огромный дом	708

9. ИЕСОД

118.	Социальная теория конспирации	714
119.	Подожгли венец трубы	725

10. МАЛКУТ

120.	Беда в том, что они уверены, будто пребывают в свете	738

Иллюстрации

Древо сефирот, с.5.

Прив. по: Cesare Evola, *De divinis attributis, quae Sephirot ab Hebraeis nuncupantur*, Венеция, 1589, с.102.

Пассаж из Исаака Лурия ("Распространение света в пустоте") с.8.

Прив. по: P.S.Gruberger, ed., *Ten Luminous Emanations*, т.2, Иерусалим, 1973, с.7.

Шифровальный диск, с.160.

Прив. по: Tritheme, *Clavis Steganographiae*, Франкфурт, 1606.

The Seal of Focalor, с.174.

Прив. по: A.E.Waite, *The Book of Black Magic*, Лондон, 1898.

Monas Ieroglyphica, с.485.

Прив. по: J.V.Andreae, *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Страсбург, Zetzner, 1616, с.5.

Копия карты мира из Туринской библиотеки (XII век), с.532.

Прив. по: Leon Gautier, *La Chevalerie*, Париж, Palme, 1884, с.153.

Карта мира, с.532.

Прив. по: Macrobio, *In Somnium Scipionis*, Венеция, Gryphius, 1565, с.144.

Космографическая планисфера, с.532.

Прив. по: Robert Fludd, *Utriusque Cosmi Historia*, II, *De Naturae Simia*, Франкфурт, de Bry, 1624, с.545.

Epilogismus Combinationis Linearis, с.549.

Прив. по: A.Kircher, *Ars Magna Sciendi*, Амстердам, Jansson, 1669, с.170.

Шифровальные диски, с.626.

Прив. по: Tritheme, *Clavis Steganographiae*, Франкфурт, 1606.



СЕРИЯ

700

Этой книгой фирма «Фита»
продолжает серию,
в которую войдут произведения М.А.Булгакова,
Ф.Кафки, Л.Андреева,
Н.В.Гоголя, Э.Т.А.Гофмана, Э.По и др.
Символы серии — не случайны.
Буква Ψ в Древней Греции
обозначала число 700.
Ψυχη — по-гречески — душа...
Психея — субъективный отклик души человека
на резонансы мира, ее самоопределение
и интуитивное понимание
природы чужой и личной психики.

Ψ

Серія 700

Випуск 7

Умберто Еко

МАЯТНИК ФУКО

Переклад з італійської

-

Роман

(Російською мовою)

Підготовка тексту: фірма «Сентябрь»

Поліграфія суперобкладинки: фірма «ВИТАЛ-ПРЕСС»

Дизайнер А.Соколов

Підписано до друку 7.03.95.
Формат 70х100/32. Папір офсетний. Гарнітура Прагматика-Конденсд.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 30,32. Обл.-вид. арк. 40,11.
Тираж 10000 прим. Зам. 5-70.

Фірма «Фіта». 252033 Київ, вул. В.Яна, 3/5
Фірма «Ніка-Центр». 252021 Київ, вул. Інститутська, 25

АТ «КНИГА» 254655 МСП, Київ-53 , вул. Сінових стрільців, 25

- Еко, Умберто.**
Е40 Маятник Фуко.— К.: Фірма «Фіта», 1995.— 752 с.—
(Серія 700).— Рос. мовою.
ISBN 5-7101-0075-7

Роман є захоплюючою історією народження та зміни релігійних орденів у Європі, що кардинальним чином вплинули на всі ідеї, цінності та витвори людських рук — від Моцарта та Ейнштейна до Наполеона, російської царської охоранки, Сталіна та Гітлера, від знарядь тортур до Ейфелевої вежі та комп'ютерів IBM.

Не випадково роман побудований навколо головного образу — маятника Фуко, який з кожним відхиленням наочно відтворює ступінь обертання світу, де всі ми, неокабалісти та постмодерністи, жебраки та банкіри, художники та чиновники, святі та грішні, обертаємося у своїх вдачах і випадковостях.







